# Леся Українка

# ЛЕСЯ УКРАИНКА

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*в четырех томах*

*перевод*

*с*

*украинского*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
*ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*
*Москва 1957*

# ЛЕСЯ УКРАИНКА

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*том четвертый*

РАССКАЗЫ,
СТАТЬИ, ПИСЬМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
*ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*
*Москва 1957*

*Под редакцией*
*Н. БРАУНА, АЛ. ДЕЙЧА,*
*М. РЫЛЬСКОГО*

*Перевел*
*Ив. ДОРБА*

# РАССКАЗЫ

## ТАКОВА ЕЕ ДОЛЯ

*(Картинка из жизни)*

Невелика хатка у Приськи Чугаихи, да зато беленькая, исправная, не хуже, чем у людей. Да и на что ей большая хата? Живет она со своим стариком: ни деток нет у нее, ни родни; разве только соседка или кума порой на посиделки забегут или просто так в праздник проведать придут, а то Приська все одна да одна. Теперь же у нее гостья; не ахти какая, из своего же села пришла, кума Мотря, старая подруга, еще девушками дружили. Сидят они себе, прядут и беседуют; беседа течет не спеша, с перерывами, веретена быстро ходят, видно всерьез за работу взялись.

— Давно ли, кума, к дочке наведывалась? — спрашивает Приська.

— Да вот недели две, наверно, как была у нее.

— Ну, что ж? Как она там?

— Ох, и жизнь у нее! Не было ей счастья, да, видно, и не будет...

Разговор затих, и снова зажужжали веретена. Мотря опустила печально голову и еще прилежнее взялась за работу. Приська начала тихо напевать:

Чи ти мене, мати, в барвінку купала,
Що ти мені, моя мати, долі не вгадала?..

— Верно, кума, верно! Не угадала я доли своей доченьки; загубила ее головушку, отдала за пьяницу; я же думала, как лучше. Вы, кума, знаете, какие у

меня достатки, а у того богатея целый надел, один ведь сын у матери!

— Разве вы не знали, что он пьет? Какого он нрава?

— Ох, как не знать! Говорили мне люди, уже после обручения, что его в городе пьяным видели. Дрался с солдатами, а мать ходила за ним и уговаривала домой ехать. Да куда там! Не смотрит ни на мать, ни на людей, как напьется, удержу не знает, не раз даже мать бить кидался. Слышала я, кумушка, все слышала; да что же, думаю, если разок случилось, не вечно же так будет! С парнями загулял или подпоил кто! А может, просто врут люди, из зависти. А если и правда любит погулять, что поделаешь! Девушка уже засватана — за бесчестье платить придется; да и горилку, что люди выпили на помолвке, тоже он поставил, как же мне, бедной, все это выплатить? И еще подумала: парень молодой, потому и гуляет, женится, авось дурь из головы и вылетит. Жена, хозяйство, то да се — и забудется.

— А как ваша дочка на это пошла?

— Что дочка! Конечно, не хотела, всю неделю, от помолвки до свадьбы, плакала да просила: «Маменька, родная, не губите вы моей головушки!» Да не слушала я ее, молодая ведь, шестнадцать ей всего минуло, что она понимает!

— Вот видите, если бы послушали тогда дочку, не попрекала бы она вас теперь.

— А что ей меня попрекать? Разве я виновата? Я же думала, как лучше, что ж, коли такова ее доля!

— Эх, кума! Доля долею, а вы бы лучше людей порасспросили, что ли... А то уж совсем будто с моста да в воду.

— Что же мне людей спрашивать было? Разве люди знают, какая кому доля суждена? Вот и я замуж выходила; ни я своего жениха перед свадьбой не видела, ни он меня: родители просватали и повенчали! И что же? Плохо мне было, что ли? Слава богу, мы со стариком не хуже других жили. Не без того, чтоб не бранил, не раз, бывало, и побьет; а все же я горя с ним не знала, не то что теперь, разве только ленивый не

обидит! Вот только покойная свекровь, бывало, не раз до самого нутра допечет, да и то я тогда замолчу, покорюсь, она и подобреет. Моей бы дочери такая доля, какая мне выпала!

И снова обе замолчали. Мотря прилежно прядет, только изредка отведет руку от пряжи платок поправить, а может быть, и тайную слезу утереть. Приська снова завела песню:

Дала мене мати далеко від себе,
Наказала не бувати аж сім літ до себе.
А я, молодая, того не стерпіла.
Сивенькою зозулею у рік прилетіла...[1]

— Ох, прилетела и моя серая зозуленька ко мне. Как допекли ее там проклятые, не выдержала моя голубушка. Я даже испугалась, увидав ее. «Что с тобой, моя деточка?» — сказала и заплакала. «Мама, — говорит она, — хоть вы меня бейте, хоть прогоняйте, не пойду я от вас к этим нехристям, лучше в прорубь, чем к ним!» — «Бог с тобою, мое дитятко, — говорю ей, — разве я тебя прогоню, моя дочурка! Только ты подумай толком, может быть, это и не так вовсе! Разве не бывает, что муж с женой поссорятся? Может быть, как-нибудь помиритесь, может, еще и уладится». — «Ой, не уладится! — говорит она. — Нет больше моего терпения! Не пойду я туда, не пойду!» И что вы думаете? Пришел ее муж и начал просить да упрашивать. «Я, говорит, никому ее и пальцем тронуть не дам, а мать, если хоть слово плохое скажет, просто из хаты выгоню, ей-богу!» Что ж, подумала я, подумала и говорю: «Иди, дочка, может быть, и верно, все уладится, видишь, как клянется!» Да и что было мне делать? Все-таки он муж; как же могу я жену к нему не пускать? Пошла она. И что ж? Сначала все-таки муж ее немного жалел, а потом пуще бить начал и еще попрекает, пилит по целым дням. Ой, доченька моя, бесталанная!..

— А может, ее хоть свекруха жалеет?

— Куда там! Раз муж издевается, то свекруха... Сказано: чужая мать!.. Ой, кума, засиделась я у вас,

---

[1] Серою кукушкой через год прилетела... *(укр.)*

уж поздно, а я еще хотела в Будыщи пойти, проведать мою бесталанную да хоть немного утешить...

— Идите, кума, идите! Попросите, чтобы к нам когда-нибудь пришла; давненько ее не видела.

— Она бы и рада, да разве пустят! Там такие...

— Ой, кума, кума, погубили вы свою дочку!

— Нет, кума, не говорите мне так! Чем я виновата? Разве я враг своей дочке? Такая уж ее доля!

— Может быть!

Мотря взяла гребень, поцеловалась с кумой и направилась к дверям.

— Бывайте здоровы!

— Идите с богом!

## МОТЫЛЕК

Бедный ночной серый мотылек сидел в темном сыром погребе за кадкой с капустой. Уныло сидел он, сложив свои тусклые крылышки. Грустил он очень, хоть и не знал одиночества, — был у него сосед, нетопырь, но не велика была радость мотыльку от этого соседства; нетопырь был неразговорчив, угрюм, да еще к тому же он с таким презрением глядел на бедного мотылька, — известное дело, не ровня!

Нетопырь сидел втихомолку в своем уголку, ни на что не жаловался и ничего не хотел, разве только чтобы уголок был потемнее, чтобы сидеть в нем без помех и никогда не видеть этого противного резкого света. Правда, здесь, в погребе, этот свет не очень докучал, — но все-таки время от времени кто-то заходил со свечой и, случалось, даже наклонялся над кадкой, набирая капусту, — и нетопырю это было очень неприятно; кабы мог, он навеки погасил бы этот свет собственными крыльями.

Мотылек на своем недолгом веку еще не видел света, он чувствовал только душой, что есть где-то иной край, краше, светлее, чем его родной погреб, потому что порою из маленького подвального окошка падал бледненький лучик, но мотылек не мог даже разобрать, что собственно такое свет и каким он должен быть. В мрачном уголке лучик был едва заметен — тоненький, как ниточка, бледный, словно взгляд больного ребенка. Сидит, бывало, мотылек и все уносится мыслями к этому ясному свету; впрочем, где он? этого мотылек не постигал ни умом, ни сердцем, а посоветоваться не с

кем, да и кто посоветует? Разве нетопырь, но сами знаете, проку от него мало! Летать же и разыскивать этот свет у мотылька не было ни сил, ни отваги.

Кто знает, может быть наш мотылек так одиноко и скоротал бы свой недолгий век во мраке, но иное выпало ему на долю. Как-то в погреб пришла за капустой служанка и поставила на землю свечу, как раз напротив мотылька. Боже! каким великолепным, блистательным, влекущим показался мотыльку этот свет! Он затрепетал крылышками и хотел кинуться на свет, но служанка в это мгновение взяла свечу и ушла из погреба. Не утерпел мотылек, забыл, что слаб, что ничего не знает. «Свет, свет!» — и кинулся за ним; нетопырь только свистнул ему вслед, потом заполз еще глубже за кадку и уснул; ему ничего никогда не снилось. А мотылек полетел себе и полетел за этой свечкой так быстро, сколько было сил в его немощных крылышках.

И вот он очутился в просторной комнате; там за столом сидело много людей. На столе стояла яркая лампа, — мотылек даже оторопел от ее сверкающих лучей и бессильно упал на стол, трепеща крылышками. Кто-то хотел было смахнуть его со стола, но он очнулся, снова взвился и закружил над лампой, каждый раз уменьшая круги: ему так хотелось как можно ближе взглянуть на это яркое солнце, которым представлялась ему лампа. Думал ли мотылек там загубить жизнь? Но кто видит смерть в сиянии света? Там все горит, сверкает, переливается, — там светло, там тепло, там жизнь! Мотылек все ближе, ближе к губительному свету. Ох, ведь это его погибель! Напрасно все отгоняли его от огня. И вот мотылек влетел в самое пламя. Тресь! Вот и смерть! Лампа вспыхнула, а потом стала гореть так же светло и ровно, как и раньше.

— Глупое существо! — сказал кто-то за столом. — Кто ему велел лететь в огонь? Гонят его, так нет же, лезет! Глупому и глупая смерть!

А разве разумнее была бы его смерть, если б он навеки уснул в темном погребе? Свет сжег его, но он рвался на простор! Он искал света!

*Волынь, 1899*

## БЕДА НАУЧИТ

Жил-был воробей. И как будто ничего себе воробышек, одна беда, что глуповат. Как вылупился из яйца, так с тех пор ни чуточки не поумнел. Ничего-то он не умел, ни тебе гнездышка свить, ни зерна отборного добыть, — где сядет, там и заночует; что на глаза попадется — склюет. Только и есть, что великий забияка, — чуть что и уже в драку лезет. Как-то носился он с товарищем, таким же молодым воробышком, по какому-то двору. Порхали, резвились, мусор разгребали, да и нашли три конопляных зернышка. Вот наш воробышек и кричит:

— Мои зернышки! Я нашел!

А чужой свое:

— Мои! Как так не мои! Как так не мои!

И затеяли драку. Да так бьются, да так друг дружку щиплют, что подскакивают, — только перья летят. Дрались, дрались, пока не устали; сели нос к носу, напыжились и сидят; позабыли, из-за чего и драку затеяли. И вдруг вспомнили: а где же наши зернышки? Глядь, а зернышек-то и нет! Ходит по двору курица за цыплятами, квохчет и приговаривает:

— Дураки бились, умные поживились, дураки бились, умные поживились!

— О чем речь? — спрашивают воробьи.

— Спасибо вам за то, что вы такие дураки. Покуда сдуру вы дрались, мы с цыплятками вашими зернышками и позавтракали. Известное дело — дураки!..

Некому было вас бить — уму-разуму учить! Вот взял бы вас кто в учение, может, из вас заправские птицы и получились бы!..

Рассердился чужой воробей на такие слова.

— Учи своих глупых цыплят, а мне и своего ума хватит! — подпрыгнул, тряхнул крылышками, чирикнул и улетел. А наш воробышек остался и призадумался.

«А правда ведь, — подумал он, — умным-то ведь лучше быть. Вот курица умная, наелась досыта, а мне голодным сидеть».

Подумал, подумал и давай просить курицу:

— Поучите меня уму-разуму, уважаемая мамаша. Вы же умная!

— Э, нет! — отвечает курица, — уволь, любезный! И без тебя хлопот полон рот, — и своих-то деточек многовато, пока-то их всех на ум наставлю! Ищи себе других учителей! — да и пошла себе в курятник.

Остался воробышек один.

— Ну что же делать? Придется еще кого-нибудь спросить, не желаю я больше дураком жить! — и полетел в рощу.

Прилетел и вдруг видит, сидит на калине кукушка да все: «Куку! куку!» Он к ней:

— Тетенька, вот я о чем вас прошу! Научите меня уму-разуму! Детей ведь своих у вас нет; просил я было курицу, да она говорит, что у нее и без того хлопот полон рот.

— А я вот что тебе скажу, — ответила кукушка, — уж если своих забот у меня нет, то и чужие мне ни к чему! Еще мне этой заботы не хватало — чужих детей уму-разуму учить! Не мое это дело! Вот если хочешь знать, сколько лет тебе жить, то могу сказать.

— Была бы сама жива, а обо мне не беспокойся! — отрезал воробей и улетел прочь.

Полетел он далеко к самому болоту, а там бродит аист и ловит лягушек. Вот подлетел к нему воробышек и просит робко:

— Научите меня, уважаемый, уму-разуму. Вы ведь такой ученый...

— Что, что, что? — заклекотал аист, — убирайся — покуда цел! Я вашего брата...

Воробышек, едва живой от страху, скорее от него. Видит: сидит на пашне ворона и скучает. Он к ней:

— Что это вы, тетушка, загрустили?

— Сама не знаю, сынок, сама не знаю!

— А не можете ли вы, тетенька, уму-разуму меня научить?

— Полно, сынок, у меня и самой-то его нету. А если уж ты так хочешь, полети к сове: она, говорят, уж очень мудрая, вот, может, что тебе и присоветует. А я не больно охоча до этого самого ума-разума, бог с ним!..

— Прощайте, тетушка! — сказал воробышек.

— Счастливо!

Полетел воробышек расспросить, где сова живет; сказали ему, что проживает она в дупле сухого дуба. Воробышек туда: и верно, видит, сидит в дупле сова и спит.

— Мадам! Вы спите? Мадам! а мадам!

Сова как переполошится, как захлопает крыльями, как заорет, вытаращив глаза:

— А? Что? Кто?

Воробышек и сам немножко испугался, а все-таки от своего отступиться не хочет.

— Да это я, воробей...

— Воробей? Какой воробей? Не вижу! Чего притащился? Какой черт вас среди бела дня носит? Вот напасть! И днем поспать не дают!..

И сова опять заснула.

Не посмел воробышек еще раз ее будить, уселся на дубе и стал ждать ночи. Ждал, ждал — надоело даже. Когда уже порядком стемнело, сова вдруг проснулась да как заведет: «Угу-у-у! Угу-гу-гу-у-у!..» Обмер воробышек от страху: вздумал уже удирать, но удержался. Сова вылезла из дупла, глянула на воробышка, а глаза-то у нее горят! Страх, да и только!..

— Ты зачем сюда? — спрашивает.

— Да я, прошу прощения, мадам, с самого утра здесь сижу...

— И зачем?

— А жду, когда проснетесь...

— Так я же проснулась! Ну, чего тебе надо? Чего здесь торчишь?

— Я хотел бы вас просить, — простите великодушно, — не могли бы вы научить меня уму-разуму? Ведь вы такая мудрая...

— Не для того я мудра, чтобы дураков учить! Кто дураком родился — дураком и помрет. Проваливай-ка ты подобру-поздорову, а то я голо-дна-я! — крикнула сова, а глаза у нее как загорятся...

Воробышек сорвался и полетел сломя голову куда глаза глядят, запрятался в чащу да там и проспал до самого утра. Спит воробышек крепко-крепко, вдруг у него над головой кто-то как застрекочет: «Че-че-че!» Воробышек проснулся, глянул — сидит на суку сорока-белобока и стрекочет, даже глаза зажмурила.

— С кем вы, барышня, так разговариваете? — спросил воробей.

— А тебе что за дело? Скажите, какой любопытный! А хотя бы и с тобой!

— Если со мной — то я очень рад. Я бы вас просил, барышня, научить меня уму-разуму.

— А для чего тебе, молодой человек, ум? Без ума легче на свете жить и, конечно, веселее! Ты, голубчик, лучше красть научись, вот как я, тогда и ума не понадобится. От большого ума и свихнуться нетрудно; ты поговори со мной, я научу тебя, как без ума прожить... — и застрекотала сорока, чем дальше, тем все быстрей да все чаще...

— Чтоб тебе своим языком подавиться, стрекотуха! — крикнул воробышек, — вот трещит! Ну тебя — оглохнешь! — и прочь без оглядки.

Уселся воробышек среди поля и думает: «У кого я этого ума-разума наберусь? Полсвета облетел, а что-то немногому научился, неужто на этом и застряну?..» Пригорюнился воробышек, на поле грустно поглядывает, а по полю черный ворон расхаживает, да так важно.

«Ну, еще у этого поспрошаю; уж в последний раз», — подумал воробышек.

— Научите меня уму-разуму! — обратился он, не долго думая, к ворону, — я уж давно его ищу, да никак не найду.

— Разум, молодец, на дороге не валяется, — важно промолвил ворон, — не так-то легко его сыскать! А я

тебе вот что скажу: не набраться тебе разума, покуда горя не хлебнешь. Вот тебе моя наука. А теперь ступай, мне некогда.

Улетел воробышек опечаленный. «Что это за наука такая?» — подумал он; однако, как стать умным, ни у кого больше не допытывался — уже надоело. Покручинился слегка, что приходится без ума-разума жить, а потом и позабыл. Гуляет опять, веселится как ни в чем не бывало.

Не успел оглянуться воробышек, как миновало лето. Пришла осень с холодными ветрами, моросящими дождями, а там и снежок стал перепадать. Худо воробышку, — холод, голод! Ночью где ни примостится — никак не заснуть: так и пронизывает холодный ветер; днем есть нечего, все в риги убрано, а если что и разыщет — подрался с кем-нибудь и пропало. Вот и стал наш воробышек уму-разуму набираться, — довольно ссор! Куда воробьи летят, туда и он; если что найдут, и он поживится, да все без свар и без драки, ну и воробьи его не гонят прочь, — а раньше и близко не подпускали. Увидел воробышек, как другие птички в теплых гнездышках сидят, стал приглядываться, как это гнезда строятся. Принялся он собирать перышко к перышку, соломинку к соломинке складывать — гнездышко вить. Уж так хозяйничает, так старается! Дальше — больше: стали воробьи его почитать; когда бы на совет ни собрались — и его зовут, вот до чего прославился наш воробышек среди них своим умом. Перезимовал счастливо, а к весне стал уже большим, мудрым воробьем; сидел не один, а с воробьихой в гнезде, и лежало в нем четыре яйца. Когда проклюнулись воробышки — новые заботы воробью: кормить деточек, да укрывать, да приглядывать, да от хищных птиц защищать — тут уж не до гулянья! А уж до чего хозяйственный, бывало даже соседи-воробьи диву даются: «Какой вы, милый соседушка, умница! И где вы этого ума-разума набрались?» А он только кивнет головой и скажет:

— Беда научила!

*Волынь, 1890*

## ШКОЛА

*(Волынские картинки)*

Долго собиралась я проведать подругу, которая была учительницей в церковно-приходской школе, и вот, наконец, отправилась. Ну, и день же я выбрала! Не успела отъехать и версты от города Луцка (село, где жила моя подруга, находилось верстах в двадцати от Луцка), как зачастил страшный дождь; так под дождем я доехала до самого села, точно сквозь сито видела избы и гать с вербами; только на площади немного посветлело, и я отчетливей увидела церковь, большой поповский дом, а подальше маленькую хату с крылечком и со школьным колокольчиком возле него.

— Вот и школа, — сказал мой возница, — только как вы до нее доберетесь?

Действительно, перед самой школой была большая грязная лужа. Я опасливо разглядывала ее, выбирая место, куда бы ступить так, чтобы сразу же не завязнуть. В это время подруга увидела меня в окно и с громким приветствием выбежала на крыльцо.

— А, вот и ты! Наконец-то! Что же ты, видно испугалась моей Венеции? Делать нечего, мой друг, прыгай в воду.

Послушалась я, отважно прыгнула и попала по щиколотки в воду. Правда, особой отваги для этого не требовалось, я и так сильно промокла, на мне почти не оставалось сухого места. Войдя в хату, после первых взаимных приветствий я стянула с себя мокрое платье

и только собралась повесить его на стену, как подруга удержала меня:

— Куда ты? Оно у тебя все выбелится, да еще мокрое, потом и не отчистишь.

Делать нечего, вешаю его на стул, а сама хочу сесть на другой.

— Не садись! — остановила меня подруга.

Я с удивлением взглянула на нее.

— У него же только три ноги.

— А где целый? — спросила я.

— На нем висит твое платье, больше стульев нет. Садись на кровать, я придвину стол, и будем пить чай.

Кое-как уселись, скоро и чай был готов. Пока подруга возилась с ним, я рассматривала ее жилье, хотя там нечего было особенно рассматривать. Голые стены, потрескавшийся потолок, еще больше потрескавшаяся печь, возле печи скамейка с кружкой и миской для умывания, потом маленький шкаф, у другой стены стол, сейчас придвинутый к кровати, сундук и знакомые уже стулья, вот и все.

— Ну, — говорю подруге, — вот я и приехала посмотреть на твою академию, как ты тут людей просвещаешь.

— Жаль, не увидишь, поздно приехала.

— Как так? Да ведь сейчас половина апреля, что же это у вас так рано каникулы? А ты же писала, что скоро начнутся экзамены.

— Экзаменов не будет.

— Почему?

— Батюшка не хочет. Я было приготовила группу самых способных ребят, да дело стало за законом божьим, это же батюшкин предмет, он тянул-тянул до самой пасхи, а теперь говорит: «Зачем им эти экзамены, пускай лучше скот пасут». Вот как у нас. А ты думала что?

— Да, думала, что не так. Ну, делать нечего, нужно хоть просто школу посмотреть.

— Давай уж завтра, теперь темно.

— Хорошо. Слушай, однако, зачем ты тут сидишь, почему домой не едешь, если тебе здесь делать нечего?

— Да вот еще нужно деньги у батюшки выкрутить.

И она начала мне рассказывать про долгую процедуру «выкручивания» учительских денег, как сначала поп «взыскивает» их с общества, общество отказывается, говоря, что не все посылают детей в школу, да и сама школа не так уж нужна, и что, наконец, и денег нет. Однако так или этак деньги взимаются, батюшка припрятывает их у себя. Тут-то и начинается «выкручивание». Учительница идет к батюшке за деньгами, начинается бесконечный разговор. После долгих споров батюшка, наконец, дает рубля три, а если заупрямится, то рублевку.

— Ну, как же это можно, — сказала я подруге, — почему ты с этим попом канитель разводишь? Какое он имеет право выдавать заработанные тобою деньги по пятаку, словно ты у него «на водку» просишь?

— А что же с ним поделаешь? Ведь от него ж это зависит.

— Ты бы пожаловалась!

— Кому?

— Ну, например, сельскому обществу, посреднику.

— Да общество к этому равнодушно, а от посредника пользы мало. Я рада, если он меня не трогает. Вот однажды приехал и напал на меня, как бы ты думала, за что? За то, что я в церкви зимой в смушковой шапочке стою. «Это, говорит, оскорбляет религиозное чувство крестьян!» Что с ним разговаривать? Впрочем, здешний поп не хуже других; старик сидит тихо, к тому же он довольно добродушный. Я внуков его учу и за это у него обед получаю.

— Как? Только обед?

— *Только!* Это по-твоему только, а по-нашему *даже*. Если бы тебе бабы со всего села, каждая по очереди, обед носили, как у меня было в одном селе, то и ты бы сказала *даже*. Нет, мой поп еще слава тебе господи, с ним можно ладить. Скупенек немного... к тому же приход небогатый.

— Но, однако, в каких он хоромах живет.

— Да что хоромы, когда в них пусто!

— Да, конечно.

Мы кое-как постлали себе постель и улеглись спать, причем окно пришлось заткнуть подушкой, потому что

одно стекло было выбито. На другой день утром, проснувшись и умывшись вместо мыла яйцом (мыла не было, а деньги на него еще нужно было «выкручивать»), я пошла посмотреть на классную комнату. Едва я миновала сени, еще мокрые после вчерашнего ливня, и открыла дверь в классную комнату, как на меня, точно из погреба, пахнуло сыростью. Школьная комната была с неровным земляным полом, стены все в трещинах, пожалуй, еще хуже, чем на половине учительницы, посреди комнаты ряды школьных скамей, в углу черная доска со следами мела, в конце стол, за ним стул, а над стулом прибита на стене между двумя тусклыми окнами довольно большая, старая и словно закопченная географическая карта.

— Что это, твои ученики учат географию? — спросила я, смотря на карту.

— Куда там географию! Они еле-еле читать и писать выучатся за то короткое время, пока в школу ходят.

— Неужели?

— Как же иначе, ведь иногда они только к филипповкам начинают в школу собираться, а то все скот пасут и тому подобное.

— Однако есть же у вас какая-то программа?

— Конечно, есть — выучиться читать, писать без больших ошибок, главное в букве ять, да считать немного, да вот еще пение порядочно времени занимает.

— Какое пение? Ты их учишь петь? — спросила я, уже вовсе удивленная, так как до той поры не слышала, чтобы моя подруга пела, а тем более чтобы могла других учить.

— Вот учу церковному пению, оно хоть и не очень трудно, песнопения выбираем самые простые, но все же научить хоть бы и «господи помилуй» ребят, которые не имеют понятия ни о нотах, ни о хоровом пении, дело нелегкое, не раз даже вспотеешь с ними, а что горло болит, то нечего об этом и говорить. Однакож пойдем, чего ты тут еще не видела?

Но я стояла посреди хаты и прислушивалась: за стеной слышен был какой-то шум.

— Что это такое? — спросила я.

— А это, верно, люди собрались, здесь съезжая, в

ней же и сторож живет, а за стеной моей хаты холодная. Чего-чего тут порой не наслушаешься, скажу я тебе!..

— А сейчас, случайно, никто не сидит в этой холодной?

— Нет, теперь весна, весной редко сажают, как раз работа в поле, и люди отпрашиваются, чтоб уже если отсиживать, так позже, когда спешная работа окончится либо большие праздники набегут.

Шум за стеной усиливался, видно разговор велся далеко не мирный. Звуки глухо отдавались в сыром воздухе школы; становилось как-то не по себе. Мы вернулись на половину учительницы.

— Где же ваши школьные книжки? — спросила я.

— Да вот они, — ответила подруга, указывая на маленький шкафчик возле печки.

— Можно взглянуть?

— Да можно, можно, хотя, знаешь, там есть и запрещенные.

Я смотрела на нее и не знала, верить или не верить. Она засмеялась.

— Да, да, запрещенные, сама увидишь! Ты ж, надеюсь, не донесешь на меня «по начальству»?

Я все-таки не поняла. Она отперла шкафчик и начала показывать: вот библиотека для внеклассного чтения.

Я взяла наугад какую-то книжку, читаю: «Житие св. Симеона Столпника». Ставлю, беру другую: «Житие св. Григория»... Еще одну вытаскиваю с другого конца полки, снова: «Житие преподобного...»

— Что же это у тебя все такой «душеспасительный» выбор?

— Ничего не поделаешь, на то у нас *церковно-приходская* школа — какие книжки нам присылают, такие и должны читать. А вот здесь наши учебники, — она показала на среднюю полку.

Там стояли: молитвенник, краткий катехизис, закон божий, задачник, учебник арифметики и несколько тоненьких букварей, я забыла имена их авторов — все какие-то неизвестные.

— А вот и запрещенные! — сказала, наконец, подруга, усмехаясь и показывая на дно шкафчика, где лежала кучка книжек и стояла пустая бутыль.

Я посмотрела на книжки: «Родное слово» Ушинского, хрестоматия Паульсона, несколько изданий «Посредника»...

— Ты что, смеешься надо мной? — воскликнула я в недоумении.

— Нет, какие там шутки! Это действительно книжки, «изъятые из школьных библиотек».

— Но тут же есть книжки, одобренные Комитетом грамотности!

— Мало ли что! Комитет грамотности для нас не указ.

Она говорила это, не смеясь, а скорее грустно; пришлось поверить.

— А это тебе для чего? — спрашивала я, указывая на бутыль.

Подруга засмеялась:

— А это учительское наследство! Тоже, если хочешь, запрещенное. Мой предшественник держал в этой бутыли водку, ну, а у меня она, конечно, пустая стоит, вот, может быть, еще кому понадобится когда-нибудь... Однако, глядя на эту бутыль, я вспомнила моего батюшку и то, что уже пора мне идти к нему обедать. И ты ведь со мной?

— Да нет, как же я...

— Ну, милая моя, придется идти, потому что у меня нет ничего. Да ты не думай, мой батюшка любит гостей принимать, он еще и рад будет. Пойдем.

Хочешь не хочешь пришлось идти.

Прижимаясь к тыну, чтобы не оступиться в лужу, мы отправились к поповскому двору. Двор был просторный, поросший травою, во дворе хлевы, клети, различные хозяйственные пристройки, рядом большой старый сад с густыми деревьями, расположенный вокруг высокого каменного строения, которое я заметила, проезжая. По высокому крыльцу вошли мы в этот дом. В первой же комнате я увидела попа с дочерью и двумя внуками; они уже сидели за накрытым столом. Подруга познакомила меня, и нас попросили к столу. Садясь, я осмотрела комнату. Трудно было понять, бедны или богаты хозяева этого дома. Моя подруга сказала правду: поповский дом был совсем пуст, впрочем, чтобы запол-

нить эту пустоту, очень много понадобилось бы всякой всячины. Это было старое здание, бывший католический монастырь (церковь тоже некогда принадлежала ему), с толстыми стенами, глубокими окнами, с высокими сводами, холодное, довольно темное. Голоса и шаги звучали в этих комнатах, как в церкви, и казалось, что хозяева здесь не поп с его семьей, а вот те темные униатские образа и деревянные ангелы, что смотрели на нас со стен, неприветливо улыбаясь или сурово нахмурившись. Эти образа и ангелы были вынесены из церкви, когда она из униатской была превращена в православную (такие превращения не были новинкой для нее). Батюшка, который, так же как и церковь, служил когда-то униатской вере, принял изгнанников в свой дом, и они были здесь более у места, нежели сам хозяин, — маленький, сухонький старичок; он совсем терялся в своем величественном жилище. Впрочем, здесь все как-то терялось: и обстановка, и ковры, и посудники, и сундуки — все эти поповские пожитки, что в другом доме создавали бы впечатление зажиточности. И разговор и наша компания были тоже как-то не к месту. Мне стало легче, когда мы, наконец, после обеда вышли в сад, где уже не было ни католических стен, ни униатских образов.

Прогуливаясь по тропинке, между кустами смородины и крыжовника, моя подруга осторожно завела речь о том, что уже весна, учение окончено и время бы ей ехать домой.

— Ну, что же, поезжайте, — благодушно отозвался батюшка.

— Но вы же знаете, батюшка, что я не могу поехать, и даже знаете почему...

— Нет, откуда же мне знать? — промолвил батюшка все так же невинно. — Лошадей в селе не можете нанять?

— Да нет, батюшка, что там лошади! Дело ясное, нет денег, а лошади нашлись бы.

— А, вот вы о чем! Ну, и времена настали, господи боже ты мой... И сколько же корыстолюбия у молодых людей! Так ли было в наше время? Эх-эх, барышня! — и он засмеялся тихим, старческим смехом.

Его собеседнице было не до смеха; наоборот, она едва сдерживала досаду.

— Правда, — продолжал батюшка насмеявшись, — зачем вам эти деньги, да еще все сразу? Вы человек молодой. Вот подождите, когда соберетесь замуж, будете готовить приданое, тут-то вам деньги и пригодятся. Не правда ли? — обратился он неожиданно ко мне.

Пришлось и мне вступить в разговор.

— Когда это еще будет, жаль, что мы теперь не можем поехать вместе в город. У меня и лошади заказаны, да что же, видно придется одной домой ехать. Как сказать твоей матери? — обратилась я к подруге. — Когда ты будешь дома?

— Не знаю, — ответила она коротко.

— Ну, ничего, ничего, не грустите, — начал батюшка, внезапно изменив тон, — или вы в самом деле думаете, что я такой скряга? Вот приходите вечерком, и мы с вами рассчитаемся, завтра и поедете, ежели желаете.

Разговор переменился, и вскоре мы пошли домой. Вечером подруга пошла «рассчитываться». Долго я ждала ее, наконец она пришла ни веселая, ни печальная.

— Ну, что? Отдал? — спрашиваю.

— Да... отдал половину! Нет, говорит, всех не собрал. Что с ним поделаешь?

— Ты ему веришь?

— Где там!

— Как же ты, поедешь или будешь «выкручивать» деньги до конца?

— Да нет, поеду, надоело, мочи моей нет, может быть, потом когда-нибудь вытяну. Довольно уже об этом говорить. Надоело!.. — И она принялась за укладку вещей, готовясь к завтрашнему отъезду.

На другой день мы двинулись, попрощавшись со школой и с селом, куда ни мне, ни ей больше не суждено было возвратиться. Пустая школа, пустая комната и пустая бутыль остались ждать нового учителя.

## НАД МОРЕМ

Лежишь, бывало, у самого моря под нависшей скалой, глядишь на фаланги волн и ясный горизонт, и грезится, будто ты очутилась в таком краю, где еще не было или уже нет людей. Я должна признаться, эти грезы были мне приятны. Мизантропия не в моей натуре, но иногда хочется на некоторое время уйти от людей, чтобы не начать их ненавидеть. Где-то я слышала выражение, будто сама природа, сам пейзаж без людей все равно что рамка без картины, а мне порой кажется, что это картина без пятен.

Разбросанный на морском берегу город издали казался мне не созданием рук человеческих, а частью природы; вечером, когда дома́ исчезали в темноте и видны были только городские огни, вспоминалась сказка о волшебной горе, наполненной червонным золотом и дорогими самоцветами, — той самой, что открылась по заклинанию перед отважным путешественником. Темнеющие горы вставали вокруг залива, в них словно открывались сотни ясных окошек, сквозь которые сверкало живое золото. Далеко-далеко, на вершинах гор, горели пастушеские костры, и я часто не могла различить, звездочка ли встает из-за горы, или пылает сторожевой огонь.

Море шумело, шуршали увлекаемые водой мелкие камешки, словно роптали, что не дает им покоя прихотливая волна. Чайки с жалобными стонами целыми стаями носились над водой и в ясную и в бурную погоду, и днем и ночью.

Строгие крымские садики всегда были неподвижны, — нужна была большая буря, чтобы они зашумели, как наши дубравы. Прибрежные камни и скалы казались особенно неподвижными перед вечно живым, находящимся в вечном движении морем, которое при каждом облачке, при каждой игре небесного луча меняло окраску, но никогда не нарушало гармонии картины.

Только когда из города доносился резкий, медный звук военного оркестра, отрывок солдатской песни из ливадийских казарм или гудок парохода, когда разгневанная волна выбрасывала на берег пробки, скорлупу, старые ботинки и всякие отбросы, — гармония внезапно нарушалась, мечта о незаселенной людьми земле исчезала.

«Всюду люди», — твердила с отвращением мысль, оскорбленная этой встречей с грязью, убожеством и людским горем. Но я успокаивала ее давними и свежими воспоминаниями, картинами, на которых были люди, но не было пятен. И мысль моя успокоилась и даже совсем смирилась, когда мне, вынужденной собственным бессилием, пришлось поселиться в том самом месте, которое издали казалось мне частью пейзажа без людей. Там уже всюду и постоянно были люди. Даже в уединенной комнате я слышала их за стеной, или над потолком, или под моей комнатой. Да, это были люди, но вместе с ними и работа и мысли, и эти новые мысли вытеснили прежнюю, враждебную людям мысль. То, что издали казалось пятном, дисгармонией, вблизи не так раздражало. Это часто бывает. Когда я была ребенком, меня неприятно поражали на выставке писанные маслом картины, полные безжалостного реализма, как, например, картины Репина. Чтобы разбить тяжелую иллюзию, я подходила вплотную и тогда переставала видеть картину. Передо мной были просто цветные пятна, а через краски просвечивали грубые нитки полотна, и казалось даже странно, почему они издали могли показаться мне страшными. Теперь, когда цветные пятна снова слились в далекую картину, мне хочется перенести эту картину на бумагу

и снова присмотреться к ней ближе, она уж слишком захватывает мое внимание и начинает угнетать меня.

Как-то я зашла на одну виллу, чтобы навестить знакомую барышню. Пригласили меня на целый день, поэтому я пришла с шитьем, и мы с хозяйкой расположились с работой в саду, на веранде. Я не знала, ни какого она рода, ни племени, едва знала имя моей знакомой, — это было летнее, минутное знакомство, одно из тех, что быстро возникают и так же быстро исчезают — «с глаз долой, из сердца вон». Если бы кто-нибудь взглянул на нас издали, то, пожалуй, подумал бы, что мы с нею добрые знакомые или даже подруги. Мы сидели за одним столом, шили и вели оживленную беседу, причем моя собеседница часто нагибалась ко мне, касалась моего плеча и заглядывала в глаза. Но если бы кто-нибудь прислушался к нашей беседе и подошел ближе, он понял бы, что беседа походила не на диалог, а скорей на монолог, прерывавшийся короткими репликами. Говорила моя собеседница часто, быстро, резким сопрано, то и дело прерывая самое себя то пением, то каким-то странным звуком, который она называла «цыганским взвизгиваньем».

Эти «взвизгиванья» служили главным образом для того, чтобы возбудить мое внимание, или, вернее, вовлечь меня в разговор. На самом же деле мое внимание вовсе не ослабевало, я только невольно отвлекалась то садом, то горами, и если бы не резкое сопрано моей собеседницы, наверно взятая с собой работа не была бы закончена. Поднимая голову, чтобы найти нужные мне предметы для шитья, я видела прямо перед собой темную, длинную дорожку, которая пробегала между двумя плотными стенами кипарисов, бежала, бежала и неожиданно словно обрывалась или проваливалась, а в узкой щели между кипарисами смеялось море своей свежей, искристой улыбкой, которая вызывала ясную улыбку и во мне...

— Почему вы смеетесь? — восклицала вдруг моя собеседница. — Вам моя песня кажется «тривиальной»? Ну, вот вам романс, на этот раз испанский. «О море, море, о ночь любви!..» — затянула она не-

естественным голосом. Так стонут, воркуя, египетские голуби.

Я снова склонилась над работой и, подравнивая рукава, прилаживая воротник, обдумывала, к какому типу относится моя собеседница. Она была молода, ей не исполнилось еще и двадцати лет, «девушка из хорошей семьи», как не раз говорила она о себе. В Крым приехала одна со старой не то нянькой, не то компаньонкой — приличия ради, — но ходила повсюду одна, а няньку посылала за покупками. Говорила с отвращением о «барынях с татарами» [1], но лучшими ее воспоминаниями были «цыгане», рестораны «Яр», «Стрельна» [2], с которыми, кажется, она была хорошо знакома. Профессии у нее не было. «Зимой я выезжаю, а летом уезжаю», — говорила она. «У нас в Москве», — так начинался каждый ее разговор и кончался: «Ах, ваша противная Ялта!»

— Ну, что вы здесь делаете? Что вы здесь можете делать, в этой нудной Ялте? — спрашивала она меня и, не ожидая ответа, продолжала: — По-моему, одно спасенье — влюбиться! Но в кого? Я здесь знаю одного... Ах, и вы, наверно, его знаете, это же известный сердцеед, Анатоль Б.! Не знаете? Боже! Да где вы живете? На земле или на небе? Но он годится только для флирта... «Я гуляю, слез не знаю, распеваю... ух!» — перебила она себя «цыганским взвизгиваньем». — Этот Анатоль такой нахал: вы подумайте, он мне просто в глаза говорит, что из меня бы получилась чудесная каскадная звезда, что у меня нет никакого голоса, mais que j'ai du diable! [3] Он себе слишком много позволяет; я ему вчера сказала, чтобы он не смел больше ко мне являться... Анастасия Ильинишна! — позвала она вдруг.

Старушка в белом чепце, с почтенным и очень кра-

---

[1] Татары, проводники в Ялте, известны как люди сомнительного поведения, и дамы, которые с ними ездят в одиночку, не пользуются доброй славой. *(Прим. Леси Украинки.)*

[2] Хорошо известные в Москве увеселительные заведения не слишком comme il faut. *(Прим. Леси Украинки.)*

[3] Во мне есть бесенок! *(фран.)*

сивым обликом выглянула из окна на веранду, где мы сидели.

— Чего вам? — спросила она унылым голосом, словно не ожидая ничего хорошего.

— Черт меня побери! — воскликнула барышня и покатилась со смеху.

Голова старушки сразу же исчезла, и окно с шумом захлопнулось.

— Ха-ха-ха! Как мои черти ее скандализируют! — заливалась барышня.

— Зачем же вы ей причиняете неприятность? — спросила я.

— Ах, боже мой! Чего только не сделаешь со скуки, — ответила она, все еще смеясь, потом стала серьезной. — А может быть, это и в самом деле скверно? Мне все говорят, что я чересчур часто чертей поминаю. А вы религиозны?

Я взглянула на нее и как-то не удержалась, чтобы не пожать плечами.

— Что же вы молчите? Разве это неуместный вопрос? Я уже вижу, что вы не религиозны. Это плохо, вы себя лишаете большого утешения, я бы так не могла. А я очень религиозна, вся наша семья такая, мы — москвичи, мы каждый год «иверскую поднимаем» [1]. Вы были в Москве? Нет? Много потеряли!.. Значит, и цыган не слышали? А я слышала, настоящих! Мама об этом не знает, о, боже сохрани! А я, бывало, отпрошусь, будто с братом и его товарищами едем в театр, а сами вместо этого на тройках в «Стрельну» — так весело!.. Вот вам цыганские романсы не нравятся, а если бы вы послушали, как их там сами цыгане поют!

Мы в тишине,
Наедине...

Ее красивое, с тонкими чертами лицо приняло такое «цыганское» выражение, что мне стало чрезвы-

---

[1] *«Иверская»* — «чудотворный» образ божьей матери в Москве. Набожные москвичи приносили ее время от времени к себе в дом, служили молебен и устраивали обед духовенству: это называлось «поднять иверскую». *(Прим. Леси Украинки.)*

чайно жаль ее, как жалко маленьких детей в цирке, когда они показывают чужим людям свои тоненькие, изломанные тельца. У девушки были чудесные черные, словно бархатные, глаза, их взгляд мог бы быть глубоким, тихим; фигура гибкая, лицо бледное с легким румянцем, такая молодая и уже больная...

— Скажите, а это все-таки правда, que j'ai du diable? У меня совсем цыганский тип. Пойдемте, я покажу вам свой портрет; все говорят, что он слишком приукрашен, а я думаю — нет. Пойдемте, там у меня вы свою блузку примерите, и я тоже переоденусь, — надоело в этих тряпках сидеть, — она указала на свой батистовый матросский костюм.

Мы вошли в дом. Собственно барышня занимала в нем три комнаты. В первой на столике, на видном месте, стоял тот портрет, который она хотела мне показать. Он стоял между двумя портретами — старого военного с густыми эполетами и немолодой дамы в черном визитном платье, прямой и гордой.

— Это мои папа и мама, — рекомендовала мне эти портреты хозяйка.

Ее собственный портрет был велик, больше кабинетного формата. Снята она была по пояс. Она была в белом открытом бальном платье, тоненькие ручки и гибкая детская шейка выделялись на темном фоне, будто алебастровые, узкая грудь была прикрыта обильными и пышными оборками, голова закинута резким движением вверх; при взгляде на нее прежде всего бросались в глаза белые, ровные зубы и искусственная улыбка; благодаря этой позе подбородок казался широким и грубым, черты лица укоротились, округлились. Глаза были подведены, увеличены, брови резко чернели, взбитые волосы целой копной возвышались над низким лбом. Я сказала, что портрет совсем не прикрашен, и барышня была этим очень утешена.

— Правда, хорошо сниматься в белом? — защебетала она снова. — Я всегда бываю на балу в белом, rien que du blanc! [1] Мои подруги сердятся, что матери

[1] Ничего, кроме белого! *(франц.)*

их так наряжают, а я люблю! Я тогда такая белая, томная. Скажите, правда же я красива? Моя сестра говорит, что это нескромный вопрос, она у нас prude [1], а я ничего такого в этом не вижу. Могу же я спросить, к лицу ли мне платье? Почему же не спросить, к лицу ли мне лицо? — Она засмеялась, довольная своим каламбуром.

Мне начинало казаться, что меня опутывает какая-то тонкая паутина и застилает глаза и затрудняет мне дыхание. В голове стоял туман. Чтобы не поддерживать разговора, я начала примерять свою недошитую блузку. Моя собеседница в это время набрала полный рот булавок и приготовилась помогать мне в примерке и вместе с тем не переставала говорить сквозь булавки комплименты совсем по-детски, не разбираясь в фасоне и материи.

— Мне бы в самую пору быть модисткой, ремесленницей, — заговорила она, закалывая мне блузку на плечах. — Вот посмотрите, как я вам ладно поправила. Оно бы, может, и хорошо было...

Она произнесла это с улыбкой, но глаза ее при этом стали совсем не цыганскими, а тихими и глубокими.

— Что, хорошо? — спросила я. — Так, как вы поправили?

— Нет, я не о том, а вот ремесленницей быть. Какой сейчас от меня прок? «Как от козла — ни шерсти, ни молока». Почему вы не морщитесь? Поговорка-то ведь тривиальная, правда? «Эх-ма! Поди прочь!» — воскликнула она снова, и тихое выражение исчезло из ее глаз. — Анастасия Ильинишна! Анастасия Ильинишна!

Старушка появилась в дверях, но не спрашивала уже словами, а только взглядом: «Ну, что там опять?»

— Где моя серая шелковая юбка? Куда она к черту запропастилась? — обратилась барышня к старухе.

— И зачем вы, барышня, все это черное имя поминаете? — спросила старушка тихим, укоризненным голосом.

---

[1] Щепетильна, стыдлива *(франц.)*.

— Где серая юбка? — повторила барышня, не обращая внимания на упрек старухи.

— Да в гардеробе, где же ей быть? Я еще вчера, когда вы пришли, ночью ее вытрусила, а сегодня рано утречком подшила да и повесила; уж у меня все в порядке будет.

— Тонкий намек, — шепнула мне барышня.

Старушка тем временем достала из шкафа серую шелковую юбку, бережно положила ее на стул, осмотрев еще раз подол, и спросила:

— А блузку какую наденете?

Барышня минуту подумала, приложив к губам палец.

— Не знаю еще, сама выберу.

— Так что ж, все, что ли, вынимать?

— Все. Что же вы смотрите? На кой черт их шить, если не носить?

Старушка с видом мученицы начала вынимать блузки из шкафа.

— Вот посмотрите! — окликнула меня барышня. — Вы уже окончили? Ну, так идите сюда на парад. Вот эта беленькая: материя хороша, а сшита — мешок мешком. Проклятая портниха, чтоб ей пусто было! Вот посмотрите, я надену. Правда же, мешок?

Я сказала, что действительно сшито немного неуклюже.

— Ну и к дьяволу ее, если так! — решила барышня, сорвала с себя блузку и кинула на пол.

Старушка тотчас же подняла ее, встряхнула и повесила в шкаф. Барышня начала примерять и показывать один за другим свои наряды, резко их критикуя и вместе с тем внимательно приглядываясь, какое впечатление производит на меня богатство ее гардероба. Примеряя, она, конечно, не молчала.

— Эта, алая, ничего себе, но не дневная, а вечерняя. Вот эта голубая мне иногда к лицу, но не сегодня. Вы, наверно, думаете, что голубая мне вообще не идет? Ошибаетесь: я из тех брюнеток, которые имеют право и на голубое... Ну, скажите же, что мне надеть? Может быть, эту шотландку? Вам должно понравиться: просто и строго.

— Ну, не очень-то строго, — улыбнулась я, взглянув на шелковую блузку в шотландскую клетку, синюю с красным, с дорогими прошивками и лентами.

— Для вас еще и это не строго? — удивилась барышня. — Ну, если так, так вы квакерша какая-то. А я все-таки эту надену, будет simple et distingué [1]. А чтобы угодить, надену не серую шелковую юбку, а черную, шерстяную. Няня, дайте черную юбку!

— Теперь уже черную? Она же не почищена, вы нынче утром так ее отделали...

— Так почистите сейчас, да скорей. Стойте, стойте, дайте сперва нижнюю, красную шелковую юбку, никак не найду, здесь сам черт ногу сломит.

Старушка быстро нашла нужное платье и вышла в садик чистить черную юбку. Барышня, одеваясь, так зашелестела и заскрипела шелками, что мои нервы не выдержали этого неприятного для меня шелеста и я вышла следом за старушкой.

В садике, на садовой кушетке, была уже разложена черная юбка, и старушка, бормоча что-то под нос, то била по ней прутом, то чистила щеткой. Увидев меня, она тотчас же обратилась ко мне с фамильярностью, присущей старым слугам, особенно московским:

— Чистое горе с барышней, с Аллой Михайловной, значит. Вот так, видите, день за днем, одно чисти, другое вытряси, да еще и так: работаешь, стараешься, вот, думаешь, угожу, а оно, смотришь, уже и не годится, подавай другое. Это бы еще ничего, дело господское, да только же у них все так, прости господи, без толку. И в кого она такая пошла? Кажется, родители хорошие господа, папаша — генерал, мамаша — профессорская дочка, старшие сестрицы в институте учились, за хороших людей замуж повыходили. Охо-хо, все-то баловство! Меньшая, мизинчик, да еще вот господь послал испытание — здоровьем слаба. Хотя бы помогла царица небесная здесь поправиться. Уж сколько этим докторам плачено, уж сколько денег всюду разбросано — и-и-и, не сосчитать!

---

[1] Просто и изысканно *(франц.)*.

Из открытого окна слышался голос Аллы Михайловны, выводившей с ударением на ферметах:

До самой до зари, до рассвета
Он жарко меня целовал...

Девушка сидела у окна за столиком перед зеркалом, на котором горела спиртовая лампочка и грелись щипцы для завивки волос. Время от времени она отделяла прядь своих чудных черных волос, навивала ее на щипцы, и волосы начинали трещать.

Няня отнесла в дом вычищенную юбку. Спустя довольно продолжительное время Алла Михайловна вышла из дому в красной шляпе и с красным зонтиком в руках.

— Давайте пройдемтесь немного, — сказала она, взяв меня под руку.

— Хорошо, — ответила я, — кстати мне и домой пора, видите, как я задержалась.

— Ну, домой еще успеете! Пройдемте через сад отеля «Россия», а потом зайдем в городской сад на музыку, — уже скоро шестой час. — Она взглянула на маленькие часики, пришпиленные брошкой-кокардой к талии. — Послушаем музыку, посмотрим на людей, там, наверно, встретим Анатоля, я вам его представлю.

— Нет уж, избавьте по крайней мере хоть на сегодня от такого знакомства, — сказала я смеясь.

— Ага, просите пощады, боитесь за свой покой! — дразнила меня Алла Михайловна.

— Действительно боюсь, — ответила я. — Сегодня море, посмотрите, какое красивое, вот я и боюсь, вдруг господин Анатоль своей особой и разговором испортит впечатление.

— Почему вы так строго к нему относитесь, разве вы его знаете?

— Его не знаю, но таких, как он, видела достаточно. Сердцеед — это далеко не новый и не оригинальный тип.

Так беседуя, мы шли вниз к улице по кипарисовой аллее, по той самой аллее, которая, казалось, завершалась морем, но в действительности кончалась довольно крутой лестницей и замыкалась зеленой калиткой; эта

зеленая калитка была словно границей зеленого края, из которого мы выходили. На улице было страшно жарко; мелкая, мягкая, белая пыль, словно дым, вставала над дорогой от малейшего прикосновения, к тому же чуть повыше улицы строились два больших каменных дома; то и дело проезжали с безумным грохотом нагруженные строительным материалом телеги, целые облака пыли застилали свет и серым слоем покрывали придорожные кипарисы, туи и другие деревья, окружавшие, словно высокой стеной, господские виллы, — их было много на этой улице, отдаленной от центра и базаров.

На улице Алла Михайловна ускорила шаги и старалась закрыться от пыли зонтиком; одной рукой она приподняла черную юбку так, что нижняя красная горела, как огонь; но с другой стороны юбка касалась земли и стала совсем серой от пыли, однако барышню это нисколько не смущало.

— Фу! — промолвила она, сморщив носик. — Как гадко стало на этой улице с тех пор, как строят эти дома. И что за глупая фантазия — возить, строить, когда начинается сезон, строили бы зимой, когда никого нет.

— Как никого нет? — сказала я. — В Ялте круглый год живут люди.

— Ах, я не о них думаю! Ведь зимой тут нет никого de la société [1]. Подумайте, в каком виде я приду на музыку.

— Право, жаль ваш наряд, — заметила я, думая об Анастасии Ильинишне, которая так старательно чистила эту юбку.

— Наряда не жалко, в этой противной Ялте я одеваюсь, точно кухарка, ни за что не появилась бы в таком виде в Москве! Но вот что мне досадно: при таких убогих нарядах нужно, чтобы хоть естественная красота выручала!

Мне казалось, что она напрашивается на комплимент, но тон у нее был искренний.

---

[1] Из общества *(франц.)*.

— Действительно, здесь невозможно хорошо одеваться. Ну, взять, например, хотя бы шляпку: вчера обегала всю Ялту и нашла вот это старье за десять рублей. А портнихи, магазины? И дорого и скверно!.. Ужасно здесь все дорого!

Меня удивил этот необычный для нее приступ экономии.

— Мне казалось, — промолвила я, — что вас не очень пугает дороговизна.

— Так-то так, а все-таки... Мне папа дал тысячу рублей на сезон, я доехала, прожила две с половиной недели, и знаете, сколько у меня осталось? Двести рублей! Ха-ха-ха!

Она весело засмеялась.

В эту минуту навстречу нам шел молодой рабочий с ведром зеленой краски в одной руке и с большой кистью в другой; с кисти капала краска и оставляла на белом запыленном тротуаре зеленую дорожку, словно усыпанную мелкими листьями. Рабочий был еще очень молодой, слабосильный юноша. Ведро было ему не по силам, пот катился обильными каплями из-под низенькой смушковой татарской шапочки на темный, точно бронзовый, лоб. Паренек, поровнявшись с нами, как раз утирался замазанным рукавом, кисть оказалась на уровне шляпки Аллы Михайловны и чуть не оставила на ней зеленого листочка. Алла Михайловна отклонилась так неожиданно, что едва не столкнула меня с тротуара, и закричала юноше:

— Посторонись, любезный, посторонись! Вот мужлан! — прибавила она немного тише.

Паренек немного посторонился и руку с кистью заложил за спину, чтобы не задеть барышню, но при этом бросил такой взгляд в нашу сторону, что мне стало неловко. Не знаю, заметила ли этот взгляд Алла Михайловна и сумела ли прочесть в нем и понять этот страшный, фатальный антагонизм — более суровый, чем черные глаза рабочего. Не знаю, заметил ли юноша взгляд, который бросила ему барышня вместе с презрительными словами. Но я уловила оба взгляда, и мне стало страшно — в них отразилась, можно сказать, целая история.

Юноша давно уже прошел, а я все думала о его мрачном взгляде, и поэтому пустые речи, беззаботное щебетанье моей собеседницы производили на меня какое-то тяжелое, почти трагическое впечатление... Бедная Красная шапочка бегает себе по густому лесу, гоняясь за яркими мотыльками, не думая, что будет, когда солнце зайдет и кровавое зарево разольется по лесу, птицы замолкнут, мотыльки попрячутся под листочками, а среди темных кустов загорятся диким огнем волчьи очи.

— Mon petit Chaperon Rouge, ne va pas dans la forêt! [1] — Я не заметила, что сказала это вслух.

— Il y a le loup qui va te manger [2], — закончила барышня и засмеялась. — О, не беспокойтесь, я этого волка не боюсь, у меня есть на него свои виды.

Я взглянула на нее с удивлением. Какие виды? Какие могут быть у нее виды?

Она продолжала весело улыбаться.

— Я знаю, вы намекаете на Анатоля...

Ах, вот что!.. Пришлось молча принять такой оборот разговора.

— Вы, может быть, думаете, что я уже «страдаю»? О нет! Правда, он меня интригует. Знаете, какая мысль меня занимает? Взять и вскружить голову сердцееду, да так вскружить, чтобы он просто обезумел, а потом сказать: adieu! [3] и уехать себе в Москву, а он пусть «страдает». Вот была бы штука! Черт меня побери! — Она приготовилась взвизгнуть по-цыгански, но вовремя удержалась, прикрыв рукой рот. — Что это я с ума сошла! Ведь мы же на улице!

Мы очутились перед входом в сад отеля «Россия». Алла Михайловна остановилась, закрыла зонтик, выбила им пыль из своей юбки, потом платочком отряхнула зонтик и блузку, попросила меня посмотреть, в порядке ли ее волосы и шляпка, спрятала платочек, снова раскрыла зонтик и подобрала юбку, на этот раз соблюдая симметрию. Собственно говоря, теперь не

---

[1] Моя маленькая Красная шапочка, не ходи в лес! *(франц.)*.
[2] Там волк, который тебя съест *(франц.)*.
[3] Прощайте! *(франц.)*

было особой надобности поднимать юбку, так как дорожки в саду были усыпаны гравием, а пыльная улица осталась за калиткою.

Мы шли по дорожке сада, то и дело встречая разряженных дам с гордыми минами и господ, которые двигались модной походкой, ступая на пятки, раскачиваясь и поднимая вверх плечи.

— Алла Михайловна, — заговорила я, — зачем вам понадобился этот Анатоль? Оставили бы вы лучше эту «штуку», как вы ее называете.

— Зачем понадобился? Говорю же вам: интересно. И знаете, что я вам скажу? Вам это должно понравиться, — я это делаю отчасти ради идеи.

Я от удивления широко открыла глаза.

— Вот так, для идеи — реванша! Он, наверно, уже немало женщин заставил страдать, пусть теперь несет наказание.

— Нет, Алла Михайловна, меня ваша «идея» не очаровывает.

— Почему?

— Потому что этот ваш «реванш»... как бы вам сказать? Вот как у вас в Москве говорят: «овчинка выделки не стоит».

Алла Михайловна внезапно покраснела.

— Что ж делать! К другим идеям я не способна, это не моя специальность — идеи... А откуда вы знаете, что не стоит «выделки»? Вы же не знаете Анатоля?

Мне показалось, что ее немного обидел мой тон, и я постаралась переменить разговор. Вообще беседа с Аллой Михайловной начинала меня утомлять. Темы у нас менялись часто и без цели, как разноцветные стекла калейдоскопа. Я была рада, когда мы остановились перед воротами городского сада, где взад и вперед сновала публика.

Я подала руку Алле Михайловне.

— Будьте здоровы, здесь мы разойдемся! Я пойду домой.

— Как так? — запротестовала она, задерживая мою руку. — А я думала, что вы составите мне компанию в саду. Как-то даже неудобно одной прогуливаться.

— Ну, ничего, у вас много знакомых, кого-нибудь найдете, — начала я ее уговаривать, но заметила, что она меня не слушает, а смотрит куда-то в глубину входной аллеи разгоревшимся взглядом.

— Анатоль идет! — шепнула она, встряхнув мою руку.

В отдалении показался молодой человек с тросточкой в руке, в светлом английском костюме и в жокейской шапочке. Он шел той же модной походкой, что и молодые люди у отеля «Россия». Его лица я не могла рассмотреть, так как он был еще достаточно далеко.

— Ну, тем более до свидания! — сказала я и высвободила свою руку.

Алла Михайловна не удерживала меня больше и, прощаясь, даже не взглянула на меня. Она стояла в гордой позе, высоко закинув голову, точь-в-точь как на портрете, который я видела, и выражение лица было такое же, только на яркокрасном фоне зонтика и шляпки оно получалось еще более «цыганским».

Молодой человек приближался к воротам, небрежно помахивая тросточкой. Я повернула от ворот, но не домой, как сказала Алле Михайловне и как действительно намеревалась. Меня привлекло море. Оно расстилалось далеко-далеко, широкое, спокойное и нежно-розовое. Я жаждала этого розового спокойствия, оно было мне крайне необходимо после утомительного дня. Я спустилась к самому морю по лестнице, которая ведет с набережной к маленькой площадке между так называемым «сквером» и городской купальней. Это единственное место в Ялте, где можно сидеть просто на песке, а не на скамейке и видеть, как волна вольно разливается по берегу, не разбиваясь о гранит набережной или о громадные камни, нарочно набросанные вдоль стены, чтобы защитить ее от морского прибоя. Это единственное место, где за целый сезон можно пробыть хотя бы пять минут в одиночестве.

Солнце уже пряталось за горы, хотя еще не было поздно. Город был укутан длинной тенью гор, только узенькая полоска берега передо мной еще блестела в его последних лучах. Горные склоны совсем далеко

за молом спускались в море темносиней тучей, и все темнело, темнело... По розовой равнине моря пробегали то золотые, то голубые искры, менялись, бледнели, а вместе с ними бледнел и розовый цвет. Но вот и он исчез. Повеял внезапный ветерок, волна всплеснула громче, освещенная полоска берега почернела, тень быстро побежала прочь к середине моря, которое покрылось белыми барашками. Потом так же неожиданно исчезли барашки и ветер, а море снова стало спокойным, гладким, только сизым, как голубиные крылья. Это спустились внезапные летние сумерки, спустились, задрожали и успокоились. Далеко-далеко, на самом горизонте, лег опаловый свет — отблеск солнца. Для Ялты солнце уже зашло, но в степях за Яйлой [1] оно светило. Мгновение — и горизонт станет фиолетовым, еще минута — и месяц торжественно выплывет из моря и проложит до самого берега широкий, золотой, прозрачный путь, встанут звезды над горами и светлой толпой пойдут за месяцем, поодаль от него, словно почитая его волшебную власть. Я ждала этой минуты, этого тихого, величественного, триумфального шествия небесных светил...

«Та-ра-ра-бум-би-я!» — грянул вдруг духовой оркестр в городском саду, пробиваясь сквозь шум людских шагов и голосов. Я встрепенулась, точно пробужденная от сна. Тут же, возле меня, так близко, над каменной оградой сквера сновала толпа людей, жаждущих утех, шума, угара, — а я еще мечтала о спокойной радости стихии! Тщетная мечта!

Я встала и собиралась идти домой, когда наверху, над лестницей, послышался голос Аллы Михайловны. Я скрылась в тени купальни, мне сейчас не хотелось встретиться с ней. Мне хорошо была видна ее фигура в прозрачных сумерках летнего вечера. Она стояла, взяв под руку Анатоля, и постукивала зонтиком по каменной ограде. Мне видно было совершенно отчетливо лицо Анатоля. Почему-то в моем представлении он был красивее, чем оказался на самом деле. Обыкновенное

---

[1] *Яйла* — горный кряж, окружающий Ялту и отделяющий ее высоким плоскогорьем от степи. *(Прим. Леси Украинки.)*

прилизанное, фатовское лицо... Когда мы видим такие лица на картинах, то говорим, что они скверно написаны, грубо, словно из картона вырезаны и покрыты лаком. Однако такие лица часто встречаются в действительности. Анатоль и Алла Михайловна держались очень близко друг к другу, он прижимал локтем ее руку, а она касалась шляпкой его жокейской шапочки.

— Так что вы говорили обо мне с Трапинским? Признавайтесь сейчас же! — допытывалась Алла Михайловна у Анатоля. — Признавайтесь, а то вашу шапочку закину в море!

Она попыталась сорвать с него шапочку, но он схватил ее за руку.

— Ага, вот вы и в плену! Но победа делает меня добрым: я мог бы не говорить, но скажу. Мы с Трапинским держали пари, что вы не осмелитесь пропеть наедине со мной: «Мы в тишине, наедине...»

— Ого! Не осмелюсь? Я бы сейчас запела, если бы не на улице.

— Ловлю вас на слове, пойдемте в сад, в боковую аллею!

— Что ж, идемте!

Они быстрой походкой направились через улицу в сад.

Дня два спустя после этого вечера я сидела в городском саду на балконе курзала и читала. Вдруг кто-то окликнул меня по имени. Я посмотрела вниз. Алла Михайловна махала мне рукой.

— Идите-ка сюда! Бросьте к черту эти журналы и спасайте живого человека!

— Кого спасать? Кто погибает? — спросила я.

— Меня спасать! Я погибаю от скуки!

В голосе барышни звучала нервная нотка.

Я сошла к ней. Подойдя поближе, я сразу заметила, что ею владело какое-то раздражение, в глазах отражалось беспокойство. Она держала в руках большой, толстый листок магнолии и рвала его на мелкие кусочки; раскрытый зонтик валялся рядом на земле.

— Почему вы так скучаете? — спросила я поздоровавшись.

— А что же мне делать? Какие тут развлечения, в этой адовой яме, где собаки бесятся от жары, а люди от скуки.

— Вы, кажется, нашли себе развлечение?

— Это вы про Анатоля? А ну его к черту! Я прекращу с ним знакомство.

— Давно бы так, — заметила я.

Но девушка продолжала не слушая:

— Что он думает? Вы знаете, что он вчера выпалил, когда я не захотела ехать с ним вдвоем на Учан-Су? [1] Поймите сами, разве можно порядочной девушке ехать с ним вдвоем, да еще в горы?

— Если вы спрашиваете мое мнение... — начала я.

Но она снова перебила:

— Разумеется, я не захотела и не поехала, тогда он разозлился и ляпнул: «С вами, *светскими барышнями,* страшная скука! Бесконечная возня! Не умеете вы быть ни до конца добродетельными, ни до конца развратными, все наполовину». Так и сказал: «развратными»! Нахал! За кого он меня принимает?

— Послушайте, Алла Михайловна, я не буду читать вам мораль, все равно не станете слушать, а скажу только, что лучше предоставить эти реванши француженкам: нам, славянкам, они не по темпераменту.

Алла Михайловна встрепенулась:

— Француженкам? Разве вы знаете? Слышали про нее?

— Про кого? — удивилась я.

— Про mademoiselle Girod, рыжую француженку! Она рыжая, как огонь, и одевается в зеленое.

— Видела что-то в этом роде. Но какое нам дело?

— Вчера Анатоль сказал: «Вот mademoiselle Girod, наверно, была бы смелей вас, il n'y a que les françaises pour ces escapades là!» [2] Вы, наверно, это слышали.

---

[1] *Учан-Су* — горный поток с водопадом в окрестностях Ялты. *(Прим. Леси Украинки.)*

[2] Только француженки способны на подобные проделки! *(франц.)*

Скажите, какой вам показалась эта Girod? Право же, она безобразна, как смертный грех?

— Не знаю, правда, не присматривалась. Однако, Алла Михайловна, здесь жарко, может быть, пойдем в читальню?

— Ах, что вы там не видели? Там еще хуже, душно.

— Ну, тогда пойдем погулять в парк, что ли.

— Побойтесь бога! Такое пекло! Я только с горы и снова на гору?

— Ну, не хотите ходить, поедем на лодке, сегодня ветерок, под парусами было бы чудесно!

— Чтоб я поехала на лодке, да еще под парусами? — Алла Михайловна замахала руками. — Ни за что на свете! Меня сразу укачает. Да и вообще я не люблю вашего «прекрасного» моря; меня тошнит, когда смотрю на это колыханье. Мне кажется, что это все больше ради «приличия» рассыпаются: ах, море! ах, море! А если сказать по совести, — вода да и только. Мы не земноводные...

Меня начинали раздражать и этот разговор и жара; я уже думала, как бы ускользнуть от Аллы Михайловны, но она сразу изменила тон.

— Милая, голубушка, пойдемте есть мороженое!

Она сказала это так по-детски, искренно, что моя досада прошла.

— Ну, ладно, — согласилась я улыбнувшись, — только я не хочу здесь, в саду, как-то противно на дороге.

— Нет, нет, мы пойдем в павильон, это же на море, вам должно понравиться. Вы будете на свое прекрасное море смотреть, а я на людей.

— Кто больше увидит!..

Мы пошли есть мороженое в приморский павильон. Алла Михайловна заняла место за крайним столом, поближе к улице, а я села за тем же столиком напротив. Море тут же около нас билось о столбы. Я поглядела вниз, и мне стало жаль «своего прекрасного моря», — его темнозеленая бархатная волна просвечивала из-под мусора: арбузные корки, семечки, желтые полосы и какие-то красноватые разводы наплывали от барок и парохода с нефтью, который разгружался на

пристани. Там же стоял, разводя пары, другой пароход, с углем, черный, приплюснутый, словно черепаха, — он выбрасывал короткими выхлопами из трубы дым и распускал сажу по всей пристани. Маленький катер с частым пронзительным хлопаньем выплыл за мол, лодки на веслах и на парусах сновали по заливу. Перед купальнями то исчезало, ныряя, то появлялось бесчисленное множество людских голов. Говор, свистки, крики, звонки... И все-таки весь этот шум не мог заглушить рокота всепобеждающего моря; эти отбросы покрывали только прибрежные волны, а там, за пристанью, расстилался чистый, синий простор, и не было на нем пятен, только золотистые отражения тучек гуляли по морю, а далекие лодки с парусами казались большими белыми мотыльками. Горизонт начинал манить меня непреодолимо...

Вдруг Алла Михайловна подтолкнула меня и вскрикнула. Я обернулась.

— Посмотрите, они! — Алла Михайловна указала взглядом на набережную.

Посреди улицы показались два всадника — мужчина и женщина. Они ехали быстро, галопом, взмахивая нагайками; только поровнявшись с павильоном, немного замедлили бег. Я узнала в мужчине Анатоля. Женщину я не знала. Она была дородна, на рыжих, красноватых волосах сидела жокейская шапочка такого же фасона, как у Анатоля. Анатоль, увидев Аллу Михайловну, снял шапочку и, широко взмахнув ею, опустил чуть не до стремени. Рыжая барыня повернула голову в нашу сторону, засмеялась и наклонилась к Анатолю, что-то говоря. Потом они снова взмахнули нагайками и умчались.

Алла Михайловна сидела красная, стеклянная ложечка в ее дрожащей руке постукивала о вазочку с мороженым. Она молча достала деньги, расплатилась и так же молча пошла прочь от павильона. Я остановила ее, чтобы попрощаться; она так же молча, не поднимая глаз, подала мне руку. Я наблюдала из павильона, как она шла по улице, опустив голову, забыв раскрыть зонтик, который держала в правой руке;

другая, свободная, рука свисала безвольно, светлая юбка волочилась по земле. Алла Михайловна шла неровно, то быстро, то совсем останавливалась, потом круто повернула с набережной и быстро пошла узкой улицей в гору, словно убегая...

Прошло много дней, прежде чем мы увидались с Аллой Михайловной. Однажды в полдень, проходя по скверу, я увидела ее на ступеньках, которые вели к малому причалу, где привязывали лодки. Она сидела, опершись головой на руку, и, казалось, смотрела на море, которое было в тот день неспокойно, отливало то темною сталью, то ярким изумрудом, щетинилось грозными бурунами и все чаще доплескивалось до стены сквера.

Алла Михайловна была в черной амазонке, на голове низенький цилиндр, в руке тросточка. Она сидела на самой верхней ступеньке, и брызги часто долетали до трена ее амазонки, который свисал с лестницы, но Алла Михайловна, казалось, не замечала этого. Глядя со стороны, можно было подумать, что она поглощена созерцанием моря, — это было так необычно, ведь она же не раз говорила, что не любит «разводить сентименты с природой».

Я подошла к ней.

— А что, Алла Михайловна, и вас покорило «прекрасное море»?

Она обернулась и посмотрела на меня затуманенным взором. Я заметила, что глаза ее были или утомлены, или заплаканы; румянец пятнами отчетливо выделялся на бледном, исхудалом лице.

— Море? — сказала она протяжно. — Нет, это меня Лизочка сюда притащила.

Тут я обратила внимание на тоненькую беленькую девочку лет семи, дочку соседки Аллы Михайловны. Я знала эту девочку. Мать ее была учительницей и почти целыми днями ходила по урокам, а девочка, соскучившись в одиночестве, прибегала постоянно к «тете Алле», которая баловала ее, закармливала конфетами и часто брала с собой «на музыку». Обе девочки, маленькая и большая, искренно дружили. Я часто заставала их увлеченными беседой или детской игрой.

В такие минуты Алла Михайловна забывала свою «цыганщину» и казалась старшею подругой семилетней Лизочки, этак года на два-три старше ее. Девочка чувствовала себя совершенно свободно в обществе «тети Аллы». Вот и теперь она весело прыгала со ступеньки на камни, стараясь перескочить как можно больше камней и вернуться на лестницу, пока волна не докатится до берега. Желтые ботиночки и подол матросского костюма были уже совсем забрызганы водой; я обратила на это внимание Аллы Михайловны.

— А правда, Лизочка, довольно уже тебе прыгать, да и вообще тут сыро, пойдем. — Алла Михайловна встала. — Хорошо, что вы пришли, если я задержусь здесь, то попрошу вас отвести Лизочку домой, а теперь пойдемте в сад, противно тут — мокро и шум этот...

Мы перешли через улицу в сад. Там в эти часы бывает мало публики, все больше няньки с детьми, которые держатся главным образом около гимнастической площадки и у качелей; туда же побежала и Лизочка.

— Вы, Алла Михайловна, собираетесь кататься верхом? — спросила я.

— Нет.

— А почему же вы в амазонке?

— Так, теперь мода гулять в амазонках.

Мы шли с ней на главную аллею и уже миновали павильон для оркестра, как вдруг она повернула обратно к гимнастической площадке.

— Лизочка! — позвала она.

Девочка подбежала.

— Послушай, Лизочка, поди... — Алла Михайловна говорила отрывисто, нерешительно. — Поди на большую аллею, там... на длинной скамейке... господин читает газету... Господина ты знаешь... Скажи ему, что... что ты... только что была на гимнастической площадке и что... тетя Алла с тобой... Иди!

— Алла Михайловна! — вскрикнула я. — Лизочка, не ходи!

Но девочка уже быстро бежала между скамейками к главной аллее и не слышала моего зова.

— Алла Михайловна! — повторила я с невольным укором.

Она в это время села на ближайшую скамью и стала быстро-быстро сбивать тросточкой камешки. Она густо покраснела и начала оправдываться:

— Что же я сказала? Я ничего не сказала... Лизочка его знает и сама подошла бы к нему...

Я замолчала и старалась не смотреть ей в лицо.

Через минуту девочка уже возвращалась к нам.

— Ну, что? — спросила Алла Михайловна, забыв свое смущение.

— Ничего, — ответила маленькая.

— Как ничего? Ты же видела этого господина? Что же ты ему сказала?

— Я сказала, что пришла на качели и вы пришли со мной, что вы тут сидите.

— Что же он?

— А он говорит: «А, сидит? Ну хорошо, пусть сидит...» Потом встал и ушел.

— Куда ушел?

— В курзал.

Алла Михайловна побледнела, посмотрела перед собой широко раскрытыми глазами; гнев и отчаяние отразились в них.

Я послала Лизочку на качели и начала уговаривать Аллу Михайловну идти домой, но она не хотела.

Через некоторое время мы услышали чьи-то шаги на дорожке, закрытой от нас кустами, и голос, напевающий шансонетку:

C'est pas de la soupe ça,
C'est pas de la soupe ça...

— Идет... — шепнула барышня и сразу же гордо выпрямилась.

Действительно, из-за кустов вышел Анатоль, приближаясь к нам своей небрежной походкой; поровнявшись, он прикоснулся рукой к своей шапочке, кинул сквозь пенсне безразличный взгляд на Аллу Михай-

---

[1] Это — не суп *(франц.)*.

ловну и направился к воротам. Через несколько шагов он снова начал:

C'est pas de la soupe ça,
C'est du chocolat!..

Вышел за ворота на улицу и исчез в толпе.

Алла Михайловна схватила меня за руку и сдавила так, что я чуть не вскрикнула. Я посмотрела на нее: лицо у нее было такое, что, казалось, вот-вот она зарыдает.

— Алла Михайловна! Опомнитесь! Пойдемте отсюда, пойдемте! — И я повела ее в туалетную курзала.

Там она упала на канапе и судорожно зарыдала. Потом вскочила, схватила меня за руки; стискивая их и припадая ко мне, заговорила между рыданиями что-то неясное, как в бреду.

— Так... Так и нужно... Ненавижу... его... и себя... Ой, болит, болит, тут болит... — И она схватилась за грудь.

Я дала ей воды, переждала, пока пройдет первый приступ, потом посоветовала ей ехать домой, так как вряд ли она дошла бы пешком. Она поднялась и направилась к дверям, но остановилась, словно что-то вспомнила, подошла к зеркалу, поправила волосы и цилиндр, попросила у меня вуаль, закрыла ею лицо и тогда только пошла. Я позвала Лизочку, усадила ее вместе с Аллой Михайловной в фаэтон, да и сама поспешила домой, потому что по набережной свистел ветер и разгневанное море бросало дождь брызг, которые долетали до самых магазинов. Но небо синело, как и прежде, и солнце сияло горячим золотом по краям тучисполинов. То была летняя, веселая буря.

В тот же вечер, когда я сидела дома и писала письмо, кто-то постучал в дверь. Я не ждала гостей, подумала, что это прислуга, не оставляя своего письма, отозвалась: «Войдите!» Дверь скрипнула, но никто не вошел. Я обернулась. Смотрю — на пороге стоит Анастасия Ильинишна.

— Анастасия Ильинишна! Вы? Случилось что? Может быть, с барышней плохо?

— Ох, плохо, плохо, барышня голубушка! Уж и не знаю, что это такое, вчера еще совсем здоровенькие были, а сегодня утром головка заболела. Говорила: не ходите, барышня, на музыку, ветрено, захвораете. Так куда там, разве послушают. А тут еще эта Лизка прицепилась... Вот и беда. Ах, грехи!..

— Что же, Алла Михайловна очень больна?

— Лежат. Доктор был, велел лежать... А я к вам, — тут старуха поклонилась мне, — Алла Михайловна просят к ним пожаловать. Одни здесь — ни совета, ни утешения, какая ей от меня, глупой, польза? Я совсем голову потеряла.

Старушка начала утирать глаза передником.

— Не печальтесь, может быть, дело не так плохо, как кажется, — утешала я старуху, собираясь в путь.

Всю дорогу, пока мы ехали, старуха охала и причитала. И барышню ей жалко и страшно, что «папаша и мамаша» скажут, почему «не досмотрела дите».

Аллу Михайловну я застала в постели, в той комнате, где когда-то мы с нею мерили блузки. При входе в комнату мне прежде всего бросился в глаза большой образ в золотом окладе и лампада перед ним. Раньше я его не замечала. Алла Михайловна лежала разметавшись, черные волосы густой сеткой покрывали белую подушку, глаза горели, лицо пылало, из открытых уст вырывалось короткое, хриплое, частое дыхание.

— Ах, вы пришли! — приветствовала она и протянула горячую, влажную руку. — Скажите, посоветуйте, что мне делать? Я пошлю маме телеграмму, пусть приедет, а то что же это такое? Я одна здесь, больна, может быть умру...

Голос у нее ослабел, стал тихим, тонким, словно детским. Видно было, что она напугана, но приход свежего человека как будто придал ей немного бодрости.

Я уверяла ее, что она выглядит не так плохо, отсоветовала посылать телеграмму; стала расспрашивать, какие лекарства прописал доктор и что ей обычно делают в таких случаях; положила ей на голову компресс. Она понемногу успокоилась, распорядилась, чтобы

Анастасия Ильинишна подала мне чаю, потом взяла мою руку и прижалась к ней горячим лицом.

— Знаете, я не думала, что вы такая милая, у вас иногда такой неприступный вид. Не спорьте, я знаю, что часто кажусь вам дурочкой. Что ж, не удивительно...

Я просила ее не волноваться и прекратить такие разговоры.

— Нет, нет, я не волнуюсь, — отнекивалась она, — я хочу вам сказать, что я почувствовала себя с вами совсем непринужденно. Я и в Москве знала таких, как вы...

— Каких же это «таких, как я»?

— Таких... Других, чем я... Только они все какие-то неприветливые, с ними холодно, они разговаривают так, как будто им слов жалко, точно это для них напрасный труд — «метать бисер». И все куда-то торопятся, все им некогда...

Я улыбнулась:

— Ну, тогда я не такая, так как я никуда не тороплюсь и времени у меня больше, чем нужно.

— Ах, я не об этом... — Она откинулась на подушку, закрыла глаза, смолкла, спустя минуту начала снова: — Знаете, одна моя кузина ходит на фельдшерские курсы...

Мне показалось, что у нее начинается бред, но она была в полном сознании.

— Эта кузина и меня уговаривала поступить на курсы, говорила, что это интересно: наука, товарищи, кружки... папа и мама позволили бы, теперь это ведь в моде, например коллективные курсы (фельдшерские и тому подобное). Ну, я пробовала, достала программы, но это все так нудно и непонятно, я не привыкла учиться. Перелистала программы, и еще глупее самой себе показалась... Нет, ничего из меня не получится... Мама говорит: «Займись музыкой». Ну, а что толку? У меня сестра консерваторка, мучилась, мучилась, выламывала пальцы, всем отравляла жизнь своими упражнениями, а теперь совсем не играет — вышла замуж... Почему вы чай не пьете? Няня, дайте варенья!

После чаю она снова вернулась к своей теме:

— Говорят, я эгоистка... Правда, я могу делать только то, что мне приятно. Но порой я не знаю, что собственно мне приятно. Я бы хотела знать, всем ли бывает так скучно и противно, как мне? Вы, наверно, думаете, что я капризничаю, потому что... Знаете, на что я намекаю?.. Только я и без того иногда так думаю... А что касается этого, мне только досадно на себя: вела себя, как глупая девчонка, и он может подумать, будто я на самом деле умираю по нем, а мне наплевать.

Это было первое резкое выражение за весь вечер.

— Алла Михайловна, — перебила я ее, — по-моему, вам вредно так много говорить, может быть, мы лучше что-нибудь почитали бы?

— Ну, хорошо, — согласилась она, — там на столике новый роман Gyp, я недавно купила, еще не читала.

Я взяла эту книжку, «L'Amour moderne» [1], кажется. Книжка была маленького формата, красиво издана, с картинками на обложке, на красном фоне какие-то фигуры, едва прикрытые кисеей, в неестественных позах, с диким выражением, словно они куда-то исступленно мчатся или корчатся в пляске святого Витта.

Я начала читать вслух. Французские каламбуры, короткие разговоры, эксцентричные афоризмы, описания, полные тонкой распущенности мысли и фантазии, цеплялись одно за другое, точно кольца цветной бумажной цепочки. При чтении слишком «рискованной» сцены я взглянула на Аллу Михайловну, — она уже не лежала, как прежде, с закрытыми глазами, а опиралась на локоть, приподняла голову и смотрела на меня горящими, широко открытыми глазами, чуть дыша, с жадным любопытством ловя каждое слово романа.

— Ну, что же вы остановились? — воскликнула она с досадой, когда я сделала паузу.

— Думаю, на сегодня довольно, — сказала я, закрывая книжку,

---

[1] «Современная любовь» *(франц.)*.

— Э, нет, читайте, читайте, это так интересно! Как вам не стыдно, на самом интересном месте остановились!

— Мне кажется, это действует вам на нервы, а вы еще больны. Нет ли у вас другой книжки?

— Есть там, на полке, только все старые, читанные.

Я просмотрела книжки, главным образом французские: «Demivierges», «Contes jaunes», «Pour lire au bain»...[1]

Были и русские: рассказы Лейкина, роман Ясинского...

— Эти книжки у вас из дому? — спросила я.

— Нет, это здесь, в Ялте...

Я заметила на некоторых книжках надпись: «Anatol B.».

— Значит, не будете читать Gyp? — допытывалась Алла Михайловна.

— Нет, не буду. Может быть, вы позволите принести вам завтра какую-нибудь другую книжку.

— Другую?.. Какую же?

— Еще не знаю, какую-нибудь более спокойную.

— Я не люблю «добродетельных» книжек, pour les enfants sages![2]

— Мы выберем что-нибудь «без добродетели и порока».

— Ну да, больничную литературу, для чахоточных. Что ж, мне это как раз к лицу...

Она начинала капризничать.

— Как хотите! — сказала я. — Будем читать Gyp, но только не сегодня. Уже поздно, вам пора спать, да и мне страшно будет домой идти! Спокойной ночи!

Я оделась, попрощалась и направилась к двери. Алла Михайловна вернула меня:

— Идите сюда. Вы сердитесь?

— Уверяю вас, нет.

— Quelle cachottière![3] Ну, доброй ночи... Прине-

---

[1] «Полудевы», «Небылицы», «Для чтения в ванне» *(франц.)*.

[2] Для послушных детей *(франц.)*.

[3] Какая скрытница! *(франц.)*

сите завтра книжку, будем читать. — Она улыбнулась и слабо пожала мою руку.

Когда я пришла на другой день, Алла Михайловна еще лежала, но не в постели, а на кушетке, одетая в длинный серо-голубой пеньюар. Лицо у нее было свежее и вид спокойный.

— Ну, что, принесли книжку? — встретила она меня.

— Принесла.

— Какую?

— Тургенева.

— А, Тургенева... — апатично протянула она.

— Простите, право, я думала, что вы его давно не перечитывали.

— Перечитывала? Нет, я вовсе его не читала. Классиков у нас проходили только до Пушкина. Правда, в хрестоматии было что-то, «Бежин луг» кажется, и еще не помню что... Так, детское... А то, что вы принесли, интересно?

— Не знаю, как вам покажется.

— Ну читайте, посмотрим.

Я развернула книжку и прочла эпиграф:

Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!

Алла Михайловна поправила подушку и легла поудобнее.

Прочитав две-три первые страницы, я остановилась, чтобы передохнуть, и услышала громкое, спокойное дыхание Аллы Михайловны, — она спала, подложив руку под щеку; из-под подушки выглядывал уголок «Amour moderne»...

Алла Михайловна быстро поправлялась, только еще не выходила в город. Она частенько присылала мне записочки с просьбой ее проведать. В записках всегда были жалобы на несусветную скуку, и действительно, было видно, что барышня скучает, — в движениях была заметна апатия, в голосе нервность. Речь

ее часто прерывалась зевками. Нередко мы просиживали целые часы молча над каким-нибудь шитьем. Даже в туалете Аллы Михайловны появилась небрежность, — она все больше ходила в пеньюаре и перестала завивать волосы.

Поэтому я немного удивилась, когда застала ее однажды перед зеркалом наряженной, завитой. Она пудрилась, поворачивая, словно воробей, голову то в одну, то в другую сторону.

Увидав меня, она вскочила и весело воскликнула:

— Ах, милая! Вот хорошо, что вы пришли, я вам покажу свои обновки! Получила сегодня от мамы. Посмотрите! Да где же они? Анастасия Ильинишна! Куда же черт унес мои обновки!

— Ну, ну, снова погань поминаете, прости господи! — ворчала старушка, но видно было, как она радовалась, что к барышне возвратилось хорошее настроение.

Анастасия Ильинишна достала из комода старательно сложенные вещи: блузки, ленты, кружево и т. п. Алла Михайловна тешилась, как дитя.

— Ах, просто Москвой запахло! Все с Кузнецкого моста! И если бы вы видели того, кто привез это все!

— Кто же привез?

— *Малиновый чертенок!* — барышня залилась смехом. — Вот не надеялась его видеть и, по правде сказать, совсем было забыла о нем. Я знала его юнкером, он был такой неловкий, смешной, похожий на устрицу. А теперь, смотрю, гвардеец, форма с *иголочки,* fichu turlutu-tu. Куда, куда! Мне только досадно, что он меня застал такою: в капоте, непричесанною. Но ничего, он еще зайдет за мной, чтобы идти на лотерею, тогда мы ему не ту музыку покажем! — Она подмигнула и снова засмеялась.

Я заметила ей, что давно уже не видала ее такой веселой.



— А что мне? Не траур же надевать. Plaisir passé, joujou cassé [1]. Будем клин клином вышибать.

---

[1] Прошло веселье, сломана игрушка *(франц.).*

Ух! Скажите, вы были когда-нибудь влюблены? Ха-ха-ха! Как вы сразу ежом топорщитесь! Ха-ха-ха, как это забавно!.. Так скажите по крайней мере, кто вам больше нравится, брюнеты или блондины? Мне блондины сейчас! Послушайте, что вы на меня так смотрите?

Я не знала, что ей сказать, и молчала. Алла Михайловна насупилась.

— Я вижу, что вас шокируют мои манеры. Что ж, я не англичанка и не рыба. Только уж не знаю, очень ли это любезно показывать человеку, что считаешь его блаженненьким.

— Алла Михайловна, — запротестовала я, но она перебила меня:

— Ах, нет, лучше всего начистоту. Я не так глупа, тоже понимаю. И, говоря по правде, меня начинает сердить votre petit air de soeur grise [1].

— Алла Михайловна, — начала я, поразившись резкостью собственного голоса, — сказать правду, я не понимаю, что вам от меня нужно?

— А то, что я ненавижу скрытность и контрадансы. Я была с вами так откровенна...

— На то была ваша воля...

— То есть вы хотите сказать, что меня никто не тянул за язык... Но я была так одинока...

— То есть «на безлюдье»? Ну, значит, мы поквитались комплиментами.

Я чувствовала, что теряю власть над своим голосом и тоном.

— Не в комплиментах дело... Я только хочу, чтобы вы знали, что я вижу, как вы корчите из себя miss Forster.

— Что такое?

— Так, кажется, называлась та англичанка, которая поехала к якутам? «Утешительница прокаженных»! Еще в Москве она собирала деньги на построение храма для них. Наверное, она им тоже духовно-моралистические книжки читала... Все ж таки пусть послушают...

---

[1] Ваш скромный вид сестры милосердия *(франц.)*.

— Если не заснут! — перебила я.

— Именно, если не заснут! — подхватила Алла Михайловна. — Что же делать, куда нам, дуракам, чай пить! Море, поэзия, природа, идеи...

— Мы с вами, насколько я помню, ни о каких идеях не говорили.

— О, разумеется! Не мечите бисера перед свиньями!

— Или, как у нас говорят: шкода мову псувати! [1] — сорвалось у меня.

— Что вы говорите?

Я не повторила и опустила глаза, чувствуя свой «темный взгляд», полный непримиримого, фатального антагонизма.

В эту минуту в соседней комнате послышался чей-то голос и звон шпор.

— К вам гости, — сказала я, — прощайте.

— Прощайте! — ответила Алла Михайловна и повернулась к зеркалу.

Я вышла. Проходя соседнюю комнату, я увидела молодого офицера в гвардейской форме; он стоял возле окна, заложив руки за спину, мне виден был только его затылок с пробором. Он посмотрел на меня и повернулся снова к окну.

Быстрыми шагами миновала я сад и шла наобум, сама не зная куда. Мне было досадно на себя и на Аллу Михайловну; этот разговор оставил во мне какой-то горький привкус; но мириться, брать назад свои слова у меня не было желания. То, что между нами произошло, не было недоразумением, я это чувствовала; мне хотелось, чтобы это скорей стало пережитым и забытым фактом. Бродя по улицам, я дошла до городского сада. Там, возле ворот, висели анонсы о лотерее, которая должна была состояться сегодня в саду. Публика уже сходилась, и музыканты сидели на своих местах в оркестровой раковине. Я смешалась с густой толпой. Хотелось как-нибудь рассеять свои впечатления.

---

[1] Жаль слова попусту тратить! *(укр.)*

В саду было тесно. Киоски, построенные специально для лотереи и благотворительных базаров, загромождали и без того не слишком широкие аллеи; люди, толкая друг друга, ходили парами и компаниями. Толпа месила ногами крупный морской песок, так что желтоватая пыль поднималась в воздух и колыхалась над головами в соломенных шляпках, в светлых фуражках, шляпах и черных цилиндрах. В аллеях было душно, хотя жара уже спала, так как солнце заходило за горы. Запах цветов, аромат надушенных туалетов, газ фонарей, которые сегодня ради торжества были зажжены заранее, запах смолистых кипарисов, пыль — все это смешивалось, и воздух становился тяжелым, словно насыщенным хлороформом. И люди, как в наркотическом сне, переходили от киоска к киоску, брали билеты, вынимали выигрыши, бросали один в другого бумажными обрезками, ялтинским конфетти, но все это делалось как-то вяло, мертво. Другие сидели на скамьях, разглядывая публику, кое-где дамы были в бриллиантах, декольтированные, будто на балу, с невероятными прическами и шляпами; они жестикулировали, улыбались, но отчего-то казалось, что все это не живые люди, а восковые фигуры. Над всем, точно во сне, господствовало какое-то принуждение, казалось, вот-вот эти люди зевнут, протрут глаза, удивленно взглянут друг на друга и разойдутся. Но нет, грянула музыка, толпа встрепенулась, но не разошлась, а только задвигалась быстрей, бумажные обрезки замелькали цветной метелицей, гомон людских голосов соперничал с оркестром. Стало еще тесней и как-то сумрачно... Я заняла первое попавшееся свободное место. Около меня сидели какие-то дамы, одна в огненно-желтом наряде, под цвет рыжим волосам. Рядом с нею сидел господин — это был Анатоль. Дама громко разговаривала с ним по-французски грубым контральто, вульгарно, но с чисто французским акцентом, называя своего кавалера monsieur Toto. Она заставляла его покупать лотерейные билеты, цветы, ракушки и т. п. у каждой девушки, которая проходила с корзиной либо с картонным лотком мимо нашей скамейки. Monsieur Toto покупал билеты, цветы и ракушки, но лицо его

выражало неудовольствие. От ворот к павильону с музыкой прибывали все новые волны людей. В гуще людей сверкнули блестящие пуговицы и эполеты и раздался звонкий смех. Я сразу узнала смех Аллы Михайловны. Она шла под руку с гвардейцем, одетая в голубое прозрачное платье, на голове была легкая, как пушинка, белая шляпка. Глаза их сверкали, улыбка расцветала на лицах. Офицер нес в свободной руке белую пелеринку, слегка помахивая ею, и, улыбаясь, заглядывал ей в глаза; иногда Алла Михайловна останавливалась, отодвигалась от своего кавалера и с веселым видом закидывала голову, покачиваясь тонкой фигуркой, потом с грацией котенка снова приближалась к нему. Видно было, что они уже хорошо познакомились и понимают друг друга.

Проходя мимо Анатолия, она гордо вскинула голову и, прищурившись, посмотрела на него. Анатоль поспешно снял шляпу.

Гвардеец наклонился к Алле Михайловне, повидимому о чем-то спрашивая.

— Нет, он, наверно, ошибся, я не знаю этого господина, — громко ответила она, тряхнув головою так, что на шляпке закачались голубые высокие цветочки.

Эта пара прошла, за нею другие, с такими же жестами, с таким же смехом... Иногда этот смех прерывался кашлем, а глаза блестели, лица пылали не то от веселья, не то от духоты, а может быть, от чахотки. Ведь это была курортная публика. Она прибыла сюда, чтобы избавиться от своих болезней. Избавится ли? Что могло их избавить?

Я протолкалась сквозь густую толпу и вышла сначала на набережную, потом в сквер. И там было людно, но не так тесно, как в саду. Повеял свежий ветерок и закачал парусные лодки у пристани. По заливу сновали байдарки, вдали белели фелюги, словно стая лебедей, тихо уходя и сливаясь с горизонтом. И мне захотелось поплыть им вслед.

Я наняла парусную лодку.

— Куда же править? — спросил гребец.

— Туда! — и я указала рукой на горизонт.

Парус надулся, волна зашумела, и лодка быстро помчалась, как морская чайка. Пересекла залив, миновала мол, закачалась на широких волнах. Это значит, мы очутились в открытом море. Управлять не было нужды: ветер и волны гнали сами. Лодка то круто поднималась, то опускалась, мягко и плавно перебираясь с волны на волну. Я смотрела на берег, на город; с каждым движением лодки он как будто кланялся прощаясь. И солнце прощалось: от берега бежали к нам красные, дрожащие ленты, они сверкали, словно языки огня, на темных, зеленых волнах. Вместе с ними дрожала тень от гор, словно догоняла нас...

Я долго оставалась в море. Уже погасли сумерки, и темная ночь раскинула над морем свой шатер.

— Ночь темная, море будет гореть [1], — сказал матрос.

И действительно, за рулем засветился голубой фосфорический след, весла высекали огонь. Я зачерпнула рукой воды, подкинула вверх, блеснул фантастический фонтан холодного огня. Плескались дельфины, выбрасывая на черную водную поверхность гейзеры света. Каскады звезд падали в море. Во мраке берег не был виден, только далеко-далеко горела, словно стожары, кучка огней. Глубокое небо будто говорило морю огненные слова, а море пело торжественной ночи свою могучую, величественную, вечную поэму.

[1] Горящим морем в Крыму матросы называют видимое явление фосфоресценции моря. *(Прим. Леси Украинки.)*

## ДРУЖБА

*(Рассказ из жизни волынского Полесья)*

### I

Возле хаты Мартохи Белашихи на завалинке сидит нахохлившись маленькая девчушка; бледное восковое личико даже распухло, а серые глаза стали какими-то белесыми; трясется бедняжка от лихорадки и рыдает — мать ведь ее только что побила, а теперь стоит на пороге с розгой в руке, да еще и грозится:

— Била и еще побью! Вот не посиди-ка мне только в хате, побеги-ка еще разок с панной в лес, так я и веник на тебе обломаю! Говорила тебе, не вылезай на солнце! Так нет же лезет, покуда ее трясуха не возьмет!

— Да разве это от солнца? — откликается сквозь слезы маленькая Дарка.

— А от чего же еще, глупая ты рева?

— Панна сказали — от болота да от комаров...

— От комаров! Сдурела ты, что ли, вместо со своей панночкой? Мало ли кого комары кусают...

— Да и под солнцем все ходят! — не утерпела Дарка, хоть и знала, что мать не выносит «языкатых».

— Вот поговори-ка мне, только поговори, я-а-а-а тебе! — закричала Мартоха и замахнулась прутом, а Дарка, собрав последние силы, шмыгнула мимо матери и пустилась задами огородов на выгон возле панского сада, притаилась в ольшанике, сидит, всхлипывает

и ждет, не разыщет ли ее подруга-ровесница, панна Юзя.

Бывало, Дарка так и до сумерек просидит, а Юзи все нет да нет, никак из дому не вырвется, однако, рано или поздно, верная подруга все же приходила, и тогда они усаживались рядышком в кустах — обе тоненькие и пожелтевшие от лихорадки — и горько жаловались друг дружке на свою домашнюю неволю и судили да рядили, кто прав, кто виноват, впрочем Дарка больше упрекала панну. Так и на этот раз Дарка принялась «отчитывать» панну, едва та пришла.

— А почему же это вы, панна, не вышли сразу после обеда? Я-то здесь жду, жду, аж тоска берет, а домой идти боюсь, мать опять побьет, если вы не заступитесь.

— Никак нельзя было, — оправдывалась Юзя, — дедушка сразу же после обеда велел газету читать, потом бабусе нитки мотала, а там пришлось с папочкой делать задачи да с мамой французскую книжку читать.

— Подумаешь! Чего же вы не убежали?

— Да как же я убегу?

— А вот так, как я: убежала и все!

— Э, ты другое дело, тебе не говорят «учись», ты можешь себе гулять, — задумчиво, точно про себя промолвила, глядя вдаль, Юзя.

— Как бы не так! Погуляешь тут — с Приськой на руках! — горячо и словно обиженно возразила Дарка.

— И как ты эту Приську таскаешь? Она такая тяжелая! — все так же задумчиво продолжала панна, уставившись теперь на Дарку, — ты бы сказала матери, больна, мол, не можешь, она бы тебе и позволила не носить Приську.

— Мать об этом и не спросят. Они говорят: «Гонять с панной по лесу, так не больна, а за ребенком присмотреть, так тебя нет!»

— А почему ты должна за этой Приськой глядеть?

— А почему вы дедушке газету читаете?

— Потому... потому что дедушка глазами слаб, он уже сам не может.

— А бабушке зачем нитки мотали? Ведь бабушка не больная.

— Бабуся рассердилась бы.

— Подумаешь, какая беда! Пускай бы себе сердилась, — я бы и ухом не повела. И от задач сбежала бы и французскую книжку забросила бы, если бы так меня мучали.

— А почему же ты кудель не забросишь? Почему от гусей не убежишь, когда пасти заставляют?

— Потому что побьют, если брошу, а вас же сроду не били, разве не правда?

— Да... правда... — тихонько вздохнув, произнесла панночка, и ее серые, как у Дарки, глаза, затуманились печалью; и она склонилась, как молоденькая вербочка. Жалко стало нежную, тихую панночку, Дарка вдруг решительно поднялась и весело сказала:

— Панна, пойдемте-ка к Ривке на качели, там сейчас уже наши дивчата собрались!

Но панночка клонилась все ниже.

— Нет, Дарка, не могу я больше ходить к Ривке...

— А почему?

— Если бы ты знала, как мне досталось вчера за то, что я с тобой ходила на качели к Ривке...

Дарка ахнула:

— Ой, неужто били?

— Нет, не били, — панночка вяло улыбнулась, — но пускай бы уж лучше били... Бронек вечером при гостях меня задразнил, будто я с еврейками коз дою, а с мужиками свиней пасу. Он, подлый, за нами подсматривал и все папе рассказал, а теперь еще и смеется. А я вовсе коз не доила, врет он, только качалась! — Юзя начала всхлипывать.

— Он и взаправду видел, как вы с нами позавчера свиней пасли? — полюбопытствовала Дарка.

— Не знаю, может и видел. Что же поделаешь?.. Теперь мамочка плачет... и бабуся сердится..., и папа говорит, будто мамочка из-за меня заболеет... я не могу... не знаю...

Дальше из-за всхлипываний уже ничего нельзя было разобрать.

— Панна Юзя! — послышался из сада высокий голос господской горничной, — панна Юзя! Пожалуйте к чаю! Мамочка гневаются! Панна Юзя!

А тут и Даркина мать отозвалась со своего двора:

— Дарка! Дарка! Пойдешь ты, наконец, домой? Холера! Дарка! Дарка!

К голосу матери присоединился крик маленькой Приськи.

— Ой, побегу уж, не то еще пуще побьет! Идите-ка и вы, панна, домой, — вон кличут, да не бегите за мной, еще и вас выругают!

Но Юзя все-таки бежала за Даркой.

— Нет, я с тобой, с тобой! Не дам бить, я не хочу! Я скажу дома, что не слышала... что училась... ходила к кроликам... я не дам тебя бить!

Задыхаясь, бледные, а не раскрасневшиеся от быстрого бега, девочки примчались к двору Белашихи.

Мартоха стояла в воротах с прутом в руке и как раз в то мгновение, когда Дарка хотела прошмыгнуть мимо матери в хату, схватила ее за руку и замахнулась прутом, но Юзя повисла у нее на правой руке и Мартохе пришлось остановиться, чтобы ненароком не задеть панского ребенка.

— Пустите, панна, бросьте, не защищайте ее, вы же не знаете, что это за дрянная девчонка!

— Не пущу! Вы не смеете ее бить, — сдавленным голосом возражала Юзя, и ее бледное лицо покрылось нервными розовыми пятнами.

— Не смею? Это еще почему? — крикнула Мартоха, — такую не бей, так она вконец распаскудится!

И Мартоха старалась, не толкнув при этом Юзю, высвободить руку с прутом, а Дарка тем временем вырывалась, рассчитывая ускользнуть прежде, чем кончится разговор.

Юзя изо всех сил сжала руку Мартохи.

— Неправда, не распаскудится! Дарка и так все для вас делает... А почему она должна все делать? Вот не захочет и не станет! — закончила Юзя исступленно звонким голосом.

Мартоха стала серьезной и насупилась.

— Вы, панна, уж не учите этому Дарку. Может, там у вас, у панов, в обычае, чтобы дите не слушало матери, а у нас того и в заводе нет. Для того ли я над ней ночей недосыпала, кусок хлеба ради нее ото рта

отрывала, чтобы у меня дармоедка в хате росла? Достатков у меня на это не имеется. Да я лучше ее убью, а дармоеды мне не нужны.

Тут Мартоха вырвала у Юзи руку и вытянула Дарку прутом да так, что девочка просто взвилась от боли.

Голос Юзи заглушил Даркин крик, панночка покатилась с воплями на землю, трясясь и дергаясь, точно в припадке.

Из панской экономии прибежала горничная. Пани, Юзина мать, услыхав с крыльца крик дочери, послала девушку, чтобы та привела сейчас же панночку домой, но Юзю пришлось скорее нести, чем вести. Дома ее тотчас же уложили в постель, потому что у нее начался приступ лихорадки.

Юзя лежала укрытая двумя одеялами и мехом, вся посиневшая от пробиравшего ее холода, который тряс ее до боли, до потери сознания. И, несмотря на это, она неустанно следила глазами, как папочка ходил из угла в угол по комнате, отчитывая ее за непослушание. И голос и глаза его говорили, что он от души жалеет свою больную девочку, и все же какая-то досада и раздражение проскальзывали в его словах: «Вот всегда так, — не слушаешься, бегаешь, куда не следует, пока не захвораешь, а потом и возись с тобой!» Это «возись с тобой» больно резнуло Юзино сердце, и она подумала: «Да я и не прошу, чтобы со мной возились... Уж лучше пошла бы к Дарке на сено и там бы отлежалась без ваших одеял да хины... хоть никто бы не пилил!..» Только сказать это Юзя не смела; и без того мама, сидя молча над Юзей, насквозь промочила слезами платочек; и без того уже бабушка велела принести ароматического уксуса и мигреневых карандашей, а дедушка с ударением на каждом слове завел речь о том, что настало крайнее время взять Юзе гувернантку, иначе ребенок совершенно «омужичится». Раньше, бывало, мама всегда брала Юзю под защиту и доказывала, что не может допустить чужого человека, гувернантку, исполнять материнские обязанности. Но на этот раз мама только плакала и уже не спорила.

Юзю кинуло из холода в жар. Отцовская фигура маячила, как в тумане, голос доносился урывками, и

Юзя порой уже не могла разобрать, кричит ли это где-то во дворе Мартоха: «Мне дармоеды не нужны!», или продолжает читать свою нотацию отец: «Захвораешь, а потом возись с тобой». Потом эти слова перепутались, слились: «возись с дармоедом!» — и Юзе стало так горько, словно она была перед кем-то виновата, или, наоборот, кто-то провинился перед ней. Горячая, больная головка не могла этого постичь, а морок-лихорадка влекла Юзю прочь из комнат, из усадьбы к Дарке на сено...

## II

Все это привело к тому, что к Юзе, несмотря на слезы, просьбы и обещания быть «паинькой», вскоре все же приставили гувернантку, но зато бабушка сама отправилась к Мартохе Белашихе и решительно «поговорила» с нею, чтобы та «не поднимала историй», то есть не била Дарки, по крайней мере чтоб дело не доходило до крика и открытого скандала.

Мартоха восприняла этот «разговор» как приказ, — как же иначе воспринимать панские «разговоры»? К тому же Мартоха была ближайшей панской соседкой, а ее семья беднейшей в селе, и приходилось, само собой разумеется, не раз «послужить» панам, чтобы не лишиться соседской милости. И не будь поденной работы в экономии да на панских полях, кто знает, как просуществовала бы Мартоха с малыми ребятами да со своим «пьянчугой-бездельником», который продавал ростовщикам хлеб еще на корню и растранжирил все Мартошино приданое. Правда, не раз рожь у Мартохи так и осыпалась несжатой, а Мартохина конопля гнила не трепленной из-за работы на панов, потому что Мартохе приходилось идти в пору, не в пору, чуть только позовут. Да и за «совину» (так Мартоха называла хину), которую старая пани давала Дарке, и за старенькую одежонку с панских детей для ее малых ребят, да за пахтанье и сыворотку от панских коров — за все приходилось «послужить» панам и не раз, если не работой, то чем-нибудь другим. Вот и после этого «разговора» пани дала-таки этой «совины» для Дарки и

«порошков от живота» для Приськи, еще и наказала прийти в усадьбу взять кое-какое старье паныча Бронека для Мартошиного Ивана, и кстати «послужить» немного: расчистить в саду дорожки, вся челядь на работе, а вечером приедут гости, и дорожки должны быть чистыми.

— Хорошо уж, про́шу пани, я духом, сию же минуточку прибегу, — сказала Мартоха и, поцеловав пани руку за лекарство, проводила ее за ворота и, чтобы уважить, прошлась с ней немного по улице.

Мартохины чувства двоились: раздражало панское вмешательство в ее семейные дела и льстила панская забота о дочери; не раз перед богатыми соседками она, точно ненароком, вспоминала, как панночка даже захворала из-за ее Дарки: «Уж и любит она мою Дарку, господи, как родная сестра! Уж нет для нее другой такой во всем селе!» Богачихи надували презрительно губы, а Мартоха думала: «Завидуют!»

Проводив пани, Мартоха вернулась в хату и кликнула Дарку:

— Иди и ты, недотрога!

— Куда? — отозвалась Дарка, которая сидела с Приськой на полу, после приступа лихорадки еще желтая, но жара уже не было, она пришла в себя.

— В экономию, — ответила мать, — я буду расчищать дорожки, а ты подметать.

— А Приська?

— Подумаешь! Как ты о Приське беспокоишься! Надо работать, так и Приську вспомнила!.. За Приськой отец присмотрит. Снеси-ка ее в клуню, к отцу.

— А отец захотят присмотреть? — недоверчиво спросила Дарка.

— Говорю, неси, значит неси! И нечего лясы точить! — крикнула Мартоха так, что Дарка поспешила с Приськой за дверь.

Миновав светлый двор и ступив на ток темной клуни, Дарка не могла сразу разглядеть, где сидит отец, и крикнула:

— Тату, тату, да где же вы?

— А чего тебе? — отозвался из угла сиплый голос.

В углу, на соломе лежал Даркин отец Семен Белаш. Он часто так полеживал и не только по праздникам, как водится у всех добрых людей, но и в будни. Чаще всего валялся он так с похмелья, разогнав сначала в хате детей и исколотив сколько хватало сил жену, которая никогда не «спускала» ему, ни трезвому, ни пьяному. Впрочем, трезвый он ей не перечил и безмолвно соглашался, что она всех «содержит», что только ею и дышит вся семья, да и сам он — как его величала жена — «дохляк проклятый», «пьяница беспробудный», — отлично понимал, что это правда. Он и пьяным это понимал, но тогда эта правда бесила его. Будь он такой же состоятельный да к тому же дюжий здоровяк и на всякую работу гораздый, вот хотя бы как сосед Яким Гречук, а жена немощная и бедняцкого рода, как Гречучиха, то в пьяном виде он, наверно, не был бы таким злым. Он, наверно бы, смеялся да пританцовывал, любезничал с женой, кружил бы ее вокруг себя, как в танце, величал бы ее своим «работничком», своей «хозяйюшкой» и кто знает еще как, пока она не подобрела бы и в свою очередь не засмеялась бы, что, мол, старик «чудака из себя строит». Ведь так всегда бывает у Гречуков, когда Якиму Гречуку случается явиться домой «под мухой» (правда, у Якима это не так часто бывает, как у Семена, но ведь у богатея нет такого горя, чтобы приходилось заливать вином). Ульяна Гречичуха и сама знает, какая такая из нее «хозяюшка» да «работница», — милостью Якима только и на свете держится, — она бога славит, что ее муж жалеет, что все же добрый человек. Но и Семен такую жену не тронул бы. «Вот, ей-богу, не тронул бы, — думал Семен не раз, — пускай бы по всякому обзывала, как и моя. Но ведь моя-то, как стена, а мне говорит: дохляк! Черт ее понес, такую богатейку, из белой хаты ко мне в курную идти! В чем она может меня упрекать? Я ей покажу!..» И страдающий удушьем Семен спьяна «показывал» жене всю свою силу, да так, что при всем своем здоровье Мартоха не в состоянии была от него обороняться. Правда, после схватки Семен лежал на соломе, все кости его болели, в груди хрипело, и было

завидно и словно стыдно глядеть, как Мартоха, от злости еще проворнее, чем обычно, вертелась по хозяйству, наводила порядки во дворе, и в хате и грозно по-хозяйски покрикивала на детей. Словно была избита не она, а он, потому что он лежал «как пришибленный», «никуда негодный», а она «чисто как стена», — говорил Семен.

Но на этот раз Семен улегся не с похмелья и не после драки. Третий день он уже был трезв и третий день лежал. С тех пор как описали за подати скот, с тех пор как Мартоха вызволила этот скот, вымолив у пана деньги, пообещав отработать, а сама в тот же день побежала в волость с жалобой на мужа, — Семен совсем сник. Молча выслушал он решение волостного суда, что теперь уже не он, а жена будет вести хозяйство, и «раз она платит подати, значит ее право и в хозяйстве». По каким законам волостные судьи вынесли такое решение, того ни Семен, ни Мартоха, ни сами судьи не знали, впрочем о писаных законах никто в данном случае и не думал. «Согласен?» — спросили Семена. «Да... что ж...» — отозвался он, насупившись, и снова замолчал. По дороге из волости домой жена растолковала ему это решение более подробно: «Теперь уж не надейся меня бить, теперь мое право в хозяйстве: захочу — дам на горилку, не захочу — не дам, захочу — дам есть, не захочу — и так обойдешься, а если что возьмешь — привлеку, как вора». Тщетно Семен спорил, что нет такого «права», чтоб жена морила голодом мужа, — Мартоха же доказывала, что нет и такого «права» — «дармоедов» кормить: «Если заработаешь, будешь есть. Понапрасну морить голодом не стану, но и зря кормить не буду, не думай». И в первый же день сдержала слово. Семен с досады залег и не пошел ни на какую работу. Мартоха с ним не заговаривала и не позвала ни обедать, ни ужинать. Так он не евши и заночевал в клуне. На другой день после завтрака Дарка, украдкой от матери, принесла отцу кусок лепешки: «Ешьте, тату, поскорее лепешку, а чесноку вам нельзя, мать почуют, что вы ели, и отругает». — «Я не хочу есть», — тихо ответил Семен и так взглянул, что Дарке даже плакать захотелось. К вечеру Семен совсем

ослабел, стал кашлять и громко стонать. Когда дети улеглись спать, Мартоха уже сама вынесла ему в миске кулеша, но он молча оттолкнул миску, выплеснул кулеш и повернулся опять к стене.

Мартоха молча постояла над ним, подняла с полу миску, обтерла фартуком и медлённо пошла в хату. Семен опять заночевал в клуне. Утром дети подглядели и сказали матери, что «тата ели гнилицы под грушей, и все оглядывались, а потом насобирали еще и закопали в ямку». Когда приходила пани с тем «разговором», Мартоха как раз обдумывала, как поступить ей с мужем. Тогда-то у нее и явилась эта мысль — взять с собою на работу в экономию и Дарку, — «уж не такая маленькая, хоть гривенник заработает», — и маячила еще одна неясная мысль, что не мешало бы почаще показываться Дарке панам на глаза. «А за ребенком и этот бездельник присмотрит», — решила она вдруг.

Когда отец отозвался Дарке: «Чего тебе?» — его голос звучал так хрипло и уныло, что дочка не отважилась сразу ответить. Она посадила сначала Приську рядом с отцом на голый ток, а сама, отступив к выходу, тихо скороговоркой сказала:

— Мама сказали, чтобы вы за Приськой присмотрели, а мы идем в экономию на работу! — и с последними словами умчалась к матери.

Семен сидел сначала неподвижно и глядел хмуро на маленькую Приську; ребенок, с неокрепшей еще спинкой, утомившись сидеть, вдруг покачнулся, опрокинулся и, ударившись затылком о твердый ток, зашелся в беззвучном плаче, — видно было только, как дрожал язычок и синело личико. Семен не выдержал. Не дожидаясь, пока это молчаливое рыданье прорвется громким криком, он вскочил с места, поднял ребенка и, прижав к себе, стал укачивать и успокаивать.

— Шш, шш, моя маленькая, моя Присуня! Агу! Убился ребеночек! Шш, шш, не плачь, вот я дам грушку, тс! — Он вынул из-за пазухи грушку и стал совать ее Приське в рот.

Приська мало-помалу стихла, занявшись грушкой, причмокивая и всхлипывая, спокойно сидела у отца на

руках, а он довольно неумело прижимал ее к себе, гладил ладонью по белой головке и приговаривал:

— Вот какая у меня дивчина! Не плачет! Дать еще грушку? Дать? А вот погляди, боженька.

Ребенок заулыбался, а отец ласковыми, грустными глазами глядел на дочь и забавлял ее медным крестиком, который висел у него на иссохшей груди.

## III

С этих пор Семен все чаще и чаще оставался с Приськой, а Дарка стала изо дня в день ходить на работу к панам, то с матерью, то со старшей сестрой Яриной, а то и одна. Когда матери было некогда, а Ярине приходил черед пасти скот (они всегда чередовались с братом Иваном), то Дарку посылали в экономию одну, на более легкую работу: полоть цветы, собирать для индюков тысячелистник, подметать дорожки или что-нибудь еще.

Труд всей Мартошиной семьи в экономии шел за долги панам, а на панском поле оплачивался особо наличными. Дарка завидовала Ярине, которая в страду сучила перевясла на панских нивах и тем зарабатывала по злоту, и хоть мать забирала эти деньги себе, но все же справила Ярине после жатвы новый «каптан», потому, мол, дочка «заработала». Дарка же являлась домой с пустыми руками, разве что принесет Приське кусочек сахару или старенькую одежонку, — вот и ходила Дарка в старых лохмотьях, так и не выплакав в то лето у матери новой юбки.

— Довольно с тебя и старой, научись-ка сперва работать, — решила мать, и делу конец.

Раз как-то Дарка пыталась доказать, что и она работает, если и не за наличные, то все равно отрабатывает долг. Мать даже не рассердилась, а только пренебрежительно пожала плечами и спокойно промолвила:

— Отвяжись ты с такой работой: на гривенник заработаешь, а на двугривенный наешь. А на отработку в новом не находишься, разве что отец справит.

При этом Мартоха засмеялась, а Семен встал среди обеда из-за стола, вышел из хаты и начал рубить дрова. Рубил, точно подрядился, до самого вечера.

Одно утешало Дарку на панской работе — там она частенько виделась с панночкой. Правда, Юзе уже не удавалось убегать вместе с Даркой в лес или на пастбище, потому что гувернантка, уже немолодых лет Fräulein Therese, не спускала глаз со своей воспитанницы. Чуть только Юзя начнет украдкой пробираться за пруд, в ольшаник, из беседки или с крыльца уже несется скрипучий голос: «Iussa! Iussa! Wo gehen Sie hin?» И Юзе опять приходилось браться за нудную немецкую книжку (sehr interessant, — говорит Fräulein Therese), или за вышивание по бумажной канве какого-нибудь «сувенира» мамусе, бабусе или другим родственникам. Теперь Юзя предпочла бы уже ту когда-то такую постылую французскую книжку и даже арифметические задачки этим «интересным историйкам» да рукоделиям, которые якобы должны ее развлекать. Чтение и рукоделие отбывались, конечно, при немке, а учить заданное разрешалось одной, где-нибудь неподалеку в саду, поэтому, обеспечив таким полезным занятием свою воспитанницу, Fräulein Therese, не погрешая против своей профессиональной совести, считала возможным приняться за бесконечные письма или чтение интересных уже для нее самой романов Фрейтага. А Юзя бежала с книжкой в сад или на огород, туда, где теперь работала Дарка. Когда Дарка подметала дорожки, панночка «долбила» немецкие слова, прогуливаясь туда и обратно, и, поровнявшись с Даркой, каждый раз улыбалась или бросала несколько слов, но все это украдкой, ведь за ними могла наблюдать откуда-нибудь панна Тереза. Когда Дарка полола цветы, было скучно — цветы росли перед домом, перед самыми окнами, а из комнат все было видно как на ладони, да и Дарка полола не одна, а при посторонних ведь не разговоришься, как вдвоем. Еще подумают, что Юзя пришла присматривать за тем, как работают, а Юзя ни за что в жизни не была на это способна. Она не такая, как Бронек, его и не просят, а он так и торчит над батраками. Ей и так было стыдно, когда Ярина как-то за

полкой сказала: «А что, панно, приятно в холодке сидеть? Дайте-ка мне книжку, а вы помогите Дарке полоть». Вот какая Ярина! Забыла, как Юзя, когда еще не было гувернантки, полола вместе с Даркой ее же, Яринин, огород, что за хатой на клине посажен. Ведь это Юзя выпросила тогда у мамочки для нее «панской мяты» и «георгин», а Ярина не дала ей даже «чоловічка» пересадить: «Вы, мол, все равно испортите, еще не доросли, чтобы сажать!» Уж эта Ярина! Думает, что если ей двенадцать или четырнадцать лет (даже сама не знает, сколько ей!), так уж и «девка»! На танцы ходит, платочек повязывает, как большая! Юзя никогда ее не любила... Лучше всего, когда Дарка одна приходит в молодой сад собирать тысячелистник, туда, где саженцы. Там не увидят ни из дому, ни из садовой беседки, Юзя ложится на траву возле Дарки, помогает ей собирать тысячелистник (да и щавелю — Мартохе на борщ), книжка лежит рядышком — «на всякий случай», но Юзя не учится, они с Даркой разговаривают по душам.

— И зачем вы, панна, столько учитесь? — спрашивает Дарка. — Ну-ка, скажите мне.

— Так ведь у нас все дети учатся.

— Ну и что из этого?

— Как что? — удивляется Юзя, но не находит ответа.

— А вы хоть знаете, какая вам от того польза? Ну, вот вы учитесь по-немецки и по-французски, а для чего это вам?

Юзя улыбается, точно взрослая ребенку.

— То есть как для чего? А если я поеду за границу — там же все говорят по-французски или по-немецки, я бы там ничего не понимала.

Дарка насупилась.

— Очень вам нужно за границу ездить!.. Почему бы тут не посидеть?

На этот раз Юзя уже рассмеялась.

— Да ну, какая ты, Дарка! Разве я сказала, что должна ехать? Я только так, *если бы!*

— Вот, значит и не стоит учиться, — стояла на своем Дарка, — раз не поедете, то какой вам прибыток, если даже невесть по-каковски будете знать?

— Ну... какой?.. А почему же все учатся?

— Разве я знаю? — понуро ответила Дарка.

— Ну, ведь и ваш Иван ходит в школу.

— Э, он же хлопец. Хлопцы другое дело! — Дарка оживилась, забыла и про свою досаду и повернулась к Юзе, — хлопец, ежели в школе учился, меньше служит в солдатах, хлопец может в писаря выйти, учителем стать...

— И девушка может учительницей стать! — перебила Юзя.

— А вы стали бы учительницей в школе?

— Может, и стала бы, — нерешительно, без всякой уверенности промолвила Юзя.

— Да бросьте! Вы это только говорите.

— Ну, может, гувернанткой бы стала, — сказала Юзя несколько уверенней.

— По чужим панам служили бы, как ваша немка? Для чего же вам? Вы же богатая!

— Ах, отстань от меня, я не знаю!

Юзя склонилась над книжкой, губы у нее задрожали.

— Для чего же учиться, коли так? — почти шепотом спросила Дарка, искоса поглядывая на Юзю и пощипывая какую-то травинку.

Юзя вдруг отбросила книжку, упала на траву и беззвучно заплакала.

— Панна, панна! — встревожилась Дарка, — о чем это вы? О чем? Разве я что? Да я ж ничего...

— Зачем ты меня мучаешь? — промолвила сквозь слезы Юзя. — Разве я знаю, для чего учатся? Учусь, потому что так велят... потому что заставляют... Я и за границу не хочу... Надоело мне все! И немка и книжки... А ты еще выспрашиваешь... Что я тебе скажу?

Дарка растерялась и не знала, как переменить разговор. Когда Юзя падала на траву, ее широкая юбочка случайно покрыла Даркины ноги. Перебирая пальцами складку этой «матросской» юбочки, синей с белыми полосками, Дарка сказала, застенчиво улыбаясь:

— Да вы в новенькую юбочку обрядились? Что-то я ее еще не видела... Когда вы ее сшили?

— Вчера, — процедила сквозь белый платочек Юзя.

Она тоже рада была бы переменить разговор и тоже не знала, как это сделать.

— Какая хорошенькая, — продолжала Дарка, поглаживая пальцем полосы, — небось дорогая? — В голосе Дарки прозвучало уже подлинное любопытство.

— Не знаю... нет, дешевая, по два злота, что ли, — равнодушно, но уже спокойней ответила Юзя.

— Ого, вот сказали! — вскрикнула Дарка, — и это вам еще не дорого?.. Когда-то я себе такую справлю?! Мать одно твердят: заработай! Хорошо им говорить, если все мое уходит на отработку.

Юзя покраснела. Она знала, что ее приятельница работает на них, панов, «за долг».

Дарка сидела задумавшись.

Юзя помедлила немного, потом сказала:

— Ты о чем думаешь, Дарка?

Дарка встрепенулась.

— Да все про долг, — когда-то мы его отработаем?.. Ну, как они там себе хотят, а я на тот год пойду работать на поле. Я уже большая буду тогда. Ярина в прошлом году уже ходила... Только что я себе за одно лето заработаю? Юбка такая дорогая, а у меня ж и каптана нету... И позволят ли еще мать мне справить?

— Как же она может не позволить! — горячо вступилась Юзя, — это ведь будут твои собственные деньги! Она и так обязана тебе все справлять! С какой стати она может брать себе твои деньги? Когда мне папа дарит серебряные пятачки, моя мамочка никогда их не отбирает, а твоя мать все себе гребет!

— Да ведь не совсем и себе, — рассудительно пояснила Дарка, — известно, то соли нам нужно купить, а взять-то ведь неоткуда, то селедку, то спичек или там еще чего, а то бывает и хлеба недостанет, вот денежки-то и ушли... Впрочем, как-нибудь юбку можно бы справить, да больно дорога! По два злота за локоть, ведь это же ворох денег... Ну-те, встаньте-ка, панна, дайте погляжу на вашу юбку, широка ли, — сколько же на нее пошло?

Юзя встала, и Дарка растянула на ней юбочку, отыскивая швы и считая полотнища.

— Как она чудно́ выкроена, не пойму... У нас не так шьют, как у панов, — сказала уже без всякого интереса Дарка.

— А ты примерь, может и так хорошо, — и Юзя быстренько спустила с себя юбчонку и осталась в нижней белой, еще более короткой. Потом скинула и блузку, чтобы Дарка могла одеться совсем как «настоящая панна».

Тем временем Дарка распоясала гайтан, скинула «фартук» — белую домотканную юбочку, с вытканными в подоле в пять рядов красными полосками — и осталась в одной сорочке. Потом надела Юзину матроску, едва просунув в узенькие рукавчики блузки широкие рукава сорочки из «десятки». Юзина юбочка чуть прикрывала Даркины колени.

— Ой, какая же она куцая, да какая ж тесная! Как это вы в этакой ходите? Гляньте, все лытки видать! — Дарка захохотала.

Юзя тоже звонко рассмеялась.

Вдруг позади кто-то громко всплеснул руками и вскрикнул:

— Matko cudowna! [1]

Девочки онемели от испуга.

Под ближайшей грушей стояла ключница, пани Качковская, жена панского экономa. Морщинки на ее уже немолодом лице от удивления и гнева как-то углубились, и лицо поэтому казалось совсем старым и грозным.

— Matko cudowna! — взывала она. — Панно Юзя! Как паненка может позволить, чтобы эта замухрышка напялила на себя паненкино платьице? Ведь паненка бог знает чего может набраться! Потом лекарю придется паненку от чесотки лечить! Фу, стыд какой! А кто ж это придумал?.. Ну, а ты чего стоишь, как пень? — обратилась она к Дарке, изменив проникновенно-укоризненный тон на грубо-суровый, — скидай-ка панское платье да забирай свою дерюгу! — Дарка стала по-

[1] Пресвятая богородица *(польск.)*.

спешно раздеваться, но Качковская никак не могла успокоиться.

— Ты что себе воображаешь? Твое ли это дело маскарадами забавляться? Я ее зову, я ее ищу, а она... Гляди-ка на нее! Постой, я матери скажу, она из тебя прутом выбьет панские потехи!

— Мартоха не станет бить Дарку, мамочка не позволяет, — заступилась Юзя.

Пани Качковская поджала губы, потом снова начала тонким проникновенным голосом:

— Прошу панну Юзю, пусть паненка Дарки не портит, мужицкую девку это к добру не приведет. Лучше подумайте, что еще панна Тереза паненке скажет. Панна Тереза уже битый час ищет паненку, чтобы шла на урок музыки.

При напоминании о панне Терезе Юзя кинулась к своему платьицу, но Качковская преградила ей путь.

— Iesus-Marya! Неужели паненка после нее наденет? Я пришлю девку взять платье в стирку, пускай паненка не трогает.

— А как же я домой пойду? — плаксиво крикнула Юзя.

— Об этом паненке следовало раньше подумать, — елейным голосом заметила ключница.

— Iussa! Iussa! Aber wo sind Sie doch? Du, liebe Zeit! [1] — послышался озабоченный голос Fräulein Терезы, а вскоре появилась и она сама.

Пани Качковская, прикрикнув еще раз на молчаливо стоящую Дарку, бросила пронзительный взгляд на Юзю и ушла. По дороге она подгоняла Дарку, которая подпоясывалась на ходу и в то же время старалась не выпустить из рук корзинки с тысячелистником.

Fräulein Therese осталась возле плачущей Юзи. Прошло немало времени, пока она допыталась от панночки, что собственно произошло. Между тем пришла девка и взяла Юзино платье. Fräulein Therese еще растекалась в долгих нотациях о Юзиной «невоспитанности» и

---

[1] Юзя! Юзя! Но где же вы, наконец? Уже давно пора! *(нем.)*

еще не окончила своей «литании» [1], как вдруг явилась запыхавшаяся и вконец взволнованная бабушка, — она встретилась в саду с пани Качковской и уже «все знала». Старая пани совершенно неожиданно накинулась не на Юзю, а на Fräulein Терезу.

— Как могли вы проявить такую небрежность к ребенку? А сейчас сту́дите ее здесь. Ведите же ее домой! Она вся дрожит от холода!

Юзя дрожала, но не от холода. Бабушка укутала ее своей большой черной шалью и повела к дому. Fräulein Тереза, повесив голову, шла позади. Все трое молча вошли в комнаты.

Ну и выпал же денек! Чего-чего тут только не было: и слезы, и упреки, и мигрени! На семейном совете было постановлено, что Fräulein Therese абсолютно «ни к чему»; бабушка вспомнила, что она ведь это сразу же сказала, и вообще «только француженка может дать паненке соответствующее воспитание, к тому же Юзя уже достаточно владеет немецким, а французское произношение ей немка даже испортила».

В том, что следует взять другую гувернантку, соглашались все, но возникали разногласия — рассчитать ли немку сразу, или задержать, пока не подвернется француженка. Француженки в деревню не очень-то охотно выезжают, и может статься, что Юзе на несколько недель или даже на несколько месяцев придется остаться одной, — потому что мамочка «вечно больна», а бабуся старая и присматривать за Юзей некому, а это уж совсем неприлично, ведь девочка «из каприза» может еще больше привязаться к этой Дарке и тому подобным, как говорит Качковская, замухрышкам. Опять же остаться Юзе с немкой после того, как ее авторитет в глазах девочки поколеблен, тоже не годится с педагогической точки зрения.

Трудный вопрос помогла разрешить все та же пани Качковская. Вечером, представляя старой пани дневной отчет по хозяйству, ключница осторожно спросила, нет ли у пани чего-нибудь «do dyspozycyi» [2]; кажется,

[1] Молитва; здесь — длинный и скучный перечень чего-либо *(лат.)*.

[2] Предположить, приказать *(польск.)*.

панна Тереза говорила, что якобы она уезжает, так, может, ей нужно что-нибудь на дорогу испечь. Старая пани не могла удержаться, чтобы не рассказать «коханой Качкосе» («можно ведь, наконец, иметь доверие к такой достойной уважения kobieti» [1]) о всех тревогах семьи в этом деле.

Качковская робко заговорила, опустив глаза и подняв брови:

— Если бы пани позволила, я могла бы пока что найти подходящее общество для паненки... ну, конечно, не совсем подходящее, но хотя бы jako-tako... [2] Ведь у меня, прóшу пани, есть в селе Красиловке — три мили отсюда, всего три мили — молоденькая племянница, сиротка, дочь покойницы сестры. Живет эта бедняжка при мачехе и отчиме — или как это назвать? — Значит, прóшу пани, так: умерла ее мама, отец снова женился и да и сам помер, а мачеха за другого вышла. И вот, значит, мачеха, словно бы из милости держит эту бедную сиротку. Хороша милость, моя милостивая пани... opieka oczy wypieka... [3] каждый бы такую милость оказал, ведь девочка бесплатно и шьет и вышивает... Если бы пани видели эту работу!.. Biedactwo! [4]

— Получила ли она какое-нибудь воспитание, эта ваша племянница? — пренебрежительно спросила пани.

— Как же, моя пани милостивая, как же! При жизни родных девочка знавала и лучшие времена, потому ее покойный отец был управляющим у пана графа в Красиловке — пани должна знать этого графа. Это Зоня...

— Ее зовут Зоней? — перебила пани.

— Именно так, прóшу пани, Зоня, Зофия... Ну, и она, можно сказать, выросла при молодой графине и получила настоящее воспитание, а для простой шляхтянки даже niepospolite [5]. Хоть и неудобно хвалить

---

[1] Женщине *(польск.)*.
[2] Более или менее *(польск.)*.
[3] Опека глаза выедает *(польск.)*.
[4] Бедняжка, горемыка *(польск.)*.
[5] Незаурядное, недюжинное *(польск.)*.

своих, но должна признать, что Зоня более подходящая подруга, чем какая-нибудь Дарка.

— А сколько ей лет? — снова перебила ее пани.

Качковская на минутку задумалась.

— Должно быть, шестнадцать исполнилось.

— Немного молода, — сказала пани.

— Но, пр́ошу милостивая пани, чем это плохо? Может, еще и лучше: панне Юзе тринадцатый год, а в этом возрасте скучно жить все время среди старших, вот паненка от скуки и водится с такими Дарками. Конечно, от скуки, потому что панна Юзя dziecko [1] послушное и благородное — разве она водилась бы с такой, будь рядом с ней подруга с соответствующим воспитанием, которая и лучше и даже веселей? Зоня веселая, разговорчивая девочка, то есть была такой при жизни родителей... biedactwo!..

При последних словах пани Качковская поднесла кончик фартучка к глазам, а старая пани, положив ей руку на плечо, сказала:

— Ależ, kochana Kaczkosiu, pan bog nigdy ne zapomina o sierotach [2]. Качковская может идти спать, я сама поговорю об этом со своими.

Качковская отправилась спать, совершенно спокойная за судьбу своей племянницы.

На другой день утром Fräulein Therese, заплаканная, складывала свои пожитки. Бедная немка плакала от обиды и стыда, что ее так выпроваживают из именья и еще все-таки от того, что ее разлучили с Юзей. Добродушная старая дева на свою беду каждый раз всей душой привязывалась к своим воспитанницам и привязанность эта оставалась большей частью без взаимности. В этот день Юзя из вежливости держала себя степенно (словно сознавала какую-то вину перед ни в чем неповинной немкой, ставшей на этот раз «козлом отпущения»). Но даже вежливости ради Юзя не могла уронить слезы по гувернантке.

---

[1] Дитя *(польск.)*.

[2] Но, дорогая Качковская, господь бог никогда не забывает о сиротах *(польск.)*.

А Дарка даже не считала нужным скрывать свое удовольствие по случаю отъезда «холерной немчуры». Когда бричка с Fräulein Терезой проезжала через село мимо Мартошиной хаты, Дарка выбежала вместе с меньшими сестрами и братом за ворота и, отплясывая что-то вроде танца диких, припевала:

Ой, ти, бабо, ой, ти, стара відьмо,
Запрягаймо, їдьмо,
За границю по пшеницю,
А поки ще видно!

Дарка радовалась, думая, что теперь без присмотра немки начнутся опять тайные встречи в ольшанике (хотя бы по воскресеньям, если в будни некогда), а то, может, даже у Ривки на качелях, в пустой еврейской лавке... Увы! Та самая бричка, которая в полдень отвезла на станцию заплаканную старую немку, вечером привезла стыдливо улыбающуюся молоденькую панну Зоню из Красиловки. Дарка в это время уже спала и не видела ее приезда.

## IV

Панна Зоня быстро отыскала путь к Юзиному сердцу, путь закрытый наглухо для Fräulein Therese. Все способствовало этому. Прежде всего Зоня не называлась ненавистным словом «гувернантка», она получила скромный титул «панны гардеробной», хотя по гардеробу у нее собственно работы было мало, — пани не любила туалетов домашнего шитья. Зоня не являлась также и учительницей, а старшей годами и младшей по положению подругой, притом дружба с ней была разрешена и даже поощрялась Юзиными родными, но без тени принуждения. Юзе не сказали, что Зоня приехала только ради нее, не должна была знать об этом и Зоня, чтобы не очень «зазнавались», — впрочем, сметливая Зоня быстро это сообразила. Для Юзи было вновинку иметь подругу, с которой можно было не прятаться по закоулкам, чтобы, сохрани бог, кто-нибудь не увидел. Зоня была «такая добрая», она без всякого

высокомерия входила во все еще полудетские Юзины интересы, хотя у самой были уже «секреты» шестнадцатилетней панны. Зоня знала уйму остроумных песенок-краковяков, хорошо танцевала — научила и Юзю, танцуя с ней «за кавалера». С ее приездом повеселел как-то весь дом, мамуся стала реже плакать, дедушка, вспомнив молодость, любезничал, а бабуся простирала свою снисходительность до того, что наигрывала панночкам старинные «вальсики», под которые они и танцевали.

После каждого «вальсика» Зоня так ловко подлетала к бабусе, чтобы приложиться к ее плечу, что даже старая ворчливая пани соизволила назвать молодую девушку «motylkem» и «przepióreczka» [1]. Зима, всегда такая тяжелая для болезненной Юзи, в этом году казалась гораздо легче, и весна наступила как будто скорее, чем обычно.

В эту весну Юзя ожила. Даже лихорадка изводила ее меньше. Может быть, потому, что теперь Юзя не засиживалась по сырым потаенным углам, как это делала раньше ради Дарки, да и весна выпала славная, не сырая, словно бы и не полесская. Май стоял на диво ясный и сухой. Зоня с Юзей бродили целыми утрами, то отыскивали в поемных лугах незабудки, то собирали в лесу ландыши, то опустошали в саду кусты роз и жасминов — все это ради торжественного богослужения в троицын день.

Зоня теперь спала «временно» в Юзиной комнате, пока не приедет все еще не подысканная гувернантка-француженка. Ох, Юзя так ревностно молилась, чтобы эта гувернантка не нашлась как можно дольше. Ради этой «интенции» [2] она читала в своей комнате длинные литании и антифонии [3] (так ей посоветовала Зоня), стоя на коленях перед алтариком, который они обе украшали. Никогда до этой весны алтарик не был так прекрасно убран, и никогда Юзя не молилась так усердно. Прежде она молилась только по обязанности,

---

[1] Мотыльком и перепелочкой *(польск.)*.
[2] Прошения, желания *(польск.)*.
[3] Псалмы *(греч.)*.

ее мысли при этом отсутствовали, а сердце спало, теперь же перед ней словно распахнулись какие-то таинственные врата в рай, и ей грезилось сквозь цветы перед образом божьей матери что-то серебристо-голубое, какие-то мистические, небесные волны, озаренные лучами непостижимой звезды моря, матери-девы Марии. Юзя даже забывала про свою «интенцию», и в самозабвении произносила страстные, точно в какой-нибудь серенаде слова литании с таким увлечением, что они опьяняли ее.

«Мать пресвятая, молись о нас!.. Дева пречистая, молись о нас! Роза дивная, молись о нас!.. Звезда утренняя, молись о нас!..»

Зоня стояла рядом, как белый ангел, и тихим, нежным голосом произносила слова литании: «Kyrie eleison! Chryste eleison!...»[1] — слова, звучавшие так таинственно, словно на каком-то ангельском языке... Порой Юзя не выдерживала и, обливаясь слезами, бросалась в объятья Зони.

— Панна Юзечка, милая, сладость моя! Что с вами? — спрашивала Зоня, прижимая ее к себе.

— Не знаю... мне так хорошо... так хорошо...

— Тогда не плачьте, прошу вас. Моей дорогой панне Юзечке нельзя плакать, коханна панна Юзечка должна подумать о себе.

— Почему?

— Потому что панну Юзечку все так любят, так жалеют, и что станет делать бедная Зоня, если моя драгоценнейшая панна Юзечка заболеет?

Этими нежными медовыми речами Зоня добивалась от Юзи всего, чего хотела. Зоня не плакала, как мама, не «гдырала»[2], как бабуся, не «злостилась»[3], как Дарка. И Юзя ради Зони стала изменять в душе своей Дарке, но все-таки Юзино сердце щемило от какого-то смутного чувства. Юзе часто приходила на ум ее последняя кукла в тот день, когда Юзя решила больше не играть в куклы — в двенадцать лет это уже

---

[1] Господи, помилуй! Христос, помилуй! *(лат.)*
[2] Брюзжала, ворчала *(польск.)*.
[3] Злилась *(польск.)*.

«стыдно». Юзя надела на куклу лучшее платье, собрала все ее «приданое» и открыла большой сундук в маминой комнате, чтобы спрятать куклу на самое дно. А кукла сидела покамест на большом диване, такая маленькая, с беспомощно растопыренными руками, с широко открытыми невинно голубыми глазами; волосы у нее как-то нелепо задрались над головою, выпрямленные ножки в детских вязаных башмачках беспомощно торчали из-под юбочки; казалось, что кукле холодно и неудобно, что она такая жалкая и лишняя и понимает это... Тогда Юзя вышла в слезах из комнаты и попросила Зоню спрятать куклу, а сама долго-долго не возвращалась. И теперь, чуть вспомнится Юзе кукла, а это случалось часто, она почему-то обязательно вспоминала и Дарку, и не раз даже при этом плакала — по кукле или по Дарке, Юзя как-то сама не отдавала себе в этом отчета...

Приближался праздник тела Христова, торжественный праздник майских трав и цветов. Прислуга убирала комнаты, поденщицы белили снаружи дом, среди них и Дарка с матерью и Яриной, а Зоня с Юзей бродили по саду и собирали цветы для бесчисленных букетиков и веночков, которые панночки хотели набрать и сплести на завтра для костела.

— Ах, боже, боже, панна Юзечка! — жаловалась Зоня, раскрыв фартучек, полный трав и цветов, — у нас цветы всего только одиннадцати сортов, а нужно самое меньшее двенадцать, самое меньшее! Во что бы то ни стало, иначе не годится на boże ciało! [1]

— Почему не годится? — удивилась Юзя. Она воспитывалась в одиночестве, вне круга девушек-католичек и только теперь от Зони узнала множество подробностей из девичьих обрядов праздника троицы.

— Ну, потому что было двенадцать апостолов! — пояснила Зоня.

— А верно...

— И самая большая беда в том, панна Юзечка, что у нас нет горицвета! А ведь это очень нужно для коров, когда их потом веночками окуривают, от горицвета

[1] Божье тело *(польск.)*.

молоко прибывает. Разве панна Юзечка этого не знает? Это же известная вещь!

При слове «горицвет» Юзя вздрогнула и покраснела, потом нагнулась низко-низко к самому кустику маргариток и пролепетала:

— Да его много... горицвета... где-то за просекой, только не знаю где... Дарка знает, — вырвалось у Юзи, и она еще больше покраснела.

— Какая Дарка?

— Да вон, которая белит, которая меньше всех, возле той, в красной юбке.

— А почему она должна знать, где растет горицвет?

— Наверное знает, у них в хате под образами всегда висит венок из горицвета.

— А панна Юзечка откуда знает, что в какой мужицкой хате висит? — спросила Зоня и засмеялась.

— Я... иногда заходила... с мамой... они бедные...

У Юзи даже пятна пошли по лицу, а под сердцем опять что-то больно заныло. Зоня не заметила Юзиного смущения, предполагая, что она просто запыхалась от того, что нагибалась в такую жару.

— Так пусть Дарка сходит за горицветом или пусть нам покажет, где он растет, — спокойно предложила Зоня.

— Попросите тогда пани Качковскую, чтобы ее отпустила, — сказала Юзя, и в сердце у нее что-то закололо, точно маленькими иголочками.

— Не лучше ли панне Юзечке самой сказать...

— Нет... она меня не послушает... скажите от себя, прошу вас, только от себя... так будет лучше.

Слегка пожав плечами, Зоня отправилась к тетке, пани Качковской, и тотчас же получила разрешение «взять Дарку», чтобы показала, где растет горицвет. Зоня пошла и за Даркой.

— Ты, послушай-ка! Иди сюда, покажешь мне и панне, где растет горицвет.

— Некогда мне! — хмуро отозвалась Дарка, покосившись на Зоню своими темно-серыми глазами из-под белых от известки бровей.

— Цьоця разрешила.

— Какая такая цьоця? — также хмуро спросила Дарка.

— Ну, моя цьоця, пани Качковская!

— Ага, ключница...

И Дарка, отвернувшись от Зони, замахала по стене кистью.

— Что же, пойдешь или нет? — крикнула Зоня, — да полегче с этой кистью! Вот и на меня брызнула!

— Иди же, Дарко! — сказала Ярина.

— Конечно, иди, раз зовут, — тревожно и как-то уж слишком поспешно подтвердила мать, подтолкнув Дарку локтем.

Дарка оглянулась. За ней, чуть в сторонке, стояла Юзя и смотрела так жалобно и грустно...

Дарка сунула кисть в ведро, отерла рукавом лицо, одернула подоткнутый передник и направилась к калитке, бросив Зоне через плечо:

— Ну, идите!

Юзя встретила их возле калитки и пошла рядом с Даркой, умиленно-робко, без слов, поглядывая на нее.

— Да не бегите так, — остановила их Зоня, когда были уже возле «офицыни» [1], «на том дворе», возле панских загонов, — погодите, я зонтик забыла, на этом пастбище загоришь, как цыганка.

— Если вы за зонтиками станете ходить, я пойду лучше мазать, некогда мне долго расхаживать, еще чего доброго ключница вычтет ползлота и скажет — не весь день работала.

При слове «ключница» Зоня сжала от злости губы, а Юзя покраснела и торопливо заговорила:

— Нет, нет, пани Качковская этого не сделает, она ведь позволила, она ж...

— Хорошо вам говорить... Я пошла на пастбище, а другие, куда хотят, мне все равно!

И Дарка решительно зашагала вперед. Зоня отстала было и надулась, но Юзя что-то зашептала ей на ухо и до того засуетилась, что Зоня смилостивилась

---

[1] Служба *(польск.)*.

и пошла за Даркой, кое-как закрываясь от солнца платочком и широким рукавом блузки.

На пастбище на самом солнцепеке бледным золотом поблескивал островок мелкого, низенького, словно воскового, горицвета среди моря цветущей зеленой травы.

— Эвона! — указала Дарка на островок, и все трое принялись рвать густые цветочки-звездочки.

Вскоре, однако, Зоня отстала, сказав, что не может выносить эту «безумную жару», отправилась на просеку и легла там в тень под кустик.

Юзя проводила ее взглядом. Потом тихим, чуть дрожащим голосом обратилась к Дарке:

— Ты что теперь делаешь, Дарка?

— Небось видите, горицвет собираю...

— Нет, не сейчас... а вообще?

— Вообще, как вообще: хожу на работу, по дому все делаю, скот пасу.

Дарка отвечала не очень-то приветливо, но все же не так угрюмо и резко, как давеча Зоне, скорее с грустью. Ее глаза расширились и в упор смотрели на крошечный цветочек горицвета в ее дрожащей руке.

— А за Приськой кто смотрит?

— Приська большая, чего за ней глядеть? Ведь Гапка-то меньшая.

— А за Гапкой кто смотрит?

— А наша Ульянка! Ей теперь без малого шесть — неужто не присмотрит?

— А ты... а... а с кем ты теперь играешь?

Дарка перевела взгляд с цветка на Юзю.

— Разве есть у меня время играть? Разве я маленькая?

— А тогда же играла?

— Тогда!.. Да и тогда какая же это была игра? При гусях все да при детях — хороша забава! Впрочем, тогда еще можно было как-нибудь хотя бы по праздникам, или когда тайком убежишь.

— А теперь? Разве и по праздникам нельзя?

— Нет.

— Что же ты по праздникам делаешь?

— Что? По ягоды хожу, по щавель, а что соберу, несу продавать. А то мать пасти скотину посылают. Иван-то больше все при лошадях, в ночное ездит, а Ярина в праздник на танцы уходит.

— А ты на танцы не ходишь?

— Редко.

— Почему?

— А кто скотину погонит?

— Почему же Ярина не чередуется с тобой по праздникам? — наставляла Юзя, входя, как бывало, в интересы своей приятельницы.

— Мать говорят, что Ярина уже девка, что ей пристало на танцы ходить, а я еще мала́.

— Ты ведь только что сказала, что не мала́?

— Да это как для чего! — впервые за весь разговор Дарка улыбнулась, да и то грустно. Но Юзю эта улыбка все же ободрила.

— Слушай, Дарка, ты справила себе юбку такую, какая у меня была, помнишь?

— Эх, куда там! Мать из дымки пошили — и ладно.

— А знаешь что, Дарка? Ты вечерком приди как-нибудь, ну хотя бы сегодня, и я тебе ту юбку отдам, мамочка позволит. Юбка еще хорошая, но я из нее выросла. А впрочем... и ты выросла...

Юзя как-то сконфузилась. Но у Дарки вспыхнули щеки, заблестели глаза и уже не казались темными.

— Это ничего, панна! Я надточу, у нас так всегда делают, из-под каптана не видно! Так когда, говорите, прийти?

— Вечером, когда доят коров. Я тогда буду заниматься в своей комнате... одна... ты приходи под окно.

— Может, лучше, пускай бы мать пришли?

— Нет, нет, Дарка, ты сама приходи, сама! Придешь? — Юзя украдкой дернула Дарку за рукав и заглянула ей в глаза.

Дарка улыбнулась и не так, как в первый раз, а словно расцвела. Юзе припомнились даже самые веселые минуты прежних тайных забав: еврейские качели... катанье по сену...

— Хорошо, приду! — и Дарка весело и решительно кивнула дважды.

— Ой, скоро ли вы там? Здесь комары заедают, — притворно заспанным голосом протянула Зоня, лениво поднялась из-под куста и медленной поступью направилась к ним.

— Да хватит, уже довольно! — поспешно крикнула ей Юзя и побежала навстречу. Не торопясь, двинулась и Дарка.

По дороге домой все трое шли рядом. Юзя посредине, Дарка несла в фартуке горицвет. Солнце припекало, девушки разомлели, беседа как-то не клеилась. Когда подошли к дому, Юзя велела отнести горицвет в ее комнату и положить на стол, где, поверх книг и тетрадей, была сложена вся зелень.

Юзя принялась писать на длинных бумажках слова: «A słovo stało się ciałem i witało między nami».[1]

Зоня уселась за тот же стол, сворачивала эти бумажки в узкие полоски, связывала их кружками и, взяв за основу для маленьких веночков, вплетала в каждый веночек по нескольку стебельков каждого сорта трав и цветов. Веночки получались очень изящные, маленькие, точно для королевы эльфов. Дарка, положив горицвет на стол, не ушла из комнаты, а стала за Юзиным столом и загляделась на работу панночек — на Юзину с любопытством, на Зонину с какой-то угрюмой завистью.

Спустя некоторое время Зоня вышла в гостиную, чтобы отщипнуть несколько веточек мирта и розмарина для самого маленького веночка, который должен был украсить величайшую святыню — «монстранцию» со святыми дарами. Едва закрылась за ней дверь, как Дарка шепотом спросила Юзю:

— А дайте-ка и мне, панно, такую бумажку, сделаю и я один веночек.

Юзя дала ей бумажку, предварительно взглянув на дверь. Дарка принялась делать основу, неумело, сминая и пачкая ее пальцами, на которых оставались следы извести и зелени. Бумажка, наконец, порвалась,

[1] А слово стало телом и пребывало среди нас *(польск.)*.

но попросить другую Дарка не решилась и стала вить веночек, взяв в основу траву, переплетая цветы и зелень попросту, стеблями, без ниток. Венок получался большой, растрепанный, но Дарка торопилась и ни на что не обращала внимания.

Вошла в комнату Зоня, напевая благочестивый гимн «Do serca Iezusa» [1] (ей вообще хотелось попеть, однако в канун такого праздника не подобало петь ее обычно веселых песенок), но, взглянув на Дарку с венком в руках, оборвала пение и залилась смехом.

— Ох, панна Юзечка, поглядите, пожалуйста, что она слепила! Какое-то чучело!.. Ты зачем зелень переводишь? Кто тебе позволил? — обратилась она к Дарке уже без всякого смеха.

— Да ничего... пускай... — пролепетала Юзя и густо покраснела, потом низко склонилась, словно продолжала писать.

— Разве панна Юзечка позволила ей?

Юзя промолчала. Но Дарка ответила:

— А чего там позволять? Мало, что ли, этой травы на огороде? Разве я не собирала горицвет так же, как и вы? Еще и больше!..

— Ну, ну, помолчи-ка, ты! Разинула рот от уха до уха! То говорила: «Мне некогда», а теперь стала и стоит, а работа пускай ждет! Я цьоци пожалуюсь.

— Не очень-то я боюсь вашу цьоцю! — отрезала Дарка, но бросила недоплетенный венок на стол и выбежала из комнаты.

— Зачем было так?.. Пускай бы... — робко пролепетала Юзя.

— Ах, я не выношу таких грубиянок! — горячо заговорила Зоня, — да и к чему ей здесь торчать? Будь еще порядочная чистенькая девочка, а то из курной хаты!

— Откуда Зоня знает, из какой она хаты?

— Прошу прощения! От нее же за милю несет прогорклым дымом! Фуй, до сих пор чувствую. — Зоня помахала платочком у себя под носом, потом открыла окно настежь и выкинула Даркин венок. Дарка это видела, она как раз белила стену неподалеку от окна.

---

[1] К сердцу Иисуса *(польск.)*.

Юзя сидела, откинувшись на стуле, сложив руки на коленях, и неподвижно смотрела в окно.

— Панна Юзечка, вы уже все бумажки написали?

— Все.

Обрывистый и приглушенный тон этого «все» встревожил Зоню: она не слышала еще у Юзи таких ноток.

— Почему же панна Юзечка не плетет веночек? — спросила Зоня заискивающим тоном.

— Так.

— Ну, пожалуйста, скажите, почему?

— Потому что Зоне может не понравиться, и Зоня выкинет его в окно. — У Юзи уже дрожали губы, голос срывался, и поэтому колкий тон, которым она хотела это произнести, вовсе не удался, получилось как-то жалобно-пласкиво, совсем по-детски.

— Панна Юзечка на меня сердится?

У Юзи уже не хватило голоса ответить.

Зоня заглянула ей в лицо, Юзя опустила дрожащие ресницы.

— Панна Юзечка гневается на меня, на свою Зоню? И из-за кого же? Из-за этой мужички? Разве не правда, что все вещи из курной хаты пахнут дымом? Разве я виновата, что не выношу дыма? И что я этой девочке сделала? Что не очень вежливо разговаривала? Подумаешь, какая графиня!

Юзя, наконец, обрела голос.

— Fräulein Therese говорила, что вежливой нужно быть со всеми, даже со слугами. Она говорила, что так поступают все аристократки. Разве не правда? Зоня обязана это прекрасно знать, ведь Зоня воспитывалась с графиней.

Зоня слегка покраснела, но заговорила еще резче:

— Никто не может быть вежливым с грубиянами. Вероятно, панна Юзя считает, что каждая мужичка имеет право со мной разговаривать как ей вздумается, а я обязана вежливо раскланиваться за это?

— Но ведь Дарка не трогала Зони первая, — тихо, словно оправдывая себя, а не Дарку, произнесла Юзя.

— Следовало послушать, как она со мной разговаривала с самого начала! Я зову ее, как порядочную, а она меня чуть не съела! Мне даже стыдно стало перед

всеми этими мужичками!.. А панна Юзечка забыла, как эта вздорная девчонка огрызалась, когда я хотела пойти за зонтиком?.. Да что говорить? Панне Юзечке все равно. Пускай обижает бедную Зоню всякий, кому только не лень, панна Юзечка еще и сердится, что бедная сиротка Зоня не так вежлива, как графиня. А как было Зоне брать пример с графини? Перед графиней все на цыпочках ходили, а Зоньку кормили тумаками где-нибудь в темном углу, ведь за нее никто не заступится. Зонька должна все терпеть от первого встречного, на то она и бедная...

— Зонечка, и Дарка ведь бедная, — умоляющим голосом произнесла Юзя.

— Чем она бедная? У нее хата, сама к работе приучена, отец и мать живы, всегда есть, куда приткнуться. А я? Все на чужих хлебах из милости, все под опекой, все по чужим углам, никому не нужная, одна-одинешенька на целом божьем свете, никто меня не любит... Зачем мне жить?.. Ох, боже, как бы я хотела умереть!.. Боже, боже!..

Зоня уже плакала по-настоящему.

— Зоня, Зонечка! — кинулась к ней Юзя, — как можно так говорить? А я? Я ведь люблю Зоню, как родную сестру! Зоня ведь моя единственная, единственная подруга! Разве Зоня уже не верит? Зоня! Зоня!

В Юзином голосе звенело отчаяние, она стала на колени и обняла Зоню. Зоня припала лицом к Юзиным волосам.

— Верю... только... мне горько... так горько... что панна Юзечка сердится...

— Нет, нет! Я не сержусь, не сержусь! Я прошу Зоню не сердиться на меня! — Юзя в порыве любви и раскаяния схватила Зонину руку и прижала к своим губам.

— Панна Юзечка! Но ведь... — и Зоня сжала в объятьях Юзю, а та горько расплакалась и все старалась поцеловать Зоню.

Вдруг стукнуло окно. Это Дарка белила уже возле самых косяков. В открытое окно заглянуло ее лицо, все в пятнах известки, белое, страшное, как маска.

— Ты чего? Чего тебе? — спросили испуганно обе панночки.

Дарка ничего не ответила, только замахала так быстро и ожесточенно кистью, что стекла вскоре побелели не хуже, чем ее лицо.

Панночки собрали цветы и отправились на веранду довивать веночки. Потом они долго-долго до самых сумерек бродили по саду, потому что мама позволила Юзе не учить сегодня под праздник уроков. Зоня рассказывала всевозможные свои злоключения детских лет, Юзя была тронута до слез, жала Зоне руки, клялась, что будет ее любить — «всегда, всегда, до самой смерти», и под конец взяла слово, что Зоня будет называть ее на «ты», «Юзя» или «Юзечка» и без всяких «панни». Зоня долго отказывалась, потом согласилась, но только при разговорах наедине, иначе старшие на нее рассердятся.

Это «ты» стало первым общим «секретом» между ними. Сидя за ужином, они обменивались таинственно-радостными взглядами, а потом, уединившись в свою комнату, Зоня сказала Юзе:

— Возьми, Юзечка, молитвенник. Ты будешь молиться, а я повторять за тобой.

Юзя поцеловала ее долгим-долгим поцелуем, и в этот вечер Юзина душа была в раю, там, куда «лилия чистоты» и «источник святости» влекли Юзю к себе голосом Зони: «Kyrie eleison! Chryste eleison! ..»

В постели, уже совсем засыпая, Юзя вдруг вздрогнула. Ох, ведь Дарка, должно быть, за юбкой приходила и зря простояла под окном бог знает сколько времени!

Юзя зря волновалась: Дарка за юбкой не приходила.

## V

С тех пор как Зоня с Юзей перешли на «ты», в их дружбе незаметно, но быстро произошла перемена, и хотя Юзя даже самой себе не решалась пожаловаться на эту перемену, но душу ее терзали уже не одно, а два чувства, одинаково тяжелые и в то же время

одинаково неясные, не выраженные словами. Теперь Юзе часто приходило в голову, что Зоня все-таки ни на минуту не забывает о том, что она «большая», и дружит только «из милости» с «маленькой» Юзей. Ну, не совсем уж маленькой, ей ведь пошел пятнадцатый год, но все же Юзя ходит в коротенькой юбочке и «не знает» многих вещей, о которых, как говорит Зоня, знают все взрослые панны. А что это за дружба, если один что-то знает, а другому не говорит? Разве Зоня не клялась, что у нее нет более близкой и дорогой подруги, чем Юзя? Еще недавно она поклялась памятью своей покойницы-матери. «Вероятно, так и было еще совсем недавно, — думалось Юзе, — а сегодня, может, уже и не так?» Юзе нужны были ежедневные, ежечасные доказательства Зониной дружбы. Юзина дружба была беспокойная, капризная. Чувство тихого покоя, в котором она пребывала в первую зиму после приезда Зони, уже ушло. Юзе не нравилось, что к Зоне зачастила сестра фельдшера — панна Октуся, Зонина ровесница, черноволосая, полная, с такими «противными» лоснящимися, жирными волосами и с «коровьими» глазами. Зоня, правда, ходит к Октусе редко, потому что Юзя всякий раз из-за этого плачет. Ах, зачем было Юзе показывать перед Зоней эти слезы! Теперь не утешает и то, что Зоня не ходит к новой подруге, одно дело, если бы Зоня не захотела этого «сама», а так, вынужденно — какая этому цена? Может, ей самой и хочется, да не смеет или «щадит» Юзю? И Юзя до невозможности надоела Зоне, то добиваясь «правды», то раскаиваясь в том, что позволяет себе «kaprysy i grymasy» [1], то умоляя, чтобы Зоня хоть «чуть-чуть ее любила». Зоня отделывалась смешками, но, отвернувшись, досадливо кусала губы и ждала Октусю «jak zbawienia» [2].

Когда появлялась Октуся, Юзя почти всегда уходила из комнаты, но долго не выдерживала и возвращалась. Каждый раз ей казалось, что, чуть она войдет, девушки тотчас же прерывают или переводят разговор

[1] Капризы и гримасы *(польск.)*.
[2] Как избавление *(польск.)*.

на другое, но увериться в этом она сама не могла, а Зоня говорила... Увы, Юзя не была уверена в том, что говорила Зоня, вовсе не уверена, хоть и корила себя за это, хоть и лежала каждую ночь (когда Зоня спала), распластавшись на голом полу ради «интенции», чтобы бог дал ей уверенность и подлинное доверие к подруге. Из-за этих лежаний Юзя схватила опять лихорадку, но уверенности и доверия не обрела.

И Юзя не выдержала: однажды она подкралась к двери и подслушала, вот так просто «по-простецки» и подслушала, «как горничная», — укоряла она себя мысленно. Хотя в ушах у нее звенело от волнения, она все же уловила приглушенный грубоватый смех Октуси, потом Зонино восклицание: «Пан Феликс? Ах, неужели это возможно? Ха-ха-ха! Вот хорошо иметь такого брата!.. И как, как?»

Октуся произнесла что-то вполголоса, потом обе запели на мотив краковяка такой диалог, между «паненкой» и «кавалером», что у Юзи екнуло и замерло сердце. Грязные намеки в песенке становились все откровеннее, а Юзины глаза раскрывались все шире и шире, будто к ней приближалось что-то неожиданное и страшное, и не было сил отвести от него глаза.

Девушки допели песенку и снова покатились со смеху. Юзя встрепенулась и, точно ее подхватила какая-то сила, ворвалась в комнату задыхающаяся, дрожащая, как в ознобе, и в то же время красная, пылающая.

— Вы что поете? Зачем вы это поете? Что это? Как вы можете?

— А как могла паненка слышать, что мы пели? — спросила Октуся, прищурив не то лукаво, не то нагло свои карие глаза.

В первую минуту Зоня смешалась, но потом быстро подняла голову и в упор взглянула на Юзю.

— Ну, и что же? Пели! Мы-то не знали, что нас может кто-нибудь послушать малолетний, а для взрослых тут нет ничего зазорного.

— Конечно, — подхватила Октуся, — вот когда паненка наденет длинное платье, тогда и согласится с

нами. Да в конце концов не обязательно и длинное платье, это как кому...

Юзя беспомощно смотрела на Октусю. Зоня дернула ее за рукав и с досадой обратилась к Юзе:

— Лучше всего не подслушивать наших секретов или тогда уж не возмущаться ими, а так одно с другим не вяжется! — Тут Зоня взяла свое рукоделие и принялась вышивать, уже не глядя больше на Юзю.

— Октуся, — обратилась она к подруге, — хорошо ли будет такое Z на платочке или, может, слишком крупно?

— Великовато, для панны следовало бы поменьше, скромнее как-то выглядит. Такое больше подошло бы для mężatki...[1]

Юзя, опустив голову, тихонько вышла из комнаты. Девушки словно и не заметили этого, однако, когда она очутилась уже за дверью, ей почудилось, что кто-то из них прыснул, пытаясь сдержать смех. Юзя остановилась и, прислушиваясь, замерла, но, ничего больше не услыхав, двинулась дальше.

Юзя прошла по узенькой тропинке через сад к далеким ольхам, что возле тына — к тому месту, где когда-то они с Даркой сходились для бесед, — легла ничком в высокую траву, уткнула лицо в ладони и лежала так — тихо-тихо. Ей словно неловко было глядеть на задумчивые старые ольхи, на ручеек, бежавший из леса в прудок, словно не хотелось встречаться взглядом с голубыми глазками незабудок. Она не плакала, а только дрожала мелкой дрожью и чувствовала какую-то непонятную пустоту внутри, какое-то онемение во всем теле. Она старалась не думать о том, что только что услышала... Такие скверные, такие мерзкие эти слова, эта песенка и все... Зачем, зачем было слушать? Теперь Юзя не такая, как была, не такая и уж никогда такой не будет!.. Господи, лучше бы никогда не быть взрослой!..

Сквозь сжатые пальцы стали просачиваться слезы — капля за каплей. Лицо Юзи оставалось спокой-

[1] Замужней женщины *(польск.)*.

ным, она не всхлипывала, как обычно, по-детски, она едва сознавала, что плачет. Слезы, казалось, лились не из глаз, а из какого-то более глубокого источника.

— Не хочу! Не хочу! — хрипло произнесла она вслух, поднялась на колени и простерла руки к небу. — Боже, пресвятая дева! Я хочу все забыть!.. Дева пречистая, сотвори это чудо!

Сквозь ольховую листву пробился солнечный луч, и вдруг в глазах заиграли золотые стрелки — это преломлялся солнечный свет в невысохших капельках слез на ресницах... Юзе показалось, что это «небесное знамение», начало чуда.

Успокоившись, она вернулась домой, но не к Зоне, а в гостиную, где сидели старшие. Помогла бабусе набрать на спицы спущенные петли чулка, прочла дедушке страниц десять очень скучных «мемуаров», отцу сыграла мазурку «На смерть Конарского», с мамой поговорила по-французски — словом, была такой «примерной», что и в самом деле заслужила, чтобы совершилось ради нее любое чудо.

Но чуда все же не произошло.

В этот же вечер, лежа в постели и поджидая Зоню, ушедшую в гости к Октусе, Юзя все вспоминала, все думала о том, что старалась забыть. И мучила ее обида, отвращение и злость на Зоню и угнетала душу клятва в вечной дружбе с «бедной сиротой».

— Неужели я изменю ей, как изменила Дарке? — Юзя впервые сама перед собой отважилась назвать свой поступок с Даркой изменой. — Но ведь Дарке я не клялась, нет, право же, ничего ей не обещала, а Зоне клялась перед алтариком! Какая я недобрая, какая я подлая!

Когда пришла Зоня, Юзя устроила ей «сцену». Юзя слышала, что Зоню проводил домой фельдшер, молодой пан Феликс, и стала горько попрекать Зоню, что та изменяет подруге ради кавалера.

Полураздетая Зоня села к Юзе на постель и, прикрыв ей рот рукой, зашептала:

— Тише, тише! Еще старшие услышат... Ну, Юзечка, не будь же ты ребенком! Кто же сравнивает

кавалера с подругой, а подругу с кавалером? Вижу, что и в самом деле лучше уж тебе все рассказать, а то чистое наказание господне!

Зоня легла рядом с Юзей, положила ее голову себе на плечо, обняла голыми руками ее худенькое тельце и прижала к своему теплому, пышущему здоровьем телу.

И все объясняла, объясняла... Юзя слушала, раскрыв глаза и рот в темноте, и ей чудилось, будто сердце ее бьется уже где-то в самом горле, даже трудно дышать...

Юзя заснула только тогда, когда совсем отчетливо выступила из темного угла белая печка, а в венке над образом божьей матери можно было отличить красные цветы от синих. Проснулась Юзя поздно, с тяжелой головой, с тупой тоской в сердце. Зоня была уже одета и читала перед образом «rożaniec»[1]. Юзя вяло и небрежно оделась, открыла окно, села на подоконник и бездумно уставилась вдаль.

— Юзечка, ты почему не молишься со мной? — спросила Зоня.

— Пускай уж потом... я еще не умывалась, — вяло протянула Юзя.

— Ну, так умывайся поскорей.

— Н-не хочется, — притворно потягиваясь, тем же голосом протянула Юзя.

Она опустила голову на подоконник, безвольно протянула одну руку вдоль него, а другою прикрыла голову.

...Ой, ти, дівчинонько хорошого строю[2],
Берися за вила, ходімо до гною![3]

Зоня и Юзя вздрогнули от этой песни, которая так внезапно сорвалась откуда-то из малинника.

— Да это глупая Дарка! — с досадой произнесла Зоня. — Ну ее, даже испугала! Вот уж деликатная песня — «ходімо до гною». Это мужицкий кавалер свою

---

[1] Католическая молитва *(польск.)*.
[2] Нарядная *(укр.)*.
[3] Навоз *(укр.)*.

даму приглашает. Вот уж чистенькая песня! Даже пахнет!

Дарка не слышала этой критики и продолжала выкрикивать нарочито низким голосом, по-полесски:

Ой, ти, дівчинонько, роби, не роби,
А прийде неділя, хороше ходи!

Красный платок на Даркиной голове алел среди темнозеленых кустов, точно большая ягода. Песня смолкла, должно быть рот певицы занялся другой работой. Дарка собирала малину панам на варенье, — ну, и, конечно, брала себе известный процент натурой на месте.

Пришла пани Качковская и позвала Зоню помочь перебирать ягоды, потому что это «бесконечная работа».

Юзя осталась одна и все не трогалась с места.

Дарка завела свадебную. Там были всякие диковинки: и «веночек в жемчугах», и «терн, золотом перевитый», и все это оставляла какая-то «Марьюня» ради своего «Иванка», потому что полюбила его «как душу». Дарка распевала все это так бойко, громко и задорно, чеканя каждое слово так же, как и ту песню, где хлопец зовет девушку «до гною».

Юзя слушала и вдруг улыбнулась. На минуту произошло чудо: Юзя как-то забыла вчерашний день, прошлую ночь и все остальное. Ей стало весело: она заметила, что сегодня хотя и знойно, но воздух какой-то легкий, что пахнет малиной и месячной розой, и до того это было просто и приятно, очень приятно. Юзя быстро умылась, освежила голову, подошла к окну и, опираясь на руки, слегка высунулась наружу.

Из-за кустов вынырнула рослая, но тонкая фигура Дарки. Сухощавые, но сильные руки держали на плече большую корзину, полную малины; из-под засученных рукавов видно было, как напряглись, точно пружины, мускулы, еще совсем детский стан, туго перепоясанный узкой «крайкой», откинулся назад, и благодаря этому вся осанка казалась гордой, а лицо от легкого напряжения серьезным и совсем «взрослым». Дарка молча прошла по тропинке мимо Юзиного окна.

— Добрый день, Дарка! — весело приветствовала ее Юзя и хотела что-то спросить, но Дарка степенно ответила:

— Доброго здоровья, — и, не остановившись, даже не взглянув на Юзю, продолжала свой путь на кухню.

Юзя села и снова опустила голову на подоконник, — голова стала тяжелой, точно после угара, закружились бестолковые мысли. Где-то далеко, в кухне запела краковяк Зоня, слов нельзя было разобрать. Точно нитка клубка, выпущенного из рук на землю, быстро-быстро стали разматываться воспоминания о вчерашнем дне, о прошлой ночи... Чудо исчезло...

— Юзечка, почему не выходишь к чаю, деточка? — спросила бабуся, входя в комнату.

— Сейчас иду, — ответила Юзя, прикладываясь к ее руке и плечу.

— Ты сегодня проспала, koteczko [1], уже помолилась?

— Уже, — тихо, опустив глаза, сказала Юзя.

— Ты что-то опять, кажется, нездорова? Выпей, голубка, хины перед чаем.

— Хорошо, бабуся, выпью, — и, покорно склонив голову, Юзя пошла за бабушкой в столовую.

## VI

Чуда не свершилось, но до тех пор, пока Юзе исполнилось шестнадцать лет, произошло много разных событий. А самое главное — разлука с Зоней. Внезапная, нежданная, жестокая разлука. Юзя и сама не знает, как все это пережила. Дня три до Зониного отъезда глаза Юзи не высыхали от слез. Она на коленях умоляла всех родных, целовала руки, обещала все возможное и невозможное, только бы не отправляли Зоню. Но родные остались неумолимы: «так нужно; это решено и лучше для нее самой» — вот и все, что слышала Юзя. Ни от кого ни слова объяснений. Юзе так

[1] Котеночек *(польск.)*.

никогда и не сказали о причине Зонииого отъезда. Юзя спросила Бронека, который приехал домой на каникулы недели за три до этого несчастья. Бронек — веселый, жизнерадостный гимназист — пожал плечами, помахал тросточкой, присвистнул и небрежно бросил: «Лучше всего ее спроси, может, сама скажет!» — и ушел, напевая «Ja kawaler, a ty wdowa» [1] с очень веселым припевом «trom drita, trom ta drita»... А Зоня на Юзины вопросы отвечала только слезами да жалобами на сиротскую долю и жестокость каких-то «бессердечных людей» (но не Юзиных родителей) и говорила что-то такое, чего совсем уже невозможно было понять; перед господами держала себя смиренно, а тетушке не смела и в глаза посмотреть. Качковская на прощанье не протянула Зоне для поцелуя руки, а Качковский подъехал на телеге-драбиняке к флигелю (в последние дни Зоня жила уже там, а не с Юзей) и не вошел, как водится, в комнату присесть перед отъездом, «чтобы все было ладно и благополучно», а только крикнул с телеги: «Ну, иди уж! Лошади не стоят!» Бледная, заплаканная, повязанная платочком, Зоня, села, сгорбившись, на телегу: рабочие лошади рванули, и мимо столпившейся любопытной челяди Зоня укатила со двора и скрылась в серой пыли. Юзя лежала в своей комнатке и, не помня себя, рыдала.

Но, как ни странно, Юзя горевала недолго, должно быть, вся ее печаль вылилась уж слишком неудержимо, внезапно, до последней капли и вдруг иссякла. Вскоре наступило время, когда Юзе пришлось напоминать себе, как бы не забыть Зоню в своих вечерних и утренних молитвах, как было условлено при прощании; пришлось даже завязывать на платочке узелки. А письма не писались, Юзе как-то совсем не о чем было *писать* Зоне, впрочем, поговорить нашлось бы, и даже о многом. Юзя писала письма еще совсем по-детски, перечисляя одни только факты, да и те не умела связать иначе чем словами «i donoszę tobie» [2], — это раздражало ее самое, в конце концов ни одно письмо к Зоне

[1] «Я холостяк, а ты вдова» *(польск.)*.
[2] И еще сообщаю тебе *(польск)*.

не было ни окончено, ни послано, а Зоня, должно быть, не посмела писать первой.

Да и некогда было Юзе погружаться в воспоминания и сожаления, приехала новая учительница — француженка («лучше поздно, чем никогда» — решено было в семье), и вовсе не была она такой страшной, как себе представляла Юзя; наоборот, веселая, приветливая, занятная, чуть насмешливая, но «милая». Юзя стала наверстывать «полным ходом» пробелы в науках и воспитании. Познания ее вскоре достигли того уровня, когда Юзя во французском повторяла лишь те орфографические ошибки, которые делала сама учительница, бывшая продавщица в большом Magazin de Louvre. Что касается музыки, арифметики и прочих наук, то Юзя усваивала их еще и до этого, поначалу дома, потом ездила три раза в неделю в уездный город к одной «дипломированной» пани, таким образом до полной «эдукации» [1] девушки-панянки Юзе недоставало весьма немногого. Воспитание тоже двинулось довольно разительно вперед: теперь Юзя твердо знала, зачем и почему панянка должна учиться, а именно — «чтобы уметь держать себя в обществе, чтобы не смеялись люди, чтобы быть не хуже других и чтобы другие даже завидовали». Для чего же все это было нужно, ей не говорили, но она и так догадалась. Теперь Юзя о многом уже догадывалась и не задавала наивных и назойливых вопросов. Француженка закончила Юзино образование, начатое под руководством Зони, закончила по своей воле и помимо ее! Все служило пособием в этой «жизненной науке». В первую голову сама личность «mademoiselle Lucie». Зашнурованная, подтянутая, начищенная, завитая француженка поражала своей парижской неподдельностью — сочетанием искусственного и естественного в малейшем жесте и слове; просвещали и книжки, те, которые никогда не передавались из рук в руки, но неизменно лежали либо под подушкой, либо в незапертом ящике стола учительницы. Юзя научилась читать эти книжки тоже «полным

[1] Образование (польск. от *франц.* éducation).

ходом» и так, чтобы никогда никому не попадаться на глаза с таким «руководством». Какой наивной казалась ей теперь та примитивная азбука Зониных и Октусиных крамовяков, заимствованных у пана Феликса! Как мало знала эта бедняжка Зоня! Да и что может знать панна, если не владеет французским, не в состоянии прочесть в оригинале хотя бы Прево? Правда, в этой новой науке о жизни все еще оставался какой-то таинственный уголок, завешенный поэтической, полупрозрачной кисеей; он манил, но уже не пугал Юзю. Она уже не желала чуда возвращения к детскому неведению, — нет, наоборот, она жаждала поскорее узнать на деле эту жизнь, так заманчиво описанную в книжках. Хоть бы уж поскорее исполнились эти шестнадцать лет! Папа сказал, что тогда они на зиму уедут в Варшаву (бабуся с дедушкой останутся на хозяйстве), а мама вывезет Юзю в «свет», на этот воспетый, овеянный мечтами «первый бал»... Юзе знакомы уже его прелюдии, m-lle Lucie добилась, чтобы отвезли Юзю в город на несколько детских вечеринок, — бойкая француженка считала, что воспитание Юзи было до сих пор trop isolée [1]. После этих вечеринок, зачастую бодрствуя по ночам, Юзя все мечтала о «первом бале», о настоящем бале для взрослых... Дождется ли она этих шестнадцати лет?!

Шестнадцать лет все-таки исполнилось! Сегодня, сегодня день рождения Юзи! Сколько наедет гостей, какое будет веселье! У Юзи теперь много подруг, все благодаря этой же славной m-lle Lucie, это она сумела поддерживать знакомства и собрать целый кружок молоденьких барышень из соседних деревень. Ко дню рождения Юзи справили красивое-прекрасивое белое *длинное* платье... Ах, как жалко, что вчера весь день лил дождь — уж эта проклятая полесская осень, — так бы славно походить сейчас в легком белом платье по сухим листьям под желтыми и багряными ветвями деревьев! В каком-то романе есть такое описание: «Она была словно белая душа весны среди руин умершей осени...» Нет, все-таки ничего, что

[1] Слишком замкнутым *(франц.)*.

дождь, ведь он сегодня уже не льет, а папа приказал посыпать свежим песком все дорожки вокруг дома и ту длинную тропинку, которая ведет к беседке. Вон уже Максим с Яковом привезли первый воз, а Дарка с Ульяной разносят его и посыпают дорожки. Славно будет! Чудесно! Какой папа добрый!

Дарка с Ульянкой быстро носились туда и обратно, у Дарки даже платок сполз с головы; она слегка запыхалась, таская в корзине тяжелый песок, и все-таки каждый раз, высыпав песок на дорожку, рысцой спешила за новой ношей, бойко помахивая пустой корзиной. Ульянка же, наоборот, быстрее бежала с полной корзиной, сгибаясь в три погибели всем своим нескладным телом, а порожняком шла потихоньку, волоча ноги и бессильно болтая руками. Ульянка еще только начинала ту борьбу, из которой Дарка уже выходила победительницей. Дарка уже одолела «шіплю»[1], сжилась с полуголодом, выросла из «няньки» и «подпаска», стала девушкой-работницей (впрочем, больше двугривенного в день ей за работу не платили) и бессознательно, но живо, всем существом наслаждалась своей молодой жизнью, молодой, но уже закаленной силой, вынесенной из трудного детства, точно добро из пожара. О прежней, еще недавней болезни напоминали слишком тонкий стан и тонкие, хоть и сильные, точно стальные, ноги с узкими длинными ступнями, за что ее и теперь, как и сызмалу, свои и чужие дразнили «тонконогой». На загорелом лице еще и теперь не играл румянец, на нем до сих пор оставался легкий оттенок цвета слоновой кости, щеки не были полными, в глазах отсутствовала легкомысленная беспечность, лицо, казалось, вырезано скупым на дешевые эффекты резцом вдумчивого мастера, который, создавая прекрасное, вовсе не заботился об этом. Да и редко кто, глядя на эту девушку, понимал, что она красива, и ее обычно так и не называли, но кто хоть раз вгляделся в нее, тот узнавал повсюду, хоть и сам не мог бы сказать, чем отличаются эти не лучистые серые небольшие глаза от других серых глаз, чем выде-

[1] Малярия *(укр.)*.

ляется из тысячи таких «божьих творений» эта простая русая, не белокурая и не рыжая, не большая и не маленькая и даже не чернобровая девушка. Может быть, тем, что, глядя на нее, всем казалось, будто эта девушка знает нечто такое, чего не знают или не понимают многие другие, а она в этом уверилась и глядит потому с таким достоинством и так прямо каждому в глаза, без этой обычной девичьей стыдливости, немного искренней и немного деланной, которая заставляет хихикать и закрываться на людях рукавом. Ребенком, бывало, Дарка глядела угрюмо, нахмурив брови, опускала глаза в землю, словно искала что-то утерянное, или смотрела искоса на того, кто к ней обращался, наморщив лоб и прикрыв глаза рукой; теперь у нее создалась привычка глядеть большей частью прямо перед собой, будь это люди или далекий простор, и казалось, что ее глаза созданы именно для такого взгляда.

Так смотрела она на Максима и сейчас, остановившись с пустой корзиной около воза с песком. Максим, молодой дворовый парубок, тоже поглядел на нее и улыбнулся.

— Ну, чего стоишь? Ты, тонконогая!

— А что, уж и постоять нельзя? — спокойно ответила Дарка, — я ведь не лошадь.

— Эх, дивчина, — отозвался Яков, уже немолодой, женатый работник, — будь ты лошадью, нашлось бы время и постоять, как вот этой, — он ткнул кнутовищем в бок лошади.

Дарка медленно перевела взгляд с Максима на Якова.

— А вы-то, дядя, стоите.

— Н-ну, я... Повозила бы ты да покидала бы лопатой этот песок!..

— Удивил! Я глину копала, не то что... А вы, дядько, лучше тачку привезите да с Максимом помогите раскидать песок, не то и до вечера не управимся, а дивчина, глядите-ка, уже и так приустала, едва ползает. — Дарка указала на Ульянку, которая стояла, опустив руки.

— Нужно же такого заморыша на работу брать, лучше бы Ярина пришла, — заметил Максим.

— Ярина не придет, — коротко и с достоинством заявила Дарка.

— Нашу Ярину вчера запили, приходили сваты от Гаптона, — тоненьким голоском, по-детски выговаривая слова, отозвалась Ульянка.

— Э-э, да ну? — воскликнул Максим.

— А ты будто и не знал? — недоверчиво спросила Дарка.

— Откуда будешь знать, если гоняют тебя, как борзые зайца, то в город, то за панами, то опять же за песком, то неизвестно зачем? Вовсе одурели с этими самыми мининами, — закончил Максим, значительно понижая голос к концу своей речи.

— Когда свадьба? — перебил его Яков, обращаясь к Дарке.

— Вот только оглашения пройдут.

— Торопится Гаптон.

— Известно, мать-то у него хворая, того и гляди помрет, тогда уж свадьбу не справишь, не годится, а кто работать будет, если старуха помрет?

— Верно, — подтвердил Яков.

— А Ярина как, с охотой за него идет? — спросил Максим.

— Почему бы не с охотой?

— Верно, — подтвердил опять Яков, а Максим промолчал.

Все четверо стояли молча и о чем-то думали.

В эту минуту прибежал «оконом» Качковский с криком:

— Ну, чего стали? Вот наказание господне с таким народцем! Только не пригляди за ними! . .

Дарка с Ульянкой поспешно взялись за работу. Второпях, а может быть, и с перепугу Ульянка споткнулась и рассыпала попусту песок. Качковский вырвал у нее из рук корзину.

— Эй, мне такой работы лучше не нужно! Вам только деньги даром плати! Максим, бери-ка тачку. А ты, Яков, будешь с Даркой на носилках таскать, пока есть еще песок на возу, — нечего без дела стоять! Ну,

а ты, Ульянка, ступай домой, пускай придет та, засватанная!

— Ярина рушники для свадьбы подрубает, ей некогда, — отозвалась Дарка.

— Подумаешь, светлый праздник ваша свадьба! Поспеет с козами на торг. А не захочет, то убирайтесь все к чертовой матери, других найду. Ишь какие привереды: одна хочет, другая не хочет. Стану я вас просить! Или пускай сию же минуту Ярина идет сюда, или ни одной из вас не нужно. Всё!

Дарка кивнула Ульянке, и та побежала домой.

— И матери скажи, чтоб пришла! — крикнул ей вслед Качковский и обратился к Максиму: — Ага, слушай, когда придет Мартоха, пускай тебя заменит, а ты собирайся в Жабокрики за барышнями. А вы смотрите мне, чтобы до обеда все было готово, — приказал он Дарке и Якову и поспешным шагом направился в конюшню.

Максим, досадливо пожав плечами, ушел вслед за Качковским.

Пришла Мартоха с Яриной и все же прихватили с собой Ульянку. Песок носили и в корзинах, и на носилках, и в подолах, возили в тачке, кидали руками и лопатами, запачкали одежду, запорошили глаза, но все-таки еще до обеда, перед вторым панским завтраком, панна Юзя пронеслась мазуркой по длинной желтенькой, точно золотой тропинке к беседке, обвитой багровеющим диким виноградом, чуть-чуть касаясь песочка длинным белым платьем.

— По песку даже лучше, — заметила она, — а то опавшие мокрые листья шелестят так печально... да и платье можно запачкать.

И панна Юзя заторопилась в комнаты, потому что стали съезжаться гости, надо было принимать поздравления, подарки и приглашать барышень к кофе со всякими сластями; обед был назначен гораздо позже и очень парадный, а потом развлечения, танцы и торжественный ужин. Юзины родители не поскупились на угощения в честь шестнадцатилетия единственной дочери.

## VII

Тем временем, вернувшись с работы, Мархота с семьей уселись за обед. Ярина рядом с отцом в красный угол, ей, как засватанной, полагалось самое почетное место, и она уже не вставала из-за стола, чтобы помогать матери возле печи. Правда, особой помощи и не требовалось — обед был обычный: ржаная затирка да картофельные товкмачи с маком, вот и все. Но и Дарка все-таки помогала — подавала ложки, резала хлеб, то и дело вскакивая с лавки, против красного угла. Ульянка с Иваном расположились на узкой лавке, а Приська, теперь уже толстая мордастенькая семилетняя девочка, сидела «по-турецки» на полу, с необычайно головастой и пузатой, но тонконогой и тонкорукой Гапкой на коленях, и носила через ее голову себе в рот ложку с едой из стоявшей в ногах миски. Горячая жидкость не раз капала на ребенка, и тогда Приське приходилось бросать еду и успокаивать малютку. Непоседливой Приське надоел такой затяжной обед, и она тайком от матери влепила Гапке несколько тумаков. Ребенок зашелся.

— Да молчи ты, будь ты неладна! Молчи, чтоб ты скисла! — не выдержала Приська.

Мархота отошла от печи, дала подзатыльник Приське, но Гапку у нее взяла.

— Говорила тебе, не смей проклинать ребенка, еще, сохрани бог, в недобрый час скажешь! — крикнула Мартоха и села на скамью покормить Гапку, чтобы та успокоилась, — сама здоровая, как кобыла, а еще клянет, чтоб ты пропала!

Приська пробормотала что-то, но тотчас умолкла, потому что мать пригрозила:

— Ну, ну, поговори мне!

Мартоха больше всех детей любила «головастую» Гапку и терпеть не могла, когда соседки, покачивая головами над ребенком, пророчили, что «вряд ли что из нее выйдет, у нее же, кумушка, и переносица синяя, и глаза как у старухи». Гапка лицом была «вылитая» мать, а здоровьем слабее всех; вот уже скоро ей три

года, а она чуть голову держит. И Мартоха, казалось, спешила нарадоваться на своего ребенка и пестовала его так, что Приська с Ульянкой просто возненавидели «баловницу». Мартоха даже сваливала не раз основную хозяйскую работу на старших девочек, позволяя меньшим «бить баклуши», сама сидела с Гапкой, то развлекая ее, то врачуя всевозможными лекарствами.

И на этот раз из-за Гапки Мартоха передала Дарке свою главную домашнюю обязанность (опять-таки минуя засватанную Ярину), промолвив ласковей, чем обычно:

— Даруся, вынь-ка товкмача из печи... Ага, слушай, где-то там со вчерашнего дня капелька горилки осталась, поднеси отцу.

С тех пор как появилась на свет Гапка, Мартоха стала мягче относиться к мужу.

Глядя на свою больную «любимицу», она, должно быть, научилась больше жалеть и понимать своего несчастного «дохляка» мужа. Вот и сегодня Мартоха, сравнивая с «кобылой» любимейшую когда-то за это самое здоровье Параску, вдруг почувствовала, что в душе ее шевельнулось нечто весьма схожее с тем чувством, с каким, бывало, Семен бил ее самое и укорял, что она «чисто как стена»; только теперь это чувство было еще тяжелей.

Дрожащими руками принял Семен «порцийку»[1], которую подала ему Дарка, молча кивнул головой жене, что означало — «дай боже здоровья», жена кивнула ему в ответ: дескать, «пей на здоровье». Сначала Семен хотел выпить маленькими глоточками, чтобы продлить удовольствие, зная, что больше одной рюмки ему не дадут, но, не удержавшись, опрокинул ее всю и громко, с хрипотцой крякнул: «А-а-а!» После вчерашних «запоин невесты» ему необходимо было опохмелиться, а жена все не догадывалась, просить же — Семен никогда ничего не просил у нее, — этот «гонор» в нем крепко сидел.

---

[1] Чарку *(польск.)*.

Некоторое время он ел, как всегда, молча, но похмельная чарочка так и подзуживала почесать язык, и Семен, наконец, ни к кому, в частности, не обращаясь, начал:

— Так, так... пропили мы, значит, нашу Яринку, не оглянешься, как и Дарочку запьем.

— Да мне, тату, еще годы не вышли. Что это вы меня замуж выпроваживаете? — задорно ответила Дарка и дружелюбно поглядела на отца, словно улыбаясь глазами. Она любила, когда отец говорил непринужденно и весело, правда, случалось это только во время выпивки да и то не всегда, потому что, сильно опьянев, он становился угрюмым и хотя теперь никогда не дрался, но все-таки сжимал кулаки и сквозь зубы кого-то проклинал. Дарка иногда даже покупала для него «малую порцийку» за собственные заработанные деньги, «чтобы батько немножко поговорили».

— Я тебя, Дарочка, не выпроваживаю, — продолжал Семен высоким и тихим голосом, — а только известно, дочки — чужая корысть. А годы, кто их знает, вышли они или не вышли? Об этом поп знает. Вот когда пойду за Ярининой метрикой, и про тебя у попа спрошу, ей-богу, спрошу, — думаешь, нет? А-ну, как тебя засватают теперь, до Дмитриева дня, знать-то нам нужно, что людям ответить.

— Нечего там знать, — отозвалась Мартоха, — я теперь Дарку все одно не отдам.

— А это почему, мать?

— Почему? Сам бы подумал: Яринку отдаем, Ульянка еще мала, еще нескладная, ну, а кто же мне в работе поможет?

— А мы Ивана оженим, вот и невестушку заполучим! — еще веселей возражал Семен.

— Как раз, на невестке разживешься! Невестка — не дочка. Да и куда там Ивану еще жениться?

— Кто рано женится, тот не кается, — не унимался Семен: видно, вчерашние запоины навели его на мысль о свадьбе.

— Ах, оставь меня, отец, в покое! — рассердилась Мартоха, — даже слушать не охота! Да я Дарку и за

сто невесток не отдам, — без нее я как без рук. Поищика еще такую девку.

Дарка вспыхнула. Впервые мать так вот без обиняков ее похвалила. Нет, это собственно не похвала, это было дороже обычной материнской похвалы своим дочерям. Мать вслух сказала то, что Дарка отлично знала и понимала сама, но никогда не предполагала, что требовательная мать когда-нибудь произнесет это, да еще при всех.

— Ну, чего расселась? — обратилась к ней Мартоха с обычной суровостью, — собирай-ка со стола да помоги Ярине рушники подрубить. Отец плетет несусветицу, а она и слушает, словно что путное.

Дарка улыбнулась и, переглянувшись с Яриной, стала собирать со стола.

Перекрестившись, Семен вышел из-за стола, постоял немного, словно хотел сказать еще о чем-то, но раздумал и ушел из хаты. Не прошло и минуты, как он вернулся.

— Ага, скажите-ка мне, почему это в экономии такой базар? Все чужие господа едут? Уж не праздник ли сегодня?

— Минины панночки справляют, ей сегодня шестнадцать лет исполнилось, — сказала Дарка.

— Шестнадцать... тсс... гляди-ка!.. А которая из вас старшая, ты или панна?

— Разве ж я знаю? Мама, вы-то как скажете?

Мартоха немного подумала, потом сказала:

— А так, что одних лет... день в день! В ту пору еще к пани кушерку привозили, она и у меня принимала потому, ведь я чуть из-за тебя тогда не померла. Так оно и есть, что вы в один день обе родились — и ты и панна.

— Э, значит, придется и нашей Дарке минины справить! — вдруг крикнул Иван, который до сих пор что-то молча строгал. Он встал и с размаху хлопнул Дарку по спине.

— Отцепись, холера! — огрызнулась Дарка.

— Ну, ну, подеритесь еще! — остановила их Ярина, а Приська захихикала.

Вдруг в хату влетела, черная как жук, приземистая дивчина, Яринина подружка Мотруна. Она с разгону подбежала к Ярине, выхватила у нее из рук неподрубленный рушник и потащила ее за рукав из-за стола.

— Сестричка, бежим скорей в экономию!

— А это зачем?

— Да ты разве не слышишь? О! — Мотруна подняла палец, и все стали прислушиваться: сквозь открытую дверь доносились звуки скрипок и тамбурина.

— Музыка? Где же это? На панском току? Почему? — наперебой спрашивали девушки.

— Да это же пан нанял музыкантов для дворовых. Минины панночкины, что ли... Там такой бал. Вечером паны будут танцевать — для них другая музыка, а теперь пан позволил дворовым танцевать на току. Да еще, говорят, старшим и хлопцам по чарке поднесут, а девкам косоплетки раздадут, что ли... ой, бежимте, миленькие, поскорей.

Последние слова Мотруна договорила, уже когда мчалась по улице к панскому току, а за ней поспешала вся белашевская семья. Мартоха даже Гапку прихватила.

На панском черном дворе собралось множество народу, а возле самого тока была настоящая давка. Однако бойкая Мотруна и дюжая Мартоха протолкались вперед, а вслед за ними и вся семья, только Ульянка отстала, — какой-то парубок отстранил ее локтем, и она уже не решилась больше пробиваться сквозь толпу, а прошла в закоулок между хлевом и конюшней, где плясала и резво кружилась мелюзга, точь в точь как маленькие голубые и красноватые мотыльки, которые в горячую пору жатвы низко вьются над самым жнивьем, притом быстро-быстро.

На току оставался свободным уже только небольшой круг, на нем отплясывали «крутяха» две молоденькие девушки, взявшись за руки, и тройка — хлопец с двумя девушками, — хлопец посредине, девушки по бокам, — он обнимал их за шеи. Все трое кружились, притоптывая, и не обращали ни малейшего внимания

на пару, которая не раз налетала на них с разгону. У девушек был очень чинный вид, а парубок, очевидно потому, что он обе руки положил на плечи девушкам, — казался гордым, он улыбался как победитель и подмигивал товарищам. Музыканты расселись высоко на соломе; грохот тамбурина стлался понизу, и точно раскатывался по темным углам, а частые переборы скрипки и контрабаса проносились над толпой, вырываясь из риги вместе с лучами осеннего послеобеденного солнца, которые пробивались сквозь стену, где была вынута одна доска, через весь ток до самых распахнутых ворот широкой яркой полосой, живой от миллионов блестящих пылинок, казавшихся мельчайшей золотой мошкарой. Свет гулял по головам, сверкал в передних рядах толпы на девичьих и юношеских белых, синих, красных, зеленых и пестрых нарядах, горевших, точно весенний цвет; дальше он тускнел в осенних, темных красках мужских шапок и сермяг и нырял в стариковские коричневые каптаны, «барханки» [1], да «набиванки» [2], которые кое-где глушили эту веселую мешанину красок. Все девушки повязались платочками, как молодицы, только Дарка и дурочка Грипа оставались простоволосыми. Дарка любила так ходить, если не «куталась» в платок, «как маленькая», несмотря на то, что бранила мать, а подруги сравнивали с «дурочкой Грипой». «Не грех и так, — еще нагуляюсь когда-нибудь по-бабьи», — возражала Дарка.

Девичья пара, устав, бросила танцевать. Мотруна схватила Ярину под руку и пустилась в пляс, рассыпая под музыку веселую плясовую песню. На песню отозвался парубок, он танцевал уже не в ряду с девушками, а кружился по очереди то с одной, то с другой, попеременно отпуская одну и хватая другую; вдруг, придерживая одну из девушек, он забросил свободную руку Дарке на плечо, но Дарка вырвалась, сказав: «Ненавижу втроем, не повернешься!» Тогда парень, отпустив девушку, подхватил под руку Дарку и быстро-быстро завертелся с нею. Они не могли заглянуть друг

[1] Бумазеевая куртка.
[2] Выбойковая куртка.

другу в лицо, левой рукой парень сжимал ее левую руку, а правой, казалось, хотел обхватить Даркин стан, но она все убегала от него, все кружилась да кружилась, не выпуская руки. Оба пели попеременно, и Даркина песня, словно убегала, словно насмехалась над песней парубка. Вдруг и песни и взгляды их встретились — парубок поймал Дарку за другую руку и заглянул в глаза; Дарка оборвала песню, вырвала левую руку и вихрем закружилась в обратную сторону с другой песней, и хлопец снова видел только сплетение блестящих русых кос, которые словно отбивались от него тонкими развевающимися косоплетками, задевая по лицу и заставляя отклоняться назад, даром, что его левая рука тянулась вперед и, казалось, искала девичий стан. Среди стремительного танца Дарка была такой же чинной, как и другие девушки, только она не опускала взгляда, а смотрела на людей прямо. Когда на ее лице выступила краска, а волосы потемнели от влаги, Дарка, слегка задыхаясь, но спокойно, сказала парню: «Ну, будет, пусти», и он сразу же отпустил ее и сам вышел из круга.

Пока народ «плясал козака», пока трое против одного степенно водили «чумака», Дарки не было видно. Она немного потопталась в «вальсе» и опять отошла. Но вдруг музыканты ударили «гречки»; весь народ, толпившийся впереди у самого круга, разом заволновался и, взявшись за руки, двинулся в хороводе, и тотчас среди круга замелькала Даркина голова, мелькая в паре, то с шапкой парубка, то с девичьим платком. Хоровод тяжело притоптывал в такт музыке, а мужские голоса, раз за разом разбивая женский напев на равные части, выкрикивали «сам пью, сам гуляю...», но конец этого припева терялся в учащенном дыхании толпы, топоте нескольких десятков ног и в неистовом грохоте бубна. Хоровод разрывался, пропускал одних людей, принимал других и снова кружился живым колесом; пары соединялись, разъединялись, двоились, число их росло на глазах, они плясали в круге и вне круга, танец вырывался на волю за ворота риги, выбрасывая пары во двор, на свободное пространство, и там они носились, как большие пчелы, выбившиеся на

простор из густого роя. Танец докатился до закоулков, где кружилась детвора, к кухне, где на завалинке сидели старики и звуки музыки зажигали жгучим огнем невинные детские глазенки и дразнили немощные старческие ноги своей неотразимой, дикой силой. «Сам пью!.. Сам пью!..» — бухало отрывисто, будто тяжелые удары взбунтовавшейся в жилах крови.

— Музыканты, тихо! — вдруг крикнул Качковский, да так зычно, что скрипка и контрабас тотчас смолкли, точно оборвали струны, только бубен продолжал греметь, но и его тотчас кто-то утихомирил, дернув музыканта за полу.

Растанцевавшиеся пары, не успевшие сразу остановиться, сделали еще несколько оборотов, поглядывая с удивлением на музыкантов.

— Ну, будет вам кружиться! — крикнул Качковский, — на панские деньги готовы до вечера скакать!.. Вы, мужики, бабы и парубки, ступайте в пекарню, там сам пан поднесет вам по «порции», а вы, девки, к панским покоям, к крыльцу, паннунця раздаст вам на память подарки.

Качковский произнес это тем же грубым, начальническим тоном, как и обычно, когда распределял работы. И тотчас же толпа разделилась надвое: большая часть повалила к «черной» кухне-пекарне, а меньшая направилась через улицу на «белый» двор.

В кухне, на стуле возле чисто застеленного стола сидел младший пан (старый заигрался в безик и не пошел), за ним на лавке уселись несколько панов гостей и молча пересмеивались.

Качковский остановил толпу в сенях и стал пропускать в пекарню по одному, по двое.

Семен Белаш сунулся было в первую пару, но Качковский зарычал на него вполголоса:

— Куда прешь? Не найдется никого постарше тебя?

Сконфуженный Семен нырнул в толпу, а какой-то парень громко отпустил шутку:

— А стало быть, дядя, всяк сверчок знай свой шесток!

— Шшш-ша! — зашипел, точно гусак, Качковский. Кое-кто из молодежи прыснул, закрываясь ладонью.

— Выпей, дед, за здоровье панночки, ей уже шестнадцать лет исполнилось, она у меня теперь невеста, — говорил тем временем пан, поднося старому деду Ляшу, который стоял перед паном, опираясь на палку, и прижимал ладонью надетую на нее шапку. Дедова рука так тряслась, что он с грехом пополам поймал чарку и разлил половину горилки, поднося ее ко рту.

— Ну, дай боже, дай боже, — шамкал дедушка, совсем не расслышав, что говорил ему пан, — дай, боже, здоровья пану, пани и паненке, и... и... — остаток слов затерялся где-то в зарослях седой дедовой бороды.

Ляш хотел поставить чарку на стол, но рука дернулась, чарка упала на пол и разбилась вдребезги. Другие деды охнули с перепуга, какой-то пан из гостей не вытерпел и сказал: «И зачем такое старье созывать?» — Качковский сделал свирепую мину, но пан, необычно милостивый на радостях, сказал только: «To nic, to nic, to szczęście...[1] подайте другую чарку».

Мартоха, воспользовавшись сумятицей, сунула Гапку на руки соседке-куме, скользнула в дверь вне очереди мимо Качковского, который ее проворонил, схватила с посудной полки небольшой стаканчик из зеленого стекла — обычный мужицкий «половинчик», — Мартоха хорошо знала, где что стоит в панской кухне, — и, приблизившись к пану, подала ему этот «половинчик», обернув его «для церемонии» краюшком фартука.

— Вот-вот, про́шу пана, «порцийка».

— Держи, баба, — сказал пан и налил Мартохе водки.

— Дай вам господь из росы, из воды, — приговаривала Мартоха, то и дело кланяясь пану низко-пренизко, — чтобы видимо-невидимо минин этих справить довелось с паненкой в счастье, здоровье. И дай вам, боже, с паненкой дождаться — через год венцом ее благословить...

---

[1] Ничего, ничего, это к счастью *(польск.)*.

— Спасибо, баба, спасибо, дай, боже! — весело перебил ее пан, думая, что «тост» уже закончен.

Но Мартоха продолжала:

— И дай вам матерь божья зятька богатого-таровато-го, внучат хороших, пригожих, чтобы панночка в золоте ходила да на золоте ела и, как золото ясное, была бы ее жизнь благодатной! — Тут Мартоха наклонила стаканчик и, отпивая маленькими-маленькими глоточками и морщась, тоже «для церемонии», но не очень; потом, оставив на самом донышке немного водки, она выплеснула ее в потолок, но вслух согласно обычаю желания «выбрыкивать» панночке не высказала, полагая, что это было бы как-то неловко — каждый и без слов понимает, для чего это делается. Поставив чарку на стол, Мартоха утерлась, потом бережно, точно святыню, поцеловала пану руку и медленным шагом направилась к двери, опустив глаза и как-то по-особенному подобрав губы.

— Ишь ты, как пыжится, панская подлиза! — зашептали молодицы, — думает, подмазалась и уж панские милости так и посыпятся на нее со всех сторон! Как же!..

Пан обратился к сидящему рядом гостю и сказал:

— А следует признать, что нередко в этих мужицких тостах встречается какая-то наивная поэзия, что-то искреннее, детское... Poczciwy ludek [1], ах, если бы только их никто не мутил...

Пан поднес еще нескольким старикам. Но они «произносили» тосты далеко «не с такой поэзией», как Мартоха, — заикались и мямлили. Пан, прищурившись, посмотрел в сени, — там маячило порядком poczciwego ludku. Пан бросил Качковскому:

— Слушай, дорогой, ты уж тут их угости, потому что я...

Не договорив, пан передал стаканчик эконому и вышел, а за ним и паны гости. В сенях толпа раздалась, навалившись друг на друга, давая панам широкий проход.

---

[1] Почтительный народ *(польск.)*.

Пока пан с гостями дошел до белого двора, Мартоха была уже там, возле цветника, перед крыльцом. Она сразу нашла среди девушек своих дочерей и стала за Даркой и Яриной, с маленькой Гапкой на руках (Мартоха на ходу успела выхватить ее у соседки); Ульянка с Приськой и сами притулились к матери. Рядом с Мартохой стояло еще несколько матерей; они то поправляли на дочерях платки, то перешептывались.

— Говорят, там такие замечательные ленты будут давать, чистейшего шелку, — сказала высокая нарядная Олександра Чугаиха Ульяне Гречучихе.

— Куда там! — презрительно шепнула та в ответ, — горничная говорила — по пяти грошей за локоть. Разве наши паны дадут чего путного? Только бы отвязаться...

— Помолчите-ка, кума, вон уже господа идут! — перебила ее Олександра.

Из дома на крыльцо вышла панна Юзя с панночками гостьями. Несмотря на длинное платье, она казалась среди взрослых подруг совершенным ребенком, — тоненькая, неразвитая фигурка, худенькое бледненькое личико вовсе не говорили о том, что Юзя уже «панна на выданье». У всех панночек было, или они старались, чтобы было, беззаботное, птичье выражение, они покачивали головками и щебетали; Юзя тоже напоминала птичку, только с подрезанными крылышками и со скрытой в глубине глаз мечтой вырваться куда-то на свободу или в более просторную клетку. За Юзей шла горничная с корзинкой полной лент, нарезанных на равные, не очень длинные куски. Вслед за панночками появились панычи, но они не вышли на крыльцо, а остановились в дверях и принялись через головы и плечи панночек разглядывать дивчат, кто через pince-nez, кто просто так, прищурившись. Панычи перемигивались между собой, но никаких замечаний вслух не делали, может быть из почтения к панночкам. Зато те, не обращая ни на кого внимания, щебетали, что взбредет на ум.

— Это все девушки или замужние? — спросила одна варшавянка и, дождавшись ответа, засмеялась, — ах, здесь же есть и совсем маленькие, какие там

mężatki? О чем я думаю? Они все в платках, вот я и решила. Скажите, это только в стихах девушки-крестьянки украшают себя цветами? Как это у Мицкевича о венках: «z róż, lilii i tymianku...» [1]

— Не знаю, как где, — заметила какая-то деревенская панночка, — но здесь, на Полесье, уж очень гадко одеваются.

— А ведь правда, — добавила другая, одетая с большой претензией, — посмотрите, даже белый наряд на них некрасивый.

— Почему? — робко отозвалась дочь арендатора, — если чистый и хорошо вытканный, то...

— Но, прóшу! — перебила ее «модница», — «чистый, вытканный», чем же это поможет, если он из грубого полотна!

— И ужасно бесформенно сшит, — снова вмешалась варшавянка, — не понимаю, зачем они делают такие узкие рукава и такие широкие, отложные воротнички, словно хомуты.

— Это, прóшу, панна Ванда, матросский костюм, — заметил, смеясь, паныч Бронек.

— Milcz, pan! [2] — крикнула ему через плечо варшавянка, стрельнув глазами, — мужчины ничего в нарядах не понимают.

— Но кое в чем другом, — докончил Бронек, а варшавянка погрозила ему пальчиком.

— Если так, то мужская способность к «обсервации» [3] пропадает даром, — заметила, иронически улыбаясь, чернявая стройная «графиня», — ведь у полесских крестьян страшно ординарный тип, даже у молодых девушек.

— Влияние климата и среды! — с притворным педантизмом буркнул Бронек.

— О, должно быть, очень неприятно жить в таком некрасивом краю! — сказала варшавянка.

— И верно! Ужас, как неприятно! — подтвердили несколько панночек.

---

[1] «Из роз, лилий и тмина» *(польск.)*.
[2] Молчите, пан! *(польск.)*
[3] Наблюдательности.

— Но, может быть, это не всюду так по деревням, — защебетала варшавянка, — я совсем-совсем иначе все себе представляла, ведь я видела однажды в театре «Wesele na Mazowszu» [1], и было совсем иначе, чем здесь, — и костюмы, и все, даже не плохо, совсем не плохо...

Между тем дивчата стояли, сбившись в кучу, и не знали, что делать. Панна Юзя тоже как-то растерялась. Но горничная рассеяла создавшуюся неловкость.

— Паннунця прикажут им по одной сюда подходить, или я раздам, а паннунця посмотрят?

— Пускай по одной подходят.

Горничная поставила рядом с Юзей корзинку, чтобы была под рукой, а сама метнулась, чтобы позвать дивчат.

— Ну, идите побыстрей, которая самая старшая или самая младшая, а то панны ждут. А бабы зачем пришли? — зашептала она Дарке, — ведь раздавать будут только дивчатам.

— Да мы, Марыся, только поглядеть пришли. А я вот меньшую дочку принесла, она-то еще не ходит, ножки маленькие, — и Мартоха громко поцеловала свою любимицу.

— Ну, для таких девочек косоплетки еще не выросли! — засмеялась горничная, — пускай прежде косы отрастит.

— А она на шапочку нацепит, — льстиво ввернула Мартоха, поправляя на Гапке обшитую разноцветными кисточками коленкоровую шапочку. Но Марыся уже не слушала и снова стала приглашать дивчат.

— Да идите же, которая! Иди ты, Ярина, ты засватанная, тебе следует пример показать.

Ярина покраснела и спряталась за Мотруну.

— Ну, тогда ты, Мотруна! — Марыся потянула ее за рукав.

— Ей-богу, не пойду, ей-богу, не пойду! — забормотала та, бросая по сторонам испуганные взгляды своими черными глазами.

— Иди ты, Дарка!

---

[1] «Свадьба на Мазове» *(польск.)*.

Дарка молча посмотрела на Марысю и не тронулась с места.

— Вот глупые девки, не хотят идти! — обернувшись к Юзе, досадливо сказала Марыся.

— Да, про́шу панночку, они не смеют, — отозвалась Мартоха, — известное дело, как в лесу росли и что видели? Пусть уж панночка будут милостивы...

Произнося это, Мартоха украдкой подталкивала Дарку, чтобы та шла, но Дарка стояла как вкопанная.

— Тогда я сама раздам, — решила Юзя и сошла с крыльца по ступенькам. — Марыся, неси за мной корзинку.

И вдвоем с Марысей Юзя стала обходить дивчат, наделяя каждую лентой. Ленты были простенькие, гарусные, из тех, которые продаются в ярмарочных ларьках. Дивчатам побогаче эти ленты были не в диковинку, но бедные радовались, потому что у них не было и таких. Юзя, начав с конца, раздавала подряд и взрослым девушкам и подросткам. Взрослые сами наклонялись и целовали панночке руку, а некоторые еще и приговаривали «Дзинькую паннунци», а подростков матери или старшие сестры подталкивали, наказывая: «Поцелуй панне ручку!» Из взрослых только «дурочка» Грипа не поклонилась и не поцеловала руки. Она швырнула синенькую ленту на землю и сказала: «Не хочу! Дай красную!» Но «красной» Юзя не дала и прошла дальше наделять других.

Уже десятка два цветных голов склонились к Юзиной руке, и как раз, когда Мартоха просунула через Мотрунино плечо свою Гапку к панне, горничная сказала:

— Про́шу паннунцю не давать малышам, а то девкам не хватит, тут уже немного осталось. Маленькая все равно не поймет.

И Гапка осталась без ленты.

Наделили Мотруну, Ярину, вот и Даркина русая голова с непокрытой короной кос склонилась к белой ручке панны Юзи; опаленные солнцем губы коснулись этой руки сухим поцелуем и произнесли невыразительно и спокойно: «Дзинькую паннунци». Потом

Дарка выпрямилась и посмотрела прямо перед собой, через голову панночки, куда-то вдаль.

— А это ж моя Дарка, ровесница паннунци, — не вытерпела Мартоха, — ей же как раз сегодня семнадцатый год пошел.

— Да? — с любезной улыбкой спросила Юзя и почему-то посмотрела на белый Даркин наряд, но больше ничего не сказала и, покончив с подарками (кое-кому все-таки не хватило), вернулась к блестящему обществу панночек.

*Тифлис, 1 мая 1905 г.*

## ВИДЕНИЕ

Я вижу их, они идут, издалека, из седой старины, идут безудержно, бесконечными рядами. Начало их затерялось где-то вдали, конца их не видно во мраке, и даже сомнение берет: да есть ли начало и конец этой веренице, не огромное ли это кольцо кружит безысходно перед моими глазами, кружит, кружит и нет ему удержу. Множество их прошло передо мною в нарядах неведомых веков и народов, потом промаячили шлемы с конскими хвостами; проколыхались диковинные крылья над шишаками; заалели, точно маки, верхи косматых шапок; сверкнули искрами островерхие медные каски; точно серебряные травы по топям-болотам замерцали белые кисти на киверах, а вот уже тянутся невысокие круглые шапки и плывут, как маслянистые пятна по тихой воде, плывут, плывут так медленно... этих больше всего. За ними далеко во тьме снова неясно вырисовываются опять одежды каких-то неведомых веков и народов, не тех, что уже прошли мимо, но во мраке представляется, будто проходят мимо те же самые, из дали в даль, из мрака в мрак и что это заколдованный круг вертится без удержу, даже одурь берет, на него глядючи.

Все они идут размеренным шагом, и на первый взгляд кажется, будто это выполз вековечный змей-удав, побежденный, но не добитый и медленно обвивает землю и тихонько сжимает ее, стараясь задушить. Но вблизи видно, что все это люди, и хотя они движутся бесконечными рядами, хотя они как будто все одинаково покрыты пылью, одинаково окутаны маревом, окрашены в один тон, будто безличные фигуры какой-

нибудь картины, и все же каждый из этих людей *единственный,* нет подобного ему в целом мире, нет, не было и не будет во веки веков. И каждый из них проходит, чтоб уже не вернуться. И у каждого из них целый мир в глазах, и ни у кого больше нет подобного мира, и мир этот погибнет навеки, как только погаснут эти глаза, никто уже не в силах восстановить его таким, каков он был, хотя бы возникли миллиарды новых миров. Куда они идут, эти люди с мирами в глазах? Туда, где мрак сливается с далью, откуда не долетает ни один живой голос, где стоит на страже извечный страх, чтобы не смели эти люди самовольно входить в те врата без слепых поводырей — старости, болезни, — потому что эти поводыри взимают свою мзду со всех живущих, но не каждый дает им эту мзду. Эти люди, обвивающие землю, точно змей-удав, идут без поводырей, зато у них есть погонщики. Сколько людей, столько и погонщиков. А далеко-далеко позади, совсем незримо, гонится за ними страх, тот самый страх, что охраняет проклятые врата, и, охраняя, заталкивает их туда, и как безумный выкрикивает им бессмысленные слова: вернитесь вперед! А они, как безумные, бессмысленно слушают его и идут вперед. У каждого из этих людей в различных шапках и одеяниях в руках что-то острое, что-то блестящее, холодное или горячее, страшное и бездушное и в своем холоде и жаре. И каждый может причинить смерть каждому из идущих перед ним. Может быть, кто-нибудь и хотел бы остановиться перед вратами, где стоит на страже извечный страх и щелкает своими холодными и острыми зубами, и грозит кровавыми устами, и жжет огнем нечистого дыхания, — но нет отсрочки никому. Остановиться нельзя, нужно идти, идти, идти. Ибо сколько людей, столько и погонщиков. Каждый чувствует за плечами оружие своего товарища, и содрогаются его шейные мышцы, потому что он знает, что жало оружия вот-вот вонзится в его затылок, стоит только ему остановиться, и тотчас глаза его погаснут и мир его сгниет навеки вместе с ним. И он боится оглянуться на своего товарища, ибо знает, что тот бессмысленно скажет взглядом безумные слова: вернись вперед! А кто не пойдет вперед и будет глядеть

назад, того ужалит оружие товарища прямо в глаза и разрушит навеки их мир. Кто бросится в сторону, в широкое вольное поле, того жало оружия ужалит в сердце, и если он не упадет скошенным кровавым цветом на широкое вольное поле, то все же потемнеет у него в глазах и изменится в них мир, и уж никогда не будет он таким, каким был вначале, и широкое вольное поле останется навеки чужбиной для беглеца, а родной язык станет для него проклятьем товарища, который не в свой черед переступил врата страха.

Кто добровольно вступит в эти ряды — тот уже себе не хозяин. Похвалой встречают его идущие за ним товарищи, ведь он отдалил минуту, когда наступит их черед, а он воображает, что и он поводырь, но он не может повести их обратно, даже если бы вдруг захотел, ибо оружие товарища уже угрожает его затылку, и он страшен только тому, кто идет впереди его. Он уже погонщик!

Идут вооруженные люди, и каждый проклинает того, кто пал перед ним, и, наступив на труп его, идет на его место. И сколько бы их позади ни падало, передние знают, что неотвратимое оружие товарища всегда близко и всегда готово вонзиться в его затылок. Кто знает, когда придет последний и о чем будут говорить его глаза?

Я вижу как ползет змей-удав, но не вижу его головы. Кто был тот единственный, который стал головой чудища? Был ли он в поле один? Кликнул ли он товарищей и повел за собой эти ряды? Или они пошли добровольно к вратам страха и каждый из них был поводырем своего товарища, того, который шел позади? Когда же наступила та минута, которая превратила их из поводырей в погонщиков? Почему не повернули они от врат обратно, пока были еще поводырями? Или, может быть, тот *первый* чувствовал уже за собой оружие своего товарища и не посмел взглянуть ему в глаза? Или, может быть, этот змей-удав был спокон века безголовый, и слепой, и страшный в своей слепоте, безнадежный, как сам хаос? Кто может остановить его? Кто избавит зрячих людей от тела слепого чудища? . .

*3. IV. 1905*

## ОШИБКА

*(Мысли заключенного)*

. . . . . .

...А теперь я здесь, в этом каменном мешке, в этой клетке за железной решеткой, и у меня достаточно времени думать не только ночью, но и днем. Отвык я уже думать днем, и, вероятно, от этого мои дневные мысли такие тяжелые, серые, неуклюжие, какие-то шершавые, как неотесанные камни... Хоть бы уж поскорее стемнело, что ли... Ох, нет, и вечером тоже скверно, опять станут заглядывать мне в душу эти бледные кровавые образы, опять будут мучить меня немыми укорами, и опять я буду оправдываться перед ними, прячась за это нудное бескрылое слово «ошибка», а они будут постоянно стоять предо мною, как кредиторы перед банкротом... Ну, что ж, банкрот я, пусть банкрот, пускай даже злостный, готов в этом признаться, только оставьте меня в покое!.. Ишь ты, покой! Чего захотел! Это не так мало. Разве дают покой банкротам?.. Но нет же, я не банкрот, по крайней мере не злостный. Я просто пытал счастье, а всякая попытка может сорваться. Ведь я же не почил на лаврах, этого-то уж нельзя поставить мне в укор. Ведь вот сижу же я в тюрьме точно так, как и те, другие, а что мне не разбили голову прикладом, не распороли живот штыком, не прострелили грудь пулей, как другим, то это только случай... Я даже не могу сказать «счастливый случай», ибо искренно

не вижу в этом никакого счастья для себя. Я не прятался от опасности в час, когда вокруг меня свистели пули, я не спасался бегством и тогда, когда толпа, еще недавно вся наэлектризованная, кинулась врассыпную. А затем я никого не выдал (гм, этого еще недоставало!), не ляпнул даже ни одной глупости на допросах, а с другими случалось... Ну, так почему же *они* меня могут упрекать, а не *я* их? А между тем я уверен, те самые, которые спаслись и сидят теперь мирно дома, хоть и знают, что я в тюрьме, — думают об этом спокойно или с той приятной грустью, которая смягчает душу и увеличивает уважение к самому себе! «Бедный наш товарищ! Каково-то ему там? Что он делает в эту минуту? А славный он, чистая душа...» И тому подобные банально-елейные мысли, но ни одного упрека себе, никаких угрызений совести из-за меня, хоть они вместе со мной повинны в этой ошибке... Но хотелось бы мне узнать одно: ну, допустим, я им безразличен, ничего, пусть, это, возможно, и справедливо, но неужели они так-таки совсем не винят себя за тех... тех, о ком я думать и вспоминать боюсь и все-таки не могу не думать и не вспоминать и днем и ночью? Ох, как меня это уже измучило!

А разве легче было бы, если б я знал, что и они, мои товарищи, участники «ошибки» тоже мучаются и укоряют себя?.. Легче, как будто. Ой, нет, нет! Это бы значило, что я повинен не только в тех ранах, что на теле, но и в тех, что на душе. Ведь все-таки я оказался бы виноватым, опять я, один я и никто больше...

Ну, что это я в самом деле? Что за «самобичевание»? Для чего эти «самоугрызения», «самоедство» — говорили мы, бывало... Это просто тюремное настроение — вот и все, и нет другой причины. Никто ж меня не обвиняет. Еще сегодня «на прогулке» Санько и Недостатний поздоровались со мной так тепло, а тот рабочий — как же его зовут? — с таким чувством произнес: «товарищ». Ведь все, кого я вижу, от кого получаю весточки, все хороши ко мне, все приветливы, ну, возможно, некоторые и безразличны, возможно и забыли обо мне, но никто не упрекает. И в том «листке», который сегодня мне передали, и мое имя упомянуто

среди «борцов, мучеников, героев»... Ого, я уже проникаюсь уважением к себе!.. Нет, но ведь нужно быть справедливым к себе и не поддаваться неврастении. Конечно, неврастении. Я даже чувствую типичную боль в затылке и шее и между лопатками, а в темени словно что-то жжет. Это и есть переутомление, обычное переутомление от мыслей, от монотонности теперешней жизни и от нервного напряжения прежней. Отсюда и всевозможные псевдогаллюцинации. Нужно взять себя в руки. Постучать к соседу, что ли?.. Не отзывается. Спит, должно быть, мизантропия одолела... Это бывает...

. . . . . .

Думал ли я, или не думал эти несколько минут? Кажется, ни о чем не думал, слава богу.

Смеркается...

О, уже Санько́ заводит свое:

Ой, не шуми буйним листом,
Зелений катране,
Тяжко-важко на серденьку,
Як вечір настане.

Хорошо он поет. Какой у него собственно голос? Кажется, баритон или низкий тенор. Разве тенор бывает низким? А кто его ведает?.. Я наперед знаю, какие дальше слова:

Як не хочеш, моя мила,
Дружиною [1] бути,
То дай мені таке зілля,
Щоб тебе забути.

И почему он все эту песню поет? Наверно, ради первого куплета, потому что следующий совсем к нему не относится, — ведь Санько как раз недавно женился. Жена его часто навещает... Любят они друг друга... С какой стати поет он эту песню?.. Но разве песня должна именно «иметь отношение»? Просто человек поет себе, что вздумается... Но почему все одно и то же каждый вечер? Как будто нарочно для меня... Ну, уж и нарочно! Откуда ему знать?.. «Шила в мешке

[1] Женою *(укр.)*.

не утаишь». Фу, какие тривиальности лезут в голову — «шило в мешке» — черт знает что!

Ага вот как раз:

Як не хочеш, моя мила,
Дружиною бути...

. . . . . .

А! Нечего, нечего перед собой играть комедию, нечего себя морочить тривиальными фразами и ненужными банальными мыслями. Я же не это думаю, и не так думаю, и не о себе думаю! Я ведь думаю о тебе, милая, любимая, дорогая не моя Галя! Так тепло думаю, как давно уже не высказывался, давно — а может быть, и никогда? А думаю часто, каждый вечер, как только услышу песню. Я уже с первой ноты знаю, что буду опять *думать о тебе.* Это даже становится привычкой. Так на призыв муэдзина правоверный начинает молитву... Боже, какой сентиментальный романтизм! Ну, и пускай романтизм, пускай и хоть рассентиментальный, — если я так думаю, если иначе не думается, значит, это искренно, естественно, и к черту все эти шаблоны реалистические, натуралистические и как там они еще называются. Я не повесть «идейную» пишу, а просто думаю, и какое кому дело до моего «стиля»?

... Галя, друг мой близкий, несуженая возлюбленная, желанная и недосягаемая супруга, скажи мне, за что и для чего вся эта мука? Того ли ты хотела для меня? Могли ли предвидеть все это твоя героическая душа, твои соколиные очи? Ты сознательно пожертвовала мною, но *такой* ли ты жертвы хотела? Нет, такой ты не могла хотеть, нет, — знаю тебя, верю тебе я верю в тебя даже тогда, когда никто другой, пожалуй, не верил бы. Но все же, моя правдивая, моя чистая, моя святая, я не могу не думать, что и ты виновата вместе со мной, может быть, ты даже больше виновата, чем я... Может быть, ты даже догадываешься об этом. Может быть, ты коришь себя за мою неудачу и обильные слезы катятся из твоих ясных, гордых очей, но все-таки эти очи горды, потому что они не знают, в чем твоя главная вина, они знают мое *несчастье,* а *вины* моей не знают, они думают, что я только «невинная

жертва» и что, кроме меня, нет других жертв. А если бы они знали! Нет, я им этого не скажу. Я никогда не скажу тебе в глаза того, что хочу теперь написать, я и не покажу тебе этого, ибо моя рука не подымется пронзить тебе сердце тем мечом, который уже давно пронзил мое сердце. Этой раны, любимая, ничто и никто уже не в силах залечить, даже ты. Если бы ты только могла положить мне руку на сердце... Я бы молчал, и я б ничего тебе не сказал, но мне не так тяжко было бы сносить эту боль, ведь ее не растравляли бы эти дикие приступы ярости... прости, моя единственная, — ярости против тебя. И подчас ее так трудно гасить, и так мне больно от этого, вдвойне, втройне больно, и я плачу тогда, тяжко рыдаю без слез... Ох, если бы мне хоть слезы! Как я завидую женщинам, что у них всегда слезы наготове!..

А еще эта вечная комедия перед самим собой, этот страх «сентиментальности», «бабства», как это бессмысленно! Древние эпические герои плакали, не стыдясь, и потому были настоящими, неподдельными героями, а мы? только над слезами властвуем, больше ни над чем...

Хоть бы скорей зажгли свет. Буду писать, иначе, кажется, не выдержу и сойду с ума, а я не хочу этого «стиля» — он уже становится с некоторых пор «банальным» среди заключенных. Я хочу, наконец, осознать, до конца осознать, и выяснить себе все как следует, а там будь, что будет. Если я приду к тому, что нужно, например, повеситься, ну что ж, найдем способ и повеситься, а если окажется, что и этого недостаточно, ну, тогда подумаем, что делать дальше. Там видно будет.

Ну, наконец, идут зажигать!

. . . . . .

Я все же буду писать тебе. Иначе я как-то не умею, не думается. Между тем я все-таки сознаю, что ты этого не прочитаешь, и это хорошо, иначе кое-какие вещи мне было бы странно описывать тебе, ведь ты и сама их хорошо знаешь, однако не описывать невозможно, не будет никакой «систематичности», или как это называется. Мне же необходимо все сообразить, все проверить, а для этого нужно все припомнить. «Реализму»

будет мешать эта «форма» письма «к другому лицу», все же иначе я не могу, да и не все ли равно? Я это пишу не для других, и мое право писать, как вздумается. Правда, мне хочется написать красиво, лучше, чем я думал все это время, ведь мне кажется, что, когда я пишу, ты будто со мной, и я хотел бы, чтобы мои записи понравились тебе хотя бы по форме, если не по содержанию. Красиво — не значит неискренно, скорей наоборот...

Однако это становится смешным, это «обращение к неизвестному читателю», особенно принимая во внимание, что никакого читателя, кроме меня самого, никогда не будет. И, наконец, откуда я знаю, выйдет ли оно красиво, или уродливо, нереалистично или наоборот, и где границы между искренностью и неискренностью, — ведь я же недаром литератор, — мы уже так испорчены всевозможными «стилями», «настроениями», «направлениями», что доподлинно утратили всякое «чувство действительности». Буду писать, как мне хочется, и прежде всего для того, чтобы не сойти с ума, — такая цель может оправдать любую манеру.

Заглавия никакого не нужно, я не умею их придумывать и всегда придумываю бестолково.

. . . . . .

Ты, возможно, и не знаешь, с какого именно дня это началось, хотя, наверно, этот день остался в твоей памяти, так же как в моей. Это случилось, когда я с утра послал тебе *то* письмо (я писал его целую ночь), а вечером ты сама пришла ко мне.

Я только взглянул на тебя, и сердце мое упало. Ты была серьезна, зловеще серьезна, и синие глубокие глаза, особенно решительно и прямо смотрели на меня. Я предпочел бы в ту минуту, чтобы они были стыдливо опущены в землю. Я предпочел бы, чтобы твоя рука дрожала, как дрожали мои руки, когда я помогал тебе снять шубку, но твоя маленькая крепкая, точно на пружинах ручка протянулась, не колеблясь, и бестрепетно пожала мою несчастную, словно увядшую руку.

Потом ты сняла шапочку и стряхнула снег, от которого твоя черная коса казалась седой и придавала тебе что-то трагическое; немного снега все же осталось, он

скоро растаял и, когда ты села за стол, поблескивал росинками при свете лампы. Как ты была тогда красива! Словно фея, убранная росой... Такой я вижу тебя чаще всего в своем воображении... Ох, Галя!..

Ты сидела, и я чувствовал на себе твой взгляд, а я стоял, бессильно опершись на стол, не смея поднять на тебя глаза, и не отзывался ни словом. Не мог ответить даже на твой «добрый вечер». Но ты заговорила тотчас.

— Вот видите, какие у нас разные характеры: вы скорее решаетесь написать, чем сказать, а я наоборот — думала, думала, как бы ответить на ваше письмо (вы же просили именно ответить), и, наконец, решила прийти и все сказать прямо. Не умею я писать. Да и долго бы это было.

И снова у меня сердце упало от того «долго».

— Почему же долго, — отозвался я тихим голосом, как тяжело больной, — если тут достаточно одного «да» или «нет»...

— Этого мало, так как я должна сказать и то и другое.

Здесь я впервые поднял на тебя глаза, и под моим взглядом ты стала медленно-медленно краснеть. Напрасно ты досадливо нахмурила брови и провела раза два по лбу рукой, — непокорная краска залила лицо до самой гущи черных кудрей, словно отсвет розовой зари упал на твое лицо, и во мне уже проснулась надежда. Я даже робко улыбнулся. Но ты вдруг еще выше вздернула голову и сделала то движение рукой и всем телом, которое хорошо знакомо всем твоим товарищам («царственный жест» — шутят, бывало, они). От этого движения твоя маленькая фигурка всегда словно вдруг вырастает и становится величественной, и в голосе твоем звучит тогда смелость и гордость. Именно таким голосом ты мне сказала:

— Ну, что ж, скажу всю правду, что бы там ни было. Вы об этом просите и этого стоите. Может быть, вы еще больше будете страдать, но, видно, так нужно, иначе нельзя, да я и не умею иначе.

Несмотря на твой «царственный жест», я видел и слышал по твоему голосу, что тебе очень трудно высказать эту «всю правду». Я попробовал «помочь» тебе,

но я едва слышал собственный голос, и теперь я ни слова не помню из того, что я тебе тогда сказал. Одно только хорошо помню, как ты вскрикнула: «Нет, нет, не то, вы не понимаете, я люблю вас, верьте мне!» — и твердые сильные пальчики больно жали мне руку.

И я опять не помню, что сказал и как это случилось, ты уже стояла, а я сидел и прижимал твою руку к своим губам, — кажется, молча, кажется, со слезами на глазах. Ты неловко проводила левой рукой по моим волосам, и она слегка дрожала, — возможно, это была обычная неловкость левой руки при всяком движении, но мне это было приятно, милее, чем твои «царственные жесты». Я боялся что-нибудь сказать. Не знаю сам, почему, но я понимал, что на этом твоем признании еще не все кончено и что лучше было б мне никогда не дождаться конца. Но я его дождался... Рука твоя застыла, ты села на другой стул, тут же возле стола, облокотилась на руку так, что я перестал видеть твои глаза, и заговорила:

— Я ответила вам на один из вопросов вашего письма и не беру своих слов обратно, хотя и не думала высказать их так... как-то странно вышло, правда?

— Нет, нет, — прошептал я.

Ты словно и не слышала и продолжала:

— Все равно я люблю вас, это правда. Я хотела скрыть это и написать вам, что не буду вашей женой, потому что не люблю вас, а люблю другого, — так вы бы скорее оставили меня, скорей забыли...

— Нет, нет! — отозвался я громче.

— Забыли бы, наверно, и утешились.

— Нет! — голос мой зазвенел так, что ты остановилась и изменила тон.

— Простите, я верю вашей искренности, но думаю... нет, я не стану убеждать вас, что вы ошибаетесь, так как сама не знаю, может, вы и правы... Может, и правы... случается, что всю жизнь не забывают... Я тоже думаю, что не забуду вас никогда... И мне тоже стало бы не легче, если б я думала, что вы не любите меня.

— Галя, так в чем же дело? — простонал я.

— В том, что я не могу быть вашей женой.

— Но ведь ты... но ведь мы друг друга любим! — вскричал я.

Ты опустила руку, и я увидел твои глаза. Они были грустными-грустными и смотрели на меня так внимательно, они даже потемнели от расширившихся зрачков, но мне казалось, что ты не видишь меня, и мне стало почему-то страшно, особенно когда я увидел на твоих устах улыбку, застывшую, мертвую улыбку.

— «Не всі тії сады цвітут, що весною розвиваються», — тихим, низким, каким-то безжизненным голосом промолвила ты.

Холод пробежал по моей спине. Знаешь ли ты, Галя, что с тех пор я не могу слышать эту песню, — безумный ужас охватывает меня, когда я слышу эту строфу.

— Галя! — крикнул я.

Ты встрепенулась.

— В самом деле, что это я загадками говорю, словно романтическая героиня? Простите. Я вам расскажу все просто и откровенно.

И ты рассказала мне. Никогда не забуду, как просто и открыто осудила ты меня на нечеловеческие муки, как ясно доказала, что мы не имеем права на человеческое счастье, как искренно убеждала, что мы обязаны быть мучениками, героями. Ни одной громкой фразы. Ты трезво, даже прозаически доказывала, что в наше время должно быть «разделение труда» во всем, что идеал — это гармония жизни, к ней нужно вести человечество, она настанет когда-нибудь, там, в золотом веке, в который мы оба верим, а теперь эта гармония невозможна так же, как невозможна работа без специализации при современном развитии техники в нынешнем социальном строе. Еще не настало, говорила ты, время, особенно для женщины со средними способностями, вести общественную борьбу и вместе с тем жить для своего мужа, для своей семьи: столь обширных обязанностей нельзя совместить и уравновесить.

— Ну и пусть они остаются неуравновешенными, — защищался я, — я ведь не требовал бы от своей жены «сидеть дома да за хозяйством глядеть».

— Однако ведь нужно кому-то и о доме позаботиться, чтобы он не пришел в запустенье и не опротивел обоим хозяевам.

Помню, ты при этом улыбнулась, и меня внезапно покинул страх, все время сжимавший в холодных объятьях.

Та сам бы я й по водицю ходив,
Свою милу за рученьку водив, —

напомнил я слова народной песни.

— Жаль вас обрекать на такую роль, — серьезно ответила ты, — и... должно быть, у нас, женщин, такая уж консервативная натура, но я по крайней мере не люблю «хозяйственных» мужей, у них все это как-то еще прозаичнее получается, чем у нас.

И ты привела мне в пример несколько наших общих знакомых, где мужья были «хозяйками», а жены играли «общественную роль». Я должен был молча признать, что подобные супружества не совсем в моем вкусе. Но я не сразу сложил оружие.

— Ну, это пустяки, у нас могло бы быть разделение домашнего труда и, значит, полное равноправие. Неужели и этого не допускает «женский консерватизм»?

Тебе легко было разбить это возражение, заметив, что за пять лет студенчества я даже не научился разливать как следует чай, это значит, пройдет по крайней мере четверть века, пока я добьюсь полного «разделения труда» хотя бы в самом примитивном хозяйстве, так уж меня воспитали, и это нужно принимать как факт! Значит, дилемма такова: либо жена хозяйничает, либо дом приходит в запустение.

— И пусть приходит в запустение! — не сдавался я, — неужели все-таки домашний комфорт выше всего? Да нет, это же смешно! Я и не замечал бы, какой этот дом, если бы в нем жили вы! — Однако, как ни увлечен я был этим спором, но уже не смел обращаться к тебе на «ты», как это вначале вырвалось у меня в порыве признаний.

— Это вам так кажется... — начала было ты, но мне стало так горько, таким тяжким оскорблением по-

казалось мне твое «резонерство», что я вскочил с места и, нагнувшись почти к самому твоему лицу, сдавленным голосом крикнул:

— Что же это за любовь? Как я могу верить в нее?

Ты побледнела, как полотно, и тоже встала.

— Если не можете, то и не верьте, — сказала ты твердо, но губы твои дрожали и рука нервным движением потянулись за шапочкой. Я задержал твою руку.

— Простите... простите... мне так тяжело...

Ты постояла с минуту, закрыв лицо руками, а когда открыла, оно уже было спокойно.

— Я действительно не вправе быть нетерпеливой, ведь я против собственной воли провожу над вами такую тяжелую операцию... Вы простите меня...

Я только опустил голову.

А ты снова стала тихо и серьезно доказывать мне, что житейские мелочи обладают огромной разрушающей силой.

— Предпочитаю, чтобы меня самое разрушила любовь, чем ее разрушили бы мелочи.

В горле стояли рыдания, но я уже не мог сердиться на тебя...

— Знаю, — ответила ты, — есть один простой выход: свалить все на «белых рабынь», — но будь даже у меня достаточно средств, морально это невозможно. Я уже отвыкла, чтобы на меня работали, да собственно и не привыкала никогда. Вы ведь знали моего отца? Знаете мое воспитание.

Предо мною встал суровый образ старого «опрощенца», — я вспомнил, как мы с товарищами хоронили его, какими речами товарищи прощались с этим «истым шестидесятником», в котором жила «душа Рахметова». Я вспомнил твой тогдашний простой, словно монашеский наряд, черное платье, служившее тебе и для парада при жизни отца и для траура в час его похорон... Действительно, единственной дочери такого отца, рано лишившейся материнского влияния, напрасно было бы доказывать, что ее «принципы» утопичны и не пригодны в наших условиях. Это были уже не «прин-

ципы», а привычки, всесильные житейские привычки. Это тоже нужно было «принимать как факт».

— Панна Галина, — начал я, собравшись с силами и даже пытаясь улыбнуться, — не так уже все это трагично, как вам кажется. Возможен еще такой выход: я попрошу маму с сестрами приехать сюда — сестры будут очень довольны, а мама ради них согласится, — мама моя по натуре очень хозяйственная, и ей, наверно, пришлось бы даже по вкусу, что невестка не вмешивается в домашние дела. Вам не придется ни о чем заботиться, ни за что не отвечать перед своей совестью. Все равно мама и сестры не изменят ни своих привычек, ни хозяйственного уклада, будем ли вместе, или нет, и, мне кажется, мы можем спокойно пользоваться тем хорошим, что все-таки существует в этом укладе. Мы им платили бы так, как платим теперь чужим людям, только чужие люди тысячу раз хуже содержат нас, а уклад у них такой же буржуазный, и мы поддерживаем существование этого порядка своей платой за стол и квартиру, разве это не сущая правда?

Я старался говорить так же трезво и прямо, как ты; казалось, что мне начинает удаваться этот тон. Но вдруг мне почудилось, что ты перестала меня слушать. Я заметил, что ты смотришь не на меня, а на стену, где висел портрет моей матери.

— Какой суровый профиль у вашей матери, — сказала ты, словно думая вслух, — вы совсем не похожи на нее.

— Я похож на покойного отца,— ответил я и умолк, исчерпав свои доводы.

Не знаю, что было бы, стань я публицистом, может быть, пыл полемики, политическая борьба пером дали бы мне то самозабвение, к которому я так стремился. Но публицистом я не стал. Не умею я «думать коллективно», особенно когда берусь за перо. Не настолько силен, чтобы быть литературным вожаком течения, но самостоятельность моего пера не позволяет мне стать рядовым в литературе, писать в рамках чужой программы, покоряться чужим, во всяком случае не моим

сознанием построенным планам. Я никогда в жизни не был настолько независимым, чтобы меня, если и не подавляла чья-нибудь личность, то хотя бы не «давила» на меня, — и не скажу, чтобы это существо всегда было сильнее, нет, часто оно было значительно слабее меня, но в таком случае гнет его был еще тяжелей.

Твое ярмо, моя сильная, моя несгибаемая Галя, никогда не «давило» меня, именно потому, что оно было сильным, определенным, я даже думаю, что *сознательным* (разве не правда?), и я сознательно покорялся твоей силе, я сам надел на себя это ярмо, и оно стало для меня легким, так по крайней мере мне казалось, до тех пор, пока... но об этом потом. Я собственно хотел сказать, что воля натур более слабых, чем моя, угнетала меня всегда тяжелее, чем воля более сильных. Например, никто не мучил меня так, как один из моих школьных товарищей, безвольный до предела (это безволие даже кончилось у него потом настоящим безумием): неврастеник со вспышками истерии. Мне и теперь трудно разобраться, что собственно так подчиняло меня этому несчастному существу, — не то чтобы я любил его больше всех остальных товарищей (были моменты, когда я совсем не любил его, а терпел, как недуг), не то, чтобы я сознательно намеревался пожертвовать ради него своей независимостью (ибо болезненность его характера принимала часто несимпатичные формы мелкого эгоизма и даже жестокости), наоборот — я полагал, что он этого не стоит и что я трачу на него силы, которые можно бы употребить значительно с большей пользой, — все это я хорошо понимал и все-таки жил в настоящем рабстве, за что вся моя родня и близкие приятели возненавидели этого несчастного. Преобладающим во мне чувством к нему была жалость, какая-то острая, щемящая, пронизывающая каждый момент наших отношений, и хоть я не любил признаваться в этом даже самому себе, а перед другими упорно отрекался от этого чувства, стараясь уверить всех, что никакого «рабства», как они говорили, здесь с моей стороны нет, что я просто люблю и уважаю своего товарища и что мне, как вполне здоровому человеку, абсолютно «ничего не стоит» иногда

потворствовать «невинным капризам» больного. Между тем мне это «стоило» так дорого, что еще год-два такой жизни — и я разделил бы с товарищем компанию в сумасшедшем доме... Горько мне думать и писать это, но что правда, то правда — только сумасшедший дом, отобрав у меня товарища, вернул мне свободу, и я сразу же почувствовал это. И по сей день я досадую на себя, вспоминая, с каким усилием я подавил в себе вздох облегчения, уходя от врача, которому сдал на руки больного... А может быть, эта досада — остаток «рабства». Таков я «в жизни» (актеры пользуются этим выражением, как антитезой к выражению «на сцене», — как будто сцена уже не жизнь, — вот глупость!), но в той, другой, жизни, которая овладевает мной в часы, когда я берусь за перо, я совсем не таков. Тогда я никому не покоряюсь, никого не жалею, ни перед кем в своих поступках, то есть написанных словах, не даю отчета, я думаю так, как думаю «я», я один, и больше мне нет ни до кого дела. Ненавижу в эти часы каждого, кто мешает мне быть самим собой. Знаешь, Галя, даже твое влияние исчезало в те минуты, когда я вооружался пером. И поэтому моя работа не удовлетворяла меня. Ведь мне нужно было нечто такое, что дало бы возможность забыть о себе, а здесь я целиком становился самим собою. В произнесенных словах, в поступках, даже в незаписанных мыслях я соглашался с тобой, жил по-твоему (мне тогда казалось, что это и по-моему), но я сам удивлялся, почему же мне не пишется так. Нет, мне решительно «не писалось» так, — я либо не мог совсем ничего написать на те «жгучие» темы, о которых мы столь часто говорили и которые я, казалось, столь хорошо понимал и даже чувствовал (они ведь часто по ночам не давали мне спать), либо писал о них что-то не живое, «чужое» или чересчур «субъективное», которое «не могло никого убедить, кроме того, кто уже и так был убежден», говорила ты. Я боялся этих моментов, когда ты читала мою «публицистику», — у тебя становилось такое неприветливое лицо, брови так сурово, так страдальчески хмурились, уголки глаз порой дрожали и губы сжимались словно от обиды. Я сидел, как на скамье подсудимых (осуж-

денных). Через силу ты находила порой нечто вроде «похвалы»: «Да... кажется, ничего...» или «Гм... ну, может быть, если выправить, что-нибудь и выйдет...» Но это не «выправлялось» никогда, ибо после такой «рецензии» я молча брал свое творенье, педантично разрывал на четыре части и разжигал им печурку, иногда еще и у тебя на глазах. Тогда ты слабо протестовала, делая попытку защитить мое произведение, но я злорадно усмехался, раздувал огонь и произносил: «Туда ему и дорога!», а в сердце закипала тайная злость, смешанная с обидой, злость не то на себя, не то на тебя... Скорее на себя... нет, все-таки и на тебя! Во мне тогда говорила глухая обида на тебя за то, что ты старалась не любить «моих детей», «детей моей души» (так называю я в мыслях свои беллетристические произведения). А что ты только старалась, это я хорошо знаю, хотя никогда с тобой об этом не говорил (из гордости, ведь я никому, даже тебе — к тебе особенно — не навязываюсь со своими детищами). Ибо однажды видел, как ты плакала над моими стихами, а в другой раз слышал, как ты кому-то читала вслух мою повесть (ты этого не знаешь) — *так* можно читать только то, что трогает душу, здесь слышатся такие нотки в голосе, что выдают наверняка! И вот, сжигая свои неудачные произведения, я как бы мстил за «своих детей» — за неудачливость и безвременную смерть тех самых детей, которых ты бы не прочь назвать своими, если бы они удались. Но тотчас же меня охватывала тоска, почему же у нас нет *наших* детей, почему наш «духовный брак» такой бесплодный? Я завидовал, и теперь завидую тем писателям и поэтам, у которых были свои «эгерии». Чего бы я не дал, чтобы иметь право сказать о тебе то, что, например, Милль говорил о своей жене! Еще дороже было бы мне, если бы мы с тобою могли слиться в единую литературную душу, как братья Гонкуры. Но ведь я был всегда одинок и в литературе и в самой интимной жизни своей души, не имел ни друзей, ни подруги. Ты не хотела войти подругой в таинственную обитель моих поэтических чувств, я не мог побрататься с тем, что ты называла в себе «чувством коллективности», своею

«общественной душой». Я не мог постичь этой общественной души, то есть я понимал теоретически, что это такое и из каких элементов она создается, но творчески почувствовать этого я не умел. Мне кажется, что если бы у тебя был литературный талант, ты бы создала на его основе нечто более страстное, чем Ада Негри, более сильное, чем Герцен, нечто такое, «мир разрушающее, мир созидающее», чего именно ты и хотела от моей злополучной публицистики. Но ты до безнадежности не литератор! Я любил твои письма, но больше за то, что они были написаны твоим энергичным, твердым, крупным почерком — в нем так отражается твой характер! — да еще за то, за что я люблю все *твое*. Однако я сам слишком литератор для того, чтобы не понимать, что ты совсем не умеешь писать, даже писем. Не умеешь не так, как не умеют малообразованные люди, не знающие, как литературно составить фразы, нет, ты писательски, по-интеллигентски, безнадежно не умеешь. Фраза у тебя книжная, тяжелая, педантичная, в ней замерзает всякое чувство. Я не забуду, как ты однажды написала мне: «Поскольку мое чувство к тебе непосредственно, постольку оно бессознательно, но ни первое, ни последнее не должно иметь доминирующего влияния на наши отношения» и т. д. Право, это похоже на карикатуру, однако это было написано черным по белому!..

Почему, Галочка, твоим написанным словам не дано огня твоих глаз, тонких и нежных оттенков твоего голоса, чар твоего смеха, грации твоих движений (нечто стальное в этой грации, как у тонкой испанской шпаги!)? Почему твоя гениальность не нашла себе выражения ни в одном из человеческих искусств, чтобы передать душу твою потомкам? Ведь душа твоя бесконечно прекрасней, больше, богаче моей — почему же моя будет жить (я знаю, что будет, к чему фальшивая скромность!), а твоя исчезнет или распадется на частицы, проживет некоторое время неполной, фрагментарной жизнью в памяти тех, кто тебя знал, а потом постепенно утратит имя и войдет незаметным элементом в души тех, кто уже не будет тебя знать и едва будет вспоминать знавших и помнивших тебя? Я знаю, твоя

мужественная «коллективная душа» не страшится такой участи, ты скажешь: «Так и нужно, ведь мое существо сложилось из частиц людей, живших до меня». Это справедливо! «Но моя душа этого не приемлет и до смерти не помирится с этим! Галя, моя высокая, моя недосягаемая! Как бы я был счастлив, если б мог отдать тебе свой огонь, свою «божью искру». Пусть бы лучше я рассеялся безыменными атомами и потерялся бы среди «праха человеческого» неизвестных и безразличных мне будущих поколений, это было бы, пожалуй, более справедливо. А ты светила бы им ясной звездою, полным неущербным светом, чтобы всякий, кто собьется с дороги, мог увидеть тебя и найти правильный путь. Но так не будет... не будет! Ох, если уже невозможно перелить в тебя мой огонь, то пусть бы уж он озарил мне самому всю тебя, всю твою душу до дна и выжег в моем сердце твой образ совершенными чертами, чтобы я мог изобразить тебя как живую и чтобы душа твоя долго-долго говорила с людьми через мои слова (я уверен, что *тогда* мои произведения стали бы бессмертными, но не для себя хотел бы я этого). И не обладает мой огонь такой силой! Вот почему он не утешает меня в моей великой скорби, в моем одиночестве, в алкании моего сердца. Если бы я мог в литературе, так же как в жизни, покориться тебе, зажить твоею душою, я, может, был бы счастлив, но я жил собою, писал — о, горе мне! — только о себе. Часто я замечал это не сразу: мне казалось, что я изображаю тебя, твою красоту, твою душу. Но сердце мое вскоре угадывало, что ведь это я о нем, о его любви пишу, что ты выходишь из-под моего пера не такой, какой сотворили тебя природа и жизнь, а такой, какой живешь в моем сердце. Я хотел рассказать, какая ты хорошая, а писал только, как люблю тебя, я хотел показать, какая ты сильная, а писал, как погибаю из-за любви к тебе... И это еще пуще бередило мою рану и не давало ни забвения, ни покоя.

На некоторое время я совсем бросил писать. Даже нашел другой способ заработка, чтобы не быть вынужденным заниматься литературой. Только это длилось недолго. Уж слишком я привык к этой отраве, слиш-

ком развилась во мне mania litteraria[1]. Мне стало скучно жить, казалось, что я «погас», стал никчемным, иссяк и уже вместо литературной мании вот-вот была готова развиться другая мания — мания самоубийства. Но я не хотел этого, я не хотел, чтобы ты подумала, будто я убил себя «от безнадежной любви». Я знал, что ты не уважаешь такой смерти, и знал, что мне не удастся уверить тебя, что причина моего самоубийства — иная. Я не хотел, чтобы память обо мне осталась для тебя запятнанной чувством какой-то вины перед мной и какого-то нарочитого неуважения к моему характеру. И я снова стал писать. Я изменил свою «манеру», и это удивляло моих знакомых и критиков, искавших всевозможных «общественных» причин моей «новой творческой фазы». Но собственно никакой новой фазы не было. Я брал умышленно «объективные» темы либо из истории, либо из чуждой мне социальной среды, но это ведь был только «маскарад души», — люди не узнали ее, мою «субъективную, индивидуальную» душу, порой даже принимали ее за «коллективную совесть», но если бы кто-нибудь проник в нее до дна, то сказал бы: «Я узнал тебя, маска!» По частичкам уделял я своим героям свое сердце, а из разных объяснений их в любви к героиням (казалось, таких диаметрально противоположных объяснений) складывалась одна большая любовь моя к тебе. Эта «коллективная совесть» была моей личной совестью, раздробленной, разбитой на куски, сотни раз преломленной в призме слез моего сердца и распыленной на тысячи фантастических, воображаемых душ, родных, единокровных сестер моей неуравновешенной, противоречивой души. В них я видел себя, как в обломке зеркала, и догадывался и вспоминал о том, чего не видел. Если я изображал их ни в кого не влюбленными — это значило: таким был я, пока мы не встретились с тобой. Если я изображал счастливую любовь, это значило: так было бы, если бы ты была моей! Если я делал их героями отречения, это значило: они такие, каким ты хочешь, чтобы стал я. Если они погибали в борьбе за

[1] Писательская мания *(лат.)*.

идею, это значило: так хотел бы я погибнуть, так, наверно, погибнешь ты. И всегда и всюду ты и я, ты и я, а в основном я, я, я... Наконец, не стало сил так жить.

Тебе нравилась моя «другая манера» больше, то есть ты разрешила себе относиться терпимо к подобной манере, хотя жалела все же, «почему я не умею выразить всего этого в публицистической форме» («столь много благородных мыслей теряется в массе фикций, и потому они не убеждают!»). Хотел бы я знать, действительно ли ты не видела, что перед тобой лишь «маскарад», или только закрывала на это глаза? Если закрывала, то это недостойно тебя и нашей искренности. Но я никогда этого не узнаю, все останется на твоей совести, ведь я не умею спрашивать о подобных вещах, а ты, если ты не сказала тогда же, значит уж никогда не сможешь сказать, и чем дальше, тем это труднее.

Однако мне кажется, ты что-то подозревала. Ты все чаще заводила разговоры о том, что я слишком много пишу, что это губит мое здоровье, истощает мозг, что я не должен все свои силы отдавать беллетристике, поскольку другой работы непочатый край и некому ее выполнять.

— Так давай мне другую работу! — вырвалось однажды у меня. — Я ни о чем так не мечтаю, как об иной работе.

Ты пристально посмотрела на меня, но не удивленно, а словно ждала того, что я сказал. Однако стала возражать:

— Какую же я могу тебе «дать» работу, как ты выразился? При чем тут я? Ты член партии, у тебя определенные обязанности, была бы лишь охота. Вот только товарищи почему-то жалуются, что у тебя часто недостает этой охоты.

Я вспыхнул.

— Интересно знать, надолго ли бы у них хватило охоты чистить авгиевы конюшни, в которые они ежедневно превращают редакцию с помощью того, что они называют «рукописями». В следующий раз скажи им на это, что я удивляюсь, как у них не пропала охота

приносить мне груды макулатуры, для правки «стиля» (словно там есть какой-то «стиль», требующий одной только правки!). А правописание! А почерки! Стоит взглянуть, вот посмотри! — я схватил со стола первую попавшуюся чужую рукопись, всю исчерканную моими поправками. Как им не стыдно перед наборщиками, если уж не предо мною! Хоть бы раз сам перечитал собственное «произведение», прежде чем соваться с ним в печать! — я швырнул небрежно рукопись обратно на стол.

В твоих глазах блеснул недобрый огонек и в голосе зазвенела «сталь», когда ты промолвила:

— Что делать? Им можно простить, они не специалисты, они должны писать, отрываясь от другой работы, потому и получается наскоро, кое-как. Но что поделаешь, если «достойнейшие» пренебрегают писать на такие прозаические темы — предпочитают критиковать: это, кстати сказать, и легче.

Должно быть, в моем взгляде отразилась боль, так как ты, встретившись со мною глазами, сразу замолчала и, слегка покраснев, принялась что-то черкать карандашом по моему бювару. Некоторое время мы молчали.

— Галя, — тихо сказал я, — ты сама понимаешь, как метко ты попала в мое самое больное место, и я не стану уж больше об этом говорить... Об одном только прошу тебя, и я имею право просить, причиняй мне такую же боль, только иначе... этой манеры... намеков... косых взглядов... я не могу вынести... Может быть, я и заслужил... но это недостойно тебя, недостойно того святого, что есть в наших отношениях.

Мне стало так тяжело, что я встал и хотел выйти на балкон, чтобы ты не видела моего лица в эту минуту. Но ты преградила мне путь, схватила меня за руки — и куда девалась «сталь» твоего голоса?

— Прости, мой друг! Прости, дорогой! Да, в самом деле это недостойно, мне стыдно за себя. Но ведь ты знаешь, как я страдаю от того, что твое упрямое перо не хочет служить нашему делу так, как следовало бы, — досадуя на него, я ранила тебя. Прости!

Словно в синей бездне утонула душа моя в твоих глазах... и я уже нашел в себе силу искренне улыбнуться.

— Что делать, Галя, — оборонялся я уже без горечи, — видно, я один из тех писателей, которые «не сами пером владеют, а перо ими владеет», как говорил Михайловский, а это уже дело безнадежное... Но довольно об этом. Ты лучше посоветуй мне, я серьезно хочу посоветоваться, давно уже собираюсь.

Ты села и приготовилась слушать с тем внимательным и нежным выражением, которое по большей части появлялось у тебя, как только я заводил речь о каком-нибудь «совете». Я ни разу не помню, чтобы ты была в таких случаях невнимательной и не приложила все силы, чтобы дать хоть приблизительный ответ на мои беспокойные искания. И хотя я знал, что коренного, нужнейшего совета ты мне не дашь, но уже не чувствовал себя одиноким, мне было легче.

Я заговорил о том, что беллетристика меня самого до конца не удовлетворяет, ибо я понимаю, что наше дело требует от меня иного служения. Но «черная работа» в редакции тоже не удовлетворяет. Собственно это пустая трата сил. То же мог бы делать всякий специально подготовленный человек, какой-нибудь «учитель словесности» делал бы это даже лучше, чем беллетрист, а на меня даже иной раз жалуются, что я искажаю «точность выражения» своими «стилистическими прикрасами». Думается, что, например, Овсиенко мог бы лучше меня с этим справляться. Знаю, что он беден, болен и тяжело зарабатывает кусок хлеба, но полагаю, что его не обидит, если партия заплатит ему больше за работу в редакции, чем он получает за то же время, бегая по урокам. Если партия не располагает необходимыми деньгами, я могу покрыть этот расход, а для себя попрошу другой работы. Только я хотел бы, чтобы ты была инициатором «перемены ролей»: во-первых, ты имеешь большое влияние на комитет, а во-вторых, мне самому неудобно начинать этот разговор. Скажут: батраков нанимает и т. п. Ты понимаешь?

Ты молча кивнула головой. Потом спросила:

— А что же ты хочешь делать вместо редактирования?

Здесь я дал волю моим чувствам, я сказал, что хочу *жить* партийной работой, потому что мне стыдно «только писать» в то время, как люди «живут и гибнут», мне неприятно, что моя работа слишком безопасна по сравнению с работой пропагандистов, перевозчиков нелегальной литературы и другой рискованной работой, на которую идет преимущественно зеленая молодежь, тем самым служа нам, «старшим», как бы щитом. По-моему, стыдно жить так, за спиной у молодежи. Кому-кому, а мне это даже непростительно: ведь из меня, очевидно, «идеолог» не получился, я ведь не публицист (тут уж ничего не поделаешь, факт фактом!), влияния в партии, как оратор или организатор, тоже не приобрел и, можно думать, не приобрету, между тем по характеру я смел (ты снова кивнула головой) — умею в опасные моменты спокойно соображать, держать в руках свои нервы, мне свойственна наблюдательность, я немного психолог ex officio [1], умею разобраться во всяких обстоятельствах и комбинациях, к тому же вполне здоров, независим, и от меня никто не зависит, по крайней мере материально. Все это такие «таланты», которые, согласись, грех зарывать в землю. Правда?

Я чувствовал, что лицо мое горит, а в голосе звенит какое-то веселое отчаяние. Ты повторила, как эхо:

— Правда, — но каким-то упавшим, словно далеким голосом, грустным-грустным, ты согнулась, словно стала меньше, а глаза расширились и уставились в какую-то точку в пространстве так пристально, что даже чуть покраснели веки, а на глазах проступила влага. Потом внезапно выпрямилась, взглянула мне прямо в глаза и повторила уже другим, уверенным, но не «стальным», а искренним, дружественным голосом: — Правда! Ты достоин лучшей работы, чем корректорская. И... прости мне не только форму, но и содержание моего недавнего упрека.

---

[1] По обязанности *(лат.)*.

Я «смешался» при этих словах, хотя не мог отвести от тебя глаз, так ты была хороша, когда их произносила. Мне только показалось, будто я не по праву заслужил такие слова. Однако я откровенно говорил с тобой, и все то, что я сказал тебе, была действительно правда, — потому что я думал искренно и об этом — правда, но не вся! Думал искренно, но не только об этом! И я не уверен, заслужил бы я твои слова, если бы досказал *все, до конца...* И теперь не уверен в этом... Я заглушил это «замешательство» просьбами «замолвить за меня слово» в комитете.

Ты снова раздумывала некоторое время молча. Наконец, сказала четко, словно «гипнотизируя» меня:

— Хорошо. Употреблю на это все свое влияние. Но при условии: если случится какая-нибудь опасная работа — я буду с тобой всегда и повсюду. У меня тоже есть на это право и «таланты». Правда!

Я хотел сказать «правда», но что-то сдавило мне горло, и я снова, как когда-то, прижал твою руку к своему лбу и низко-низко склонился. Ты больше ни о чем не спрашивала, — рука твоя все холодела, точно это была смерть.

*1906*

# СТАТЬИ

## ГОЛОС РУССКОЙ УЗНИЦЫ

*(Маленькая поэма в прозе, посвященная поэтам и артистам, которые имели честь приветствовать российскую императорскую чету в Версале.)*

Великие имена и громкие голоса. Слава о них разносится по всему миру... Конечно, слабая песня одной узницы не в силах привлечь внимание этих увенчанных лаврами и розами величественных полубогов. Но мы, мы, несчастные поэты-узники, привыкли к песне без отзвука, к тщетным просьбам, к бессильным проклятиям, к безутешным слезам, к приглушенным стонам. Можно все заглушить, кроме голоса сердца, — он заставит себя услышать и в дикой пустыне, и среди толпы, и даже перед царями. И чело, никогда не знавшее лавров, не менее гордо, не менее чисто, ему не нужны лавры, чтобы скрыть какое-то бесчестие. И голос, который никогда не вызывал позолоченное эхо и тем не менее свободный, тем не менее искренний, не нуждается в знаменитых истолкованиях, чтобы быть хорошо понятым.

Позвольте же нам петь! Песни — это единственное наше богатство, потому что можно все заглушить, кроме голоса сердца.

Позор лицемерной лире, льстивые струны которой наполняли аккордами залы Версаля. Позор чарам вероломной нимфы, которая из хаоса веков вызывала призрак. Позор вольным поэтам, которые перед чужеземцем бряцают звеньями добровольно надетых

на себя цепей. Неволя еще мерзостней, когда она добровольна. Позор вам, актеры, когда вы своими кощунственными устами произносите имя Мольера, который некогда своей ядовитой насмешкой подтачивал страшного великана, созданного во Франции покойным королем-солнце. Призрак этого короля, столь бледный накануне, покраснел от радости, услышав ваши песни в Париже, этом городе-цареубийце, каждый камень которого кричит: «Долой тиранию!» Горе тем древним городам, где покрытые мхом камни, ржавые фонари и тесные площади являются красноречивыми ораторами и не умеют молчать...

Добрые французы, отведите нашего царя подальше от этого города привидений, в Шалон, в Трианон, все равно куда, но дальше, ибо здесь, в комнатах Антуанетты и Людовика, кошмары могут нарушить его отдых после такого триумфа, после жертв, подобных тем, что устилали дорогу колеснице Цезаря, попиравшей мертвых. Не зря после вашей пламенной марсельезы прозвучал унылый напев «Боже, царя храни!».

Стройте же крепко мост, который соединит народы, пусть он будет не менее прочен, чем старинные царские мосты в Париже и в Москве. Они же прекрасно выдержали неукротимый танец освободившегося от цепей народа, возбужденного ненавистью, освещенного пожарами. Позаботьтесь же, чтобы ваш мост вскоре не обрушился во время одного из этих великих народных празднеств, войн или революций, этих блестящих маскарадов.

Великие поэты, великие художники, какая прекрасная маска прикроет во время этих великих празднеств ваш прославленный облик! Какой, какого века, какого стиля будет ваш наряд, который вас прославит в эти неистовые дни! Что касается нас, таких сейчас неизвестных, никому неведомых, которых великие мира сего даже не изволят замечать, — мы выйдем без масок в эти страшные дни, ибо железные маски не могут превратиться в лицемерный бархат.

Знаете ли вы, знаменитые собратья, что такое убожество, убожество страны, которую вы называете такой великой? Это же ваше излюбленное слово, это

бедное слово «величие», вкус к величественному — врожденное свойство французов. Да, Россия величественна, русского можно сослать даже на край света, не выбрасывая за государственные границы. Да, Россия величественна: голод, невежество, преступления, лицемерие, тирания без конца, и все эти страшные несчастья огромны, колоссальны, грандиозны. Наши цари превзошли египетских своею склонностью к монументальности. Их пирамиды высоки и очень прочны. Ваша Бастилия была ничто по сравнению с ними. Что ж, великие поэты, великие артисты, ступайте, взгляните на величие ваших твердынь, ваших Бастилий, сойдите с эстрад, снимите ваши котурны и осмотрите нашу прекрасную тюрьму. Не бойтесь, собратья, тюрьма поэтов, любящих свободу, родину и народ, не так тесна, как другие места заключения, она просторна, и ее славное имя — Россия. Поэт может там жить, и даже в безопасности, лишившись только имени или лишившись всего.

Живите спокойно, собратья, прославленные вашими великими именами. А ты, французская муза, прости безыменной узнице-певице. Все-таки я меньше оскорбила тебя своей бедной прозой, чем твои свободные друзья своими прекрасными льстивыми стихами.

*Узница*

[*Киев, 6. XI. 1896*]

## НЕ ТАК ВРАГИ, КАК ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Долго звучали в моей памяти слова Шевченко: «Не так тії вороги, як добрії люди», пока рука не отважилась нанести их на бумагу. В мыслях возникли они сразу после прочтения статьи «Под конец года», а на бумагу легли много позже: все хотелось проверить эту мысль, справедливость этих слов. Но человек не судья своим мыслям, пусть судят о них другие. Я только попрошу принять во внимание мои слова не как коллективное «заявление», а высказывание человека, близкого делу радикалов, желающего этому делу успешного развития, следовательно пишущего в его интересах.

Имя автора статьи «Под конец года» говорит само за себя. Без сомнения, никто не станет подозревать г. Франко в том, что он «враг» украинским радикалам, а не «добрый человек», с добрыми намерениями. Беда только в том, что добрые намерения не всегда приводят к хорошим результатам; бывает это тогда, когда в самих намерениях кроются ошибки. Так произошло и на этот раз. Позволю себе разобраться в этих ошибках.

Г-н Франко, обвиняя украинских радикалов, справедливо указывает на то, что они мало работают, мало хотят работать и, наконец, что их самих мало; а затем неожиданно ставит им в пример галицких радикалов, о которых он еще недавно мог сказать не много хорошего, и дает далеко не проверенные рецепты спасения души и родного края.

Никто не должен открещиваться от искренней, хотя и суровой критики, но всякий считающий себя взрослым не может молча выслушивать проповеди «ученьица» à la Толстой и считать образцом совсем не авторитетных людей. Пусть бы г. Франко критиковал украинцев, но не миловал бы и своих; кстати, это ему более знакомое дело. Интеллигентное галицкое общество радикального направления никак не может импонировать украинскому радикалу. Никто из нас, побывав во Львове и в Вене и имея возможность познакомиться с теорией и практикой студентов-русинов радикального направления, не был ими особенно очарован. Кому случалось переписываться и лично сталкиваться с галицкими деятелями-радикалами, тот не может утверждать, что они ему показались исполинами, достойными удивления и подражания. Несомненно, есть между ними люди достойные уважения, они имеются всюду. Но вообще нас всегда неприятно огорчало, что в Галиции, стране все же конституционной, так мало людей становится под знамя освободительного движения, да и те так редко держатся стойко. (Мы говорим здесь только о радикальной интеллигенции, так как у нас не было удобного случая присмотреться ближе к крестьянскому радикальному движению.) Если же недавно родившееся радикальное движение все-таки понемногу ширится среди галицкого, галицко-украинского крестьянства, то это происходит главным образом потому, что тяжело угнетаемые, выведенные из терпения крестьяне сами идут навстречу интеллигентным радикалам-пропагандистам. Это обстоятельство и некоторая гарантия свободы пропаганды, которую все-таки дает австрийская конституция, помогают немногочисленным и недостаточно преданным делу галицким радикалам достигать в своей работе видимых результатов. Этого последнего условия, то есть минимальной гарантии свободы слова, у нас совсем нет. Если бы г. Франко принял это во внимание и выступил не односторонним обвинителем украинских радикалов, а суровым критиком обеих сторон, тогда можно было бы прекратить полемику хоть по этому пункту, а то г. Франко только и твердит: «Вот

что делаем мы, почему не могли бы и вы», а на всевозможные возражения заранее отвечает: «Трудно нам этому поверить. Это не может быть правдой или это просто неправда!» Это такой argument suprême [1], против которого не приходится возражать, если не хочешь прибегнуть к авторитетному свидетельству господа бога или к аргументации женщин «из народа». Никто больше нас не признает и не понимает собственных промахов, но на упреки г. Франко можно сказать не только mea culpa [2], так как не все заповеди г. Франко входят в религию украинских радикалов и не против всех они согрешили.

Главная заповедь г. Франко — *это непосредственная пропаганда среди народа* (слово «народ» г. Франко употребляет не в общеевропейском понимании, а в народническом: «крестьяне»). Учиться этому делу он отсылает украинцев к латышам, полякам и другим не имеющим самостоятельности народностям России. Почему же не к самим русским? Ведь были когда-то люди, которые начали проводить эту работу на всем пространстве Европейской России. Мы собственно не будем говорить исключительно об Украине, хотя в ней было немало борцов, в большинстве украинцев, но они были людьми без отчетливого национального самосознания, следовательно у них и не могло быть таких национальных идеалов, которых требует от украинских деятелей г. Франко. Но ведь было немало борцов, которые формировались, например, и среди неоглядных приволжских степей, на плодородной почве, с помощью национальных идеалов, опираясь на исторические примеры (движение Пугачева, Разина). Все эти люди не создавали теорий в кабинетах, а просто шли в народ, неся и книги и живое слово. Необозримые российские степи не защитили этих людей от оков и каторги! Да они и не боялись этого и несли незаслуженную кару с таким героизмом, какой и не снился галицким радикалам. А что вышло из их пропаганды? Хотя большинство областей в Европей-

[1] Крайний довод *(франц.)*.
[2] Моя вина *(лат.)*.

ской России с русским и украинским населением дало не меньше интеллигентных деятелей, чем дает нынешняя Галиция, и хотя все это движение продержалось не меньше, чем ныне существующее радикальное движение в Галиции, однако оно вынуждено было изменить направление. Отсутствие элементарных прав, свободы слова и личности заставило этих деятелей признать, что нельзя освобождаться исключительно при помощи крестьянства, даже поставив на первом плане борьбу за интересы этого крестьянства, а не за общие просветительно-освободительные интересы всего народа, заставив их признать, что интеллигенция, прежде чем действительно послужит своему народу, должна завоевать себе возможность свободного доступа к нему. Тогда принципиальные социалисты становятся практическими политиками, является Желябов с товарищами добывать политическую свободу, это conditio sine qua non [1] возможности полезной работы в интересах наиболее угнетенного класса народа. Такое изменение деятельности было неизбежной эволюцией, и нам странно, что г. Франко не видит этого и обвиняет Желябова и товарищей в том, что они изменили направление своей работы, чтобы завоевать всероссийскую политическую свободу. Г-н Франко почему-то думает, что если бы эти люди остались на Украине искать среди крестьянства национальные идеалы, основанные на свободолюбивых мыслях, то Украина была бы теперь страной сознательной и готовой выполнить те задачи, какие перед ней поставит политическая свобода. А политическая свобода якобы должна наступить не сегодня-завтра. Вашими бы, г. Франко, устами да мед пить. Но мы смотрим на положение вещей печальнее и думаем, что еще не год и не два горе мыкать, пока мы добьемся хоть какой-нибудь, если не идеальной, политической свободы... И вовсе не муки апостолов-борцов пугают теперешнюю русскую оппозицию, а тщетность их труда. Потому-то, наверное, и украинские радикалы не могли так отчетливо поставить в своей программе непосредственную пропаганду среди

[1] Необходимое условие *(лат.)*.

крестьян, не говоря уже о том, что некоторые радикалы считают не крестьян, а рабочих более удобной почвой для своей пропаганды. Всякий радикал будет проводить такую работу, где только возможно, одновременно с работою среди интеллигенции, но делать ее своим единственным credo [1] он не может и не обязан. Если в Галиции основная почва для работы радикалов — крестьяне, то у нас на Украине прежде всего необходимо захватить в свои руки интеллигенцию, вернуть нации «мозг» — лишь бы не было так, что есть над чем работать, да некому; а потом вместе с соседями добывать те права, которые галичане давно уже приобрели чужими руками. Только мы обязаны при этом постараться, чтобы добытые таким путем права не послужили главным образом интересам господствующей в государстве народности, а пошли на пользу всему громадному и разнообразному составу российского государства, следовательно чтобы политическая свобода была краевой, национальной, децентрализованной и одинаково для всех демократической. Такой работы требует, между прочим, и драгомановская программа; отмечаем это здесь потому, что г. Франко пользуется словами «драгомановец» и «радикал» как тождественными. Следовательно, г. Франко был бы прав, если бы упрекал украинских радикалов за недостаточно интенсивную работу среди интеллигенции и недостаточно решительные мероприятия для завоевания прав. Получается же так, что он целился в радикалов, а попал в народников, так как каждый отвечает за то, что сам обещал.

А вот еще один пункт, о котором нужно сказать, что г. Франко «ломится в открытую дверь», если не шутит. Он доходит до подлинно патетического тона, чтобы уговорить украинских радикалов ( NB социал-демократов) не ждать «разрешения начальства» для своей работы, и указывает на благой пример галицких радикалов, которые не боятся своей мачехи-конституции, а идут тернистым путем, куда зовут их высокие задачи.

[1] Убеждение *(лат.)*.

Может быть, г. Франко хотел пошутить перед новым годом, а юмор производит больше впечатления при серьезном тоне, только время для этого он выбрал слишком неблагоприятное, именно такое, когда некоторые из этих товарищей поселились на бесплатное жительство «с разрешения начальства». Украинцы выбирали для шуток с галичанами лучшие времена. Если же г. Франко не шутил, то, наверное, кто-нибудь подшутил над ним, рассказав ему небылицы о каких-то в действительности никогда не существовавших среди украинских радикалов намерениях посылать петиции и отдавать свое дело на царскую милость.

Вообще нужно сказать, что Франко слишком уж часто намекает «на страх иудейский» украинских радикалов. При частом повторении шутка теряет свою соль, об этом нужно помнить шутникам.

Ну, прошу прощения за слишком длинное отступление и перехожу к другим темам.

Один из важнейших вопросов — как сделать теперь же Украину политической силой. Один «стыд», очевидно, тут немного поможет, так как его украинцы чувствуют еще со времен Шевченко, а спасения души до сих пор не снискали. Г-н Франко советует нам прежде всего не быть «дураками» и стать готовой силой, не ожидая конституции. Постараемся! Только любопытно для примера знать, какие это были готовые силы в русской Галиции, в то время когда на нее свалилась конституция? Разве был тогда хоть один радикал на всю Галицкую, Буковинскую и Угорскую Русь?

Наконец г. Франко не верит в самый факт существования «украинских радикалов-драгоманцев или как они там себя величают» (по мнению г. Франко, им только и следует называться «настойкою на радикальных идеях»). Видно, для него украинские радикалы такой же миф, как для нас те радикальные группы, которые спорят, давать ли украинскому мужику русскую книжку, или нет, и посвящают всю свою жизнь единственно собиранию денег pour les beaux yeux [1] заграничных братьев. Позволю себе сказать, что

[1] Ради прекрасных глаз *(франц.)*.

вообще статья «Под конец года» в той части, где г. Франко говорит об украинцах, кажется мне написанной очень небрежно. Казалось бы, если обвинять украинских радикалов, то следовало бы привести примеры только из их собственной деятельности, вместо того чтобы бросать обвинения всей украинской интеллигенции, — пусть, дескать, «пуля найдет виновного». Поэтому иногда и выходит так, что, по смыслу фраз, обвинения, направленные против украинских радикалов, в сущности попадают совсем в другой лагерь. Что сказал бы г. Франко, если бы кто-нибудь, полемизируя с галицкими радикалами, упрекнул их в заискивании у польских феодалов и клерикалов и вообще стал бы их упрекать за такие действия, которые могут характеризовать только партию «русско-католического союза», но никак не галицких радикалов? Поэтому, к сожалению, и украинским радикалам приходится не принимать всерьез урока г. Франко по поводу работы «с позволения начальства» или обращения петиции к царской милости.

Теперь несколько слов о «домашних» делах, и довольно утомлять внимание читателей и г. Франко. После добрых советов г. Франко говорит нам: «Сидите, добрые люди, дома, не лезьте к нам с вашими деньгами, так будет лучше и для нас и для вас, а то ваша «помощь со стороны» нас деморализует, а вас приучает откупаться от обязанностей».

Действительно, «помощь со стороны» не то что товарищеская братская помощь, она должна деморализовать, как это видно на примере москвофилов. Те люди, которые до сих пор помогали галицким радикалам, не считали себя «помощью со стороны», каким-то славянским благотворительным обществом, они давали деньги не на «благотворительные дела», а на общее родное дело, и то преимущественно в критическую минуту, когда дело приходило в упадок из-за галицкой финансовой несостоятельности. О таком характере украинской помощи г. Франко должен бы прекрасно знать. Если бы речь шла о «благодеянии», то можно было бы сказать словами некоего мазура: «Nie miła

księdzu ofiara, idz ciele do domu»[1], и когда уже ясно, «что с воза упало, то пропало», то хоть в дальнейшем не следует оказывать «своей мелкой денежной помощи». Только, что касается этой «помощи», опять-таки г. Франко не следовало бы называть ее «10 или 100 рублями», так как г. Франко хорошо известно, что их, этих 10 или 100 рублей, ежегодно набиралось не меньше, чем полторы—две тысячи (говорю об одном достаточно известном мне источнике помощи Украины галицким радикалам), а в иной год и больше. Так вот и следовало бы г. Франко, если уж он считал нужным затронуть этот вопрос, говорить о нем обстоятельней, чтобы на Украине из-за его неверных замечаний не возникло каких-нибудь недоразумений в этом и без того щекотливом деле. У галичан тоже дело простое: если деньги деморализуют, ну их, не принимать! Лишь бы только это было сделано не из амбиции, вызванной обидной полемикой, и не во вред общественному интересу; ибо если дело из-за этого замрет, да еще и на несколько лет, до тех пор пока галичане соберутся с собственными деньгами, то для украинцев такой выход вовсе нежелателен. Но если бы дело обошлось по-хорошему, то украинцы не были бы опечалены, и, конечно, они и сами найдут применение своим деньгам. Напрасно галичане думают, что у нас деньги собираются только для них и только для того, чтобы купить себе на них индульгенцию от греха лености. Такие индульгенции продаются не только в Галиции.

Наконец, отмечу любопытный факт: статья «Под конец года» дождалась высокой чести быть гектографированной руками врагов радикальной партии. Еще ни одна статья из «Життя і слова» не заслужила такой чести. Гектографированные экземпляры продаются по 25 и по 35 копеек. Статья имела настоящий триумф среди этих новых украинских издателей, так как им не удалось до сих пор самим написать ничего такого, что попало бы радикалам не в бровь, а в глаз, или

---

[1] Не по вкусу попу приношение, ступай, теленок, домой *(польск.)*.

по крайней мере чтобы это им так казалось, недаром ведь они «враги», а вот нашелся, спасибо ему, «добрый человек» да еще редактор радикального журнала. Если бы только г. Франко видел «победоносные» взгляды своих издателей и слышал тон, с каким они спрашивают радикалов при встрече: «А вы читали «Под конец года?» Что отвечать радикалу на такую anzügliche Frage[1] — «не так враги, как добрые люди!»

[*Киев, 1897*]

[1] Язвительный вопрос *(нем.)*.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К УКРАИНСКОМУ ПЕРЕВОДУ БРОШЮРЫ «КТО ЧЕМ ЖИВЕТ»

Конечно, нужно уметь самому наладить свое собственное дело, но чтобы *уметь,* нужно сначала научиться.

Может быть, скажут: как же научиться освобождаться от рабства, если от него еще никто не освободился?

Да, действительно, еще никто не освободился от рабства до *конца,* но начало такого освобождения мы видим в разных странах, например в Германии, где рабочим живется все-таки лучше и свободнее, чем у нас, и если бы нам добиться хоть половины того, чем они сейчас располагают, то для начала и это было бы не худо. А ведь рабочие начали там освобождаться благодаря тому, что стали объединяться в хорошо организованные группы и общества (в организации, как их называют по-книжному). Кстати, всегда находились понимающие, образованные и доброжелательные люди, которые, интересуясь рабочим вопросом, объясняли в книгах и с помощью живого слова, как нужно защищаться рабочим от врагов и каким способом им лучше объединяться. Из таких людей больше всего прославился ученый Карл Маркс и его ученик и товарищ Фридрих Энгельс, которые многому обучали рабочих живым словом и написали книги, где совсем иначе изложена политическая экономия, чем она излагалась до сих пор, и где высказаны такие же мысли, как и в этой книжечке, только более глубокие и научно

обоснованные. Оба эти ученые (теперь уже умершие) много сделали для того, чтобы в Германии, да и во всех других странах, возникли большие рабочие объединения для защиты от всякого насилия и рабства, поэтому память о Марксе и Энгельсе в большом почете среди всех сознательных рабочих.

Сознательный рабочий — это такой рабочий, который понимает свои права и не надеется ни на кого, кроме себя и своих товарищей, таких же рабочих, как и он. (К рабочим относятся и те, которые занимаются писательским трудом, если только они не продали своей совести богачам и идут вместе с рабочими, как Маркс, Энгельс и многие другие, хотя они и воспитаны в господских школах и образованные люди.) Сознательные рабочие не должны обращать внимание на то, кто из них какой веры или какой национальности (рабочий-немец, например, не должен считать, что он лучше поляка, поляк — русского, русский — украинца и т. д.), они должны единодушно держаться вместе, так как у них у всех один враг — класс богачей, капиталистов, который пользуется трудом рабочих. Вот потому-то для каждого рабочего должны быть святы слова: *рабочие всех стран, соединяйтесь!* Ибо только тогда свобода рабочих становится прочной, когда она во всех странах одинакова, когда никто не может прийти со стороны и уничтожить ее.

Но мир велик, да к тому же и языки в мире разные, что ни народ, то другой язык, как же на таком огромном пространстве объединиться и договориться?

— А хоть бы и так: пусть сначала на отдельных фабриках, в экономиях и сельскохозяйственных обществах люди как следует договорятся и объединятся друг с другом, пусть на время тайно, но и это уже много бы значило; потом такие кружки объединились бы между собой в большие группы, а эти в еще большие объединения (в большие и маленькие *организации,* как называют их по-научному), и из них мог бы возникнуть целый рабочий союз *(партия).* Что люди не могут все собраться в одно место и говорить на одном языке, это не беда, — ведь вот же богачи как-то договорились не давать свободы рабочим? Пусть же и рабочие догово-

рятся против богачей, как противостоять им, чтобы не быть их жертвой.

Пусть каждый кружок или группа выбирает представителей в краевое объединение, а среди выборных несомненно найдутся люди, которые знают чужие обычаи и другие языки, кроме своего. Этих людей будут посылать на съезды, где они встретятся с такими же представителями иностранных рабочих объединений, таким способом образуется всемирная рабочая партия, составленная из партий различных стран; и в этой большой партии какое-нибудь краевое объединение не будет угнетать другие, меньшие, как это делается у богачей в их государствах, а все должны относиться друг к другу, как равный к равному, свободный к свободному, ибо если сами рабочие будут угнетать друг друга, они не освободятся от рабства, пока светит солнце.

Все то, что тут говорится, не пустые мечты, — так уже и делается во всем мире. Во всех государствах рабочие основывают кружки, группы и объединения, есть они и в русском государстве, только не во всех областях их одинаковое количество, больше всего их в Польше, немало и на Украине; к ним принадлежат главным образом не украинцы или те, кто не считает себя украинцами (или, как русские говорят, «малороссами»), но уже и украинцы начинают шевелиться, да и пора! И скоро в русском государстве они объединятся в группы так, как это делают галицкие русины (это тот же народ, что и украинцы), которые уже входят в союз с другими объединениями, как равный с равным, свободный со свободным, не перенимая иностранных обычаев и не враждуя с рабочими других народов. Эти краевые объединения уже и теперь посылают своих представителей на большие рабочие съезды, которые собираются ежегодно где-нибудь в большом городе (конечно, не в России, так как в России запрещено собираться на совещания даже десятку рабочих, какие уж тут могут быть «съезды!»). О чем совещаются на этих съездах, об этом потом пишут в рабочих газетах и книжках на разных языках, и всякий это может прочитать.

— Какой же толк от этих съездов, — скажет, пожалуй, кто-нибудь, — совещаться-то не штука, но что могут рабочие сделать против богачей, если будут разговаривать, совещаться, писать и читать книги и газеты, в то время как деньги, войска, полиция и правительство в руках богачей?

Собственно объединенные (организованные) рабочие тоже располагают деньгами уже и теперь, хотя объединения их далеко не так велики, как следовало бы, так как не все к ним присоединяются; эти деньги идут в помощь тем рабочим, которые бросают на некоторое время работу, чтобы не терпеть безмерной эксплуатации и заставить богачей пойти на уступки (такое прекращение работы называется в России стачкой, или забастовкой, а повсюду в других странах стрейк, или страйк, или штрайк); идут эти деньги и на всякую другую помощь и нужды рабочим.

Что касается войска, из кого же оно главным образом набирается, как не из трудящихся, только не всегда сознательных. Нужно стараться, чтобы эти трудящиеся-солдаты стали сознательными и хотя бы не стреляли в своих же товарищей при «усмирении бунтов». Что касается полиции, то без нее рабочим жилось бы значительно лучше, нежели с нею, правительство же, если нужно, каждая партия может сама себе выбрать.

— Все это хорошо, — снова может возразить кто-нибудь, — но ведь сказано, что в России и десяти рабочим запрещено собираться на совещания, откуда же возьмутся эти объединения?

Точь-в-точь так же было когда-то и во всех других государствах, но потом стало иначе, и там объединения и тому подобное не с неба упали, а добыли их себе *люди* просьбой или угрозой (больше угрозой, нежели просьбой) или уговором, или оружием, как где пришлось [1]. Так же, если мы захотим, будет и у нас.

---

[1] О том, как люди в каждой стране добывали свободу, много написано, кое-что можно прочитать и на нашем языке. *(Прим. Леси Украинки.)*

Ведь и сейчас в российском государстве возникают кое-где рабочие группы, о которых мы упоминали! Пусть пока они собираются украдкой, сначала тайно, а потом будут и явно; явно — когда наступит благоприятное время, а это благоприятное время настанет тогда, когда рабочие станут сознательными, поймут и свои права, и свое единство, и свою силу. Это благоприятное время не за горами, если мы поможем ему прийти.

А для того, чтобы пробил час полного освобождения всех рабочих из рабства:

*Рабочие всех стран, соединяйтесь! Соединяйтесь, как свободный со свободным, равный с равным!*

Чья правда, того будет и сила!

[*1901*]

## МАЛОРУССКИЕ ПИСАТЕЛИ НА БУКОВИНЕ

В наше время наряду с колоссальным развитием так называемых «мировых» литератур замечается одно интересное явление: литературы маленьких народов, даже небольших этнографических групп, начинают все громче и увереннее подымать голос, защищая свое «право меньшинства». С этим голосом уже принуждена считаться, так или иначе, критика мировых литератур. Вопрос о праве на существование той или другой из маленьких литератур решается не столько теорией, сколько практикой, то есть присутствием в данной литературе сильных и оригинальных талантов. Таким образом завоевала себе право на существование и на внимание со стороны других литература одной небольшой ветви малорусского племени благодаря трем своим главным представителям. Эти писатели пользуются гораздо большей известностью в Австрии и Германии, чем в России, для которой в сущности они могли бы иметь больше интереса и значения. Речь идет о писателях, принадлежащих к тем австрийским малороссам, или, как они сами себя называют, «русинам», которые живут среди Карпатских гор, в австрийской провинции Буковине. Главный город этой провинции Черновцы (Czernowitz) интересен для малороссов в том отношении, что он является единственным значительным европейским городом, где малорусский язык принят повсюду, в домах и на улице, как langue

parlé [1]. Говор буковинских русинов очень мало отличается от того малорусского языка, на котором говорит большинство украинцев. Кто слышал, как говорят в так называемой «руській Буковині» (то есть части Подольской губернии, которая примыкает к австрийской границе), тот имеет точное понятие о говоре буковинских русинов.

Буковина — провинция, более обособленная от остальной Австрии, чем даже Галиция; это замкнутый, мало доступный для посторонних влияний мир. В нем беспрерывно идет глухая национальная борьба между отдельными населяющими его племенами: русинами, румынами, венграми, немцами, но племена эти слишком резко отличаются друг от друга, чтобы ассимилироваться. В наше время уже существует известное культурное взаимодействие между русинами буковинскими и галицкими и отчасти украинцами, но во время первого национального пробуждения австрийских русинов, то есть в тридцатые годы, между ними было полное отчуждение, и так продолжалось вплоть до шестидесятых годов, когда малорусское литературное движение приняло более широкие размеры и захватило даже изолированную Буковину. Таким образом, начало буковинской литературы было свободно от влияния тогдашних галицких и украинских авторитетов, и в этом, как мы увидим дальше, была своя хорошая сторона. Единственными образцами для народных буковинских писателей была долго только чудная буковинская природа и народная поэзия.

Первый значительный буковинский беллетрист Юрий Осип Федькович родился в 1834 году, на Буковине, среди карпатских горцев (гуцулов), в округе Кимполунго (Довге Поле), который принадлежит к живописнейшим местностям Карпат. Семья Федьковичей принадлежала к мелкоземлевладельческим; образ жизни таких семей только тем отличался от крестьянского, что мальчики в них получали некоторое образование, как это было и в семье нашего писателя. Сам Федькович всегда считал буковинское крестьян-

[1] Разговорный язык *(франц.)*.

ство своей родной средой. Старший брат Федьковича принимал участие в депутации, которая была отправлена в новооткрытый парламент и подала императору петицию о правах буковинского крестьянства. В сорок восьмом году Федьковичу пришлось некоторое время жить в Молдавии, где один немецкий художник принял в нем большое участие и познакомил его с немецким, а также с испанским языком и литературой. Под влиянием этого художника, о котором Федькович навсегда сохранил самые теплые воспоминания, Федькович начал заниматься литературой, но вначале писал только по-немецки, так как ему не приходило в голову, чтобы его родной язык мог годиться для художественных целей. Национальное чувство заговорило в нем впервые, когда в 1852 году он попал в военную службу, причем участвовал в Итальянской кампании, в битвах при Мадженто и при Сольферино.

Там же, в Италии, Федькович написал свое первое малорусское стихотворение «Ночліг», но не придавал тогда никакого значения этому началу.

В 1859 году Федькович вернулся на родину офицером, и в Черновцах познакомился с немецким профессором Нейбауером, который очень поощрил его литературные опыты на немецком языке, особенно его переводы буковинских народных песен. Около того времени Федькович стал печатать свои немецкие произведения, но особенного успеха они не имели. Тогда же в Черновцах познакомился Федькович с русином-патриотом Кобылянским, который убедил его, что естественнее всего русину писать по-малорусски. Под влиянием этих убеждений Федькович стал снова писать малорусские стихи (перевел, между прочим, немецкий народный гимн на малорусский язык) и даже издал маленький сборник этих стихов, в очень ограниченном количестве экземпляров, для раздачи своим бывшим товарищам-солдатам. Эти первые стихотворения проникли в Галицию и там сразу обратили на себя внимание всех, кто сколько-нибудь интересовался малорусским словом. Дидыцкий, литератор старой школы и старого, шляхетско-униатско-славянофильского направления, был так тронут непосредственной и свежей

поэзией Федьковича, что забыл свои чопорные эстетические требования и мечты о создании какой-то особой, «образованной», а не народной литературы и в 1862 году издал во Львове новый сборник стихотворений Федьковича, выразив в своем предисловии к ним надежду, что Федькович будет вторым Шевченко австрийской Руси. Надежде этой не суждено было сбыться: поэтический талант Федьковича не прогрессировал, и его первые стихотворения так и остались лучшими. Особенно хороши из них те, которые относятся к воспоминаниям о тяжелых годах жизни поэта в Италии.

Поэтического таланта Федьковича хватало на воспроизведение непосредственных впечатлений жизни в безыскусственной форме, стиль народной песни лучше всего давался ему, но едва поэт переходил к отвлеченным темам или сложным сюжетам, пытался усвоить себе форму сонета и книжный стиль, как получались произведения безжизненные, мало чем лучше произведений того же Дидыцкого и других галицких поэтов того времени, из которых ни один не возвышался над посредственностью. Быть может, этому причиной то, что тогдашний литературный малорусский язык был совершенно не выработан, и красиво писать на нем не мог бы даже гений. Впрочем, впоследствии народный стихотворный стиль тоже изменил Федьковичу, и в этом был виноват, по иронии судьбы, именно тот образец, на который указывал поэту его первый ценитель — Дидыцкий: влияние поэзии Шевченко на Федьковича было роковым: эта сильная поэзия слишком поразила еще неокрепшего буковинского поэта, — чем более Федькович увлекался Шевченко, тем более терял свою оригинальность и, наконец, совершенно подчинился ему, а если порой освобождался, то только для подражаний галицким «боянам», что, конечно, было совсем не лучше. Сонеты Федьковича похожи на плохие подражания Мицкевичу, а в поэмах чувствуется влияние второстепенных немецких романтиков. Что же касается сложных сюжетов и философских тем, то для них необходима была бóльшая степень культурного развития, чем какою обладал Федькович, получивший в молодо-

дости незначительное образование, которое он ревностно старался дополнить чтением, будучи в военной службе; но это чтение — главным образом по немецкой литературе, — конечно, не могло быть систематичным при бивуачной жизни.

Недостаток широты мысли и глубины понимания особенно сказывается в тех поэмах Федьковича, в которых затронуто интересное и сложное явление буковинской жизни начала XIX столетия, а именно разбойничество. «Опришки», как называет буковинский народ своих разбойников, напоминают украинских эпигонов гайдамаччины типа Кармелюка, который остался в памяти народной не как простой грабитель, а как противник экономического и социального неравенства. Федькович дает в своих поэмах только анекдоты в романтическом вкусе из жизни знаменитых опришков, но глубокие причины и внутренний смысл самого явления, видимо, были совершенно неясны для него.

Итак, Федьковичу, при несомненном поэтическом даровании, не суждено было сделаться большим поэтом; хотя на родине его и в Галиции стихи его до сих пор пользуются популярностью и многие из них положены на музыку галицкими композиторами, но за пределами Австрии они совершенно неизвестны. Более широкую и прочную известность создала Федьковичу его проза.

Свои прозаические произведения Федькович писал вначале тоже по-немецки, но, ободренный успехом своих малорусских стихов, он начал и в прозе писать на родном языке, причем стал помещать свои рассказы в галицких малорусских журналах. Это сотрудничество познакомило Федьковича с тогдашними галицкими литераторами-народниками, и мало-помалу сам он примкнул к народническому направлению, бывшему тогда самым передовым в Галиции.

Развитию у Федьковича народнических идей способствовало и то, что, вышедши в 1863 году в отставку из военной службы, он вошел в более близкое соприкосновение с народной жизнью, служил выборным от крестьян своего округа в сервитутной комиссии, был войтом (старшиной) своей общины, потом инспекто-

ром народных школ. В это время Федькович написал свои лучшие повести, которые создали ему имя и возбудили интерес к его родине за пределами Австрии. Федькович воспроизводит в художественной форме воспоминания юности, впечатления походов, разные поразившие его воображение события; все это проникнуто теплым, глубоким чувством, любовью к изображаемым людям и природе буковинской. Эти повести своим красивым, чисто народным стилем и трогательной манерой напоминают малорусские повести Марка Вовчка. Можно сказать, что лучшего стилиста, чем Федькович, не было и нет среди буковинских и галицких писателей, и вообще сочинения Федьковича можно поставить наряду с лучшими образцами малорусской — и, пожалуй, не только малорусской, — народнической литературы. Сквозь легкую, а подчас и довольно густую дымку идеализации вырисовываются яркие, живые картины, метко, изящно очерченные силуэты; на всем чувствуется присутствие жизни.

Федькович не чужд недостатков, свойственных вообще тогдашней народнической литературе: он часто впадает в сентиментальность и этнографичность; кроме того, на нем отразилось влияние европейского, особенно немецкого романтизма; пристрастие к декоративной стороне народной жизни, к исключительным сюжетам, к необыкновенным натурам мешало ему остановиться на глубоких, основных явлениях этой жизни. В изображении Федьковича, несмотря на печальные сюжеты, Буковина является всегда в несколько праздничном виде; его герои страдают больше от любви, чем от тяжелых экономических общественных условий, а это едва ли так было в Буковине даже в более счастливые для буковинского крестьянства шестидесятые годы. Как в поэзии, так и в прозе широкие темы не давались Федьковичу: он не успел достаточно развиться для них. Для такого развития, которое равнялось бы его природному таланту, необходима была более культурная среда, которой не было тогда ни на Буковине, ни в Галиции, куда было переселился Федькович в 1872 году. Переселился он во Львов, чтобы работать при обществе «Просвіта» по изданию книг для народного

чтения. Там он издал около пяти книг своего сочинения, проникнутых клерикально-буржуазным духом, который если и проявлялся иногда в его беллетристике, то в очень слабой степени. Львовская народническая интеллигенция, далеко не свободная от клерикально-бюрократических предрассудков, проникнутая филистерством, ничего не дала Федьковичу, а скорее даже имела дурное влияние на выработку его литературного вкуса. Сам Федькович писал, что он прожил во Львове «14 черных месяцев, чтобы до крайности разочарованным возвратиться под свою родную кровлю». Возвратясь на родину, этот писатель, открывший, так сказать, Буковину для литературного мира, жил почти в полном одиночестве и нравственном отчуждении от своих интеллигентных соплеменников.

Первый сборник его прозаических произведений был издан в 1876 году Драгомановым в Киеве, и переводы этих рассказов появлялись в русских, сербских, чешских, немецких и других периодических изданиях. Полное же собрание сочинений Федьковича вышло в Черновцах только в 1896 году.

По смерти Федьковича долго не было ему преемников на Буковине. Долго не являлось ни одного писателя, который бы не то, что превзошел Федьковича талантом, а хотя бы только сравнялся с ним. Наконец, в девяностые годы выступили на литературную арену молодые силы: Ольга Кобылянская и Василь Стефаник.

Ольга Кобылянская — ближайшая землячка Федьковича, так как выросла в том же Кимполунгском округе, только ближе к румынской части Буковины; отец ее служил чиновником в окружном городке Кимполунго. Образование она получила в немецкой школе, а потом пополняла его сама чтением книг, главным образом на немецком языке, на котором, подобно Федьковичу, писала свои первые произведения, да пишет иногда и теперь, так как владеет этим языком в совершенстве и имеет литературные связи в немецкой Австрии и Германии. Она сотрудница штутгартской «Neue Zeit», а также берлинской «Gesellschaft», редакция которой очень ценит произведения г-жи Кобылян-

ской и ставит их наряду с лучшими произведениями молодых немецких модернистов.

Г-жа Кобылянская — наследница Федьковича по таланту, но не продолжательница его манеры. Она воспитанница немецкой культуры, и этого не могут ей простить ее галицкие критики, так как немецкое влияние до сих пор заметно на ее стиле. Но если немецкий язык и был действительно вреден для ее стиля, то он был ей не только полезен для общего развития, но даже спас ее от умственного застоя и нравственной спячки в мелкобуржуазной, чиновничьей среде маленького буковинского городка, где единственным очагом культуры была библиотека, состоявшая почти исключительно из немецких книг. По крайней мере г-жа Кобылянская сама находит, что эта «немеччина», к которой так презрительно относятся галицкие собраты, вывела ее в люди, открыла для нее мир идей, познакомила ее с мировой литературой и научила любить и понимать искусство. Действительно, эстетический и идейный уровень развития у г-жи Кобылянской гораздо выше, чем у тех буковинских и галицких писателей, которые развивались под влиянием только исключительно местной и польской литературы, а если и есть у нее кое-какие неровности и пробелы, то причины этому надо искать не в «немеччине», а в недостатке систематичности, которым неизбежно страдает всякое самообразование. Немцы же указали О. Кобылянской путь в литературу и дали ей силу противостоять первым неудачам.

Писательница вначале видела от своих земляков больше огорчений и разочарований, чем помощи и нравственной поддержки; она сама сознается, что это иногда вызывало у нее желание бросить навсегда малорусскую литературу и уйти в свою, почти родную ей и всегда приветливую, «немеччину»; конечно, хорошо, что она этого не сделала, так как в немецкой литературе она всегда оставалась бы гостьей, хотя и желанной, тогда как в малорусской она дома и может проявить свой талант более разносторонне. К тому же, начиная с 1895 года, она стала, наконец, признанным

членом семьи в малорусской литературе и теперь уже не может пожаловаться на невнимание редакторов, критиков и особенно читателей.

В своих сочинениях г-жа Кобылянская затрагивает самые разнообразные темы. Больше всего отмечен ею тип интеллигентной женщины, борющейся за свою индивидуальность против нивелирующей и засасывающей среды австрийской буржуазии, погрязшей в безнадежном филистерстве. Этой теме посвящен рассказ «Людина» и большой психологический роман «Царівна», который при многих несовершенствах формы и слишком подчеркнутой феминистической тенденции — что часто мешает художественному впечатлению, — все же остается одним из самых замечательных романов этого рода. Он стоит гораздо выше по замыслу и по исполнению, чем романы на подобную тему немецкой писательницы Рейтер «Aus guter Familie»[1] и итальянской беллетристки Нееры «Teresa», с которыми галицкая критика сравнивала «Царівну». Сравнивая эти три произведения, мы видим, что героиня-русинка вышла с бо́льшим успехом из борьбы, которая превратила немку и итальянку в несчастных истеричных старых дев. Это объясняется тем, что русинка постаралась победить в самой себе те враждебные начала, с которыми приходилось ей бороться в окружающей среде, тогда как итальянка и немка не имели на это ни мужества, ни сил, ни даже ясного сознания необходимости такой самопобеды.

В то время, когда создавался роман «Царівна», г-жа Кобылянская была очень увлечена идеей женского движения, находясь под сильным влиянием феминистки г-жи Кобринской, между прочим выступила в 1894 году в «Товаристві руських жінок в Чернівцях» с рефератом по женскому вопросу («Дещо про ідею жіночого руху»). Впоследствии она значительно охладела к феминизму, — быть может потому, что он стал для нее «пережитым моментом», а самая идея женской равноправности представилась не требующей теоретических доказательств.

[1] «Из хорошей семьи» *(нем.)*.

После «Людини» и «Царівни» г-жа Кобылянская написала много мелких рассказов, из которых большинство принадлежит к лирическим стихотворениям в прозе. Этот род литературы, не встретивший особенного сочувствия у галицкой критики, проникнутой в большинстве принципами натурализма, тем не менее наиболее удается писательнице, так как ее натуре очень свойственны лиризм и музыкальные настроения. Самые реальные картины она постоянно сопровождает лирическими отступлениями, которые напоминают симфонии, где впечатления пейзажа и движения души сливаются в одну нераздельную гармонию. В сборнике рассказов г-жи Кобылянской, вышедшем в прошлом (1899) году во Львове, большая часть принадлежит к этому «симфоническому» жанру. Один из таких рассказов, под заглавием «Битва», рисует картину погибели громадного девственного леса в Кимполунгских горах, павшего под топорами промышленных культуртрегеров, нещадно грабящих «зелену Буковину» своим хищническим хозяйством. Из простого факта уничтожения заповедного леса известной торговой фирмой писательница сумела создать истинно трагическую и высокохудожественную картину.

Вообще лес и горы — это родная стихия г-жи Кобылянской, где она дает полный размах крыльям своей фантазии и увлекает за собой читателя. За эти размахи писательнице иногда жестоко достается даже от доброжелателей, которые ставят ей в вину, что она, подобно немецким модернистам, слишком залетает в заоблачную высь, гораздо выше, чем достигают вершины буковинских гор, и потому не видит и не хочет видеть, что делается в долинах, где страдает буковинский народ. Для этих упреков есть известное основание. Действительно, Кобылянская, пережившая сильное влияние философии Ницше, обнаруживает часто стремление к идеалу «сверхчеловека», что приводит ее иногда к расплывчатым и отвлеченным мечтам, но зато парадоксальный дух Ницше развил у молодой буковинской писательницы гораздо большую смелость мысли и воображения, чем мы привыкли видеть у большинства писателей-русинов. Протест личности против среды и

неизбежно сопровождающие его порывы ins Blau[1] составляют необходимый момент в истории литературы каждого народа; этот момент, повидимому, только теперь наступил для малорусской литературы, по крайней мере для той, которая развивается в австрийской обстановке. Подобное литературно-общественное настроение вызывало в свое время необычайный подъем художественного творчества у других народов, можно думать, — так как на это есть указания, — что такое настроение не пройдет бесплодно и для малорусской литературы.

Лучший из рассказов г-жи Кобылянской, навеянных этим настроением, это «Valse mélancholique» [2], где с большою пластичностью изображены три женских типа: скромной, трудолюбивой и непритязательной девушки с инстинктами семейственности и симпатичным, но не широким кругозором, затем лирически-восторженной и безнадежно тоскующей музыкантши с порывами к «сверхчеловеческому», и эмансипированной художницы, служащей только искусству, берущей от жизни все, что она может дать, и спокойно презирающей осуждающих ее филистеров.

Упрекающие г-жу Кобылянскую за порывы в заоблачную высь могут утешиться, так как эта писательница не всегда чуждается «долин»; доказательством служит прекрасная повесть под названием «Некультурна», где под чисто симфонический аккомпанемент рассказывается очень реальная, способная скандализировать благовоспитанных австрийских читателей история крестьянки-гуцулки, эмансипированной не по теории, а по инстинкту. Сильная, способная ко всем мужским работам, красавица, с врожденным чувством изящного, эта «некультурна» отстаивает свою личность от грубого ухаживателя, который в сущности ей нравится, но возмущает ее самоуверенной навязчивостью. Наперекор ему и точно под влиянием какого-то гипноза она выходит замуж за первого попавшегося человека,

[1] В голубую даль *(нем.)*.
[2] «Меланхолический вальс» *(франц.)*.

но сразу занимает самостоятельное положение относительно мужа. По смерти мужа она переживает первую серьезную любовь к человеку, который оказывается негодяем с разбойничьими замашками, живет на ее счет в ее доме, а вместе с тем изменяет ей для ее родной сестры. Но «некультурна», с трудом спасшись из ловушки, в которую вовлекают ее изменники, выгоняет от себя своего милого и живет дальше одна, не порабощаясь больше ни одному из своих ухаживателей. Несчастья не ломают, а закаляют ее: несмотря на пережитые драмы, она твердо верит в свое «счастье», — в этой уверенности утвердило ее предсказание одного старого «ворожбита», а еще более собственное сознание своей несокрушимой физической и нравственной силы, воспитанной в борьбе с дикой горной природой. В этой повести, причудливо сотканной из поэзии и прозы, собственно, две героини: гуцулка и карпатская природа.

Эскиз «Банк рустикальный» дает нам выхваченную прямо из жизни картину горя крестьянина, подавленного непонятной для него математикой крестьянского банка и понимающего только одно, что он из хозяина превращается в нищего. Эта картинка написана совсем иной манерой, чем все другие рассказы г-жи Кобылянской. Впрочем, она редко берет сюжеты из крестьянской жизни; ей более знакома жизнь интеллигенции, и потому сюжеты из этой жизни, легче поддаваясь описанию, дают более простора изящному таланту писательницы.

Василь Стефаник с бо́льшим основанием, чем О. Кобылянская, может быть назван продолжателем Федьковича: он так же близок к крестьянской среде, так же любит ее, так же усвоил язык ее и проникся ее чувством. Он сын крестьянина, родом из галицкого Покутья, из села Русова, которое отделяется от Буковины только рекою Прутом и относится этнографически не к Галичине, а к Буковине. Сам г. Стефаник причисляет себя к буковинцам. Из биографии г. Стефаника известно только, что он студент медицины, что начал свою литературную деятельность на Буковине (первый его сборник издан в Черновцах) и что с первых же шагов был восторженно принят буковинской и галицкой

критикой и публикой. Ему не пришлось ощупью искать дороги, подобно Федьковичу, или бороться за свое литературное существование, подобно г-же Кобылянской. Яркость ли таланта, или доступность тем создали сразу популярность молодому писателю — трудно решить; вернее всего, и то и другое. Как бы то ни было, но не прошло и трех лет со времени первого появления г-на Стефаника в литературе, как он уже стал известностью на своей родине. Литературные друзья г. Стефаника опасаются, как бы такой быстрый успех не повредил выработке таланта молодого беллетриста; но, говорят, сам г. Стефаник не придает большого значения похвалам друзей и критики. Надо надеяться, что пример Федьковича не прошел даром для его продолжателей, что они не остановятся на полпути подобно ему, а сумеют с образностью, колоритностью формы и с теплотой чувства соединить глубину и широту мысли, недостаток которых отозвался роковым образом на деятельности Федьковича.

Г-н Стефаник, при некотором сходстве внешних приемов с Федьковичем, сильно отличается от него настроением и восприимчивостью. Если у Федьковича выступала главным образом этнографическая, казовая сторона народной жизни, романтические сюжеты, то у г. Стефаника, наоборот, мы видим изнанку этой жизни. Собственно, эти два писателя выбирают свои сюжеты из разных слоев крестьянства. Федькович изображал зажиточное крестьянство, страдающее только от рекрутского набора да от случайных катастроф, не считая, конечно, общечеловеческих, всегда и всюду существующих страданий. Г-н Стефаник изображает крестьян, стоящих на пороге к полной пролетаризации или уже переступивших этот порог; впрочем, переходное, самое болезненное состояние почти исключительно занимает молодого писателя. В маленьких набросках, которые своим черным колоритом, отчетливостью и вместе небрежностью письма похожи на рисунки пером, г. Стефаник дает нам целую коллекцию силуэтов, несколько напоминающих силуэты итальянских пролетариев в описательных стихотворениях Ады Негри. Но г. Стефаник не любит лирических аккордов и поэти-

ческих украшений, — в этом отношении он противоположность г-жи Кобылянской, — он, подобно Брет-Гарту, совсем прячет свою авторскую личность. Он обладает трудным секретом передавать настроение в разговорах и в обстановке, а при этом, рисуя свои персонажи в самом неприглядном виде, возбуждать симпатии к ним у читателя, совершенно не вдаваясь в характеристику от автора.

В таких коротких набросках г. Стефаник собрал нам целую коллекцию рисунков с натуры: новобранец, солдат-самоубийца, умирающая баба-одиночка, — и много таких скорбных образов проходит перед нами. В одном более длинном рассказе «Камінний хрест» г. Стефаник показывает нам поражающую и хватающую за душу картину переселения в Канаду разорившейся крестьянской семьи; взят момент прощанья переселенцев с родным селом и горе главы переселяющейся семьи, которому невыносимо жаль и родной избы и села, а больше всего песчаного холма, на котором поставлен каменный крест на память о долголетнем, упорном труде, превратившем песок в пахотную землю.

Рассказы г. Стефаника при всей их реальности — не фотографии, а именно рисунки, как бы эскизы для будущей картины. Читая их, приходит в голову, что если бы связать их общей фабулой, то получился бы роман толпы. У всех героев г. Стефаника одинаковая психология, изменяются только условия, действующие на нее. Главные черты этой психологии — пассивность, перемежающаяся стихийным движением по инерции. Ни одно из действующих лиц в рассказах г. Стефаника не возвышается над уровнем остальных, а все вместе они составляют одну коллективную личность. Этим я не хочу сказать, что типы г. Стефаника — шаблоны, лишенные индивидуальности; нет, они так похожи между собой, как живые листья с одного дерева, а не как искусственные, выбитые по шаблону в одном размере. Все наброски Стефаника проникнуты тем животворящим духом участия автора к своим персонажам, который придает непреодолимое обаяние художественным произведениям и которого не может скрыть даже самая объективная форма (чтобы доказать это, достаточно

напомнить «Ткачей» Гауптмана); герои г. Стефаника пассивны или инертны, но они полны такого живого, захватывающего страдания, перед которым невозможно оставаться спокойным.

Г-н Стефаник — не народник; его «народ» не является носителем каких-то «устоев» и добродетелей, неизвестных «гнилой интеллигенции», но именно отсутствие этих устоев и добродетелей, раскрытое умелой и любящей рукой, производит на мыслящих и чувствующих читателей более сильное, более глубокое и — более плодотворное впечатление, чем все, проникнутое, конечно, наилучшими намерениями, панегирики идеализированному народу в народнической литературе.

Г-на Стефаника упрекают, и не без основания, в односторонности и даже однотонности его рисунков. Действительно, у него преобладают мрачные краски, а при этом в сюжетах его нет ничего необычайного, романтического. Он рисует обыкновенную жизнь серого люда, но не только внешнюю обстановку этой жизни, а самое содержание этой жизни. Двумя-тремя быстрыми штрихами он необычайно ярко изображает нам целые драмы, и благодаря именно тому, что все его наброски имеют общий тон, они, давая нам одну общую картину жизни сельского люда, показывают коллективную душу его.

Яркий, оригинальный талант г. Стефаника привлек внимание не только соотечественников автора; переводы его рассказов начинают появляться в польских и немецких изданиях. В конце прошлого года в берлинской «Gesellschaft» был помещен перевод одного рассказа г. Стефаника («Письмо арестанта») с восторженным примечанием от редакции. Между тем немцы не очень щедры на похвалы писателям новых литератур, и только выдающиеся представители таких литератур имеют шансы на успех у немецкой критики. Как мы видим, все три главные писателя маленькой Буковины завоевали себе симпатии богатой талантами, а потому требовательной немецкой печати. Уже один этот факт доказывает, что молодая литература маленькой малорусской ветви прёдставляет вовсе не малую художественную ценность. Кроме художественного, эта лите-

ратура имеет и общественное значение. Три главные буковинские писателя, взаимно дополняя друг друга, дают интересную картину жизни всех слоев населения своего края. Невольно является мысль: если малочисленное население захолустной провинции, поставленной в невыгодные условия для развития литературы, могло дать за короткое время своего национального пробуждения три сильных таланта и обратить на себя внимание даже совершенно посторонней критики, то какими творческими силами должен обладать народ, к которому принадлежит это маленькое племя, и как развернулись бы эти силы при лучших условиях. Нам кажется, что, как бы кто ни относился к этнографическим и историческим теориям, касающимся малорусской национальности, но если ему интересно видеть жизнь всей малорусской нации в широком изображении и всестороннем освещении, то он должен пожелать этому народу или племени, языку или «наречию» богатой и правильно развивающейся литературы.

[*Киев, 1899 г.*]

## ЗАМЕТКИ О НОВЕЙШЕЙ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Под словами «польская литература» подразумевается обыкновенно польская беллетристика, и это не без основания: до сих пор в польской литературе беллетристика играет главную, руководящую роль. В силу особых условий жизни польские писатели издавна должны были себе усвоить или «язык богов», или эзоповский, если хотели, чтобы «имеющие уши» их слышали, поэтому поэтический памфлет и художественная полемика нигде не достигли такого совершенства, как именно в польской литературе.

Замечательный пример соединения самой высокой поэзии и самой страстной публицистики мы видим во всей литературной деятельности Мицкевича и его современников. Необычайное развитие и серьезное значение польской изящной литературы настолько поражает воображение польской критики, что ей очень трудно бывает отрешиться от дифирамбического, преувеличенного тона, особенно по отношению к романтическому периоду родной поэзии. Даже у такого серьезного и добросовестного критика-ученого, как г-н Хмелевский, оценка нередко превращается в славословие, которое у критиков-дилетантов положительно не имеет пределов. Так, например, в одном критическом очерке[1] проводится мысль, что история человеческого духа

[1] *Wanda,* «Idealy romantycznej poezyi polskiej», Poznan, 1899. *(Прим. Леси Украинки.)*

знает только два чуда: древнегреческую классическую литературу и польскую романтическую поэзию. Греческая литература является чудом, так как она вполне самобытна, независима от каких бы то ни было посторонних влияний; польская романтическая поэзия, хотя далеко не так самобытна, но может быть названа чудом, потому что ее расцвет не только не соответствовал окружавшим ее условиям жизни, но прямо противоречил им: эта поэзия расцвела вдруг, на развалинах классицизма, среди литературного застоя и всеобщей спячки. Едва ли надо еще опровергать суждение о безусловной независимости греческой литературы от посторонних влияний; что же касается второго «чуда», — появления польской романтики на руинах классицизма, — то тут именно вспоминается пословица немецких ученых: «В том-то и чудо, что на свете нет чуда». Везде в Европе романтизм вырос на руинах классицизма, везде он являлся протестом личности против инертной или угнетающей среды, везде, наконец, он носил ясно выраженный национальный характер при всех своих аспирациях к экзотизму и космополитизму. Польская романтика не составляла исключения.

Катастрофа 1861 года, поколебав идеалы, возвеличенные романтикой, нанесла ей страшный удар. С трудом оправившись от тяжелых болезненных разочарований, польское общество заговорило о том, что пора освободиться от неограниченной власти поэзии, так как она не может служить надежным маяком, а скорее похожа на блуждающий огонь, сбивающий с пути и ведущий к гибели; что спасение не в мечтах, как бы ни были они возвышенны, а в «органическом труде» на пользу родной страны. Литература подхватила этот новый лозунг — «органический труд» (praca organiczna), и вот вместо неограниченной власти поэзии наступило неограниченное царство прозы: публицистика заняла более независимое положение, повесть и роман, до тех пор почти неизвестные в польской литературе, стали быстро развиваться. Вслед за Крашевским, работавшим и до шестидесятых годов, но в одиночестве почти абсолютном, стали появляться на поле польской изящной прозы все новые и новые силы. Места романтиче-

ских героев, поэта, пророка, рыцаря, политического заговорщика заняли новые герои, пионеры органического труда — инженер, механик, агроном, ученый, наконец благодетельствующий миллионер и обожаемый крестьянами крупный землевладелец. Беллетристика стала также часто вторгаться в область науки, как прежде поэзия вторгалась в область публицистики. Писатели полемизировали многотомными романами и пятиактными драмами за или против Дарвина, О. Конта, Спенсера; «позитивизмом», «реализмом» или гордились, или бранились все писатели и их герои. Такое брожение умов и увлечение научными проблемами охватило тогда всю западную и восточную Европу, но в Польше благодаря особым условиям оно выразилось совершенно оригинально: в то время как во всей Европе новое умственное движение вызвало движение политическое, наклонность к новаторству, более или менее решительному, в Польше именно позитивисты и реалисты являлись противниками всяких «теорий катастроф» в политике; эти теории были гораздо более по сердцу ультрамонтанам и патриотам старого закала, знать не хотевшим Дарвина, Конта и Спенсера и упрекавших «молодых» в подрывании патриотических традиций, в отречении от национальных идеалов. Борьба «отцов и детей» в польском обществе и литературе проявлялась именно в том, что отцы бранили детей за умеренность и аккуратность, а дети упрекали отцов в легкомыслии и расточительности своих собственных и народных сил. Только в среде австрийских поляков споры отцов и детей носили характер более сходный с такими же спорами во всей остальной Европе, так как в Австрии не 1861, а 1848 год был решительным политическим моментом: впечатление катастрофы успело уже сгладиться, создались условия, благоприятствующие спокойному настроению среди «отцов», увидевших возможность согласить племенной патриотизм с патриотизмом государственным, всеавстрийским, тогда как «дети» начали уже усматривать новые перспективы и создавать новые идеалы.

Сообразно условиям жизни разных частей польского общества, взглядам и аспирациям разных его групп

видоизменился и расчленился новый идеал «органического труда», — вначале под этим термином подразумевались все виды практической деятельности, заключенной в пределах родного края, но вскоре некоторые из героев органического труда, показавшие себя уже не в литературной фикции, а в конкретных условиях жизни, заставили усомниться многих пропагандистов нового лозунга в безусловной идеальности всех «органических тружеников» без исключения. Начались оговорки, запутывавшие дело до такой степени, что невозможно было подчас разобрать, кто же собственно считает себя реалистом, а кто идеалистом и в каком смысле надо понимать эти термины.

Мало-помалу из этого хаоса выделилось одно более определенное направление, народническое, первые проблески которого можно проследить еще в романтической польской поэзии, в ее пристрастии к этнографии, особенно же в том ее направлении, которое известно под именем украинской школы.

Украинская народная словесность и трагическая история заняли воображение молодых поэтов-романтиков, к тому же демократическое настроение должно было увлекать сердца молодых «хлопоманов» из «панской» Польши в «хлопскую» Украину, что, впрочем, не мешало молодым польским «украинцам» считать себя, так же как и всю Украину, неотделимыми от «общего отечества» — Польши. Украинская школа была довольно осторожна в выборе сюжетов: она разрабатывала балладные, фантастические мотивы народной украинской поэзии, как раньше Мицкевич и его подражатели разрабатывали народные польские темы; если же иногда приходилось касаться исторических воспоминаний, то молодые поляки-украинцы или уходили во тьму времен общеславянских, или ограничивались временем первых татарских набегов, раннего периода казачества или редкими моментами польско-украинской солидарности и таким образом избегали всяких «раздражающих моментов». Правда, от этого произведения украинской школы, напоминающие отчасти юношеские баллады Шевченко, отчасти ранние повести Гоголя, выходили довольно искусственными и слиш-

ком идиллическими, но это был единственный способ угодить «и родине и отечеству». Такое литературное направление, которое подчас даже польская критика называла «танцем между яйцами», не могло иметь будущности; и действительно, «украинская школа» так же скоро отцвела, как и расцвела. Последние отголоски ее прозвучали в поэмах умершего лет пятнадцать назад киевского поэта Владимира Высоцкого.

Чисто народническое направление обнаружили не столько поэты, сколько прозаики, продолжавшие традицию украинской школы. Если в исторических романах, появившихся в пятидесятые годы, все еще преобладает романтическое увлечение легендой и авантюрой, то уже в романах Ежа и в драме Корженевского «Гуцулы» («Karpaccy górale») видна сознательно проведенная демократическая тенденция и переход от шаблонов к пробам если не решения, то постановки серьезных вопросов, касающихся сословных отношений. Еж в своих повестях из жизни беглых крепостных украинцев в Добрудже горячо защищает, иллюстрируя трогательными примерами, то положение, что «неотесаний хлоп» обладает таким же умом и сердцем, как и все другие люди, а кроме того, еще отличается простой, *неиспорченной* натурой и способностью к безграничному всепрощению; если же этот кроткий «хлоп» иногда превращается в беглого или, как в драме Корженевского, в разбойника, то это значит, что он поставлен в совершенно невыносимые условия, которые требуют безотлагательной реформы или по крайней мере некоторых наиболее необходимых улучшений.

С первого взгляда кажется странным, что начало польского народничества так тесно связано с влиянием украинской школы на романистов и драматургов переходного между романтизмом и реализмом периода. Выходит, как будто польские писатели раньше заметили существование украинского «хлопа», чем своего, польского. Да, это действительно так и было, потому что украинский «хлоп» настойчиво напоминал о своем существовании в течение многих веков, украинский вопрос стоял грозным призраком перед польскими

деятелями всех направлений, даже трудно было заговорить об украинской этнографии или истории, чтобы не наткнуться на подводные камни. Поэтому, наконец, и писатели, вовсе не принадлежащие к украинской школе, как, например, Захарьясевич, и совсем не украинофильские органы, как, например, «Kurjer Lwówski», нашли необходимым заговорить об урегулировании украинско-польского вопроса, ставя на вид, что «хорошо направленные русины» (выражение «Kurjer'a Lwówsk'ого») могли бы послужить своими силами, «теперь расточаемыми напрасно», делу прогресса на «общей родине русинов и поляков». Практические пробы этого общего служения делу прогресса, впрочем, до сих пор не отличались особенным успехом, разбиваясь главным образом о несогласия в понимании терминов «общее дело» и «хорошо направленные силы»; достаточно было малейшей невыдержки, ошибки такта с той или другой стороны, чтобы с большой торжественностью заключенный мир переходил в ожесточенную войну.

Прозаики, находившиеся под влиянием поэзии «украинской школы», скоро освободились от этого влияния, — слишком уже трудна была задача согласить патриотизм двух национальностей, примирить разные исторические традиции, отделить классовые стремления от национальных. Особенно это трудно было для писателя слишком серьезного, чтобы обходить все это при помощи утопии или идиллии, но недостаточно отважного, чтобы «смотреть волку прямо в глаза». Кстати, польский «хлоп», мазур, наконец, напомнил о своем существовании, по крайней мере в Австрии в 1848 году; потом события 1861 года, освобождение крестьян, германизация Познани, значительно обусловленная слишком низким культурным уровнем польского крестьянина в сравнении с немецким, — все это заставило польских писателей-народников заняться исключительно изучением и изображением своего родного «народа» (раньше это если и бывало, то только спорадически, как бы случайно). К тому же русский идеализм вначале, а потом французский натурализм помогли польским писателям привыкнуть различать людей не только в

исторических, театрально-этнографических и салонных костюмах. Впрочем, и в польской литературе был великий образец для молодых реалистов, а именно «Пан Тадеуш» Мицкевича; оставалось только реалистический способ описания, примененный гениальным поэтом к мелкодворянской среде, употребить при изображении крестьянской среды.

Народническое направление имело огромное значение для польской литературы: оно сразу открыло новые горизонты, обновило и форму и содержание польского романа и повести, вызвало к жизни новеллу. Оно, наконец, дало определенные контуры идее «органического труда». Органический труд, основанный на принципе служения народу, уплаты вековых долгов всеми забытому польскому крестьянину, удовлетворял одинаково «реалистов» и «идеалистов» и выделял «карьеристов» и «отсталых» (zacofańcy) в особый лагерь, который мог бы себе выбирать какое угодно имя.

Время расцвета народничества совпадает с началом деятельности таких талантов, как Болеслав Прус, Элиза Ожешко, Генрих Сенкевич, Клеменс Юноша; все они достаточно известны русской читающей публике, и поэтому вдаваться в подробную характеристику их произведений было бы излишне. Кто внимательно следил за литературным развитием этих писателей, тот мог заметить, как народническая тенденция малопомалу ослабевала у них.

Э. Ожешко, никогда, впрочем, не бывшая ярой народницей, в продолжение своей долгой и плодовитой литературной деятельности постоянно меняла поле своих наблюдений (в этом, между прочим, ее большая заслуга и интерес), смотря по тому, какая среда привлекала в данный момент ее внимание или какие идеи носились в воздухе. Таким образом, в ее произведениях отразились: женский вопрос, еврейский вопрос, идея органического труда (это главным образом), идея культурного поднятия крестьянства и уплаты дворянских долгов, то есть народническая идея, потом тревога перед надвигающейся массой пролетариата и т. д. Народничество было только одним из моментов, и Э. Ожешко могла перестать интересоваться этим моментом, ничуть

не изменяя своему гуманизму, которым проникнуты все ее произведения.

Болеслав Прус, будучи юмористом с наклонностью к карикатуре, скоро увлекся больше формой, чем содержанием, и его сочинения замечательны скорее неподражаемо схваченным народным говором, чисто национальным юмором, чем глубиной идей. Последние его произведения уже не имеют никакого отношения к народничеству, как, например, его последний большой роман «Эмансипантки» (вышедший недавно в русском переводе), где он является противником эмансипации женщин.

Клеменс Юноша, натолкнувшись при изображении жизни всякой бедноты на еврейский вопрос, увлекся им и посвятил почти всю свою деятельность анализу и освещению еврейской среды. Так как эта среда не относится непосредственно к земледельческому сословию, хотя и связана с ним тысячью нитей, то К. Юноша, избирая ее главным объектом своего наблюдения, уклонился таким образом от прямого народнического пути и приблизился к демократам последующего направления.

Генрих Сенкевич взял сначала народнический тон гораздо более решительно, чем все его товарищи по направлению. Наверное, его «Эскизы углем» еще не изгладились из памяти русских читателей, но я позволю себе привести одну тираду, которой он заключил свой набросок «Репиха» («Rzepowa»), где изображена горькая судьба униженной и оскорбленной крестьянки: «Ах, если бы это панна Ядвига очутилась в подобном положении, то-то бы я написал сенсационный роман, которым постарался бы убедить самых ярых позитивистов в том, что еще существуют идеальные создания на свете. Но в панне Ядвиге каждое впечатление дошло бы до самосознания; отчаянные мечтания души выразились бы в не менее отчаянных, а вместе с тем и в очень драматических мыслях и словах. Этот заколдованный круг, глубокое и крайне болезненное чувство беспомощности, бессилия и насилия, эта роль листа среди бури, глухое сознание, что нет ниоткуда спасенья: ни от земли, ни от неба, — все это вдохновило

бы, конечно, панну Ядвигу на не менее вдохновенный монолог, который мне довольно было бы только записать, чтобы составить себе репутацию. А Репиха? Этот простой народ, когда страдает, то только страдает, и больше ничего».

Эту тираду, звучащую глубокой иронией, можно бы поставить в эпиграфе к теперешнему новому юбилейному собранию сочинений Г. Сенкевича, — этот эпиграф подошел бы так или иначе ко всем произведениям талантливого писателя. После «Эскизов углем» — и довольно скоро — Г. Сенкевич оставил Репих, Янков, Бартков, которые «только страдают, и больше ничего», и обратился к изображениям исторической национальной славы, в которой участие Янков и Бартков было невелико, к созданию эпопеи начала христианства вполне согласно учению римско-католической церкви и, наконец, к описанию «отчаянных метаний души» если не панны Ядвиги, то других людей ее сословия, и составил себе во всех этих направлениях вполне заслуженную и громкую репутацию.

Такое отступление от первоначального направления корифеев народнической литературы хотя и не сопровождалось упадком их таланта и значения, но во всяком случае ускорило упадок самого направления, которое едва успело пустить корни в польском обществе и в чистом своем виде существовало очень недолго. Сбивчивость понятий «народ», «народность», «нация», «национальность», «национализм», «патриотизм» постоянно сводила польских народников с определенного прямого пути и в теории и на практике.

Национальный вопрос всегда занимал первое место в польской литературе, и если в последнее время раздаются, с одной стороны, сожаления в критике и публицистике об охватившем будто бы поляков увлечении космополитизмом, а с другой стороны, выражения радости, что это увлечение уже проходит, то собственно трудно понять, где и в чем выразился этот космополитизм. Приверженцы «органического труда» всех толков им не грешили, народники тем менее. «Народ» интересовал народников не только, как «меньший брат», как «неиспорченная натура» и т. д., но и как оплот

национальности. Главной задачей «органического труда» было не только экономическое благосостояние и повышение культуры народа, но и защита территории от экономического вторжения иноплеменных элементов. Крестьянство должно держаться за свои наделы, чтобы их не отняли немцы, — вот тенденция наиболее замечательного романа Б. Пруса «Форпост» («Placówka»), в котором изображается познанский крестьянин Слимак, выбивающийся из сил, чтобы только не отдать своего надела немцам. В поэмах Марии Конопницкой крестьяне говорят (это, конечно, идеал поэтессы-народницы): «Кто продаст надел свой, тот не нашей веры».

Этот принцип — «не выпускать земли из рук» — заставляет идти на компромиссы. На Слимаков, при их бедности и некультурности, надежда в борьбе против более культурных соседей плоха, а наверстать вдруг вековую отсталость невозможно, — на это нужен долгий срок, а время не терпит, — приходится обратиться к другим сословиям за помощью. Пусть мелкая шляхта сохраняет землю сообща с более крупной, забывая спесивые споры о разнице в «благородстве происхождения» («Над Неманом» Э. Ожешко), кстати ведь «шляхтич на загроде равен воеводе», как говорит историческая пословица. Пусть дворянство земледельческое заботится прежде всего об уплате долгов своим кредиторам, чтобы они не продали с публичных торгов «родной земли» («Дикарка» Э. Ожешко, «Семья Поланецких» Г. Сенкевича, «Паненка» г-жи Еленской, — роман, премированный на литературном конкурсе; «Девайтыс» г-жи Родзевич, тоже премированный, и масса беллетристики на эту тему). Как совместить интересы кредиторов, помещиков и крестьян, об этом народническая литература или умалчивала, или давала очень уклончивые ответы (вначале было предлагала кооперацию, потом как-то забыла о ней), или отмахивалась от назойливого вопроса, откладывала его «на завтра», а «сегодня» рекомендовала помещикам труд, конечно не физический, но и не умственный, а труд управляющего большим имением, крестьянам — тоже труд, конечно физический, а кредиторам по возможности терпение, особенно если эти кредиторы — евреи. Но если кре-

диторы принадлежат к той же народности, что и должники, что тогда? Ведь «органический труд» ставит и другую задачу, с точки зрения национальной не менее серьезную: не допускать вторжения иноплеменных капиталистов. «Не выпускать денег из рук» — принцип сам по себе ничем не хуже принципа собирания и сохранения земли, но он не так пришелся по сердцу народникам, которым недвижимая собственность както больше импонировала. Капиталист в изображении бывших и настоящих народников является в общем типом отрицательным. Впрочем, в последнее время и этот тип находит себе апологетов. Известный писатель г-н Север, обнаруживающий большую идиллическую симпатию к «народу», печатает в журнале «Athenеum» большой роман под заглавием «Выше сил» («Ponad siły»), где идеализирует польских капиталистов и предпринимателей-нефтепромышленников в качестве культуртрегеров Восточной (русинской) Галиции. Эти нефтепромышленники являются с целыми артелями рабочих (мазуров, бывших крестьян) эксплуатировать бориславскую нефть и благодетельствовать местное население, русинов, давая заработок при поставке необходимой утвари и подвод. Русины относятся с недоверием к новым благодетелям, чем прекрасно пользуются более привычные «культуртрегеры»-евреи, раздувая вражду русинов не только к предпринимателям, но и к рабочим мазурам. Делу культуры и собирания капиталов еще мешает недостаток солидарности и понимания своих же собственных интересов некоторыми капиталистами, никак не умеющими «и честь спасти, и капитал приобрести». Интересна в этом романе, между прочим, антитеза русинов и мазуров, несколько напоминающая обычную антитезу «злых и добрых» детей в нравоучительных книжках. Русины «злые»: они недоверчивы, не любят панов вообще, пьют водку, ленивы, лишены инициативы, угрюмы, неповоротливы, ревнивы, не умеют даже нравиться женщинам; мазуры, наоборот, «добрые»: характер открытый, преданы своим панам телом и душой, пьют только пиво, трудолюбивы, предприимчивы, веселы, беззаботны, бравы и нравятся всем русинкам безусловно. Характеристика мазуров у

Б. Пруса, Сенкевича, Конопницкой и др. была несколько иная: там они приближались к типу русинов г-на Севера, но, может быть, времена изменились, а может быть, тут виновата литературная антитеза, эта «коварная сирена», по выражению французских учителей словесности.

В романе этом, как во многих других, где идеализируются новые герои «органического труда», капиталисты-промышленники, мы видим новую пробу практического решения трудного вопроса: как можно «не выпускать денег из рук» и вместе с тем по-христиански отпускать долги своим соотечественникам? Ответ простой: покрывать дефицит на счет какой-то другой земли, лучше всего какой-нибудь «провинции», например восточной Галиции; кстати, это будет даже благодеянием для этих некультурных русинов, которые, правда, страшно неблагодарны по своей натуре, но все же создания божии. Решение довольно стройное с национальной точки зрения, но не вполне удовлетворительное с точки зрения демократизма или хотя бы общего гуманизма.

Так как роман «Свыше сил» очень типичен в смысле «последнего слова» проповеди «органического труда», то можно заключить, что это направление, пережив народнический период, возвратилось к прежнему хаосу, из которого начинает выделяться нечто новое и... бесконечно буржуазное.

То же случилось и с другими принципами, которые некогда были гордо выставлены на знамени молодой народнической школы: реализмом и позитивизмом. После громкого, отзывающегося молодым задором, провозглашения нового credo наступили моменты сомнения, мучительного анализа, началась работа мысли. Чем больше развенчивались и теряли обаяние западные учителя позитивизма и реализма у себя на родине, тем тревожнее становился дух их учеников в Польше. К общему для всей мыслящей Европы страху перед мрачной пустотой, грозящей воцариться на месте разрушенных верований и отвергнутых общественных привычек, присоединялся еще страх за свое национальное существование, лишающееся поддержки вековых

устоев в виде исторических и религиозных традиций. Человек «без догмата», Леон Плошовский, чувствовал себя несчастнее, чем «ученик» детерминизма Грелу, так как на родине Грелу «бездогматизм» довольно обыденное явление, а на родине Плошовского люди «без догмата» являются чужестранцами. И вот Плошовские бросаются очертя голову, заглушая в себе дух анализа, в море догматов, над которым еще так недавно высоко парил их всеотрицающий дух. А если их скептическая совесть упрекнет, что это не совсем искреннее «обращение», они могут ответить цитатой из Асныка, поэта поколения Плошовских, который так говорит о «людях печальных»:

Жизнь им не даст утешений небесных, —
Ангельских надо явлений чудесных
И провиденья защиты высокой,
Надо им вечной любви, хоть далекой.

Этот поэт прошел всю школу Плошовских: разочарования «теории катастроф» он вылил в мрачной поэме «Сон гробов»; затем, спасаясь от отчаянья, грозящего безумием, он настроил свою лиру на анакреонтический лад, пробовал отнестись с бравурой к тому, что еще так недавно наполняло его душу ужасом:

Лес винных лоз на кладбище!
Ты на них смотришь со страхом?
Я себе кровь полирую
Дедовским прахом!

«Органический труд» казался ему слишком прозаическим, к проповеди покаяния и уплаты долгов он относился с презрением:

Кается пусть в сокрушенье,
Кто собрался inacterno [1].
Я на его погребенье
Выпью фалерно!

Но гимн оргии кончался страшным диссонансом. Пришли на праздник какие-то бледные тени; поэт «знал их когда-то... недавно»; их кровавые слезы, их молчаливые рыдания отравили заморское вино ищущим

[1] В вечность *(лат.)*.

забвенья живым их собратьям, и вот анакреонтический мотив превращается в жуткую бравуру «танца смерти»:

В пьяном чаду проклянем мы
Счастье за то, что неверно.
Завтра взорву себе череп,
Выпив фалерно!

Но «завтра» оказалось не так трагично — нашлись другие утешения, как мы видели. Примирившись с догматами, поэт к концу жизни после утешительных мыслей о том, что

Прекрасного волшебство бесконечно, —

обратился со словами ободрения к падающему и изнемогающему сыну века:

Не говори, от жажды умирая,
Что в мире нет живой воды ключей:
Среди пустынь, ища в миражах рая,
Ты проглядел оазиса ручей.

Непримиримому и духом мятежному он давал совет, отзывающий совсем не поэтическим филистерством, но заправленный легкой иронией:

Являясь в общество, ты за пороги дома
Не приноси с собой пугающего грома,
Орлиных взоров, вдохновенных бредней, —
Оставь величие с калошами в передней.

И все эти заветы поэта поколения Плошовских не пропали даром: анакреонтизм и набожность умирающего, стремления к новым надеждам и филистерское довольство малым раздаются то с той, то с другой стороны на польском Парнасе; иногда одна и та же лира издает все эти аккорды попеременно.

В общем польская поэзия, пробуждающаяся только теперь после тридцатилетнего состояния полусна, настроена мрачно, и все пессимистические течения мировой поэзии находят в ней себе отголосок: демонизм Байрона, стремящийся к нирване, пантеизм Шелли, холодный космический пессимизм Леконт де Лиля и

Хозе-Мария-Эредиа, сатанизм Бодлера, сверхчеловеческая презрительность Ницше, тоска пресыщения и набожность отчаяния Верлена, нравственный нигилизм Рембо, вечно страдающий эстетизм д'Аннунцио, безумный лунатизм Сар Пеладана — все это отражается, как в зеркале, в созданиях краковской школы поэтов, сотворивших себе кумир из поэтической прозы неистово вдохновенного Станислава Пшибышевского. Но под всеми этими трагическими масками, созданными космополитической мировой скорбью, чувствуется другое лицо, с чисто польскими чертами, лицо безумца-импровизатора Густава, героя пламенных галлюцинаций Мицкевича, только еще более бледное, со взором, остановившимся от ужаса перед призраками или от гнетущего кошмара, сковывающего его члены и часто превращающего речь его в бессвязный бред.

Прозаики польские еще находят жизнерадостные или по крайней мере трезво-веселые ноты, утешаясь мыслями об «органическом труде», воспоминаниями о былом величии, надеждами на будущее или, наконец, просто юмористическим отношением ко всему, горизонт поэтов гораздо мрачнее: «органический труд» кажется им пошлой прозой,— да эту доктрину им действительно не за что благодарить, — воспоминания и надежды, едва зазвучав, прерываются диссонансом или ироническим вопросом, напоминающим знаменитую загадку: что лучше — ждать и не дождаться, или иметь и потерять?

Даже поэты-народники, среди которых самое видное место занимает Мария Конопницкая, от более или менее удачных проб поэтизации труда и повседневных страданий человеческих уходят очень часто в мечты о нирване, разражаются проклятиями земли и упреками небу или ищут успокоения в философском равнодушии ко всему.

Ян Каспрович, поэт, стоящий на рубеже между народничеством и другим демократическим направлением, бросил недавно в свет такое своего рода pronunciamento [1]:

---

[1] Воззвание *(лат.)*.

Я отдавал себя во снедь толпе позорно,
Я звал ее, как раб, царицею царей, —
Теперь моя любовь не ляжет так позорно
На ступенях ее безбожных алтарей.
Остатком сил теперь воздам я ей суд правый,
Слабеющей рукой я сокрушу кумир.
Пожрала сердце мне толпа, Молох кровавый,
И высосала мозг души[1], как злой вампир!

Затем его мысль идет зигзагами, как блуждающий огонь: он то взывает к чарам природы и духу Винкельрода, то провозглашает, что «истина в любви, и только в ней», то поэтизирует разбойничество как выражение общественного протеста, то называет себя «гадиной» и «волом покорным», то клянется, что душу не продаст «ради выгоды лакейской», что никогда не оставит забытой самим богом «земли печали» и не сойдет «с полных терния дорог», то, преисполняясь презрения ко всему на свете, заявляет:

Меня не тронет кровь и побежденных стон!
Где жизнь идет, там счастье неизвестно,
Пусть гибнет мир, — на то и создан он.

Поэт-идеалист Пшерва Тетмайер говорит от лица своих собратьев в стихотворении «Poeci idealisci»:

...Идея — бог наш будет век царить
На троне наших чувств и помышлений.
Лишь тот достоин быть ее жрецом,
Кто скажет, как Христос перед своим отцом:
«Я за тебя готов на смерть среди мучений».

Но в чем же эта «идея», если, по словам поэта, его поколению (значит, и поэтам-идеалистам) уже «нечего терять», — так оно изверилось во всем на свете? Что из того, что эти поэты «горды и дерзки, словно полубоги, грозящие рукой Олимпу самому», когда они сами убеждены, что теперь поэзия — «для людей забава»? Отчего же в таком случае так высокомерно «ногами попирать предшественников трупы», преграждающие потомкам дорогу — дорогу к чему?

[1] За выражение «мозг души» переводчик снимает с себя ответственность, — это подлинные слова поэта: szpik duszu. *(Прим. Леси Украинки.)*

Ведь сами идущие говорят:

Уже вечерняя ложится тень.
Где дверь, куда бы мы войти хотели?
Мы шли без остановки целый день.
Да не напрасно ли мы этот зной терпели?
Воистину, напрасно: нет нам цели!

Не лишено мрачного величия «Credo» этого «идеалиста» (Тетмайера), которое начинается так:

Завтра!.. Не верю, чтобы лучше было,
И незавидно мне, что в это верят — дети.
...Мы верим в голос, нас во тьме зовущий
К борьбе со злом, не ради возрожденья,
А просто ради зла, из ненависти к злу,
Да из врожденной жажды разрушенья.
Вот наша вера.

Поэт верит, что «пока жить людям, быть на свете злу», что «ненависть — вот мировой рычаг», что «бессмысленное, темное и бездушное человечество» было бы совершенным ничтожеством, если бы гении время от времени не отдавали ему свой дух и свою мысль (стихотворение «Geniusze»). После такого мрачного, высокомерного и смелого в своем отрицании credo как-то странно читать жалобы этих «идеалистов» на людей толпы:

Вы к нам взываете: «Мы выбились из сил,
Вы дайте веру нам и слово утешенья!»
А кто же нам самим хоть слово подарил,
Когда наш дух был слаб? Нам не было спасенья!

Гениям ли духа и мысли жаловаться на то, что их не умеет поддержать «бессмысленное, темное и бездушное» человечество? Гораздо последовательнее уже обращение к мистицизму:

Тоскую о чем-то мистическом, тайном, сокрытом,
О чем-то, во мраке безбрежном предвечно закрытом, —
Быть может, оно после ряда веков возвратимо,
Быть может, оно в этот миг незаметно идет себе мимо...

Очень возможно также, прибавим от себя, что это «что-то» усталые «поэты-идеалисты» найдут опять-таки в тех догматах, к которым так склонно обращаться второе поколение Плошовских.

Уже один из этих поэтов, Глинский, говорит:

Смерть от отчаяния? Нет, лучше жизнь в обмане.

Он же изображает в своем стихотворении «Ничто» («Nie») такое положение: поэт смотрит, как строят костел; этот вид сначала настраивает его на более чем скептический лад, но затем путем длинных и софистических рассуждений поэт уверяет себя, что «то, чего *нет*, умом постигнуть я сумел»; затем обращается к строящим с вопросом, на какие средства воздвигается костел. — «Дает, кто в бога верит», — отвечают ему. — «Дам и я», — решает поэт, очевидно уже не сомневаясь, что он имеет нравственное право участвовать в созидании храма, основанного на том догмате, который есть для поэта «ничто» или «ненужная необходимость».

Есть, впрочем, попытки создать новый догмат. Один из наиболее искренних и серьезных поэтов-идеалистов, Жулавский, исходит из еще более безрадостного пессимизма:

Нет в этой жизни ни добра, ни зла,
А только суета и пустота без меры.

Пробует утешиться обманом, но сразу как-то чувствуется, что он не верит в это средство:

Мы лгать должны и душу убеждать,
Что жалкий труд ее дает мирам блаженство.

В большой философской поэме «Над морем», где изображается спор позитивизма с идеализмом, среди проклятий позитивной науке («Будь проклят, кто в душе возбудит жажду, но утолить ее не в силах!»), среди пантеистических сомнений и надежд прорывается один возглас, — вызванный красотой моря при лунном свете, — полный светлой, неудержимой радости и какого-то непосредственного убеждения:

Прекрасен мир! — Жить стоит!

Это первый член нового credo модернистов, признающих религию красоты выше всех догматов. Быть может, это *credo* не вполне удовлетворяет всем запро-

сам человеческой души, но оно по крайней мере звучит искренно, интересно, во всяком случае насколько гармонически будут согласоваться между собою дальнейшие члены этого credo, но об этом теперь ничего нельзя сказать, так как слишком еще мало данных.

Быть может, хоть этот культ красоты спасет, наконец, польскую поэзию, как спас уже немецкую, от неотвязной галлюцинации смерти, вечного разрушения, гибели всех миров. Эта галлюцинация всецело овладела поэтами Ланге, Пшесмыцким (популяризатор Метерлинка, пишущий чаще под псевдонимом Miriam), Россовским, не говоря уже о Тетмайере, наконец даже Щепанским, вначале довольно веселым поэтом, основателем краковского журнала «Życia» («Жизнь»), вокруг которого группировались молодые поэты-модернисты. Журнал этот, недавно прекративший свое существование, дал возможность проявить себя многим теперь уже известным поэтам, в том числе Пшибышевскому, который вскоре затмил славу всех своих собратьев, сотрудников «Życia», и сделался для них образцом, вызывающим подражания.

Пшибышевский — поэт не в техническом смысле этого слова, так как он не пишет стихов и только изредка снисходит к ритмической прозе, но он поэт и притом поэт-импрессионист по своим приемам и по своему способу мышления. Благодаря тому, что он как поэт очень талантлив, владеет образами, умеет создавать из них новые (более или менее) комбинации, — только и можно понять его значительное влияние на направление новейшей польской поэзии. Пшибышевский в своем сборнике quasi-критических статей «На путях души» («Na drogach duszy»), который считается манифестом польской «модерны», сам заявляет, что в его теории нет ничего нового, а есть только синтез мыслей, к которым он пришел хотя и одновременно с другими, но вполне независимо, самобытно. С тем, что теория не нова, мы охотно соглашаемся, но против этой самобытности, на которой Пшибышевский так настаивает, можно было бы возразить очень многое, так как «совпадений» у него слишком уж много — даже в тер-

минологии — с его предшественниками из французской décadance и немецкой Moderne, только едва ли стоит предпринимать этот неблагодарный труд: если с успехом подражать можно только родственным по духу образцам, то тогда и подражание имеет независимое значение, так как оно определяет личность подражающего, а Пшибышевский подражает с большим успехом, пожалуй даже с слишком большим, — его сознательная нелогичность мысли и намеренная бессвязность образов, как того требует его заимствованная у декадентов, и отчасти у импрессионистов, теория, напоминают безумие Гамлета, о котором ни действующие лица в драме, ни читатели, ни критика не могут решительно сказать, было ли оно притворным или действительным.

Попробуем изложить взгляды Пшибышевского, насколько они поддаются изложению.

В основу положен принцип «искусство для искусства», искусство же само не есть ни «красота», ни «часть познания»; к нему неприложима ни одна из доныне созданных эстетических формул. «Искусство есть воссоздание того, что вечно, независимо от всяких изменений и случайностей, от времени и пространства, следовательно — оно есть воссоздание сущности, то есть души, где бы она ни проявлялась: во вселенной ли, в человечестве, или в отдельном индивидууме».

«Искусство поэтому есть воссоздание жизни души во *всех* ее проявлениях, независимо от того, хороши ли они, или дурны, прекрасны, или безобразны».

На этом последнем положении Пшибышевский настаивает много раз, повторяя, что принцип новой эстетики не красота и не этика, а *сила,* энергия самодовлеющая, ничему не подчиненная.

«Искусство не имеет никакой цели, — оно само в себе цель, оно абсолютно, так как оно отражение абсолютного — *души*».

«И так как оно абсолютно, то оно не может быть заключено ни в какие рамки, не может быть слугой никакой идеи, — оно власть, оно источник, из которого вышла вся жизнь».

Искусство, сколько-нибудь служащее общественности или морали, не есть искусство — это «biblia

pauperum»[1], заменяющая учебники недомыслящим и необразованным людям.

Особенно низко стоит «искусство демократическое, искусство для народа», так как оно служит плебейскому устремлению сделать доступным то, что по самой природе вещей малодоступно.

«Народу не искусство нужно, а хлеб; когда у народа будет хлеб, то он сам себе найдет дорогу».

Жрец этой новой религии искусства, артист, точно так же не имеет никаких обязанностей и целей, он сам себе довлеет, «ipse philosophus, daemon, Deus et omnia»[2], — он стоит выше жизни, всегда чист и свят, не знает ни прав, ни ограничений и ничего не признает, кроме силы, в чем бы она ни проявлялась (почему собственно он должен признавать силу? — это ведь несколько мешает *абсолютной свободе*).

Итак, искусство и артист *свободны абсолютно.*

Можно бы, пожалуй, заключить из этого, что новая теория признает, кроме принципа силы, еще и принцип свободы, но, увы, мы видим нечто прямо противоположное.

Что может изображать неограниченно свободный артист в своих творениях? Казалось бы, ответ ясен: все. Какими приемами может он пользоваться? Казалось бы, какими угодно: ведь он абсолютно свободен!

А между тем он не имеет права изображать толпу и обращаться к ней — это дело агитатора; не имеет права входить в художественное общение с каким-нибудь определенным человеческим обществом — это дело ученого; не имеет права обращать внимание ни на политику, ни на всякие «внешние перемены» в жизни народа, а может только основываться на «неизменном и вечном» расовом отличии одного народа от другого (должно быть, знать о том, что раса тоже не вечна и не неизменна, — тоже дело ученого); не имеет права создавать идеалов, должен только исследовать душу, быть натуралистом-метафизиком (это выражение не

---

[1] Книга убогих *(лат.)*.

[2] Сам себе философ, демон, бог и все *(лат.)*.

принадлежит Пшибышевскому, но да позволено будет употребить его здесь), изображать только «обнаженную душу» в ее обнаженнейших состояниях; не имеет права изображать *вещи,* а только чувства, из них только бессознательные, так как только в них проявляет себя «абсолют»; отыскивание таких чувств позволяется даже называть стремлением к идеалу; особенно строго воспрещается свободному артисту иметь что бы то ни было общее с «реализмом», к которому относится «все до сих пор существовавшее искусство» (за очень немногими гениальными исключениями), потому что этот реализм есть «бездорожье души».

Таким образом «абсолютно свободный артист» является чем-то вроде лишенного всех прав состояния. Судя по тем положительным примерам, на которые указывает Пшибышевский в своих критических очерках, бедному свободному артисту даже выбор тем предоставляется очень небольшой: любовь, смерть... и, кажется, это все. Вокруг этих двух тем позволяется группировать «чувства, мысли, впечатления, сны, видения», лишь бы только изображать все это *«непосредственно,* как оно проявляется в душе, без логической связи, со всеми внезапными прыжками и сцеплениями», бояться же упреков в «смешном идиотизме» нечего, так как, во-первых, свободному артисту вообще нельзя заботиться о славе или успехе — это позорное плебейство, а во-вторых, «под тем, что жалкому мещанскому мозгу представляется смешным идиотизмом, скрывается всегда глубина».

После изложения этих взглядов — vogue, la galère! [1] — Пшибышевский пускается в открытое море противоречий собственной теории, которые перечислять было бы слишком долго и в которых упрекать совсем нечего, так как, во-первых, метафизический натурализм в принципе признает всякую нелогичность, а во-вторых, в этих противоречиях все его спасение. Цепляясь за эти противоречия, как за спасательный круг, носится поэт-метафизик по морю своих критических импровизаций и лирических настроений. Благодаря этому кругу

[1] Плыви, галера! *(франц.)*

оказываются благополучно возвращенными в лоно церкви истинного искусства национальные гении Мицкевич, Словацкий, Шопен, которым прощены (по крайней мере не поставлены в строку) и «Пан Тадеуш», и «Семья зачумленных» и навеянные «внешними переменами» полонезы, и многие другие грехи реализма. Можно надеяться, что не все еще погибло даже для бедных, лишенных прав состояния, им все-таки позволены сны и видения, а ведь «нет ничего прекраснее грез о минувшем великолепии, покрытом вековой паутиной, об изъеденных ржавчиной королевских коронах, о земном блеске заплесневевших воспоминаний» [1], — возможно, что эти грезы приведут польских натуралистов-метафизиков к тому же, к чему привели приверженцев органического труда всех оттенков, идеалистов, реалистов, народников, а именно к воссозданию одной из частей вечности — народа, говоря стилем Пшибышевского. И тогда «свободный артист», протестовавший против всех традиций, подобно автору поэмы «Над морем», скажет: «Я вдруг все понял. Я все знаю. Я не был богом, я не был властелином, я никогда не покидал того берега, на котором стоит моя избушка...»

Против этого метафизического натурализма, или декадентизма, или модернизма, которого передовым бойцом является Пшибышевский, началась уже реакция. В театре «обнаженные души» выставляются в виде «Карикатур», — такое заглавие дал своей комедии молодой драматург Киселевский, культивирующий на польской сцене стиль французской натуралистической комедии, так называемой comédie rosse (от слова rosse — кляча). Киселевский — начинающий драматург, это всего вторая его пьеса; по первой — под заглавием «В сетях» — можно было думать, что он относится с симпатией к модернизму и его представителям, но в «Карикатурах» он выставляет их согласно названию этой комедии. Эти «обнаженные души» являются там людьми, у которых ni foi, ni loi [2], а к тому же им

---

[1] Цитата из большой лирической поэмы Пшибышевского «Nad morzem» («Над морем»). *(Прим. Леси Украинки.)*

[2] Ни веры, ни закона *(франц.)*.

совершенно недостает даже силы, которой требует их доктрина. Герой комедии портит жизнь двух девушек, швеи и барышни, и свою собственную, совершает вместе со своими товарищами всякие гадости, но все это так бессильно, безвольно, трусливо, что даже речи не может быть ни о какой силе. Силу — по крайней мере силу любви и «собачьей» привязанности — проявляет только бедная швейка, единственный симпатичный тип в комедии. Автор, повидимому, считает своих героев-модернистов карикатурами на их же собственную доктрину.

Точно так же относится к модернистам (толка «обнаженной души») и Немоевский в своем романе «Письма безумного человека» («Listy czlowieka szalonego»), написанном с явно полемической целью. Немоевский выступает и против теории, и против практики артистов новой школы. В романе представлены признающие девиз «искусство для искусства» со всеми его комментариями à la Пшибышевский. В громадном большинстве они, по мнению автора, лишены таланта, и даже немногие талантливые лишены силы и всякой инициативы и ждут себе спасения из Парижа или от пришествия какого-то мессии искусства, который должен вдохнуть жизнь в мертвую форму, — так мечтают более искренние, другие же вполне довольны своим «новым искусством», которое хорошо оплачивается всякими «графинями Жоглинскими» и подражающими им богачами, а кроме того, доставляет им развлечение в виде хорошеньких натурщиц. Одна из таких натурщиц, героиня романа, увлеченная, изломанная, оскорбленная и даже разоренная «жрецами искусства», после тщетной попытки стряхнуть с себя тину этой «артистической» жизни, бросается в Вислу, что, конечно, очень мало трогает ее «покровителей», разве что дает им повод заметить, что Висла на то только и годится, «чтобы в ней тонули сентиментальные девушки», она даже как пейзаж неинтересна — «совершенно фальшивого тона»; то ли дело Сена.

Что касается девиза «искусства для искусства», то он «так же хорош, как и всякий другой», только «если бы, например, я сказал нищим, калекам и хромым,

что бог для бога, а не для них, то я отнял бы у них единственную опору и утешение». Впрочем, «в искусстве» всякие теории и выводы не имеют ни малейшего значения», — все дело в практике, а на практике мы видим, что «новое» направление создало «литературу самых низких инстинктов без всякого критического выбора» (совершенно то же говорили в свое время противники позитивного натурализма), сами же «свободные артисты» продали себя всяким набобам — кто же может лучше платить? — и наложили на себя невидимые цепи, «обманывая свет теорийками о независимости». Да если бы даже их искусство действительно заслуживало этого названия (хотя бы только в виде «отрывка искусства»), то, раз для его понимания необходима роскошная обстановка, не лучше ли подождать с пропагандой его до того времени, «когда в жизни не будет голых калек, оборванных ребятишек и швеек с красными веками»? — артист, видящий все это и работающий только для виновников всей это нужды, должен обладать каменным сердцем. Если эти артисты боятся прозы жизни, то напрасно, так как «только хороший поэт ценит надлежаще прозу». Если же эти артисты служат только горсти избранников, из презрения к «подлой черни» — человечеству, которое, однакоже, обращается с ними вежливо, несмотря на их высокопарную ругань, то пусть эти «сверхлюди» устроят отдельное государство, работают там сами на себя, не брезгуя никаким трудом, чтобы ни в ком из «черни» не нуждаться, а в свободное от занятий время пусть предаются «чистому искусству». Тогда покинутое человечество, быть может, упадет на колени и в сокрушении сердечном будет слушать «голос, гремящий с высоты»:

«Подлая чернь, темная толпа, филистерский сброд...»

«Иначе, пожалуй, выведенное из терпения человечество начнет их когда-нибудь взаимно... бойкотировать!»

Как всякий памфлет, роман Немоевского страдает сильным сгущением красок и носит обличительный характер, придавая одностороннее освещение «новой школе» как собранию людей, прежде всего неискрен-

них, корыстных, эгоистических. Если смотреть на дело не с точки зрения обличения, а только критического понимания, то можно допустить, что и самое притворство бывает притворством истерического больного, который в притворных припадках выражает свою действительно больную натуру, свою тоску, не умеющую найти себе естественного выражения. Быть может, для лечения таких больных необходимы иногда окрики и обличения, но для диагноза их болезни этого недостаточно. В минуты искренности они сами ставят себе диагноз лучше, чем их врачи. Примером такого диагноза может служить стихотворение Ланге «Ложь» («Kłamstwo»), где поэт говорит, что все его равнодушие, отрицание, ирония, космический пессимизм — все это ложь, выдуманная им для того, чтобы заглушить в себе отчаяние перед страшными страданиями человечества и неразрешимыми загадками бытия; желая заглушить в себе жажду мученичества и любви, поэт уверял себя, будто ему «ни до чего на свете нет дела» и будто он гордится тем, что он «подобен меди звенящей» — но все это неправда: он любил «больше, чем дозволено любить». Не в этом ли правильный диагноз болезни польской модерны, — по крайней мере ее лучших представителей?

Не производит впечатления здорового и сам обличитель больной модерны Немоевский, — он, как недавно оперированный больной не может говорить сколько-нибудь спокойно о ранах; все человечество представляется ему огромным лазаретом, где за недостатком медицинского и служебного персонала больные должны лечить и поддерживать друг друга; он добросовестно пробовал изучать их скорбные листы и сличать их со своим собственным, но, не видя конца этой печальной работе, он бессильно опускает руки и в отчаянии взывает: «Синтеза, синтеза!» — и крик этот повторяет вместе с ним почти вся польская литература. Но это не стремление к синтезу, которое свойственно человеку, видящему, что собранный им и другими громадный аналитический материал сам напрашивается на известный, определенный синтез, давно поставленный в гипотезе, — нет, это стремление человека, измучен-

ного изнуряющей работой, как-нибудь покончить с ней, ну, хоть сдать в архив, что ли, только бы избавиться от этого моря ужасных «человеческих документов». Но как избавиться? «Пусть человечество будет счастливо... пусть прежде всего будет счастливо!» Так кончает Немоевский свои «Письма безумного», но ведь это еще не синтез, а только выражение желания.

Так же болезненно жаждет синтеза и другой, столь же талантливый, как и Немоевский, но еще более измученный писатель — Жеромский. В своих новеллах, а особенно в своей последней повести «Люди бездомные», он раскрывает целый мир невыразимого страдания, именно невыразимого, так это чувствует автор, теряясь в нервных усилиях выразить весь ужас физических и нравственных — особенно нравственных — мук своих героев. Его манера письма напоминает отчасти Достоевского, отчасти Гейерстама; по внутреннему содержанию он тоже близок к этим обоим авторам, — с одной стороны, бесконечная жалость и сострадание ко всем униженным и оскорбленным, с другой — чувство безысходного одиночества и самоуглубление, доводящее подчас до потери чувства действительности. «Синтез», к которому приходит герой «Бездомных», представитель сознательного интеллигентного пролетариата, заключается именно в усилении и сочетании этих двух элементов. Этот герой отказывается в конце повести от любимой девушки и от всякой перспективы личного счастья не потому, что этого требует какие-нибудь реальные причины, а ради полной независимости совершенно одинокого человека, обрекшего себя на служение страждущему человечеству. «Я не могу, — говорит он, — иметь ни отца, ни матери, ни жены, ничего такого, что прижимал бы с любовью к сердцу, пока с лица земли не исчезнут эти подлые кошмары. Я должен отречься от счастья. Я должен быть совершенно одинок. Пусть около меня никого не будет, кто бы меня удерживал!»

Против «не могу» ничего нельзя сказать, так как если это — *чувство*, то оно так же законно, как и всякое другое. Но против «я должен» как доктрины можно возразить, что она прибавляет ко всем «кошма-

рам» еще один, хотя, может быть, и не «подлый», а именно кошмар аскетизма, — это кошмар опасный, грозящий удушьем или параличом. К счастью, такой «синтез» невозможен для всех, а только для «избранных». Бедные избранные!

Les extremités se touchent [1], — Пшибышевский создает искусство «горсти», Жеромский — этику тоже «горсти», и в какие тяжелые цепи заковывают они эту «горсть». Пшибышевский отрекается от счастья и красоты во имя «силы», Жеромский — во имя «сострадания»; один хочет освободить искусство, другой человечество, — но кого может освободить невольник в цепях?

Писатели, подобные Немоевскому и Жеромскому, производят впечатление чего-то бесконечно нежного и любящего, но не сильного, не свободного духом. Совершенно противоположное впечатление производит столь же грустный и сосредоточенный, но мужественный и свободный талант Серошевского. К какой школе он принадлежит? Едва ли он сам задавался когда-нибудь этим вопросом. По стилю и по чисто объективным приемам изложения он резко отличается от всех новейших польских беллетристов с их преувеличенными фразами, стремлением к оригинальности и крайним субъективизмом. По внешней манере в сущности такие различные по духу писатели, как Пшибышевский и Жеромский, как Тетмайер и Каспрович, очень сходны между собой; они все пишут новоромантическим стилем и постоянно противопоставляют чувство рассудку. Серошевский по литературным приемам ближе всего к русскому реализму тургеневского образца, но по пристрастию к исключительным темам, грандиозным контурам приближается опять-таки к романтизму. Никаких теорий искусства, никаких эстетических догматов он сам не развивает нигде, этических программ тоже не ставит в отвлеченной форме, разве что иной раз позволит какому-нибудь действующему лицу выразить такое мнение: «Надо, чтобы каждое действие, каждое движение наше заключало в себе ясную частицу идеала, иначе все

[1] Крайности сходятся *(франц.)*.

будет смертью... тщетой...» Я не буду останавливаться на достаточно известных русским читателям повестях Серошевского из сибирской жизни, упомяну только об его последней повести «Риш-тау», которая, кажется, еще не появлялась в русском переводе. Действие ее происходит на Кавказе, в польской семье. Семья эта «села на землю», отчасти по необходимости, но еще более по сознательному желанию ее умершего главы, который был человеком вообще очень идейным, подчинявшим все в своей жизни определенным «убеждениям», — главным его убеждением было, что «оставаться в согласии со своей совестью можно, только будучи земледельцем. Земля — источник всяких богатств и нравственности». Согласно этому принципу, он устроил жизнь свою и своей семьи: детей никуда не отдавал в ученье, учил их сам и старался привить им свои принципы; но когда он умер, то сыновья его остались недоучками и — далеко не убежденными. Им пришлось заниматься нелюбимым, навязанным им почти насильно земледелием в местности заброшенной, некультурной, где они чувствовали себя оторванными от всего мира; к тому же личная жизнь сложилась печально: оба брата влюбились в свою приемную сестру, которая не любила ни одного из них, а увлеклась заезжим членом Географического общества, молодым поляком, преданным науке. Братья ищут забвенья: младший — в природе и в охотничьих приключениях, старший — в пьянстве и в одуряюще-тяжелом труде.

К этой истории жертв навязанной идеи довольно механически присоединена история молодого члена Географического общества, сама по себе, впрочем, очень интересная, особенно своим финалом. Ученый вместе с проводником-черкесом сваливаются в пропасть во время экспедиции, убегая от наводнения, вызванного землетрясением (три катастрофы сразу — это и старому романтизму впору!), однако остаются в живых в ожидании, пока их все-таки зальет вода, проникающая в пропасть от наводнения. Черкес рассказывает о судьбе своей семьи, об эмиграции в Турцию, о тоске по родине... Потом, проникнутый глубоким фатализмом, молится и спокойно ждет смерти. Молодой уче-

ный не находит в себе молитвы, но он как бы исповедуется перед собой в этот грозный час приближения конца и видит «грязь мелкой фальши, умолчаний, уступок, которые он должен был делать при разных обстоятельствах жизни», видит, что он не жил, а только собирался жить. Но вот теперь уже поздно, он упустил время и не будет жить никогда. «И все летело в темную пропасть отчаяний перед этим одним словом «смерть». Потом показалось ему, что с горных вершин какая-то туманная женская фигура наклоняется к нему и произносит его имя «в длинном ряду напрасно погибших сынов своих...» Ученого потом находит младший брат-земледелец, но живого или мертвого — на это автор не дает ответа.

Серошевский не патриот в ходячем смысле этого слова; он часто проводит идею, что нет тяжелее и бесплоднее жизни человека, чувствующего себя чужестранцем — в родной ли, в чужой ли стране, все равно. Сам он не относится как чужестранец ни к идеологам-полякам, ни к прокаженным якутам, ни к чукчам, ни к черкесам, но «туманная женская фигура» назовет его имя не в ряду погибших для нее сынов.

«Синтеза», который старается найти у Серошевского критика, мы, с своей стороны, у него не видим, да и вообще едва ли скоро найдет его польская литература, у которой аналитическая работа еще далеко не кончена, так как ей слишком часто мешали в работе более или менее не зависящие от нее обстоятельства.

Польская критика вслед за беллетристами взывает: «Синтеза, синтеза во что бы то ни стало!» Но не лучше ли было бы заменять эти слова другими: «Свободы духа, отваги во что бы то ни стало!» — быть может, это требование даже легче выполнить. Во всяком случае, этих элементов наиболее недостает богатой, разнообразной и крайне интересной польской литературе нашего времени, а это элементы, необходимые, между прочим, и для синтеза.

[*Киев, 1900*]

# *ПИСЬМА*

1888—1913

### 1. М. П. ДРАГОМАНОВУ

[*Июнь, 1888, Колодяжное*]

Милый дядя!

Очень Вам благодарна за письмо, я страшно обрадовалась, потому что уже не рассчитывала получить ответ на мое письмо, которое, как я думала, не дошло до Вас. Мне было очень больно думать, что Вы все, может быть, еще сердитесь на меня, хотела было написать другое письмо, но уже и не знала, как его начать, потому что для меня хуже нет, чем объясняться и оправдываться. Не отвечала Вам потому, что думала, может, Вам некогда возиться с моими письмами; мама мне сказала, что Лидочка больна и Вы очень заняты. Я очень рада, что у Вас теперь все в порядке, потому что я всегда беспокоюсь, чуть услышу, что у Вас какая беда. Я часто о Вас думаю и припоминаю, какой Вы, но если Ваше лицо, дядя, я еще немного помню, то Лидино вовсе не могу припомнить, впрочем, думаю, что и она меня совсем забыла, даже больше, чем я ее, потому что я помню хоть то, как мы с ней в Киеве представляли разных «Стрибогов» и прыгали по стульям, а она, думаю, и об этом позабыла, спросите ее. Знаю, что Вы меня не забыли, хоть, может быть, теперь я и не такая, какой Вы меня помните; попробую описать самое себя: лицом и внешностью, мне кажется, я изменилась мало, разве что не такая уж белая, как была; характер мой, как я сама это замечаю, какой-то скрытный, хоть это мне и самой не нравится, всегда я стараюсь быть откровенной, непринужденной, но вижу

сама, что все выходит не так, как хотелось бы: у меня получается шутка тогда, когда я хочу говорить серьезно, а когда я хочу говорить откровенно, то это тоже как-то не получается и от всего этого я не могу отделаться, даже при разговоре с мамой и Мишей, а уж с другими, так и говорить нечего; я, по правде сказать, до сих пор несколько удивляюсь, что мне так легко Вам писать; Вы своим письмом как-то расположили меня к себе еще больше, чем прежде, потому что я все же слегка побаиваюсь Вам писать, а теперь вижу, что Вы надо мной не посмеялись, если я и не очень-то искусно написала, ведь Вы знаете, что я училась не столько, сколько бы мне хотелось, да и теперь не могу как следует приняться за науку, читала не очень много, так что́ с меня спросишь? Я стараюсь читать дельные книги, хоть здесь их трудно достать, — больше попадаются глупые, чем умные, поэтому я теперь мало читаю, иногда даже старые перечитываю — свои, Ваши, и т. п., лишь бы не читать от нечего делать чепухи. Из французских книг, кроме Жорж Санд, я мало кого читала в оригинале, больше в переводах и то из современных натуралистов школы Золя, которые мне совсем не нравятся; мне кажется, что в них больше всевозможных страхов и эффектов, чем правды, или уж беспросветная мерзость. За это же я не люблю и Толстого, да еще и за его мистицизм. А я, как нарочно, читала больше всего его последние произведения, в которых за чертями и ангелами ничего не видно, либо одни только ужасы, как, например, «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы» мне тоже совсем не нравится, и я просила прислать ее вовсе не потому, что я так наслаждалась Толстым, а просто, чтобы поглядеть, как получается эта сверхкацапщина во французском переводе. Читала я как-то, не помню чей, перевод «Тараса Бульбы» по-французски, в общем очень хороший, но в тех местах, где употребляются народные выражения, выходит в дословном переводе очень смешно: например, сучий сын у него fils du chien [1], матушка — ma petite mère [2] и т. п.

[1] Сын собаки *(франц.)*.
[2] Моя маленькая мать *(франц.)*.

Сцены на Запорожье тоже чудно́ получились. Так вот, если «Тарас Бульба», который все же написан *литературным* языком, так чудно́ получился в переводе, то какова же «Власть тьмы», которая написана наикацапейшим языком *. Что касается переводов Тургенева, о которых Вы мне писали, то очень бы хотела получить какой-нибудь из них, лучше всего бы «Записки охотника»; у меня теперь есть все сочинения Тургенева (мама мне недавно подарила); читаю все сначала, кое-что читаю впервые, кое-что перечитываю. Наша Лиля тоже *грызет* его, и я этому рада, потому что она читает много глупостей, а Тургенев, может быть, отучит ее от этого.

Я бы писала и писала, но нужно заканчивать, потому что и так подгоняют, говорят, что опоздаю на почту, а тут еще и Лиля с детьми пристают, тащат куда-то, пусть уж до следующего раза, а то и так уж нацарапала... Прочитайте, милый дядя, целую искренно Вас всех.

*Ваша Леся.*

*P. S.* У нас теперь Миша, я ему показывала Ваше письмо, он прочитал и ничего мне не сказал (ведь у него такой характер, что если упрется, ничего толком не скажет, как бы его ни спрашивал). Впрочем, когда услышал, что у меня есть от Вас письмо, то сразу попросил. Он тут, дома, все книги забросил и только со своей математикой возится, всегда он так, то задачи решает, то в математических книжках роется, так этим увлекается, что нам иногда даже смешно, он, даже сам того не замечая, привык мерять людей математикой: например, когда считает кого-нибудь нескладным, глупым, говорит, что «он математики ни в зуб не знает».

### 2. М. П. КОСАЧУ

*[Сентябрь, 1888, Колодяжное *]*

Милый Миша!

Все думала вскоре после первого письма написать тебе снова, но прошло много времени, прежде чем собралась. Ну да ничего, было бы написано. Это меня

«Гении» * так задержали, никак не могла удосужиться переписать их, а когда переписала, затерялись, и прошло немало времени, пока опять дошли до них руки. Обещала написать большое письмо, но, думается, тебе некогда возиться с длинными письмами, так пусть уж будет короткое. Ты же не то, что я, у тебя работа и есть куда пойти, а я живу на покое и бездельничаю. Не знаю, стоит ли описывать нашу поездку *, описание вышло бы слишком длинным. Лучше когда-нибудь расскажу, а теперь — кое-что о турецкой крепости (Аккерман). Вот страшное сооружение, будь оно проклято! Высокие, массивные, толстые стены, — такие, что комнаты в них выдолблены, словно келейки; башни круглые, громоздкой архитектуры, в башнях погреба и темницы с железными решетками (верно, тут когда-то наши казаки сидели), а теперь растут дикие травы да цветы. Мама сказала: «Ведь все это из наших казаков повырастало». Мы сорвали два цветка на память и поспешили на пароход, прочь от этой крепости; страшно нам стало, пустыня такая, что если «упаси боже голову сложить», то никто и души не примет. А жалко, что мы были одни, — если бы еще кто-нибудь был с нами, не так бы страшно, можно бы все лучше рассмотреть и на валу постоять подольше, а оттуда такой прекрасный вид на днестровский лиман, подлинно казацкий пейзаж; ну да своя душа милее, чем все пейзажи. Поехали мы обратно в Одессу. Ну и море было в тот день! Верно, для нас оно так пригладилось да принарядилось; синее-синее, с белыми гребнями, с розовыми отсветами, с темнозелеными тенями, с золотыми искрами при заходе солнца. Я все стояла у того борта парохода, откуда не видно берега, — не хотелось мне его видеть; хотела видеть море во всей его необъятности, во всей его красе, а земля бы мешала. Вот видишь, хотела написать покороче, а тут и половины страницы не хватило для моей поэзии о море. Но довольно, хватит и этого...

Теперь кое-какие просьбы к тебе. Прошу тебя, когда получаешь какие-нибудь письма, не выкидывай конвертов, потому что Пуцик теперь собирает марки, чтобы потом их продать, и поэтому собирает марки где только может и будет тебе за них очень благо-

дарна. Боюсь, чтобы не завладел ею дух корыстолюбия, потому что у нее теперь много денег: продала Пуцинду и получила за нее 19 рублей, для Пуца это большая сумма. Это просьба Пуца. Теперь моя: напиши мне, как только будет время, и напиши всю правду о моих «Гениях», какими они тебе показались. Я переписала первого, хоть ты уже его читал, но, может быть, забыл, а без него второй непонятен. Напиши, что у тебя хорошего в Киеве. Был ли ты на свадьбе у Гали? Как идут твои занятия? Прощай до рождества, вероятно раньше не увидимся.

*Твоя Леся.*

*P. S.* Интересно мне посмотреть твой перевод, пришли его, если можно. Я уже закончила свое «безголовье», — «Самсона» * и пишу «Одиссею» *, буду ее писать всю зиму. Попроси у Шуры тот рассказ (стихотворение в прозе), который она мне читала в Колодяжном, заложив в книгу Тургенева. Его название, кажется, «Она хохотала». Шура знает. Если даст, ты его пришли. Я очень хочу его иметь. Я попросила бы ее об этом сама, но однажды ей написала и ответа не получила, а потому не хочу докучать частыми письмами. Кланяйся от меня ей и ее маме; крепко обеих целую.

### З. М. П. КОСАЧУ

[*Октябрь 1889, Одесса*]

Милый Миша!

Получила твое письмо и сердечно за него благодарю. Вообще я заметила, что ты, перейдя на второй курс, начал значительно щедрее, чем раньше, посылать письма, за это несомненно следует тебя погладить по головке. *Печальная новость* * меня очень-очень огорчила. Сначала я чуть было не расплакалась, потом почему-то страшно разозлилась, а потом на меня напал какой-то дух упрямства, и я решила сегодня писать сколько смогу, хоть целый день, и вообще буду работать теперь

вдвое! И так как злость немного прошла, я принялась за Маргариту (уже не впервые), но и на этот раз ничего не вышло, будто легион демонов упрямства сидит в этой девушке! Видимо, ничего с ней уже не поделаешь. Мане еще напишу, с той дело, может быть, лучше наладится. Маня скоро переезжает с отцом в Луцк, так что я надеюсь с нею в ближайшее время увидеться. О литературе для народа я и сама очень и очень подумывала, хотя толку от меня, может быть, и немного, я все как-то не могу сойти с пути беллетриста, хотя и не знаю, будут ли на что-нибудь годны мои беллетристические работы.

Значительно раньше твоего письма, еще в Колодяжном, я начала писать сказку для детей, называется «Четыре сказки зеленого шума» *; эту сказку я хотела послать в Галицию, в детский журнал, и если мне этот опыт удастся, то еще буду писать, если нет, то, значит, «дарования не хватает»! Закончить эту сказку по ряду дел я не имела времени, но уверена, что скоро закончу. Могу смело, без всяких оговорок и отговорок, сказать, что я выполню все для нашего дела, все, что только зависит или будет зависеть от меня, хотя бы это было трудно и хлопотно. За других не могу поручиться. У одесситов буду просить для черниговцев * и для вас, может быть что-нибудь дадут. Познакомилась я тут недавно с двумя студентами-украинцами, кажется толковые люди; может быть, от них или через них что-нибудь добуду; у меня на это большая надежда. Будь уверен, все, что возможно, будет сделано. Однако можно сказать про одесситов, как и про киевлян, что здесь и там лентяев немало. Передай господину Максиму, если его хоть немного интересуют мои слова, что я никогда не ожидала такого невнимания к нашим общим делам, и времени было немало — все лето и осень, чтобы перевести остаток стихов. Я уже перевела первую главу «Bergidylle» [1]*, скоро переведу ее целиком, значит я все выполнила, что на себя взяла. Правда, я человек без занятий, «праздношатающаяся», но зато у меня такие помехи, каких у вас нет, и дай боже, чтобы ни-

[1] «Горная идиллия» *(нем.)*.

когда не было... Вот первая помеха: «moje miłe zdrowie i powodzenie»[1]. На го́ре приехала я сюда в Одессу, так как не только массаж не помог, но, кажется, я потеряла и то, что приобрела на лимане, в Косовщине, повязками и прочими бедами-несчастьями. Я недавно встала с постели, дней пять пролежала. Теперь мне лучше, и я снова могу ходить одна с палкой, а было так, что меня водили, чуть ли не носили. После недели лечения массажами нога моя так разболелась, что невозможно было ступить. Тогда я прекратила лечение. Первую ночь я провела, как тень в Дантовом аду, с плачем и со скрежетом зубовным. Вторую ночь, сдержавшись, не плакала и всю ночь писала в постели, начала небольшую поэму, и, кажется, по ней не видно, как мне было плохо, когда писала. Через два дня приехала Маргарита и взяла меня к себе. За это я ей очень благодарна, так как моя немка такая подлая, что ну ее! Однако ты не думай, что дело обстоит плохо. Я теперь не лежу, могу снова ходить, хоть не так, как раньше, но все же ничего себе, надеюсь, что удастся выехать на этой неделе. Очень хочу заехать к тебе дня на два, на три, но не знаю еще, как будет, писала об этом маме и жду ответа. Но я надеюсь все-таки еще быть у тебя и «обо всем переговорить», как говорит тетя Саша. У меня есть для тебя кое-что любопытное. Дал бы бог, чтобы я для вас у одесситов что-нибудь выпросила. «Дай боже нашему теляти волка поймати!» Только что мне в голову пришла одна ужасно дикая идея, но писать о ней не буду, посмотрим сначала, что из нее получится. Будь здоров, а может, и до свиданья. Целую тебя крепко и желаю тебе успеха во всем. Славно ты сделал, что перевел «Ночью» *, хвалю за это. Не ленись, братец, хоть ты, а то кто его знает, что тогда будет. Будь здоров!

Твоя несчастливая сестра *Леся.*

*P. S.* Вот еще что: в нашей группе ты вышел лучше всех; когда приеду, отколочу тебя, чтобы не капризничал и не бросался портретами. Слово «маятник», я ду-

[1] Мое милое здоровье и успехи *(польск.)*.

маю, можно оставить, так как корень этого слова украинский. Маятник по-болгарски — *маха́лце,* по-сербски — *шета́лица,* по-чешски — *kuwadlo,* по-польски — *wahadło,* по-галицки — *пендель, кивало.* Выбирай, что хочешь, или оставь так. Галимского я и в глаза не видела, Кирилла тоже. Шура мне не писала. Маниного постоянного адреса пока еще нет.

### 4. М. П. КОСАЧУ

*26—28 ноября [1889 г.]*

Милый Миша!

Только что получила твое письмо — и, прочитав, сейчас же за перо! Очень меня утешило это письмо. Вижу теперь, что вы в самом деле «принимаетесь за дело» и перестаете падать духом. Нечего и говорить, что я возьмусь за работу так, что только держись! Сделаю все, что будет от меня зависеть. Что же мне и делать, если не это. Как бы там ни было, а литература — моя профессия. Одно только меня беспокоит, что мне все не лучше, а, кажется, даже хуже. Может быть, резать придется. Знаешь это «mens sana in corpore sano» [1], ну, как-нибудь обойдется. «Les pauvres gens» * я вам могу послать (уже послала), но забрать их из «Зори» * не могу (они уже отправлены); ибо, как Гомер говорит, «что однажды дано, отбирать не годится», тем более что, я думаю, их и так в «Зоре» не напечатают. Из законченных переводов у меня есть «Жизнь и философские мысли Пингвина» госпожи Сталь *. Если считать эту вещь на что-нибудь годной, то пришлю. «Гулливера» я переводила с перекроенного для детей издания и считаю его никуда не годным. Берусь перевести все четыре путешествия Гулливера, — сейчас вышло новое полное издание *, и мы в Одессе купили первый том («Лилипуты и Великаны»). Начну его переводить, как только исправлю свою «улиту» *, которая уже окончена, но я, как говорит мама, делаю «выгрызку». Пришлю вам, хоть и кажется мне, что она

[1] Здоровый дух в здоровом теле *(лат.).*

для сборника длинновата. «Bergidylle» (Гейне) скоро окончу. Мама сказала, что, по ее мнению, лучше в первую очередь издать Гейне, — она думает, что это было бы очень любопытно для каждого из галичан. Выслать можно было бы, но не знаю, как обстоят дела у господина Максима. Кроме «Lieder», у меня уже есть семь песен «Atta Troll» * (когда-нибудь и всю кончу), а может быть, кто-нибудь или мы с господином Максимом, если ему Гейне не надоел, могли бы перевести «Reisebilder» [1], ну и покончили бы с Гейне. Следовательно, прежде всего нужно «привести в известность» все, что есть готового из переводов. Дальше могли бы издать Мольера, если бы Самойленко закончил, наконец, своего «Tartuffe» и «Mariage forcé» [2], а там еще кто-либо что-нибудь перевел бы. Короленко следовало бы издать полного; «Лес шумит», «В пасхальную ночь», «Ночью», «Старый звонарь» это есть. «Сон Макара» есть перевод у Маргариты (в последний день перед отъездом я это узнала), и думаю перевод у нее «весьма и очень искусно выканючить». «В дурном обществе» я давно намереваюсь перевести. Мама обещает «Слепого музыканта», для остального также люди найдутся. Гаршина тоже необходимо всего перевести, я заранее беру «Красный цветок» *. Вообще что касается русских писателей, то переводить их — небольшой труд, только бы людей хватило да охота была, а вот с итальянцами и англичанами дело обстоит труднее. Ага, вот еще: конечно, Сервантес должен быть у нас, что же это будет за «Европейская библиотека» без «Дон Кихота»! Вот только чего я не понимаю как следует: эта переводная литература и есть то, что ты называешь народными изданиями, или народные издания нечто совсем отличное от переводной литературы? А от этого, по-моему, много зависит, как повернется дело. Ибо, если переводная литература должна издаваться для народа, для *простого* народа, то тогда каталог произведений для переводов можно и даже нужно сократить, так как зачем ему, по крайней мере теперь, все эти Поли

---

[1] «Путевые картины» *(нем.)*.
[2] «Брак поневоле» *(франц.)*.

Бурже, Байроны, Леопарди да хотя бы Шиллер и Гете? Если же это издание рассчитано и на интеллигенцию, то список нужно еще расширить, поместить туда: Сервантеса, Бомарше, Петрарку, Шенье, Бальзака, Леконт де Лиля, Вальтера Скотта, Вольтера, Руссо, Сталь, Сырокомлю, Конопницкую, Надсона, Некрасова. Мне кажется, что без этих писателей наша библиотека будет далеко не полной. Что касается Мопассана, то над ним, я думаю, не стоит голову ломать, так как в его произведениях чистая идея натурализма совсем исказилась и вышло нечто такое, о чем не стоит и говорить. Мордовцева тоже не стоит, хотя бы потому, что он и сам, если бы захотел, мог бы перевести свои повести, а кроме того, его романы написаны были в стиле тех, которые печатаются в «Ниве». Слишком для него велика честь попасть в «Мировую литературу». Если романы его интересны тем, что написаны на исторические украинские темы, то гораздо лучше было бы на те же самые темы создать собственные повести тому, кто на это способен. Всех остальных авторов, о которых ты писал, я также считаю необходимым перевести. Но вот в чем дело: прозаические произведения английских и итальянских авторов можно переводить и с русского перевода, но стихи *нужно обязательно переводить с оригиналов,* иначе может получиться нечто совсем далекое и непохожее. Ты писал, что нужно поискать кого-нибудь в Одессе, но ведь ты сам там был и знаешь, как обстоит дело: вообще там никто *ничего* не пишет, среди студентов я знаю только одного подолянина Лосятинского, который мог бы переводить с русского, польского и немецкого. Этому молодому человеку я могу через Маргариту сообщить о нашем издании и попросить перевести что-нибудь из того, что вы найдете нужным, надеюсь, он не откажется. Есть там еще один молодой человек — Заболотный; он пишет украинские стихи, но я их не читала, попрошу Маргариту выслать что-нибудь из его стихов, а дальше «еще посмотрим, как там будет!» Мама советует выбрать для одесской «кна-кны» * Ауэрбаха «Schwarzwaldergeschichten» [1] и что-нибудь с русского.

[1] «Шварцвальдские рассказы» *(нем.).*

А с английской поэзией ничего не выйдет до тех пор, пока кто-нибудь из нас не выучится по-английски. Если бы не эта немка, я бы уже хорошо владела английским, а так что же делать? Самоучкой не могу овладеть английским, но итальянским могу, только ты, когда поедешь сюда, купи мне итальянский словарь; если нет итальянско-русского, то итальянско-французский, и итальянскую книгу, одну из тех, которые вы будете переводить. Я уже немного знаю грамматику, а практических знаний для переводов не нужно. «Диалоги» Леопарди (в прозе) могу хоть сейчас перевести, так как они у меня есть в «Пантеоне» * и написаны совсем нетрудным слогом, но его стихи, как и всякие другие стихи, я решила переводить *только с итальянского.*

Привези мне Петрарку, или Леопарди, или Гольдони. (Я, по правде сказать, не имею о нем żadnego pojęcia [1].) Мане и Маргарите напишу об этом деле; Маню, может быть, скоро увижу, так как она будет жить в Луцке. Если хочешь, я пришлю тебе ее перевод короленковского «Звонаря». Мама говорит, что можно было бы издать теперь те переводы Короленко, которые уже сделаны, потом (или же сначала) издать «Lieder» и «Atta Troll» Гейне, а потом «Les pauvres gens» и еще что-нибудь прозаическое, из Диккенса, например, или Ауэрбаха, или что хотите; таким путем можно было бы составить три первых выпуска. Перевода «Lélia» Жорж Санд у меня нет. Есть только половина ее сказки «Le nuage rose» [2]; если она на что-нибудь пригодится, то могу окончить. Пуц обещала перевести «Грибуле» (сказку Жорж Санд) и «Муму» Тургенева. Есть у нас несколько «Стихотворений в прозе» Тургенева. Вам с Пашкевичем советую перевести «Les compagnons du tour de France» [3], ведь вы все равно теперь это читаете, и было бы превосходно! Ты просишь у меня план, что вам переводить. Это очень трудно сделать, к тому же я думаю, что вы в этом больше разбираетесь, чем я, но если ты так хочешь,

---

[1] Никакого представления *(польск.)*.
[2] «Розовое облако» *(франц.)*.
[3] «Спутники путешествия по Франции» *(франц.)*.

то могу сообщить вам свое мнение. Так вот, я думаю так: из Байрона нужно перевести «Чайльд-Гарольда» и «Манфреда»; из Беранже несколько лучших chansons: «Le vieux caporal», «Le roi d'Ivetot», «Mon vieil habit», «Monsieur le sénateur» [1] и т. д. Из Бернса тоже немного; Брет-Гарта — один или два рассказа; у Поля Бурже я не знаю других произведений, а «Disciple» [2], по-моему, не стоит переводить, так как это такое nerwegene[3]; Гаршина — полностью; Гете — «Фауста» и «Вертера», несколько лирических стихотворений; Гейне — «Lieder», «Reisebilder» [4], «Atta Troll», Гоголь почти весь переведен, Гончаров — «Обрыв» и «Обломов»; Гольдони не знаю, Гюго «Les misérables», «Notre Dame de Paris», «Les travailleurs de la mer» [5] — он сам называет эти романы своей трилогией; Диккенса — «David Kopperfield» и что-нибудь из мелких произведений, например, рождественские сказки Додэ — «Jacques», Достоевского — «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание». Ежа * я знаю только одно «Kuzma Jeż» [6] — вещь любопытна еще потому, что там герой украинец; Жорж Санд «Les compagnons du tour de France» и «Lélia» и некоторые сказки (для народа и для детей). Кое-какие стихи Залесского; Золя «Le péché de l'abbé Mourret» [7] и «L'Assommoir» [8]; Короленко необходимо перевести всего; Красицкого не знаю; Крашевского — «Ostap Bondarczuk»; Крестовского — «Первая борьба», «Большая медведица» и «Жить, как люди живут»; Леопарди — «Диалоги» и некоторые стихи; Лесажа я знаю только критические статьи; Лонгфелло — поэму * из жизни североамериканских дикарей (никак не могу вспомнить ее названия, но самую поэму

---

[1] Песен: «Старый капрал», «Король Ивето», «Мой старый фрак», «Господин сенатор» *(франц.)*.

[2] Ученик *(франц.)*.

[3] Смелое, дерзкое *(нем.)*.

[4] «Песни», «Путевые картины» *(нем.)*.

[5] «Отверженные», «Собор Парижской богоматери», «Труженики моря» *(франц.)*.

[6] «Кузьма Еж» *(польск.)*.

[7] «Проступок аббата Мурре» *(франц.)*.

[8] «Западня» *(франц.)*.

читала, и она мне очень понравилась), «Excelsior» [1], и небольшие стихотворения; Мальчевского — «Мария»; Мачтета — «Он и мы» и «И один в поле воин»; Мицкевича — «Dziady», «Krymskie sonety» и «Ballady», Мольера — «Tartuffe», «Le mariage forcé» [2], «L'avare» [3] и «Précieuses ridicules» [4], Т. Мура несколько стихотворений; А. Мюссе — «Les nuits» [5], «Lucie», «Mes prisons» [6]; Немцевича — не знаю. Э. Ожешко — «Marta», «Dobra pani», «Panna Antonina», «Nieróżowa sielanka» [7], «Silny Samson», «A-B-C», «Czternasta część» [8], А. Пушкина — «Борис Годунов», «Цыгане» и лирические стихи; Пруса «Placówka» [9]; Свифта «Hulliver»; Сенкевича — «Szkize węglem» [10]; Словацкого — стихи и «Mazepa»; А. Теннисона — стихи; Льва Толстого — «Война и мир», «Анна Каренина»; Тургенева — «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Стихотворения в прозе»; В. Шекспира — «Hamlet», «Otello», «Makbet», «King Lear», «Richard III», «Koriolan»; Шиллера — «Die Jungfrau von Orlean», «Die Räuber» [11], «Maria Stuart», «Don Karlos»; Щедрина — «История одного города», «Господа-ташкентцы», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист»; Франсуа Коппе — стихи; Лермонтова — стихи, «Демон», «Герой нашего времени»; Г. Флобера — «Madame Bovary» и «Education sentimentale» [12]; Teophile Gautier — стихи; Сервантеса — «Дон-Кихот»; Бомарше — «Трилогия»; Петрарки — сонеты; Шенье — «Iambes» [13]; Бальзака — «La femme de trente ans», «Illusion perdues», «Les paysans» [14]; Леконт де

---

[1] «Все выше» *(франц.)*.
[2] «Брак по неволе» *(франц.)*.
[3] «Скупой» *(франц.)*.
[4] «Смешные жеманницы» *(франц.)*.
[5] «Ночи» *(франц.)*.
[6] «Мои темницы» *(франц.)*.
[7] «Неподкрашенная крестьянка» *(польск.)*.
[8] «Сильный Самсон», «Азбука», «Четырнадцатая часть».
[9] «Форпост» *(польск.)*.
[10] «Эскизы углем» *(польск.)*.
[11] «Орлеанская дева», «Разбойники» *(нем.)*.
[12] «Воспитание чувств» *(франц.)*.
[13] «Ямбы» *(франц.)*.
[14] «Тридцатилетняя женщина», «Утраченные иллюзии», «Крестьяне» *(франц.)*.

Лиля — нужно выбрать из «Poèmes antiques», «Poèmes barbares» и «Poèmes tragiques»[1]; Вальтера Скотта — «Wawerlay», «Ivengo»; Вольтера, Руссо и Сталь — что сами захотите; Сырокомли, Конопницкой, Надсона, Некрасова — стихи.

А теперь довольно! Будь здоров! До свиданья! Желаю тебе силы, энергии, охоты к работе, а также всему товариществу.

Твоя сестра и товарищ *Леся.*

### Б. М. П. ДРАГОМАНОВУ

*24 декабря [1889]*
*Колодяжное*

С наступающим рождеством!

Милый дядя, простите меня, что я не писала Вам, — так все что-то не могла собраться и решиться.

Искренне поздравляю Вас и Лиду с маленьким Лидиком. Пусть он растет на славу своей родине и родителям на утешение. Очень хотелось бы его повидать; хоть бы уж поскорее он вырос настолько, чтобы можно было его снять. Думаю, что из него должен выйти славный мальчонка, ведь если к украинскому типу примешался еще болгарский, то, наверно, получится что-то незаурядное! Но, не знаю, когда я увижу его, да и всех вас, не только на фотографиях, ибо не знаю, смогу ли когда-нибудь приехать в Болгарию.

Вот осенью я стала было не на шутку подумывать, как бы мне на лето вырваться к Вам, но наступила зима, и я увидела, что все мои мечты и надежды погибли. Мама, наверное, писала Вам, как неудачно у меня получилось с этим массажем *в Одессе,* вот я теперь и думаю, что если и придется куда ехать, то уж, наверно, не в Болгарию. Уж я и сама не знаю, когда кончится напасть с этой ногой, да и кончится ли когда-нибудь!.. Вот после праздников поеду в Киев к этим «друзьям человечества», посмотрю, что они скажут! Наверно, назначат какое-нибудь длиннющее лечение, а

[1] «Античные поэмы», «Варварские поэмы», «Трагические поэмы» *(франц.).*

может, снова уложат на долгое время в постель. Уж мне это так не пройдет! Если бы Вы знали, до чего мне надоели все врачи и их лекарства, даже думать о них противно. Чтобы не думать ни о них, ни о ноге (а это довольно трудно), я попеременно то играю, то пишу, несмотря на то, что мама с папой говорят, что мне и то и другое вредно. Но что же мне делать? Если мне ни читать (читать много мне тоже не советуют), ни писать, ни играть нельзя, то остается только сложить руки и плакать — ничего другого не придумаешь. Еще я боюсь, что если уложат меня в постель или (не дай боже!) назначат операцию, то тогда уж и в самом деле мне нельзя будет ничего писать, а работы у меня довольно много, — больше всего переводов! Нужно обязательно перевести половину «Атта Троля» (шесть глав уже сделаны), одну элегию Musset и Гулливера *; нужно переписать одну свою повесть до поездки в Киев; нужно закончить кое-какие начатые стихи. «Les pauvres gens» я уже давно перевела, еще перед отъездом в Одессу, и послала их в «Зорю»; если там напечатают, то Вы вскоре их увидите. Очень Вам благодарна за совет перевести эту вещь и еще большее спасибо за эти «Perles de la poésie» [1], я ими очень утешалась и даже горжусь. Получив эту книжку, я потому даже ничего Вам не написала, что сначала хотела перевести «Les pauvres gens» и тем заслужить эту книжку. Миша кое-кому читал в Киеве мой перевод, и он, кажется, там понравился. Миша тоже кое-что пишет и переводит, теперь, приехав домой, он даже пишет довольно много. Мне нравится, как он пишет, я даже при его математическом складе ума не ожидала от него такой поэтичности (стихов он, правда, не пишет). Жаль только, что у него все такие коротенькие вещи, я уговариваю его начать что-нибудь настоящее, а то что ж всё такие «стихотворения в прозе» писать! Миша, узнав, что я Вам пишу, просит Вас приветствовать и кое-что передать. Он просит написать, что среди молодых киевлян в последнее время начинает шириться «европеизм»; они начинают учить европейские языки и интересоваться европейской литературой.

[1] «Перлы поэзии» *(франц.)*.

Доказательством этого может служить то, что мы (молодежь) задумали издать целую серию переводов лучших произведений европейских и русских авторов. Те переводы, о которых я писала и которые мне нужно сделать, войдут также в это издание. Хуже всего у нас дело обстоит с английскими авторами, потому что у нас этот язык очень мало кто знает, хотя кое-кто и собирается им заняться. Будучи в Одессе, я хотела учиться по-английски и даже подыскала себе учительницу, но этот проклятый массаж мне все испортил. Теперь придется учиться одной, хотя это и трудно. По-итальянски я уже немного подучилась сама, и если достану себе книги и словарь, то можно будет и о переводах подумать. «В ожидании будущих благ» возмещаю французскими и немецкими. Миша раздобыл себе французские дифференциалы Serret * и наслаждается ими и утверждает, что как-то лучше и понятней получается, чем по-русски. Он все так же, как и прежде, расхваливает свою математику. Вот он только что вошел в комнату и патетически изрек: «Прекрасная штука — дифференциалы!» По правде сказать, я не совсем понимаю подобное развлечение, но, возможно, это показывает только мое невежество. Как я вспоминаю, бывало он передо мной и Шурой так и сыплет этой математикой!.. Никогда мы, бывало, не сговоримся. А знаете, Шура окончила курсы (она была «последняя могиканка», потому что курсы закрыты, — Вам, наверно, это известно?) и живет теперь на Полтавщине в своем имении.

Однако довольно заниматься многословием, — ради сочельника следует и перу покой дать. Хочу только кое о чем Вас спросить: поют ли в Болгарии колядки и похожи ли они на украинские? Как там люди справляют рождество? В общем много чего я хотела бы знать о Болгарии, потому что я о ней ничего не знаю, а то, что приходится читать в газетах, — думаю, наполовину враки. Какова болгарская литература, лучше или хуже украинской? Будьте добры, ответьте мне на это письмо, — если бы Вы знали, как мне дороги Ваши письма! Напишите о себе, о Лиде, о Лидике, обо всем! Будьте здоровы! Искренно целую Вас и прощайте!

*Ваша Леся.*

*P. S.* Миша спрашивал, не знаете ли Вы, что это за издание «Этнографическое обозрение»? Там, он слышал, были статьи о Палии и Мазепе. Какого Вы мнения о произведениях Гюйо *: «L'art au point de vue sociologique» и «Psychologie contemporaine»? [1] *

### 6. М. П. ДРАГОМАНОВУ

*1890, 6 XII*
*Луцк*

Милый дядя!

Очень Вам благодарна за то, что Вы так хлопотали, разузнавая в Вене о моих лечебных делах. Сегодня пришло письмо от г. Гриневецкого, и хотя он пишет, что венские клиники открыты круглый год, все же мы решили выехать тотчас после праздников, как можно поскорей. Должно быть, там придется пролежать добрых месяца три, так уж лучше лежать зимой, чем летом. И еще нужно ехать скорее потому, что у меня с ногой плохо, чем дальше, тем все, кажется, хуже. Пускай уж немцы выручают из беды!.. Досадно мне очень, что придется изнывать в этих клиниках, — это настоящий ад! — но ничего не поделаешь. Зато утешаю себя тем, что увижу Европу; пожалуй, Украину тоже можно назвать Halbasien [2], как Вы прозвали Болгарию. По тетиным письмам видно, что Болгария ей чуть ли не настоящей Азией показалась, это и не удивительно после Швейцарии. А мне бы очень хотелось добраться до Вашей Азии, может, и добралась бы, не будь этих пакостных болезней, ну и все-таки когда-нибудь доберусь. Я каждый день строю множество планов об этом путешествии в Болгарию, но все они пока что весьма фантастические. Если бы только от меня зависело, то я давно уж из Одессы махнула бы в Болгарию — по-моему, отсюда уже недалеко. Я теперь до того привыкла странствовать, постоянно разъезжая, что мне ничто не кажется далеким. Право, мне даже как-то странно, что

[1] «Искусство с точки зрения социологии» и «Современная психология» *(франц.)*.

[2] Полу-Азией *(нем.)*.

я никак не могу с Вами увидеться, и мне почему-то кажется, чтоб не получилось так, как в Вене. О многом я хотела бы с Вами поговорить, о многом расспросить и для себя и для других, потому что письма как-то не то, — что́ письма! Впрочем, кажется, это напоминает изречение: «Письма пишут только аптекаря», и человеку из литературной семьи и не следовало бы так говорить. Однако как бы мне не забыть о том, о чем хотела спросить: не укажете ли Вы мне какие-нибудь произведения об этнографическом методе, а именно, о методе записывания народных песен? Этот вопрос меня очень интересует, я знаю много народных мотивов, пытаюсь записывать, но это мне трудно и даже очень, может быть именно потому, что я незнакома с настоящим методом, а литература по этому вопросу мне совсем неизвестна. Недавно я достала брошюрку Мельгунова «О русской народной музыке», полемики там много, а ни одного практического совета, и еще, мне кажется, что склад русской песни отличен от нашей; вот и записываю без всяких теорий и не знаю, будет ли из этого толк. Не знаете ли Вы случайно каких-нибудь хороших сборников немецких или французских народных песен? Миша просил узнать, нет ли каких-нибудь произведений в европейской или в русской литературе о «народной математике»? Миша хотел еще знать Ваше мнение, не является ли орнаментика с фигурами людей и животных признаком монгольского влияния на русских? В общем Мише теперь кажутся гораздо интересней всякие литературные и этнографические вопросы, чем математика, к ней, он, кажется, питает скорей какую-то платоническую, чем реальную, любовь. Интересно, не видели ли Вы новые этнографические журналы «Живая старина» и «Этнографическое обозрение»? Миша собирается выписать «Этнографическое обозрение», может быть, уже и выписал. Вот еще что: напишите мне, пожалуйста, не знаете ли Вы случайно, какие есть переводы гимнов веды * на французском или немецком языках, может быть я бы себе купила, эти гимны мне очень понравились в отрывках, которые нашла в истории Ménard'a. Впрочем, довольно уж мне надоедать с этими вопро-

сами, может у Вас и времени нет на них отвечать. Но ведь мне не с кем посоветоваться по этим вопросам, и если мама не может дать на них ответа, то у кого я его найду, как не у Вас. Теперь разве что написать Вам о нашем житье-бытье? С приездом в Луцк оно почти не изменилось, только Лиля стала лучше учиться да больше людей бывает у нас. От этих людей мне прожу мало, потому что все мои товарищи или в Киеве, или просто по разным местам разбросаны, а здесь из молодых никого такого не знаю, а старые... Однако мне не скучно, работы больше чем когда бы то ни было, много приходится и писать, хотя с этим писанием чистое горе! Во-первых, то, что не могу долго над ним сидеть, а во-вторых, что посылаю, посылаю в «Зорю», а толку мало, интересно мне теперь, как будет при новой редакции — приглашала нас; если будет так, как раньше, то ну ее! Мы недавно запросили насчет «Pauvres gens» (вот уж действительно pauvres gens!), но ответа еще не получили, только обещают «написать подробно». Вы советуете передать в «Народ» *, но ведь он, кажется, стихов не печатает, да и вообще, кажется, беллетристики там нет. К тому же кое-кто из товарищей меня упрекает, что в моих стихах нет резкой выраженной тенденции, что отсутствуют общественные темы, что у меня только образы и форма еще так-сяк, а остальное... иначе говоря, я думаю, что моя поэзия не выдерживает никакой критики. Ну, что ж поделаешь, если и так! В чем-то моя муза оказалась нетенденциозной и бедной, или, может быть, и то, что я неумело выражаю свои идеи, ибо все же, я надеюсь, у меня есть какие-то идеи. Некоторые упрекали также, что я уклоняюсь от «народных» тем и народного стиля, лезу в литературщину и «интеллигентствую», но тут, должно быть, вся беда в том, что я иначе понимаю слова: народность, литературность и интеллигенция, чем их понимают мои критики. Ну, es ist eine alte Geschichte [1], и она Вам уже, наверное, надоела, но мне тяжело, что у нас на Украине до сих пор никак не закончатся эти вечные споры, да и как они могут закончиться, если спорщики не понимают друг друга. Мне

[1] Это старая история *(нем.)*.

уже самой страшно надоели эти темы: нужно ли писать чисто народным языком; тенденциозно или нетенденциозно; Галиччина и Волынь то же ли, что и Украина, или нет; следует ли писать научные работы по-украински, или лучше, может, по-русски и т. д. Вот этак будут толочь воду в ступе, пока дна не прошибут. Жаль только, что невесть на что столько времени люди теряют, да видать, что не для всех оно так дорого, это время. Вот я замечаю, что и я не знала цены времени и расточала его попусту, а теперь мне все кажется, что оно убегает от меня, и не знаю, как бы его удержать. Теперь я по Вашему совету и «спасаюсь от украинско-русского невежества»: выучила недавно итальянскую грамматику и теперь ради упражнения читаю книжки, хочу скорее научиться как следует понимать по-итальянски, чтобы перевести «Dialoghi» Leopardi, у меня есть задание от товарищества. Мой Гейне завтра уже пойдет в печать *, — я этому очень рада! В этом издании выйдут: «Lyrisches intermezzo», «Heimkehr» и «Harzreise» [1] *. Сейчас я на некоторое время бросила переводить, кое с чем своим сначала покончу, а то оно, бедное, совсем в загоне. Только не знаю, дадут ли мне немцы писать в клинике, — наверно, не дадут! Жалко будет, ведь я лишусь своего лучшего развлечения. К тому же мне будет очень грустно, что я долго не буду слышать никакой музыки и сама не смогу играть, для меня это настоящее наказание. Порою мне кажется, что из меня получился бы значительно лучший музыкант, чем поэт, одна беда, что «природа сыграла со мной глупую шутку»... в самом деле жалко, что я не фаталистка или не «толстовка».

Как-то теперь Лида занимается музыкой? Наверное, чаще распевает дуэты с Маусиком, чем исполняет произведения великих маэстро? Почему в Ваших последних письмах нет ни одной весточки ни о Зоре, ни о Маусике, ни о Раде? Или Рада уже переучивается по-болгарски? Хоть бы Рада когда-нибудь нам написала, — нас так радуют ее письма. Верно, Зоря рисует что-нибудь, — наш Микось заядлый художник, — пусть

---

[1] «Лирическое интермеццо», «Возвращение на родину», «Путешествие по Гарцу» *(нем.)*.

бы Зоря прислал нам свои рисунки, интересно увидеть его «стиль».

Приветствуйте от меня и поцелуйте всю дорогую семью, знакомую и незнакомую. Прошу, если найдется время, напишите, не сердитесь, что так редко пишу, это не от злого умысла. Будьте здоровы и забудьте о своем ревматизме навеки.

Целую Вас. *Ваша Леся.*

### 7. М. П. КОСАЧУ

[*Март 1891, Вена*]

Милый Михайлик!

Спасибо тебе за такое милое письмо, ты, я вижу, благоразумен. Ты говоришь, будто бы от моего письма более свободным духом повеяло, может быть! Дай-то боже! Но если это правда, что тут, в этой стране, я чувствую себя свободнее, то опять-таки никогда до сих пор я не ощущала так чувствительно, до чего тяжело носить оковы и до чего ярмо натрудило мне шею. Не знаю, выпадали ли у меня дома часы такой тяжелой, горячей и горькой печали, как здесь, в более свободной стране. Мне часто кажется (ты знаешь, как развита у меня «образная» мысль, а потому и не удивишься), мне кажется, что на руках и на шее у меня видны красные следы, которые натерли оковы и ярмо рабства, и все видят эти следы, и мне стыдно за себя перед вольным народом. Видишь, у меня руки в цепях, но сердце и мысль свободны, быть может свободнее, чем у всех людей, потому мне так горько, и так тяжко, и стыдно. Когда я вернусь на Украину, то, наверно, еще острее будет ранить наша неволя и я потеряю последний покой, который у меня еще остается. Но ничего, не будем печалиться об этом! Не о покое нам теперь нужно заботиться!.. Я здесь, по твоему совету, все присматриваюсь да прислушиваюсь, да это и нетрудно, потому что даже если и не захочешь, все равно увидишь и услышишь, что делается в здешнем мире. Теперь, разумеется, самое горячее дело здесь для всех — это

выборы *, выборы и выборы. Куда ни сунься, всюду о них услышишь. Когда я присмотрелась поближе, все это дело с «соглашением» * etc. мне представилось совсем иначе, чем дома. Дома я думала, что единственное спасение русин — объединение с правительством и поляками, что они поставят себя этим на более прочную, независимую основу, достигнут большей власти и значения; затем я думала, что, собственно говоря, только народовцы * и москвофилы * могут считаться настоящими партиями, способными оказать какое-либо влияние на народ и общественные дела; думала (меряя рабским масштабом), что те требования, которые выдвинул Романчук *, предоставят русинам бог знает какие прерогативы, думала, что и впрямь без поповства и крайнего клерикализма теперь в Галиции никуда и не сунешься, — но теперь мне все это представляется совсем по-иному: 1) из объединения ничего не вышло, а если бы и вышло, то принесло бы мало пользы, ибо все равно обе стороны (поляки и русины) ни капельки друг другу не верят и за пазухой прячут на всякий случай здоровенные булыжники; например, поляки теперь, хотя еще нигде ничего нет и в помине, уже пошвыривают время от времени в русинов то «нелойяльностью», то «москальством», а то и «нигилизмом». Кроме того, это «соглашение» начинает принимать такой вид, словно русины просят прощения у поляков за прежние глупости и вымаливают милости Wielmożnego pana i księdza proboszcza [1], чтобы изволили сменить гнев на милость; поляки берут тон все выше и выше, и уже теперь нужна большая кочерга, чтобы достать до их носа, а что же потом-то будет!.. 2) Власть и значение партия Романчука не только не получила, но потеряла и то уважение, которым располагала раньше в народе. Выйдя из оппозиции, она стала «под сильную руку правительства», — хотя правительство ей не доверяет, как не доверяло и раньше, вот и получилось только напрасное унижение. Эта партия не только не стала на независимую почву, а еще крепче связала себе руки. 3) Не только света, что в

[1] Вельможного пана и ксендза *(польск.)*.

окошке, — не только людей, что среди москвофилов и народовцев, никогда я не думала, что радикальная партия * станет такой большой, как теперь, и если она уже выдвинула двух своих кандидатов и кандидатуры их утверждены, это все-таки что-нибудь да значит. Изо всех трех галицких (русинских) партий радикальная кажется мне наиболее прогрессивной и разумной; я думаю, что если она умно поведет свои дела, ей легко будет привлечь к себе простой народ. Может, я оттого набралась таких мыслей, что теперь все мое окружение радикальское, потому что вся Сечь принадлежит к радикалам *, — не знаю, не оттого ли, но теперь я думаю именно так. 4) Меряя нашим масштабом, Романчук слишком много запросил у правительства, но, рассматривая положение таким, каким оно должно быть, он не запросил ничего лишнего, потому что практическое осуществление тех пожеланий, которые выдвинул Романчук, могло бы пойти помимо правительства, ведь конституция и так (теоретически) предоставляет каждому народу Австрии право национального развития, а практически использовать права это уже дело самого народа, к правительству надлежит обращаться разве только за расширением этих прав, а не за помощью в осуществлении их на практике. Нетрудно догадаться, что правительство отнюдь не заинтересовано в поддержке национальных стремлений славянских народов. 5) Правда, что поповство вместе с клерикализмом всяческого толка еще сильно в Галиции, но тем более нужно с ним бороться, а не потакать ему, потому что оно может высосать из народа все здоровые жизненные соки. Наконец, народ галицкий вовсе не так фанатически относится к унии или к какой-либо иной *форме веры* (не говорю о самой *вере*), как это хочется представить попам. Теперь уже создается и в Галиции непоповская интеллигенция, и чем дальше, она становится все многочисленнее и многочисленнее и приобретает все больший вес, и хоть она сама вышла (в большей своей части) из поповской среды, но, разумеется, уже далеко отошла от поповских традиций. Вот если эта небольшая (пока еще) интеллигенция запуталась бы в клерикализме — искреннем или показном, —

это было бы очень плохо и губительно для страны. Интересно все же, чем кончится эта «соглашательская» комедия, потому что теперь сложилась крайне любопытная ситуация: Романчук пишет в «Деле», что он и не думает брататься с поляками, ибо они и есть и будут врагами русинов! Как тебе это нравится? Ведь теперь Романчук, словно пан Твардовский *, повис между небом и землей, потому что потерял уважение и русинов и поляков, хотя, конечно, поляки, наверное, никогда его не уважали. Мне лично Романчук напоминает кое-какие общественные типы времен Руины, может быть даже он и искренно желает добра своему краю, но не знает, за что ухватиться и на что опереться, оттого и бросается во все стороны и бьется, как рыба об лед. Но с «соглашением» он провалился, потому что вся галицкая общественность, кажется, скорее бы с чертом помирилась, чем с поляками, в этом я уже уверена, потому что хорошо присмотрелась к здешним польско-русинским отношениям. Эта реакция против поляков имеет кое-какие весьма печальные стороны, — например, она придает силу и значение москвофильской партии, как антипольской, но зато она может помочь и чисто автономистской молодой радикальной партии. Идеал этой партии — независимое положение Венгрии. К слову сказать, далеко не все радикалы во всем солидарны с «Народом» — здешние, к примеру, потребовали исправления «программы» и готовят теперь свою, по собственному вкусу наряженную программу. Кто знает, как будет дальше, но, наверное, «Народ» — в собственных интересах — должен будет договориться с молодыми радикалами, потому что не может же сама редакция заменить собой партию. Плохо, что на такую маленькую страну, как Галиция, насчитывается уже четыре партии (твердые, народовцы, соглашатели и радикалы), но и здесь есть утешение: значит, все-таки люди живут и размышляют, а не спят и прозябают, как это у нас то ли поневоле, а то и по доброй воле испокон века получается...

Usque tandem, Catilina!.. etc.[1] *, можешь ты мне

[1] Доколе будешь, Катилина!.. *(лат.)*

крикнуть, потеряв всякое терпение, читая мою harangue [1]. И в самом деле, побаиваюсь, как бы не стать Principreiter'кой [2] — так прозвали во Львове одного нашего уважаемого товарища (догадайся, кого именно). Но то, что ты видишь, происходит, когда человек хоть на какое-то время «с цепи сорвется»!.. Все-таки должна написать еще несколько слов для характеристики галицкой общественности, все-таки должна abutere patientiam tuam [3], только затрону это с другой стороны. Дело вот в чем: хотя галичане (помни, далеко не все) выше нас стоят в *общественных* идеях и делах, зато общая культура у них далеко ниже нашей: я слышала об этом давно (так же как и ты), но не думала, чтобы это было действительно так.

Кроме того, в радикальной общественности держится направление (дай боже, чтоб недолго продержалось!)... Здесь еще возможны споры, подобные таким: что лучше — Шиллер или новые сапоги, Венера Милосская или куль соломы и т. п. Правда, все это проходит у них не так остро и дико, как у россиян, наверное, поэтичная украинская натура и европейская культура не допускают до этого, — но все же такое направление есть. Ежедневно спорю с «сечевиками» о неоромантизме, о поэзии и вчера все же заставила их признать, что в литературе важнее *портреты, а не фотографии* (понимаешь разницу?), что без «выдумки» нет литературы, что подлинно реалистическим описанием можно назвать только то, которое перед глазами читателя создает яркую и выразительную картину. Невелика эта победа, но я утешена тем, что еще «есть древу надежда...» Вот что они не решаются затрагивать, — это музыку, здесь протестов нет; думаю, что в этом сказался славяно-украинский музыкальный инстинкт. Из современных писателей они больше всего ценят Золя и ставят его выше остальных французских писателей, которых они, правду сказать... и не читали! Наконец, два моих наиболее упорных противника

---

[1] Скучная, утомительная речь *(франц.)*.
[2] Тот, кто ездит верхом на принципах *(нем.)*.
[3] Злоупотреблять твоим терпением *(лат.)*.

после горячих споров кончили тем, что один начал писать музыку на мою «Русалку» * (вот уж романтизм! Я сама из такого уже выросла), а второй взял у меня вокальные произведения Лысенко *, которые дал мне один из их друзей (также ультрареалист). Теперь суди нас, боже, чья правда! Наконец, Гриневецкий (это самый большой мой противник, и это он пишет музыку на «Русалку»), завзятый вагнерианец, позавчера принес мне целого «Лоэнгрина». Это уже ad majorem artis gloriam! [1] Достаточно того, что в нашем доме завелось нечто вроде salon artistique [2], я взяла даже на месяц пианино, и наши гости каждый день что-нибудь поют, а я аккомпанирую. Много нового я услыхала от них, — произведения композиторов Нижанковского, Вахнянина и других, да и Лысенко «Была гетманщина когда-то» я услышала тут впервые. Кроме того, одна из «кна-кна» принесла мне хорватский сборник, кое-что немецкое, «Лоэнгрина» и т. п. Теперь мы с ней разучиваем, я аккомпаненент, а она голос. Ты, наверное, думаешь: беззаботная у тебя жизнь! Но что же делать, если немцы не хотят оперировать ногу и из Вены не выпускают, нужно же как-нибудь время убить. Да и, наконец, как говорили «сечевики»: «Раз уж заехали к нам сюда, — кто знает, придется ли приехать вторично, — должны все видеть, что только удастся». Вот я и разглядываю, хожу по театрам и кафе да присматриваюсь, как живут и забавляются немцы; а живут они больше на улице, нежели дома. Пробуду я здесь еще недели две, пока мне сделают аппарат, заменяющий гипс; этот аппарат мне здесь приладят, испытают, хорошо ли он сделан и прилажен, и я с ним поеду домой, и буду ходить в нем год, а может быть, и больше, пока от него не будет какого-нибудь толка. Все же летом придется ехать на юг, на купанья, но только не на теплые ванны, ну их, я вижу, что от них пользы никакой, они только в высшей степени расстраивают организм и нервы. Что еще там будет летом, а пока опишу тебе свою здешнюю жизнь. Начну с того, как

---

[1] Для вящей славы искусства *(лат.)*.
[2] Артистического салона *(франц.)*.

ложусь спать, это момент прелюбопытный: человек раздевается, ложится и укрывается, но не одеялом, а толстой периной, и из-под перины выглядывает, точно цыпленок из яйца; укрываться так не лишнее, ибо в комнате бывает по временам не очень тепло. Утром просыпаемся около 10 часов. Услышав наш разговор, немка (хозяйка наша, она нам прислуживает) подходит, стучит, я встаю en déshabillé [1] открыть, и она каждое утро считает долгом удивляться: «Ah, die Damen sind noch nicht auf!» [2], а затем, вероятно в утешение нам, сообщает, что «der Kaffe ist schon ganz kalt» [3] («gonnz kold» по местному произношению) ставит на стол поднос с двумя «чарками» (бокалами) кофе и исчезает. Мама пьет кофе еще немного теплый, а я, пока приведу себя в надлежащий вид, пью нечто подобное кофейному крему. Потом опять приходит немка, вооруженная тряпкой, щеткой, щеточкой, тряпочкой и начинает Ordnung machen [4]. Об этом можно было бы целую эпопею написать!.. Немка подходит к окну, я вскакиваю и надеваю шубу, немка распахивает окно, разбрасывает постель по всей комнате, начинает ползать по полу, заметать, подметать, скрести, вытирать и т. д. Все это продолжается добрый час; наконец, постель приведена в порядок, комната принимает немецки-чистый вид, окно закрывается, et grace à dieu c'est fini [5]. Затем мама отправляется в город за вином, апельсинами (нигде, наверно, нет таких дешевых и хороших апельсинов, как здесь), или еще какой-нибудь едой, или за билетами в театр; я остаюсь дома, читаю, играю на фортепьяно или пишу письма, последним, впрочем, мало занимаюсь. «Улиты» ползут медленно-медленно, что-то не пишется; нет душевного равновесия; мною теперь более чем когда бы то ни было овладели Drang und Sturm [6]*, да к тому же нет никакой срочной работы. Кстати, когда же я получу это несчаст-

---

[1] Неодетая *(франц.)*.
[2] Ах, дамы еще не встали! *(нем.)*
[3] Кофе уже совсем остыл, совсем остыл *(нем.)*.
[4] Наводить порядок *(нем.)*.
[5] И, благодарение богу, это кончается *(франц.)*.
[6] Натиск и буря *(нем.)*.

ное «Harzreise»[1] и корректуру? Если бы не было у меня печального опыта, я бы опять осыпала тебя горькими фразами; но теперь знаю, это напрасный труд, и поэтому кончаю, чтобы не расстраивать себя и тебя. Я отклонилась от темы, revenons à nos moutons[2]*; возвращается мама, мы идем через дорогу обедать; за обедом пьем пиво, читаем немецкие газеты и намечаем, в какой театр идти; вместо юмористики я читаю для отдыха Heiratsantrag (брачные объявления в газетах) и Liebesbriefe (любовные письма), и это меня приводит в сатирическое настроение. После обеда мы сидим дома, затем прибегает какая-нибудь «молодая», а то и две-три разом «сечевых» «кна-кны»; как видно, каждая из них ждет повода нанести нам визит; им любопытно: что это такое «женщины с Украины»? Вероятно, мы поддержали честь своей нации, — ни одна «кна-кна» не удовлетворяется первым визитом, забегает еще и еще, так что не бывает дня, чтобы какая-нибудь «кна-кна» не показала своего лица. «Кна-кны» приходят, говорят, спорят, играют, поют, рассказывают о выборах, галицких делах и т. д. Не знаю, со всеми ли женщинами они так разговаривают, или только с нами, но видно, что они считают нас способными понимать серьезный разговор, а потому беседуют откровенно, а не то, что «развлекают дам» (есть такое выражение в Галиции). Потом под вечер, если не идем в театр, либо сидим дома, либо направляемся в «кна-княчью» кофейню так называемого Шенбера; там всегда сидит кто-нибудь из «русинов», за бильярдом, почти всегда компания сербов, есть и немцы и множество всякого народа. В этой кофейне интересно потому, что тут имеются различные славянские газеты, народовцев, москвофилов, галицкие, польские, чешские, сербские, хорватские, болгарские и какие хочешь. Тут же «кна-кны» переписывают ноты, ведут дебаты, даже составляют «воззвания». Вообще они чувствуют себя здесь в большей степени дома, чем у себя. Наконец, я уже сказала, люди живут больше на улице, им даже странным может показаться, как это

---

[1] «Путешествие по Гарцу» *(нем.)*.

[2] Вернемся к нашим баранам *(франц.)*.

целый день просидеть у себя и никуда не пойти. Потом здесь у людей есть потребность читать газеты, но не каждый может выписать газету, да и не всякий удовлетворяется одной; вот он и идет в кафе, просмотрит двадцать газет, выпьет стакан кофе или пива; вместе с этим здесь же в кафе назначаются всякие rendez-vous [1], так что человеку не нужно делать концы по городу, чтобы встретиться на несколько минут с кем-нибудь из знакомых. В такой манере жизни много удобств, но вместе с тем она как-то разбивает время и мысли человека, не дает ему толком приняться ни за какую работу и приучает жить словно на перекрестке. Думаю, что мне скоро опротивела бы такая жизнь, но пока она для меня в новинку (притом я хожу в кафе не чаще, чем дважды в неделю, и то это много), и поэтому меня занимает, и я присматриваюсь здесь ко всему с интересом. Раз была я в Сечи, видела много «кна-кон» и их комнату с портретами Шевченко и Федьковича, с тьмой газет на столе и широченным диваном «под Федьковичем»; была я там недолго, потому что пришла поздненько, но видела и слышала сечевиков немало, описывать не буду, а то очень длинно выйдет, лучше в другой раз напишу или расскажу. Еще ведь про самую Вену нужно написать.

Мы живем в старой, очень красивой части Вены, — недалеко от нас собственно начинается Burg [2] (императорский дворец и парк), там же Burg Theater [3], недалеко ратуша (Rathaus, Parlament [4]), всё прекрасные здания разного стиля, они сплошь покрыты орнаментикой и украшены скульптурами, так что даже непривычно все это видеть. И когда люди успели столько всего понастроить! Статуи — словно фарфоровые игрушки и кажется, ничего не стоит накупить их десятками. Что ни дом, то кариатиды, атланты, маски, гении и бог знает что! Такого прекрасного города, как Вена, может быть, и в мире нет; а общественные здания, концертные залы, театры! Какие украшения, сколько скульптуры,

[1] Свидания *(франц.)*.
[2] Город *(нем.)*.
[3] Городской театр *(нем.)*.
[4] Ратуша, парламент *(нем.)*.

живописи, орнаментики всякой — страх! Однако сколько ни пиши, всего не опишешь, да и пора кончать, мне и самой наскучило длинное письмо; кроме того, времени нет, — идем в театр смотреть Rossi (итальянское драматическое светило), который сегодня должен выступать в роли Giovanni le Terribile * [1] в пьесе того же названия Alexis Tolstoï! Увидим, как это итальянцы по-итальянски будут царскую тиранию представлять! Вот-то смеху будет! Из всех здешних театров мы чаще всего ходили в оперу, были на «Meistersinger von Nürenberg» [2] и на «Siegfried» (Вагнера), были на «Жидовке» * и на «Пророке» *, кроме того видели балет «Tanzmärchen» [3]. Опера здесь поставлена превосходно, артистический ensemble «знаменитый», а оркестр играет, как один инструмент. Видели мы здесь и парижскую знаменитость m-me Judic, и я должна была признать, как и моя баронесса *, c'est là où je reconnais l'esprit français [4]. Видели мы еще одну подлинно немецкую пьесу «Das vierte Gebot» * (Четвертая заповедь), написанную в каком-то странном романтическом, мелодраматическом стиле, у нас уже так не пишут. Мне эта пьеса не понравилась, но я не жалею, что видела ее, ведь нужно «познавать всякого рода вещи». Завтра еще поедем на «Вильгельма Телля» в самый классический венский театр — Burg. Не думай, однако, что я все время бегаю по городу: все, о чем я тебе пишу, я видела не за один раз, а за две с половиной недели. Вообще же хожу немного, так как нога болит, как и болела; по правде сказать, будь я здорова, то только бы и делала, что осматривала Вену. Да что говорить! Будь я здорова... Будь я здорова, меня бы здесь не было — нет худа без добра. Ну, наконец, и конец! Будь здоров, братик мой, мой друг! Не сердись, что так редко пишу, ты же видишь: хоть раз да горазд.

*Твоя Леся.*

---

[1] Ивана Грозного *(итал)*.
[2] «Нюрнбергских мейстерзингерах».
[3] «Танцевальная сказка» *(нем.)*.
[4] В этом я узнаю французское остроумие *(франц.)*.

Поразили меня в здешней выборной кампании * так называемые «расходы на агитацию», попросту говоря, грубый подкуп! У кого больше денег, того и партия крепче.

Кое-кто из них, не протестуя против литературы вообще, говорит теперь, что галичанам (да и украинцам) нет времени заниматься литературой (беллетристикой), ибо в ней нет нужды или по крайней мере нужда эта очень мала: книжек никто не покупает, да и денег на них жалко, лучше эти деньги обратить на общественные нужды и т. п.

### 8. М. П. ПАВЛЫКУ *

*Вена, 16 марта [1891]*

Милостивый государь!

Очень Вам благодарна, что так быстро прислали «Лорелей» * и «Народ»; и то и другое я уже прочла, но мама еще не дочитала, поэтому не могу Вам тотчас отослать «Лорелей» обратно. Послезавтра намереваемся отсюда выехать, значит до тех пор мама вряд ли сможет дочитать Лорелей, скорее всего мы привезем ее с собой. Не буду сейчас писать «обширную рецензию», думаю, что выскажу свое мнение на словах лучше, чем в письме, но кое-что все же должна сказать теперь. Прежде всего нужно сказать, что Лорелей мне очень понравилась, есть в ней что-то свежее, молодое и оригинальное; в этой повести я вижу подлинный литературный талант, а не литераторский дилетантизм, который так надоел в нашей литературе. Видно, что автор прочел немало произведений иностранной литературы, почему-то мне кажется, что она, наверно, много читала Жорж Санд, даже основная ее идея (es sind die Weisen welche durch Irrthum nach Warcheit reisen [1]), идея чисто жорж-сандовская. Впрочем, подбор фактов, диалогов, описание друзей и родных Наталки, это уже что-то совсем отличное от Жорж Санд, здесь уже виден настоя-

[1] Бывают мудрецы, которые путем ошибок доходят до истины *(нем.)*.

щий натурализм. В общем написана эта повесть словно бы сразу двумя стилями: сугубо романтичным и чисто натуралистическим. Госпожа Кобылянская — писательница новой школы, неоромантической, но ее неоромантический стиль не достиг такого идеала гармонии с жизненной правдой, каким владеют некоторые недавно появившиеся французские писатели. Иногда у нее красной нитью выступает тенденция и режет глаза, точно дисгармония красок. К тому же и сами основные идеи в этой повести далеко не новы и даже кое-где, сказала бы, довольно наивны, хоть и правильны и искренни. Что касается меня, то красота этой повести не столько в ее идеях, сколько в глубокой, тонкой, логичной психологии героини — Наталки. Читая историю Наталкиной «думки», я словно видела перед собою историю всех наших несчастных интеллигентных женщин. По-настоящему художественно описан характер Наталкиной тетки, этой женщины-хозяйки «старых правил», — тип взят целиком из жизни и создает впечатление портрета. Не скажу этого о характере героя Орядина: он кажется мне каким-то незаконченным, а в его поступках я порой не вижу логики и здравого смысла, в общем видно сразу, что он вставлен в роман только для Наталки, а не для него самого. Теперь что касается «технического исполнения» романа, то мне кажется, что он немного растянут, есть много похожих между собой абзацев, лишних диалогов, кое-где туманные, малопонятные и длинные фразы; в диалогах язык чист и хорош, но авторская речь часто попадает под немецкое влияние, ну, это дело пустое и легко исправимое. На этом пока я закончу и так уж столько наговорила, что и сама не ожидала. Вот только еще: мне кажется, что Лорелей для «Народа» не подходит: она очень длинная и по идеям для вас недостаточно передовая, а кроме того, если уж сказать чистую правду, мы хотим заграбастать ее себе для «Другого вінка», — он все же будет издаваться и в скором времени, как только соберется материал. Вот эта повесть, полагаю, более соответствует для «Другого вінка», чем для «Народа».

Хочу Вас просить, не были бы Вы так любезны от-

нести или отослать Гладиловичу страничку стихов, которую здесь прилагаю, потому что, посылая переводы в печать *, мы как-то не заметили, что осталась одна страничка, а теперь не хочется возиться с новым письмом из-за этой странички. Буду Вам очень за это благодарна.

Вот видите, как я увлеклась со своим писанием, а что бы только было, если бы я стала писать «подробную рецензию»!.. Но все же, наконец, заканчиваю. Теперь до свидания! Кланяйтесь госпоже и господину Франко.

*Л. Косач.*

### 9. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*Среда, 19/III [1891, Вена.]*

Милый Пуц!

Я думала, что вы все не сердитесь на меня за то, что я не написала одновременно с мамой, так как все равно мало интересного и нового могла прибавить к ее письму. Сегодня пришла немка и принесла аппарат, надела на ногу, запрягла меня и ушла. Аппарат этот не такой, как был в Варшаве, не так тяжел и совсем иначе устроен. Кажется, мне удобно будет с ним ходить, но теперь еще наверное нельзя сказать, так как нужно походить с неделю или самое меньшее дня три. Этот аппарат лучше гипса, с ним очень удобно сидеть, а ходить можно где угодно, даже без палки, но я еще боюсь ходить совсем без палки, поэтому мама купит мне маленькую палочку или зонтик. Не буду писать, как собственно этот аппарат устроен, очень долго рассказывать, ты все равно не поймешь, лучше сама увидишь. Мы скоро вернемся домой, но все-таки еще неделю пробудем здесь, так как нужно испытать аппарат. Теперь напишу тебе по поводу того, что ты читала о слонах и т. п.

Слоны не то чтобы *умнее* людей, но они приближаются к ним, могут, например, играть на литаврах, ездить на колесе, стоять на задних ногах и на голове, могут подавать тарелки, вино пить и денег не

платить. Очень было смешно, как один слон представлял хозяина в ресторане, второй — повара в белом колпаке и фартуке, третий — полицейского в треуголке и при шпаге; немцы страшно смеялись. Кроме представления со слонами, я посетила еще несколько раз театр. В воскресенье днем был детский спектакль — «Сказка о мачехе-царице», которая спрашивала у зеркала, кто прекраснее всех на свете, отравляла свою падчерицу и т. д. (ты знаешь эту сказку). Играли не очень хорошо, детей в труппе мало, и все довольно взрослые ребята, кроме одного совсем маленького «тигра» *. Но мне все-таки интересно было на них смотреть, я такого еще не видела. Мама рассказывала, что в прошлый раз, когда она была в Вене, детский спектакль был значительно интереснее и красивее. Но вот вчера мы с мамой были очень довольны, что пошли в театр: пели очень неплохо, и пьеса была интересна и хороша: «Отелло» Верди. Дездемона прекрасно пела песню об иве и «Ave Maria» [1], мне даже плакать захотелось, а некоторые немки очень плакали. Немки очень часто плачут в театрах. Чуть увидят что-нибудь печальное, то просто падают от жалости, а я думаю: ну и чего уж так разливаться?! А вот когда представляли «Ивана Грозного», никто не плакал, там и в самом деле никого не было жалко; ты только представь себе, Пуцик, что Ивана Грозного играли итальянцы поитальянски! Это было очень смешно и странно, и костюмы у них также были смешные, и держать себя по-русски они не умели, один только Иван Грозный был похож на русского, хотя итальянец играл. Но сама пьеса очень противная, скучная и неумело написана. Здешние «кна-кны» с нами в театр не ходили — только один раз на слонов и один раз в оперу, так как у них, как и у наших «кна-кна», денег немного...

Теперь «кна-кны» очень опечалены, потому что в Галиции избрали депутатами не тех людей, которых они хотели. «Кна-кны» все приходят ко мне петь и натаскали множество разных своих нот и еще обещали

---

[1] «Славься, Мария!» *(лат.)*

мне записать мотивы своих лисьих народных песен *, чтобы я отвезла их на Украину.

Ну, Пуцик, приходится кончать, так как мама хочет идти сейчас на почту и я еще не привыкла в этом аппарате так долго сидеть согнувшись; к тому же я и без того много написала. Будь здорова. Поцелуй от меня папу, если он еще дома, всех «тигров», «негров» и Екатерину Осиповну. Тебя крепко целую и жму лапку.

*Ваша Леся.*

### 10. М. И. ПАВЛИКУ

*10 июня [1891]*
*Евпатория.*

Милостивый государь!

Наконец, я добралась до постоянного места жительства (долго ли будет у меня это постоянное место жительства), — то собиралась в поездку, то ехала, в общем на это ушло целых две недели. Не писала Вам по той же самой причине — сборы. Теперь живу здесь у самого что ни на есть моря, жарюсь вовсю, есть достаточно времени, чтобы писать, если бы только могла писать, так вот поди же ты! .. Ну, уж в этом году мало что придется делать, нужно бороться за свою жизнь, хоть каких-нибудь силишек набираться, а там уж, может, как-нибудь по-иному пойдет. Однако все же есть кое-что начатое, без этого нельзя, — таков уж мой обычай! Вспомнила о том, что Вы писали о повести «Горе», хорошо, что Вы такой откровенный критик, с такими людьми только и можно толком поговорить. Но я не во всем с Вами согласна: мне кажется, что тема не так уж далека автору, как Вы думаете, ибо таких людей, как героиня повести, он знает множество, сталкивается с ними очень близко, скорее всего Вы, наверно, не ожидали такой темы и Вам она довольно далека, либо просто неинтересна. Что касается выполнения, то оно, наверно, далеко не безупречно, но там еще многое должно выправиться. На одних лирических стихах мне уже не удержаться! — тесно становится, хотя это не значит, что хочу их вовсе бросить, — этого, должно быть, никогда

не случится. И вот еще что: родное детище, да еще и первое не так-то легко забыть, как кажется, а к тому же автор совсем не разочаровался в своей несчастной, хоть и глупой Софье. Радует меня желание Кобылянской написать мне, извинитесь только за меня, что не так быстро отозвалась, все дело было только в моем адресе. Пусть пишет на том языке, на каком хочет, даст бог, разберу, хотя, конечно, приятнее было бы беседовать на родном. Надеюсь, она мне простит, если отвечу не по-немецки; во-первых, я практически не настолько знаю немецкий язык, а во-вторых, никогда, кроме как на своем языке, писем не писала и, наверно, писать не стану. В общем для писем есть еще силы и возможности. Надеюсь, что море мне очень поможет, — спасибо ему и южному солнцу, у меня прошла малярия, которая мучила меня всю весну, может быть когда-нибудь и я стану хоть наполовину человеком. Не знаю, когда вернусь домой, потому что мне предстоит немало по Крыму блуждать. В самой Евпатории останусь не дольше месяца. Прошу не забывать меня и не оставлять без писем, может быть и я буду немного поаккуратней, чем до сих пор. Пишите, как поживаете Вы и как Ваши дела. Мой адрес на этот месяц: *Россия, Евпатория, Таврическая губ., Фонтанная ул., дом Мирчи, быв. Шакая. Л. К.* Не потеряйте письмо, потому что такого чудно́го адреса запомнить невозможно, я сама его каждый раз забываю. Будьте здоровы.

*Л. К.*

### 11. М. И. ПАВЛИКУ

*12 (24) VIII 1891,*
*[Шаба.]*

Милостивый государь!

Сегодня прошло ровно две недели, как я получила от Вас письмо, и даже не прошу прощения, что до сих пор не ответила, ибо знаю, что Вы и так не сердитесь, — небось уже привыкли к моей безалаберности в корреспонденции. Прежде всего должна Вам сказать, что я уже не в Евпатории и не в Крыму, а в Бессарабии,

вот уже пятый день, как я здесь. Я полагала пробыть в Крыму дольше, но не судьба: полтора месяца я прожила в Евпатории и уже становилась похожим на человека, но за две недели до конца сезона заболела тифом и, едва поднявшись после него, тотчас же выехала из Евпатории, и уже в Крым не углублялась, боясь повторного тифа, а продвинулась поближе к нашим палестинам, — именно очутилась в Бессарабии, где и живу теперь над днестровским лиманом, ем виноград и, кажется, поправляюсь. Вот и все. Конечно, после такой истории с ногой у меня плохо, но уж не настолько, как я думала, да и вообще этот тиф оказался не тяжелым, хотя с меня достаточно и такого. Ваше письмо я получила как раз во время этой болезни и с трудом его прочитала, — а газеты, несмотря на все любопытство, прочитала только неделю спустя. Горько мне, что в Ваших письмах все время такое пессимистическое настроение: должно быть, оно приходит от положения дел, которое создается вокруг Вас, но тем хуже. Скверно также, что материальное положение Ваших дел так неустойчиво, но надеюсь, что помаленьку все поправится, ведь на свете не одна «головастая капуста» все-таки осталась. Случалось мне в последнее время видеть «Правду» (вот чудеса!), даже и меня удивило, до чего она теперь водянистой стала — совсем как молоко, которое продают по большим городам. Читала я там речи галицких депутатов парламента, мне даже жалко их стало, что они, бедные, должны теперь так извиваться, поставив самих себя в такое фальшивое положение; а этой бесталанной «Правде» приходится еще и утешаться ими и расхваливать их! Неужто вот этак и будет заниматься трескотней целых шесть лет? Жалко, что нигде не могу найти «Дела», а то бы еще лучше познакомилась со всей этой вашей трагикомедией, и хоть она не так-то весела, но все же интересна. «Народ» постепенно завоевывает себе симпатии людей, от которых я и не рассчитывала такой метаморфозы; в этих делах много значит еще и живой язык, потому что одной литературой много не сделаешь. Но есть здесь и такие люди, которые если бы могли, то издали напустили бы против вас куренду * — видите ли, одной цензуры для нас мало,

ибо мы часто бываем plus royalistes, que le roi [1], это, наверно, с давних пор ведется у порядочных народов. Теперь же у меня есть причины думать, что «страх иудейский» еще больше охватит «головастую капусту» и «рыцарей телячьего ордена», они-то надеются, что смогут от нечистой силы в печь залезть, но, полагаю, это тщетная надежда! Да ну их, пропади они пропадом!.. А уж до чего мне надоело такое состояние! По-моему, так: либо жить, либо умирать, но только не дрожать, да не прозябать вот так всю жизнь. Напрасно Вы думаете, что у меня только и забот, только и мыслей о моем здоровье, то бишь болезни, — будь это так, то никакой беды бы не было и не было бы о чем говорить. А между тем пока я больна, Вы будьте здоровы!

*Л. Косач.*

Мой адрес: г. Аккерман, Бессарабской губ., селение Шаба. Елизавете Ивановне Тардан для передачи мне. (Здесь пробуду до 8(20) сентября.)

### 12. М. И. ПАВЛИКУ

[*21 октября 1891, Колодяжное*]

Милостивый государь!

21.X. Однако следует ответить на Ваши вопросы. Я нахожу идею женской газеты очень хорошей. Отдельный сборник — дело трудное и весьма случайное, а в журнале возможна большая систематичность и постоянство. Я все же думаю, что это издательство лучше было бы содержать на общественные деньги, так было бы даже справедливее и вместе с тем была бы какая-то гарантия, обеспечивающая право всего общества на издательство. Одному или двум человекам трудно содержать это на свои деньги, ведь среди нас богатых нету. Не совсем еще понимаю, как собственно думают ваши люди поддерживать новое издательство. Что Вы и новая

[1] Монархичнее, чем монарх *(франц.)*.

газета, вероятно, будут взаимно друг друга дополнять и контролировать, в этом я уверена, ибо женское движение в Галиции мне представляется тесно связанным с движением вашей партии *, да и среди какой другой партии галицкой оно может найти опору. Мне почему-то кажется, что новая газета будет преимущественно литературной, а не политически-общественной, следовательно вы друг другу помешать никак не можете.

У вас теперь, кажется, литература совсем исключена, и я собственно не знаю, зачем посылаю эти «слова», должно быть потому, что они уже неделю, как переписаны для «Народа», мама советует их послать, а у меня нет причин ослушаться ее совета. Одно только: если, паче чаяния, будете печатать, то печатайте, либо оба «Что?», либо ни одного (или снимите *мое* собственное), иначе мне никак не подходит. О женской газете мама напишет свое мнение более пространно, а мне разрешите на этом закончить, пускай об остальном до следующего раза, теперь что-то не пишется. Вот еще что: пишите мне все по правде, как писали до сих пор; может, что новое услышите о дяде *, не бойтесь меня ранить, потому что сильнее ранить меня уже никто ничем не может. Если бы я имела право перестать жить, то перестала бы. Будьте здоровы.

*Л. К.*

Пишите, как себя чувствуете? Я хотела бы видеть Вас здоровым. Что собственно с Вами делается?

### 18. М. И. ПАВЛИКУ

[*5 декабря 1891, Колодяжное*]

Милостивый государь!

Что это Вы еще заболели инфлуэнцией? Невесть что выдумали! Этого Вам еще не хватало? Но я надеюсь, что она теперь уже прошла, кажется эта болезнь непродолжительна. У нас по селам она тоже ходит, но не в такой тяжелой форме. Да, еще у нас на Волыни людям не так плохо живется, нету голода, наоборот, живем

лучше других. Если слушать и читать, что делается в других местах, то очень тяжело и страшно становится. Вот хочу Вас познакомить со страничкой истории переселения в Сибирь *, если интересно, напечатайте. Здесь не будет никакого систематического рассказа, но зато это правдивая повесть человека, видевшего собственными глазами все это горе, а так как это частное письмо, то оно получилось весьма искренним. Это тем более интересно, что сейчас у нас ходили слухи, будто бы правительство очень хорошо организовало переселенческое движение, и вот она, эта организация! Хотя известие может показаться запоздалым, это написано 1 октября ст. ст., но следует помнить, что письма из тех мест не так-то быстро доходят. Собственно это была самая горячая пора для переселенцев, которые после неурожая отправились искать счастья. Вот и рассказ: «. . .Вот картины из нашей жизни. Нужно сказать, что голод в России увеличил наплыв переселенцев в Сибирь. Те, которые собирались идти к весне, отправились теперь. Когда мы ехали в начале сентября из России в Сибирь, то на пристанях, на вокзалах была уйма народу с детьми. На нашем пароходе их было столько, что не то что лечь, но некоторым негде было даже и сесть, и они стояли все время на ногах, либо чередовались друг с другом. И все они бедно одеты, питаются сухарями с водой либо, как наши украинцы, одной таранью. В Тюмени их ожидало известие, равносильное осуждению на медленную голодную смерть: из-за мелководья пароход до Иевлева [1] не шел, и приходилось либо идти пешком 130 верст, либо. . .» Вот что творится на русской земле! Человек, от которого идет это известие, пишет мне правду; при такой огромной беде собственное горе кажется какой-то химерой. Да ну его, это собственное горе, я про него давно и думать позабыла! Вот только жалко будет, если придется когда-нибудь свое писание забросить, ведь тогда уж действительно не остается никакого смысла жить. Ну, мы еще посмотрим, чей черт страшнее будет — мой

[1] *Иевлев* — пароходная пристань на р. Тоболе. *(Прим. Леси Украинки.)*

ли, или этой туберкулезной бациллы! Я не могу сказать так, как Вы, что мне бы только то и то закончить, и можно отправляться ad patres [1], потому что мне столько, столько нужно написать, что проживи я три жизни, то и то еще не знаю, успела ли бы я все сделать. Поэтому умирать я не собираюсь, а только если придется стать «лишенной всех прав состояния», то это уже будет трагикомично. Но опять-таки можно себя утешить, как тот бубен на свадьбе: «Видно будет, как там будет»!.. Кажется, это теперь единственное утешение, как ни смотри! А что? — в конце концов пока останется хоть одна правая рука, то еще кое-как обойдусь. Впрочем, теперь я уже ни в чем не уверена; да, чтоб потом не печалиться. Но не думайте, что вот уже пропадаю — это только так, — чего на свете не бывает!.. Ах, если бы только каким-нибудь чудом выздоровел дядя, то была бы и я на человека похожа, а так, ей-право, я теперь ни на что не гожусь. Тут бы не сидеть понапрасну, пока есть время, а тут рука как-то не поднимается для порядочной работы. А моя работа такова, что насильно за нее не возьмешься. Беспокоит меня, что от них нет никаких известий, вот только, спасибо Вам, знаю, что не все пропало. Честное слово, лучше худая правда, чем золотая ложь, я никогда иначе и не думала, но все же иной раз хочется, чтобы эта правда была чуточку другой...

Читала я рецензию дяди *. Все это правда, но только, по-моему, о таких «романах» и говорить не стоит. Но что-то мне не нравится, по правде говоря, эта украинская корреспонденция: вытащил человек какого-то допотопного Алексеева, о котором уже и бог и люди забыли, и возится с ним, как кот с салом, да и русский радикализм он осуждает не совсем справедливо, ведь не всегда он был виноват, что украинцы так в него погружались и теряли свою национальность, — это скорее вина недомыслия самих украинцев. Кстати сказать, что и речь этого украинца шероховатая и угловатая! Нет, видно, еще не научились мы жанру публицистики! Может, еще научимся — новое дело для нас!

[1] К праотцам *(лат.)*.

А что наши люди лентяи, то лентяи, это я вижу теперь хорошо! У нас и гражданского воспитания никакого нету, а из-за этого и гражданского чувства недостает. Все приходится только глаза протирать, чтобы яснее на свет поглядеть, а некоторые, когда ленятся, то и глаз не протирают, а просто спят сном праведных, и снятся им золотые сны. Но думаю, что это недолго продержится, потому что вскоре наступит такое время, что придется либо уснуть так, чтобы и снов никаких не снилось, либо совсем проснуться и позабыть о всяких снах.

Это уже, кажется, тоже мерещится, как сон, но так будет.

Скажите, если то, что я теперь посылаю, уместно, то когда-нибудь пришлю еще что-нибудь подобное. Горьки такие слова, но пусть они не замалчиваются. Интересно, посылаете ли Вы свою газету кому-нибудь в Сибирь? Пишите мне что бы ни было правду. Начинаю верить в свою натуру, — довольно выносливая! Будьте здоровы!

*Л. К.*

*P. S.* Надеюсь, что посылку Вы уже получили.

### М. М. П. ДРАГОМАНОВУ

*1892. 3.III*
*[Колодяжное]*

Милый мой дядя!

Ваше письмо с портретом я получила. Получила именно я потому, что мама теперь в Киеве. Надеюсь, что и мама и Вы извините мое самоуправство, но, узнав Ваш почерк и нащупав фотографию, я не в силах была ждать две недели до маминого приезда. И, наконец, я почему-то хорошо знала, что там есть письмо и для меня. Спасибо Вам, что нашли время мне написать; мне, видите ли, хоть коротенькое письмо, только бы от Вас. Длиннотами я уж сама надоем. Только советую, если это письмо Вам покажется не в меру длинным, Вы

его отдайте тете, а она Вам, может быть, вкратце его перескажет. У меня же такой странный характер, что я совсем не умею писать коротких писем, если к кому-нибудь хорошо отношусь, а пишу коротко только тогда, когда нужно кого-нибудь изругать, — вот тогда уж «раз — и готово!» Непременно постараюсь добыть себе те книжки, которые Вы советуете, — спасибо за совет, — не думаю, чтобы это было трудно. Очень жаль, что с этим «Иезекиилем» вышло недоразумение, но беды большой еще нет, потому что у меня сохранился прозаический перевод, его и в стихи переложить недолго. Тема Ваша («Брюс») запала мне в сердце, уж очень вступление с пауком любопытно! Кажется мне, что можно будет так написать, чтобы и для «Дзвінка» * пригодилась, хотя поручиться за это нельзя, ведь у этих галичан бывают порой какие-то необыкновенные взгляды на самые обыкновенные вещи. Ну, да это уж там посмотрим, а пока что мое дело работать, ни на кого не оглядываясь, кроме Вас. Когда же будет сделано, куда-нибудь приткнем, потому что если несчастные «Pauvre gens» нашли себе пристанище после продолжавшихся целый год скитаний, то, видно, моя доля еще не пропащая. Кажется, мне и моим писаниям суждено-таки немало скитаться по свету, вот и теперь одна моя повесть *, оконченная еще два года тому назад, скитается по миру галицкому, то скитается, то отлеживается целыми месяцами на одном месте. Совсем так, как сам автор! А две мои поэмки *, — те «изъездили всю Польшу и Украину» и все-таки ко мне вернулись в оригинале, а печати так и не увидели. Смешные эти наши издатели: так и хватают за полы — давай что-нибудь новенькое! — а дашь, так оно и состарится, это новенькое, пока свет увидит. Когда-то у нас был разговор с г. Гриневецким о поэтах и поэзии, и тогда он мне доказывал, что Украине еще рано иметь поэтов или, может быть, уже поздно, а доказательством этому может служить хотя бы то обстоятельство, что им (поэтам) некуда деться со своими стихами, а если и денутся, все равно их никто читать не станет, потому что теперь не время для дорогих забав. Я тогда рьяно

спорила за raison d'être[1] поэзии, но теперь, может быть, кое с чем и согласилась бы, хотя все-таки не совсем. Я все же и теперь думаю, что если чьим-нибудь стихам абсолютно не находится места, то очевидно потому, что стихи эти плохие, а если будут хороши, то от того не испортятся, что какое-то время полежат, если для них теперь еще время не пришло. А что для поэзии теперь уже поздно, этому я не верю, — неужто наша поэзия «отцвела, не успевши расцвесть»? * Ведь, по-моему, она еще совсем не успела расцвести как следует. По моему мнению, у нас теперь только еще кое-кто начинает учиться версификации, большинство же ее до сих пор не признает, а следует правилам: «Не налагай оков на вдохновенье!» * да «чтобы душа была открытая»! Я знаю одного поэта, который сочинил для себя афоризм: «Хорошая рифма — гибель для идеи!», и, нужно сказать, он верен своему афоризму, уж вольно или невольно — кто его знает. Что касается меня, то я только гению могу простить плохо построенное стихотворение, да и то не всегда. А украинским поэтам следовало бы на какое-то время запретить писать национально-патриотические стихи, тогда, может быть, они поскорее научатся версификации, вынужденные к этому лирикой и переводами, а то теперь они больше всего надеются на патриотизм своих читателей, а не на собственную рифму и размер. Мне сердечно жаль, например, молоденького поэта Крымского, — из него, может быть, и человек вышел бы, а теперь... «скука» одна осталась. Может, смешно читать, как я разглагольствую на такую тему, но что же — если мое оружие обернется против меня, то тем хуже для меня, но я всегда буду так говорить. Впрочем, меня люди совсем не за стих ругают, а за то, что я мало идейна или слишком мало тенденциозна, но мне кажется, что если я буду тенденцию за волосы притягивать, всем будет слышно, как затрещат ее бедные волосы. А она, когда захочет, то и сама ко мне придет, тогда уж я ее не прогоню. Да, наконец, не обо мне речь. Меня еще слишком мало ругают, — страшно, как бы не избаловаться. Только мама

[1] Смысл *(франц.)*.

порой покритикует поострее, а Миша даже смешит меня своими дифирамбами; видимо, это неправда, что нельзя стать пророком в своем отечестве, потому что можно быть им даже в глазах родного брата. Зато уж с Мишей я всегда в добром согласии, тогда как с товарищами частенько приходится ругаться, хотя другой раз и не рада — не в моем характере. Правда, нам с Мишей не случается спорить, потому что мы так редко видимся, что нет времени для ссор: зимой он мало дома бывает, а летом меня злая судьба по диким степям носит. Только уж этим летом я не в дикие степи хочу ехать, а куда-нибудь в другое место, да боюсь, что Вы посоветуете мне «не рыпаться» и я должна буду послушаться совета. Впрочем, я жалуюсь на скитания, а они, если всю правду сказать, вошли уже мне в кровь: как наступает весна, меня тянет в теплые края (тут еще виноват и страх перед весенней лихорадкой), только мне теперь страшно было бы одной где-нибудь оставаться, потому что я уже знаю, каково лежать в тифу среди чужих людей.

Теперь еще нужно мне кое о чем Вас попросить. Вот Миша уже давно просил, чтобы я узнала, можно ли окончившему русский университет студенту-медику получить место врача в Болгарии, нужно ли для этого держать экзамен при каком-нибудь болгарском учреждении, или достаточно русского диплома, или там чужих и совсем не принимают? А если принимают, то на каких условиях? Об этом я бы уже узнала у Вани. Вторая просьба весьма оригинальна (лучше сказать — смешна) и относится к Зоре и Раде. Наши дети уже давно ею надоедают, да я все забываю. Дело вот в чем: как-то у нас был Ваш исторический атлас «Культ Митры» (так, кажется?), детишки разглядывали его с большим удовольствием, — видно, стиль рисунков им пришелся по вкусу, — и больше всего им понравился рисуночек, где солнце едет на колеснице, все в лучах и широко улыбается; этого солнца они никак не могут забыть и вот теперь просят, чтобы им скопировали это «Солнце» на бумажку и прислали сюда. Вот я и прошу, пусть это сделают, а то меня ребята съедят, если солнца не будет. А вот и собственная моя просьба: позвольте

мне захватить присланный Вами портрет и взять его себе в новую квартиру «на вечное владение», а то мама все собирается мне дать из Ваших портретов «который получше», а пока что еще никакого не дала. Дело будет скорее, если я сама возьму. Согласны? А ежели нет, приеду Вас грабить.

Милой тете мои поцелуи от всей души!

*Ваша Леся.*

### 15. П. Я. ФРАНКО

*20/IV 1892,*
*[Колодяжное]*

Милостивый государь!

Я подготовила, наконец, свои стихи к печати. Вы были столь любезны, что согласились присмотреть за их изданием *, поэтому я и обращаюсь к Вам. Мы убедились, что издавать за границей, а корректировать здесь — дело очень затяжное. Поэтому я вынуждена обременять изданием своих стихов добрых людей. Сборник будет издаваться на мои средства, но уже Вашими хлопотами. Я хотела, чтобы он был издан так, как наше законченное теперь издание Гейне. Все необходимые расходы, на корректуру или на что-либо другое — мои. Только будьте так любезны, последнюю корректуру просмотрите сами, тогда я буду уверена, что в моих стихах если и останутся поэтические ошибки, но не будет опечаток. Вы сами знаете, какое несчастье эти опечатки. Только два издания я видела без опечаток: «Вершины и низины» и «На новый путь» *.

Я попрошу Вас еще об одном деле, которое, наверно, покажется Вам странным: когда будет печататься моя книжка, то верстку посылайте для прочтения г. Огоновскому. Хоть это не очень удобно для Вас, а отчасти и для меня, но пусть уж так будет, этим Вы меня избавите от больших хлопот.

Сейчас посылаю первую часть, но вскоре вышлю и вторую, так как и она готова; обе должны печататься в одной книжке. Последовав Вашему совету, я не поместила сюда никаких переводов, их действительно лучше

издать отдельно. Хоть надежды мало, но, может быть, книжка без переводов проникнет на Украину!

Вот все мои условия, если что-нибудь не досказала, как нужно, простите, у меня нет опыта в издательском деле. Теперь мне остается попросить извинения за будущие хлопоты и поблагодарить за доброе желание, с каким Вы беретесь помочь мне выйти в свет с моими песнями.

Жаль, что я не могу увидеть Вашего издания Гейне *. Как бы его достать? Что касается В. Гюго, то в последнее время я ничего не переводила, — много было другой работы, и к тому же я такая работница — сегодня бежит, а завтра лежит. Тем не менее я поставила себе целью много переводить. Некоторые из моих товарищей тоже обещают, а кое-кто уже начал. Даст бог, издадим сборник.

Будьте здоровы! Благодарю заранее за Ваш труд! Вашей супруге и деткам мои поцелуи и искренний привет.

Искренно уважающая Вас

*Леся Украинка.*

### 16. И. Я. ФРАНКО

*14 мая 1892,*
*[Колодяжное]*

Милостивый государь!

Простите, что ответила Вам через день, а не сразу, никак не могла раньше. И теперь пишу, урвав минуту, ибо сегодня еду в Варшаву, осталось три часа до отъезда. Через неделю вернусь домой. Спасибо Вам от всей души за Вашу помощь и внимание ко мне! Если бы я могла когда-нибудь Вас отблагодарить... Хорошо, что могу ответить по пунктам, так будет больше толку, а он не всегда бывает в моих письмах.

1. Я согласна с Вами, что не надо оставлять пустых страниц, так лучше. Будет дешевле, и никто не подумает о намерении увеличить книжку за счет белой бумаги. Я совсем и не заинтересована в большой книге. Делить на отделы не буду, это трудно и необязательно.

Будут ли переводы, или нет, еще не знаю; посмотрю после набора, из оригинальных вещей тоже выйдет объемистый томик.

2. Общее название — «На крыльях песен» — посылаю. Предисловия не будет. Обложка пусть будет из той же бумаги, что и на нашем издании Гейне.

3. Если музыкальная гамма * будет плохой, обойдемся и без нее. Я вообще что-то раздумала ее печатать.

4. Звездочки * * * можно выбросить там, где они между куплетами, и оставить, где они начинают стихотворения без названий. Вот и получится наполовину по-вашему, наполовину по-моему. Между строфами, однако, пробелы необходимы [. . .]

Видите, упрямства не проявляю, с чем соглашаюсь, тому повинуюсь, в остальном же пусть будет по-моему. Очень прошу Вас просмотреть корректуру предисловия нашего Гейне. Пусть скорей печатают и высылают нам в листах.

Простите меня за такое письмо. Будьте здоровы. Спасибо.

*Л. К.*

Деньги, 25 рублей, посылаю как задаток за напечатание моих стихов, скоро получите.

### 17. О. С. МАКОВЕЮ

*Колодяжное. 28/V 1893.*

Милостивый государь!

Большое Вам спасибо за присланные рецензии * и письмо. Это не то, что большая любезность, это больше чем любезность, ибо немного найдется людей, чтобы так старались утешить чужого незнакомого человека. И правда, Вы доставили мне огромное утешение. Напрасно Вы думаете, что я уже в таком отчаянном моральном состоянии, когда человеку ничто не мило, как говорится и божий свет не мил. Нужно пребывать уже в крайнем упадке духа, чтобы не обращать внимание ни на какой голос, ни на какой отзвук человеческой похвалы или порицания. Была бы я в таком состоя-

нии, я, наверное, удержала бы при себе свои грустные и веселые песни, не заботясь о том, чтобы отдавать их в печать и распространять среди людей.

Вашей рецензии в «Зорі» я еще не читала *, потому что мы еще не получили II №. С мыслями, которые Вы высказываете в письме, я только отчасти согласна. Например, я сама теперь вижу, что моя книжка получилась слишком печальной, и это портит впечатление. В общем могу сказать, что хоть и немного времени прошло с тех пор, как вышла моя книжка, но если бы я издавала ее *сейчас,* то издала бы иначе. Ну, да что поделаешь! «Всяк задним умом крепок». Однако я не согласна с тем, что для понимания чьих-либо стихов необходимо знать биографию автора. Неужели мы, поэты (присваиваю себе это название с разрешения критиков), и в самом деле должны вечно жить «на большой дороге» и отдавать людям на суд, — скажу даже на съедение, — не только свои мысли и работу, но и всю жизнь. Не знаю, как для кого, но для меня та минута, когда я увидела бы напечатанной свою подробную биографию, была бы самой горькой минутой в моей жизни, несмотря на то, что в моей биографии не нашлось бы ничего ни особенно интересного для людей, ни тем более позорного для меня самой. Кроме того, я думаю, что неправилен самый метод критики ad hominem [1]*, неправилен, хотя его и признают новые французские критики. Конечно, не следует принимать каждое лирическое стихотворение за страничку автобиографии, ибо часто в таких стихотворениях местоимение *Я* употребляется только для большей выразительности. Разумеется, что это не всегда так, но нужно помнить, что так бывает. Что же касается грустного колорита в моих стихотворениях, то скажу Вам одну вещь интересную для критика-психолога: часто поэтическое настроение у поэтов зависит от погоды, — одни больше пишут весной, в прекрасную погоду, другие могут писать только во время осенних дождей — у меня же это настроение зависит больше всего от того, какая погода в душе, и я пишу больше всего в те дни,

[1] Применительно к человеку *(лат.)*.

когда на сердце ненастье, тогда почему-то работа идет быстрей. Конечно, и у меня на сердце далеко не всегда идет дождь — избави бог, — но об этом, как я вижу, нельзя не подумать, читая мои стихи. Я знаю, что это нехорошо, но ведь «натуру трудно изменить», и я могу изменить только направление этой натуры, а именно отбросить лирику с местоимением *Я*, — впрочем, не знаю, много ли от этого изменится. Вы боитесь, что я не пойду вместе с духом времени, а останусь позади, — не думаю я этого. «На крыльях песен» не последнее мое слово, а если я думаю идти дальше, то, конечно, вперед, а не назад, иначе не стоило бы и выступать.

В общем я рада, что мои стихи вызвали критический разговор, — пусть люди ругают, только бы не молчали, и то хорошо; а если говорят, да еще и не очень ругают, то это уже совсем хорошо. Если плохой поэт вызовет благожелательную критику, то этим он уже принесет людям пользу, потому что критика, может быть, больше нужна читателям, чем самим писателям. Нашей литературе много чего недостает, но больше всего недостает хорошей талантливой критики.

И Вы и г. Верхратский признаете, что форма моих стихов удовлетворительна, — я не ставлю себе этого в большую заслугу, изыскивать лучшую форму — обязанность каждого, кто пишет стихи не только для забавы. Правда, у нас еще не все пишущие поняли эту обязанность и думают, что для такой бедной литературы, как наша, «всякое даяние благо», и поэтому печатают такие вещи, которые, конечно, ни за что бы не осмелились показать ни одной редакции иностранной газеты. Но я полагаю, что такие писаки не уважают либо себя, либо украинскую литературу. А я все-таки не считаю нашу литературу нищенкой, и если у меня что-нибудь плохо и получается, то разве потому, что лучше не могу сделать. Боюсь, что наши критики смотрят на нашу литературу тоже с особой точки зрения, что она, дескать, молода, и судить ее так строго не следует, наоборот — нужно хвалить и пробудить в литераторах интерес хотя бы к какой-нибудь работе. Если дело обстоит именно так, то это очень жалко. Не знаю, как кто, но я бы хотела, чтобы меня судили со всей от-

кровенностью, не обращая внимание ни на мою молодость, ни на молодость нашей литературы, и тогда бы я знала, как мне отнестись к этому суду. В Вашем письме я почувствовала этот искренний тон, несмотря на то, что Вы столько раз словно просите за него прощения. Чтобы развязать Вам руки к более острой критике, я скажу, что никогда не обижаюсь, если судят мою работу. Не люблю только критики ad hominem потому, что дело ведь не в том, что поэт молод или стар, болен или здоров, оптимист или пессимист, от всего этого его стихи не лучше и не хуже.

Простите, что в письме даю целое исследование, сама вижу, что написала много лишнего. Очень бы хотела познакомиться с Вами лично. Будьте здоровы! Еще раз спасибо!

*Леся Украинка.*

### 18. О. С. МАКОВЕЮ

*Киев. 31 октября 1893.*

Милостивый государь!

Думала я над Вашей заметкой в «Зорі» * и пришла, наконец, к тому, что единственный выход из беды для галицких газет — забастовка! Не знаю, можно ли подать такой совет у вас публично, а то я бы подала. Право, единственный выход таков, чтобы все газеты бастовали до тех пор, пока псевдоподписчики не станут подписчиками à la lettre [1]. Хватит ли у галицких журналистов солидарности и выдержки для этого, уж не знаю. Иного выхода я не вижу, ясно, что ваши подписчики весьма деморализованы долголетним опытом, — читать газету и не платить за нее, — поэтому придется предпринимать какие-то необычные меры, чтобы научить их приличию. Что касается съезда литераторов *, то я здесь кое с кем об этом поговорила; конечно, мы бы рады были на него приехать, но теперь никто из нас еще не может уверенно сказать, приедет ли. Думаю, что Вам не следовало выступать публично, хотя бы и за границей с этими мыслями об

[1] Буквально *(франц.)*.

украинской литературе, ее задачах и т. д., а также о кое-каких технических вопросах, касающихся распространения наших книг и т. д., ибо после этого можно было очутиться не у себя дома *, а в значительно с меньшим комфортом обставленной квартире. Хотелось бы знать, где и каким образом будет организован этот съезд. Надеюсь, что мы в конце концов сможем явиться хоть и не в большом количестве. Я не совсем понимаю, что Вы хотели сказать в этой заметке, написав, что нам следует посоветоваться о том, «чтобы мы уже, наконец, все одинаково писали». Что же это будет за литература, если все писатели станут писать одинаково? Уж не лучше ли, чтобы был один большой писатель с одним большим пером и с одним большим листом бумаги... Простите, что получилось похоже на насмешку, но у меня такой façon de parler [1]. — Я могла бы больше обидеться на Вашу филиппику против украинцев вообще и украинских писателей в частности, однако этого не сделаю, а только выскажу Вам кое-что по этому поводу. Не знаю чем это объяснить, но галичане лучше говорят, чем пишут, а украинцы лучше пишут, чем говорят. Что же касается того, что в украинских семьях часто говорят по-русски, то, кажется, не так давно было, когда галицкие русинские семьи говорили по-польски, — будь у нашего языка такие же права в России, как в Галитчине, я твердо верю, что и мы не остались бы позади, а теперь пусть кто хочет бросает камень в украинцев, угнетенных школой, правительством, общественными институциями, только я этого камня не осмелюсь поднять. Чтобы Вы поверили в мою беспристрастность, я должна сказать, что родной мой язык украинский и что до нашей семьи этот патриотический камень все равно не долетит, если и будет брошен. Мне горько, что между Галитчиной и Украиной в последнее время чаще летают такие камни *, чем добрые советы. Вы в Вашем письме словно отрекаетесь от украинцев и считаете их чуть ли не за шарлатанов, которые надувают честное общество, выставляя себя знатоками языка и честными работниками. Как хотите,

[1] Манера говорить *(франц.)*.

но меня это тяжко оскорбило, хоть и не лично (в этом прошу мне поверить). Конечно, Вы имеете право, и даже должны, критически смотреть на украинцев, на их язык и работу, но из-за того, что какой-то недотепа влепил в свою писанину какую-то «ганджу» (не знаю, впрочем, не была ли там речь о Гандже Андибере, рыцаре запорожском) *, нет еще оснований выметать начисто из Галитчины все украинские произведения вместе с писателями. Мы не виноваты в том, что до сих пор галичане нас так идеализировали и что теперь наступила реакция. Однако довольно об этом, потому что Вы, должно быть, и сами не хотели сказать того, до чего дошла моя логика, идущая по указанному Вами пути.

Вы приглашаете меня работать в «Народной часописі» *. Что Вам на это сказать? Из Ваших слов о ней я не обрела большого доверия к этому официальному органу. Будучи в Вене, я видела первые номера этой газеты — они мне не понравились, мне казалось, что редакция играет с народом в куклы... Наконец, я просила бы прислать мне один из последних номеров, чтобы знать, какова она теперь, эта газета, — может, стала лучше? Не увидав, ничего обещать не могу, тем более что я теперь очень занята. Если «Народна часопись» придерживается того же направления, что и «Правда», то она, значит, не совпадет с моим направлением, поэтому я и не находила до сих пор возможности писать в «Правде».

Спасибо, что Вы распорядились выслать мне «На крыльях песен», но я их еще не получила. Будьте любезны, скажите, чтобы выслали один экземпляр наших переводов Гейне («Книга песен») (бандеролью) по адресу: France, Paris. Rue Corneille, 5. A monsieur Alexandre Pokrovsky [1]. Буду Вам очень благодарна.

О фольклористическом издании г. Франка * мне уже известно из его письма, и я очень рада, что у нас будет издаваться такой журнал. Постараюсь помочь ему чем могу. Вышел ли уже сборник г-жи Кобринской? Я не знаю теперешнего адреса г-жи Кобринской, хоте-

[1] Франция, Париж. Улица Корнеля, 5. Господину Александру Покровскому.

лось бы ей написать. Хотелось бы посмотреть и книгу, но не знаю, как ее приобрести.

Будьте здоровы! И не пренебрегайте так украинцами, потому что, право же, не все то худо, что идет от них. Искренне приветствую Вас.

*Л. Косач.*

*P. S.* Мой адрес остается прежним: Ковель, Волынской губ.

### 19. М. П. КОСАЧУ

*30/XI 1893,*
*Киев. Стрелецкая, 9.*

Милая моя молоденькая Кна-кна!

Что ты обо мне думаешь? Что я суровая злопамятная девушка с хрустальным сердцем в груди? Нет, поверь мне, не по злопамятности не писала тебе до сих пор, а просто потому, что некогда было сочинять большой манускрипт, такой, чтобы ответить на все твои вопросы. У нас недели полторы гостила мама, и за это время у нас в доме было вдвое больше людей, вне дома вдвое больше беготни, а у меня за столом вдвое больше писанины, — я готовила «Атта Троля» к печати, переписала, выправила и т. п., переписала твою «Тучу», кое-что из своих прежних мелочишек («Мотыльки» и так далее) для «Зорі». Кроме того, у нас была дважды литература *, большая и маленькая. Сколько раз я ходила с мамой на Крещатик, уж и не знаю. Все это отнимало время, и о серьезной летописи нечего было и думать, а ограничиваться пустым фельетоном не хотелось. — Однако, как говорят, люди, qui s'excuse — s'accuse [1], поэтому я лучше буду писать о чем-нибудь ином. — Не знаю, почему мама писала, что тетя Саша на тебя обиделась, я из ее писем этого не вижу, да и не думаю, чтобы она была такой формалисткой, чтобы обижаться за «неприглашение», да и все равно она бы и не приехала, так для чего же тогда ломать комедию

[1] Тот, кто оправдывается — себя обвиняет *(франц.)*.

с «приглашениями». Писем прочих родичей на эту тему я не читала, но тоже не думаю, чтобы они могли долго и серьезно за такое сердиться, ведь это было бы смешно. Мама теперь сама страшно обидчива, вот ей и кажется, что все другие в таком же настроении, а я думаю, что эти приглашения или не приглашения дело вовсе не такого колоссального значения, чтоб испортить отношения в хорошей семье. Жалко мне только, что тебя вот уже третий год неустанно «деревянной пилою пилят», из-за этого я порой чувствую какую-то обиду на маму, хоть и знаю, что она не виновата. Что поделаешь, если у нее такая façon d'aimer [1], что она беспощадна к тем, кого любит. У меня эта façon совсем иная, и если я кого-нибудь пилю, так только самое себя, это по крайней мере никому не вредит. Мама, наверное сама того совсем не подозревая, пилила не раз и меня, да не то что пилила, а в самое сердце поражала, только я говорю, что она даже не подозревала, как мне больно от ее слов, а может, этого не узнает и никогда. Вообще же она была к нам теперь очень добра и все говорила, что ей отчего-то очень жаль нас, что мы ей (а особенно я) кажемся несчастными. Думаю, это оттого, что она скучает по нас. Страшно мне жалко, что пришлось нам покинуть маму на целую зиму, но иначе нельзя, ведь Пуц мог бы совсем «взбеситься» без учения, соответствующего его возрасту. Я очень рада, что, наконец, дорвалась до английского языка, — ну уж и хвачу я когда-нибудь кое-что из Байрона, чертям тошно станет! Я занимаюсь вместе с Людой, и поэтому мы с ней часто видимся, помогая друг другу зубрить французско-английские переводы. Общепонятный язык у нас французский. Англичанка наша очень любопытная и красивая старая леди «a very lady like» [2], как у них говорят.

«Улиты» мои за последнее время лётом летели, теперь немного притихли, а вскоре опять полетят. Я закончила «Старую сказку» * (поэт и рыцарь), прочитала ее в «плеяде» с настоящим триумфом, больше всего она понравилась молодому Липскому *, мне это приятно,

---

[1] Манера любить *(франц.)*.
[2] Настоящая леди *(англ.)*.

так как он человек воспитанный на европейской литературе и патриотической снисходительности у него нет. «Плеяда» теперь сильно воспрянула духом и числом, собирается довольно регулярно, каждый раз есть что читать; образован у нас еще отдел (в который я имею честь быть избранной), он должен заниматься редактированием брошюрок для народа. Мы составили программу по истории и разобрали некоторые «пункты программы», — я взяла эпоху Хмельницкого, Славинский — княжеский период Киевской Руси от Владимира, Люда — Галицкое княжество. Если хочешь, я вышлю тебе нашу программу. Сборник наш еще не совсем составлен, но для него все же многое собрали. Рашель прислала недавно свое «Сватовство» в новой редакции (немного исправленное), я буду читать его на литературнике. Славинского теперь я вижу реже, он все возится со студенческими вечерами (он староста отдела), и у него много беготни по своим обязанностям. Я видела его два дня назад (не у меня); он вначале был в очень веселом настроении, а перед уходом испугал меня своим грустным и бледным видом и опечалил на весь вечер. Гейне Славинский переводит понемногу, обещает, что не задержит издания. Про «Litterae virorum obscurorum» [1] * Славинский сказал, что этого одному сделать нельзя, а нужно вместе.

Дело Циклопа с Орфеем * разошлось, как заячий жир, и никто никому не доказал. Вообще τὰ κυκλοπικα [2] процветают, помоев льют по Киеву немало. Не советовала бы я Циклопу обратиться ко мне теперь таким же манером, как когда-то в Молочной Пути, потому что я не ручаюсь за себя и могу устроить какой-нибудь скандал, не знаю даже, какой именно. Не хочу расписывать тебе всяческие циклоповы пакости, а их набралось немало, лучше уж когда-нибудь расскажу, если тебе любопытно.

---

[1] Собственно «Epistolae obscurorum virorum» — «Письма темных людей», известный литературный памфлет немецких гуманистов XVI века.

[2] Циклопические дела *(греч.)*.

Ореста видела несколько раз у Люды, он ко мне дважды заходил и ни разу не застал дома; я так на себя досадовала за это, что даже черта помянула. Пусть говорят, что хотят, а Орест и Пилад самые симпатичные мне молодые киевляне. Я не теряю надежды, что Орест когда-нибудь застанет меня дома. Он расспрашивал о тебе и передавал привет. Я думала, ты ему пишешь.

Тучапского * не вижу, да его и никто не будет видеть три месяца, бедняга и на рождество солнечного света не увидит, сидя в тюрьме. Эта участь его не миновала... В Киеве люди живут довольно смирно, но все-таки жив курилка!

Помнишь, как у Диккенса дух рождества * порой накрывает себя гасильником, если этого требуют обстоятельства, то же самое случается с другими духами...

На Тарасовской я была позавчера. «Голытьбу» не всю видела, только Василия и Андрея, привет твой передала. Наталки не застала дома, а она всего раз у меня была, и то недолго. Далеконько мне на Тарасовскую, поэтому часто ходить туда некогда. Рашевская живет неплохо, не болеет, у нее была недавно Вера, но я ее не видела, поздно узнала о ее приезде. Недавно приезжал Верзилов из Чернигова, он теперь обосновался на черниговской почве. Был у меня в период пребывания мамы и произвел на нее хорошее впечатление, вообще он производит неплохое впечатление. На рождество он приедет опять и, может быть, привезет какую-нибудь работу для журнала Франко. Журнал Франко будет называться «Жизнь и слово» *; этнографический сырой материал там берут, — я послала туда купальские песни * с мотивами; принимают там и беллетристику и критику, надеюсь, что, может быть, хоть там появится на что-нибудь похожая критика.

Из переводов там будут, кажется, только стихи. Мама послала туда свои переводы Гюго. Здесь в Киеве еще двое берутся за переводы Гюго, вот, может быть, и удастся составить книжечку. Но вообще нужно припомнить программу мировых произведений и корить ею

людей, как некогда Катон укорял римлян, — не взять ли на себя роль Катона? Только не ради разрушения Карфагена, а ради его восстановления — это более почетная цель.

Николай Витальевич положил на музыку номеров двенадцать на слова Гейне, все очень хорошие вещи. Если бы их здесь можно было напечатать, это была бы для нас реклама... «Тарас Бульба» * все оркеструется ad infinitum [1].

Рашель пишет мне довольно часто, письма милые, но, как всегда, короткие, настроение довольно мажорное. Но приезжать в Киев она, видно, совсем и не думает. Это очень досадно! Это просто бог знает что! Хорошо было бы, если бы ты мог приехать к нам на рождество и привезти Шуру, но если не управишься с экзаменами, то несомненно из этого ничего не выйдет, а ради приезда рисковать экзаменами не следует. Жаль, если ты не приедешь к нам на рождество! Мы бы вместе послушали эолову арфу перед университетом, посмотрели бы на «страшные» тополя, и я бы подумала, что мне снова восемнадцать лет, что мы живем на Тарасовской, где у меня на столике стоят подснежники, в комнате розовый свет, а в сердце весна... Эх-эх, какая старина!.. Знаешь что? Кончу-ка я на этом, а то что-то уж больно длинно выходит. О Колодяжном пусть тебе мама напишет, parce que je ne suis pas au courant des choses [2].

О своем учении Пуц тоже сам напишет. А что за мной осталось — в другой раз напишу. Боже мой, что подразумевал Поприщин под словами, что «письма пишут только аптекаря...» И когда от тебя ко мне телефон проведут?

Целую тебя крепко, будь здоров! До скорого свидания!

*Твоя Леся.*

---

[1] До бесконечности *(лат.)*.

[2] Так как я не в курсе дел *(франц.)*.

К нам, по дороге в Мглин, заехал папа, сегодня в три уезжает. Вернется не раньше, как через неделю. Кланяйся от меня Гале и скажи, что я ей на днях напишу. Поцелуй черноглазого Юрочку.

### 20. М. М. КОЦЮБИНСКОМУ

*Киев,*
*13 декабря 1893 года.*

Милостивый государь!

Мне поручено уведомить Вас о том изменении, которое произошло в редакции «Дзвінка». Педагогическое общество во Львове согласилось с тем, чтобы украинские произведения, посланные в «Дзвінок», редактировались в Киеве и чтобы во Львов отсюда посылались уже приведенные в полный порядок номера. При этом «Дзвінок» будет выходить в меньшем формате, но в двойном объеме, и благодаря этому в нем смогут помещаться более крупные рассказы и поэмы. Для нас желательны даже такие рассказы, которые могли бы печататься в нескольких номерах, какой-нибудь исторический роман для детей или повесть, так как мы не думаем придерживаться того принципа, которого до сих пор придерживалась редакция «Дзвінка», принимая рассказы, помещавшиеся только в одном номере. В результате этого принципа номера стали заполняться произведениями с очень ограниченным объемом и мало интересным содержанием, ибо всякий боялся дать простор своему перу. В общем в последнее время во Львове некому было заняться «Дзвінком». Мы решили принять на себя редактирование украинских произведений, а галицкие, как и прежде, будут редактироваться во Львове! Мы собираем группу старших и младших украинских писателей с целью поддерживать развитие художественной украинской литературы. Одной из областей нашей деятельности и будет редактирование «Дзвінка». Итак, мы уже от себя просим помощи у тех людей, которые до сих пор по-настоящему помогали «Дзвінку» своей работой. Не откажите, уважаемый сударь, своим советом и помощью в этой неблагодарной,

но полезной работе. Ваши произведения, которые мы надеемся получить от Вас, мы примем с благодарностью и несомненно извлечем из них много пользы.

Еще раз прошу от имени всей нашей группы не забывайте нас своей работой.

Искренне уважающая Вас

*Леся Украинка (Л. Косач).*

Прошу писать по адресу: Киев, Стрелецкий переулок, № 9, Ларисе Косач.

### 21. М. П. СТАРИЦКОМУ

[22/IV *1894 г., Колодяжное*]

Глубокоуважаемый Михаил Петрович!

Посылая Вам свой сердечный привет в этот веселый день, желаю Вам здоровья, сил и много лет жизни, чтобы мы еще долго видели Вас на работе в первых рядах наших тружеников. Отрадно думать, что все же настало время, когда смолкли всякие издевательства и поклепы, а уважение и благодарность громко высказаны тому, кто их действительно заслужил, тому, кто всю свою жизнь радел, «чтобы наше слово не умирало». И если наше слово растет и крепнет, если наша литература займет почетное место бок о бок с литературами иных народов (я верю, что это будет!), — тогда, вспоминая первых работников, которые трудились на невозделанной дикой почве, украинцы наверняка помянут добрым словом Ваше имя.

Мне суждено было жить и работать в тяжкую пору, — кто знает, дождусь ли я лучшей! — Я знаю, до чего тернист и тяжел путь украинского литератора, и поэтому я могу хорошо понять и оценить Вашу работу и Ваши заслуги. Я понимаю и признаю и то, что моя собственная работа оказалась бы для меня трижды тяжелей, если бы пришлось трудиться не на поднятой целине, а на невспаханном поле. А сейчас — хоть, наверно, в этот день Вы получаете бесконечное множество красноречивых приветствий — примите не красно-

речивую, но искреннюю благодарность от Вашего молодого товарища по перу, от искренней почитательницы Вашего таланта и работы на пользу Украины, — примите ее от

*Леси Украинки.*

### 22. Л. М. ДРАГОМАНОВОЙ

*Киев.*
*6/IX 1896.*

Дорогая моя тетя! Пользуюсь оказией и посылаю это «не любо не слушай» через границу, с просьбой потом отправить почтой Вам. А Вас прошу узнать адрес «La Réforme» или какой-нибудь другой французской газеты радикального или социалистического направления (такой, чтобы не была franco-russe [1]) и срочно отослать туда эту штуку. Попросите от меня Лиду просмотреть это, нет ли там чего-нибудь уж слишком варварского. Но отправить я попрошу уже Вас лично, а то Лида за различными делами может забыть об этой мелочи. Я опоздала немного с этой посылкой, да если времена у нас теперь nec plus ultra [2] подлые, приходится возвращаться к спартаковскому методу переписки. «Да, были хуже времена, но не было подлей» *. А все-таки мне хочется, чтобы из России дошел хотя бы один протест * против такой профанации поэзии и дарований, которую допустили французы в этом году в Версале... «Молчание — знак согласия» — так думали, должно быть, те русские студенты, которые послали протест * бельгийским студентам против поздравления с коронацией. Не знаю, читали ли Вы этот протест? Он был напечатан в «La Rèforme» и перепечатан в «Життi і словi».

Простите, что на этом кончу, очень много нужно сегодня писать, еще не знаю, успею ли переписать до выезда заграничного доброжелателя.

---

[1] Французско-русской *(франц.)*.
[2] До крайней степени *(лат.)*.

Почему Рада мне не пишет? Передайте, пожалуйста, Лиде мою записку. Пишу Вам срочное. Целую Вас крепко.

*Ваша Леся.*

### 23. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*30/VIII 1897 г.,*
*[Ялта, Чукурлар]*

Милый, дорогой Лицик!

Я столько раз кормила тебя завтраками, что даже совестно перед тобой, но вот сегодня нашло на меня писательское настроение, и я первым долгом пишу тебе. Вчера получила мамину телеграмму и теперь знаю, что на сентябрь останусь здесь, а как будет дальше, выясню, когда получу письмо. Теперь я живу не одна, нашла себе компанию — слушательницу московских фельдшерских курсов, — так будет дешевле, а неудобства пока еще нет, т. е. нет потому, что моя подруга (понимай это слово в практическом смысле) мало бывает дома — вот и сегодня поехала с Горным клубом на Байдары, а то постоянно ходит в Ялту, иногда по два раза в день. Девушка она неплохая, но все-таки совсем чужая, а я не люблю, когда кто-то чужой торчит все время у меня перед глазами. Я буду жить так только до 17 сентября, самое позднее до 1 октября, а там — если и останусь, поселюсь одна, где-нибудь в Ялте; «сезон» уже окончится и цены будут человеческие, притом купаться все равно в октябре будет невозможно и я смогу поселиться где-нибудь подальше от набережной и не буду видеть никакой пошлости, которую разводят в Ялте разные саврасы. Здесь одна соседка советует мне снять комнату за 15 р., но я этой комнатки еще не видела, в общем это дело надо разжевать. Как-то самой не верится, что я хочу «заточить себя» в татарском краю на долгое время, а по-настоящему следовало бы. Встречала я здесь много людей, которые прожили год-два и поправились даже при туберкулезе легких, вот, может быть, и я, если не поправлюсь, так хоть крови немного наберусь.

Хотела я, как ты знаешь, ехать в Болгарию, но папа пишет, что против этого есть *много уважительных причин,* для меня же главная причина, что он сам против этого... ergo [1], не быть мне за границей; я прошу тебя, передай это тому, кому об этом интересно * знать, пускай-де «статків-маетків не збуває»... * Печально это, ну да мне не привыкать к печальному. Говорят, здесь легко найти уроки; хорошо было бы, если бы мне удалось устроиться хоть наполовину за свои деньги. Vederemo [2]. Тем временем ничего не делаю, как и раньше, почти ничего, вот только половину Kapital'a «проштудировала» («читать» его нельзя) и, знаешь, чем дальше читаю, тем больше разочаровываюсь: я не вижу той «строгой системы», о которой говорят фанатики этой книги *, вижу множество фактов, много остроумных гипотез и еще больше просто догадок, но многое в ней остается для меня темным, невыясненным, недоговоренным и в научной теории и в практических ее выводах. Нет, видно, это Novum Evangelium [3] все-таки требует больше непосредственной веры, чем у меня есть. Однако, может быть, еще и рано так говорить, прочитав только половину первого тома. Хорошо быть такой натурой, как моя «подруга». Ей всего двадцать лет, но она уже составила для себя определенные категорические мерки и рамки и верит в них, без критики. Это даже по временам меня раздражает. Например, у нее в голове невозможный сумбур относительно «областных вопросов», она совершенно не в состоянии понять различия между «шовинизмом и национальным самопознанием», «автономией и сепаратизмом», «политической солидарностью и централизмом», хуже всего, что она не поймет этого никогда. Такой несломимый «гвоздик» сидит, как мне кажется, в головах большинства русских из «центральных губерний». Если этот гвоздик не мог сломить даже автор «Alliance» [4] *, то куда уж мне! Эта барышня сама родом из Орла, хорошо знает

---

[1] Следовательно *(лат.)*.
[2] Посмотрим *(итал.)*.
[3] Новое евангелие *(лат.)*.
[4] «Союз» *(франц.)*.

Ивана Петровича и его семью, говорит, что Глафира Помпеевна и впрямь невозможная женщина (значит, и со стороны так кажется), а что Лида (старшая дочь Ивана Петровича) ничего себе девушка, только совсем пустая и всецело под влиянием матери, оба же сына абсолютно беспринципны и пустопорожни. Подумать только, что все это носит фамилию Драгомановых! Сам же Иван Петрович произвел на нее впечатление «очень добродушного»... хитер он!

Мне было любопытно читать, что мама признала во мне «описательский» талант по поводу наших болгар. Мне хотелось бы знать, какими они показались тебе. Напиши, как приняли Лиду те киевляне, которые знали ее еще ребенком? Мне хотелось бы взглянуть, как ведут себя «забывчивые люди» с потомством того, кого они так хотят забыть и все-таки не могут. — Привезла ли Лида мне «Бай-Ганю» * и «Rapsodie» *. Ежели нет, да будет ей стыдно.

Видела ли ты Галю и Веру? мама писала, что они должны быть в Киеве в конце августа. Маргарита снова забастовала и больше мне не пишет, остается в утешение только пословица: «Pas de nouvelles — bonnes nouvelles» [1]. Вообще семья вызывает неприязнь к прежним друзьям, т. е. не то, чтоб они забывали или переставали любить своих друзей, но им как-то недостает времени и настроения проявлять это так активно, как раньше. Может, именно потому люди боятся «отстать», чтобы и впрямь не почувствовать себя одиноким в квадрате (то есть никому ненужным), в то время как вокруг все прежние друзья замуруются в своих семейных твердынях. Я, слава богу, еще не совсем в таком положении, но могу его понять. Напиши мне, кого и как ты застала в Киеве: Michael, Хомячка, Гамбарова, может, Френкеля? Где Оксана Старицкая? Одним словом, как будет время и настроение, пиши обо всем, что вспомнишь и о чем подумаешь, мне все будет интересно. Оксану и Микося я не упрекаю за то, что они мне не пишут, а сама им не пишу потому, что знаю — в таком возрасте переписка только угнетает совесть, а

[1] Отсутствие новостей — хорошие новости *(франц.)*.

приятного дает мало. — Здоровье мое ничего себе, а сама я теперь цвета terra cota [1], скоро уже буду terra di sienna [2]. Может быть, скоро напишу снова, но не обещаю ничего, так будет лучше.

Будь здорова, «душа звезды моей». Всех целую.

*Твоя Леся.*

Видела ты Мишу, Шуру и Анну Ивановну? Что они говорили о своем пребывании здесь? Показали они тебе фотографии здешних видов? Жаль, что они так мало пробыли!!

### 21. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*Ялта, Екатерининская ул., д. Лещинского, кв. № 9.*
*26/X 1897 г.*

Милая мамочка!

Писала тебе недавно и пишу снова, это revanche [3] за долгое молчание. Прости, на этот раз письмо будет «деловым». Дай знать, в каком положении или состоянии постановка моей драмы, кто, где и когда будет ее ставить. Папа как-то мне писал, что «роли для актеров расписаны»; ты сообщила, что Старицкий хочет сделать постановку в литературном обществе. Что из всего этого вышло? Если будут ставить, то я думаю внести одну поправку: не лучше ли в первом акте совсем выпустить сцену Любы с Крицким? В таком виде, как она написана «про людське око», для чтения она бессмысленна или еще хуже — глупа, возвращать же ей первоначальную редакцию *, может быть, «для начала» пока еще не следует. К тому же кое-кто из моих критиков был того мнения, что эта сцена вообще лишняя. Если ты думаешь иначе, то я тебе пришлю первоначальный текст. Наверно, ты будешь на репетициях, поэтому прошу тебя, убеди первую актрису, кто бы она ни была, чтобы она не пересаливала, то есть чтобы не слишком впадала в истерику, этого элемента там у меня и так

[1] Жженной земли, коричневой *(итал.)*.
[2] Красноватой земли *(итал.)*.
[3] Отплата *(франц.)*.

немало; если его подчеркнуть, то получится уже совсем неистовый характер, каковым моя героиня все-таки не отличается. В последних двух действиях как можно меньше слез, особенно в пятом; мне кажется, что в таком состоянии люди уже не плачут, даже если бы и хотели.

Знаю, что подобные советы на расстоянии не много значат, но, может быть, на что-нибудь и пригодятся.

Теперь еще о драме. Один мой новый знакомый, который был здесь летом в Крыму, — я в свое время писала тебе о нем, — Сергей Константинович Мержинский, очень заинтересовался моей «Розой», которую я ему читала. Он написал мне на днях из Минска, где постоянно живет, что туда должен приехать Кропивницкий * с труппой и что я хорошо бы сделала, если бы выслала ему, Мержинскому, свою драму, а он передал бы Кропивницкому для постановки и присмотрел бы, чтобы поставленные мной условия были полностью выполнены. Я еще ничего не ответила. Во-первых, у меня только черновик, сама переписывать не могу, украинского переписчика найти здесь нелегко; во-вторых, я не знаю, какая сейчас труппа у Кропивницкого, не бездарная ли она; в-третьих, я еще не знаю, какие нужно поставить материальные условия и в какой форме. Очень тебя прошу, наведи справки о Кропивницком и реши сама, стоит ли начинать это дело; если стоит, то напиши мне, какие бывают обычно условия между автором и антрепренером, а «Розу» (переписанную или цензурованную?) пошли по адресу Сергея Константиновича Мержинского [1], в Минск, в контроль Либаво-Роменской железной дороги; моральные и материальные условия сообщу сама. Кропивницкий будет в Минске в начале ноября. Ну, вот и все дела. Нет, еще одно замечание: мне все-таки хотелось бы, «для славы казацкой», дебютировать в Киеве, но я не знаю, насколько серьезно намерение ставить там «Розу», а если серьезно, то когда все-таки это должно произойти? Все это так выглядит, словно я набиваюсь со своим «детищем», правда?

---

[1] Я не хочу давать ее прямо в актерские руки. *(Прим. Леси Украинки).*

А факт заключается в том, что я страшно боюсь этой постановки, и в Киеве больше, чем где бы то ни было, malgré tout...[1]

Все-таки обрати внимание на мое «деловое» письмо и напиши мне скорей, ведь нужно же мне ответить что-нибудь человеку, который так заботится о распространении (вот еще слово!) моей славы — а в конце концов, может быть, и бесславия, кто его знает...

Жаль, что я не могу еще раз умыть своего ребенка, прежде чем выпустить его на сцену; боюсь, что на репетициях обнаружится много промахов. Ах, да что об этом говорить, все равно не поможет! Иногда у меня появляется какое-то очень скептическое и суровое отношение к этой драме, и тогда мне кажется, что в ней больше недостатков, чем достоинств. Это очень горькая мысль, а она у меня появляется все чаще и чаще...

Ну, хватит, наконец! Это дурная авторская привычка бесконечно болтать об одном и том же. A propos[2] о драмах. Я сегодня читала в «Русской мысли» рецензию на «Ваву» * и «Пашеньку» *, дамские драмы, — что-то они мне не очень по душе...

«Пашенька» могла бы быть хорошей драмой, но если рецензент говорит правду, то дама наболтала там немало всего, а выводов не сделала, и получается, будто дело не в том, что Пашенька мещанка, а ее муж — князь, а в том, что они оба глупы или по крайней мере, что Пашенька взбалмошна и бесспорно глупа, а от этого, известно, княжеский титул не спасает: quand on est bête c'est pour toujours[3], — давно известная истина.

Послезавтра здесь, в театре, Гарин * и Станюкович * будут читать публично свои «улиты», пойду послушаю, что за литературные вечера «у здешнего государя» бывают, вот кстати и развлекусь. Не знаю только, откуда они публики наберут, ведь «сезон» закончился, саврасая Москва разъехалась, а остались только ялтинские проприетеры (а с них взятки гладки) да кое-кто, подобно мне, «залетный гость на чужбине».

---

[1] Несмотря ни на что *(франц.)*.
[2] Кстати *(франц.)*.
[3] Если кто глуп, так это уж навсегда *(франц.)*.

Мне удобно ходить, так как живу напротив театра, а кто, например как Надсон, забрался на гору или живет внизу, — те по вечерам никуда не вылезают. Здесь теперь так: утром все, в том числе и я, одеваются полетнему, в пелеринках и порой под зонтиками, а вечером напяливают что потеплее. Сегодня утро было чудесное и море роскошное: синее, розовое, зеленое, опаловое, какое хочешь, а теперь чудесная лунная, только очень холодная, ночь, и я не осмеливаюсь пойти посмотреть на море, хоть оно, наверно, такое же привлекательное, как вчера. Ну, это все лишние слова, прости, здесь как-то еще больше привыкаешь писать бестолковые письма. Доброй ночи! Крепко целую тебя и всех наших. Кому стоит, тому кланяйся от меня, то есть тому, кто меня добрым словом поминает.

*Твоя Леся.*

### 25. И. Я. ФРАНКО

*Ялта, Екатерининская ул., дача Лещинского, кв. № 12 (это мой адрес на зиму и весну).*
*7/XII 1897 г.*

Милостивый государь!

Простите, что не скоро отвечаю на Ваше любезное письмо, но я его получила только сегодня (7 дек. ст. стиля), оно шло кружным путем: через Киев на Ялту.

Вы напрасно полагаете, что наш публицистический спор оказал роковое влияние на мое отношение к Вам. Я всегда умела отделять публицистику от частных дел. Поэтому редакция «Литературного вестника» * не ошиблась, попросивши Вас уведомить меня об основании этого журнала, так как вряд ли кто-нибудь другой из ее членов был бы мне симпатичней Вас.

В нашем споре, pour en finir [1], огорчило меня *особенно* только слово «недобросовестно»; я даже хотела в свое время против него протестовать, но находилась тогда в таком тяжелом физическом состоянии, что было как-то не до протестов. Теперь я думаю, что это к лучшему, слово за слово, и мы бы в самом деле могли по-

[1] Чтобы покончить с этим *(франц.)*.

ссориться, — мы оба, как известно, поэты, gens irritables [1] (sic!), и я очень рада, что этого не случилось.

Хотела было написать Вам по поводу слухов о запрещении «Жизни и слова», но не знала Вашего адреса, только собралась разузнать у людей, как пришло Ваше письмо. Несмотря на радостное известие об основании нового журнала, мне все-таки жаль «Жизни и слова» *, в нем было нечто такое и некто такой, кого уж в «Вестнике» не будет... Известие о запрещении «Жизни и слова» опечалило меня не только по общественным, но и по личным причинам: исчезло поле для моей деятельности! * Правда, еще раньше этого известия я не знала, существует ли это поле для меня, после того как... etc. «Заря», какой она была в последние годы, не привлекала моей симпатии. «Так осталась я обманута, точно птица над водами моря...»

Теперь мне остается поблагодарить за честь, которую оказали Вы и Ваша, то есть наша, редакция, приглашая меня работать. Я возьмусь за эту работу так упорно, как только позволит мне мое изменчивое здоровье.

Для начала посылаю стихи: не удивляйтесь их монотонности — здесь я «в ссылке», а вместе со мной и моя муза.

Искренне приветствую Вас и Ольгу Федоровну.

Всегда доброжелательная к Вам

*Леся Украинка.*

### 26. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*Ялта, Екат., д. Лещинск., кв. № 12.*
*13/XII 1897 г.*

Милая мамочка!

Как это часто случается, письма наши разминулись. Нечего и говорить, как я была рада твоему «длиннющему» письму; но на такое письмо тоже «если уж отвечать, так отвечать», вот я и собиралась почти неделю. «Дела» всецело поручаю тебе, я что-то никак не могу теперь ориентироваться в этих «труппах», «перелетах»

[1] Раздражительные люди *(франц.)*.

etc., хотя мой сосед Руденко * и просвещает меня в этом вопросе весьма пространно, так как он завзятый украинский театрал. Из его слов я заключаю, что у Кропивницкого нет ни примадонны, ни «примадона» и есть только «честные, корректные работники»... да и еще, может, и в самом деле им моя пьеса не понравится, как написанная «не в том стиле», как «Вий», «Пропавшая грамота» et toute la boutique du diable [1]. Вот, значит, и пиши драмы «нового направления». Где теперь Зарницкая? * Ты писала как-то, что посылаешь ей «Трояну», — или это все равно, что послать Мирославскому? * Боюсь, Москва слишком привыкла к «хохлацким коленцам», что, может быть, без «коленцев» и невразумительно будет. Кажется, я могу сказать о своей драматургии: «Śpiewak jestem, niestety! śpiewać nie mann komu!..» [2] * Что касается поэзии, то было бы неблагодарностью так говорить после недавнего взрыва de ma petite gloriole [3]. Господи боже мой! Обо мне читают «рефераты»... Поблагодари Люду за то, что она так искренне и бескорыстно старается утвердить мою славу; впрочем, я думаю написать ей сама.

«Примадонна!» Остроумный, но мало утешительный Witz... [4] И почему именно я должна дебютировать в офицерском клубе? Это несколько неожиданно! Боюсь, что у меня будет испорчено выступление в Киеве, да уж ничего не поделаешь. А может быть, ничего в конце концов получится; но чтобы было хорошо, я не рассчитываю...

И в самом деле большой курьез, что ты читала о Кольцове! А propos [5], его украинские стихи, кажется, очень плохи? Как ты там их читала? Скажи, как ты читала мой перевод из Ады Негри? Ведь он не был стихотворным, а только подстрочным. Ты его сама переложила на стихи? Если бы я это знала заранее, я бы прислала настоящий перевод.

---

[1] И вся эта чертова лавочка *(франц.)*.
[2] Я певец, увы, петь некому *(польск.)*.
[3] Моего маленького тщеславия *(франц.)*.
[4] Анекдот *(нем.)*.
[5] Кстати *(франц.)*.

Теперь об иностранной литературе. Очень приятны были присланные мне новинки, ведь досадно было совсем остаться без журнала. Однако, читая письмо Франка, я не могла не подумать: «Пришла коза до воза». Однако я ответила ему очень вежливо, без каких бы то ни было намеков на козу, и послала два стихотворения. Собственно говоря, я рада такому окончанию нашего «конфликта», в нем не было никакого толка, а Франко, как писателя и деятеля, я никогда не переставала уважать. Хотя в его письме ко мне нет никакого формального извинения, но я его считаю первым шагом к примирению. Несколько «неестественен» состав новой редакции, и вряд ли он долго просуществует в согласии, но дай ему боже! Ты хорошо сделала, что послала моего «Певца» в юбилейный сборник*; если бы я была дома, то я сама бы его отправила. Только кажется, что я его когда-то посылала самому Франко. Вороной говорил, что Франко *затерял* тот транспорт материалов, но что если Франко теперь найдет его и напечатает в «Вестнике», — получится неудобно. Только вряд ли он найдет...

Мне кажется, что на Зорино развитие оказала роковое влияние жизнь в «безалаберной» и бестолковой семье Гольштейнов, которые неведомо чем приманили к себе дядю, говорю: неведомо чем, потому что, по рассказам самого дяди, эта семья, а особенно сама госпожа Гольштейн, казалась мне совсем не стоящей ни внимания, ни симпатии. Но идея воспитания Зори у них принадлежала, нечего греха таить, именно дяде, а не Людмиле Михайловне. Вообще в воспитании их детей было много такого, к чему они относились без увлечения и даже с сожалением и вместе с тем как-то пассивно, считая это неизбежным проклятием своей ненормальной изгнаннической жизни. Я думаю, у Зори все это еще может выветриться и забыться, а это заносчивое пренебрежение книжками и наукой кажется мне больше мальчишеским шиком, чем сложившимся характером. «C'est rien que pour embêter de collégiens [1] — ходя-

---

[1] Это не что иное, как разыгрыванье школьников *(франц.)*.

чее mot de chic [1] парижских и женевских школьников, они употребляют его при всяком удобном и неудобном случае, идет ли речь о verbe irréguliers [2] или об «Антигоне» Софокла, — все равно! Там лелеется один весьма уродливый цветок парижской культуры, называется он la blague parisienne [3], вот Зоря, по живости своей натуры, перенял это быстро в немалом размере, но я думаю, что у него хватит времени забыть об этом. Начинать ему с сорока трех ошибок на страничку — не новость, — может, это и заставило его капризничать по поводу «букв» вообще — так уже с ним было, когда он перешел из болгарской школы во французскую... Как-нибудь обломается. Нужно будет летом помочь ему. Я все-таки знаю и *русский* и *французский* языки, и сделаю это, быть может, лучше, чем человек, знающий лишь один из языков.

О моем проекте путешествия в Одессу я не писала потому, что он стоял и все еще стоит передо мной весьма туманно. Поехать, скажу честно, я хотела бы, — перспектива страшнейшей тоски в Ялте на праздниках пугает не только меня, но даже и моих немногочисленных знакомых *за меня,* — им, видишь ли, «вчуже» тоскливо. Да все это зависит от погоды, от состояния здоровья и т. п. причин. Я не придаю большого значения «праздникам», но давно приметила, что во время них бывает еще скучнее, чем в будни (то есть когда *вообще* не скучно), потому, что работы становится меньше, а вид людей в праздничном настроении нагоняет не то тоску, не то зависть. Конечно, несмотря на все это, может и здесь придется пропраздновать. Если поеду, выеду отсюда 21 декабря, а сюда вернусь 4 января, не позднее. Мой взгляд на *нынешнюю* Маргариту, не так резок, как твой, но есть и в нем схожие элементы, тебя они могут только сердить, меня же скорее смутить. Но все-таки Маргарита — человек ко мне очень расположенный, — иначе что собственно могло бы заставить ее, при ее лености, писать, приглашать меня к себе

---

[1] Красивое словцо *(франц.)*.
[2] Неправильные глаголы *(франц.)*.
[3] Парижская ложь *(франц.)*.

тремя письмами и всеми возможными аргументами? После исключительно трудно проведенного времени за эти последние полтора месяца (если не считать последних уже более пристойных полутора недель), меня, может быть, не так будет шокировать и буржуазная обстановка, — слишком уж пролетарски-одиноко провела я это время, которому наиболее соответствует термин Hundesleben[1] (и термин, как нарочно, пролетарский!)... Ну, довольно, наконец, это тема не для писем, а скорее для устных бесед, потому что она слишком сложна.

Гадость, которую мне сделали «исторические люди», действительно велика, только нет в ней ничего «исторического» (люди эти «видов» на меня не имели), а вся она с начала до конца чисто *бабская,* — вот не люблю этот термин, но здесь никакой другой не подходит. Позволь мне не писать о ней больше — противно! Мне кажется, ты несправедлива к Тучапскому *, я уверена, что я для него не «паршивая овца», иначе, поверь мне, не увидел бы он от меня и шерстинки, впрочем, и так немного он от меня получил *. Не знаю, зачем понадобился ему мой адрес, потому что письма от него я не получила.

Должна сказать, что «свои люди» порой поступают немногим лучше, чем «исторические». Например, мои соседи, сознательные украинцы, очень любезно принимали меня у себя, хозяин даже все на путь истинный наставлял, но ко мне же все «никак не могли выбраться», хотя живем мы буквально в пяти шагах друг от друга. Ну, да это бывает, что и близко, да выбраться трудно, но вот когда милостивому государю понадобилась моя помощь для того, чтобы адресовать заграничное письмо (подумаешь, грамота!), мигом собрался; опять же когда я как-то дня четыре не выходила из комнаты из-за инфлуэнцы (и мои соседи это отлично знали), то «свои люди» не поинтересовались даже через служанку, если уж сами так боялись заразиться, не погибла ли там «молодая украинская

---

[1] Собачья жизнь *(нем.)*.

сила». Спасали же эту «молодую украинскую силу» только немцы, кацапы да ляхи, и спасибо им, хорошо спасали. Все это пустяки и мелочи, но пишу тебе о них ради иллюстрации моей мысли, что, говорят, «не знаешь где найдешь, где потеряешь» и что между людьми всех родов есть свиньи и даже «посвиньи», выражаясь à la bulgare [1]. Да, слава богу, мне теперь ничьей помощи не нужно, — здоровье ко мне вернулось и я сама за себя постою.

У нас последние два дня — зима. Очень странно и даже смешно смотреть, как на лаврах и кипарисах лежат белые платочки снега, так и кажется, что это кто-то положил на них вату, играя «в зиму». Не менее смешно и то, что над морем, не замерзшим и чистым, люди ездят по набережной в санках, да еще почему-то с колокольчиками, вероятно, для большего смеха. Ездить, собственно говоря, не по чем, снегом мостовую едва-едва присыпало, но здесь так же, как и в Софии, люди цепляются за каждый повод, чтобы показать санки и хотя бы хвостик какого-нибудь плохонького меха, — «man zeigt am wenigsten was man ist» [2]. На улице не холодно, может быть, градуса два мороза, или даже того нет, но ялтинские домики «дачного» типа оказались предательскими; никто не может поднять температуры в комнате выше 13 градусов (pas trop, n'est ce pas? [3]), у меня и у моей ближайшей соседки с утра бывает 10 градусов; у одной дамы на соседней даче всего 7 градусов, — говорят, бывает и хуже. Местные жители успокаивают нас тем, что это продлится недолго и с половины января опять вернется весна, — в самом деле, она бы хорошо поступила, если бы возвратилась! Мы тут к ней уже привыкли за ноябрь.

Однако вот так письмо!.. Пора его и заканчивать. До праздника еще напишу. Целую крепко тебя и всех Geschwister [4]. Ты не очень обо мне беспокойся: я тебе

---

[1] По-болгарски *(франц.)*.
[2] Человек сказывается в мелочах *(нем.)*.
[3] Не слишком, правда? *(франц.)*
[4] Братьев и сестер *(нем.)*.

по всей правде говорю (иначе молчала бы), что теперь уже здорова и нога у меня не болит, а все остальное когда-нибудь, может, «приложится». Кланяйся моим «ценителям и ревнителям».

*Твоя Леся.*

14-го. Сегодня утром получила твое второе письмо, где ты пишешь, что будешь у меня *до праздников,* наверное ли это? Ведь если я и в Одессу не поеду (это само собой теперь разумеется) и тебя на праздники не дождусь, то будет мало интереса...

### 27. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

[*Ялта*] *Villa «Iphigenia».*
*21/I 1898 г.*

Милая мамочка!

Пишу тебе, сидя на балконе, вернее на Парнасе, под покровительством самой Афродиты *. Из этого ты можешь заключить, что у нас нехолодно, и действительно сейчас 11 градусов тепла, столько, сколько бывало при тебе в доме. Но эта благодать началась только со вчерашнего дня, а до того творилось такое, ну его, лучше пусть не возвращается. Правда, днем мороза не бывало, 2—3 градуса тепла, ночью только 3—4 градуса мороза, но ветры такие, что в буквальном смысле слова крыши срывало. На Екатерининской улице сорвало и разметало витрину «придворного» фотографа и крышу одной дачи; я сама видела, как на другой день весь двор той дачи был покрыт железными листами; у меня на балконе опрокинуло железную скамейку; в одном месте сломало садовую ограду; у госпожи Разумовой сорвало с петель двери, и в доме до того продувало, что Леня совсем простудился; кипарис, растущий со стороны моего окна, гнулся так, что закрывал окно и так стучал по стеклу, что я ждала той минуты, когда окно с треском упадет на мой мрамор, но этого не случилось, не допустили олимпийцы!

У меня в комнате температура стояла между 8 и 9 градусами, и даже самовар, лампа, машинка и печь не могли поднять ее. Теперь, хотя еще не топлено, а у меня уже 12 градусов! Большое счастье, что не было мороза, иначе, наверно, пришлось бы пропадать. Катюша — славная девочка! В день урагана не выпустила меня из дому и пригласила обедать; теперь она часто навещает меня и приходит иногда посидеть на балконе. Вчера пришла вслед за мужем читать газеты и «В мире отверженных» (совсем не детская книжка!), разыгралась так, что хотела было снять пальто, но муж сказал, «чтобы не выдумывала», и она смирилась.

Во время бури у нас выпал снег, все кругом было бело, и на балкон нельзя было выйти, так как двери примерзли и их завалило снегом; на улицах было скользко, совсем как в Киеве.

В горах на симферопольском тракте почта два дня стояла в снегу, пока ее не откопали, пароходы опаздывали на 12 часов; мне рассказывали, будто на каком-то пароходе кругового рейса умерло два человека от морской болезни, а третий приехал в Ялту и слег в больницу в безнадежном состоянии. Правда, море было страшное. Мне довелось видеть начало снежной бури на море; это была такая грандиозная картина хаоса, что я, наверно, никогда ее не забуду. Хорошо, что тебя не застал на море этот циклон, а то не знаю, что бы это было. Ты говорила, что в Крыму ветры слабые, но если бы ты была здесь между 12-м и 17-м, то взяла бы свои слова обратно. С пароходом «Константинополь», на котором ты ехал, случился еще скандал: дурак капитан все-таки повел его из Севастополя в Одессу, но у Тарханкута повернул назад в Севастополь, так как подоспела буря и идти дальше не мог; черпая бортом воду, едва-едва он дополз до Севастополя, и то под конец на буксире. В трюме утонул один матрос и, говорят, еще один лишний час плавания — и уже никакие буксиры не спасли бы пароход. А сейчас море синее, даже фиолетовое, небо совсем весеннее, тучки белые, пушистые, а снег виден только на верховьях Яйлы. Вчера вечером так журчали потоки, что мне совсем

напомнило Киев в марте, и наш quartier Latin [1] и многое, многое aus Vorzeit [2].

Хорошо все-таки, что тут зима бывает только налетами. Не знаю, как я вынесу наши «беспросветные» (от слова «Просвіта») зимы: мы к этому не привыкли! Вот, например, была неделя ураганов, зато, может быть, будет снова неделя солнца. Смотрю я сейчас перед собой и вижу: идет татарин с большим букетом подснежников и насвистывает какую-то air printanier [3].

Кипарисы стоят тихо-тихо, точно им и в голову никогда не придет даже колыхнуться, а не то что метаться, как безумным, и растрепываться пуще всякой вербы.

У нас в доме нового только то, что к «коричневому» присоседился какой-то его товарищ — это уже «черный»! Живут оба в коричневой комнате, а радостно улыбающийся маленький мальчик спит в зале. «Коричневый господин» так разошелся, с тех пор как их двое, что стал очень много говорить по-армянски (правда, в своей комнате), поет и свистит, даже Катюша сердится, так как она не любит свиста, а стесняется сказать, чтобы не свистели. Большая комната стоит пустая, и что-то никто не приходит ее осматривать.

Господин Дерижанов * имеет несчастье часто встречать «проклятую немку», которая действительно поселилась где-то очень близко от нас. Я чувствую себя совсем хорошо, хотя, когда был ветер, нога моя начала было сильно болеть, и я не ходила по скользким улицам, а ездила: эта нога совсем не признает зимы, гололедицы, тяжелой одежды, глубоких калош и т. д. А propos о глубоких калошах. Может быть, их нужно было выслать тебе следом? Не знаю, стоит ли их теперь высылать, — может быть, ты уже новые купила. Ты что-то ничего не пишешь о посылке. Вчера заходила в фотографию — раньше никак не могла, — другой нашей карточки они не делали, так как в той позе плохо вышло, скверный негатив и некрасивая поза,

---

[1] Латинский квартал *(франц.)*.
[2] Из прошлого *(нем.)*.
[3] Весеннюю арию *(франц.)*.

поэтому я заказала все такие, как та, что у тебя: обещали, что до воскресенья будет готово.

«Ифигению» *, как видишь, посылаю, она уже дня три, как написана, но я все не могла собраться переписать ее, задержала поэтому и письмо, — не хотела посылать без «Ифигении». Монолог, я сама вижу, страшно длинный, когда-нибудь потом, для сцены (!), можно будет сократить, а для чтения, я думаю, можно так оставить. Если бы это была бытовая драма, то подобный монолог был бы преступлением, но для драматической поэмы en style classique [1] я это допускаю. Это я пишу для того, чтобы ты и Михаил Петрович не думали, будто бы я отступила от своего принципа исключения монолога из современной драмы. «Ифигения» именно не будет современной: в ней будет хор, реплики à parte [2] и, может быть, даже deus ex machina[3]. Ну, довольно, пора кончать — проголодалась, и солнце нагрело затылок. Поздравь от меня Оксаночку с днем ангела. Дроздику спасибо за письмо, — действительно, это очень плохая привычка у нас старших родственников *забывать,* посылая такие письма.

Будь здорова и не медли с письмом, так как... наконец, я не *даром* написала «классический» монолог... Целую тебя.

*Твоя Леся.*

Мои хозяева тебе кланяются, они тебя часто поминают.

### 28. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*2/II 1898.*

Милая мамочка!

Мне самой неприятно, что тебе давно не писала (кажется, недели две), но я все что-то кисла, даже не хотелось и писать в таком состоянии. Ничего особен-

---

[1] В классическом стиле *(франц.)*.
[2] В сторону *(франц.)*.
[3] Бог из машины *(лат.)* — неожиданная развязка.

ного не было, днем я даже была совсем здорова, только голова немного кружилась, но к вечеру начинался озноб (как было в прошлом году в Киеве), и настроение становилось или слишком повышенное, как у сильно пьяного человека, или слишком угнетенное, так что во всяком случае писать я ничего толком не могла. Написала только Лиле письмо, да и то жалею, — так как припоминаю, что письмо какое-то бестолковое получилось. Теперь я снова пришла в нормальное состояние и за это должна благодарить господина Дерижанова, одна я едва ли избавилась бы так скоро от беспокойства. Он же в связи со всем сказал, что удивляется, почему до сих пор все врачи обращали внимание только на мою ногу и совсем оставляли без внимания мои нервы, тогда как, по его мнению, моя нервность может воспрепятствовать в большей степени операции, чем анемия. «С вами до сих пор поступали так, как будто у вас, кроме ноги, нет ничего живого в организме...» И это верно! Теперь на меня оказывают прекрасное влияние холодные утренние обтирания и ванны, которые я принимаю дважды в неделю. Надеюсь, что если я не буду писать по ночам и вообще очень напрягать нервную систему, то все будет благополучно и осенью я все же добьюсь своего — операции! Однако это все «далекие мысли», вернусь к более близким. Мне было очень приятно узнать, что Заньковецкая * берется за роль Любы; если у нее не все хорошо получится, то все-таки темперамент, настроение, голос, фигура, лицо будут отвечать роли. Лучшей, чем она, украинской артистки я не знаю, и если у Заньковецкой Люба хорошо не получится, то, значит, ей (Любе, а не Заньковецкой) нужно ждать благоприятного времени или совсем погибнуть для украинской сцены. Вот только если бы Заньковецкая знала, *кто* такой Лесбос!.. Вы уж там как-нибудь объясните ей, *кто* или *что* такое мойра, фатум, голубая роза и т. п.

Не знаю, лучше или хуже, что «Голубую розу» хотят ставить во время поста, может быть к лучшему, ведь люди постом тоскуют по спектаклям. Но только этот термин «чтение монологов» какой-то скучный, не говоря уже о том, что — мошеннический! Как нароч-

но, ведь у меня именно монологов и нет, разве уж тогда назвать, как у Леопарди *, — «диалоги»? Ну, да это дело не столь важное. Главное, хорошо то, что Люба спаслась от Мани; по крайней мере при *первом* появлении Люба не должна быть толстой — le ridicule tue le tragique [1]. Что думает Вороной? * Почему не отсылает назад пьесы и не отзывается? Ведь их труппа, как слышно, впала в ничтожество, по крайней мере, кроме «Виев» *, «Пропавших грамот» * и тому подобных «феерий» с козами, чертями и ведьмами, они ничего не ставят.

Был тут на масленице Садовский, но ему пришлось плохо, иначе и не могло быть, так как в труппе, кроме него одного, артистов нет, а только бездарности. Ставили они старье («Сватанье в Гончаровке» *, «Наталку» * и т. п.), надеясь, что Ялта все равно «новинок не видела».

Наибольшим clou [2] репертуара был «Никандр несчастный» * (роль Никандра исполняет автор); хотела я пойти посмотреть на эту несчастную пьесу, но не могла, так как в это время была больна, да и мало от этого потеряла.

Без Заньковецкой Садовский неизбежно провалится, так как Базилевская — все признают — zèro personnifie! [3]

Ну, а как прошел soirée de gala [4] у поляков? Была ли ты на нем? А пойти следовало бы, безусловно следовало бы. Да, вот была история! Наш хозяин ходил во время масленицы на маскарад! Кто бы ожидал? Говорит, будто отроду не был, хотел увидеть, что это такое, ну и, вернувшись, конечно, сказал, как и наш Пуц, что ходить не стоит, разве только для того, чтобы убедиться в этом. Что бы тебе еще нового написать? Началась настоящая весна: в саду у нас цветут фиалки, было так тепло, что можно было сидеть в садике за работой, как в комнате, без пальто; вот только вчера

---

[1] Смешное убивает трагическое *(франц.)*.
[2] Гвоздь *(франц.)*.
[3] Олицетворение нуля *(франц.)*.
[4] Парадный спектакль *(франц.)*.

вечером налетел с моря туман, да такой густой, непроницаемый, что Виноградной улицы от нас *совсем* не было видно, да и сегодня хотя немного прояснилось, но гор нигде не разобрать, Ялта точно в степи! Такая туманная погода для Ялты некстати — только недавно сгорел газовый завод, и света на улицах нет, а когда окончатся лунные ночи, то и вовсе наступит тьма египетская! Всю эту ночь напролет простоял около Ореанды какой-то пароход, не осмеливаясь в тумане двинуться ни вперед, ни назад, — вот удовольствие! У нас дома, слава богу, ничего нового, — большая комната все не занята, и там спит Настя. Катюша грустит, что не может много играть, но все же играет ежедневно, хотя мало. Господин Дерижанов с весны что-то очень раскашлялся и похудел, даже жалко на него смотреть; теперь снова будто поправляется.

Чистая беда, когда врач заболеет чахоткой, — нет, кажется, более несчастного человека! Еще удивительно, что господин Дерижанов не теряет хорошего настроения или по меньшей мере не показывает этого. Мне его очень жаль! Хотя он часто любит говорить, что врач должен профессионально «бесчувственно» относиться к своим больным, но у него это только теория, а на практике если бы все врачи относились к своим больным, как он ко мне в то время, когда я была больна, то эпитет «друзья человечества» никогда не звучал бы иронически... Сравниваю то время, когда я лежала больная у Лещинской и как ко мне отнеслись здесь господин и госпожа Дерижановы, то вижу, что не вдвое, а в сто раз лучше устроена здесь!

Ну, до свидания. Теперь буду писать часто! Целую тебя крепко!

*Твоя Леся.*

### 29. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

[*Ялта*], *Вилла «Ифигения»*,
*28/II 1898.*

Милая мамочка!

Только что получила твое письмо и по-гоголевски отвечаю тотчас же. Надеюсь, что вы уже получили

мои письма к Лиле и к тебе и уже знаете, почему я молчала[...]

Теперь ad res litterarias[1]. Труппа Кропивницкого в Минске, мне об этом писал господин Мержинский (то есть то, что труппа *уже там теперь*), и я просила его пойти узнать у Вороного, получил ли он пьесу и письмо; надеюсь, что ответ будет скоро, так как господин Мержинский почему-то очень интересуется судьбой моей «Розы». На посылке, я хорошо помню, было написано, откуда и от кого послано. Это просто невнимательность, alias[2] свинство со стороны В[ороного], что он до сих пор ни тебе, ни мне ничего не пишет. Зачем же было приставать — давайте пьесу? Сгореть пьеса не могла, так как пожар произошел много позже. Расписка у меня сохранилась — берегу, как зеницу ока. О Заньковецкой в роли моей Любы я писала в прошлом письме. Теперь повторяю: я очень рада Заньковецкой. Прошу только не называть спектакль «чтением монологов»; не по вкусу мне это название...

Над лисьими выражениями я и впрямь очень смеялась. Положим, что от «сладкого» пера может действительно быть «пятно» — тоже сладкое, как, например, от шербета, но такие вещи не для общего сведения.

Стихи мои и «Ифигению» пошли в «Вестник»; только не посылай «Восточную мелодию» и «Еврейскую мелодию», «Мечты» и «Зимнюю ночь на чужбине». Все это я послала отсюда. Во второй книжке напечатаны «Восточная мелодия» и «Мечты». О твоей поэме я давно была того мнения, что ее грех «мариновать». Посылай ее немедля! Я уверена, что Старицкий * своим «Мазепою» не заслонит твоего «Орлиного гнезда», — по-моему, это лучшее из твоих поэтических произведений, а роман, наверно, будет чем-нибудь à la «Богдан Хмельницкий»; тем более не следует, чтобы за ними

---

[1] О вещах литературных *(лат.)*.
[2] Иначе *(лат.)*.

оставалось jus primae occupationis [1] этой еще никем не затронутой темы о Дорошенко. Что касается моей драмы, то у меня просил ее Стешенко для какого-то полтавского издания (может быть, это сборник памяти Котляревского или что-нибудь другое — не знаю), но я ответила, что сначала нужно ее проверить на сцене, а потом уже печатать; значит, наши мысли совпали. Когда «Голубая роза» будет поставлена, ты возьми рукопись и отметь те места, которые окажутся неудачными, по возможности выясни, почему именно неудачны, и я постараюсь исправить. Ну, однако, и ты и киевляне хотите развить во мне mania grandiosa [2]. Ей-богу, расхвастаюсь!!! Что правда, мама, то правда, — олимпийство никогда не было мне свойственно, и по временам трудно бывает сохранить олимпийское спокойствие; но, по правде сказать, теперь у меня скорей бодрое, нежели кислое настроение. Может быть, это и не совсем нормально, но мне кажется, что меня ожидает какая-то большая битва, из которой я вернусь победителем или совсем не вернусь. Если у меня и в самом деле есть талант, то он не погибнет, — это не талант, который погибает от туберкулеза или истерии! Пусть и мешают мне эти болезни, но зато, кто знает, не куют ли они мне такое оружие, какого нет у других, здоровых людей. «Nennt man die grössten Schmerzen, so wird das meine gennant» [3], — сказал Гейне, и я скажу вместе с ним; но Гейне сказал, и по праву сказал, еще и другие слова, которые я не решусь произнести; только в минуты какого-то безумия они звучат в моей душе, и трудно заставить их умолкнуть.

Довольно! Не следует мне еще писать такие длинные письма. Сама чувствую, но трудно удержаться. Пиши скорей, как поживает Уксусок! Очень жду весточки.

Целую тебя крепко-крепко.

*Твоя Леся.*

---

[1] Право первого захвата *(лат.)*.

[2] Мания величия *(лат.)*.

[3] Назовут самые тяжкие страдания, тогда и мое назовут *(нем.)*.

### 30. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*8/VIII 1898.*
*[Гадяч]*

Моя милая Лилия!

Что же это мы друг другу не пишем? Даже странно! Положим, ты писала, для «общественного сведения», но, может быть, нашлось бы что-нибудь и лично для меня? Я теперь вообще мало писем пишу, связалась с русским переводом «Голубой розы». Мама и Сергей Константинович «весьма — очень искусно» заставили меня дать слово, что я ее переведу еще до отъезда в Киев, и теперь я наказана за собственный sentiment d'honneur [1]. Перевела первые два акта и едва не умерла от тоски: избави бог переводить собственные произведения! Нужно скорей прославиться, чтобы нашлись такие несчастные люди, которые приняли бы на себя эту неблагодарную работу. Сегодня напало на меня ожесточение против лености, и я переводила не только днем до обеда (что делаю каждый день), но и вечером, — теперь уже довольно. Больше ничего особенного не делаю, перечитываю лекции Н[иколая] В[асильевича] *, прочитала «Париж», «Что такое искусство?» Л. Толстого, несколько драм Ибсена — все это читалось лежа в гамаке или по вечерам в постели. Мои глаза когда-нибудь скажут за это спасибо!

### 31. И. Я. ФРАНКО

*9/21/X 1898 г.*
*[Киев]*

Милостивый государь!

Посылаю Вам два выпуска «Наши люди на селе» *, и, если они Вам покажутся заслуживающими внимания, прошу Вас написать рецензию для «Вестника» или куда Вы найдете лучшим. Вскоре выйдет третий выпуск таких рассказов, я вышлю его Вам, если эти два Вас заинтересуют. Автор этой книжечки — мой това-

[1] Чувство долга *(франц.)*.

рищ, еще молодой, и это его первый печатный труд. В Киеве эти рассказы произвели хорошее впечатление, их сравнивали с «Мужиками» Чехова; да и судьба у них тоже сходная: одни не в меру хвалили, другие не в меру бранили. Очень интересно было бы знать Ваше мнение.

Не будете ли Вы так любезны прислать мне Ваши «Увядшие листья». Мне даже стыдно, что до сих пор у меня их нет; в то же время мне очень понравились отрывки из них, попадавшиеся в журналах.

Благодарю Вас за слишком даже благосклонный отзыв о моих стихах *. Право, боюсь, что у меня теперь разовьется mania grandiosa. Должна признаться, что сравнение моих и маминых стихов * немного меня обидело и поставило в ложное положение. Но не мне говорить о критике моих же стихов.

Хотя немного и преждевременно, но все же пользуюсь оказией, чтобы поздравить Вас с юбилеем *, но в спешке я не могу, к сожалению, найти соответствующий стиль. Была бы рада, если бы мне удалось приехать на Ваш праздник, тогда, может быть, искреннее рукопожатие заменило бы слова. Разве в стиле дело? Вы знаете, как я искренне уважаю Вас и Ваш талант, а зная тяжелую долю украинского поэта, рада бы все сделать, чтобы ее улучшить. Желаю Вам счастья в Вашей жизни.

Искренне уважающая Вас

*Леся Украинка.*

### 82. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*Berlin, N. W. 17—29/I 1899.*

Милая моя Лиля!

Вот, наконец, только сегодня добрались мы до Берлина*. Были у Бергмана, не застали его дома, куда-то выехал, но завтра должен вернуться, следовательно завтра буду у него опять, и, может быть, все выяснится. Тем временем, казалось бы, нечего и писать, но сижу одна в отеле, и все равно ничего лучшего не придумаешь, как писать письма. Мама ушла с Мишей

бродить по Берлину (именно бродить, так как на улицах слякоть страшная!). А я бродить не могу: проклятая нога под конец устраивает мне скандал, так разболелась, что нельзя одной и через улицу перейти, почти так было в позапрошлом году перед впрыскиваниями, — дорогой, что ли, ее растрясло, кто ее знает!

*20/I — 1/II 1899 г.*

Прервали мое письмо на полуслове, а потом я уж не могла собраться его окончить. Спустилась в лифте в читальный зал отеля и, пока наши ходили по Берлину, читала газеты и писала. Это начатое письмо не захватила с собой и поэтому не закончила; кроме того, вскоре пошли обедать, а затем поехали к Бергману, которого в первый раз дома не застали, потом опять, посидев в читальне, отправились в Deutsches Theater [1] смотреть «Fuhrmann Henschel» [2] Гауптмана. Немцы играют чудесно, очень типично и так «народно», что пусть наши украинские актеры спрячутся! Но сама драма мне не понравилась: отсутствует логика в развитии драматических мотивов. Все это было позавчера, а вчера мы с мамой уже перебрались в Privat-Klinik [3] Бергмана. Мама, кажется, забыла написать адрес, вот он: Johannesstrasse, 11, bei Frl. Blohm [4]. Эта Frl. Blohm старая немка — собственно, две немки-сестры содержат пансион для пациентов Бергмана, поэтому пансион и есть совместное заведение Frl. Blohm и Bergman's Privat-Klinik [5]. Дерут здесь за все очень дорого, но зато специфически больничный элемент сведен до минимума: отдельная комната (без посторонних больных соседей), обстановка просто домашняя, а не больничная, даже над кроватью нет таблички с названием болезни, а эта табличка так удручала меня в киевской клинике! Перевязки делают

---

[1] Немецкий театр *(нем.)*.
[2] «Возчик Геншель».
[3] Частную клинику *(нем.)*.
[4] Улица Иоганна, 11, у девицы Блом *(нем.)*.
[5] Девица Блом и частная клиника Бергмана *(нем.)*.

в изолированной комнате, и поэтому не так проникает удушливый запах иодоформа.

Прислуги много, и все очень быстро делается. Есть дают пять раз в день, и довольно разнообразно. Мы теперь живем с мамой вдвоем, здесь многие пациенты так живут, только за здоровых пациентов приплачивается по 6 марок в день. Здесь хорошо, насколько может быть хорошо в больнице.

Как видишь по почерку, уже лежу, но меня еще не резали, ждут, чтобы нога немного успокоилась, а она как назло болит. Вот и положили меня дня на два-три, думают, что перестанет болеть, если будет в покое, но я что-то не очень надеюсь. Это очень досадно, так как время напрасно проходит, и я вижу, что весна, повидимому, пропала. Жалею, что не выехала до рождества, хотя собственно что мне мешало?

На медико-хирургические темы еще будет время наговориться потом, когда начнется настоящий Kur [1]. Мне только что сказали, что ждать бесконечно не будут, а дня через два-три будут резать, вне зависимости от того, будет нога болеть или нет, а теперь мне хочется поговорить о другом. Тут так много необыкновенного, начиная от мелочей комфорта и до грандиозных сооружений. Даже я, мало выходя за стены отеля, видя только небольшой район города, и то больше через окна фиакров, все-таки увидела целый мир. Вена рядом с Берлином не казалась бы большой, а о Киеве и говорить нечего. Тут собственно три города: подземный, наземный и надземный. Берлин стоит словно на кротовине: целая сеть подземных труб, канализационных, почтовых, электрических проводов и т. п.

Дома здесь почти все в пять-шесть этажей. Над улицами и более низкими зданиями построены эстакады, по которым беспрестанно мчатся поезда. Мы обедали первые два дня в ресторане, по крыше которого проходит железная дорога. Непосредственно по улице поезда не ходят, только по этим эстакадам. В первых этажах домов всюду магазины, даже странно, когда подумаешь, сколько человеческого труда кри-

[1] Лечение *(нем.)*.

сталлизовано в этих изделиях, порой совсем излишних. Больше всего меня поражает не то движение, которое видно днем, но то, которое слышно ночью; особенно оно было слышно в отеле, где мы жили первые два дня. Как только жильцы отеля улягутся спать, начинается починка и чистка водопроводов, лифтов и т. п., словно какие-то гномы, подземные духи, ведут свою таинственную работу. Только очень ненадолго, перед рассветом, затихает Берлин, а утром гномы переносят свою работу из подземелий в коридоры, затем в комнаты, вместе с этим пробуждается улица, все бежит, летит, стучит...

Сегодня поутру, лежа, я присматривалась к работе гномов Frl. Blohm. Девушка принесла пять щеток (ей-богу, пять) и три тряпки, пустила в дело все восемь орудий, и в полчаса комната была, как стеклышко; таким способом она должна была прибрать за утро шесть комнат. Расскажи это в «назидание» Фене. Рядом с такой сноровкой как-то уживается тяжеловесность во всем — в работе, в стиле комнат, в одежде и даже в походке, особенно в походке. Здесь у всех очень грузная поступь, даже женщины ходят так, что шестиэтажные, солидные здания дрожат.

Сегодня, когда приезжал Бергман, началась страшная беготня, хозяйки, служанки метались, как сумасшедшие; я этого не видела, но сразу же почувствовала, что пульс нашего дома забился 140 в секунду. Вот, слышу, бежит кто-то по коридору, как подкованная лошадь, полным галопом и звенит подковами по полу: цок, гуп, цок, гуп! Горюшко мое — дом развалится! Спрашиваю, кто это бежал? — Herr Assistent [1].

Ну-ну... Вообще хотя тут и не очень широкое поле для наблюдения, но я еще не скучаю, так как ежедневно узнаю новое. Тут и пациенты есть необыкновенные, например девочка десяти лет приехала из Африки, из Трансвааля; у нее та же болезнь, что и у меня, но ее не резали, сделали вытяжение, а теперь она ходит с протезом и говорит, что поправляется. Значит, Бергман совсем не такой «мясник» и не режет наобум,

[1] Господин ассистент *(нем.)*.

а только тогда, когда это именно нужно. Немки рассказывали, что много таких больных, как я, поправлялись у них на глазах после операции так, что стали ходить ohne Stock, ohne irgendwas [1]. Speriamo bene [2], и не нужно бояться!

А теперь будь здорова, нужно же когда-нибудь письмо окончить. Целую тебя крепко, mein braves Mädchen [3], и всех Geschwister [4]. Знакомым кланяйся, пиши сама.

*Твоя Леся.*

### 33. А. Е. КОСАЧ (СУДОВЩИКОВОЙ)

*21(9)/III 1899.*
*[Берлин]*

Милая моя Риччи!

Ты мне пишешь уже второе письмо, а я все молчу. Надеюсь, не сердишься? Ведь мне теперь «закон не писан», скажу я, воспользовавшись не очень вежливым выражением. Все думала, вот освобожусь от гипсовых цепей, тогда и буду писать, но этого, вижу, долго еще ждать. Лежать на спине, прямо и низко, в гипсовой неподвижности, — поза не поэтическая и не литераторская; поэтому ничего не пишу, кроме писем, да и то мало и коротко. Знаешь, как дети переводят картинки на бумагу, накладывая их на оконное стекло? При этом очень руки немеют, так и у меня теперь. Из-за таких чисто механических причин я забыла, что я литератор, и когда читала твое письмо о моих стихах, то казалось мне, что речь идет не обо мне, а о каком-то другом человеке, следовательно я теперь объективна. Поэтому и скажу объективно, что «Сказка» лучше «Сна» *, так как она и по форме литературнее и по содержанию интереснее, а «Сон» написан еще очень неумелой рукой. Что касается chef-d'oeuvres, то их,

---

[1] Без палки, без чего бы то ни было *(нем.)*.
[2] Будем надеяться на лучшее *(лат.)*.
[3] Моя славная девочка *(нем.)*.
[4] Сестер *(нем.)*.

наверно, и совсем еще нет у нашего автора, или если и есть, то не напечатаны, так как его лучшие лирические стихи (он все-таки лирик par excellence [1]) в свет не вышли и, может быть, не будут изданы никогда. Почему? Из-за недостатка мужества, так как иначе следовало бы издать, ведь издавались значительно худшие произведения. Только, заметь, недостаток мужества не гражданского, а — как бы сказать? — мужества выйти «на площадь» и выложить все, что имеешь; наш автор глупо поступает: либо совсем спрячь свою лирику, либо имей мужество стать «выше суда глупца» и останься свободным в своей песне, как музыкант, который считается только с серьезной критикой. Наш автор должен еще хорошенько поразмыслить над этим.

Недавно читала я один глуповатый роман Bourget, но в нем поставлен интересный вопрос, насколько подлинная нравственная личность художника может и должна отражаться в его произведениях. Bourget решает, что у подлинно талантливого писателя произведение должно быть антитезой биографии, ибо, творя, он всегда свободен от своего будничного «я». Эх! Трудно писать, нужно кончать! Что-то вы оба не пишете ничего о Еве. Как ее успехи? Ну, adieu-hhh.

Целую тебя крепко и маму твою и Еву.

*Твоя Леся.*

### 34. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*Berlin, Johannesstrasse, 11.*
*20/V 1899.*

Дорогая и уважаемая товарка!

Много приятного доставил мне Ваш быстрый и благосклонный ответ. Приятным, между прочим, был он мне еще и тем, что в нем я узнала Вас такой, какой видела Вас до сих пор в Ваших произведениях, — вот

---

[1] По преимуществу *(франц.)*.

на этот раз Dichtung und Wahrheit[1] не поспорили друг с другом. Хотела бы я, чтобы Вы могли то же самое сказать и обо мне, когда мы повидаемся, да боюсь, что я не отвечу тому высокому идеалу, какой у Вас сложился. Вы сравниваете меня даже с ангелом, но, дорогая моя, знайте, что этому ангелу присуща порой такая ненависть, которая наверняка сбросила бы его с неба, если бы даже он очутился там каким-нибудь чудом. Не такая сторона наша русская (да и австрийская!) Украина, чтобы выращивать ангелов. Однако я собственно не об этом хотела говорить. В Вашем письме, наверное помимо Вашей воли, прозвучал немой укор мне, что я раньше, когда Вам это особенно было нужно, не отозвалась, не подала Вам братскую руку помощи. Это произошло только потому, что у меня слишком украинский и даже специфически волынский характер, и часто, боясь показать себя не в меру экспансивной, впадаю в другой грех — кажусь индифферентной. Наконец, может быть, так получилось даже лучше: Вы теперь горды тем, чем не каждый может гордиться, Вы сами создали себе свою судьбу и никому ею не обязаны. Кроме того, поверьте мне, чужая помощь, собственно говоря, не помощь: мне легко было выйти на литературную дорогу, так как я происхожу из литераторской семьи, но не меньше кололи меня поэтические тернии, а именно неверие в свой талант, трудные поиски верной дороги и тысячи других, о которых я не буду Вам говорить, так как Вы их, наверное, знаете. Что значит признание целого света, если автор сам не верит в свою силу? Помните ли трагический диалог мастера с женой в «Versunkene Glocke» Hauptmann'a[2], когда жена убеждает его, что он великий мастер, ибо все люди, все авторитеты сказали, что его творение венец всех творений, но мастер с отчаянной отвагой отвечает: «Nein, mein Werk war schlecht, ich weiss, ich fühl' es!»[3] Действительно, нам только кажется, что кто-то

---

[1] Поэзия и правда *(нем.)*.

[2] «Потонувший колокол» Гауптмана.

[3] Нет, мое создание плохо, я знаю, я чувствую это! *(нем.)*

другой может освободить нас от сомнений в нас самих, нет, этого никто не может сделать, только мы сами, и то не всегда. Наконец, эта идея лучше выражена в вашем очерке «Матерь божья» *...

Конечно, нам приятно, когда нас понимают, когда нас любят, но это не помощь, это порой большая награда, порой небольшое удовольствие, но это всегда приходит post factum [1], когда дело так или иначе кончено. Потому-то и я теперь, собираясь снова говорить о Ваших произведениях, не думаю, что это пригодится Вам практически, просто мне самой это приятно, а Вам, может быть, будет любопытно, как «голос из публики». Собственно говоря, критика более нужна публике — и самим критикам, чем авторам. Однако мое Einleitung [2] получается слишком длинным, — простите — это уже результат берлинского влияния! Я собственно хотела обозначить разницу между воззрениями галицкой критики и моими; галицкая критика попрекает Вас «неметчиной», а я думаю, что в этой неметчине таилось Ваше спасение, она помогла Вам познать *мировую* литературу, она вывела Вас в широкий мир идей и искусства, — это прямо бьет в глаза, если сравнить Ваши произведения с большинством галицких (я здесь не имею в виду, например, Франко, потому, что он не принадлежит к большинству); там (в произведениях галичан) видится уголок, запечье, — у Вас горная верховина, широкий горизонт.

Это, собственно говоря, хорошо, что Вы пришли в нашу литературу через немецкую школу *, а не через галицко-польскую, как большинство галичан, потому что эта школа галицко-польская собственно не школа. Если бы Вы начали с того, чем кончили, наверное пользы было бы меньше. Ничего, что Вы поздно научились нашему литературному языку, но зато Вы научились ему тогда, когда другие уже *думали, что знают*. Да к тому же — entre nous soit dit [3], — кто *знает* украинский язык? то есть так знает, как можно

---

[1] После событий *(лат.)*.
[2] Вступление *(нем.)*.
[3] Между нами говоря *(франц.)*.

знать французский, немецкий, английский etc. Если Вы из немецкой школы пришли на Украину, то пришли сознательно, зная, куда и зачем, значит, теперь можно не бояться, что Вы оставите ее. Пожалуй, и правда, что Вы частенько залетаете ins Blau [1], но не мне упрекать Вас за это! Оставляю это людям более практическим. Не во всем я могу целиком сочувствовать Вам, так, например, я не разделяю Вашего ницшеанства *, потому что этот философ никогда не импонировал мне как философ: его идеал Ubermensch [2], эта Blonde Bestie [3], как-то не очаровывает меня. Его афоризмы, правда, порой блестящи и красивы, но я не люблю афоризмов. Такое антиницшеанство не должно поставить между нами стену, у меня есть один очень близкий друг ницшеанец или что-то вроде этого, и он как-то мирится с моими выступлениями против «Blonde Bestien», хотя я и высказываюсь более остро, чем теперь Вам. Я надеюсь, что в этом Вы будете ко мне терпимы? Надеюсь также, что мы с Вами поговорим *еще не раз* на эту и на другие темы и в письмах и в живой беседе. Очень меня радует, что Вы собираетесь летом на Украину. Прошу Вас, напишите мне непременно перед выездом, когда должны прибыть в Киев, потому что я хоть и не буду в то время там, но, наверное, смогу приехать специально, а если уж абсолютно не смогу, надеюсь, дорогая товарка, Вы не откажете навестить меня на хуторе в Полтавщине. Лето я намереваюсь провести неподалеку от города Гадяч в Полтавской губернии [4], на хуторе моей матери. Гадяч — это родной город семьи Драгомановых, следовательно и моей матери. До него из Киева ехать не очень долго, часов около десяти (по российским просторам это совсем близко!) и стоит недорого, а поехать туда стоит, потому что там увидели бы Вы настоящие центрально-украинские села и типы, да и окрестности, хоть, наверное, не так красивы, как Ваша зеленая Буковина, но все же и в них

---

[1] В синеву *(нем.)*.

[2] Сверхчеловек *(нем.)*.

[3] Белокурая бестия *(нем.)*.

[4] Адрес мой будет: г. Гадяч, Полтавской губ., Ларисе Петровне Косач. *(Прим. Леси Украинки.)*

много тихой красоты. Так или иначе, но, если Вы в августе приедете на Украину, то я, конечно, буду приветствовать Вас в нашем доме, или в Киеве, или в Гадяче, или и там и там. Хорошо? Сама я теперь, как видно, поеду прямо домой, ибо стала таким инвалидом, что даже нет охоты показываться в обществе. Конечно, я была бы рада заехать и в Вену и во Львов, но, говоря без шуток, у меня еще слишком мало силенок: хожу еле-еле, ездить могу с большими муками, и даже сидеть очень трудно, потому что эта поза наихудшая для такого пациента, у которого в бедре не все кости. Приехать же во Львов и лежать в гостинице невесело, да я бы и не вылежала при моем характере — у меня характер не по организму! — а это могло бы окончиться для меня очень грустно, потому что разрушило бы фундамент, заложенный с такими муками. Я болела шестнадцать лет, наконец нашелся хирург, который согласился меня резать, операция и вся процедура после нее были таковы, что вторично я себе и за царство небесное такого не пожелаю, да еще и не все кончено, все будет кончено чуть ли не через полгода. Видите, какие сроки? Да словно я собираюсь жить столько, как праматерь Ева... Поеду, может быть недели через полторы домой, а через полгода, может быть, понадобится еще раз явиться к хирургу, позволит ли он совсем освободиться от ортопедии. Тогда-то, может быть, получу свободу «залететь» и в Галицию и на Буковину, а теперь мне не летать, разве только что на крыльях мечты, потому что даже песни мои что-то примолкли среди хирургических впечатлений. Вот с какими тяжкими муками берусь переписывать свои «песни» * для нового издания, да и эта работа идет, как жернова ворочаются...

Если Вашему знакомому литератору * будет интересно повидаться со мной, я была бы очень рада познакомиться с ним, я очень высоко ценю la confraternité littéraire [1]. Все же я не настолько инвалид, чтобы не могла видеть людей. Что касается приема незнакомых, но вообще известных людей, то мы, украин-

[1] Литературное братство *(франц.)*.

ки, в этом отношении достаточно либеральны. Да и вообще впредь прошу Вас простить меня, если я порой в чем-нибудь не стану придерживаться принятых у русинов австрийских обычаев, — это, наверное, случится не от недостатка уважения к Вам, а только потому, что я украинка. От всей души сердечно приветствую Вас от себя и от сестры.

Ваша товарка *Леся Украинка.*

### 35. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*Berlin, Johannesstrasse, 11.*
*29/V 1899 г.*

Уважаемая и дорогая Товарка!

Начинаю писать мелко — признак того, что письмо будет длинным, плохо — признак того, что пишу его лежа: сегодня утром немного поработала и уже устала, вот и лежу. Удивительно, что и Вы говорите о моей энергии, придется и мне самой когда-нибудь поверить в нее, а до сих пор я думала (до последних трех-четырех лет), что собственно энергии нет у меня ни капельки, и еще меньше энергии в моих стихах. Правда, и та энергия, какая есть, чисто пассивная — я такой лодырь, честно говоря! Вы убедитесь в этом, переписываясь со мной; порой на меня нападает такое, что месяцами не пишу никому, а что делаю? Кто его знает!

Не стройте себе больших иллюзий и о моем «широком образовании». Наверняка меньше знаю, чем Вы, потому что даже ни одной школы не окончила и вообще училась систематически только до 14 лет, а потом пошла на «свои хлеба», то есть училась только тому, что мне нравилось, а читала все (что попало) без нужного запрета. Правда, корректив был в лице моей матери, да в письмах дяди Драгоманова, которого считаю своим учителем и очень благодарна ему за многое в моих взглядах на науку, религию, общественную жизнь и т. д. Если бы он жил дольше, то, может быть, из меня вышло бы что-нибудь лучшее, чем

теперь, а так пусть будет что будет! Пишу Вам об этом потому, что вообще имею привычку рекомендовать себя новым знакомым не только с лучшей стороны — если кто разочаруется во мне, сможет сделать это скорей, а если кто станет моим товарищем, пусть знает, с кем имеет дело, принимая меня telle que je suis [1].

Обещаю Вам, дорогая, не «фыркать» по Вашему адресу, потому что, во-первых, не за что (так я думаю), а во-вторых, фырканье не в моем характере, да когда меня увидите, сами скажете, что оно мне совсем не идет. Это не значит, что я очень добра, нет, но просто злость у меня принимает другие формы. Наконец, думаю, что злость моя никогда не обнаружится перед Вами, ведь чем Вы можете ее вызвать? За теоретические разногласия я никогда не опускаюсь до злости, за черты характера было бы странно нападать на человека, ведь характер свой никто не может изменить добровольно, да и насколько я могу предугадать Ваш характер, он может мне только понравиться, а не вызвать громыхания. Я не раз говорила, что у меня натура «хроническая», потому что и впрямь у меня все хроническое — и болезни и чувства. Как анемия, туберкулез, истерия, так и дружба, любовь и ненависть. Потому-то и наша дружба, надеюсь, станет хронической. Извините за такой столь непоэтичный стиль — но я нахожусь в больнице: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Klinik gehen» [2] *.

Вот и хорошо, что про клинику вспомнила: я еще из нее не сейчас уезжаю, потому что немцы немного обманули, не сделали в срок ортопедический аппарат, а без него ехать невозможно, вот и опять недели на полторы-две откладывается мой отъезд. Жалко, что я тогда так Вам написала, поэтому, быть может, и Ваш знакомый не пришел ко мне, считая, что уже поздно.

30/V. Только что получила от него открытку — зайдет.

---

[1] Такой, какова есть *(франц.)*.

[2] Кто хочет понять поэта, тот должен идти в клинику поэта *(нем.)*.

Теперь новая комбинация с Вашим приездом ко мне: не будет ли Вам удобнее приехать несколько раньше открытия выставки прямо в Гадяч? Там Вы бы побыли с нами на хуторе, а потом мы двинулись бы вместе в Киев, потому что теперь в Киеве неинтересно: все разъехались по летним местопребываниям. А во время выставки все равно моей семье придется возвращаться в Киев, потому что детям пора будет в школы. Для меня собственно все равно, я только думаю, что Вам так лучше будет потому, что в июле в деревне гораздо приятнее, а в городе лучше позднее. Напишите заблаговременно, как решите.

Киевский адрес мой: Киев, Назарьевская ул., № 21. Я в Киеве долго не задержусь, так разве денька на два, но если бы Ваше письмо разминулось со мной, мне все равно перешлют его в Гадяч. Мамин хутор прямо под Гадячем, да об этом не беспокойтесь, потому что если только напишете, моя сестра встретит Вас на вокзале, а в Киеве я попрошу отца, чтобы он помог Вам. Все это пустяки, только приезжайте. Право же, Вам *нужно* побывать на Украине, как украинкам нужно ездить в Австрийскую Русь и вообще за границу. — Если Вам интересно познакомиться, например, с русской литературой, я с большой охотой готова послужить Вам чем могу. Ой боже! если бы, например, г. Павлык знал, что я хвалю Вас за «неметчину» и приглашаю ознакомиться с «российщиной», — вот бы рассердился! А я таки ему об этом скажу — порой люблю скандализовать компатриотов. Меня не удивляет, что галицкие умы не оказывают на Вас никакого влияния, потому что, мне кажется, Вы сами их переросли. И, — я не знаю, — умных людей я в Галиции встречала, только все они как-то не привлекают, чего-то им не хватает, темперамента, сердечности, чуткости или кто его знает чего, с ними не чувствуешь себя свободно. Говорю о мужчинах, женщин мало знаю. У галичан меня еще поражало какое-то странное, непростое отношение к женщинам, все они смотрят на нас или сверху вниз, или снизу вверх, а чтобы так прямо, наравне — ни за что! Разве могла бы какая-нибудь женщина или девушка сказать

или написать какому-нибудь галичанину «дорогой товарищ» или «дорогой друг» без того, чтобы ему не показалось невесть что? Я думаю, что нет. А пока дела обстоят так, все фразы галицких деятелей о поддержке «женского вопроса» остаются фразами. Насколько я слышала о положении галичанок в обществе, так это такая неволя, что я скорее бы на каторгу пошла, чем на такую жизнь. Так живут женщины, например, в Болгарии, я это видела... Не подумайте, что это во мне говорит «гордыня» украинки. Пишу так, ибо думаю, что могу говорить с Вами об этих вещах прямо и искренно. Мне кажется каким-то лицемерием, когда галичане (мужчины) жалуются на духовное убожество своих женщин и расхваливают украинок; от кого же зависит, чтобы дело изменилось?

Пусть университеты, права, дипломы etc. зависят от правительства, но общественные обычаи ведь не декретируются. Бывало, некогда и в России так, что женщине «из хорошего общества» нельзя было и шагу ступить по-человечески. Еще во времена Пушкина написать письмо молодому человеку значило скомпрометировать себя навеки («Я вам пишу, чего же боле? Что я могу еще сказать?» — пишет Татьяна Онегину), а теперь, если бы кто-нибудь такое сказал, то люди бы его на смех подняли. Помню, как-то один сечевик признался мне, что хотел «украсть» мою фотографию, потому что никак не думал, что может просто ее попросить, не будучи ни моим родственником, ни женихом. Мелкий факт, но он показался мне таким характерным. Тогда еще, помню (это было лет восемь тому назад), меня приводила в неистовство эта мешанина понятий: женское равноправие — свободная любовь, в которой сечевики никак не могли разобраться. Да, точно гвоздь какой-то засел у них в мозгу! Вот уж на что г. Павлык, наиболее «украинизированный», но и он путается в этом. Да, недаром те галичане, которые приезжали «искать себе жену» на Украину, стали из-за этого сватовства «притчею во языцех»! У нас разве только шляпы так выбирают, а не жен. И ведь приезжали не какие-нибудь, а передовые... Чтоб им! даже говорить об этом не хочется. Мне кажется почему-то, что на Бу-

ковине люди другие, сердечные, хотя, по правде сказать, я о Буковине ничего не читала, кроме рассказов Федьковича и Ваших.

Вот нежданно-негаданно и показала я свою злость, налетела на бедных галичан с мокрой тряпкой, хотя они мне лично ничего плохого не сделали. Вот какой я ангел!

Только, дорогая моя, не пугайтесь, не думайте, что я и с друзьями такая. Нет, мне кажется, я всегда понимаю, когда человеку больно, особенно если этот человек мне симпатичен. Сделать неприятное Вам я не хотела бы ни словом, ни поступком. И Вы не бойтесь поделиться со мной своей болью, я привыкла принимать чужие боли и огорчения, у меня были и есть теперь близкие товарищи, друзья, которые обращаются ко мне в грустные минуты и именно этим больше всего привлекают меня к себе.

Я не очень экспансивна, — это, кажется, характер всей нашей семьи, — это нехорошо, но ничего не поделаешь, и Вы не обижайтесь на меня, если я временами покажусь Вам недостаточно откровенной. Никогда самые близкие друзья не знали меня *всю,* и я думаю, что это так и будет всегда. Друзья мои привыкли к этому и предоставили мне свободу говорить только о том, о чем я хочу. Но я думаю, что им никогда не приходилось жалеть о том, что они когда-нибудь говорили мне.

Однако письмо мое получается страшно длинным! А я еще забыла спросить Вас о том, что хочется узнать сестре моей. Будьте любезны, напишите, что это за дерево *смерека*? У нас на Украине его, кажется, нет. Видимо, это не сосна и не ель? А также: как нужно понимать выражение: «Що й залежить на мені, коли лиш музику чую». Что это значит: «забываюсь, когда слышу музыку», или, может быть, «чувствую в себе необыкновенную силу», или что другое? На Украине так не говорят, вот мы и не можем как следует понять. Сестра моя просит передать Вам ее привет, благодарность за разрешение переводить и приглашение в гости к нам. Я сама тоже, наконец, приветствую Вас и — кончаю.

Ваша товарка *Л. Косач.*

### 86. П. А. и О. П. КОСАЧ (ОТЦУ И МАТЕРИ)

*14—26/VI 1899.*
*[Берлин]*

Дорогие мои папа и мама!

Пишу так только, чтобы подать весточку, хотя ничего определенного и нового сообщить не могу. Сегодня переделывали аппарат, завтра будут опять, — может быть, в последний раз, а может, и нет: каждый раз думается, что в последний, а там через день опять где-нибудь начинает давить, и снова начинается возня. Надоело это до последней степени, просто даже говорить об этом противно!

Однако сегодня, кажется, большой прогресс: давит только в одном месте, а нога при ходьбе уже не болит, — просто, может быть, я, наконец, привыкла к аппарату, как и надеялся Бергман. *Совсем* удобно в этой машине мне, наверно, никогда не будет, но все же нужно добиться minimum'а неудобств. Если, наконец, завтра это будет достигнуто, то на этой неделе выедем, может в четверг, но с уверенностью, как видите, ничего нельзя сказать.

Бергман заходит часто и все повторяет со своим жизнерадостным видом: побольше ходить. Вот я и хожу по Thiergarten'у [1] да по галерее. Вчера днем отважилась даже на «Versunkene Glocke» пойти, сама утомилась, а нога ничего, правда место было очень хорошее, по-моему ложа в бенуаре (за 3 марки!). Играют немцы хорошо, но актер, исполнявший главную роль, слишком торопился и из-за этого часто «глотал» и фразы и выражения. Впрочем, об этих впечатлениях лучше потом расскажу. Видела я на выставке знаменитого Беклина *. Пусть меня повесят его поклонники, но я, право, не пойму, на чем держится его слава. Что тут нового? Деревянные центавры, уродливые сатиры, голые женщины... Когда-нибудь поговорю с Бергманом на эту тему. [...]

---

[1] Парк в Берлине.

На этом кончаю в надежде вскоре увидеться. А вы все-таки напишите нам, главное, мамочка, про свое здоровье, выздоровела ли ты совсем. Целую вас крепко, крепко.

*Ваша Леся.*

### 87. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*Гадяч, хутор Зеленый Гай.*
*9—21/VII 1899.*

Дорогая товарка!

Признаюсь по правде, что не писала Вам, с тех пор как выбралась из Берлина, потому, что выехала в тот же вечер, как отправила Вам открытку, а потом — родная сторона встретила меня так неласково, что не хотелось и писать. Ехала я в Киев на день, а пролежала там три дня, потому что так неудачно упала, что думала, и костей не соберу. Когда мне стало легче, поехала сюда, полежала еще и здесь, а только встала, меня толкнули, я и снова слегла. Положение было настолько критическим, что я уже думала с тоской о морфии, или, что еще того хуже, о новой хирургической битве... однако обошлось. Разделалась с ногой, схватила ангину, легкую, правда, а все же еще три дня пришлось проваляться, вначале думали было, что это дифтерит. Наконец, все это кончилось и я здорова, вчера же и закончила свой перевод *. Перепишу и пошлю Вам, а Вы, будьте так добры, отредактируйте его. Наверно, мой немецкий язык покажется Вам диким, но в наш век шаблонов иногда любопытно увидеть нечто оригинальное. Несомненно Вы такого немецкого языка и не слыхали, плюс ко всему у меня нет под рукой «никакейшего» словаря. Однако перевела сама, как видите, написано все-таки немало, а я знаю, что Вы очень заняты. Возможно, с исправлениями будет меньше возни, чем было бы с переводом. Этот рассказ (скорее очерк) не был еще нигде напечатан, только был подан на конкурс Киевского литературного общества и получил премию; общество собиралось издавать его, но как-то до сих пор и не удосужилось.

Наконец, мне доставит большое удовлетворение, что издание выйдет на немецком, почему — расскажу Вам при встрече — es hat seine Gründe [1]. Я знаю, что господина Якубовского интересовали бы большие повести из народной жизни, у меня хоть и есть одна такая повесть *, но, во-первых, ее еще нужно привести в надлежащий вид, во-вторых, она слишком длинная, а в-третьих (и это главное), я совсем не в состоянии передать по-немецки наш волынский народный говор. Получается как-то смешно. Наверно, для этого нужно знать немецкие диалекты, тогда можно было бы выбрать какой-нибудь соответствующий, а литературный язык не справляется. Наконец, этот (переведенный) рассказец характерен для меня, ибо насквозь лиричен, его можно было бы назвать поэмой в прозе, а я собственно лирик par exellence. Я даже охотнее послала бы стихи, но мне возиться с немецким — «du lächelst, o mein ewiger Vater Apollo!» [2]

Когда будете пересылать перевод г. Якубовскому, не откажите в любезности, попросить его извинить меня за опоздание, хоть и причины его вполне уважительны. Я из-за этого до сих пор не послала издательскому обществу остатки стихов для моего сборника *. Что же делать, если Dame Nature [3] не дала мне ничего, кроме пера в руки, а рукам не дала даже столько силы, чтобы всегда твердо держать перо, и сказала: «Пиши!..»

Люди тоже говорят мне: пиши, но это только лишь слово, а претворять его в дело приходится все-таки мне, — ну, какова я, таково и мое дело.

Теперь — от литературы к жизни. Это истинное счастье, милый друг, что мы скоро увидимся! Только я в Киеве не буду, потому что все равно по съездам и выставкам мне не ходить, а сидеть дома здесь лучше, чем в Киеве. Из нашей семьи будет там только мой отец, потому что мама, кажется, не сможет быть там в то время. Я могла бы попросить отца, чтобы

---

[1] Это имеет свои основания *(нем.)*.
[2] Ты улыбаешься, о мой вечный отец Аполлон! *(Из Гейне.)*
[3] Госпожа Природа *(франц.)*.

принял Вас, да не знаю, будет ли Вам это удобно, — ведь известно, без хозяйки в доме порядка нет. Поэтому прошу Вас, быстро осмотрите выставку, поглядите на людей, рефератов слушайте не очень много, ведь, entre nous soit dit, археологические рефераты дело нудное, по крайней мере так кажется мне, профану, — да и направляйтесь ко мне сюда как можно раньше. Пока я лежала в больницах, мама построила здесь хороший дом, где могли бы поместиться мои приятели со всего света. Окрестности здесь красивые, горизонт широкий (после каменного Берлина я научилась это ценить), людей не слишком много, может быть Вам покажется и мало. Будем на лодке плавать и просто руками, если умеете; я буду Вам играть Шумана и Шопена, которых Вы, кажется, очень любите, кроме того множество украинских песен в собственной транскрипции, свободной от контрапункта и всяческой теории. Мои сестры (их у меня три) покажут Вам все окрестности, увидите такую Украину, «украинистей» которой и нет. Качаясь в гамаках под дубами, прочитаем Ваши новые произведения, а из моих разве что старые; может, даст бог, тем временем и новые будут. Вы, может быть, что-нибудь новое здесь напишете *, шум леса, может быть, навеет на Вас новые мечты и думы. Наш дом стоит среди леса, а ниже по реке лес еще лучше, не сосновый, правда, а лиственный, однако тенистый, красивый. Я не буду нагонять на Вас грусть, так как в жизни я больше оптимистка, чем в своих литературных произведениях. Это происходит потому, что я пишу охотнее всего, когда у меня в душе ненастье, но оно все-таки не каждый день бывает. При Вас, думаю, и вовсе его не будет.

Обязательно напишите еще мне до выезда, а из Киева тоже пишите, когда здесь будете, чтобы наши могли Вас встретить. Если на вокзале никого не окажется (может быть, ночью приедете или письмо запоздает), прикажите извозчику везти Вас на Драгомановскую Гору, в дом Драгомановых (это в Гадяче), а там уж, наверное, кто-нибудь из наших будет, потому что мы все так: одни на хуторе, другие в городе.

Жаль мне, что не буду в Киеве и не увижу всех заграничных гостей, но мне теперь ездить так трудно, что и думать не хочется о вагонах и т. п., не хватает еще новой катастрофы в Киеве, нет, лучше мне не рыпаться, пока не поправлюсь.

До свидания, дорогая подруга, поскорее приезжайте. Жду Вас. Сестра приветствует Вас от всего сердца.

*Ваша Леся Украинка.*

*P.S.* Мама просит передать Вам приглашение в новый дом. Будет очень рада познакомиться с Вами.

*P. S.* (Через две недели после самого Scriptum [1], т. е. 23 июля ст. ст.) Залежалось письмо так невозможно долго потому, что я хотела отправить его вместе с переводом, а с переводом задержалась оттого, что было очень много гостей и как-то работа не шла. — Написала я письмо и г. Якубовскому, дала отправить, а письмо потеряли, может быть, напишу другое, но все же прошу Вас, будьте любезны, попросите его извинить меня за проволочку, Вы владеете немецким стилем лучше. Хотела бы я еще один мамин рассказ перевести, и еще один, да уж не знаю, не опоздала ли. Когда собственно должен выйти сборник?

Ой, спешу, ведь если и сегодня не отправлю, так уж и не знаю, что о себе подумать.

До *свидания!* жму Вашу руку.

*Л. У.*

### 88. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*16/XI 1899.*
*[Киев]*

Милая моя Лилия!

Мне просто самой неприятно, что я тебе так долго не пишу. Это, конечно, не потому, чтобы я считалась письмами, я знаю, что тебе некогда писать a parte;

---

[1] Письма *(лат.)*.

хорошо, что пишешь «универсалы» *, так как не обидно никому и все же каждый найдет себе в них то, что ему нужно.

Не писала я тебе потому, что не могла выбрать времени. Но не ругайся снова, так как я собственно ничего и не писала с той поры, как твой реприманд получила, но это мало «спасло положение», ибо факт, на первый взгляд парадоксальный, заключается в том, что чем меньше делаешь, тем меньше остается свободного времени, и это факт непреложный. Primo[1], у меня два урока: с Дорой до обеда, и с Радой после обеда. Работа эта совсем не трудная, но время, признаться, разбивает. Дора встает (как ты знаешь) не раньше одиннадцати, за урок садится около двенадцати, занимаемся до двух; перед уроком писать трудно, из-за Доры в комнате не убрано, да и утром я не человек. После урока до обеда также редко удается писать, а после обеда, между четырьмя и пятью, приходит Рада, иногда позже (в семь), в те дни, когда она сама дает уроки детям Лычкова (три раза в неделю по два часа, за 15 р. в месяц). Занимаемся часа полтора-два, если никто не перебьет, а это частенько случается, — ты знаешь порядки киевской жизни. Последние три дня передо мною промелькнул такой калейдоскоп людей, что вчера после обеда я уже могла только лежать на кушетке и полусонными глазами просматривать (собственно не читать) французские журналы. Такие вещи, как гости и рауты («ассамблеи»), — это такой force majeure[2], от которого у меня нет защиты, и ты меня не должна укорять за усталость из-за них, ибо всякие forces majeures признает даже суровый code Napoléon[3]. Я даже думаю, что единственное средство против этого désordre[4] начать какую-нибудь серьезную работу к определенному сроку. Это значительно меньше утомляет, чем визиты гостей, а к тому же заставляет других, даже домашних, хоть немного уважать чужое

---

[1] Во-первых *(лат.)*.
[2] Непреодолимая сила *(франц.)*.
[3] Кодекс Наполеона *(франц.)*.
[4] Суматохи *(франц.)*.

время: «Она пишет к сроку, ей и в *самом деле* некогда».

Ты знаешь, наверно, как неприятно бывает, ложась спать, думать: вот и опять день прошел напрасно, ни себе, ни людям! Неужели ты хотела бы осудить меня на 365 таких дней? Положим, ты теперь только в далеких воспоминаниях можешь представить себе такую жизнь «вничью», и опять скажешь, что мне нечего равняться с тобою, так как ты ведь здорова, а я больна и т. п. Но выхода другого нет: или калейдоскоп, или работа. Я в самом деле утомилась, когда писала реферат, но это была, право, более здоровая усталость и морально и даже физически. И, наконец, я не могу не брать пера в руки, — разве лучше, если ненаписанные мысли будут мешать спать по ночам? Поэтому остановимся на таком компромиссе: я буду писать только по вечерам, а не по ночам (днем я никогда не в состоянии этого делать). Я не помню, когда я обещала целый год *совсем ничего* не делать, — это было бы слишком странное и даже никому не нужное обещание, припомни, что я даже в Берлине немного писала, и мои хирурги нисколько на это не жаловались, наоборот, считали, что это в некотором отношении даже полезно. Наконец, отчасти ты права, — не в принципе, а на практике, то есть если твой протест приложить к характеру работы, а не к самому ее принципу. Скажу тебе еще одно (это уже совсем a parte), что моя работа, как и музыка, служит по временам вместо горчичника (конечно, морального). Так, например, месяц назад, если бы не мое неустанное, действительно нечеловеческое писанье, прерываемое по временам иногда сонетами и ноктюрнами, то, может быть, я опять дошла бы до припадков, — такие были обстоятельства (которых не стоит описывать, это очень хроническое явление, и ты, как и все мы, его хорошо знаешь). Но обошлось без них — laudantur Apollo et Musae! [1] Я знаю, что очень «невозвышенно» употреблять литературу вместо морфия, но все же это лучше, чем морфий принимать вместо литературы. Этот «морфий»

[1] Благодарение Аполлону и Музам (*лат.*).

не дает мне погрязнуть, скиснуть и погибнуть — и на этом спасибо. Было бы лучше, если бы я могла, пока совсем поправлюсь, жить спокойно, уравновешенно, и чтобы ничто не раздражало меня, но где же взять такие условия!

Боюсь, что ты всю эту долгую хрию примешь просто за «виляние». Но все же я прислушиваюсь к твоему будущему авторитету (послушание в кредит). Так, например, я сегодня очень удачно вырвалась из рук Старицкого, который хотел меня привлечь к сочинению драматического этюда en collaboration [1] с ним, «но не тут-то было»! Должна признаться, впрочем, что перспектива писать на заданную тему (у Старицкого уже составлен план) в союзе с человеком совсем другого литературного поколения и пишущим в другой манере, не очень была мне по душе. Дай бог мне с собственными темами справиться! А лучший союз и общество при работе над оригинальными беллетристическими произведениями — это рабочая лампа (если не коптит) и четыре стены, таков по крайней мере мой вкус. Старицкий, кажется, рассердился на меня; ну да пересердится.

Однако ты имеешь право сказать мне, как Раутенделейн Никельманну: «Erzähle Dinge dass man wissen will» [2] *, — я все о своем, забыв, что оно может быть, и не интересно. О домашних делах, наверное, папа, Оксана, Дора и теперь вот мама написали и напишут тебе лучше, чем я, потому что они обладают для этого le talent du détail [3], которого у меня нет. Впрочем, нового мало: Микось дня три недомогал, но теперь здоров. Оксана все какая-то вялая, какой она всегда бывает в киевской обстановке, у мамы нервы часто разыгрываются, папа жалуется на одышку, Дору одолевают какие-то нарывы. Я здорова, и все говорят, что я очень хорошо выгляжу. Да и вообще никто не болен чем-либо серьезным, а так порой поскрипывают, как это и надлежит горожанам. Поскрипывание не мешает

---

[1] В сотрудничестве *(франц.)*.
[2] Рассказывай о том, о чем хочется узнать *(нем.)*.
[3] Способность детализировать *(франц.)*.

всем членам нашей семьи вести довольно светский образ жизни: у меня и у Микося она идет центростремительно, а у других центробежно, ведь я большей частью вижу людей у себя дома, а другие сами ходят к людям. Я бываю частенько только у тети, да еще у Старицких (там теперь Зина скульптор, очень она мне понравилась), а у других так, «по праздникам». Ассамблеи всяческие в этом году живее и как-то больше в них толку, чем раньше.

Литературное общество процветает, когда бывают вечера с украинской программой, и пустует с другой, — так и чередуется: один четверг — людей много, «треск и блеск», другой четверг — до тридцати человек не набирается, «тишь да гладь»; Старицкий старается там устроить сцену и намеревается что-то ставить. Маня Старицкая устраивает еженедельно народные спектакли, в одном из них принимала участие мама, а Рада с Оксаной играли «роли без слов», выступали также Маня, Люда и Наталочка (Галя Л. тоже статистом). Спектакль этот («За двумя зайцами») я смотрела, он прошел и живо и хорошо.

Теперь Маня очень хлопочет, ведь пока дадут разрешение на дальнейшие украинские спектакли, необходимо ставить русские (нужно еженедельно что-то ставить), а для них ни актеров, ни зрителей не найдешь. Кроме этого спектакля, я была в театре дважды: ходила смотреть Мунэ-Сюлли в «Отелло» и Багрова в роли царя Федора. Ни тот, ни другой на этот раз не очаровали меня, так как им как-то не подходили их роли. Мунэ-Сюлли декламировал Отелло в то время, как этому мавру было совсем не до декламации, и если исключить несколько очень удачных жестов, оригинальных сценических tours [1] и проникающих в душу интонаций, то можно сказать, что игра его в этой трагедии светит, да не греет. Багров превратил Федора в такого уж слабоумного, что ему одна дорога — в Творки *, а не на сцену. Наконец, и сама пьеса мне не понравилась, старомодная и тяжелая (девять картин! и монологи, монологи...), и как-то

[1] Приемов *(франц.)*.

ничем не впечатляет. Была я также на двух концертах: Сливинского и Есиповой; оба чудесно играют, но Есипова лучше: тонкое, интеллигентное, разнообразное и полное чувства исполнение. Если ты где-нибудь услышишь, что Есипова дает концерт, непременно пойди, стоит этого. Ходила также на некоторые четверги литературного общества, на одном из них, как тебе известно, сама читала. Один четверг устраивала мама и читала описание своей поездки в Чигирин; говорят, вечер был очень удачен, но я на нем не была, так как пошла смотреть Мунэ-Сюлли.

Был недавно Людин вечер, с весьма случайной и для самой инициаторши неожиданной программой, однако все же прошел ничего себе. На этом вечере Старицкий читал «Месть дьяка» М. Ф. Левицкого, и публика не успокоилась, пока не вызвала самого «автора» на сцену: пришлось ему выйти, хотя он чуть не умер от смущения (недаром он Модест, да еще и сын Модесты Модестовны).

Теперь в Киеве появился и другой Левицкий (Левитский М. В.), но я его только мельком видела, на улице всего одну минутку, сказал, что придет к нам. Доктор Левицкий скоро уедет (послезавтра), глаз его уже начинает приходить в норму, а намучился он, бедный, с ним немало. Сестра госпожи Левицкой Вера поехала служить в Умань телеграфисткой, я ее рекомендовала нашим. A propos, тетушка Саша недавно объявилась в Одессе в гостях у Маланьи Фоминишны, об этом сказала нам панна Клименко, которая вернулась оттуда и была проездом у нас. Эта тетя Саша ни с того ни с сего «поднялась и зашумела» совсем неожиданно (может, и для самой себя), потому что недавно писала и ни единым словечком не обмолвилась о сборах в дорогу. Да это она хорошо делает: я этот обычай люблю. Паша и Тося все меняют свои планы; все хочу спросить у Тоси, на чем же они, наконец, остановились. Хотят продать Луцы — жаль, по-моему, да кто его знает, может иначе невозможно.

Заканчиваю «книгу», так как пора спать, да и слишком она длинная, — тебе, может быть, и некогда читать такие «книги». Одновременно с нею высылаю

тебе завтра свою статью «Два направления в новейшей итальянской литературе» и три твоих перевода из Кобылянской. Переводы задержала мама, так как никому, даже мне, не хотела давать переписать, а сама она тяжела на подъем. Мой реферат опоздал из-за этого проклятого литературного общества, чтоб ему пусто было! Долго рассказывать, как было дело, да и не стоит, а только факт, что давно оконченная работа напрасно валялась во всяких конторках, а я думала, что она печатается. Теперь я раздумала посылать статью в «Вестник Европы». Там она вряд ли «ко двору», — передай ее через Славинского в «Жизнь» *; мама уверяет, что Славинский, когда был здесь, очень упрашивал меня и маму сотрудничать в «Жизни». Если так, то пусть решает, годится ли эта работа; если годится, то я бы хотела узнать решение редакции (я в этом очень заинтересована, чтобы это было скорее). Если статья будет принята, то скажи Славинскому, что я бы не хотела печатать ее gratis [1], но гонорар, прошу его, пусть сам назначит, так как их обычаев не знаю. Наконец, если бы ты увидела, что у него нет желания заниматься моей статьей, то не навязывай, а будь так добра, отнеси или отошли ее в «Жизнь» или еще куда-нибудь, посоветовавшись с добрыми людьми или положившись на собственное мнение. Спроси только Славинского, как договориться о гонораре. Я не думаю, чтобы он решительно не имел охоты помочь мне в этом деле, так как я и теперь, как и раньше, так будет и всегда, рада ему помогать чем только могу (это можешь ему даже сказать, если придется к слову). Почему ты не спросила, как думает он поступить с корректурой переводов Гейне? Сама ли я должна ее держать, или он поручил кому-нибудь? «Атта Тролль» я во всяком случае буду корректировать сама. Нужно так или иначе решать это дело, так как печатание скоро начнется.

Извини, что причиняю тебе столько хлопот. Но посылать что-нибудь в редакцию неизвестному автору

---

[1] Бесплатно *(лат.)*.

из провинции — напрасный труд, а адреса Славинского я не знаю. Ты можешь списаться с ним, если некогда ходить.

Будь здорова, Лилия моя! Скорее до свиданья, так как, наверное, через месяц увидимся. Ты не печалься, время быстро пробежит; не сердись, что редко пишу, — в этом нет злой воли, это даже не леность. Открыток я вообще не пишу, а на «книги» не всегда есть время и сила. Однако буду писать еще раз в этом месяце. Ты же, моя Лилия лилейная, не склоняй головки на чужбине, а держи ее прямо и гордо, как подобает огненным Лилиям.

Целую тебя крепко. Хомяковой поклон и знакомым.

*Твоя Леся.*

### 89. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*18—30/I 1900.*
*[Киев]*

С Новым годом, с новым счастьем!

Запоздалый привет, но от этого не менее искренний.

Скажите, дорогая подруга, что Вы думаете обо мне, ожидая так долго мой доклад * и письмо? Если думаете что-нибудь неприятное для меня, например: «Ну, и обманщица же эта Леся!» — то бросьте такие мысли, потому что я их не заслужила. Я была от самого того доклада моего (с 9 ноября) в нескончаемой «хлопотне».

Сначала должна была готовить к печати свой давнишний реферат (об Аде Негри и Д'Аннунцио) для сборника здешнего литературного общества, потом готовить лекцию об украинской литературе, затем засела за письма, и только что собралась переписывать лекцию о буковинском «трилистнике» * (Kleeblatt) [1], как тут свалилась настоящая беда: Оксана и Дора заболели скарлатиной. (Тут уж было не до писания.) Пролежали они все праздники и встали только 12—24 с. м.

[1] Клеверный лист *(нем.)*.

Мне и Лиле пришлось уделить им все внимание, потому что эта страшная болезнь особенно плоха своими осложнениями, если не досмотреть за всем как следует. Бедная Лиля совсем плохо провела свои рождественские каникулы, ведь даже никуда в гости нельзя было пойти из-за опасений занести кому-нибудь в дом заразу. Теперь она уже снова уехала в Петербург и вернется домой только летом. Однако я увижу ее раньше, потому что намереваюсь недели через три ехать на север к брату и Лиле, а еще по дороге думаю навестить того своего друга, у которого чахотка. Может быть, еще тетя Саша поедет со мной в Ригу, где живет старшая тетка, которой тоже «сделаю визит». Таким образом, надеюсь, путешествие будет очень приятным. Это не помешает после горестей, которые я вынесла в последнее время.

Перелечу такие просторы, что каждая Mitteleuropäische Seele [1] ужаснулась бы от одной мысли о них! Но что для меня просторы, с тех пор как не ношу «оков»? Нет нужды, что я беленькая, натура у меня цыганская, и мило мне бродить по свету. Северной России я еще не видела, стоит посмотреть, посмотрю и женский университет * — любопытно!..

А на лето, если поможет мне господь бог получить деньги за недавно посланные в русские журналы работы (между прочим, и за Вас, liebe Morgenseele [2]), то выберемся с Лилей к Вам, на зеленую Буковину.

Верьте или нет, а к зеленой Буковине мы стремимся больше, чем на парижскую выставку, особенно начитавшись Вашей «Некультурной» *. Что за великолепный рассказ эта «Некультурная». Я не могу Вам передать, какое прекрасное впечатление он на меня произвел. Какие типы, какие пейзажи! В нашей литературе нет лучшего пейзажиста, чем Вы, и я не знаю, до чего готова ценить Вас за это, так как очень люблю пейзаж в литературе и мне его всегда недоставало у наших писателей. Что касается характера Параси, то, простите, я не ожидала от австрийской русинки такой

---

[1] Среднеевропейская душа *(нем.)*.
[2] Любимая утренняя душа *(нем.)*.

искренности и отваги, с какой нарисован и самый тип и ситуации; читая, я то и дело мысленно восклицала: «Браво, пани Ольга! Es lebe die Kunst! Es lebe die Freiheit!» [1] Вас должны были сильно ругать Ваши «dobrze wychowani» [2] земляки, так как они не привыкли, чтобы женщина, хотя бы и писательница, могла на «нечто такое» отважиться. Не думайте, однако, что я вижу в Вашей «Некультурной» «нечто такое»; по-моему, в ней нет ничего слишком резкого, самое сильное место подобно fortissimo хорошего пианиста, а оно никогда не бывает резким. Такой *реализм* я признаю, так как он не исключает порывов ins Blau...

Скажите, читал ли г. Павлык «Некультурную»? Это меня очень интересует. Лиля так же, как и я, в восторге от «Некультурной».

«Valse mélancolique», и «Некультурная», и «Битва» больше всего нравятся мне из ваших работ, как Вы, конечно, увидите из моего доклада. Что касается этого доклада, то, как Вы теперь убедились, Вы, верно, ожидали от него чего-то большего. Я шлю его Вам немного сокращенным (in extenso [3]) и исключаю цитаты, ведь они, наверное, известны буковинским читателям, и таким образом мой доклад лишается своего главного украшения. Опасаюсь, что вообще он будет мало интересен для буковинцев (посоветуйтесь там с редакцией, может быть не стоит и печатать), потому что, как видите, он предназначен для людей, которые ничегошеньки не знают об австро-русинской литературе, и поэтому полон банальностей. Моей целью было представить писателей, а вовсе не критиковать их, разве я критик (сохрани меня боже!)?

22/I—3/II. Вот и провалялось мое письмо еще несколько дней, а все из-за этого доклада! Ненавижу переписывать, а вот пришлось дважды переписать одно и то же. Я этот доклад немного расширила, написала по-русски, перевела цитаты и послала через Лилю в надежде, что напечатают в «Вестнике Европы» *; он

---

[1] Да здравствует искусство! Да здравствует свобода! *(нем.)*
[2] Благовоспитанные *(польск.)*.
[3] Сокращенно *(лат.)*.

честно заступается за наше дело против всяких сіпак [1] aus ordentlichen und unordentlichen Professoren [2].

В этой редакции я немного расширила биографическую часть, сделала детальнейшую оценку произведений, а вначале подошла к делу более тонко, так как это должно быть «исследование», а был просто реферат.

Вы видите, что я г. Стефаника раз и навсегда приписала к Вашему буковинскому приходу, и пусть он при нем остается. Ведь хорошо это?

Цитаты, которые я привела в своем докладе, произвели на слушателей наилучшее впечатление, особенно заинтересовала даже посторонних людей (не украинцев) «Синяя книжка» * — касающаяся темы пролетаризации крестьян, которая теперь живо волнует русскую публику.

Вообще «мои буковинцы» стали импонировать киевлянам. А я что, не рада, что ли! (Так, кажется, по-вашему, говорят?).

Теперь о делах частных. Фотографии берлинской сейчас у меня, к сожалению, нет, и никак не соберусь написать в Берлин или заказать еще. Как только получу, тотчас же пришлю Вам. А Вы меня не ждите и присылайте свою.

Люда Вас приветствует от всей души и часто вспоминает, но вот не собралась написать Вам сразу, а теперь много времени прошло, вот ей и стыдно обратиться к Вам (так-то вот порой и бывает!), она и продолжает молчать, хотя я и говорю ей, что это «отвратительно» так поступать! Из всех киевских знакомых я только и вижу Старицких да Черняховских, потому что они не боятся нашего «прокаженного» дома — к тому же г. Черняховский навещал наших болящих как врач, а все остальные трусят, вот мы теперь точно «отлученные от церкви», только не можем выдержать, чтобы порой не пойти куда-нибудь в театр или на концерт, потому что не устоишь, когда приезжают такие боги музыки, как, например, пианист

---

[1] Бранное прозвище всякого администратора *(укр.)*.

[2] Из ординарных и неординарных профессоров *(нем.)*.

Райзенауер, которого я слушала неделю назад. Приходилось ли Вам его слышать? Если нет, то можете пожалеть. До сих пор я не до конца понимала и не любила Моцарта (кроме Requiem), а теперь узнала его в новом свете и полюбила. Даже помирилась с Листом, хотя еще и не совсем; у него есть вещи для меня не приемлемые и тут даже Reisenauer ничего не может сделать. Шопена, по моему мнению, пианистка Есипова исполняет не хуже и даже лучше, но что касается классиков, то Reisenauer настоящая сила. Пишет ли Вам кто-нибудь такие письма, как я? Наверное нет, потому что я уже далеко прославилась своими письмами, в которых никогда нет того, что нужно. Мама всегда смеется, что я заимствую их содержание, наверное, из небесной выси или со дна морского, но только не из этого мира.

Временами они похожи на рецензии, как, например, это: сначала литература, потом музыка, а в заключение помещу и драму. Недавно видела здесь на сцене ибсеновскую «Нору», и — страшно подумать! — она мне не понравилась! Эта Нора — такой наивный звереныш, что не могу надивиться, как превратилась она в конце пьесы в Frau Ibsen. Но все же с помощью божьей и автора — превратилась, так как в последней сцене была такой проповедницей, что даже злость на нее взяла — es klang ganz zu erbaulich und es roch nach Oel [1].

А то, что нужно, то забыла! «Легенду», должна признаться, выслать Вам не могу, так как ее кто-то у Лысенко украл; я ее играю, но переложить на ноты не умею. Напишу своей кузине в Софию, может быть она пришлет, так как у нее есть.

А теперь будьте здоровы! Как видите, и мои письма имеют конец. Напишите мне поскорее, тогда еще успею получить. Пишите, что думаете, так интереснее, поэтому не ставлю никаких вопросов. Крепкое рукопожатие!

*Ваша Леся К.*

---

[1] Это звучало слишком нравоучительно и несло лампадным маслом *(нем.)*.

*11/II 1900 г.*
*[Петербург.]*

Милая мамочка!

Вчера не писала сама, а попросила Лилю написать открытку, — так устала от тряски в вагоне и так оглушена бесконечной ездой в санках с вокзала на Петербургскую сторону, что совсем не в состоянии была писать. Еще и теперь в голове немного шумит, но это уже пустяки. Сама не знаю, отчего я так утомилась, так как ехала из Минска сюда всего сутки и все время то спала, то просто лежала, было очень свободно. В Минске я пробыла три дня: особенно первый, а отчасти и второй день я еще была очень утомлена и не хотелось ехать дальше, пока совсем не отдохну, а кроме того, Сергей Константинович очень просил остаться еще на день, и мне не хотелось его огорчать; теперь ему совсем не по силам переносить даже такие маленькие неприятности. Да и в конце концов я ничем не жертвовала, так как мой билет давал мне право находиться в дороге до полуночи 10-го числа, а я приехала в Петербург 10-го в 6 часов вечера. В Минске все-таки познакомилась с Чириковым и множеством других людей. Чириков проявил ко мне большую solidarité littéraire [1] и на второй день написал рекомендательное письмо в редакцию «Жизни»; хотя я его, конечно, об этом не просила, но это для меня очень кстати, и я чрезвычайно благодарна своему рекомендателю.

Сергей Константинович передавал много приветов и поклонов тебе и всем нашим. Он уверяет, что очень поправился после санатории, но вид у него страшно чахоточный, почти не может ходить и очень от всего утомляется. Передал мне печальную весть, что доктор Дерижанов умер (конечно, от чахотки), что о нем были некрологи в «Русских ведомостях» и еще где-то с весьма благосклонной оценкой его медицинско-филантропической деятельности в Ялте. Жаль его! Не думала я, что так быстро убьет его эта проклятая

[1] Литературную солидарность *(франц.)*.

чахотка, — он не казался таким безнадежно больным. Жаль и жену его; я хотела написать ей, но не знаю, где она, вряд ли осталась в Ялте, наверное уехала к отцу... Ах, и люди еще говорят о какой-то «целесообразности»!

Здесь я еще мало что видела, хотя и проехала весь Петербург. На первый взгляд он мне не понравился — и сам он и его окрестности не красивы. В интернате уже видела много барышень (между ними Попову), общество довольно симпатичное. Сегодня еще никуда не выходила, сейчас идем обедать, здесь же, в интернате. У Лили комнатка хорошенькая и удобная, она меня приняла очень любезно.

Ну, будь здорова! Лиля подгоняет идти обедать. Тебя, папу и всех крепко целую.

*Твоя Леся.*

### 41. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*Дерпт *.*
*21/II 1900.*

Милая мамочка!

Вот я уже передвинулась из Петербурга в Дерпт. В Петербурге было мне хорошо и интересно, только немного утомительно: расстояния там огромные, а дома не сидится, и то и другое хочется увидеть и с людьми встретиться. Нашла старых знакомых, приобрела и новых. Пристроила свои рукописи: одну статью (об Аде Негри и Д'Аннунцио) непременно напечатают в «Жизни» в марте или в апреле, сам редактор * мне сказал, а вторая — о буковинцах, кажется, также будет принята, только не знаю, когда именно напечатают. Знаешь, о чем я тебя попрошу: нельзя ли уговорить Игнатьева, чтобы он отдал мой итальянский реферат? Нехорошо это будет, что он в двух местах печатается, и притом если в сборнике появится раньше, то в «Жизни» мое дело пропадет, и это может меня даже скомпрометировать в глазах редакции. Игнатьев знает, я ему об этом сразу сказала, что статью эту я готовлю в журнал, может быть и ему неинтересно помещать у себя недавно напечатанную вещь, то есть не новую и

не page oubliée[1]. А чтобы у него статья появилась раньше, я этого просто не хочу, и ему это известно. Предложи ему, чтобы он взял взамен что-нибудь другое, например, «Над морем»; этот рассказ, кстати, был также прочитан в «Обществе», или пусть подождет реферата о Гейне *, а если ни того, ни другого не захочет, пусть ограничится стихами и «Струнами» *, для чего ему больше? Так или иначе, пусть он не становится у меня на дороге к «Жизни», которая так хорошо туда проложена. Редактор «Жизни» сам предложил мне писать в его журнале обзоры украинской литературы (поэтому я и дала ему буковинцев) и вообще отнесся ко мне очень хорошо, пригласил меня на вечернее редакционное собрание и разговаривал со мной en confrère[2], как далеко не всегда относятся к «пришельцам». Сделай милость, поговори с Игнатьевым и сообщи мне, что из этих переговоров выйдет. Если сборник появится, например, в марте, то я, как это ни будет мне неприятно, вынуждена буду взять назад статью из «Жизни», выдумав какую-нибудь excuse[3] перед редактором за свое странное поведение.

Вот занялась этим делом, обо всем остальном и забыла, а ты не велела писать длинные письма.

Видела я в Петербурге чету Славинских, чету Кистяковских, Карташевских, Френкелей, Цветковского с сыновьями и внуками, Пыпина, Сластёна и его компанию, целый кружок литераторов со Струве «во главе», множество медичек и всякую учащуюся молодежь. Была на балу Академии художеств, где видела и петербургский высший свет. Побывала в музеях, изъездила Петербург вдоль и поперек на извозчиках, на конках и на «вейках» (крестьяне-эстонцы приезжают на масленицу катать развлекающихся петербуржцев). Только в театре не была, репертуар малоинтересный, а билеты чрезвычайно трудно достать. Была на одной лекции с Лилей, а в анатомический театр не пошла, ну его!..

---

[1] Забытую страничку *(франц.)*.
[2] Как с собратом *(франц.)*.
[3] Оговорку, извинение *(франц.)*.

Лиля все испытывает угрызения совести, что дорого платит за интернат, но следует, чтобы она жила там и в дальнейшем, потому что иначе ей суждена Hundesleben [1], как и всем студенткам-неинтернаткам, в то время как теперь Лиля живет гигиенично и вообще упорядоченно.

Выехала я из Петербурга потому, что уже начала очень уставать, а сидеть там и никуда не ходить и нельзя и не стоит. Наконец, пора было, да и времени немного оставалось. Здесь я думаю быть до 29-го, а потом еще ненадолго (на несколько дней) поеду погостить к тете Эле, так что в Киеве я буду в начале марта, никак не позже 10-го, а может быть, и раньше; я все время думаю о вечере * (даже постараюсь здесь написать реферат).

Застала здесь все в порядке. Евца очень скоро ко мне привыкла, сегодня утром пришла ко мне, когда я еще лежала, и мы с ней долго баловались. Она, по-моему, по своему возрасту совсем не мала и не худа, так себе, умеренная, только она совсем не такая, как на портретах. Пора бы ее уже снять по-настоящему, а то она вышла на всех этих домашних фотографиях каким-то чучелком.

Миша уже водил меня на Домбер * в библиотеку, очень она у них хорошая, в средневековом стиле. Впрочем, я еще не вполне осмотрелась в Дерпте, так как только вчера приехала.

Квартира у Миши не очень велика (четыре комнаты) и немного низковата, но теплая и красивая.

Однако я пишу слишком длинное письмо, пора кончить. Прошу Дорочку извинить меня, что не пишу ей теперь, скоро напишу ей отдельно, и Евца напишет, она любит писать.

Будь здорова, милая мамочка! Крепко целую тебя, а ты за меня поцелуй всех наших. Знакомым привет. До свиданья.

*Твоя Леся.*

---

[1] Собачья жизнь *(нем.)*.

## 12. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*1.III 1900 г.*
*[Дерпт.]*

Милая Лилия!

Это правда, что я «бессовестная», но не до конца, поэтому пишу все же тебе еще из Дерпта, как обещала.

Здесь как-то совсем письма не пишутся: утром забавляюсь с Имочкой, которая приходит ко мне, когда я еще в постели, потом болтаю с Шурой и одновременно что-нибудь шью, потом мы гуляем одни, или с Имочкой, это зависит от погоды, — затем обедаем, потом читаем, вечером приходит кто-нибудь посторонний или мы куда-нибудь идем, а поздно вечером философствуем втроем до бесконечности, так что, отходя ко сну, ни у кого из нас уже нет силы ни писать, ни читать.

Кроме того, я теперь купила целых двенадцать томов Гейне * и в свободные от философии минуты просматриваю его, так как это нужно. Спасибо за пересылку корректуры *, я уже выправила ее и опять вижу, как необходимо корректировать гранки самой. Гнатюк пишет, что в томик войдут «Атта Троль», баллады и «Ратклиф»; если увидишь Славинского, скажи ему об этом.

Здесь твое письмо немало задало работы Мише, он бегал целый день и собирал деньги, а у одной дамы так растянулся на лестнице, что не сразу встал, медички должны его за это даром лечить, когда окончат. Наверное, ты уже эти деньги получила.

Был у меня Петров второй, он сам так стесняется, что даже других смущает своим видом. Шуре все кажется, что он рассердился или обиделся, а он просто так, от дикости, волком выглядит, только когда оставался со мной один, говорил по-человечески. Дела его плохи, придется все-таки идти в солдаты, а тогда, кажется ему, все его экзамены пропадут. Послал он телеграмму министру, просит отсрочки, но не ждет от этого большой пользы. Жалко парня, ведь как-то глупо все это выходит. — Ни за что не хотел Петров получить у меня твой долг, говорит, что ты должна не

ему, а его товарищу и что этот товарищ, конечно, сам зайдет к тебе. — Ну, тут перерыв, потому что Имочка пишет тебе письмо.

Сегодня уезжаю отсюда, собиралась вчера, но Шура уговорила меня остаться на день. Сегодня большой лютеранский праздник — Bussetag [1], и в лютеранской церкви состоится большой религиозный концерт на органе: в сопровождении оркестра будут играть Баха, Генделя и т. п., я такого еще не слышала и вообще очень люблю орган, вот и хочется послушать. Осталась бы я охотно и дольше, но нужно ехать, иначе мало придется у тети Эли погостить, да и у Сергея Константиновича только мимоходом побывать, так как не позже 10-го нужно быть в Киеве.

Неожиданно попала я тут на годовщину Шевченко * в чисто студенческую компанию и в такую же обстановку. Были три реферата: один из них очень интересный, а два так себе — ничего нового; читали стихи, пели песни, пристали ко мне, чтобы я свои стихи читала, принесли мою книжку, я прочитала три стихотворения, а мне наговорили комплиментов — словно за тридцать. Признаться, дьявольски неловко быть в роли «знаменитой иностранки»... Компания состояла из бывших семинаристов, ребята ничего себе, только немножко прибитые специальным воспитанием. Я заметила, что из семинариста редко получается libre penseur [2] на европейский лад и чаще всего или старосветский «вольтерьянец», или «ум с препятствиями», приспособленный для прививки толстовщины; да и было бы странно, если бы было иначе.

Видела «Орестища», он немного исхудал, по-моему, а в остальном как-то мало изменился.

Видела кое-кого из профессоров; одного (Срезневского) слышала на публичной лекции (о Трансваале), но лекция была очень скучная. Здесь только и разговору, что о бурах и англичанах *. Хоть бы уж скорей война окончилась, это для всех было бы лучше (кроме русских газет!).

---

[1] День покаяния *(нем.)*.
[2] Свободомыслящий *(франц.)*.

Ну, что же тебе написать еще о наших? Все они здоровы, чувствуют себя хорошо. Миша только слишком уж погряз в своих лекциях и уроках, так что я его даже мало вижу, только вечером, да и то он часто отсиживается в кабинете, готовит лекцию на следующий день. Шура возится с Имочкой, говорит, что пишет мало и даже поговаривает, что, мол, писать ей вообще не стоит, для чего это и т. п., но я думаю, что это только временно напали на нее «меланхолия и минор»: ведь если кто втянется в писательство, как она, то вряд ли сможет его оставить. Ни за что не хочет ни показать мне, ни прочитать свою драму, я было добивалась, а теперь бросила, это ее добрая воля! Анна Ивановна, как всегда, угощает меня и ухаживает за мной, мне даже неловко, опасаюсь, что это может ее утомлять. Имочка такой славный ребенок, с ней нельзя не возиться, и только удивительно, что она до сих пор совсем не избаловалась. Ну, будь здорова и извини за «бессовестность» и смени гнев на милость. Крепко целую тебя; поклон твоим подругам.

*Твоя Леся.*

### 43. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*29/III 1900 г.*
[*Киев.*]

Милая Лилия!

Спасибо за поздравление. Я в этом году очень скромно справляла свои именины, лучше сказать — никак. Все о них забыли, кроме тети и Рады; они мне подарили портрет Гейне, это было très à propos [1]: ведь 23-го мы с тетей выступали на эстраде, — я читала реферат и аккомпанировала одной певице, а тетя тоже аккомпанировала дуэту. Вечер этот отнял у меня много времени и энергии и все-таки получился не такой, как мне бы хотелось: оказалось мало певцов, хоть и беготни за ними было без конца, — всего только три певца нашлось, да и те пели немного, так как у них

[1] Весьма кстати *(франц.)*.

в репертуаре на слова Гейне ничего не было, а новое разучивать поленились. Мой реферат получился неважным, по крайней мере я им недовольна: кое-что было растянуто, кое-что недоговорено, так как написать его как следует я не успела, пришлось не читать, а говорить, и это меня стесняло с непривычки. Хотя люди говорят, что получилось неплохо, но только паузы по временам были чересчур велики, все же у меня в душе остался какой-то неприятный осадок. Впрочем, я не жалею, что устроила вечер, так как иначе совсем бы не отметили памяти Гейне в Киеве, а это не годится.

Старицкий очень хорошо читал на вечере переводы Люды, Славинского и мои. Бердяев тоже читал прилично. Кое-кто декламировал по-немецки. В общем декламация была недурна. Второй реферат (Гольденвейзера) — биографический очерк Гейне — мне не очень понравился,— много места там было отведено литературной сплетне. Не люблю я этого, и, кажется мне, мало пользы от такого перемывания косточек умерших поэтов.

После этого вечера я еще больше впала в свой субъективный фатализм, думаю, что не следует мне брать инициативу в таких делах, ибо всегда я попадаю на «феральный день» *. Страх как не ладилось на этот раз; теперь не стоит рассказывать обо всех больших и малых злоключениях, которые мешали моему вечеру, но крови они испортили мне много, и на другой день я даже голос потеряла. Это еще раз послужило доказательством, как трудно что-нибудь сделать к определенному сроку в нашей киевской обстановке: бесконечные гости, собрания и т. д., в перерывах репетиции с певцами (я все должна была разучивать с ними сама, так как никто в этом не помогал), а это значит, что на литературную работу оставались минуты. Ты поверишь мне, что в ту пору я даже писем не могла писать. Вот только вчера я принялась за них и уже четвертое начинаю.

Кривинюку я написала, но уже здесь, в Киеве, потому что в Дерпте и в Риге (кроме одного письма, не знаю, полученного ли тобой) как-то совсем не писа-

лось — не умею я писать на людях, а там ни минутки (кроме ночи) не удавалось побыть одной. Ты, наверное, рассердишься за это и имеешь основания, потому что поступок мой свинский, и признаюсь я в нем не для того, чтобы получить прощение, а просто из правдивости.

*1 апреля.*

Вот сколько пролежало письмо! А все это общество да и разные «искусства». Один галичанин пишет теперь мой портрет *, а работает он в Новом музее на Александровской улице, и на дорогу туда и обратно уходит полтора, а то и два часа. Глядишь, и полдня пропало. Вечером пришлось быть на драматическом спектакле, который ставили Старицкий и Маня, драма «Борьба за жизнь» * скверная, но играли хорошо; я потому пошла, что они собираются ставить «Ратклифа» *, — хотелось посмотреть, какие у них силы. На другой вечер (с 30-го на 31-е) пошли мы на «общее собрание», где обсуждались разные «сметы» и выбирались новые члены правления. Дообсуждались до трех с половиной часов ночи, а пришли домой в четыре! [. . .]

Кончаю, пора идти к художнику на сеанс. Буду писать тебе часто, хоть открытки; скоро не будет ни рефератов, ни собраний. Все другое и не так утомляет и не отнимает столько времени. А с тех пор, как я приехала, было что-то страшное! Крепко тебя целую, Лиленька моя.

*Твоя Леся.*

### 44. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*18/IX 1900 г.*
*Минск.*

Милая моя Лилия!

Прежде всего просьба: пришли мне, ради бога, семь рублей, только *по телеграфу;* нужно, чтобы я получила не позже пятницы утром. Узнай на телеграфе, и, если до пятницы нельзя поспеть, то не посылай. Думала я, думала, хотела у тети Эли попросить, но так как я к ней не еду, то не хочется занимать деньги, у папы

просить я не могу, в Дерпт письма идут долго. Здесь неловко занимать у малознакомых людей, а Сергея Константиновича я не хочу беспокоить, он теперь живет не самостоятельно. Поэтому я обращаюсь к тебе. Может быть, для тебя это трудно, но ничего, я тотчас же верну, как только приеду в Киев.

Я только что была у Элиасберга, мы рассуждали с ним о судьбе Сергея Константиновича и строили планы. Дело обстоит теперь так: сейчас нужно ехать в санаторий, хотя бы и петербургский, а там нужно стараться переселиться на юг, например в Ялту. Это очень нелегкая задача, но, может быть, как-нибудь ее удастся осуществить. Для меня же лично, больше чем для Элиасберга, ясно, что Сергею Константиновичу необходимо прежде всего бежать отсюда куда бы то ни было, хотя бы и не на юг. Здесь ему жить невозможно в тех условиях, в которых он вынужден находиться. Его родственники — страшные люди, они могут просто на тот свет загнать человека. Сегодня расстроили его до того, что он не спал всю ночь, а днем выглядел, как будто его с креста сняли. Сами, черт их знает почему, по ночам не спят и даже не умеют этого скрыть! И от них бежать бы куда глаза глядят, а не то что лежать у них в доме. Да ну их!

Элиасберг говорит, что он бы теперь позволил Сергею Константиновичу встать, но боится, что он тогда утомится и доведет себя до такого состояния, что не сможет в санаторий ехать. Пусть бы скорее решался вопрос о том, куда отправиться! Сергей Константинович сегодня уже поговаривал, что он бы хотел до санатория поехать в какую-нибудь лечебницу, даже в больницу, хотя бы в Киев, — видно, хорошо ему здесь! Элиасберг уверяет, что дело Сергея Константиновича далеко не безнадежно, я думаю, он говорит искренне; только при слове «наследственность» качает головой.

В самом деле, кажется, кроме философии Куперья-на *, ничего не придумаешь!

Это письмо довольно монотонно. Ну что ж, таковы впечатления! Со мною ничего нового, здорова, как и

при тебе. Выдержка меня не покидает, только по вечерам какая-то непреодолимая грусть охватывает, но припадков все же никаких не было, и это хорошо. В пятницу выеду, пора уже. Может быть, соберусь этой осенью еще и в Петербург, кто знает!

Телеграфируй: Минск, Захарьевская, Новомосковская, Косач, я думаю, этого достаточно. Крепко-крепко целую тебя, ты ведь моя лилия! Будь здорова!

*Твоя Леся.*

### 45. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*5/X 1900 г.*
*[Киев.]*

Милая моя Лилия!

Только что получила твое письмо и тотчас же отвечаю, хотя и страшно занята, до умопомрачения, даже буквы пропускаю. За переводы берется Оксана, я абсолютно не имею времени в этом месяце. Книги Федьковича и Нечуя вышлет тебе магазин «Киевской старины», а Кобылянскую и Стефаника я попрошу Гнатюка выслать тебе по тому адресу, который ты укажешь (может, баронессе!). Твои переводы напечатаны вместе с моей статьей в «Жизни», и так как деньги мне прислали без детальных указаний и за статью и за твои переводы (которые заняли десять страниц), то я высылаю тебе пока десять рублей, мама от себя посылает десять вместе с моими, а ты узнай у Славинского, сколько «Жизнь» обычно платит за переводы, и я тебе тотчас же вышлю, сколько за мной останется. 7 рублей я тебе передала через Кривинюка, но он, наверно, или забыл, или не смог передать их. Сама я не прошу у Поссе счета за переводы, как-то неловко, словно не верю, что мне все деньги уплачены.

Я не пойму, как обстоят дела с Кривинюком, могли бы и теперь помочь делу эти полтораста рублей? Если остановка только за этим, то я сейчас могла бы дать ему сто, ну а пятьдесят где-нибудь заняла бы. Дело в том, что я получила за статьи 180, из них 10 высылаю тебе, 25 у меня заняли до конца месяца, 5 я сама

должна отдать, значит, остается 140; 40 рублей, самое меньшее, я должна истратить на книги и журналы, без чего невозможна дальнейшая работа для «Жизни». Но я могу у кого-нибудь занять 50 рублей с тем, чтобы отдавать ежемесячно рублей по 10—15 из своих гонораров. («Жизнь» обещает 75 рублей в месяц за обзор в 16 страниц). Моя первая заказанная статья появится в декабре, следовательно до нового года мне сорока рублей хватит, а если не хватит — ничего; жила же я до сих пор без собственных денег.

Так что ты скажи Кривинюку: если остановка за 150 рублями, то они его в Киеве ждут, а мне *немедленно* напиши, нужны ли мои деньги, тогда я их не буду тратить. Если нужно, можно и в Петербург деньги выслать. Я только не хочу, чтобы наши знали, что я дала взаймы деньги Кривинюку, поэтому что-нибудь выдумай, чтобы не удивлялись, что я вдруг все истратила. Если ты думаешь, что Кривинюку будет неприятно занимать у меня, то могу выслать тебе или вообще поступить так, как ты посоветуешь. Было бы несправедливо губить все будущее человека из-за каких-то 150 рублей. Я никогда не объяснялась Кривинюку ни прямо, ни косвенно, как мама, в своих чувствах к нему, все никак не приходилось к слову, но он знает, что я считаю его своим другом, и по-настоящему не должен был бы церемониться принять от меня помощь, но я знаю, что психология людей, измученных бедностью, очень болезненна, потому и не хочу обращаться к нему непосредственно, а прошу твоего *деликатного* посредничества. Ты лучше знаешь натуру Кривинюка и как с ним нужно обходиться. Он столько раз за это лето проявил деликатность по отношению ко мне, что мне не хотелось бы как-нибудь случайно обидеть его. Если деньги нужны сейчас, еще в Петербурге, то телеграфируй: «Высылай книги», и я вышлю с возможной быстротой 150 рублей на твое имя.

Писала ли ты Сергею Константиновичу по поводу санатория? Он все еще не сообщает, куда собирается ехать. И боюсь я этих северных санаториев и думаю: а что, если и в самом деле в Крыму ему будет еще хуже

и если в морозы придется возвращаться из Ялты в белорусскую зиму? К тому же в Петербурге кто-нибудь мог бы его хоть навещать, а в Крыму даже страшно, такое там одиночество. Я хотела поехать с ним в Крым, даже обещала ему, но, кажется, придется не сдержать слова, как это ни тяжело. Он не рассердится на меня за то, что я нарушу обещание, так как всегда меня понимает и верит мне, как своему самому близкому другу, но от этого не будет легче ни ему, ни мне... Я сейчас ломаю голову, как бы устроить и к кому бы обратиться, чтобы помочь ему получить какую-нибудь должность в Крыму, тогда бы он мог после санатория поселиться там, и, может быть, это его хоть немного поддержало бы. Не знаешь ли ты кого-нибудь в Петербурге, кто бы мог помочь? Сергей Константинович говорил, будто бы при маленькой протекции не очень трудно найти какую-нибудь службу по удельному ведомству вблизи Ялты. Но откуда взять эту протекцию? Ни он, ни я никого там не знаем. Напишу одной крымской меценатке, хотя почти не сомневаюсь, что обращаться к ней бесполезно. Это страшное несчастье. И опять деньги!.. Только уж тут полутораста рублей мало. Дело идет не о той или иной перспективе жизни, а непосредственно о самой жизни... И когда я подумаю об этом, такая на меня тоска нападет, что и работа, и жизнь, и все становится постылым... Ну, довольно, хватит с тебя и так горя.

Я говорила с нашими (разумеется, не от твоего лица, а от своего), о том, как никто в Киеве не помог Кривинюку в таких обстоятельствах. Папа говорит: «Вольно ж ему быть неоткровенным, — попросил бы и дали бы! а впрочем, эта заграница — фантазия, ему в России лучше оставаться». Мама говорит: «Лиля лишила нас какой бы то ни было возможности помочь Кривинюку материально, потому что *неудобно* предлагать ему деньги, раз *считается,* что он в особых отношениях с нашей семьей. А впрочем...» далее то самое, чем и папа кончил. Все знакомые Кривинюка решают за него, что ему в России будет «лучше». Вечная история «дружеских советов».

Перечитала я еще раз твое письмо внимательнее

и вижу, что деньги Кривинюку получить не поздно и теперь. Так и скажи ему, что они есть, и напиши, посылать ли их, или Кривинюк сюда приедет. Да прости, что я так много настрекотала, не разобрав сразу дела, но я вообще бестолковая, а теперь тем более. Много времени отнимает работа для «Жизни», приходится перечитывать огромное количество книг и газет и к тому же бегать за ними по библиотекам и где только возможно выпрашивать, так как с иностранной литературой дело обстоит в Киеве черт знает как, а писать обзоры как попало невозможно. Пока не установится нормальный état des choses[1], хлопот много. Я все-таки очень рада этой работе (спасибо за поздравление); а вот и первый ее приятный результат — могу помочь товарищам. Да, я помогаю ему *ради него,* а не ради тебя, ну, может быть, еще и ради себя, для собственного удовольствия, как по большей части всегда на свете делается, n'en déplaise aux altruistes [2].

Не думай, что я потому не могу поехать с Сергеем Константиновичем, что денег нет, если только будет возможность, то будут и деньги. У меня есть свой план. Возможно, что меня именно работа и не пустит, а отказаться от нее сам Сергей Константинович мне бы не советовал, ведь это бы означало опять пустить по ветру свою материальную независимость. Но все же я думаю, что поеду, хотя бы мне пришлось для этого истратить больше энергии, чем я ее истратила за всю свою жизнь. Пусть даже это все будет «жертва бесполезная», но я больше всего люблю приносить именно такие жертвы на алтарь дружбы; я понимаю, что в этом мало логики, но что же делать, это факт. C'est triste, mais c'est scientifique [3].

«Нет времени, нет времени», а сама бесконечно болтаю, хотя весь стол завален *непросмотренными* книгами, негде и курице клюнуть!!! А на писание статьи у меня всего три недели *. Будь здорова и пиши или телеграфируй скорее о делах.

---

[1] Порядок вещей *(франц.)*.

[2] Хоть бы это и не нравилось альтруистам *(франц.)*.

[3] Это печально, но это научно (обосновано) *(франц.)*.

Ты знаешь, что я всегда стремлюсь помогать своим товарищам, если только могу, и потому принимать мою помощь не стыдно. Я уверена, что Кривинюк помог бы мне тоже, если бы мог, при любом несчастье. Кланяйся ему от меня. Тебя крепко целую. Как будет время, пиши.

Я не обещаю часто писать, так как в этом месяце у меня не будет времени. Еще раз целую.

*Твоя Леся.*

*Новость.* Приехала Маня из Уссурийского края. Массу рассказывает, да некогда уже об этом писать. Она тебя целует.

### 46. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

Antescriptum: На цитре непременно нужно хорошо научиться играть и привезти ее ко мне летом, я вытяну из Вас музыкальный долг за мою прошлогоднюю музыку. Помните!

*14/XI 1900.*
[*Киев.*]

Дорогая моя товарка!

Очень меня утешило, что Вы наконец-то отозвались. Это же правда, что мы друг от друга ждали писем: я писала Вам летом и там, между прочим, описывала свое путешествие на север *, но, очевидно, это письмо до Вас не дошло. Очень жаль, потому что, быть может, наша беседа не перервалась бы так надолго, если бы Вы это письмо получили.

Теперь, liebe Ferne[1], пишу Вам тотчас же по получении Вашего письма, чтобы «не затягивать», но вынуждена писать коротко, потому что совсем нет времени.

У меня теперь постоянная работа: пишу ежемесячные литературные обзоры для «Жизни», которая платит мне по 75 рублей за лист; деньги эти не столь велики, принимая во внимание, какое количество

[1] Далекая любимая *(нем.)*.

труда требуют эти обзоры, но я уже взялась за них, и мне было бы трудно жить без собственных независимых фондов, а своей беллетристикой, сами знаете, я ничего не заработаю. Другая работа, не литературная, дала бы мне меньший заработок, была бы более утомительной и, возможно, даже помешала бы моему развитию, отрывая от чтения и, что хуже всего, привязала бы меня к какому-нибудь постоянному месту, отнимая возможность неожиданных путешествий, без которых я не могу себе представить «нормальной жизни». Само собой разумеется, я не собираюсь бросать беллетристику, этого уже моя натура не позволила бы, только много и постоянно заниматься беллетристикой никогда не могла, слишком она сжигает меня и, если бы я, например, на протяжении года ежедневно писала стихи или художественную прозу, то мой Brennmaterial[1] был бы до такой степени исчерпан, что от меня осталась бы одна оболочка. «Жизнь» дает мне хоть и не слишком большой заработок (в России гонорары вообще довольно высоки), но зато постоянный, и это для меня теперь довольно много значит. Правда, надо работать регулярно в срок, помня, что время не ждет, и даже, что «время — деньги».

Рассердил меня «Вестник» *, который опубликовал только отрывки из моей статьи о творчестве Стефаника и совершенно пропустил мою характеристику Ваших произведений. Что это, умышленно?

Ваше «Под открытым небом» * очень мне понравилось, и не только мне, а всем нам. Это высокопоэтическая вещь и к тому же оригинальная. Вы — художник, наша публика не очень-то это ценит, но я ценю выше всего. Es lebe die Kunst! . .[2]

Могут найтись какие-нибудь мелкие замечания по поводу стиля и т. д., но об этом сейчас не буду писать, — если захотите, то потом. Высылайте скорее Ваш рассказ в «Киевскую старину» и имейте в виду, что его не следует отдавать gratis, у этого журнала есть теперь средства, а поэты, к сожалению, выну-

---

[1] Горючее *(нем.)*.

[2] Да здравствует искусство! *(нем.)*

ждены жить не только святым духом. Видите, какой я утилитаристской стала? может, даже скажете: а фи! Ach, liebe Freundin, es hat seine Gründe...[1]

Напишу «Жизни», чтобы мне прислали оттиски моих «Буковинцев» *; когда будут готовы, пришлю и Вам, а теперь еще и сама ничем не располагаю, кроме одного экземпляра, который мне временно нужен.

В нашей семье не произошло ничего особенно плохого, но и ничего слишком хорошего: мама, Оксана и Дора последние дни болели, мама еще и сегодня в постели, хотя уже поправляется, у нее была инфлюэнция, которая теперь свирепствует в Киеве.

У Старицких и Драгомановых все хорошо, я им передам Ваш привет.

Я совсем здорова, но все-таки «черный мир вокруг меня», а почему собственно, — напишу через две недели, когда стану сочинять Вам длинное-предлинное письмо. Теперь должна кончать. Сердечно целую Вас. Все наши Вас приветствуют. Не молчите же долго!

*Ваша Л. Косач.*

*P. S.* Труш уже в Галиции и должен был Вам написать. Мы с ним очень хорошие товарищи.

NB Мама просит, не могли бы Вы ей вернуть оригиналы ее «Соловьиной песни», которую Вы переводили для немецкого сборника? Если не затерялись, будьте любезны, пришлите.

### 47. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*5/XII 1900.*
[*Киев.*]

Лиличка, сердце мое!

Прошу тебя, если только можешь, заезжай в Минск, к Сергею Константиновичу. От него все время страшные известия, здоровье все хуже и хуже. Хоть бы ты посмотрела, что с ним. Если будешь у него, заведи с ним как-нибудь разговор, не сочтет ли он

[1] Ах, дорогая подруга, это имеет свои основания *(нем.)*.

возможным, чтобы я приехала к нему теперь. Он мне все пишет о том, как мы вместе поедем в санаторий, но где же этот санаторий, как к нему добраться, когда уже зима, а у него кровь идет горлом и жар все больше и больше! Он пишет иногда, что если придется застрять на зиму в Минске, то он устроится как-нибудь независимо и попросит приехать меня. Но как он может устроиться?

Он пишет также о том, что при мне ему будет легче умирать, но ведь не могу же я своим нежданным, непрошенным приездом дать понять: вот ты уже умираешь!

Я знаю, моя Лилия, что это трудная миссия, за которую я прошу тебя взяться, но для меня было бы утешением, если бы ты поехала, я, может быть, что-нибудь узнала бы, и это вывело бы меня из состояния вынужденной пассивности.

Как часто все говорят, что я теперь здорова и что это должно быть для меня очень ново и приятно! Если бы они знали, что быть здоровой только одной — для меня ничего не значит. Не радует, вовсе не радует меня мое здоровье!.. Ну, довольно, до свиданья, целую тебя крепко, моя Лилия.

*Твоя Леся.*

### 48. П. А. и О. П. КОСАЧ (ОТЦУ И МАТЕРИ)

*15/I 1901 г.*
[*Минск.*]

Милые мои мама и папа!

Спасибо вам, что подали весточку, а то я уже начала бояться, не случилось ли что-нибудь дома, так как все молчат. Я и так боюсь, мамочка, что мое несчастье * отразится на твоих и без того слабых нервах. Не буду, конечно, уверять тебя, будто бы мне теперь легко жить, — это было бы ложью, но напоминаю тебе, что я очень вынослива, значит, ты можешь быть уверена, что мне никакая опасность не угрожает. По временам даже досада берет, что я чересчур вынослива; может быть, это бесчувственность, что ли!

Сегодня поговорю о твоих советах с врачом, когда он придет осматривать горло Сергея Константиновича. Я боюсь этого осмотра, потому что как заберется он с зеркалом в горло (Лиля знает, как это делается), то как бы при этом не произошло Blutsturz [1]. Сергей Константинович сам настаивает на этом осмотре, так как его очень мучает последнее время горло, а теперь и шея стала болеть, и боль распространилась к ключице, вероятно всему этому одна причина. С питанием дело трудное, потому что есть Сергей Константинович может не все и не всегда. Еще осенью он мог все есть, а теперь и этот аппарат расстроен.

Благодаря колоссальным дозам хинина (24 грана в день), антифибрина и другим жаропонижающим температура на две-три десятых уменьшилась (только 39 градусов), но зато силы упали так, что иногда даже не может и встать. Единственно, что успокаивает, это удивительный оптимизм, который почти не оставляет больного. Вчера он просил меня написать в Швейцарию, навести справки об их санаториях; все думает о путешествии! Я, конечно, написала... Сергей Константинович думает только о том, как бы настолько поправиться, чтобы ехать. «В таком состоянии, как теперь, я не могу поехать, это бы причинило слишком много забот тому, кто должен был бы меня везти!» Он не понимает, что его ни в один санаторий не примут в таком состоянии. Думать о самосохранении у меня нет причин, я и так совершенно не устаю, разве что морально. У Сергея Константиновича я провожу время только от половины двенадцатого дня до половины одиннадцатого вечера. Он поздно переходит к дневному распорядку, так как ночью почти не спит из-за кашля и температуры, а вечером рано начинает лечебные процедуры, хоть я и подозреваю, что это он выдумывает, чтобы заставить меня пораньше уйти спать. Он не дает мне делать для него ничего утомительного; только иногда попросит что-нибудь принести из другой комнаты; смачиваю ему голову одеколоном (это он просит делать только меня), я нахожу ему письма, лежащие

[1] Кровотечение *(нем.)*.

в его столике; иногда напишу деловое письмо, часто читаю ему, вот и все мои обязанности. Относится он ко мне так, словно я из тонкого стекла, могу упасть и разбиться; он не разрешает мне никогда идти вечером домой (только через маленький дворик перейти!) без провожатого, так как я могу поскользнуться или споткнуться; взял с меня слово, что я прикажу на ночь запирать ставни, чтобы кто-нибудь не забрался; спрашивает, когда я ложусь спать, не верит, что я нормально питаюсь, — можно подумать, что это я больная, а он за мной ухаживает. Все повторяет: «Я сознаю, что это страшный эгоизм с моей стороны, но я не мог бы отпустить вас теперь, нет, безусловно не мог бы». Когда он заметил, что я торопилась заканчивать свою статью * (отправила ее 12-го), то сделал вид, что не хочет ни разговаривать, ни слушать чтения, да так, что я даже поверила; только просил, чтобы я писала за столом, около его кровати: «Я люблю, когда рядом со мной люди работают».

Погода здесь, как назло, отвратительная, — идет снег и тут же тает, ветер противный, сырой, просто не верится, что это январь; похоже на март!

Тетя Эля уже уехала; во-первых, ее какие-то дела дома ждали, а во-вторых, мне помочь нечем. Чем можно помочь тому, для кого нужно «чудо»? Тут нужно быть мессией! Все-таки спасибо ей, что приезжала. Я очень ценю ее отношение. Будь добр, папа, сообщи, не отвечает ли Брокгауз. Работа моя все-таки не ждет, и, по правде говоря, я без нее не выдержала бы.

Беллетристики я почему-то не могу писать, так как в ней принимают участие нервы, а статьи хороши тем, что эта работа совершенно объективная и требует только мысли, которая у меня еще вполне независима от настроений. Если Брокгауз уже прислал книги, то будь так любезен, немедленно перешли их сюда.

Я очень прошу Лилю пойти к Бердяеву (его адрес можно узнать у его родителей, на Новой Елисаветинской, № 10) и попросить у него роман «Lene» [1] и новые номера журнала «Gesellschaft» *, «Litterarische Echo»,

[1] «Елена».

«Revue bleue» [1], и, может быть, он сам что-нибудь найдет для темы «Народничество в Германии». Это тоже прошу прислать по почте, не ожидая, пока Лиля сюда приедет.

Нужно жить, как живут люди в осаде, — выставить часовых и вести работу точно, в нормальное время. Кто знает, в самом деле чудо не чудо, но и врач не бог и может ошибиться. Я видела в Крыму людей, «приговоренных» в молодости, которые жили с этим приговором до старости. Я ничего не знаю, и лучше бы ни о чем не думать...

Пишите мне, что там в Киеве делается. Мы кое о чем читали в газетах, но в письмах оно живее выходит. Вообще пишите, что все наши поделывают.

Сергей Константинович благодарит за привет и просит кланяться вам обоим, всей нашей семье и Драгомановым.

Я буду писать часто, хотя и не всегда так пространно, как теперь.

Целую вас очень-очень крепко. Обо мне не беспокойтесь: «Она все может» — парафраз моих слов соответствует обстоятельствам.

*Ваша Леся.*

### 49. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*16/I 1901.*
*[Минск.]*

Liebe, ferne Lotosblume! [2] Вы, наверно, получили мою открытку и подумали: какое несчастье загнало ее неведомо куда? Так знайте, действительно несчастье: здесь в Минске живет мой приятель, о котором я давно уже Вам рассказывала. Он хворал весь последний год, и я навещала его, проезжая на *север и с севера,* потом дней на десять ездила специально к нему осенью (в прошлом сентябре), а теперь вот приехала да и сижу, жду, что дальше будет. А дальше, кажется, не

[1] «Общество», «Литературное эхо» *(нем.)*. «Синий журнал» *(франц.)*.

[2] Дорогой, далекий лотос! *(Из Гейне)*.

будет ничего хорошего. Он уже около полугода совсем не встает с постели, кашель, кровь, совершенно потерял голос, беспрерывно лихорадит, силы меньше, чем у ребенка, — доктор говорит, что это уже скоротечная чахотка, значит надежды почти нет. Я здесь уже неделю и никакого улучшения не вижу, скорее наоборот. Теперь вот пишу Вам за тем столом, который стоит у постели больного (я целый день не отхожу от него). Мой друг спит — не спит, лежит тихо, а я пишу письма и думаю: а к чему собственно их писать? Только людей расстраивать!

Вам пишу главным образом для того, чтобы Вы не подумали, будто я из-за лени своей послала Вам открытку да и замолкла. Я писала ее в страшных хлопотах, искала себе здесь жилье, гоняла по городу по всяким делам (еще и города-то этого не знаю как следует), а главное, была так потрясена свежими впечатлениями от страшного состояния моего друга, что едва могла собраться со своими мыслями. Я уверена, что Вы не рассердились на меня за короткую и словно небрежную записку, Sie werden gewiss Ihrem armen Schwan nicht böse [1], а если и рассердились, то теперь перестанете, — правда же?

Жизнь моя здесь сложилась трагически. Я должна быть спокойнее всех, хотя собственно у меня иллюзий меньше, чем у всех других, а значит, и надежд (врач был со мной откровенен). Каждый день мой друг (своим беззвучным голосом, почти шепотом) говорит о том, как мы вместе поедем за границу, в Швейцарию, как хорошо встретить там весну... А я так боюсь весны, так боюсь, как... того, чего уж не смею назвать. И я говорю ему, что поеду с ним, что буду с ним до тех самых пор, пока он не поправится... Это правда, что я не покину его так, как покинули другие друзья. Я останусь с ним, пока будет нужно. Вы понимаете меня? Так я живу здесь изо дня в день, без планов, без перспектив. Работу свою продолжаю. Вот уж дня два, как выслала в «Жизнь» свою статью о новейшей

[1] Вы, наверное, не будете сердиться на вашего бедного лебедя *(нем.)*.

социальной драме *, законченную здесь с горем пополам. Теперь пишу другое исследование: *о народническом направлении в немецкой литературе.* Материал для этого собрала еще в Киеве и привезла с собой: горе горем, а работа работой. Что ж, если не напиваться, не впрыскивать морфий, не курить опиум, то нужно одурманивать себя хоть работой. Однако беллетристика что-то не дается мне сейчас, даже боюсь за нее браться, наверное получилось бы что-то безумное, слишком натянуты нервы. А критике нет дела до нервов, они ее не касаются, это самая подходящая для меня работа.

Только не могу так быстро работать, как в Киеве. Кто знает, почему так утомляюсь (больше нет никакой работы, и, значит, мне ничто не мешает спать), но я, например, вечером едва в состоянии написать одно-два письма.

Ну, довольно! Мой друг проснулся, нужно ему что-нибудь почитать, а может, и сыграть (здесь есть пианино, хоть и плохонькое), письмо уж закончу, чтобы не оставалось на завтра.

Будьте здоровы Sie, liebe, liebste[1]. Крепко жму Вашу руку.

*Ваша Л. Косач.*

Мой адрес здесь: *Минск, угол Михайловской и Широкой, дом Нарейко.*

### 50. А. Е. КРЫМСКОМУ

*Минск, угол Михайловской и Широкой, д. Нарейко. 26/I 1901.*

Дорогой товарищ!

Случилось так, что не я маме, а она мне передала Ваше письмо, потому что оно меня в Киеве не застало. Я уже третью неделю нахожусь здесь, и сколько еще пробуду — неизвестно. Зачем я сюда попала, не буду

[1] Вы, любимая, самая любимая *(нем.)*.

Вам рассказывать, это ни для кого, кроме меня одной, не интересно, скажу только, что переживаю теперь чрезвычайно (даже для меня чрезвычайно) горькую пору, и, может быть, именно благодаря этому Ваше письмо, проникнутое такой дружбой, которой я совсем не заслужила, пришлось мне по сердцу. К сожалению, я не могу исполнить сейчас Ваше желание относительно фотографии — у меня ее даже в Киеве готовой нет, а здесь и подавно, фотографироваться сейчас вряд ли стоит, вероятно здесь и фотографии плохонькие, да и сама я в неподходящем настроении для портрета. Придется Вам, товарищ, еще немного подождать. Товарищ Черняховская, вернувшись из Москвы, не говорила мне о Вашем желании, а тогда исполнить его было легче; наверно, она забыла, хотя и передавала мне Ваш привет и все то хорошее, что Вы ей обо мне говорили. Вспоминая это все и Ваше теперешнее письмо, я думаю: чем могла я заслужить такое расположение? Неужели Вам могли так прийтись по сердцу мои стихи, когда для Вас открыто целое море мировой поэзии, — ведь в нем все мои напечатанные и ненапечатанные думы и мечты должны раствориться, как капля дождя! Я, с моей исключительно бескрасочной жизнью, с моей отравленной душой, могу быть «солнцем»? Идеализируете, дорогой товарищ!.. Да, наконец, если моя муза в самом деле дает Вам и другим людям, кроме меня, какую-то иллюзию света, пусть это будет даже оптический обман, — не мне жаловаться на нее, это было бы неблагодарностью, — ведь все самое светлое в моей жизни шло от нее, и если все же эта жизнь была темной, в этом не она виновата.

Товарищ Черняховская сказала мне, что Вы собирались на рождество в Киев. Почему не приехали? Я была бы очень рада Вас видеть. Вообще жалею, что мы так редко встречаемся, а на этот раз нашлись бы даже некоторые общие дела. Может быть, при случае напишу Вам о них, но теперь не могу, так как эта тема большая и о ней нужно говорить в более спокойном состоянии, чем я сейчас нахожусь.

Спасибо, товарищ, за Ваше доброе слово; не впервые оно приходит ко мне zur rechten Zeit [1]. Странно и, однако, приятно думать, что и такой сломленный жизнью (или, лучше сказать, без жизни уставший) человек, как я, может кому-нибудь дать минуту радости. Моим неизвестным поклонникам мой привет, а Вам, дорогой товарищ, крепко жму руку.

Всегда дружески расположенная к Вам

*Л. Косач.*

### 51. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*29/I 1901.*
*Минск.*]

Дорогая моя товарка! Сердечно благодарю за Ваше письмо и фотографию, хоть она и не очень удачна, но все же немного напоминает Вас. Моему другу Вы очень понравились на фотографии (он знает Вас по произведениям и с моих слов). Не знаю, когда отплачу Вам тем же, потому что нескоро мне, вероятно, захочется сняться, разве закажу какой-нибудь из прежних портретов.

Хотела написать Вам большое письмо, но, может быть, краткое будет лучше, ибо зачем длинно говорить о горестях. А у меня сейчас нет ничего кроме горестей. Мужества в этом нет. За что Вы меня хвалите? Так поступила бы каждая, не филистерка, а может быть, отважилась бы и филистерка. Притом же это мало кого может у нас скандализировать. Насколько я starker Geist [2], покажет время; может быть, еще и я сломлюсь. А если и выдержу, то и в этом заслуги нет, как не было заслуги в том, что выдержала операцию, — не моя в том заслуга, что у меня ein zähes Leben [3]. А уж если живешь, то нужно, чтобы хоть какая-то работа была в руках. Впрочем, работаю в последнее время очень

---

[1] Во-время *(нем.)*.
[2] Сильна духом *(нем.)*.
[3] Жизненное упорство *(нем.)*.

мало, почему-то усталость находит по вечерам, и голова болит часто. С моим другом очень плохо, и он уж сам не верит, что выздоровеет. Состояние его совершенно ужасное, и нет никакой надежды на выздоровление. Уже не может подняться сам. Письма вместо него пишу я, даже самым близким его друзьям. Не может слушать чтения, почти не говорит и уже музыку не в силах слушать, только сегодня сказал еще: «Может быть, мне будет легче на часок, тогда вы мне сыграете». Говорит, что любит во мне спокойствие, силу воли, поэтому я при нем выдержанна и сильна и даже не вздыхаю, иначе он боялся бы за меня, а теперь он верит, что я все могу перенести. Я не разрушу этой веры в его последнего друга. Может быть, поэтому и он такой спокойный, удивительно спокойный, когда говорит о своем конце, хотя вообще он очень нервный. Иногда говорит о том, как много для него значит, что я с ним, и жалеет, что я раньше не могла приехать. Подумать только, что я *такого* друга могу потерять!..

Не отдавайте своего друга на съедение болезни! Спасайте его, чем только можете, и не теряйте времени, — *в зародыше* эту болезнь можно искоренить. Бороться нужно не на жизнь, а на смерть, потому что иначе это такой ужас!..

Будьте здоровы, крепко жму Вашу руку и от всей души благодарю за те добрые слова, которыми Вы откликнулись. Не придавайте значения тому, что мои выражения столь холодны, просто я держусь теперь все время такого тона, боюсь дать себе волю.

Я здорова, сплю не всегда хорошо, но это пустяки.

Письма от г. Стефаника я не получала, может быть лежит в Киеве. О книжках тоже не имею никаких известий.

Возможно, что скоро вновь буду в Киеве, хотя я не хочу про это думать, так как возвращусь с горем.

Будьте здоровы, моя хорошая, нежная и милая подруга. Еще раз жму Вашу руку.

*Ваша Леся.*

## 52. В. Г. КРЫЖАНОВСКОЙ-ТУЧАПСКОЙ

*29/I 1901.*
*[Минск.]*

Мой друг, Вера Григорьевна!

Как видите, я пишу рукой другого человека, а именно Ларисы Петровны, которая в опасное и тяжелое для меня время не оставила меня и неотлучно проводит время у моей постели. Лично я так ослаб после шестимесячного лежания при высокой температуре, не оставляющей меня и теперь, что в данный момент почти не могу слова начертать. Месяца три назад я лишился окончательно голоса, и хотя врачи говорят об излечении, но ведь это их profession de foi [1]: поживем — увидим. Меня преследует какая-то неудача в переписке с Вами. Вашего большого письма, о котором Вы пишете в письме при карточке, я до сих пор не получил. В сентябре я Вам писал, но также не получил ответа. Доходили до меня слухи, что Вы мне писали, — ничего не получил! Выражаясь Вашим же символическим языком, я могу сказать, что розы дружеского отношения к Вам никогда у меня не увядали, а потому им нечего воскресать. Очень хотел бы, чтобы Вы не замедлили ответом на мое письмо. Дружески жму Вашу руку. Сергей Мержинский.

*P. S.* Мой поклон Павлу Лукичу.

А теперь, Вера Григорьевна, я позволю себе прибавить еще от себя самой приписку, на которую меня уполномочил наш друг. Его письмо вышло по необходимости очень коротко (Сергей Константинович, кроме того, очень опечален, что оно вышло «сухо» от непривычки диктовать). Хотя писали мы целый день с часу дня до десяти часов вечера, с большими перерывами среди фраз... Сергей Константинович не преувеличивает своего положения, скорее смягчает его: он *приговорен,* и хотя не слыхал этого приговора, но сам его чувствует. Он уже сделал мне распоряжения, кому и когда должна я буду послать телеграммы... С трудом нахожу слова утешающего противоречия, когда он го-

[1] Обязанность *(франц.).*

ворит мне своим едва слышным шепотом о своем близком конце, говорит так просто и спокойно, как, бывало, не говорил даже о каком-нибудь простом выезде. Мне кажется, что жизнь действительно не очень дорога.

Когда я приехала сюда (7 января), то у меня уже не было надежды, так как доктор писал мне, что болезнь приняла скоротечную форму и что о проектированной нами совместной поездке куда-нибудь в санаторию нечего и думать. Но сам Сергей Константинович еще был настроен более оптимистически: поручил мне разослать письма в разные концы за справками о санаториях и с большим нетерпением ждал ответа; теперь же, когда эти ответы получены, он уже не смотрит на них. Да и как верить в лучшее будущее, когда жар выше сорока доходит (даже по утрам часто не ниже); голос без звука, не только встать, но даже подняться без посторонней помощи нельзя, кашель положительно изводит, пресловутое «питание» по необходимости сведено на minimum, а ко всему еще эти ужасные бессонницы. С каждым днем падают силы, и нет средств восстановить их. Жизнь проявляется только в сознании страдания да в чувстве бесконечной усталости. Не только читать и писать самому, но даже слушать чтение ему теперь не по силам; раньше часто просил меня играть, последние два дня уже не просит. Мы даже редко теперь с ним разговариваем, он только просит, чтобы его не оставляли одного, ну, да, конечно, об этом и просить не надо. Днем с ним я, а ночью его отец. Я живу в том же доме, взяла с собой все необходимое для ближайших работ и делаю вид, что я живу и работаю вполне нормально, так как при малейшем моем видимом отклонении от нормы Сергей Константинович начинает упрекать себя в эгоизме и беспокоиться о том, что я расстрою свое здоровье, опоздаю со срочной работой в журнал и т. д. С ним приходится быть очень осторожной, чтобы не потревожить его чувство альтруизма, которое у него как будто все возрастает по мере того, как падают силы.

О Вас он вспоминает часто и с особенной теплотой. Как жаль, что Ваши письма до него не дошли! Это

доставило ему много горьких минут. Не знаю, писали ли ему его остальные друзья, но он от них почти полгода ни слова не получал и чувствует себя забытым ими. Страшно тяжело слышать, когда он вспоминает об их молчании без всяких упреков, а чаще всего в такой форме: «Как вы думаете, может быть, они рассердились, что я им ничего не пишу? Но ведь я не могу писать, даже диктовать долго не могу, а после такого перерыва коротко писать нельзя». Ваше письмо и карточка обрадовали его почти до обморока (вот как иногда выражается радость!), не хватило сил прочесть его первый раз с начала до конца без перерыва, часто потом перечитывал много раз. Теперь с нетерпением и беспокойством ждет обещанного Вами «большого письма» и все обсуждает причины, отчего этого письма нет. Неужели он так и не дождется его?

Однако довольно уже этих грустных вещей. Если захотите что-нибудь узнать, пишите мне на имя Сергея Константиновича. В случае чего Вы получите от меня телеграмму, тогда, если пожелаете, пишите в Киев, Мариинско-Благовещенская, 97. Жму крепко руку Вам и Павлу Лукичу.

*Л. Косач.*

### 53. В. А. ПОССЕ

*Минск, угол Широкой и Михайловской, д. Нарейко 14.II. 1901.*

Многоуважаемый Владимир Александрович, сердечно благодарна Вам за скорую высылку мне гонорара и прошу извинения, что я обратилась к Вам через посредничество Е. Н. Чирикова, — это вышло просто потому, что обстоятельства не позволяли мне, в буквальном смысле слова, ни строки написать, да и теперь я с трудом урываю время для этого письма. Письмо, которое я Вам писала отсюда 17-го января, очевидно, пропало, что мне очень жаль, так как в нем я объясняла причины своего опоздания с обзором. Кстати, получили ли Вы этот обзор («Современная общественная драма»)?

С крайним сожалением я должна сообщить Вам, что на мартовскую книжку я решительно не в состоянии выслать во-время работу *. Дело в том, что я теперь совсем не принадлежу себе, меня вызвали сюда из Киева экстренно к тяжело и безнадежно больному человеку, я должна пробыть при нем до конца, т. е. неопределенное время, — по всей вероятности, до весны, — и, надеюсь, Вы мне поверите, что работать мне при таком положении вещей невыносимо трудно. Я уж оставляю в стороне нравственные условия трудности работы, так как работала же я первый месяц здесь при том же настроении, что и теперь, думаю работать и дальше во [всякую] минуту, какую мне удастся урвать, но именно минут-то этих немного, так как раньше я работала по ночам и по утрам, а теперь у меня ночью только 5—6 часов для сна, а в остальное время я исполняю обязанности сестры милосердия, при которых, увы! быть литератором почти невозможно. Простите. Вам, может быть, совсем неинтересно все это, но я считала долгом объяснить Вам свои иначе необъяснимые опоздания в работе. Конечно, если эти опоздания будут еще дольше продолжаться и если они будут отражаться [на работе в журнале,] то [не считаю] себя вправе жаловаться, если Вы замените меня другим, более аккуратным обозревателем, хотя я не по небрежности, а по несчастию принуждена быть неаккуратной, но ведь в отношении интересов журнала это все равно.

Материалов я набрала с собою сюда * на две статьи вперед, да и выписка из-за границы продолжается, так что с этой стороны дело обстоит не хуже, чем в Киеве, и лишь бы было время, а тем и материалов довольно.

Во всяком случае, если Вы найдете, что при настоящих моих условиях я для Вас неудобный сотрудник, то, надеюсь, сообщите мне об этом откровенно и заблаговременно. Не правда ли?

Жму крепко Вашу руку.

## 54. В. Г. КРЫЖАНОВСКОЙ-ТУЧАПСКОЙ

*19/II 1901 г.*
*Минск, угол Широкой и Михайловской, дом Нарейко.*

Сегодня получили мы, Вера Григорьевна, Ваши письма, читали мы их оба, но отвечать я буду одна, потому что Сергей Константинович не в состоянии уже и диктовать, у него мысль работает с трудом. По ночам и по утрам он бывает то в бреду, то в странном и тяжелом полубредовом, полусознательном состоянии. Сознания достаточно для того, чтобы понимать безнадежность своего положения. Во вторую половину дня мысль его яснее, но все же он очень слаб, и нервы в таком ужасном состоянии, что даже не хочу предлагать ему заняться перепиской, боюсь припадков, кошмаров и прочего на всю ночь. Да и что может он написать теперь? Разве то, что говорит мне теперь, но лучше Вам этого не читать, это слишком тяжело. Я очень бы хотела написать Вам что-нибудь более утешительное, но ведь это значило бы лгать, а Вы этого, конечно, не желали бы.

Вашим письмам Сергей Константинович был очень рад, и первому с карточкой (его карточку я постараюсь Вам найти или же пересниму ту, которая у меня есть из последних), и второму (большому), и третьему, которое получил сегодня. Он теперь ничьих писем не читает — три письма лежат нераспечатанными, — но Ваше прочел сам, даже утром, когда ему особенно трудно делать умственные усилия. О, Вы очень хорошо сделали, что написали ему! Не думайте, что в Ваших письмах было что-нибудь некстати, — я их не читала, но говорю это на основании впечатления, которое я наблюдала у Сергея Константиновича после чтения их. Из всех его старых друзей только Вы одна относитесь к нему так, как следует другу, иные же... Но лучше я не буду говорить о них, иначе много может вылиться горьких и бесполезных слов. Не только друзья, но шапочно знакомые люди могли бы выказать больше человечности и внимания к такому бесконечно несчастному человеку, как Сергей Константинович. Сколько камней

было брошено! Сколько проповедей произнесено! И как немного сделано для помощи и нравственной поддержки! Нет, и в самом деле довольно.

Я теперь совсем переселилась к Сергею Константиновичу в дом его родных (теток), где он лежит, так он просил, да это действительно было необходимо. Тетки его вообще больные женщины, притом у них с ним нет ничего общего, кроме родства; отец, с которым отношения в последнее время наладились, заболел от ухода за сыном и рисковал кончить ударом от бессонных ночей. Взяла [я], правда, на ночь сиделку, но, во-первых, она не может сидеть бесперерывно всю ночь (оставить больного нельзя ни на минуту одного, потому что он нуждается в помощи, как грудной ребенок), а во-вторых, я не могу сдать его на всю ночь на чужие руки, это было бы и для него и для меня тяжело. Я прихожу к нему в комнату несколько раз ночью, а около шести часов утра совсем сменяю сиделку, так как все равно не могу спать, слыша из другой комнаты его беспокойный шепот, в котором я угадываю бред. Когда с ним бывают особенно тяжелые припадки, то я остаюсь с ним одна, иногда бывает при этом его отец, если это случится на то время. Но большей частью я одна, так как тетки его всегда в таких случаях или бегут вон из дому, или прячутся в дальнюю комнату. Я очень рада, что привыкла не бояться больных, а то было бы совсем плохое положение. Сергей Константинович не может теперь сам даже головы поднять, сколько-нибудь высоко, кормить его надо, как ребенка, а кроме того, он не может теперь выносить одиночества (должно быть, реакция против одиночества всей жизни!). Я никогда не видела такого упадка сил, теперь это еще хуже, но я не знаю, как долго это может продолжаться. Доктор не дает мне ни малейшей надежды на поправление Сергея Константиновича, да и зачем была бы мне эта ложь, в которую я все равно не могла бы поверить, так как есть же у меня глаза и вижу я, что это медленная агония, а не жизнь. Сегодня лучше в том отношении, что вместо беспокойного состояния наступило апатичное, сонливое, меньше тяжелых разговоров, больше сна. Но это начало конца, говорит доктор.

Я часто не узнаю теперь своего друга, так он бывает странен, как будто даже отчужденность какая-то чувствуется. Я искала этому причины в его откуда-то теперь явившейся (конечно, от болезни) религиозности, проявляющейся в бреду и наяву, но он сказал мне вчера в одну минуту просветления: «Это отчужденность смерти, других причин не ищите». Да, конечно, он прав. Он теперь уже совсем «не от мира сего». Две недели тому назад он простился со мной, в первую ночь, что я провела при нем, и мне все кажется, что только тень его со мной осталась, а сам он только изредка, на короткие моменты является и снова исчезает... Слишком все это тяжело, Вера Григорьевна, больше, чем я могу сказать и чем следует говорить. Правда, есть вещи, которых даже не следует стараться высказывать, потому что слова выдуманы не для них.

Я не изменяю решения остаться здесь до конца, во-первых, сама не могу иначе, во-вторых, надо будет сделать все, что поручил мне Сергей Константинович, а для этого надо человека, способного придавать серьезное значение даже бредням своих друзей, то есть фантаста, то есть меня.

Я потом Вам напишу, если хотите, все, что будет, а теперь уже больше не надо. Я забываю, что Вы все же в более нормальной обстановке и сами более нормальный человек, чем я, и пишу Вам вот уже пятую страницу невыносимых вещей, упуская из виду, что ведь это нравственная пытка. Я не хотела бы Вас мучить, так как уважаю Вас и высоко ценю, — и вообще и за Ваши отношения к друзьям в частности. Мой поклон Павлу Лукичу. Жму крепко Вашу руку.

*Л. Косач.*

### 55. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

[*22/II 1901 г., Минск.*]

Дорогая мамочка!

Из телеграммы и письма ты знаешь, что я здорова, и это настоящая правда. Умоляю тебя, не приезжай, ты только напрасно истерзаешься, а мне не поможешь,

так как мне никто в мире теперь не поможет; кроме того, боюсь, что мы разминемся. Ты не должна смотреть на эту агонию (она все еще продолжается), это не для твоих нервов. Я даже писать тебе об этом не хочу! Если я не буду писать, не бойся, это значит, что я не нахожу слов. Если будет нужно, пошлю телеграмму. Целую тебя тысячу раз.

*Твоя Леся.*

### 56. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*Киев, Мариинско-Благовещенская, 97.*
*12—25/III 1901 г.*

Вы видите, дорогая товарка, что я уже здесь, значит, несчастье уже обрушилось на мою голову. Сегодня как раз *девятый день* * после смерти моего друга, уже неделя, как он лежит в земле. А я, видите, жива, хотя не знаю, что сказать, — здорова или нет? Болезни никакой нет, но голова на плечах словно не моя, не слушаются руки и очень неохотно берутся за работу. Ничего мне не хочется, ничего мне не надо, я заставляю себя хотеть, убеждаю, что мне нужно то или другое.

Я страшно утомлена физически и морально и, кажется спала бы без конца, но спать не могу, только лежу иногда по целым дням. Есть у меня только одно желание глубокое и сильное: это приехать к Вам на зеленую Буковину. Мне хочется услышать Ваши тихие речи, увидеть Ваши нежные взгляды, хочется Вашей еще неслышанной мною музыки, меня манят Ваши незнакомые, но уже милые горы и вся Ваша страна, которая давно стала моей мечтой.

Напишите мне, дорогая товарка, могу ли я приехать к Вам так, чтобы не стать Вам в тягость. Будьте откровенны и искренни: если у Вас достаточно горя и без меня, то так и скажите, я не обижусь и не удивлюсь, потому что сама знаю, какой я невеселый гость. Если Вам неудобно принять меня у себя дома, то не беспокойтесь об этом, я могу жить и в гостинице, давно привыкла жить одна, и никакая обстановка меня не пугает. Материального ущерба теперь не боюсь, по-

тому что располагаю для этого путешествия собственными фондами.

Если собираетесь весной в горы, может быть дождались бы и меня. Я хочу выехать отсюда на пасху (так около 7 апр. ст. стиля), намереваюсь пробыть несколько дней в Львове, — у меня там дело с Трушем, и что-нибудь около 10-го апр. (я все считаю по старому стилю) могла бы быть у Вас.

Как видите, это не очень скоро, но я просила бы Вас ответить мне заблаговременно, чтобы я знала, куда и как мне собираться. Так или иначе, я на пасху дома не останусь, не усижу на месте. Странно это: я так утомлена и разбита, а все же что-то гонит меня в мир, куда-то, где я еще никогда не была, дальше, дальше, все дальше... Я, может быть, и на Буковине не задержусь, а еще куда-нибудь помчусь, не знаю еще... Посмотрим.

А тем временем напишите мне, только скорее, ради бога, скорее, дорогая подруга! Я так буду ждать! Целую Вас и жму руку. Все наши Вас приветствуют.

*Ваша Л. Косач.*

### 57. Е. Н. ЧИРИКОВУ

*Киев, Мариинско-Благовещ., 97. 30/III 1901.*

Христос воскресе!

Я [все-]таки хочу отозваться Вам, Евгений Николаевич, хоть ради праздника. Передайте мои поздравления милой Валентине Григорьевне, а малышей, с будущим собратом Нолличкой во главе, поцелуйте. Благодарю за пожелания мне сил и здоровья, хотя пока ни того, ни другого нет. Работать почти не могу. Письма писать тоже не легко, да и больна я теперь, совсем истерия одолевает. Впрочем, в этом ничего неожиданного нет. Это естественная «реакция» (вот еще утешительное слово). Через неделю (7 апреля) я уеду за границу, на Буковину, авось там немного поправлюсь, а то боюсь, что не слишком ли я «реагировать» начала... Жаль, что не пришлось увидеться с Вами перед выездом; но, пожалуй, для Вас-то оно лучше было, что Вы в то ужасное время отсутствовали, — все эти обряды так невыносимы! Вот прошу Константина

Васильевича передать Вам снимок с нашей группы *, хотя снимком недовольна, — грубая работа и не так переснято, как я хотела. Да что поделаете с фотографами! Ничего они там не понимают, как ни объясняй. На этот раз, как всегда, у меня к Вам просьба. Я писала Поссе * (заказным), не может ли он возвратить мне рукопись забракованной статьи *, буде она где-либо сохранилась (иногда вещи в цензуру подают в наборе?), но он молчит. Напомните ему об этом словесно, когда увидитесь в Петербурге. Я бы хотела все-таки напечатать эту работу по-малорусски * и по-немецки, она мне очень дорога в силу условий, при которых создавалась, но боюсь, что она пропала без следа. Адрес мой с 7 апреля по конец мая будет: Oesterreich, Czernowitz, st. Nowy Swiat, 61, bei Frl. Olga Kobylanska [1]. Хорошо, что редакция «Жизни» относится ко мне с терпением, иначе было бы плохо, так как работать мне теперь страшно трудно по условиям здоровья. На вид я та же, что при Вас, но чувствую себя совсем больной. Впрочем, конечно, выдержу и это, как выдержала в свое время многое другое, — я из тех скрипучих деревьев, которые «два века живут», неизвестно для какого благополучия. Я была бы рада иметь время от времени известия о Вас и Вашей семье, ведь мы успели уже несколько сжиться, не правда ли? Дружески жму Вашу руку.

*Л. Косач.*

*P. S.* Кривинюк кланяется вам всем, особенно же своей невесте, и просит ее не забывать его, а Вас лично просит, елико возможно, изменить внешние подробности известной Вам «темы» * для того, чтобы уж не слишком бросилось в глаза сходство тех, кто, пожалуй, и так будет «на зеркало пенять». У нас тишь да гладь, и нет ничего, имеющего общий интерес. А может быть, это я только ничего не вижу, так как на людей не особенно смотрю, да и себя почти не показываю. Жму Вашу руку еще раз.

*Л. Косач.*

---

[1] Австрия, Черновцы, ул. Новый Свет, 61, Ольге Кобылянской *(нем.)*.

### 58. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*Kimpolung, bei Frau Susanna Niessner*[1], *27/V—9/VI 1901 г.*

Лилия моя лилейная!

Я не могу тебя упрекнуть за то, что мне не писала, ведь я все это время тоже не очень энергично принималась за письма и, признаться по правде, писала их с большим усилием, хотя собственно ничем не была настолько занята, чтобы не могла приняться за них. Теперь мне досадно, что приходится *писать* тебе тогда, когда следовало бы говорить, да и то только словами. Я знаю, Лилия моя, как много у тебя мыслей теперь, мне кажется, что я вместе с тобой и что на твоем месте я бы поступила так же, как ты. Если ты *можешь,* то этого уже достаточно для женщины из рода Косачей (вспомни, что нам порой на эту тему тётки говорили). И, наконец, жизнь каждого человека слагается из моментов, часто противоречащих друг другу. Нужно только, чтобы твой муж понимал и уважал все эти моменты. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Есть вещи, которые не кладутся schwarz auf weiss[2]. Я думаю, откладывать было бы хуже не только для Михаила Васильевича, но и для тебя, неопределенность всегда мучит, особенно если слишком долго тянется, и ты хорошо сделаешь, если положишь этому конец. Безнаказанно порвать вы не могли, да и нет смысла. Полной *идентичности* в мыслях и чувствах двух взрослых, в разных условиях воспитанных людей, я уверена, быть не может, и ее даже не нужно требовать, так как гармония заключается не в идентичности... нет, получается сухо, педантично, книжно... Лилия моя, кажется, я на этот раз потеряла всякий дар слова (по крайней мере письменного)!

Наконец, так будет, ибо так... должно быть; и знаешь, когда я впервые отчетливо поняла, что так

---

[1] Кимполунг, госпоже Сусанне Ниснер *(нем.)*.
[2] Черное на белое *(нем.)*.

должно быть? Тогда, в Минске, когда мы с тобой однажды утром разговаривали, но я только ничего тебе посоветовать не могла, так как я не умею советовать, а могу только понимать и сочувствовать, нет, даже предчувствовать; только мои предчувствия никогда и ни в чем мне не помогают. Есть вещи, на которые человек должен сам решаться, не спрашивая ничьего совета, и я рада, что моя Лилия обладает такой отвагой. Не советами, а откровенной, смелой беседой хотела бы я помочь тебе выяснить эти вопросы, в которых только я одна тебя понимаю. Да, я одна, ведь я многое и думаю и чувствую иначе, чем остальные члены нашей семьи и твои друзья. Но ведь *нормальным* людям недоступно многое такое, что совсем ясно стоит перед глазами таких ненормальных, как я. Исключая спорные моменты (о них будем *говорить,* если хочешь), я бесконечно рада за тебя (это видно и по моему беспорядочному стилю и почерку), что у тебя будет такой в самом деле верный и преданный муж. Только не меряй и не взвешивай, кто больше и кто меньше любит. Для этого недостаточны обычные «измерения», а нужны другие, не математические. Не меряй и не взвешивай, не собирайся жить, а *живи,* люби, сколько можешь и как можешь; тогда меньше будешь жалеть, поверь мне, чем если бы ты все размерила, взвесила и отложила «на завтра», ибо это «завтра» не всегда приходит.

Все это очень мало напоминает трезвый совет старшей сестры, но ты знаешь, что твоя сестра часто бывает «без вина пьяна» и *трезвость* не принадлежит к ее добродетелям и не является ее профессий. Нет, нет, я ничего не советую тебе и даже не желаю, я только буду счастлива за тебя, если ты будешь счастлива, а, кажется, ты до сих пор обладала репутацией всегда счастливого человека (и цели своей достигла). Вот видишь, до сих пор все обходится даже без драм, присущих в «решительные моменты» нашей семье. Ну, если уже Микунька «дает свое благословение» (наверно, навеки нерушимое), то, верно, «именно» так и следует. Действительно, Михаил Васильевич покорил весь наш клан (эта победа даже и количественно немалая!), ведь

он и в самом деле, объективно рассуждая, имеет право на самую большую симпатию. Что касается меня, то если я называю его своим *братом,* это не шутка и не пустой звук. В каких бы отношениях ни был он с тобой, для меня он навсегда брат. Еще на Новый год наше с ним побратимство не было формальным, а потом в эти страшные и незабываемые для меня часы, которые мы пережили вместе с ним в Минске, сделали его еще роднее и показали мне все его мужество и вместе с тем нежность его сердца. Если ближайшие приятели моего несчастного друга боялись «расстроить себе нервы» его видом, то в это время Михаил Васильевич, не вынужденный к этому никаким «долгом сердца», был для него (а для меня еще больше) подлинным братом милосердия и помогал так, как только было в человеческих силах. А уж по отношению ко мне он и тогда и после был таким внимательным, что если воздать мерой за меру, то, наверно, и математика была бы бессильна, — может быть, ты как-нибудь отплатишь за меня.

А спроси только там моего братца, скоро ли он выедет в Америку и будет ли любезен *хотя бы мне* сообщить свой адрес?

Ты хорошо сделала, что отказалась от своего намерения до последнего часа скрывать время твоей свадьбы, потому что я и впрямь должна сшить себе какое-нибудь платье, хотя бы белое, я не хочу быть в черном на твоей свадьбе, а в цветном я просто как-то не в состоянии видеть себя теперь, да у меня даже и нет ничего цветного.

Ты знаешь, как я вообще отношусь к церковным церемониям, а к этой в особенности, но если она уже непременно должна быть (если иначе это вызовет «трагедию» в семье), то нужно по крайней мере ее сделать менее неприятной. Единственно, что есть красивого в этой церемонии, так это наряд невесты, не правда ли? Наконец, дело не в обряде, а в настроении этого дня.

Это очень хорошая идея уехать к тете Еле на то время; туда, и правда, никто не выберется. Дружками будем тебе мы, — правда? — сватами Микунька и

Юрко, — можно обойтись en famille [1], слава богу. Или, может быть, ты или Михаил Васильевич еще кого-нибудь пригласите? Может, Галя Комарова приедет?.. Моя Джилия! все-таки, прости меня, немного мне смешновато говорить: «твоя свадьба», «твои дружки», когда подумаю, что все-таки ты и «Пуцик» и «Пудильда» и т. д. Но ведь правда, что ты и Лилея еще, и даже Лилейная, это очень важно и значительно!

Хотелось бы знать, как-то вы устроитесь осенью. Моя товарищеская и дружеская братская помощь всегда к вашим услугам, не забывайте.

А как это мама примирила свои идеи о замужних студентках и женатых студентах с вашими намерениями! Интересно мне знать, что говорит Оксана? Она же у нас самая капризная «свояченица»...

Я, кажется, не утерплю и выеду отсюда на целую неделю раньше, чем сначала думала. Во-первых, хочу скорее увидать тебя; во-вторых, госпожа Ольга вынуждена была уехать в Черновцы и не может уже сюда вернуться, а мне без нее скучно; в-третьих, начались беспрестанные дожди, и я начинаю терять надежду на улучшение погоды, а дождь в горах, как ты знаешь, невероятное несчастье. Однако две недели пробуду здесь наверняка, так как необходимо закончить (крайний срок) кое-какую литературную работу, давно запущенную, и я, наверно, не смогу ее сделать ни при переезде, ни в Колодяжном.

Во всяком случае, хоть бы и три недели я пробыла здесь, в начале июля (никак не позднее 1-го) буду в Колодяжном. Скорее всего буду после 20-го июня, — раньше не могу, потому что должна на обратном пути еще побыть в Черновцах, заехать в Львов, а может, и в Коломыю.

Писать специально о себе мне почти нечего. Я значительно «склеилась», припадков нет (в Черновцах было только два, и то по исключительным причинам), только иногда немного надоедает кашель, который начался у меня еще в Минске. (Михаил Васильевич не раз собирался меня бить за это!) И потом по ночам

[1] Своей семьей *(франц.)*.

бывает иногда какой-то status febrilis[1] с тяжелыми снами, но это все пустяки, так как никаких плохих последствий от этого нет. Ленюсь страшно и в самом деле не знаю, «куда я иду» с такою ленью... Но, как бы там ни было, я должна сейчас как следует взяться за работу, время не ждет. Жизнь веду здесь такую буржуазно-регулярную, как старая немка, даже засыпаю почти всегда в одиннадцать часов (просто срам!). Встаю, правда, в семь часов и раньше. Если только нет дождя, много хожу по горам, а если дождь, то сижу на веранде и пишу или валяюсь на кушетке и думаю, по большей части о том, о чем в самом деле не стоит думать... Вот и весь мой распорядок. Правда, еще позавчера целый день, с утра до вечера, писала стихи *— уж именно «стих нашел». Ну, довольно!

Спасибо за пересланные письма, по мере сил моих буду на них отвечать. Лилейная моя, будь здорова, и весела, и счастлива, и «легкомысленна» (это главное!). Крепко целую тебя, так крепко, как люблю, mia lilia biancissima[2]. Всю братию тоже целую!

*Твоя Леся.*

*P.S.* A George Sand все-таки читай, это не повредит!

### 69. В. Г. КРЫЖАНОВСКОЙ-ТУЧАПСКОЙ

*Oesterreich, Bukowina, Kimpolung,*
*bei Frau Susanna Niessner.*
*10/VI (28/V) 1901 г.*

Простите, дорогая Вера Григорьевна, впрочем, я знаю, что Вы не сердитесь. Вы не можете думать, что в моем молчании была злая воля. Много раз я собиралась приняться за письмо к Вам, и, признаюсь, не хватало решимости; Вы можете этому поверить после тех *ужасных* писем, которые я решилась писать Вам из Минска? Да, но тогда была высшая мера напряже-

---

[1] Лихорадочное состояние *(лат.)*.
[2] Моя белейшая лилия *(итал.)*.

ния, а теперь détention des forces [1]. Я приехала в Киев разбитая не столько внешне (у меня всегда более или менее одинаковый вид), сколько внутренне: невыразимый разлад, мысли, которые не поддаются словам, чувствам, которые не находят ни в чем выражения, странные навязчивые идеи — все это измучило меня страшно, и ближайшим результатом было сильное обострение моей истерии, неспособность к работе, а потом непреоборимая апатия, инертность, подчас непростительная. Все это, что я Вам пишу, конечно, не служит мне оправданием, а только показывает, что я далеко не героиня (и это, конечно, не ново!), но Вы оправдаете меня без оправданий.

Сейчас, после светлого праздника, я уехала за границу, на Буковину, к одной своей приятельнице, украинской беллетристке, с которой мы недавно, но уже близко знакомы. Здесь я нашла очень спокойную и подходящую обстановку и вполне дружеское отношение. Начала несколько приниматься за работу и приходить в себя, но несколько тяжелых впечатлений, достигших до меня из родного края, которые я в другое время сумела бы гораздо спокойнее принять, опять выбили меня из колеи, опять я «вышла из берегов», а к этому еще случайным образом присоединился легкий грудной катар, причем показалась дважды кровь из горла, et voilà toute la boutique du diable à recommencer [2]. Я опять обратилась к испытанному средству — перемене места, и переехала из Черновиц сюда, в Кимполунг, засела в горах, в одиночестве, и вижу, что хорошо сделала, — по крайней мере ко мне возвратился образ человеческий и хоть некоторая работоспособность.

Вот Вам моя Одиссея или, если хотите, иеремиада *, а теперь напишу о том, что для Вас, наверное, более важно.

Я посылаю Вам теперь один, переснятый, портрет нашего друга, я пересняла еще и другой, с одной группы, который в оригинале казался мне наилучшим, но

---

[1] Упадок сил *(франц.)*.

[2] И вот опять началась вся эта чертовщина *(франц.)*.

в переснимке он вышел так ужасно плохо, что я не могу послать его Вам. Летом я буду в Гадяче, где была снята эта группа, — может быть, негатив еще существует, то я закажу отпечатать для Вас отдельный медальон. Если же негатива уже нет, то осенью у меня будет большой портрет *, который напишет для меня один художник, знавший С[ергея] К[онстантиновича] (я собрала для него целую коллекцию карточек, из которых не все принадлежат мне); если портрет будет удачный, я сфотографирую его для Вас. Вы же позвольте мне удержать за собой Вашу карточку, ту, которую Вы прислали нашему другу, пусть она перейдет ко мне по наследству вместе с другими предметами, которые он сам завещал отдать мне.

Что написать Вам о его последних днях? Все это было бесконечно тяжело. После моих писем к Вам и его последнего к Вам (это было вообще последнее его письмо, больше он никому не писал) ему становилось все хуже и хуже, и, наконец, я увидела высшую меру человеческой слабости и несчастья. Я не могу и не хочу описывать Вам все это, так как знаю, что при жизни он был бы этим недоволен: он все время не раз по ночам просил меня заботиться, насколько в моих силах, о том, чтобы он не имел отталкивающего вида по смерти, просил покрыть его вуалью, украсить цветами,— он говорил, что это мой долг как друга и как поэта. Может быть, это предрассудки, но они и мне свойственны. Пусть же будет так! Пусть никто не видит его таким, каким я видела его. (Даже остальные окружающие не все видели.) Довольно, если я скажу, что в последний день я не стала бы удерживать его при жизни, если бы даже это было в моей власти; только присутствие его родных мешало мне впрыснуть ему морфий (меня упорно преследовала эта отчаянная мысль); если бы только я могла, я дала бы ему Gnadenstoss [1]. Вы знаете, что это такое? Но довольно об этом, а то я опять с ума сойду... В самые последние минуты, однако, не было уже ничего ужасающего; он взял меня за руку, стал дышать все реже и реже, потом

[1] Последний удар из жалости *(нем.)*.

совсем затих и вдруг сделался прекраснее, чем был когда бы то ни было при жизни.

При нем были тогда только его отец, я, доктор (его приятель) и один мой приятель из Киева. Я держала его за руку, пока совсем не прекратились последние признаки жизни, потом я начала исполнять «долг друга и поэта», но это еще не кончено. Осенью я поеду устраивать вместе с его отцом его могилу (он и об этом просил). И много еще надо сделать, но пока это относится только ко мне. Что Вам сказать еще? Несмотря ни на что, он всегда был внимателен и деликатен к окружающим и с нежностью относился к своим друзьям, но это Вы сами знаете из его писем. И, знаете ли, иногда, разговаривая с ним, пока это еще было возможно, мне приходило в голову, что *только болезнь* (сначала не признаваемая ни им, ни его друзьями) заставляла его быть скептически пассивным, а в сущности альтруистическая восторженность никогда не умирала в нем, даже в бреду...

Довольно уже, я устала и Вас утомила, ведь правда? Но другого я не могла написать! Да и Вы ждали от меня этого; не знаю, так ли я исполнила Ваше желание, как Вы ожидали, но, видите ли, я еще не совсем возвратила себе прежнюю энергию. Положим, и то была чисто нервная энергия, да все же без нее еще хуже. Но она уже возвращается ко мне, не правда ли, как скоро? Ведь еще не прошло трех месяцев.

Сегодня я, правда, немножко больна, весь день голова болит и кашель изводит, но я не хотела уже дальше откладывать с письмом, тем более что много очередной работы и время с каждым днем все больше занято будет.

Напишите мне теперь о себе, я очень хотела бы знать, как Вам живется.

Здесь я пробуду еще две недели, потом отправлюсь в Черновицы (улица Новый Свет, 61), а в начале июля буду ненадолго в Киеве. Пишите мне лучше в Киев, чтобы наверное письмо меня нашло. Жму крепко Вашу руку, привет Павлу Лукичу.

*Ваша Л. Косач.*

*20/IX 1901.*
*Черновцы.*

Cher maître! [1]

Я все-таки не еду во Львов, а через три часа двигаюсь на Украину через Новоселицу. Так обернулись некоторые мои дела, что нужно ехать напрямик в Киев. Если бы я была уверена, что приеду и застану всех, кого мне нужно, то как-нибудь два дня я бы у себя украла, а так, без этой уверенности, не решаюсь тратить время, средства да и здоровье (оно у меня очень не любит усталости). Мне жаль, что я теперь не увижу Вас и Павлыка, но пусть уж до другого раза: я уже узнала эту дорогу «через пропасть» и, наверное, буду ездить чаще.

Что касается дел, которые Вы были любезны принять на себя, то я попрошу Вас, нельзя ли их устроить следующим образом.

Когда приедет Ганкевич, скажите ему, что я горько сожалею о той минуте, когда передала ему эти злополучные рукописи, но уж так «получилось»; итак, я требую сейчас от него, чтобы он сделал отдельный оттиск перевода Дикштейна «Кто чем живет», напечатанного в «Воле» *; пусть скажет, сколько будет стоить оттиск, а деньги ему будут высланы сразу. Я думаю, что имя его еще так мало известно российским «властям предержащим», что можно деньги прямо на его адрес выслать. Остальные переводы — Лабриола *, Энгельс *, «Коммунистический манифест», — если он еще не начал печатать, то пусть не печатает, а передаст Вам. Вы же будьте любезны переслать их Василию Симовичу (Черновцы, ул. Русская, д. 12), и больше ничего. Если же Ганкевич паче чаяния начал их печатать, то пусть назовет: «Издание группы украинских социал-демократов» и скажет, сколько будет стоить издание всего и каждого отдельно, причем, если будет писать мне по почте (я прошу Вас, cher maître, напишите мне сами, а Ганкевич пусть только Вам на

[1] Дорогой учитель! *(франц.)*

словах скажет, что нужно), так как иначе не дождусь, то пусть «Кто чем живет» называет «Над морем», Лабриолу — «Атта Тролем», Манифест — Ратклифом, исследование Энгельса — балладами, чтобы казалось, что речь идет о моих собственных литературных делах с редакцией «Вестника». Пишите мне: Киев, Мариинско-Благовещенская, 97. Когда вышлете перевод Симовичу, то напишите: «Ваши стихи отдал в редакцию «Буковины».

Что касается каталога украинских книг (о которых говорил с Вами Квитка), то, когда он будет у Вас готов в рукописи, пришлите мне, а я, сделав добавления, опять вышлю Вам (или все, или только добавления). Издавайте этот каталог, где хотите, под какой угодно фирмой, мы в это не вмешиваемся, — на Украине как-нибудь выпустим.

Извините за путаное письмо, страшно тороплюсь. Г. Квитка искренне приветствует Вас, он также сегодня возвращается на Украину.

Поздравляю Вас, семью и знакомых... Жму Вашу руку.

*Леся Украинка.*

*P. S.* Замечания по поводу Ваших статей в «Вестнике» пришлю с Украины.

### 61. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*15/X 1901.*
*[Киев.]*

Лилия моя лилейная!

Посылаю тебе это письмо через госпожу Черемисинову к П. Н. Ге. Я не знаю, где собственно он живет в Петербурге, этот господин Ге, а письмо мне необходимо передать ему, поэтому будь добра, узнай его адрес или в редакции «Вестника всемирной истории» (Миллионная ул., № 34), или в адресном столе. Если нет времени или охоты отнести письмо, то пошли по городской почте, хотя лучше было бы, если бы ты

отнесла сама: по нынешним временам это вернее. Видишь ли, узнав, что «Жизнь» воскресла в обложке «Вестника всемирной истории» и рукописи, оставшиеся от «Жизни», перешли в этот журнал, я стала надеяться, что там найдется и моя статья, отправленная из Буковины («Михаэль Крамер»), вот я и прошу господина Ге, как сотрудника нового журнала, отыскать, если можно, мою статью и, кроме того, объяснить, для чего посылают мне этот «Вестник»: означает ли это, что там считают меня сотрудницей, с определенным положением, как это было в «Жизни», или только так себе, за подписчицу (вот так фраза, — почти страница без единой точки).

Я не обращаюсь непосредственно в редакцию, так как знаю по опыту, что практичнее обращаться к определенному человеку, нежели к собирательному анониму. К тому же я с господином Ге немного знакома лично. Возможно, что он поленится отвечать мне собственноручно, тогда пусть назначит день, когда прийти за ответом.

Я ему об этой комбинации не пишу, потому что не знаю, удобно ли это тебе, а ты уж сама, если тебе не очень неудобно, скажи ему об этом. Очень было бы приятно стать сотрудником этого журнала, так как мои финансы равны нулю, но я не набиваюсь, только *спрашиваю:* «Что вы под этим подразумеваете, джентльмены, посылая мне свой журнал?» Не люблю я набиваться даже с работой, ведь по праву или нет, а я больше привыкла, чтобы меня приглашали, а не я напрашивалась. Забыла я написать Ге, что если моя статья находится в новой редакции и для печати не подходит, то пусть отдадут ее тебе. Не могла ли бы ты это передать на словах? Что касается сотрудничества, то я, конечно, могла бы и без расспросов послать какую-нибудь статью и увидеть, собираются ли они меня печатать; но не хочется мне писать на авось. Жаль труда, да и так у меня две статьи в этом году пропали, у меня нет времени и сил, чтобы писать напрасно.

Возможно, что Ге нет в Петербурге, тогда я напишу прямо в редакцию «Вестника всемирной истории», а ты

наведаешься за ответом. Хорошо? Только не откладывай надолго выяснения этого вопроса, мне хотелось бы быстрее покончить с ним, чтобы знать свои перспективы. Если из этого ничего не выйдет, то обращусь куда-либо, в «Мир божий», что ли, хотя для меня приятнее было бы иметь дело с людьми, которые меня уже знают, нежели искать путь к неизвестному порогу.

В моих, да и не только в моих интересах, чтобы я нашла себе поскорее заработок. Я уже привыкла было располагать хоть какими-нибудь своими *собственными* деньгами и не давать в них отчета никому, тем труднее мне возвращаться теперь к status quo. Я знаю, что ты и все наши удивляетесь моей психологии в этом направлении, но такова уж она — что поделаешь! У меня собственные долги и собственные намерения, вот я и хочу располагать для них собственными деньгами. Скажу тебе, что у меня было невыразимо тяжелое чувство при отъезде г. Кривинюка за границу: он бегал по Киеву, чтобы занять деньги, я должна была смотреть на это и не могла пальцем пошевельнуть, потому что у меня ни гроша. И это после моих прошлогодних обещаний! Я знаю, что он не обвиняет меня, но я чувствую себя «лишенною всех прав состояния» — очень это тяжелое чувство. Хоть и не всегда бывает приятное настроение и у «постоянного сотрудника», когда он должен писать не тогда и не так, как хочется, но все же это лучше, чем мое нынешнее положение, — по крайней мере тогда хоть материально человек «сам себе господин».

Не укоряй меня за вечера с рефератами: если я не могу дать денег на дорогое для меня дело, то, пока я на это способна, буду давать хотя бы труд и свои силы. К тому же мне это не стоило многого: реферата я не писала заново, а только выкроила из прежней статьи о социальной драме; музыкальную часть вечера я на себя не брала и за артистами не бегала, только по просьбе Общества написала две записки, вот и все. Немного, правда, раздражали всякие проволочки с разрешениями от попечителя и бестолковые откладывания вечера без своевременных извещений. Устала я только

во время прений, так как они начались уже после окончания всей программы вечера и тянулись долго, — было целых пять оппонентов, из них толковых два (Стешенко и Водовозов), остальные вовсе бестолковые, такие, что поневоле вспоминалась присказка: «Говори, Грицю, богородицу, а я буду — господи помилуй!», «Ты ему про Ивана, а он тебе — про болвана» и т. д.

Однако я слишком расписалась, а времени мало, теперь уже 4 часа, в 7 Черемсинова едет, а я должна еще собрать для нее деньги (25 р.). Вот и спешу.

Я думаю, что г. Кривинюк избрал Львов главным образом потому, что ни с чешским, ни с немецким языком ему не справиться. Кроме того, нашлись кое-какие интересы во Львове, которые его там задержали, — это, может быть, и хорошо, потому что он из тех людей, которые не могут жить только собственными интересами. Польза от его пребывания в Львове ощущается уже и теперь. Потом, когда ему надоест Львов, конечно, можно ехать и дальше. Надеюсь, что он ничем не будет скомпрометирован, потому что, кроме меня и Рады, ни с кем из киевлян не переписывается, а я, разумеется, не могу его скомпрометировать. Я нарочно просила его обращаться только ко мне. Агрономию он не избрал потому, что не надеется потом на какие-либо заработки от этой специальности, так по крайней мере он сказал мне.

Несомненно, я могу только похвалить тебя, что ты не изменяешь своей медицине. Кого бы утешило, если бы ты осталась женщиной без профессии, протратив два с половиной года напряженного труда напрасно? Хорошенько поразмыслив, я думаю, что тебе не придется жить этой зимой за границей, разве только на рождество съездишь. Ведь в Австрии без греческого языка ты студенткой быть не сможешь, изучить же его за одну зиму, наверное, никто не в состоянии. Без полукурсового свидетельства вообще не стоит ехать, потому что «сверхординарной» быть бесполезно и, вместо того чтобы ехать на последний семестр, лучше всего окончить его сперва в Петербурге, быть свободной все лето, а осенью уже затевать что-нибудь опре-

деленное. Так мне представляется дело, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Во всяком случае, я сужу объективно, а здесь уже нужно принять во внимание и субъективную сторону дела, если не хочешь стать педантом.

Ежели надумаешь ехать во Львов на рождество, так начинай приготовления к этому заблаговременно, чтобы тебя не задержали из-за паспорта и т. д. Меня, правда, не задержали, но я человек без официального положения, а ты студентка, так, может быть, к тебе иначе отнесутся. Куда это «на юг» хотела бы ты перетащить г. Кривинюка? Если во Францию, то как же он справится с французским языком, не зная ни бельмеса? Если в южную Германию или в Тироль, то вам обоим нужно овладеть немецким языком. Хотя г. Кривинюку это кажется пустяком, но я думаю, что вовсе не пустяк сразу освоиться с новым языком и с вариантами в программе, присоединив к этому нормальную немалую уже саму по себе работу.

Когда я намекнула папе на то, что тебе вредно жить в Петербурге и следует ехать за границу, он сказал: она сама этого не хочет, так как считает оставление института равносильным оставлению медицины вообще. Почему он это сказал? Или и впрямь на основании каких-то твоих слов?.. Ну, лишь бы все другие условия наладились, а «согласие родителей» всегда как-нибудь так или сяк добудется. Ты же все-таки Glückskind, la Mascotte [1] *, недаром и «змеиную шкуру» нашла, так что дела твои могут только временно обстоять плохо, а вообще провалиться не могут.

О моем здоровье не беспокойся, я не дам ему расклеиться сколько-нибудь серьезно. Все же ехать в Италию так, с бухты барахты нелепо. Завтра я пойду к Яновскому и посоветуюсь, действительно ли это путешествие необходимо, и спрошу, как он вообще находит мое состояние, и буду строго придерживаться всех предписаний и режимов, ей-богу! Я порой, правда, немножко кисну, но когда же иначе бывало со мной в

[1] Счастливый ребенок *(нем.)*, Маскотта *(франц.)*.

такое время, когда на улице уже не лето. Побывав у Яновского, напишу тебе. А теперь будь здорова. Все наши здоровы, собираются писать тебе. Мамы еще нет, она пробудет в Гадяче еще недели две.

Целую тебя крепко, крепко, крепко!

*Твоя Леся.*

### 62. И. Я. ФРАНКО

*23/XII 1902.*
*[Сан-Ремо.]*

Cher Maître! Посылаю с благодарностью взятые у Вас книжки, которые уже использовала. Только что закончила статью о Кононницкой * для «Мира божьего (ad panem et aquam) [1] работа. Теперь на некоторое время могу отдохнуть, буду писать ad animae salutem [2]. Вообще за работой дело не станет. Было бы только здоровье, а в последние дни взяло да и ухудшилось немного. Ну, да поправится.

По какой печальной струне ударили Вы в своем «Из дневника»! .. * Мне хотелось даже написать Вам, но оставлю уж Вас в покое; может быть, Вам и не очень нужны мои «отзвуки».

Будьте здоровы. С европейскими святками.

Искренний привет всей Вашей семье.

*Л. У.*

### 63. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*29/XII 1902.*
*[San-Remo.]*

Лильчик мой дорогой!

Вот, наконец, пишу тебе письмо, а то все были открытки! Это я говорю, конечно, не для того, чтобы ты не посылала мне открытки, нет, если некогда, то лучше не мучиться с письмами, а пойти и погулять. Я не то что абсолютно, а только относительно не имела вре-

[1] Для хлеба насущного *(лат.)*.
[2] Для спасения души *(лат.)*.

мени, — виноват шестичасовой рабочий день, которого я старалась придерживаться и в который хотела уложить все ежедневное писание, у compris[1] и письма и самое трудное (деловое) чтение. Почему же получилось так, что некоторым, менее близким, людям писала, а тебе нет? Потому что тебе хотелось как-то «по-настоящему» написать, а если писать урывками, то казалось безразличным — что торопливое письмо, что открытка.

Скоро 2 месяца, как я живу здесь. Первые 2 недели, даже больше, проболталась почти без толку, без существенной работы, только за предварительным чтением. Затем я принялась за писание, потом немного редактировала, затем пришло письмо из «Мира божьего» с заказом юбилейной статьи о Конопницкой, вот я и взялась за эту статью, для чего пришлось перевести много стихов * (с польского очень трудно переводить). Работа заняла недели три и растянулась на пятьдесят страниц большого формата. К тому же во время работы немного раскисла, не из-за работы, а по другой, более естественной и неизменной причине. Так проболталась несколько дней, даже не имела охоты писать письма. Закончив статью, приготовила всякие запросы в библиотеку по поводу новых материалов для моей статьи in spe[2] о поэтессе Делле Грацие; перечитывала всякие «долги» (за время работы над спешной статьей накопилась масса всякого материала, который необходимо было перечитать), написала кое-какие письма и до сих пор еще пишу (ведь переписка — это работа Данаид). Должна снова писать кое-что в австрийские, наши и немецкие журналы, — всякие там заметки, а даст бог, может быть, и в итальянскую прессу попаду. Только это все в границах шести часов в день, ей-ей! Впоследствии буду писать меньше, но для меня важно «положить лапки» в те журналы, которые меня пригласили или куда я сама напросилась. Чем больше серьезных журналов будет стоять в моем профессиональном «формуляре», тем легче будет мне найти в дальнейшем

[1] Включая *(франц.)*.
[2] На будущее *(лат.)*.

постоянный литературный заработок. (A propos, что с теми переводами для фирмы Малых? *), а у меня есть причины, чем дальше, тем больше интересоваться этим, так как материальная независимость является одной из важнейших основ нравственной независимости. Но, кроме этих материальных видов, у меня есть и другие, и поэтому я «кладу лапки» не куда попало, а только на чистое место, где мои лапки не только мне одной могут послужить. Все-таки это плохо, что украинский литератор не может «в своей хате» ни копейки заработать, и это истинный наш тяжкий крест такое обивание чужих порогов, еще слава богу, что я могу перебирать и выбирать, а другие еще и в луже оказываются, когда так поступают.

Мне страшно досадно, что я никак не окончу свою летнюю работу, но я над ней тружусь. А теперь начну статью для «Мира божьего», начну и, может быть, ее закончу.

Ты не бойся, что я переутомляюсь. Из нормы я не выхожу, да и врач потачки не дает, он опять рыбьим жиром заливает, да tiocol'ем засыпает, чтоб его! И, наконец, нельзя из года в год жить по-санаторски, бездеятельно, нужно научиться «быть здоровой и в *нормальных* условиях», то есть в условиях не лежебоки, а человека. Да? Ведь, слишком привыкнув быть лежебокой, можно и впрямь дойти до такого, что потом и самая легкая работа будет вредить.

Получила вчера и я письмо от Оксаночки, первое с тех пор, как я здесь. Мое письмо к ней или разминулось, или пропало, потому что она жалуется, что я не пишу ей (я ей собственно дважды писала), и думает, не сержусь ли я, просит забыть «обо всем том, что было летом», и верить, что она всех нас любит. Естественно, я ей тотчас же написала, что и не сердилась и не сержусь, а только рада за нее и за всех и т. п. Зову ее к себе в гости. Она, может быть, и приедет, потому что и папа и мама писали, что они не против того, что бы она съездила с тетей Елей в Мюнхен и ко мне. Только все же должно еще произойти «обсуждение вопроса», этот роковой период для нервов всей нашей семьи, который, конечно, должен отравить каждому из

нас его самые искренние желания и радость от осуществления их. Насколько я хотела, чтобы Оксана съездила в Запрудье *, настолько я теперь не рада, что она едет на праздники в Киев (боюсь, что не только на праздник, а уже до самого отъезда за границу — если он только произойдет после всех этих «обсуждений»). Я поделилась своими мыслями и с папой, и с самой Оксаной, и с мамой, да, наверное, это так же не окажет никакого влияния, как и твои письма к ним. Оксана упоминает в письме ко мне, что ты не против этого путешествия в Киев, но что она «не может не ехать» (kurz und gut! [1]), что хотела, правда, остаться на первые дни праздника в Запрудье ради елки для запрудских ребятишек, но маму (она была в Запрудье) «обидело» такое намерение, вот и «не стоит ссориться из-за пустяков», и Оксана уже поедет на праздники в Киев. «История нас учит, что она ничему не учит!» Опять те же самые «обиды» вместо нормального отношения к здоровью и свободе своего ребенка! Опять, значит, будут те же самые «обсуждения» с обоюдным выматыванием жил и всякие прочие контрадансы, а нервы, только-только более или менее успокоились, — крепись! И здесь же мама пишет мне, что хотя она несказанно рада поправке Оксаны (она не могла не признать, что Оксана в Запрудье поправилась до *неузнаваемости*), но она все еще «Фома неверный» и не вполне уверена в том, что она окончательно выздоровела. Раньше мама писала, что в Киев Оксану она «тащить» не будет, теперь пишет, что Оксана туда «сама хочет», но о своей «обиде» смолчала. О, sancta hysteria! И так становится жаль при всем при том и тех, кого истерия ничему не учит, и тех, на ком она отражается. И чувствуешь свое бессилие хоть чем-нибудь в этом помочь. Ну, что и впрямь можем мы с тобой сделать из далекого края, когда и рядом-то приходилось чуть не кровью своей добывать для той же Оксаны самые простейшие вещи, когда и вблизи нам говорили: не вмешивайтесь! Еще злит меня этот культ празднеств, все равно как культ венчания у лю-

[1] Коротко и ясно *(нем.)*.

дей, которые совсем не верят в то, во имя чего установлены и праздники и обряды. Ей-право, я сомневаюсь, искренно ли то неверие и вольнодумство, которое не щадит нервов своего ребенка ради каких-то «культурных переживаний», я этого не понимаю, в мою логику это не умещается.

Собственно, стоит ли об этом и говорить, раз все равно не поможет, да так уж на сердце накипело, что вот не выдержала.

Мама писала мне раза два (вообще мне редко пишут из дома, а первый месяц и совсем не отзывались) в хорошем настроении и уравновешенно (одно было мне обидно, что у мамы еще раз прорвалось какое-то несправедливо придирчивое отношение к Клёне). Оно собственно было заметно уже и в последние дни перед моим отъездом, уже тогда мама принимала неприятно холодное выражение в его присутствии, косилась, отвечала сквозь зубы, заслонялась газетой или книгой и т. п. «симптомы», вероятно, хорошо знакомые тебе. Это уже, я вижу, начинается «материнская ревность», но все равно, быть может, для этой ревности чем дальше, тем будет больше поживы, но своего отношения к Клёне я не изменю, разве только в направлении еще большей душевной нежности к нему, во всяком случае не мамины холодные мины могут нас поссорить. Только все-таки это горько, и тяжко, и фатально, что ни одна моя дружба, или симпатия, или любовь не могли до сих пор обойтись без этой ядовитой ревности или чего-либо вроде этого со стороны мамы. И ведь Клёня решительно ничем не провинился перед мамой, наоборот, сначала он даже очень ее идеализировал, да и потом, когда уже факты в значительной мере разрушили эту идеализацию, он всегда относился к ней с уважением и без малейшей неприязни.

Пишет ли тебе Клёня?

Мне он пишет часто. Дела его в Тифлисе сложились крайне неважно, и ему снова приходится призадумываться о «хлебе насущном», хорошо еще, что здоровье его все-таки как будто немного лучше. Его очень огорчила вся наша компания в Киеве, особенно Рада, Дора и Максим Иванович, никто из них не проводил его

даже на вокзал при отъезде и вообще ничем не проявил какого-либо чувства перед такой действительно «бессрочной» разлукой. Признаться, и по моему мнению, это «деревянно» с их стороны, неужто ни у кого из наших и из Драгомановых не нашлось времени хоть на вокзал забежать, чтобы проводить друга (они же с ним к тому же еще и на «ты», Рада, и Дора, и Максим Иванович), когда он уезжает «на погибельный Кавказ». Ведь правда, ты бы так не поступила. Я, например, не понимаю, как бы это я, будучи здоровой, не проводила Михаля или Френкеля, не ответила на их письма и вообще «закинула гадку за грядку», если они уезжали далеко. Словом, «не статуить» и даже «середам»!

Вот я пишу, а на дворе светопреставление: целый день бушует буря и лупит дождь. А как же было хорошо до сих пор! Ну, должна же зима как-нибудь почувствоваться и на Ривьере; ведь кругом и снег и всякие беды, а у нас сады цветут.

Вообще я здорова и, главное, гораздо энергичнее, чем была в прошлом году и даже летом, раз только дня три был бронхит, да нервы малость капризничали, то и дело кашель нападал, но так ничего особенного, и теперь чувствую себя хорошо. Врач находит, что легкое мое поправляется, что только еще «дыхание слабее в правом легком, чем в левом, но хрипов нет, инфильтрации уже не замечается», вообще против прошлогоднего много лучше. Но все-таки держит меня под своей ферулой. Эх, если бы он видел мои летние «уклонения от спокойного образа жизни», как он выражается своим суконным стилем!..

Здесь у нас гости: приехал подлечиться брат Садовского на поправку, «козерог-козерожейший», так называют его Наташа и Путя за его характер «с норовом», или, как сказали бы в Колодяжном, «здракувату». Но он ничего себе человечина и чужим «норова» не показывает. Пробудет здесь четыре месяца. Наехало в Сан-Ремо еще несколько землячек черниговских и киевских, да все люди раскисшие, больные, почти все лежат и вздыхают. Маланья Фоминична всех их навещает и, наверное, кончит тем, что сама забо-

леет, потому что не обращает внимания ни на какое утомление, недомогания, ненастье, а все бегает по гостиницам, к «страждущим и обремененным». Наташа тоже бегает, но поменьше, потому что ее муж тоже немножко раскис от плохой погоды (он всегда так).

А теперь знаешь что? Пора кончать да еще на другой раз оставить. Если нетрудно, то напиши мне. Giglio mio [1], что нового в твоих планах? Только бы ты не утомлялась так работой, — я уже побаиваюсь за тебя, ну ее, эту науку! Целую тебя.

Мой Лильчик золотой, и розовый, и искристый. Да!

Приветствуй от меня общих знакомых. Садовские тебе кланяются.

*Леся.*

### 64. И. Я. ФРАНКО

*13/I 1903.*
*San-Remo, villa «Natalia», corso Cavallotti.*

Дорогой товарищ, если Вы уж позволяете себя так называть, что я и делаю с охотой. Слова «с Новым годом», по какой-то старой, привычной ассоциации идей, наводят на меня грусть...

Поэтому прошу Вашего позволения не говорить Вам их сейчас, не потому, что я не хочу Вас поздравить, а потому, что мне не дается этот стиль, да и... не слишком я верю в силу новогодних пожеланий.

Возможно, что это письмо получится длинным, но я не винюсь в этом, только очень прошу, если у Вас нет времени, сохранить его для прочтения в более свободную минуту. Я сейчас настроена для разговора на затронутые Вами темы, вот и буду писать «сгоряча», — как напишется, так пусть и будет. Может быть, и выйдет то, что Вы от меня хотели, а если нет, то все же будет искреннее слово, хоть, может, и нескладное, но Вы меня простите.

Сначала на вопрос: статью Вашу в «Zeit» о Конопницкой * читала, она мне все же понравилась, хотя мне и кажется, что она написана несколько поспешно.

---

[1] Моя лилия *(итал.)*.

Вы обошли кое-что в интимной лирике Конопницкой, хотя она звучит приглушенно, но все же довольно любопытно показывает, как на лирических поэтах-общественниках отражаются и не дают заглушить индивидуальность даже самые широкие общественные интересы: chassez la par la porte, elle revient par la fenêtre [1].

Это, однако, не упрек Вам, ведь в статье Вы должны были ограничиться наиболее характерным в деятельности Конопницкой. Моя статья * хоть и длинней, но будет менее полной, так как я поздно сообразила, что мне недостает некоторых важных подлинников; кое-что восстановила по памяти, а кое-что обошла, хоть и понимаю, что это не годится. Ну, да я вообще на свою критику в русских журналах надежд не возлагаю — я не из того мира (собственно «божьего»), а принимаюсь за это больше по необходимости, чем по доброй воле.

У Делле Грацие я была, но не застала ее дома, она выступала в Бреславле. Мне было очень досадно, но ждать ее в Вене дольше я не могла, главным образом из-за ненастья, которое начало вредно сказываться на моем здоровье. Я написала недавно письмо этой поэтессе, но ответа еще не получила, хоть и думаю, что она должна была бы ответить, так как у меня к ней важные дела, которые требуют ответа. Подожду, а если не ответит, так не мне, а ей хуже будет. Если она сообщит что-нибудь любопытное, то, если угодно, я напишу Вам об этом.

Теперь о Вашем «Из дневника». Я понимаю Ваше чувство: словно Вы стыдитесь немного за эти стихи, но понимаю не потому, что вижу достаточно основания для такой стыдливости, а только потому, что мне самой знакомо это чувство. Я думаю, что именно эти мысли и чувства чего-то стоят; если нам или страшно, или «немного стыдно» выносить их «на людные перекрестки», значит, это искренние, сильные чувства, или горячие, или до боли холодные, но не теплые. Автор апокалипсиса * дал хороший совет не столько людям вообще,

[1] Гоните ее в дверь, она вернется в окно *(франц.)*.

сколько поэтам и художникам: будь горячим или холодным, но не теплым... Я скажу прямо: далеко не каждое Ваше стихотворение отзывалось у меня где-то в глубине сердца, как эти строки «Из дневника». Я не знаю, что было с Вами в тот страшный день, которым датированы стихи, только понимаю, ибо ясно чувствую, что он был страшен. И я понимаю Ваши стихи широко — может быть, слишком широко, скажете Вы, но помните, что я всегда ищу в произведениях поэта не автобиографии (особенно если он не хочет ее дать), а нечто такое, что не только его одного коснулось. И я, кажется мне, нашла это сразу, без усилий.

Я Вам припомню и расскажу нечто давнее, забытое, а может быть, просто придуманное, а Вы подумайте и скажите сами себе, правда ли это. Если захотите, скажите и мне, я буду благодарна, но просить об этом не имею права. Это собственно «оттолосок», поэтому не удивляйтесь, если в нем недостает объективности, ибо я не столько думаю, сколько чувствую, что должна сказать. При чтении Ваших стихов я вспомнила, как когда-то давно, еще в Колодяжном*, Вы рассказывали мне план одной драмы, который мне показался необычайно интересным и оригинальным, потом элементы его я узнала в «Каменной душе» * и искренне призналась Вам, что от плана я ожидала большего. Вы сказали, что действительно должны были «свернуть голову» плану по не зависящим от Вас причинам: «условия моей работы... условия моей жизни... условия нашей сцены...» Что я могла на это сказать? Но мне было жаль этого плана со «свернутой головой», как чего-то родного.

Еще раз, тоже давно (кажется, когда я первый раз была во Львове) *, Вы говорили, что собираетесь писать какой-то роман, что он Вам очень по душе; темы не назвали. Позже я спросила, что с Вашим романом? Вы ответили что-то безнадежное... Как раз тогда я прочитала где-то, в «Kurjerie» *, что ли, описание какой-то сельскохозяйственной выставки, signé [1]

[1] Подписанное *(франц.)*.

Франко! Тогда же шла полемика *, где Вас наделяли всякими «салонными» эпитетами. Тогда же Вы писали по всякому поводу множество мелких корреспонденций. Мне неизвестно, что вышло из плана Вашего романа, ибо не знаю его темы. И часто я думала об этих «свернутых головах», и об этих корреспонденциях, и об этой полемике. Думала и тогда, когда писала свою драму о скульпторе среди пуритан * в диких пущах первых американских колоний. Думала и тогда, когда некоторые из товарищей упрекали меня в том, что я из-за поэзии отхожу от реальной, полезной работы. Я пробовала говорить, что, быть может, это у меня профессиональный грех, мне же ставили в пример Вас, и, знаете, у меня действительно много «горячего» в натуре: задумано — сделано! И я не одну «голову свернула», думая, что выполняю гражданский долг, отдавая свое время и свои очень ограниченные силы «полезной» и никому, даже мне самой, незаметной работе. Я и до сих пор не знаю, хорошо ли я, или плохо делала, но только когда я прочитала крик и жалобы Ваших «детей» *, то и мои отозвались тем же голосом!..

И еще одно воспоминание. В позапрошлом году, по дороге в Италию, я остановилась во Львове; мои нервы были тогда очень непослушны, и у меня была склонность к откровенным беседам. Однажды я в течение целого вечера спорила с Трушем и Ганкевичем о Вас. Они говорили о Вашей универсальности и радовались, что у Вас такой талант — беллетристический, научный, поэтический, публицистический, практический и т. д. — все в одном лице. Я же сетовала, что наша жизнь требует от одного человека сразу стольких добродетелей, и сравнивала судьбу всякого писателя (живого, конечно, а не покойного) с судьбою Mädchen für alles [1], причем — «могущий вместить да вместит». И сколько бы ни вмещал, никто ему не скажет: довольно, отдохни, я тебя сменю! Вспоминая снова Ваше описание сельскохозяйственной выставки, всякие entrefilets [2], наряду с этим «свернутые головы», разнервничалась до край-

[1] Одна служанка за все *(нем.)*.
[2] Газетные заметки *(франц.)*.

ности, а мои собеседники укоряли меня в писательском аристократизме. Я заметила Трушу: «Если бы вас заставили малевать вывески да вагоны красить для общественной пользы и для хлеба насущного, а пейзажам «свернуть головы»? — «Это совсем другое дело!» — обиделся художник. «А вам бы приказали площади для митинга подметать, «свернувши головы», вашим речам», — обратилась я к Ганкевичу. У него хватило мужества ответить: «Что ж, если нужно...» — «Мне было бы вас очень жаль!» — вырвалось у меня. «Это значит, вы хотите уберечь Франко от практической работы». — «Разумеется!» — я начала нечто среднее между иеремиадой и филиппикой *. «Франко бы вас за это не поблагодарил», — уверяли меня мои оппоненты и прочитали мне нечто вроде нотации, что такой писатель, как Франко, наверно, никогда не жалуется «на подметание площадей», потому что знает, что этим он «прокладывает путь» для других, может быть больших, талантов, которые лучше разовьются при благоприятных условиях: что «подмести площадь», даже с точки зрения обыкновенной публики, — честь для гражданина, что и Геркулес чистил конюшни; что «свернутые головы» еще неизвестно, какую бы имели ценность; возможно, о них не стоит и жалеть; что к вещам нельзя подходить с абсолютной оценкой, как это делаю я. Для меня, например, «Увядшие листья» больше значат, чем все entrefilets того же автора, а для нашего общества, для нашей эпохи, может быть, именно описание сельскохозяйственных выставок значительно нужнее, полезнее и интереснее; никто не виноват, что Вы родились слишком рано, и, защищая Вас, я оказываю очень плохую услугу, если такая защита Вам совсем не нужна, а может быть, и обидна. Естественно, все это было сказано не так сжато и последовательно, потому что со мной трудно было говорить по-человечески в тот вечер, и я долго потом бранила себя за отсутствие выдержки и объективности. Но самого худшего мои собеседники не видели: полночи проплакала я после этого спора, но не потому, чтобы я чувствовала себя оскорбленной или «разбитой по всем пунктам», нет. Мне все грезились эти «свернутые головы», те самые, которые

Вам казались «утопленными детьми», и я была *уверена* тогда, что Вы поняли бы мои слезы и не обиделись бы на них, но мне было тяжело от этой уверенности. Было бы легче, если бы Вы действительно оказались таким «неуязвимым», каким представляли Вас тогда Труш и Ганкевич. Легче, но это не значит честней или героичнее. Ведь топят в болоте или в чистой воде (все равно) своих детей с легким сердцем не герои и не честные люди, а совсем иные (среди зверей есть такие, которые их просто пожирают). Так пусть же никто не думает, что украинские поэты нашего времени были infanticides[1] с легким сердцем! Пусть знают, какие были страшные времена, когда писатель *должен* был быть детоубийцей. От одной страницы такого дневника стынет кровь! И нет стыда писать такие страницы, нет стыда показать это людям. Почему все имеют право на слезы: и материнская скорбь, и несчастная любовь, и народная печаль, а только душа поэта, которая потеряла своих детей, должна молчать?.. И скажут когда-нибудь люди: если этот народ пережил даже такое время и не погиб, то это сильный народ.

И знаете что? Ваши дети не погибли, они уже громко откликнулись, — не тем, желанным для Вас, голосом соловьиных песен, но человеческим голосом, человеческой скорбью, и кто знает, может быть, песни соловьев не проникли бы так в сердце, как этот стон утопленных детей Ваших. Все равно, какой момент вызвал со дна страшной глубины эту жалобу, но она отозвалась не только за Вас одних, не только за Ваших детей, это De profundis[2] каждого, кто утопил своих детей, это акт обвинения против всех, кто виновен в этом злодействе, против всего, что вызывает эти злодейства. Почему же об этом нужно молчать?

Я пишу это, а мысленно все повторяю: «Рахиль рыдает и не может утешиться в скорби по детям своим, ибо их нет...» Кто была эта Рахиль? Может быть, какая-нибудь неизвестная женщина времен Ирода? А мо-

---

[1] Детоубийцы *(франц.)*.

[2] Из глубины, из бездны *(лат.)*. Начальные слова заупокойной молитвы у католиков.

жет быть, «строительница дома Израиля»? Какие были у нее дети? Какими были бы они, если бы выросли невредимыми? Помнили бы их люди? Вспоминали бы до сих пор их мать? И чем помянули бы их потомки? Кто знает!.. Но теперь они бессмертны, ибо бессмертна скорбь их матери, и они живут в ее скорби. Что сталось бы с их бессмертием, если бы их мать не убивалась, если бы она захотела утешиться тем, что их все равно не вернешь, ибо их нет? Сколько матерей утешаются этим! Но «Рахиль рыдает и не может утешиться в скорби по детям своим, ибо их нет...»

...Вы, наверно, знаете легенды об узниках-богатырях. Вот сидит такой узник в темнице не год, не два, и кажется ему, что он ослеп, но это слепа ночь, окутавшая его; и кажется ему, что он стар, но это стара темница, скрывающая его; и думает он, что кандалы его прочны, но давно уже ржа переела железо, только узник не верит своим рукам и не пробует их силы. И нужен для этого какой-то освободитель из-за Черноморья, чтобы воскликнуть: «Встань!» Чтоб от клича вздрогнул узник и распались оковы на руках, и тогда свободными руками узник сам выбьет двери старой темницы и увидит, что солнце светит и для него... О, какое это счастье быть таким «черноморцем», иметь такой голос, чтобы крикнуть: «Встань!» О, если бы у меня был такой голос здесь, у Лигурийского моря! Я бы так воскликнула, как сейчас это море кличет (а на море буря), и далеко-далеко покатилось бы через горы: «Встань!»

Нет, в самом деле кажется мне, что в этих легендах много правды. И я думаю, что если по слову чудотворца: «Встань и иди!» — мертвые и больные действительно вставали и шли, то, наверно, они не были мертвыми и такими больными, как казалось. Мечтающий для себя о таком чуде не выражает ли то бессознательное чувство, что ему действительно достаточно только услышать слова: «Встань и выйди!» — встать и выйти? Коли так, то зачем ждать «барки с Черноморья»? Зачем выжидать эти каббалистические «три дня», а не выйти немедленно, в первый день, лишь только стража хоть немного приоткроет дверь?

Ну, видите, я на легенды отвечаю легендами. Ist es eine Antwort? [1] Но ведь Вы не ответа, а «отклика» хотели. Как откликнулось, так пусть и будет.

*14/I 1903.*

Вы словно сожалеете, что выдержали там, где другой надломился бы или разбился вдребезги. Конечно, «разбиться» лучше, если уж дошло до такой дилеммы, но это зависит от характера и обстоятельств. Я никогда не могу вытерпеть до конца фальшивого или принижающего меня положения; и если не могу просто встать и уйти, то вырываюсь, разбивая свое сердце, ранив, верно, и чужое. Но я знаю, что и вырываться не всегда можно. А если поставить дилемму: надломиться или перенести горе и вылить его пену на бумагу, то все же почетнее, хотя и без меры тяжелей, именно выдержать, не надломившись. Только это не пена, дорогой товарищ, то, что вылилось у Вас на бумагу. Если сердце «кипит», то, конечно, не пеной, а кровью. Мне Ваши стихи показались красными, а пена обычно бывает серой или порой белой. Будем ли сетовать на себя, что не умеем молча терпеть, «как мужу пристало», ведь такова судьба поэтов, которые должны кричать на площадях и «прорицать как одержимые» в то время, когда хотелось бы в землю уйти от печали и замолчать навсегда. Вы вот говорите, что в моей «Одержимой» не выдержан эпический тон и даже она лирична. Дело сегодня пошло на откровенность, и признаюсь, что я писала в такую ночь *, после которой, верно, долго буду жить, если уж тогда жива осталась. И даже писала, не исчерпав скорби, а в самом ее апогее. Если бы меня кто-нибудь спросил, как я из всего этого живой вышла, я бы могла ответить: «J'en ai fait un drame» [2], значит судьба. Это довольно страшная судьба, потому что она претворяет дела в слова! Если моя одержимая разбила голову слуге синедриона, то зато у всех моих знакомых головы и до

[1] Разве это ответ? *(нем.)*
[2] Я из этого создала драму *(франц.)*.

сих пор целы, да, верно, и будут целыми, насколько это от меня зависит. Зато, правда, наши слова становятся нашими делами и судят нас люди «по делам нашим», а у кого судьба не такая, тот болтает себе сколько захочет, и никто с него ничего не спрашивает. И думается мне: если наша судьба неизбежна, то напрасно и бежать от нее, а кто не хочет покоряться ей, пусть оседлает эту судьбу вместо Пегаса, да и поедет куда захочет. А впрочем, не мне учить, как Вам следует себя держать с этой судьбой, не Вы ли сами сказали о поэтах: «Пусть будут искренни, искренни, искренни!» В этом весь закон и пророки!

Что сказать Вам о Вашей поэме? * Она еще не завершена, и мнение мое о ней не сложилось. Во вступлении (к Вороному *) мне не всюду нравится стиль; но об этом, если бы Вы захотели, мы поговорили бы с книжкой и с карандашом в руках, а в письме пришлось бы говорить о мелочах; письмо же мое и без того растягивается ad infinitum [1]. Пролог мне очень понравился вначале (до диалога), даже ничего не могу возразить со стороны стиля. Что касается формы, то есть одна слишком длинная строфа: «вона лиш те жівить, що мае міць тривать»; стоило бы ее исправить, чтобы не нарушать суровых правил октавы (мне было бы в ней тесно!). В диалоге мне постоянно приходилось *принуждать* себя верить, что лес может так долго и складно рассказывать все происшествия с князем и княгиней etc. Сам по себе рассказ неплох, но чтобы его Вам лес так knapp und gebunden [2] рассказывал, это не укладывается в моем воображении. И ритм леса я себе представляю не октавами, — океан еще может жить октавами, так как в волнах есть какой-то строй и закон, а лес мне кажется «верлибристом» * и никогда не скандирует своих стихов. Еще две-три октавы лес может дать при погожем ветре, но шестнадцать? Естественней (я употребляю это слово в особенном значении) показалось мне там, где лес рассказывает о собственном истреблении, а когда рассказывает о том,

---

[1] До бесконечности *(лат.)*.
[2] Четко и связно *(нем.)*.

чего не мог видеть (о будуаре княгини, о разделе наследства), то мне казалось, что говорит не он, а Вы сами. А нельзя ли было бы так построить рассказ, чтобы каждый говорил от своего лица? Я собственно не знаю, как это сделать и можно ли, но только высказываю свои соображения.

Я не помню, чтобы я читала Вашу «Новую жизнь» *, где она была напечатана?

Признаюсь Вам по правде: я не понимаю вкуса в современных поэмах; вот и «Бразилия» Конопницкой как-то мне не по душе, хотя даже не могу сказать, какие я в ней нахожу недостатки. Даже прозаические романы и повести в нескольких частях редко люблю. Может быть, у меня действительно слишком лирическая натура! Я свой вкус совсем и не пытаюсь обосновать принципами, не этим он обусловлен, а просто это мне присуще. Вот и пушкинского «Евгения Онегина» я всегда уважала, но не любила. К Вашим «Господским шуткам» * у меня тоже холодное уважение, да и к «Путям и перепутьям» *, за исключением нескольких страниц, которые вызывают прежнюю симпатию к Вашим произведениям. В Вашей новой поэме я люблю то, что в ней, вероятно, должно быть второстепенным, — именно лирические нотки. Что делать! Натуру изменить трудно! Но я охотно с Вами поговорила бы о Вашей поэме с технической и стилистической стороны, может быть в самом деле Вам было бы хорошо «подумать вслух» в моем присутствии. Я хоть и не могу так любить эпику, как лирику, но, может быть, все же поняла бы ее объективно. Во всяком случае, если захотите спросить мое мнение и сообщить взамен Ваше, то я с превеликой охотой Вам отвечу, как и теперь, и Вам не придется упрекать меня в том, что я «ни горяча, ни холодна». Это относится не только к профессиональным вопросам.

Свою «поэму» * я уже окончила, получилась собственно не поэма, а лирико-драматическая сцена à la «Одержимая»; в них даже есть нечто общее. Я не особенно претендую на эпичность, и если мне этот «высший род поэзии» не дается, то не буду этим очень

терзаться. Не дано, так не дано, fiat voluntas dei![1] Я знаю, что когда я эту последнюю поэму писала, то была «искренна, искренна, искренна», и горело что-то во мне, и не давало покоя, пока последнее слово не легло на бумагу. А что из этого вышло, это уже не в моей власти. Впрочем, Вы сами увидите, так как я скоро Вам вышлю эту поэму; если стоит, дайте ее в печать, а если нет, то все-таки прочитайте и скажите мне свое мнение о ней.

«Все на свете имеет свой конец» — это неоспоримая истина, потому и мое письмо заканчивается — кто бы мог ожидать?

Может, Вам моя беседа и надоела, — что же делать! Я же Вам еще никогда таких длинных писем не писала, так должны же и Вы хоть однажды испытать, что значит затронуть меня! Мне доставит радость, если Вы решитесь еще раз так меня затронуть. Будьте здоровы. Жму Вашу руку, Excelsior![2] Спасибо за приветы.

*Леся Украинка.*

### 65. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*San-Remo, villa «Natalia», corso Cavallotti. 24/I 1903.*

Кто-то кому-то шлет открыту, потому что на письма нет времени.

Кто-то дает отпор Ефремову * за кого-то и еще за кого-то и за знамя модернизма (так как кто-то понимает в модернизме). Кто-то в полемике выдержит тон echt ritterlich[3], чтобы он отличался от Gemeinheits[4] тона Ефремова, и надеется, что это удастся. Кто-то не умеет ругаться по-бурсацки и хочет выступить на открытой арене, как Ritter wohl bewaffnet, Ritter von dem

---

[1] Да будет воля божья! *(лат.)*
[2] Все выше! *(лат.)*
[3] Подлинно рыцарский *(нем.)*.
[4] Пошлого *(нем.)*.

Heiligen Geist [1], * и кликнуть клич всему рыцарству стать под честное знамя. Если «Киевская старина» не примет моего ответа, то я найду себе другое пристанище — тем хуже для них и тем шире арена для меня. Но прежде обращусь в «Киевскую старину», чтобы не говорили, будто я не хотела в «своей хате» отвечать. Не очень-то полезна эта полемика для нервов кого-то, но что делать! Кто-то может молчать, если хочет, так как он исключительно беллетрист, но Ефремов задел меня как критика и как публициста, и мне молчать не приходится. Пусть будет кто-то спокоен и пусть прочитает «Bergidylle» Heine (последнюю часть: Tausend Ritter wohl bewaffnet... [2]). Пусть будет спокойным и ясным, как море сегодня. Родным и братьям мой привет и благодарность за память.

*Кто-то.*

### 66. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ).

*27/II 1903.*
*[Сан-Ремо]*

Любимая мамочка!

Спасибо тебе за бандерольку с Людиной статьей * и моими книжечками *. Поблагодари от меня Люду за авторский подарок, но я и сама ей напишу открытку. Статья производит впечатление написанной наспех, а возможно, в этом виноваты цензурные пропуски, кой-какие абзацы появляются совершенно внезапно, например самый последний. Впрочем, мне неудобно критиковать ее.

Почему же ты, мамочка, не сделала тех поправок и сокращений в сборнике, о которых я тебя просила после твоей критики? Или это было невозможно? Теперь это мне очень досадно, и я уже не знаю, как помочь делу. Как-то странно писать на самое себя опровержение, а, наверно, придется. Как ты посоветуешь?

---

[1] Рыцарь, хорошо вооруженный, рыцарь святого духа *(нем.)*.
[2] Тысяча рыцарей, хорошо вооруженных *(нем.)*.

Может быть, просто обойти — сказать, что в предисловии «случайно пропущены» слова: после «от крестьянских детей» должно было быть: «и от моей семьи». Это можно напечатать на полоске и вклеить эту полоску в сборники. Как ты думаешь? А как быть с замечаниями в «Воскресенье», «Мышах» * и т. д., не знаю; может быть, ты напечатаешь свои замечания хотя бы в «Киевской старине»? Как решишь, так и сделай. Только мне будет очень досадно, если останется как есть. Вот только как же будет с Обществом Волыни, если и неволынские материалы появятся. Во всяком случае, «полоску» стоит сделать.

Ну, мамочка, как видишь, я все-таки огрызнулась на Ефремова — не стерпело сердце. Да и невозможно было стерпеть. Много выдержки мне стоило, чтобы не впасть в сарказм и не начать «язвить», но я постаралась этого избежать. Хочу, чтобы мой ответ отличался от этой дикой бурсачины спокойным, даже «рыцарским» тоном. Если бы я не была задета лично, то не очень бы церемонилась, но теперь не хочу быть тем Юпитером, который сердится. Ради этого, между прочим, я пожертвовала сравнением статьи Е[фремова] с «Вавилонским столпотворением», хотя это напрашивалось само собой, или сравнением с ямой, наполненной «жупелами», куда свалены все те, кто носил «декадентскую» прическу или рядился в «модные цвета», а заодно даже и те, кто на них смотрел. Не сказала и того, что в статье Ефремова господствует «смешение языков» (Михайловского, Зинаиды Венгеровой, Макса Нордау и Гилярова); и неизвестно, почему он подпал под влияние таких авторитетов, как третьесортный философ Нордау и равный ему по достоинству критик Венгерова, а даже не упомянул Толстого * (хоть это было бы даже на руку его брани!). Оставила и то, что невозможно же критиковать «непереводимых» символистов — по переводам да по отрывкам враждебных оценок, что нужно знать язык «непереводимых», если уж браться о них судить. И то, что галичане не могут зависеть от французов, ибо они и не знают их, так же как и Ефремов. Может быть, ты все это используешь в своем ответе? Я не затрагивала этого еще и по-

тому, что действительно не могу написать теперь основательного разбора этой вавилонщины, это очень долго, боюсь устать и жаль времени на продолжительную и бесплатную русскую работу. Я не знаю, примет ли «Киевская старина» мою заметку; ни один журнал не несет ответственности за «письма в редакцию», но «Киевская старина» не раз показывала предел галантности к своим сотрудникам, не печатая направленные против них выступления. Все же я прошу тебя передать мою заметку в «Киевскую старину»; во-первых, хочу, чтобы меня услышали те же читатели и не укоряли в том, что я пренебрегаю «своей хатой». Заметка в печати займет, может быть, 10 страниц, не больше; если ты сама прочитаешь ее в редакции, пусть они тут же скажут, примут или нет; если нет, то пошли ее в «Мир божий» (Петербург, Разъезжая, 7); лучше дай раньше кому-нибудь переписать (и один экземпляр сохрани у себя на всякий случай) и, конечно, измени название редакции в первой строке. Если же и «Мир божий» не примет, то я найду иное пристанище, а так дела не оставлю. Так и скажи «Киевской старине», что напечатано *все равно* будет, а ей доброй славы не прибавится, если и заткнет рот «противной стороне». Только очень тебя прошу, не задерживай эту заметку, мне *важно,* чтобы она была напечатана как можно скорей. Теперь напишу тебе, как ты хотела, свои замечания об этой хаотической статье. Статья настолько нескладная, что, кому я ни давала ее читать, никто не мог с ней справиться и в конце концов говорил: «Ну, если ваша малороссийская литература такова, так не лучше ли ее вовсе бросить!» Вот какую рекламу она делает *всей* нашей литературе. Как оценил бы Ефремов *такие* результаты своей работы — «полезными» или «вредными»? Я буду писать свои замечания тоже в хаотическом порядке, так, как записывала на полях — приводить их в систему было бы долго. Следовательно: «символизм» или «декадентство» * — так нельзя сказать, это не одно и то же. Ибсен и Бьернстьерн, например, символисты *, но не декаденты, а, например, Мопассан и Чехов * по настроению и философии декаденты, но не символисты.

Символизм и декадентство именно «в последнее время» уже вышли из моды, — по крайней мере во Франции теперь в моде «простота добродетели». Метерлинк даже совершенно изменил свою manière d'écrire[1], а крупнейшие поэты-декаденты (Verlaine, Rimbaud) поумирали, а из новых Régnier бросился в классицизм, Verhaeren — в демократический идеализм, а остальные не знают, куда идти. Вместо «вавилонской магии» * теперь пишут подражание «Саламбо», например «Les vièrges de Syracuses»[2] *, — автора забыла, или «Aphrodite» Pierre Louys'a. Декадентство возникло не из «кабачка» и «гидропатов» *, что бы там ни говорили русские критики вслед за Tailade (очевидно, он со злости на своих товарищей все это сочинил), а следом за ними и Ефремов, оно пошло от Бодлера, от его «Fleurs du mal» и «Petits poèmes en prose»[3] (хотя Бодлер и смеялся потом над своими учениками, но это ничего не значит), от реакции натурализма, от общей усталости времен Панамы* и всякого национального позора Франции, когда одни бросились в rosserie[4], другие в философию регресса (см. Villiers de l'Isle Adam, «La décadence des races latines»[5] * и «Thaïs» Pierre Louys'a *), третьи в мечты. Символистская форма пришла с севера, из Норвегии. «Декадентские» моды в одежде и т. п., собственно говоря, немного измененные моды директории, с грубым подражанием помпейским, а иногда египетским краскам; таким образом *нового* в них мало. Декадентами называли себя люди не из «презрения к критике», а всерьез; собственно тому была причиной «теория регресса», так как действительно были и *убежденные* декаденты: они считали (как и любезный Ефремову Макс Нордау), что мир *неминуемо* идет к «вырождению» и мудр тот, кто не сопротивляется неизбежному, а использует его хотя бы в поэзии. Верлен был очень искренним и настоящим поэтом, хотя харак-

---

[1] Манеру писать *(франц.)*.
[2] «Сиракузские девы» *(франц.)*.
[3] «Цветы зла» и «Маленькие поэмы в прозе» *(франц.)*.
[4] Грязь, свинство *(франц.)*.
[5] «Упадок латинской расы» *(франц.)*.

тер его, а потому и поэзия были протеевскими * по своей изменчивости и заметно психопатичными, но что может сделать поэт? Ему остается только быть искренним. Верлен не был квиетистом; его, как и Бодлера, увлекали и моральные и социальные вопросы, только он долго ни на чем не мог остановиться. Так же точно и Rimbaud. Драка (с уголовщиной) Верлена и Рембо относится целиком к психиатрии, а не к литературной критике, ибо в критике такие эпизоды принимают характер «сплетни» и Е[фремову] должно быть стыдно этим заниматься. Символизм и декадентство кое в чем *случайно* сошлись; наконец, в чистом виде символизм — логическая несообразность, и на нем ни один не душевнобольной писатель не мог удержаться. «...Нет предела человеческой глупости», но что из этого? Quand on est bête c'est pour toujours, это из данной статьи видно, но кто же в этом виноват? «Специальные сочинения» по французской литературе следовало бы прежде всего искать у самих французов, так нужно браться за дело, чтоб выполнить его добросовестно. Кто сказал Ефремову, что натурализм был индифферентным «к вопросам общественно-политической жизни»? А «Germinal», «Assommoir», «Débâcle», «Paris», «Rome» etc.? [1] У натуралистов была мораль: мораль позитивизма. Золя кается *«в отрицании идеала»*, а не в индифферентизме — и не в беспринципности (можно иметь принципы, так называемые «правила», и не иметь идеала), — принцип же был: искать *фактическую* правду и на ней все строить. Смешно, что Ефремов принимает так всерьез Тайяда! Если у нас *нет причин* для возникновения иностранных литературных направлений, так для чего же «копья ломать»? Нет причин — не будет и следствий! Позабавятся люди, да и бросят, как всякую моду. «Флаг литературных вопросов» требует осторожности, особенно в наших условиях, иначе получается — «в мутной воде рыбу ловить». Ефремов берет на себя роль «судьи во Израиле» — «укрепляя, ниспровергая». Куда там! Скверная посло-

[1] «Жерминаль», «Западня», «Разгром», «Париж», «Рим» и т. д. *(франц.)*.

вица: «Не выносить сор из избы!» А куда же его выносить? В избу, что ли? Но даже коли так, то не нужно же его еще больше наносить в избу со двора, а то изба «замусорится». Кто Ефремову сказал, что литературные школы — «вопросы домашнего свойства», а не интернациональные? «Отрекается от Галиции и всех дел ее», а тут же «продернул» и буковинку * и галичан, пользуясь, наверно, тем, что нет «правильных сношений и умственного обмена». Если «не может быть и речи о выработке правильными путями критики», так о чем же толковать? Слишком он полагается на «случайность». Где он видел «планомерность» в «чередовании направлений»? Разве люди ставили перед собой задачу: вот у нас романтизм, а потом будет натурализм, а потом новоромантизм и т. д., es kam ja von selbst! [1] Реализм и романтизм сочетаются в лице одного автора на тысяче примеров во *всех* литературах, и это вполне законное сочетание. Даже Золя обвиняют в романтизме, куда же дальше! А Виктор Гюго разве наполовину не реалист в своих «Misérables», например? Что за «тихий и отдаленный уголок» — откуда такая маниловщина? «Не без польского и немецкого, *по всей вероятности,* влияния». Если бы он не был невеждой в польской и немецкой литературах, то знал бы, что молодые галичане *всецело с головой* от них зависят. Кобринская и Кобылянская выступили на литературном поприще далеко не «в последние годы» и даже не в «последнее десятилетие». О «Живых струнах» я уже сделала примечание. Как не было натурализма? А Нечуй, а Франко? Сумбур его доводов и нападок на меня, надеюсь, я уже доказала.

Примечания к дальнейшим главам вышлю спустя некоторое время, а то письмо и так уже длинное, нужно же и кое о чем другом. Писала мне Кобылянская, что ей больно, зачем собственно на *Украине* так ударили по ней. Украину она любит и надеялась на лучшее отношение. Пишет, что получила от Миши письмо, кото-

---

[1] Это приходило само собой! *(нем.).*

рое глубоко ее взволновало; благодарит «сестер украинок» за привет, только не знает, к кому лично обратиться с благодарностью; говорит, что для нее будет большой честью твой отзыв о ней в литературе; пишет, что немецкие социал-демократы очень к ней доброжелательны, не во гнев будет сказано уважаемому господину Ефремову! Так-то!

Что там с моим сборником в цензуре? * Не пора ли прислать «Итальянскую поэму»? Я бы хотела, чтобы мой «Ответ» выпустили *раньше* сборника, так как сплетни Ефремова для него (сборника) плохая реклама. Je veux qu'on sache à quoi s'en tenir [1].

Проклятый «Мир божий» молчит, и я не знаю, думает ли он печатать им же *заказанную* мне статью о Конопницкой. Прошу Лилю узнать.

Ефремов и К° просили у меня стихи для сборника памяти Котляревского (пришла коза до воза! Боятся, что их критики съедят, если они «зловредную декадентку» пропустят), я им послала стихи, пусть знают мое рыцарство. Впрочем, в украинских условиях нет возможности быть пуританкой в выборе фирмы. Ефремов — как говорится, «знает кошка, чье мясо съела», — приглашая, пишет: «Надеюсь, что не откажете, так как это не мое личное дело, а общеукраинское» — вот то-то и есть, что в общеукраинском деле они без нас, «антиобщественных», обойтись не могут! Не дал бог свинье рог! Так и нашим «Катонам и Цицеронам» бог не дал такого «пустяка», как литературное дарование. Не слышала ли ты, что думает «Киевская старина» делать с очерком Кобылянской «По мосткам»? Кобылянская не собирается его брать обратно (тоже из «рыцарства»), но я думаю, что «Киевская старина» была обязана решить что-нибудь определенное и не мариновать рукопись человека, который живет *литературным трудом,* ибо так поступать хозяевам «своей хаты» просто неэтично. Действительно, от подобных хозяев не то что в Неметчину, а и в Туретчину уйдешь! Этот вопрос

---

[1] Я хочу, чтобы знали, чего держаться *(франц.)*.

исходит *не от* Кобылянской, она ничего не спрашивает, а *от меня,* — как друг Кобылянской я считаю себя вправе защищать ее интересы. Редакция еще при мне обещала «в ближайшем номере поместить», — сколько уже этих «ближайших» было с тех пор! Я не понимаю подобного отношения к людям и к собственным обещаниям. Они имеют полное право не принять, но с какой стати водить за нос серьезного человека даже и в «чужих хатах»? Если ты не пришлешь мне их ответа, то я сама напишу в редакцию.

Ну, довольно об этом! Как там у нас? Оксана еще «на той стороне» или уже выехала? Что делается дома и вообще в Киеве? У нас на прошлой неделе был сильный холод (+3°R утром, а ночью, кажется, и заморозки были). Я дважды в день топила печь. Люди болеют инфлуэнцой. Наши хозяева тоже были больны. Я немного прихворнула, но только немного, и теперь вполне здорова и благополучна. Не могу сказать, чтобы полемика хорошо сказывалась на моих нервах, но что же делать, от этого никуда не уйдешь. Впрочем, когда я огрызнулась, то и нервы поправились. Теперь у нас снова райская погода, а с ней все на свете кажется лучшим.

Я хотела бы знать, получили ли вы и Рада цветы? Лиля писала, что не получила. А вот петербургские Косачи получили отсюда цветы от Наташи уже давным-давно, в сочельник.

Как твоя работа о колядках? Когда будет напечатана, очень прошу, пришли мне. Ну, будь здорова, моя мамочка, целую тебя и папу и Микуньку с Дроздиком — как их дела?

*Твоя Леся.*

Может быть, захочешь познакомиться с «новейшими направлениями» во французской литературе, тогда стоит прочитать, кроме Huysmans, Villiers de l'Isle Adam и Pierre Louys, еще и Maeterlinck «Le trésor des humbles» [1],

---

[1] «Сокровище смиренных» *(франц.)*.

«Le livre de la mort et de la pitié» [1], «La sagesse» [2], «Le silence» [3]. Обрати внимание на Rosny (особенно роман «La Charpente» [4]) и на Ed. Rod (например, роман «Au milieu du chemin» [5]). К «магам» принадлежит Sar Peladan (романы «Androgynes» [6], «Bilitis», «Gynandres» etc.).

### 67. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*29/I 1903.*
*[Сан-Ремо.]*

Милая мамочка!

Я забыла объяснить, что отчеркнутые карандашом места в моей заметке * можно изъять, если бы заметка была признана слишком длинной; но больше ничего не соглашусь выбросить и прошу редакцию не делать никаких «исправлений», так как это не обыкновенная статья, а «письмо в редакцию». Я не приложила цитаты из Делле Грацие, потому что она, может быть, не нужна; если «размер» позволяет, то вставь сама, а если это невозможно, то вышли мне. Я скоро начну писать статью в «Мир божий» о Делле Грацие, она мне и пригодится. Я не помню, как ты хотела: нужно ли тебе прислать обратно статью Ефремова? Никак не могу найти твоего письма, в котором об этом говорится. Напиши, если нужно, вышлю.

У нас за эти два дня не произошло ничего нового, вот только весна началась: работают в огороде и усиленно поливают у нас и у наших соседок, французских монахинь.

Я еще забыла тебе написать: прочитала в «Вестнике», что издателей «Века» * упрекают (между про-

---

[1] «Книга о смерти и жалости» *(франц.)*.
[2] «Мудрость» *(франц.)*.
[3] «Молчание» *(франц.)*.
[4] «Стройка» *(франц.)*.
[5] «Посреди пути» *(франц.)*.
[6] «Двуполые». *(франц.)*.

чим, Славинский в «Мире божьем») * за непомещение моей и твоей биографии и за нераскрытие наших псевдонимов. Не знаю, как ты к этому относишься, но от своего имени (не упоминая о тебе) послала короткую заметочку в «Вестник» (Европы), «Мир божий» и «Киевскую старину» о том, что я не желала помещения биографии и раскрытия псевдонима, без всяких объяснений, как и почему; думаю, что всю историю извлекать на свет не стоит, да и не знаю как следует ее деталей. Сделала это потому, что мне теперь особенно не хочется, чтобы за меня в чем бы то ни было отвечали издатели «Века», — стою на позициях *педантичной* корректности по отношению к ним; тем более что мне, наверно, придется публично и открыто бороться с ними. Да и в самом деле, факт непомещения биографии и т. п. зависел не от них. Может быть, тебе неприятно, что я это сделала, но другого выхода *для себя* не видела, а тебя, думаю, это ни к чему не обязывает, так как я говорила в заметке только от своего имени, а о тебе не писала. Не посылала раньше заметки потому, что во Львов и Петербург путь окольный и долгий, времени же и так много прошло, а в «Киевской старине» текст заметки такой же, как и в «Мире божьем», поэтому ты можешь ее посмотреть там и прибавить, что захочешь, от себя, за своей подписью. Мне приятно сознавать, что ни в чем, даже формально, не виновата перед издателями «Века»; таким образом, у меня совершенно развязаны руки в случае продолжения «войны».

Не посылаю дальнейших замечаний на статью Ефремова, так как сегодня у меня нет времени их писать; накопилось несколько неотложных писем, да и другая работа есть. Но скоро пришлю. Надоедают мне понемногу все эти распри, да что поделаешь!

Почему вы мне не пишете и беседуете со мной открытками и бандеролькими? Я не жалуюсь, мне приятно и это, но только хочется «живого слова». Целую тебя крепко, моя мамочка, напиши мне длинное письмо.

*Твоя Леся.*

### 68. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*7/II 1903.*
*[San-Remo]*

Милая мамочка!

Прости, что не прислала открытки, как ты хотела, но знаю, что ты не любишь открыток, и собиралась еще вчера (сразу) ответить письмом на письмо.

Тем временем помешала кое-какая работа и визит молодого Беренштама (Владимира) с женой. Молодой человек, разъезжая по Европе, познакомился в Мюнхене с моими кузенами, получил от них мой адрес и совет встретиться со мной, а здесь жена его и так уж была со мной знакома, вот он, не долго думая, на другой день после приезда и зашел. Симпатичный юноша, интересный своей деятельностью, интереснее жены (хотя и она ничего себе дама, но в ней нет ничего примечательного). Обещал Беренштам нажать за меня на редакцию «Мира божьего» за то, что она разводит со мной такую волокиту и не сообщает, будет ли публиковать посланную ей (по ее же заказу) статью *, или нет, он уверяет, что на его запрос должны ответить тотчас же, даже, по требованию, и телеграммой. Ну, да пусть уж и письмом, только бы ответили. Не люблю волокиты! Сегодня я собираюсь зайти к Беренштаму, там вместе и напишем это письмо.

Почему тетя Еля и Оксана так интересуются именно немецким карнавалом: ведь итальянский славится больше со своими getti dei flori [1]. Впрочем, может, они еще и итальянский захватят, если поторопятся. Здесь карнавал продолжается с 18 по 24 февраля (нового стиля), а в марте будут regate (гонки яхт).

Я не вижу ни беды, ни опасности, ни «сомнения» в том, что Оксанина «жизнерадостность» стала «слишком уж велика», — в 20 лет это никогда не может быть слишком, а только нормально, нужно лишь,

[1] Бой цветов *(итал.)*.

правда, чтобы Оксана во-время ела и спала, а радость никогда не станет помехой. Есть же и спать будет Оксана само собою регулярно, потому что иначе здесь поступать никто не может: есть иначе, чем «правильно», не дают ни у Садовских, ни в гостиницах, а засиживаться поздно ей будет не с кем и незачем, потому что все мы ложимся рано и гасим электрический свет. «По Ниццам» много не разъездится: съездит раз — и то слава богу, потому что я и то ни разу за $1^1/_2$ зимы не была. Но стоило бы все-таки разок съездить, «для познания». Я буду смотреть за Оксаной сколько могу, ведь я же не меньше интересуюсь ее здоровьем, чем вы все, и все же ей «не совсем чужая» и к тому же достаточно близко видела ее болезнь, чтобы на весь свой век набраться «опасений». Опасно скорее, что я надоела ей своей постоянной опекой. Ну, да уж как-нибудь сговоримся. Но жалко, что путешественницы еще так нескоро доберутся до Сан-Ремо: здесь такая «олимпийская» погода, какой еще, кажется, не было никогда зимой с той поры, как я здесь. В январе недели полторы было холодно, потом недолго шли дожди, а уже с начала февраля наступила весна с фиалками и анемонами, как полагается. Как-то мы ездили на лодке осматривать русский военный крейсер (нам все крейсеры нужны!), так даже Путя не боялась, таким тихим было море, Путя даже пожалела, «почему так мало» пришлось ехать! А в прошлом году das war etwas [1] при аналогичном визите на броненосец «Dandolo». Этот русский крейсер «Баян» построили в Тулоне, а теперь он идет на Черное море...

Как ты смотришь на мой ответ Ефремову? Он не совсем так написан, как ты советуешь. *Слишком* обращать внимание на эти «игривости», мне казалось, не стоило, и я отделалась от них несколькими строчками. О символистах, наверно, напишу, когда будут силы и время, может быть, не в форме ответа Ефремову, потому что так, быть может, русские журналы не выплатят гонорар, а бесплатно я не хочу затратить *столько*

[1] Это было нечто *(нем.)*.

труда на русском языке, сколько его понадобится, чтобы дать *достойный* отпор не только Ефремову, а *вообще всем* антимодернистам, «духа не разумеющим»; для этого нужно потревожить тени старых романтиков, Бодлера с Верленом, проштудировать Метерлинка, веристов и определить роль Мопассана, как *поворотный* пункт от натурализма к новым направлениям. Дальше провести ясное противопоставление немецкого и французского новоромантизма и даже сравнить берлинские литературные «кабачки» с такими же кабачками Латинского квартала, — посредине между Францией и Германией поставить польский модернизм (chef Пшибышевский), а в прямую зависимость от них Пшибышевского, Крушельницкого и К°, отчетливо отграничив от них Кобылянскую и оказавших на нее влияние Якобсена и датчан, о которых я еще не додумалась в моей статье в «Жизни» *. Как видишь, нужно «выкопать колодец», ну что ж, так и сделаю, если иначе нельзя утопить врага. Что я могла достигнуть при помощи ведра, это я сделала сейчас. «Не стушевывать» резкости тона я не могла: все стою на «рыцарской» позиции, могу в литературе или держаться открыто боевого тона, или молчать, а ругаться не хочу из уважения к «духу святому», рыцарем которого хочу быть, — so hilf mir meine Göttin [1]. Ложь резкостью не одолеешь, — только правдой. Больше всего я боялась, чтобы мой разговор с Ефремовым не походил на базарный диалог: «Ты дура!» — «Ты сам дурак!» А там, где затронута *личность,* не только *школа,* там это легко может случиться, и тем более нужно этого остерегаться. Пусть будет лучше exagération [2] в сторону «рыцарства», нежели «пошлости», — если выбирать из двух, то я предпочитаю быть Дон Кихотом, а не Санчо Панса; это ближе моей натуре и даже фигуре. По-моему, дело вообще не во вражде с Ефремовым и К°, — чем меньше будет *личной* вражды, тем лучше... а что касается «войны *духа»,* то я согласна с тобой: pas de grâce, pas de

[1] Да поможет мне моя богиня *(нем.)*.
[2] Преувеличение *(франц.)*.

quartier! [1] И кажется, я так и поступаю, по крайней мере *сознательно* я *так* хочу поступать.

Ну, будь здорова! Пора завтракать да идти гулять. Я здорова и благополучна. Все вам кланяются. Крепко целую тебя, папу, Микуньку и Гусика. Und sei mir gegrusst im Namen des heiligen Geist! [2]

*Твоя Леся.*

*P. S.* Очень прошу прислать колядки *.

### 69. О. П. КОСАЧ (СЕСТРЕ)

*10/II 1903.*
*Сан-Ремо*

Лилинька моя!

Не хотелось бы мне тебя беспокоить, но приходится. Только что получила письмо от Богдановича из «Мира божьего», что моя статья «не подходит к типу статей, печатаемых в нашем журнале». Ну, это еще не беда, жаль, что они мне этого сразу не сказали, а только через два месяца, когда статья может потерять свое raison d'être [3]. Но все же хочется попробовать пристроить ее; жаль труда! Будь добра, Лилинька моя, пойди и забери сама эту статью из редакции. Я писала секретарю «Мира божьего», Екатерине Николаевне Нелидовой, что ты придешь по моей просьбе взять мою работу. После этого, если у тебя будет время, может быть ты могла бы пойти к Пыпину и предложить статью «Вестнику Европы», мотивируя опоздание «юбилейной» статьи моим нездоровьем, расстоянием между Сан-Ремо и Петербургом и твоей занятостью, так как сказать, что «Мир божий» забраковал ее — плохая реклама. На рукописи надпиши мой адрес, имя и фамилию. Попроси его, чтобы статью *прочитали поскорей* и, в случае если не подходит, вернули тебе. Если не примут и вернут, по-

---

[1] Никакой любезности, никакого милосердия! *(франц.)*.
[2] Поздравляю тебя во имя святого духа! *(нем.)*
[3] Значение *(франц.)*.

пробуй уже на авось послать в «Русское богатство» *, или в «Русскую мысль» * (в «Русской мысли», может быть, скорее примут, там больше всего интересуются польской литературой), а если и там не удастся, ну, значит, туда ей и дорога! Я и сама понимаю недостатки этой статьи, но, сидя в Сан-Ремо, не могла их исправить и не смогу, так как здесь материалов не хватает, но все-таки в ней, может быть, найдется кое-что интересное для русской публики, поэтому следовало бы по возможности ее напечатать. Я уже не говорю о том, что эта работа была сделана и для заработка, и мне обидно, если затраченное на нее время и труд погибнут даром. Поэтому и хотелось бы еще раз «попытать счастья»... Если «Вестник Европы» найдет, что стихотворных цитат слишком много, то их можно сократить, даю на это право редакции.

Ты ничего не узнала в фирме Малых о переводах? Хотя за оригинальные статьи платят больше, чем за переводы, но зато переводы были бы более легкой и верной работой, писать же (на авось) мне не очень с руки при моей нынешней рабочей энергии. Хотелось бы иметь что-нибудь более верное, хотя бы за это и меньше платили. Заработок мне *совершенно* необходим, так как дальше мне становится труднее жить без собственных бесконтрольных фондов, а когда закончится курортный искус, то, может быть, будет и совсем морально немыслимо ввиду моих дальнейших планов, которые, может быть, и не совпадут с планами тех, от кого я завишу. Об этих планах поговорим потом или лучше при встрече, ибо это слишком «долгий разговор», а я сегодня немного расстроена для большого письма: все-таки реприманд с работой немного выбил меня из колеи, главным образом потому, что я вообще с нервами не в ладу за последнее время. Этому разладу помогла полемика с Ефремовым и всякие мелкие неприятности «невесомого» характера; как говорил Обломов, «жизнь трогает»... а врач добивается, чтобы я именно изо всех сил приближалась к идеалу Обломова... Ну, да ничего, обойдется!

A parte нервов, жить собственно теперь здесь очень хорошо: погода райская, даже санремовцы удивляются,

потому что для февраля и здесь необычайно тепло. Ждем множество гостей: кроме тети Ели с Оксаной (которые все еще, кажется, в Мюнхене), должны приехать г. Гассель с г. Клименковой. Если станет тесно, мы с Оксаной перейдем в гостиницу, — в нынешний сезон это обойдется немногим дороже. Но может, и не понадобится.

Приехал сюда один из молодых Беренштамов, который познакомился в Мюнхене с Тосей и Юрой. Совсем очарован Тосей, а о Юре рассказывает всяческие курьезы, впрочем, вполне добродушно, как о «славном мальчике».

У мамы уже новая забота: Оксана слишком жизнерадостна, а это тоже подозрительно, — вот тут и угоди. Разумеется, в Киеве какой бы то ни было «правильный режим» пошел an diable [1], и поэтому естественно оказывается виноватой *только* одна Оксана... История учит тому, что она ничему не учит. Эх!

Ну, я сегодня «несносна» — правда? Скоро, может, напишу что-нибудь получше. Ты не бойся, со мной ничего особенного не происходит, так только настроение неважнецкое. — Целую тебя крепко, моя золотая, и прости за хлопоты.

*Твоя Леся.*

### 70. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*Сан-Ремо*
*27/III 1903.*

Кто-то кому-то дорогому пишет.

Кто-то порой ни минутки свободной не имеет, а порой и ворон считает, а потому ни с письмами, ни с работой не поспевает.

Кто-то начал писать драматический этюд * еще один, так как один уже написан * и, наверно, не успокоится, пока не окончит, хотя собственно надо бы писать что-нибудь другое, «полезное». Но кто-то ничего не может

[1] К черту *(итал)*.

писать другого, пока не кончит, и поэтому *должен* окончить. К тому же кто-то себя уверил в том, что этюд «полезней», хотя бы потому, что нужно что-то Вороному послать, а нечего, так как мелкие стихотворения пойдут Чернявскому в Киев. Старые рукописи кто-то оставил на Украине (может быть, из них что-нибудь и выбрал бы, а так невозможно), вот и нужно что-то новое придумывать, тем более что раз кто-то дал стихи для сборника Ефремову * (так уж из рыцарских побуждений!), значит нужно дать и тем милостивым государям, иначе они увидят в этом «тенденцию», которой у кого-то нет. Да? И кто-то пишет теперь свою «Кассандру»; хоть бы получилось что-нибудь путное! Ранее написанный этюд «Вавилонский плен» кто-то хочет послать в Киев (в другой сборник, не Ефремова) *, только не знает, не съест ли его цензура. Но это уж от кого-то не зависит. Кто-то хочет написать еще на одну библейскую тему * маленькую драматическую поэму, но это погодя, может быть, в Черновцах. Кто-то любит библейские темы, так как в них всегда много беспокойного, страстного элемента, а кто-то именно это любит в поэзии и, наверно, никогда не будет эпическим поэтом. Кто-то избрал героиней Кассандру (хотя она и не еврейка), потому что эта трагическая пророчица со своей никем не признанной правдой, со своим тщетным пророческим даром именно такой беспокойный и страстный характер: она предвидит беду и предсказывает ее, но никто ей не верит, ибо хоть она и говорит правду, но *не так, как нужно людям.* Она знает, что *так* ей никто не поверит, но *иначе* говорить не умеет; она знает, что ее слов никто не примет, но не может молчать, ибо душа ее и слово не подвластны ярму; она сама боится своего пророческого дара и, что самое трагическое, сомневается в нем, так как не знает, всегда ли ее слова зависят от событий, или, наоборот, события зависят от слов; поэтому она часто молчит там, где *нужно* говорить; она знает, что ее родная Троя погибнет, и семья, и все, что ей мило, и *должна* поведать об этом во весь голос, так как это *правда;* и, зная эту правду, не делает ничего для борьбы, а если и стремится делать, то дела ее гибнут попусту, ибо *дела без*

*веры мертвы суть,* а веры в спасение у нее нет и не может быть; она все провидит, все знает, но не холодным умом философа, а только интуицией человека, который все постигает *бессознательно* и непосредственно («нервами», как говорят в наше время), не разумом, а чувством, — поэтому она никогда не скажет: «знаю», а только: «вижу»; она действительно «видит» то, что будет, но объяснить доводами, почему оно должно быть так, а не иначе, не может. И пророческий дух не дар для нее, а *кара.* Ее никто не побивает камнями, но она терзается больше, чем мученики веры и науки. Такова моя Кассандра.

Вот так-то кто-то пишет. Что кто-то об этом скажет?

А теперь кто-то сразу, без логического перехода, запросит кого-то о чем-то другом, ничего общего не имеющем ни с какими пророками. Пусть кто-то миленький спросит у своего брата г. Юлиана и будет добренький написать кому-то, что узнает. Это целый ряд вопросов: 1) Преподается ли на Буковине в гимназиях и других средних школах французский язык? 2) Как обязательный или как необязательный предмет? 3) Как оплачиваются преподаватели французского языка? 4) Какую квалификацию должен иметь неавстрийский подданный (например, русский), чтобы получить такую должность? 5) Достаточно ли для этого диплома парижских международных курсов французского языка и литературы, или нужен ли какой-нибудь дополнительный экзамен? 6) Должен ли преподаватель французского языка в средней школе на Буковине знать еще и государственный (немецкий) и какой-либо из местных (румынский, украинский) языков или оба сразу? 7) Нужно ли держать экзамен по этим языкам? 8) От кого зависит назначение на такую должность и куда следует по этому делу обращаться?

Все это необходимо знать одному моему знакомому украинцу, и он просит меня разузнать об этом поскорее. А от кого кто-то может узнать, если кто-то миленький ему не поможет? Кому-то неловко обратиться прямо к г. Юлиану (а он наверняка знает все это, потому что сам преподаватель), ведь, может быть, г. Юлиан не любит писать писем и это бы его обреме-

нило. А кто-то дорогой если не письма, так кого-то самого любит и потому будет любезен ответить. А кто-то кого-то отблагодарит.

Кто-то кланяется всей чьей-то семье, кого-то целует.

*Кто-то.*

### 71. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*29/III 1903.*
*[San-Remo]*

Милая мамочка!

Получили мы сегодня твою открытку, спасибо! Извини, что я опоздала со стихами. Как видишь, все-таки довольно объемистая пачка написана. Вышло больше, чем я ожидала, — я думала, за день перепишу! А взявшись за работу, увидела, что надо многое исправить и переделать. Поэму «Плен вавилонский» Оксаночка переписала, но только и она, как обычно переписчики, то строфы неверно разделила (правда, черновик был очень неряшлив, наполовину написан карандашом), то переставила их, пропустила слова и строчки, так что пришлось много исправлять и дописывать самой. То же самое было и с «Ниобеей». Эти две вещи я посылаю в сборник, который ты и Люда издаете *.

Если Стешенко писал мне о каком-то еще другом, независимом от вашего сборнике (никак я этого не добьюсь от Стешенко), может быть, отдадите ему «Ниобею», а если «будет жалко», пусть Стешенко подождет, потому что я теперь ничем готовым не располагаю, и уже раньше обещала Вороному, да и Чернявскому следует что-то дать. Если то, что теперь посылаю, вам не понравится и если Стешенко к вам обратится, отдайте какому-нибудь из этих господ, может быть им пригодится, только не мешкайте, потому что, кажется, их сборники должны скоро выйти. А я вам тогда пришлю, может быть, что-нибудь другое, как только закончу кое-что начатое недавно. Только, будь любезна, извести меня хоть коротко, как решите сделать. С предисловием и примечаниями к последнему разделу сборника «На крыльях песни» * у меня

было много хлопот, — трижды перерабатывала! Терпеть не могу вообще писать предисловия и комментарии, а на этот раз как-то особенно не было охоты, может быть потому так и возилась. Grâce à dieu c'est fini [1]. Два стихотворения, прибавленные в конце, относятся к этому же разделу, хотя они туда раньше не входили. Лучше печатать этот раздел тогда, когда все остальное будет заполнено.

Все-таки мне досадно, что я так опоздала и вас этим задержала. Да и вообще я не люблю этого, как-то обломовщину напоминает. Хотя в данном случае это не было обломовщиной, а скорее усталостью.

Говоря по правде, пока часть компании не уехала в Рим, у нас такая суматоха и такой базар стояли, что трудно было за что-либо толком приняться, то и дело перебивали разговорами, набегами, шумом. А я еще отвыкла и от такого многолюдства, и от жизни вдвоем в одной комнате, и от таких stürmische Naturen [2], как Юрко, тетя и Оксана: все они из-за любой мелочи повышают голос, входят в азарт, не соразмеряют ни силы голоса, ни выражений... Потом я уже стала привыкать, а сначала была как-то оглоушена всем этим.

Компания наша уменьшается. Сегодня уехала тетка г. Садовского, 24—25 марта (ст. ст.) она будет в Киеве и, говорила, зайдет к тебе рассказать о нас; если тебя в это время не окажется дома, хорошо бы, чтобы папа, или Микось, или Дора приняли ее, потому что ей трудно ходить, и не хотелось бы, чтоб она напрасно потратила время. Если она не зайдет сама между 25—27, значит захворает после дороги, и в этом случае она просила, чтобы папа зашел к ней, узнав ее адрес в 1-й гимназии у ее брата Николая Трофимовича Черкунова (а самое ее зовут Вера Трофимовна Денковская), потому что она хочет передать через папу весточку от молодых Беренштамов для их отца.

Наши «римляне» приедут, наверное, дней через 4—5, а до того времени Тося выедет. Приходьки, очевидно, с неделю пробудут здесь, потом поедут в Мюнхен,

---

[1] Слава богу, это кончено *(франц.)*.
[2] Буйных характеров *(нем.)*.

а оттуда тетя и Петр Васильевич вернутся в Запрудье. Клименкова, вероятно, выедет вместе с ними. Я боюсь, чтобы, когда все разъедутся, Оксана не заскучала, хотя она уверяет, что «совсем даже нет». Ну, ладно, посмотрим. А если начнет скучать и киснуть, я готова выехать раньше. Пока ничего, все благополучно.

Я, мамочка, вижу из твоей открытки, что ты без умысла не отвечала так долго на мое письмо. Так оно и было каждый раз в этом году. Только я не могу привыкнуть к этому и все беспокоюсь, что дома несчастье или ты сердишься за что-либо, и так тогда тяжело на сердце! Я вообще не такая спокойная, как кажусь...

Что ты думаешь, мамочка, по поводу тех вопросов, которые я ставлю в письме к папе? Боюсь, что ты, как всегда, будешь недовольна моими планами о заработке, дипломе и т. п. Но что делать! Все они периодически встают передо мной и всякий раз с большей силой. К тому же я знаю, хоть и не совсем ясно, что финансы семьи запутаны: долги, трудности... На меня уходит много больше, чем на других... все это камнем ложится на душу. Знаю, что никто мне не запрещает заниматься, чем хочу, и знаю, что не имею права требовать от тебя или папы помощи или совета в этом направлении. Ведь вы и так делаете для меня больше, чем должны, да я и не требую, а только прошу посоветовать, сказать свое мнение.

Я, кажется, что-то напутала в расчетах, и поэтому Оксанины костюмы и подарки не укладываются в 400 рублей общей суммы. Но должны уложиться.

Мне частенько пишет Кобылянская и приглашает к себе в гости, так как она еще не знает, сможет ли этим летом приехать ко мне. Мне хочется побывать у нее по пути домой.

Читала я заметку о вечере Шевченко в Киеве. Хорошо ли он прошел?

Вчера мы получили письмо от Лили. Институт их закрыт, но они не унывают. Оно, может быть, кое для кого, например для Лили, и лучше выйдет, если экзаменов этой весной не будет, по крайней мере не придется тянуться из последних сил.

Запоздала я с письмом, а хотелось, чтобы оно с рукописями поспело до твоего отъезда. Нужно поскорее отправить, потому что рукописи уже посланы (заказными).

Почему ты так рано едешь в Гадяч? Там же, наверное, еще снег?

Будь здорова, мамочка, и пиши мне хоть капельку подлиннее, чем может уместиться на открытке, хотя и за открытку спасибо. Целую тебя и папу и гусынь, длинную и короткую.

*Твоя Леся.*

### 72. М. И. ПАВЛИКУ

*10/IV 1903.*
*[San-Remo]*

Глубокоуважаемый Друг!

Спасибо за информации, я уже передала их дальше. Только для моего друга, я знаю, еще важно было бы выяснить вопрос, как собственно оплачивается преподавание французского языка в реальных училищах и в гимназиях (вероятно, в тех и других неодинаково).

Сомневаюсь, чтобы он мог прожить менее, чем на 50 фр. в месяц, потому что человек он нездоровый, да еще должен помогать бедным родственникам. Хорошо бы также узнать, обязательно ли нужно принимать австрийское подданство, чтобы стать учителем? Кажется, нормальная натурализация (признанная по обе стороны границы) требует пяти лет? Это было бы дело малость затяжное.

Что касается меня, то я, к сожалению, не могу еще так решительно сказать: «Итак, переезжаю». Primo [1], потому, что я не знаю, почему Вы думаете, что я найду себе учениц, — есть ли тому недвусмысленные фактические прецеденты? кто-нибудь из известных Вам людей удержался в этой профессии частной преподавательницы европейских языков? Secundo [2], я должна

[1] Во-первых *(лат.)*.
[2] Во-вторых *(лат.)*.

знать в цифрах minimum установленной обычаем платы за один час такого преподавания (от одного ученика и от целой группы, наверное, различно?). Одинаково ли оплачивается как французский, так и, например, английский язык (в России английский дороже). «Много» и «немного» — понятия слишком относительные, и я на них не могу построить ничего определенного. Tertio [1], есть новость: врачи уменьшили (три дня тому назад) мой рабочий день и разрешают только четыре, самое большое пять часов в день интеллектуального труда; если этот «день» не возрастет за лето, я не знаю, достаточен ли он для того, чтобы, беря «недорого», все-таки заработать уроками на жизнь, да еще и располагать временем, чтобы хоть что-нибудь сделать в моей собственной сфере — литературе. Теперь, кажется, виновата не врачебная тирания, а мое собственное здоровье, потому что у меня, если верить врачам, пока лишь остановился туберкулезный процесс в правом легком, а состояние нервной системы требует даже extra [2] мер, чтобы снова не схватить осенью рецидив туберкулезного процесса в легком, да и само по себе оно весьма угрожает своими симптомами. Летом мне жить, *по крайней мере в этом году,* в большом городе (хотя бы и во Львове) запрещено. Как видите, все это такие sachliche Umstände [3], на которые стоит обратить внимание и выяснить как следует, прежде чем решить все окончательно. Вы можете мне помочь выяснить собственно пункты первый и второй, а третий уже, известно, «от бога» да, может, частично и от меня зависит, я только сообщаю о нем Вам в объяснение моей нерешительности.

Обидным показалось мне одно, выставленное Вами Umstand, что мне следовало бы «отказаться от всякой политики» *. Я хотела бы знать обстоятельней, как мне это понимать? Неужели так, что в Галиции я должна жить еще «тише», чем на Украине? Если так,

---

[1] В-третьих *(лат.)*.
[2] Специальные *(лат.)*.
[3] Реальные обстоятельства *(нем.)*.

то это страшная жертва души. Может быть, я могла бы еще не вмешиваться в местную политику в том смысле, что не занималась бы личной агитацией, не вступала бы в члены местных партий, ибо к первому я не чувствую в себе таланта, а вторым мало интересуюсь, полагая, что, как литератор, я больше сделаю, если буду выступать *совсем* независимо, пусть хотя бы и одиноко. Но отказаться от «всякой политики» в литературе и в моих сношениях с метрополией я никак не могу, так как не только убеждения, но и мой темперамент мне этого не позволяет, и не позволяет еще, знаете что? завет дяди. Мы не раз беседовали с дядей на эти темы, и он говорил, что хотел бы, чтобы я через несколько лет поселилась бы где-нибудь «в более свободной стране» с тем, чтобы именно до конца воспринять, а не отказаться от политики с тем, чтобы, по возможности, *проводить дальше то,* чему я у него научилась и чему могла научиться у жизни за «столько лет», прожитых на Украине, а не затем, чтобы стать только хранительницей бумаг, хотя и очень ценных, но все-таки не моей рукой написанных. Дядя хотел, чтобы и *моя* работа и *моя* мысль росли и жили, чтобы я не бросала ни литературы, ни политики, чтобы я искала *собственный* путь, была бы не его эпигоном, а духовной *дочерью.* Он бы, я знаю, не посоветовал мне «отказаться от всякой политики» даже ради того, чтобы не смогли повредить «тому, кто рядом со мной», а уж меньше всего ради того, чтобы не могли *мне* повредить. Нет, друг мой, спросив со всей искренностью себя, я не могу обещать, что на более свободной земле буду жить тише, чем жила на совсем подневольной. Если мое здоровье, мой небольшой талант, мой мало развитый интеллект, моя жизнью придавленная энергия не дали мне стать тем, чем должна бы я быть и чем, может быть, никогда не стану, то это мое несчастье, но не мое желание, и мириться с этим я еще не хочу, нет, я еще хочу бороться. Признаюсь Вам, что у меня не *одна* цель на тот случай, если бы я поселилась по ту сторону границы. Я не могу морально признать политический провал (исторический, как сказал Кулиш) за реальный провал, и пока я не избавлюсь от воспоминаний об

абсолютно подневольной Украине, я не *могу,* не в *моих силах* отказаться от того, от чего до сих пор не отказывалась при более тяжких обстоятельствах. Тогда мне нужно отказаться и от моих стихов, моих самых искренних слов, ибо высказывать их и писать на бумаге, отстранившись от того дела, к которому они призывают других, мне будет стыдно. Если не vis major[1], как это было до сих пор, а мое собственное решение заставит меня «сидеть тихо и не рыпаться» (и как долго сидеть? Может быть, до тех самых пор, пока не перегорит та сила, которая тлеет теперь еще где-то там, в душе?) — то мне тогда придется сложить мое «единственное оружие» — слово — и стать глухонемою. Только это страшно, я боюсь этого больше, чем любого удара. Может быть, тот архив, для которого я, «разумеется, должна бы» (говорите Вы) свершить такую жертву, и стоит ее, может быть одно слово из него стоит больше, чем все мои сказанные и еще не родившиеся слова, но у меня не поднимается рука на *такое* самоубийство, у меня нет еще этой смелости, я еще не нажилась душой, еще даже как следует не испытала своей силы — должна ее уже отвергнуть, придушить, «отказаться»? Нет, поступить так я не могу, хоть бросьте в меня камнем. Не могу.

Я собственно потому и хотела бы, чтобы кто-нибудь из моих друзей мог бы одновременно со мной поселиться на более свободной земле, и это было бы разделение труда. Тот, кого я имею в виду, мог бы, может быть, решиться на некоторое время «отказаться», он моложе меня, у него есть еще время когда-нибудь наверстать то, что потеряет теперь, для него еще эти «несколько лет» не прошли, как у меня, да и темперамент у него другой, другие традиции (у него в семье не было декабристов, социалистов-эмигрантов и радикалов-ссыльных *, он не помнит семидесятых годов!), он еще не начал того, от чего мне предлагают отказаться, за ним нет того слова, которое уже стало телом и которое не терпит измены, от него никто не ждет того, чего ждут от меня. Наконец, может быть, в нем есть

[1] Высшая сила *(лат.)*.

та смелость, которой нет у меня... А между тем я уверена в нем больше, чем в самой себе в некоторых делах, а этому делу, я знаю, он служил бы искренно. Он был бы консерватором, а я, вместе с Вами, работала бы над изданиями. Так было бы хорошо. Может быть, это и возможно, если не сейчас, то хотя бы потом. Нужно стараться.

Жду от Вас дальнейших информаций. И не сердитесь за «повышенный тон», ведь он не против Вас, а так, сам по себе поднялся: это для меня острая тема, а я все-таки еще больна, да и откуда взять этой «холодной крови».

Брошюрки Ваши все же пришлите. Будьте здоровы и Вы и мама.

*Л. К.*

*P. S.* Лида ничего не пишет.

### 78. И. Я. ФРАНКО

*Гадяч, Полтавской губернии,*
*хутор Зеленый Гай.*
*19/VI 1903.*

Cher confrère! [1]

Обращаюсь к Вам за разрешением перевести Ваши рассказы на русский язык*. Мне заказала эту работу издательская фирма в Ростове-на-Дону (книгоиздательство «Донская речь») и поручила самой выбрать произведения и договориться с авторами. Фирма эта ставит перед собой просветительные, а не коммерческие цели (дешевое издание лучших произведений для народных великорусских масс), и, как всегда бывает в таких случаях, большими капиталами не располагает. Переводчикам платят 15—20 рублей за 50 тысяч знаков (полтора нормальных листа в 16 страниц), а авторам не выплачивается ничего. Однако если Вы считаете, что я нарушу Ваши авторские права, зарабатывая на переводах Ваших произведений, то я уступлю

[1] Дорогой собрат! *(франц.)*

Вам одну четвертую своего гонорара, больше трудно, так как мне дорого обходится получение книг из Галиции (в закрытых конвертах), да и сама работа дорого стоит при моих силах и здоровье, о чем Вы хорошо знаете... Но обижать Вас не хочу и на формальную точку зрения (отсутствие литературной конвенции между Австрией и Россией) становиться не собираюсь в моих отношениях с галицкими и буковинскими товарищами. Может быть, Вы желаете сделать какое-нибудь специальное условие относительно honorations exemplaires [1], то напишите мне, а я повлияю на издателей. По одному экземпляру Вы, наверно, получите, хотя бы от меня лично...

В этом случае прошу Вас оказать мне маленькую услугу: передайте мой привет господам Грушевским и уверение, что *только* нечеловеческий ливень помешал мне посетить их во Львове (Вы знаете, что это правда). Я потому настаиваю на этом, что из некоторых позднее мне переданных фактов могу догадаться о вздорном истолковании тех или иных моих поступков во Львове. Факту, что я не посетила господ Грушевских, можно придать тенденциозное значение, а это я не имела и в мыслях. Если некоторые пункты и оттенки в литературно-общественной работе того или иного деятеля и не согласны с моими мнениями и убеждениями (этого я никогда и не скрывала), то это еще не вызывает во мне антипатии и невежливости лично к этим деятелям, их родственникам, друзьям и т. д. Насколько это зависит от моей инициативы, я не меняю раз и навсегда установившиеся отношения без важных фактических причин, хотя, с другой стороны, и не навязываюсь тому, кто во мне не нуждается. Я заметила в этот приезд во Львов, что не все наши общие знакомые относятся ко мне по-старому и мало кто был со мною так дружен, как Вы. Чувствовалась какая-то нарочитая холодность и предвзятость. Я бы хотела знать, в самом ли деле изменилось ко мне отношение в настроении ближайших к Вам кругов ( я не имею в виду господина Труша, но других), или мне это только показалось. Если перемена

[1] Авторских экземпляров *(франц.)*.

есть, то я бы хотела знать ее фактические, так сказать объективные, причины, раз они существуют; если же это только Laune [1], то я не допытываюсь, так как это уже «секреты психологии», — знать, для того чтобы не сделать какого-нибудь бестактного шага по отношению к людям, которые, может быть, и не хотят находиться со мной в каких бы то ни было отношениях. Если Вам это не будет неприятно и трудно, то, будьте любезны, объясните мне эти причины. Буду Вам очень благодарна. Я люблю сохранять свои отношения к людям im klaren [2], и ничто меня так не мучает, как скрытая фальшь. Русские говорят: «Худой мир лучше доброй ссоры!» Но я думаю как раз наоборот: лучше искренно поссориться, чем неискренно мириться. Если Вы даже просто подтвердите факт: «Замеченная перемена существует», без дальнейших комментариев, то это для меня достаточно, я буду знать, что «осуждена без суда», и запомню, для кого я persona grata [3] и для кого ingrata [4]. Вывод из этого будет только тот, что кто ко мне изменил отношение, к тому и я его изменю в равной мере, не вынося этого ad forum publicum [5], так как демонстративность здесь не нужна. Просто «приму к сведению». Я не чувствую никакой реальной вины перед Вашими друзьями и потому не уверена, что замеченная перемена существует.

Если Вам об этом неприятно писать, то не пишите, но по поводу перевода очень прошу: не медлите с ответом, ведь дело спешное, работа должна быть сдана в срок. Ваши свояки теперь живут у нас на хуторе *, даже в одном доме, здесь они все, кроме старшего сына.

Будьте здоровы и приветствуйте от меня Вашу семью.

*Л. Косач.*

---

[1] Настроение *(нем.)*.
[2] В ясности *(нем.)*.
[3] Значительная особа *(лат.)*.
[4] Незначительная *(лат.)*.
[5] На публичный суд *(лат.)*.

*Гадяч, хутор Зеленый Гай,*
*Полтавщина.*
*1—14/VIII 1903 г.*

Дорогой товарищ! Благодарю за разрешение переводить Ваши рассказы и за ответ на мои вопросы. Но вот приходится надоедать с новыми вопросами. Мой издатель из фирмы «Донская речь» * просит узнать, не разрешите ли Вы отчасти затушевать немного антиеврейские места в таких вещах, как, например, «Нефтяник», где собственно вместо еврея мог бы фигурировать какой-нибудь другой эксплуататор неозначенной национальности. Принимая во внимание последние события в Кишиневе *, русские либеральные издательства относятся чрезвычайно щепетильно к таким положениям, которые могут в глазах публики приблизить их к позорной славе публициста Крушевана, ярого антисемита и ретрограда из газеты «Бессарабец». Может быть, это в данном случае излишняя щепетильность, но в острые моменты политической жизни она вполне понятна. Если Вы не согласитесь, однако, ни на какие изменения, то, будьте любезны, сообщите об этом немедленно, хотя бы открыткой — пусть издательство оговаривает все это в предисловиях, в примечаниях или как захочет. Если же Вы согласны, то напишите, поручаете ли Вы мне эту «затушевку», или сами сделаете. Речь идет о трех рассказах: «Червяк», «Сам виноват» и «Нефтяник». Нельзя ли исключить хотя бы такие фразы, как: «Хоть то еврей и умно советует, но все равно еврей евреем и останется, верить ему нельзя» («Нефтяник», стр. 68). Мало образованная публика не всегда умеет отличить слова автора от мыслей его героев и принимает такие сентенции за советы, особенно у авторитетных людей, «которые книжки пишут». Мой издатель спрашивает, можно ли слово «еврей» заменить словом «кулак» (мироед) или каким-либо другим синонимом эксплуататора.

Вы окажете мне очень большую услугу, если быстро ответите.

О моем казусе с Трушем * не буду Вам писать, так как, на мой взгляд, он не может иметь большого значения и недостоин Вашего внимания; кроме того, оправдывая себя, я неминуемо имела бы вид, словно хочу дискредитировать в Ваших глазах моего противника, а мне это совершенно не нужно. Это уж дело конченное. Я не обращаю внимания на les amis des nos ennemis [1] и поэтому ничего не имею против того, чтобы Вы, называя меня «дорогим товарищем» (в искренность Ваших слов я верю), в то же время к господину Трушу относились благосклонно, с доверием, так как действительно у Вас нет никаких причин относиться к нему иначе. Что касается самого принципа: les amis des nos ennemis sont nos ennemis [2], то я считаю его достойным времен Montecchi et Capuletti, а не двадцатого столетия, и для меня удивительно, что высокопросвещенные и культурные люди нашего времени могут *сознательно* придерживаться таких survivance [3] прошлого. Ведь я не требовала у господина Грушевского и его приятелей, чтобы они обязательно соглашались с Павлыком, если хотят со мной быть в хороших отношениях, почему же они желают, чтобы я с ним поссорилась ради хороших отношений с ними? Мое знакомство с Павлыком старое и всегда было совершенно независимо от внутренней политики Товарищества имени Шевченко, которой я в беседах с ним стараюсь и не затрагивать. Нас связывают совсем другие интересы и традиции, которых даже и нельзя порвать после первого же сомнения в правоте Павлыка против Грушевского или кого-нибудь другого. И вообще я совсем не намерена приспособлять свои отношения с Вашими земляками к львовским и кружковым делам, иначе пришлось бы мне попасть в такой лабиринт, какого ни мои нервы, ни мой характер не выдержали бы. Не говорю уже о том, что из Италии да и Полтавщины разбирать споры львовских кружков

---

[1] Друзей наших врагов *(франц.)*.
[2] Друзья наших врагов — наши враги *(франц.)*.
[3] Пережитков *(франц.)*.

очень кропотливо, а вникнуть в них за полдня пребывания во Львове и вовсе невозможно. Да и какое практическое значение может иметь мое мнение в этих делах? На дела Товарищества я никакого влияния не имею, точно так же как и на личное поведение его членов. Я интересуюсь его литературно-научной деятельностью и твердо верю, что «расколоть» его теперь никто не может, даже если бы и хотели, остальное меня мало интересует. Только, конечно, «насильно мил не будешь», и если кому-нибудь угодно считать меня за ennemie, то я не буду ему навязываться в качестве amie, хотя, конечно, и гадостей никаких делать не буду, буду просто незнакома, вот и все. Здесь только я хочу отметить тот факт, что Павлык никогда не воспринимал дурно мои добрые отношения с его противниками (по крайней мере не высказал этого ни единым словом), и если бы я, воспользовавшись приглашением, остановилась у госпожи Грушевской, то и из этого не вышло бы никакой трагедии между мной и Павлыком; я в этом абсолютно уверена. Со всеми ли он так терпим, или только со мной, зная мои «оригинальные» взгляды по этому поводу, не знаю, во всяком случае, если бы он относился ко мне иначе, наше знакомство не могло бы так долго продолжаться, так как не выношу даже самой слабой тени нравственной тирании со стороны моих друзей. Я выбираю себе не amis de mes amis [1], но amis de mes idées [2], хотя бы даже и не всегда эти amis любили друг друга.

Мне очень приятно, что Вы придерживаетесь, очевидно, близкого мне критерия в этом направлении, если не присоединяетесь к бойкотированию ennemis de vos amis [3] и при случае даже бываете иногда в доме одного, чтобы навестить другого, да и теперь пишете ей дружеские письма. Со своей стороны, я скажу, что Вы для меня ни «чей», а «свой собственный»; ведь если непременно нужно с этим считаться, чей Вы ami, то Вы для меня l'ami de la sainte Poésie, la plus grande

---

[1] Друзей моих друзей *(франц.)*.
[2] Друзей моих идей *(франц.)*.
[3] Врагов ваших друзей *(франц.)*.

et la plus constante de toutes mes amis [1]. Поэтому я даже не спрашиваю, кому Вы друг, кому враг, хотя бы между этими людьми были и мои близкие друзья. Для меня в Вас есть всегда нечто такое, что стоит выше всяких кружковых и других дел «от мира сего». Дружба наша кажется мне собственно «не от мира сего», не будем же грязнить ее всякими survivance прошлого, они ниже ее.

В заключение передаю Вам пожелание украинской молодежи из петербургских учебных заведений. Молодежь эта должна этой осенью издать маленький сборник *, в котором приглашает принять участие Вас, Кобылянскую, Стефаника и меня, причем просит меня быть посредницей между нею (молодежью) и вами тремя. Исполняя ее желание, приглашаю Вас, уважаемый и дорогой товарищ, помочь украинской молодежи в ее усилиях в области родной литературы. Что дадите, все будет благо и принято с благодарностью. Прошу прощения за те хлопоты, которые я каждый раз вам причиняю, но все же надеюсь на скорый ответ. Будьте здоровы и не переутомляйтесь. С глубоким и искренним уважением

Ваш товарищ *Леся Украинка.*

### 75. А. Е. КРЫМСКОМУ

*2/XII 1903.*
*Тифлис, Тер-Гукасовская, № 2.*

Дорогой товарищ! Что Вы думаете обо мне? Не думаете ли, что я просто по небрежности забыла свое обещание и намерение написать Вам «первой»? Нет, товарищ, как видите, и не пренебрегла и не забыла, а, верьте мне, думала и хотела писать, но *не могла.* Я писала за это время только тогда, когда должна была непременно, и только тем, кому абсолютно обязана была писать. Вы, вероятно, знаете по себе, каким непобедимым бывает это taedium epistolarum [2], даже если оно зависит

[1] Друг святой Поэзии, самого большого и постоянного из всех моих друзей *(франц.).*

[2] Отвращение к письмам *(лат.).*

от каприза неуравновешенных нервов, а уж если оно наступает от худших причин, то нужно применять просто героические усилия, чтобы его преодолеть. У меня недоставало геройства, да и не было уверенности в том, что его последствия будут хорошими, то есть окажется ли мое письмо стоящим этого усилия и не принесет ли оно Вам печали вместо утешения, которого мы (по крайней мере я и некоторые известные мне люди) привыкли инстинктивно искать в каждом запечатанном конверте или бумаге, адресованной нам... Не буду описывать, почему у меня было такое настроение и каково оно было. Вы сами догадаетесь. Я только скажу Вам, что в тот самый день, когда я получила Вашу книжку о семитизме* (спасибо Вам за нее!), я получила и первое известие о том, что у меня остался на свете только один брат... Я не могу никому писать без того, чтобы не вспомнить об этом; мания, овладевшая мной с того времени, продолжается до сих пор — мне все кажется, когда пишу об этом и называю факт его именем, то я собственно *делаю* его фактом, превращаю в действительность, вывожу из области какой-то страшной, но только иллюзорной абстракции, фикции... Понимаете ли Вы меня? Думаю, что нет, потому что я и сама понимаю, что нормальная мысль этого понять не может... Не будем же об этом говорить.

Первый месяц я не писала просто из-за недостатка времени. Дела мои сложились так, что много времени и сил уходило на хозяйственные мелочи — мне ведь нужен санаторный режим, а если его устраивать только собственными силами, то вся сила «пациента» только и уходит, что на этот режим. Я изменила его с той поры, как обрушилось на мою голову это известие — некоторое время не было ни сил, ни охоты о чем-либо заботиться, и я вынуждена была принимать помощь других людей. Кроме товарища Квитки, еще была здесь одна моя подруга детских лет*, они помогли мне устроиться уже не как в отеле, а «своим хозяйством», и с той поры у меня меньше заботы о мелочах, так что есть время писать, хотя порой нет сил. Но вот

я уже принялась понемногу и за письма, и так кое за что, а сейчас решилась и Вам написать. Мне было неприятно, что я ничего не знаю о Вас и что Вы досадуете на меня за молчание, но если бы Вы не придерживались так педантично Вашего решения ждать, пока я *первая* Вам напишу (я собственно не понимаю как следует, почему у Вас появилось такое решение), и написали бы мне, то я давно уже ответила бы, ибо мне именно теперь трудно писать своим корреспондентам первой, а отвечать на письма неизмеримо легче. Вот теперь я пишу первая, как-то бестолково, а может быть, ответ получился бы обстоятельней; но Вы простите, дорогой товарищ, не так ли?

Посылаю свои новые стихи * и прошу, если у Вас есть время и желание, прочитать их и возвратить мне с Вашими замечаниями; нет ли в них каких-нибудь ошибок с точки зрения бытовой и исторической (например, золотые украшения на царских палатах, конкуренция финикийских мастеров и т. п.). Прошу возвратить текст, потому что, может быть, пошлю эту вещь куда-нибудь в печать и, может быть, обойдется без переписывания, а я ненавижу переписывать. Хотелось бы знать Ваше мнение также о содержании этих стихов; вероятно, оно Вам не очень понравится, так как это идеализация такого тяжелого человеческого «рабства», как сочувствие и добровольное искупление «вины без вины»... Но это является моей «религией», и если я не могу изложить свое credo в сжатой, последовательной и догматической форме, мне хочется иногда хотя бы в «притчах» высказывать свою «веру» и особенно хочется, чтобы мои товарищи ее знали, ибо иначе они не будут знать меня.

Если будете отвечать мне, то будьте любезны справиться в книгах, есть ли на якутском языке слово «свобода» * (liberté), о чем однажды Вас уже спрашивала, — этот интерес не исчез у меня и теперь.

Написать бы Вам, как мне живется, но эта тема, может быть, и широкая, но мало любопытная (по крайней мере для меня самой). Живется лучше, чем обычно было на курортах, потому что нет такого одиночества и беспомощности, какие там бывали; но все

же живу довольно одиноко (в этом больше виновато мое настроение, нежели окружающая обстановка), и если бы не старые друзья, то я бы, может, месяцами ни с кем бы не встречалась. Мы теперь живем в близком соседстве с товарищем Квиткой. Он просил при случае передать Вам привет и благодарность за рекомендацию господину Завадскому. На сеансах с фонографом он услышал много для себя интересного, хотя господину Завадскому от этого пользы мало — товарищ Квитка песен не записывал. Я думаю, что если бы он мог отдать все свои очень отраниченные болезнью и всякими бедами силы такому трудному делу, то, может быть, лучше он вложил бы их на приведение в порядок тех материалов об украинской народной музыке, которые у него собраны. Дагестанские песни так, кажется, и не дождались записи, так как здешний музыкант-этнограф Палиев, который хвастался, что якобы может их переписать в один сеанс, не записал до сих пор ни одной. Виноват ли в этом он сам, или трудность песен, не знаю.

А знаете, чтение грузинской и армянской беллетристики (в русских переводах, между прочим, «Кавказский вестник» *не* выходит больше) действительно наводит меня на оптимистические размышления о нашей литературе. У этих народов материальные условия лучше, чем у нас, а все-таки наша литература, ей-богу, лучше, чем у *них,* это я так считаю не из-за чрезмерного патриотизма. «Да, еще наша доля не погибла!» — думаю я не раз...

Напишите мне, товарищ, как поживаете и все, что захотите, что в голову придет. Буду Вам отвечать. Если случится пауза в переписке, не обижайтесь и не думайте ничего дурного — значит, просто не могу вообще некоторое время писать письма, это бывает. А от Вас я всегда рада получить весточку... Как Ваше здоровье? Прошла ли малярия? Я физически поправилась, но что касается нервов, то не знаю, ну их!.. Почему-то часто вспоминаю минуты Вашего отъезда.

Ну, будем писать один другому с чужбины на чужбину!

*Л. К.*

*25/XI 1904.*
*[Тифлис.]*

Милая мамочка!

Не написала тебе до сих пор потому, что была в страшном волнении. Твое письмо пробудило во мне такой порыв, что кто знает, чем он окончится. Известие об «оскудении» Украины вплоть до приглашения Матушевского редактором поразило меня так, что я подумала, подумала да и двинула телеграмму Славинскому, чтобы он рекомендовал меня редактором «Южных записок»!.. Напрасно мне Клёня * указывал на весь риск этого проекта: переезд зимой в Одессу (если бы дело наладилось, то, возможно, пришлось бы ехать, не ожидая весны), одинокая жизнь, пока ему не удастся переехать в Одессу, масса не совсем привычной работы; просил, наконец, хоть не посылать телеграмму, пока он не вернется из суда, и еще раз посоветоваться. Но я увлеклась и все-таки послала. Потом началась небольшая реакция, и сомнения вступили в свои права, но я и теперь считаю, что все же *должна* ехать, если дело наладится. Мне неприятно, если решат, что украинцев-литераторов якобы «просто нет», и обидно выпустить из рук такой, хотя и не украинский, благосклонный к нам и пока единственно приемлемый орган. Наконец, меня манит мечта пожить хоть некоторое время совершенно самостоятельно, имея определенную ответственную работу, работу активную и как-никак организаторскую. Как видишь, не одна «слепая богиня» владеет мной; и то, что я ни *за что* не сделала бы ради соблюдения конвенансов [1] или ложного самолюбия, я *могу* сделать ради того, чему служила с детских лет. Не скажу, что мне это легко; я чувствую, словно две больших силы тянут меня в разные стороны и разрывают, но, если не вмешается еще одна «великая слепая» — судьба, то я пойду за прежней богиней — литературой. Наконец, эта жертва не так уж велика: Клёня говорит, что если я перееду в Одессу, то

[1] Условности, приличия.

он постарается как можно скорей перебраться туда же, если бы даже пришлось начинать все сначала, то есть с бесплатного «кандидата». Значит, наша разлука будет непродолжительна, но мне досадно, что таким путем я могу значительно подорвать его материальное благосостояние. Но что делать — c'est plus fort que moi [1], и Клёня настолько благороден, что не попрекает меня, только все повторяет, что у него «есть надежда, что в «Южных записках» редактор уже есть». Ты, я думаю, не огорчишься ни моим планом, ни тем, что он исполнится. Наоборот, тебе должно быть приятно, что твоя дочка не такая уж «рабыня», как ты думала, поэтому я и не боюсь уведомить тебя об этом, хотя, может быть, и в самом деле еще ничего не выйдет. Только что получила телеграфный ответ от Славинского: «Известие ваше сомнительно. Пишу». Это значит — он думает, что уже кто-нибудь нашелся на место редактора. Может быть... Ну, ничего, подождем. Во всяком случае, эта телеграмма немного брызнула на меня холодной водой, mir ist ich weiss nicht wie [2].

Не удивило меня и даже не огорчило, что на мою книжку нет отзывов *. Был, положим, один в «Одесских новостях» * с хорошими намерениями, но глупо написанный. Может, именно поэтому там и появился отзыв, что Комаров, конечно, постарался *от себя* послать в газету экземпляр «для отзыва». Может быть, в других изданиях отзывов не было потому, что мы не захотели последовать принятому обычаю, а это, говорят, *совершенно* необходимо, если хочешь, чтобы о книге знали. Может быть, знакомым и неловко писать отзывы об «авторском подарке», а кто-нибудь из редакционных работников и написал бы. Наконец, я не возлагаю розовых надежд на свою «славу» — недаром теперь французские поэты идут в приказчики! «Fais toi chroniqueur, mon ami Gringoire, fais toi chroniqueur» [3] — вспоминаю я иронически меланхолический совет автора «La chèvre

---

[1] Это сильней меня *(франц.)*.

[2] Я себя чувствую неловко *(нем.)*.

[3] Будь хроникером, мой друг Гренгуар, будь хроникером *(франц.)*.

de m-r Séguin» [1] * и мечтаю о хроникерстве, хотя бы в «Южных записках», авось тогда хоть ругать будут! Ну, а теперь будь справедлива к галичанам, они *не замолчали* ни одного моего издания, и именно *в том краю,* могу сказать, «nent man die besten Namen, so wird auch der meine genannt» [2] *.

Будь добра, пришли мне «Тысячу и одну ночь» * и «Рассказы», у меня их нет, и я очень ими интересуюсь. Мне тетя Эля тоже писала о моей книжке, спасибо ей, я очень тронута ее письмом. Гринченко прислал мне также благодарность und Komplimenten genug [3]. А в печати — молчание. Ну что ж, разделю эту судьбу с Шевченко, в его обществе это не стыдно.

Я скоро напишу еще, не ожидая ответа. А теперь кончаю и пойду пока что слушать оперу «Борис Годунов».

Мамочка, дорогая, держись и будь здоровехонька. Все будет хорошо, лишь бы ты была здорова. Целую крепко тебя и всех наших.

*Твоя Леся.*

Клёня кланяется всем.

*Этот листок только для твоего и папиного сведения.*

Что касается слепой богини Фемиды, то я сама с величайшим трудом и удивительной непонятливостью разбираю тончайшие перипетии ее публичных и закулисных священнодействий, а потому-то могу писать о них только неясно. Да это и неважно. Могу сказать так: я не переехду с Клёней из Тифлиса в другой кавказский город невенчанной; пока есть перспектива, что, может быть, через месяц-два или хоть весной будет перевод из Тифлиса, но я не хочу устраивать себе эту неприятность здесь, потому что я ни капельки фальшиво себя не чувствую, все относятся ко мне с уважением (да и какие могут быть основания относиться ко мне иначе), ни намеков, ни косых взглядов я ни от кого не вижу, а наверное, en-qualité de M-me une telle [4] я

---

[1] «Коза г-на Сегена» *(франц.)*.
[2] Называют лучшие имена, то мое тоже назовут *(нем.)*.
[3] И вдоволь комплиментов *(нем.)*.
[4] В качестве мадам такой-то *(франц.)*.

чувствовала бы себя хуже среди здешних людей, от которых я не ожидаю ничего хорошего при близком знакомстве, — теперь же я имею полную возможность оставаться в дальнем знакомстве и никого это не обижает. Если же выяснится, что надежды на перевод тщетны, тогда уж вынесу всю эту «операцию» здесь, выбрав самый удобный момент (может быть, перед отъездом на лето домой или что-либо в этом роде). Только все это в том случае, если безотлагательно не придется ехать в Одессу, потому что тогда все выйдет немного иначе — мы еще не успели как следует обдумать, когда и где.

Я не могу так огорчаться за Лилю, как ты, мамочка. Может быть, она получит больше счастья, если меньше будет из-за него идти на компромиссы. А большого утомления не будет и в Праге, если мы поможем ей и там прожить какое-то время без заработков. Вот было бы хорошо, если бы я стала редактором, тогда я смогла бы ей помогать побольше!

### 77. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*6/III 1905.*
*[Тифлис.]*

Милая мамочка!

После открытки я все собиралась написать письмо, а время все шло. По вечерам снова что-то к нам люди повадились или нас в гости зовут, так что нельзя бывает не пойти (между прочим, была у Читадзе, где нас встречали любезно и приятно), а днем я возилась с шитьем: шила себе платье на каждый день, потому что мое черное фланелевое обтрепалось и стало совсем скверным, а новое мне носить в будни жалко. Шью я вообще не торопясь, вот и провозилась. Чистое искушение было и с погодой.

После снега и мороза, которые держались необычайно долго, недели три, началась весна, вчера на солнце плюс 33° R было, хотя в тени не больше плюс 15°. Сидеть дома в такую пору трудно, а если побродишь несколько часов по горам, так потом уж не до

работы и не до писания; ляжешь и читаешь что-нибудь. Сегодня дождь льет с самого утра, и я благочестиво принялась за письма. Думаю заняться также реформой своего нового драматического этюда *, — я его уже окончила, но теперь не все в нем одобряю и хочется кое-что написать сильнее. Рассказ, начатый осенью на конкурс (между прочим, я очень рада, что не принимала участия в таком странном конкурсе, где почерк, а не талант автора получает премию), все еще не окончен *, так как мысли заняты не такими спокойными темами, под влиянием ежедневных перемен «весны» и «зимы» *. В Тифлисе также был один такой «весенний» день *, когда лужи человеческой крови стояли на тротуарах до вечера. Не до спокойных тем при таких обстоятельствах... Но ты, мамочка, не думай, что это относится к той обстановке, в которой я нахожусь непосредственно, потому что дома меня не обижают. Если у Феоктисты Семеновны и проявляются порой неровности характера и раздражительность, то это отражается исключительно на Клёне, а не на мне, потому что я не в таких все-таки фамильярных отношениях с Феоктистою Семеновной, чтобы стать ее souffre-douleur [1], и думаю, что так всегда будет. Конечно, мне не очень приятно, когда Клёне достается, но я в их отношения не вмешиваюсь, потому что я здесь ни при чем (все это происходит совсем не из-за меня). Наконец, и это бывает не часто, потому что все-таки Феоктиста Семеновна «души не чает» в Клёне и они умеют друг другу прощать так, как, может, я на их месте и не сумела бы.

Получаешь ли ты, мамочка, «Полтавщину»? * Я бы хотела увидеть хотя бы один ее номер, чтобы иметь понятие о тоне этой газеты, тогда бы послала туда что-нибудь. А как она, между прочим, относится к гонорарам: «благодарностью» платит или иначе? «Южные записки» * мне пять рублей прислали, сами, без напоминания; что ж, и это деньги.

Я еще раз прошу выслать мне новые книги Крымского *, они меня интересуют, да еще я боюсь, что «Ты-

[1] Жертвой *(франц.)*.

сяча и одна ночь» пойдет «по людям» просто как интересные сказки, как в свое время пошли сказки дяди, Рудченко, Чубинского, и мне будет очень жаль, а людям небольшая польза.

Почему ты, мамочка, не сообщаешь, как твое здоровье? И как чувствует себя папа? Я часто с тревогой думаю о вас. Когда Микось откроет политехникум (он же, наверное, залил его водой)? И почему он не отвечает на мои приглашения? я ж его серьезно в гости зову.

Да, чуть не забыла написать новости, интересные главным образом Доре.

Здесь были волнения во всех средних школах, в том числе и в женских, в институте «благородных девиц» и (horrible à dire [1]) в епархиальном училище! В мужских гимназиях устраивались сходки, били окна, добились отставки нескольких учителей и одного директора. В грузинской дворянской школе выработали новый устав с правом сходок в присутствии учителей и с «ученическим советом», который имеет право делать свои заявления на педагогическом совете; это было добыто без битья окон и другого бесчинства; благодаря такту директора только двенадцать учеников вышли из школы, заявив, что и самое порядочное начальство все-таки начальство, а они не хотят никакого; половина этих протестантов, однако, вернулась по собственному желанию, и их приняли без каких бы то ни было обвинений и наказаний. В женском институте были волнения по причине перевода одной ученицы из старшего класса в младший, чтобы освободить вакансию для дочери начальника края, а учителя, который протестовал против этого, прогнали в отставку. Девицы вступились за подругу и учителя, выбили окна в знак протеста, а начальницу, пришедшую их успокаивать, забросали туфлями, побили и выгнали вон. Она подала в отставку, а институт пока что закрыт. Епархиалки подняли антирелигиозный бунт, и ходят слухи о каких-то невероятных «кощунствах» и «бесчинствах»

[1] Страшно сказать *(франц.)*.

в этой школе; как бы там ни было, школа прикрыта. Вот какие дела!

Стачки здесь уже кончаются. Конки ходят, и все продается, хотя кое-что вздорожало. Слышала, что должен состояться еще один «банкет», но где, с кем и как, еще не знаю. Настроение в обществе какое-то хаотическое, как, правда, и по всей России. Мы здесь читаем, кроме тифлисских, еще московские, петербургские и киевские газеты. Как это Проценко осмелился отправить такую символическую телеграмму Святополк-Мирскому? Он же, кажется, довольно «трезвая голова». А что это за фигура гласный Ясногурский, который теперь так прославился? Распоясались киевляне!

Ну, примусь я опять за свой этюд *, мучает он меня. Целую тебя крепко, моя мамочка, и папу и всех наших, знакомым кланяюсь. Клёня, Феоктиста Семеновна и Маруся тебе кланяются. Маруся очень полная девочка, учится неплохо и говорит, что она «очень счастлива на Кавказе» — дай боже! Еще раз целую.

*Твоя Леся.*

### 78. П. А. и О. П. КОСАЧ (ОТЦУ И МАТЕРИ)

*22/III 1905.*
[*Тифлис.*]

Милые мои папа и мама!

Может быть, вы сердитесь на меня, что я после открытки не сразу написала. Но, сами знаете, как порой всякие мелкие помехи, такие, что их и описать трудно, не дают взяться за перо. Еще раз благодарю за деньги и за посылку. Ты, папочка, ничего больше не должен мне посылать, потому что эти 200 рублей и есть последняя часть тех 700, которые ты мне назначил на этот год (начиная с моего отъезда из дому), так что до осени больше тебе забот не доставлю. Никак я не ожидала, что у вас обоих будет столько хлопот с этим торчинским делом, теперь мне стыдно, что из-за меня столько работы! Я бы хотела, чтобы поскорее эти хлопоты закончились, не ради себя, разумеется, а ради вас.

«Южные записки» меня умиляют своим благородством. Что за редакция! *Сама* ищет, куда послать гонорар, если автор об этом не заботится! Пошлю им еще что-нибудь, «в поощрение добродетели». А «Мгновения» действительно навеяны эпизодом в Stephans' Kirche [1], ты, мамочка, угадала. И ты знаешь эту мелочь, только забыла: это результат одного из наших «конкурсов», который был несколько лет назад в Зеленом Гае. Иногда из шуток получается дело.

Посылкой все обдарены, очень довольны и благодарствуют. Маруся так щедро угощала, что пастилу мы уже уплели всем миром. Календарь произвел фурор, и анекдоты из него читались вслух различным слушателям — не детям. Рубашку я все-таки выберу время вышить, потому что теперь дни длинные (вечерами не шью, — крестиками не хочется, а нужно вышить как-нибудь поискуснее).

Что касается авторских подарков Крымского (прости, мамочка, что я так приставала, но я знаю, что не по твоей и не по чьей-либо вине книжки часто пропадают — таков уже usus [2]), то я не согласна с Людой, что они для «простых смертных» неинтересны. У меня перед глазами пример: Клёня зачитывается «Мусульманством и его будущностью» *, а он ведь «простой смертный» в ориенталистике и с Крымским ничем не связан. «Мусульманство» написано очень интересно и живо, и мне кажется, что его стоит и не специалистам читать, а «Тысяча и одна ночь», может быть, не для всех интересна, но для меня интересна, и думаю даже, что полезна. Объяснить как следует психологию Крымского и зачем он сделал это ненужное примечание под предисловием «Мусульманства», я не могу, — не так близко его знаю, но думаю, что он просто похвастал — он, насколько я заметила, очень любит хвастать, а не всегда умеет это тонко делать.

Только что была госпожа Читадзе с сестрой и помешала мне писать, потому что нужно было «помяукать», сколько полагается. С госпожой Читадзе мы

---

[1] Соборе св. Стефана *(нем.)*.
[2] Обычай *(лат.)*.

в добрососедских отношениях, я к ней захожу частенько. Она тотчас же принесла мне посылку, когда приехала сестра, только сестра ее ехала очень долго, потому что останавливалась в Екатеринодаре искать себе место и надеется после пасхи уже где-то начать врачебную практику на Кубани. Удивляются ее храбрости — не окончив, занимать самостоятельное место. Однако дай ей бог по ее отваге.

В Тифлисе еще одна забастовка — приказчиков. Господа в отчаянии, что нельзя покупать предпраздничных костюмов; сейчас самое время, нужно же выбрать и шить, а лучшие магазины закрыты. Приказчики собираются на легальные и нелегальные собрания, предъявляют требования и угрожают разбить дорогие витрины, если хозяева будут торговать сами. В Гурии * восстание расширяется и распространяется. Раньше боролись против властей, а теперь уже затрагивают и суд (желают выборных судей и введения местных языков в суде), так что несколько мировых судей, даже прокурор и следователь, выехали с места своей службы, не имея возможности выполнять свои обязанности.

Из тех Цхинвал, куда хотел осенью попасть Клёня, население *силой выгнало* того, кто попал на его место; туда послали пока что кандидата-грузина, может быть тот справится, и будут проводить следствие, насколько виноват сам изгнанный судья (он, говорят, скверный человечек), а насколько «дух времени».

Татары, которые были самым лояльным элементом на Кавказе, начинают бунтовать против немцев-колонистов и против землемеров, выгоняя и тех и других. Служить на Кавказе становится чем дальше, тем все неприятнее с принципиальной точки зрения, и Клёня начинает серьезно изыскивать способ выбраться отсюда хотя бы и в другое «ведомство», но, конечно, это не так-то просто сразу сделать... впрочем, сказано: «ищите да обрящете».

Уже кончаю, потому что из-за перерывов уже поздно. Письма из Гадяча нет и нет, очевидно, оно пропало. Все-таки мне приятно думать, что оно было, значит, я напрасно жаловалась, что меня забывают. —

Целую вас обоих и Микося и Дорочку крепко-крепко. Будьте здоровы. Клёня, Феоктиста Семеновна и Маруся кланяются.

*Ваша Леся.*

### 79. А. Е. КРЫМСКОМУ

*3/XI 1905 г.*
*Киев, М. Благов., 97.*

Уважаемый и дорогой мой товарищ!

Не откликалась я Вам по причинам частным и общегражданским. Вскоре после Вашего последнего письма — я только что собралась на него ответить — мне пришлось неожиданно выехать в Петербург, куда меня вызывали спасать сестру Дору, которая поехала на курсы и заболела. Едва я туда добралась, началась железнодорожная забастовка, поэтому писать было бы бесполезно, да и очень я была занята сестрой. Справившись с болезнью Доры, я забрала ее и привезла домой — вот всего дней пять, как мы вернулись. Вдруг позавчера приходит Ваш ученик и приносит книжки; тогда я решила прежде прочитать Ваш роман, а затем уж и написать. Но о романе потом, а теперь еще немного о другом. Книжки господину Стешенко я уже передала, — он просит поблагодарить Вас. А Людмиле Черняховской-Старицкой еще не передала, потому что ее в Киеве уже нет, она поехала к мужу в Баку (он там служит военным врачом); у меня еще нет ее адреса, и не знаю, доехала ли она. Между прочим, должна Вам сказать, что она на Вас очень сердится, потому что Вы «игнорировали» ее; будучи в Киеве, даже не переступили порога ее дома. Не знаю, была ли она права (она сейчас очень больна и из-за этого слишком раздражительна), но признаюсь, что на ее месте мне тоже было бы досадно. Мне было досадно и на моем собственном месте, пока я не получила от Вас объяснение недоразумения и не увидела, что в недоразумении немного виновата и я сама. Но только немного. Я, видите ли, была в то время в Киеве, и если бы Вы хоть ненароком, в разговоре с господином и госпожой Гринченко, вспомнили обо мне, то они бы Вам сказали,

что я здесь, так как господин Гринченко видел меня сразу после моего приезда (это было, кажется, за день до того, как Вы проехали), но, видно, Вам не пришлось к слову мое имя. Что касается моей вины, то это так: я неожиданно для себя выехала из Гадяча на неделю раньше, так как нас всех отсюда вызвал отец для совета по разным спешным делам, касавшимся всей семьи. У меня была мысль с дороги дать Вам знать, что я выехала из Гадяча, но, признаться, я не решилась, боясь быть навязчивой, так как ни на телеграфный, ни на письменный запросы я не имела от Вас никакого ответа. Думая, что, может быть, Вы и не собираетесь к нам ни теперь, ни вообще, я не хотела навязываться со своими сообщениями, где, когда и как «кочует» наша вечно странствующая семья...

«Навязчивость» принадлежит к числу моих идиосинкразий, и все близкие мне люди знают, что я в этом пункте неисправима на всю жизнь. Скажу Вам по правде, что я уже и в телеграмме о Екатеринославе не решилась бы прибавить слово «приглашение», если бы мама не внушила мне, что единственно такой ответ на Ваш запрос естественен и не может показаться Вам навязчивым. Между тем в последнем письме я уже больше информировала Вас, нежели приглашала, а потом даже и на информацию рука не поднималась. Ничего плохого, возможно, из этого и не вышло — может быть, у Вас все равно не нашлось бы времени зайти к нам в Киеве (Вы же, как метеор, пролетели!), или, зайдя, Вы не застали бы меня дома, — я сразу набросилась на общественные дела, но морально для меня было бы легче не переживать этого приступа «навязчивофобии», так как эти приступы для моей души все равно, что для мимозы сирокко. Это, может быть, просто болезненное, но Вы, вероятно, поймете меня, ибо Вы сами человек больной. Только не думайте, что я теперь «гневаюсь» на Вас или испытываю какое-либо тягостное чувство, право нет! Я вижу, что все это было просто какое-то недоразумение, qui ne tire pas aux conséquences [1], или, с точки зрения фаталистов, воля

[1] Которое не имеет за собой последствий *(франц.)*.

Судьбы, которая по какому-то неведомому для нас смыслу не хотела, чтобы мы виделись. Fiat voluntas fati [1], так как я в Москву по Вашему приглашению, вероятно, не смогу приехать — не очень-то теперь наездишься во время забастовок, а к тому же, может быть, мне в декабре придется недели на две-три выехать за границу, и уже после этого засяду на некоторое время на одном месте, а то как бы мне опять не дойти до чахотки (Петербург у меня отнял немало сил, а если еще и Прага отнимет, то не так много останется на Москву...).

Тут у нас проектируются целых три украинских газеты, и я, может быть, впрягусь в какую-нибудь из них, тогда прощай свобода! Хоть из меня такой же журналист, «как из денежки пистоль», но на безлюдье и Фома дворянин; к тому же меньше буду чувствовать свой «паразитизм», как говорил Ваш Лаговский, так как возьму на свою долю самую черную работу в мужицко-пролетарской украинской газете, оставив белую работу чистой идеологии в двух «интеллигентских органах» не поэтам. Такую газету, к которой я хочу присоединиться, давно уже настойчиво требуют «голоса из народа»; народ готов даже деньги на это давать, значит, моя работа там бесспорно «паразитарной» не будет, а за определенное количество часов такого труда надеюсь купить себе *право неограниченной свободы* в области поэзии и belles lettres [2], за которую пусть меня судит история литературы, если у нее будет время заниматься такими мелочами, а на все другие суды и пересуды не буду обращать внимания, принимая советы, да и то только те, которые захочу. Это будет попытка практического решения одной из тех трагедий, из которых состоит моя жизнь. Решение неглубокое, так как слишком практическое, но пусть будет пока хоть такое («временные меры» теперь в моде), а там посмотрим... Люди меня пугают, что не хватит времени на «свободную» поэзию; я защищаюсь словами

[1] Пусть будет воля судьбы *(лат.)*.
[2] Беллетристика *(франц.)*.

Ламартина: «A-t-on besoin du temps pour prier Dieu?»[1] А сама думаю: как-нибудь хватит!

Между тем в поэзии я достигла неожиданной гармонии между настроением моей музы и общественным настроением (это далеко не всегда бывало!). Мне как-то не приходится даже напоминать этой своевольной богине об ее «общественном долге» — так очаровал ее суровый багрянец красных знамен и говор бурной толпы. Я даже не понимаю, что за удовольствие этой citoyenne Muse[2] возиться теперь с таким немощным созданием, как я: на ее месте я избрала бы поэта с такой героической фигурой, как V. Hugo, с голосом, как у Стентора, приложила бы ему рупор к устам и вещала бы через это усовершенствованное приспособление свою волю на весь мир. Но, видно, у богов никогда не было и не будет логики, c'est à prendre ou à laisser[3].

Однако и у меня логики немного: хотела говорить о Вашей уже законченной работе, а заговорила о своей не сделанной, что, по французской пословице, к лицу дуракам. Confiteor! Mea culpa![4]

Ваш роман я не перелистала, а прочитала * durch und durch[5], хотя, простите за правду, сделать это было не всегда легко. Не могу сказать, хоть Вы об этом просите, что будет делать «читатель» с Вашей книжкой, то есть тот читатель, для которых обыкновенно пишутся всякие «предисловия», так как я, к сожалению, к таким читателям давно уже не принадлежу и забыла их психологию. Я читатель-литератор, а это порода «ненормальная», лишенная спасительной «непосредственности», отравленная профессиональной болезнью анализа, и нужно необыкновенно гармоничное произведение, чтобы захватило такого читателя и не дало ходу его тысячегранному анализу. Ваше произведение к гармоничным не принадлежит (таково мое искрен-

---

[1] А нужно ли время, чтобы молиться богу? *(франц.)*
[2] Гражданке Музе *(франц.)*.
[3] Это нужно принять или отвергнуть *(франц.)*.
[4] Признаюсь! Моя вина! *(лат.)*
[5] От доски до доски *(нем.)*.

нее мнение), следовательно, я не могу никак гармонировать мои впечатления (пользуюсь pluralis [1]) намеренно и сознательно. В связи с этим и буду излагать их обособленно, оставляя, конечно, за Вами право не читать этого отзыва, если Вы не найдете в нем для себя «ни пользы, ни отрады».

Прежде всего меня раздосадовало Ваше предисловие. Хоть Вы там и уверяете, что Вы ни перед кем не оправдываетесь, однако нельзя иначе понять это предисловие, как только так: верьте совести, люди добрые, это не автобиография! И Вы и Франко (предисловие к «Увядшим листьям») создаете плохие прецеденты всем нам, писателям-субъективистам, словно мы обязаны давать отчет, «кому о том ведать надлежит», как мы распоряжаемся нашим собственным автобиографическим материалом. Ведь ответом на литературные как и на всякие другие сплетни, возможен только суд чести или молчание, а все иное может только ухудшить дело. Собственно говоря, Вы имели бы право привлечь к суду чести кое-кого из Ваших «критиков», но так как Вы этого, благодаря Вашему миролюбию, не делаете, то Вам остается только по отношению к ним «перейти к порядку дня», так как они Вашего слова недостойны. Вот мне и досадно, что Вы их удостоили слова.

Опасаясь этих господ, Вы вынуждены были допустить одну непоследовательность, рисуя тип Вашего профессора: формально сделали его профессором математики, а придали ему все черты филолога, или белой вороны, так как математиков, знающих разные языки, лингвистику и фольклор, мир еще не видел. Наконец, может быть, Вы и не для «критиков» это сделали, а для того, чтобы дать своему герою по мере возможности самую отвлеченную специальность, но только он Вас не слушался и совсем не заботился о математике, а все лез не в свое дело, разбирая всякие «фонемы», совсем как лингвист! Разрешите же ему перейти на другой факультет в последующих частях Ва-

[1] Множественным числом *(лат.)*.

шего романа, ведь жалко смотреть, как этот человек закапывает свой лингвистический талант в землю из-за ультраплатонической любви к математике! Дайте ему кафедру сравнительной филологии или еще что-либо — он ее вполне заслужил, а Вы обязаны сделать ему какое-нибудь добро, ибо и так до конца его безвинно измучили. Однако простите, дорогой товарищ, может быть, Вам этот тон не нравится, он невольно вышел таким, а я вполне серьезно отношусь к Вашему произведению и вполне серьезно *страдала* над ним. Да, страдала, не в ироническом, а в простом и искреннем значении этого слова. Те «страницы», на которые Вы намекаете в Вашем последнем письме ко мне, причинили мне *боль*. «Господи, да за что он мучает так самого себя?» — думала я о Вас, так как чувствовала, что Вам было очень больно, когда Вы писали эти страницы. Не могло это быть иначе, ведь их и читать больно. Вы хотели, наверно, добиться этим *правды* — так ведь? — хотя бы и ценой муки своей и читателя, но Вы правды не достигли, ибо превысили ее пределы. Скажите, разве vivisection in anima vili [1] или хотя бы nobili [2] дает нам *картину* этой души или помогает хотя бы представить эту картину? Я думаю, нет. Думаю, что если подробно описать прекраснейшего и благороднейшего человека, как он ест, как он жует, как он переваривает и тому подобное, то он может опротиветь окончательно. И, может быть, найдется такой впечатлительный читатель, который скажет: «Не станем есть, люди добрые, помрем лучше с голоду, так как это все же эстетичней, нежели мерзость с пережевыванием пищи и т. п.». А другой, менее впечатлительный, скажет: «Нет, не так! Все жизненные процессы неэстетичны, особенно если присмотреться ближе, все они «животны», но из них нет выхода даже в смерти, ибо и она «животна», неэстетична и ведет за собой множество дальнейших, быть может еще менее эстетичных, животных и растительных процессов, — мы не властны над ними, мы можем возводить только «надстройки»

---

[1] Вивисекция ничтожной души *(лат.)*.
[2] Благородной *(лат.)*.

(или, по другой терминологии, здания) на этом фундаменте, а фундамент останется таковым, каков есть, и нам остается только присыпать его землей, чтобы не торчал голым перед нашими глазами. Достаточно будет у нас труда и трагедий с этими зданиями, и некогда нам будет думать о фундаменте». Так скажет «невпечатлительный», и я принимаю его сторону, насильно укротив свои нервы, тянувшие меня совсем в другую сторону. И если бы Ваш роман занимался только «фундаментом», то я бы считала, что напрасно мучилась над ним, но он затрагивает и здание, даже украшения затрагивает оригинально и проникнут такой искренней жертвенностью, что я не жалею ни времени, ни сил, затраченных мною на «одоление» его. Мне только жаль, что этот «фундамент» не дал Вам возможности дольше и основательнее заняться остальной частью здания. Вот и Ваш профессор так засмотрелся на основы поведения своего приятеля Владимира, что вовсе утратил критическое чувство и забыл, за что собственно он этого приятеля судит и в чем оправдывает его. Мне даже странно было, как такой чуткий человек — Ваш Лаговский — не видит (и до самого конца) главного *существа* — грубости натуры этого Владимира и основного симптома этой грубости. Ведь грубость эта — совсем не в тех неэстетических сценах, в которых он, может быть, и не виноват, как не виноват и в том, что их заметил профессор; грубость его в *трактовке «объекта» этих сцен,* этой несчастной Амалии, к которой почему-то и Вы немилостивы, хотя она все же заслуживала бы какого-то человеческого отношения, ну хоть такого, как Зоя (хотя и ей не бог знает какую честь Вы воздаете!). Почему это барчонок Владимир настолько уверен, что он для «такой» Амалии как раз «рылом вышел»? А может быть, если бы она была «трошки багатенька» (ну хоть так, как Зоя), то «наплювала би на нього й на його батенька», как поется в песне. Может быть, ее влечет к таким барчукам иной «животный» инстинкт — голод, но чем же этот инстинкт хуже, чем у барчука, который так свысока относится к этой девушке? А если ее натуре тоже физически необходимы именно такие сцены, то тем более не ему бросать в нее

камнем или грязью. Он *ни на одну минуту* не задумался над тем, сколько дней *она* будет переживать такую сцену (а может быть, не дней, а лет, да еще и не одна...), ведь и она же по меньше мере animal[1], а не автомат. В какой форме выражается у нее эта реакция? Он («рабовладелец») заплатил, вероятно, деньги за товар, а graeculus'y[2] за комиссию, и больше его не интересуют эти «объекты». Нет, он еще словно обвиняет за что-то один из объектов, Амалию, — право, не пойму за что. Примитивность его не в том, что он *не умеет* разрешить основной désharmonie de la nature humaine[3] (и более умные, чем он, люди не всегда удачно с ней справлялись), а в том, что он во всей дилемме видит *только себя.* (Если бы не «tristitia»[4], он бы и в ус не дул!) Он даже профессора заражает на некоторое время этой примитивностью, так как и тот начинает отождествлять понятие «грех» с понятием «неэстетичность», и уже даже не скоро, и то не до конца, додумывается, в чем собственно заключался «грех» отношений с Зоей; а то ему, профессору, долго казалось, что этот грех заключается в неэстетичности сцен да в физической реакции после них (как раз в этом и нет никакого греха!), и, естественно, он искал спасения от такого греха в аскетизме. Что говорить, если этот Владимир даже автора немного заразил, потому что иначе я не понимаю несправедливого безразличия автора к «козлу отпущения» — Амалии. Вы даже не сочли нужным информировать своих читателей о том, кто она: гречанка или немка? Красива или уродлива? Молода или стара? (Скорей можно думать, что красива и молода, так как иначе барчук, может быть, не купил бы ее.) Одно можно сказать наверное, что она самая несчастная из всех действующих лиц романа, так как ей даже от благодеяний профессора как-то ничего не перепало, а таким Mädchen für alles обычно хозяева мало платят, поэтому можно догадываться, по-

---

[1] Живое существо *(лат.).*
[2] Уничижительное от «graecus» (грек) — *(лат.).*
[3] Дисгармонии человеческой природы *(франц.).*
[4] Печаль *(лат.).*

чему она дает себя обмануть подобным барчукам. Еще можно догадываться, что она лучше этих барышень-гречанок с античными именами и во всяком случае деликатнее их, потому что на их доподлинно двусмысленные шуточки реагирует просто стремительным бегством; нужды нет, что в беде она должна была привыкнуть ко всякой всячине. Эта черточка, брошенная Вами, может быть и не намеренно, немного скрашивает печальный, униженный образ этой девушки, но все же, по-моему, Вы должны дать удовлетворение этому безвинно очерненному человеку. Это слишком жестоко — выставить человека на натуралистическое позорище и заставить его «без исповеди» погибнуть во мнении читателя, и все это только ради иллюстрации наименее интересного персонажа романа. Ведь в самом деле Владимир малоинтересен, и все исповеди его не спасают, по крайней мере в моем мнении. Я всецело согласна с ним, что он эгоист, но это не повредило бы его занимательности, если бы он не был столь примитивен; ведь его сальные шуточки своим убожеством содержания доводят прямо до отчаяния, а многочисленные и однообразные переходы от tristitia к laetitia et vice versa [1] вызывают раздражение, особенно потому, что Вы им даете слишком простое, физиологическое объяснение. Конечно, против голой физиологии литература ничем помочь не может, так как это не ее специальность, здесь нужны Мечников или Крафт-Эбинг, или я уже не знаю кто, только не беллетрист. Единственно, что интересно у этого барчука, это его идейно-научный нигилизм, и, мне кажется, Вы ошиблись, отыскивая его корни все в той же tristitia. Скорей она от него происходит, нежели он от нее, так как на это есть намеки в исповедях Владимира. Но Вы этих намеков не развили до конца, и поэтому вся фигура вышла малопонятной, потому и обидно, что она занимает столько места.

С гораздо большим чувством меры Вы описали фигуры младших Шмидтов. Это грациозные силуэтики, и вполне понятно, почему профессор мог сначала ими

[1] Печали к веселью и наоборот *(лат.)*.

очароваться, а потом разочароваться. (Между тем с Владимиром дело неясно.) Только *генезис* всего отношения профессора к Шмидтам мало проанализирован. «Читатель» его, наверно, не поймет. Но я, кажется, понимаю, так как мне близка психология Вашего профессора. Он, кажется, принадлежит к тем натурам, которые полюбив хотя бы случайно («по несчастью»), испытывают уже такое чувство, словно они под присягой обязались любить до гроба под угрозой стать «изменником» в собственных глазах. Только для этого «случая» надо что-то большее, чем обычная приветливость, которую сначала показали Шмидты. Вы здесь пропустили какой-то момент, — по большей части связывает или «общность судьбы», или «гармония душевных струн», хотя бы только иллюзорная, а Ваш профессор, кажется, сразу увидел, что он и Шмидты собственно люди различного типа. Кроме упомянутого момента, вся дальнейшая история отношений профессора со Шмидтами понятна, тонко написана и интересна со всех точек зрения. Однако она не доказывает, а скорей проваливает ту аскетическую идею, которую Вы сделали leitmotiv'ом своего романа. Мне кажется, что только с аскетами случаются подобные истории, какие случились у Лаговского со Шмидтами и Зоей. Единственный способ, чтобы «природа» не лезла «без доклада» в окно, это пускать ее в дверь; может быть, тогда она будет больше уважать назначенные ей Sprechstunden [1]. В противном случае она придумывает всяческие «искушения святого Антония», которые и не снятся обыкновенным, не святым смертным. Если отыскивать «мораль» в этом романе, то она выступает malgré vous [2].

Но мораль никогда не достигает глубины, а Ваш роман глубже: он показывает *причины* аскетизма, условия его развития и психологию человека, который не по собственной воле попал в положение аскета, не свойственное ему по природе. Самые интересные места

---

[1] Часы приема *(нем.)*.

[2] Вопреки вам *(франц.)*.

Вашего произведения — это те, где Вы раскрываете социологическую и психологическую подкладку такого аскетизма, и менее интересны те, где Вы «бичуете» истерию и физиологию, так как их, бедных, во всей этой истории не за что бичевать. Истерия здесь не причина, она следствие несчастья, а физиология — что с нее возьмешь? Она женщина простая и мало смыслит в идеалах. Пусть она и виновата в том, что Ваш герой был способен чувствовать голод и должен был удовлетворять его и поэтому расшатал свои нервы такими лекциями, как с этим «Пьером» — так ведь ей всякие обвинения, что горох об стену, она знает одно: «Если не будешь есть, то будешь голоден», и больше ей ни до чего дела нет. А «нервы» и вовсе не виноваты, что они разбиты. Что касается вины таких Бобровых и подсудимых, то тут уже дело не так просто, — они могут искать спасение в социологии, и кто знает, какое спасение она им даст...

А какой у Вас прекрасный эпизод с этим «генераленком»! Все грехи Вашей книжки да простятся Вам за него! Вот где трагедия, и какая глубокая! Нет, здесь уж не истерия виновата, что Лаговский не находит выхода из этого контраста, не знает, что с ним делать. Ведь эта дилемма классового антагонизма и всечеловеческой солидарности! И как она у Вас кристаллизовалась в такой чудесно-прозрачный, поэтический образ? Это уже настоящий «секрет поэтического творчества»... Мне даже жалко, что этот эпизод мелькнул, как искорка, и что Вы показали так мало *видимой* связи между ним и дальнейшим повествованием, хоть связь эта безусловно есть. Возможно, если бы этот «генераленок» был не столь небесно-симпатичен, то все отношения Лаговского к генеральской семье Шмидтов сложились бы сразу иначе; тогда, может быть, для разрушения иллюзии было бы достаточно сцены «найма» школы... Мне кажется, что Лаговский пробыл столько времени в плену у генеральского сына Владимира Шмидта (это было подлинно египетское пленение!) только за то, что в свое время не хотел спеть этому «генераленку» «Ах ты, воля, моя воля...» Разве Вы с этим не согласны?

Они действительно «генералы», эти Шмидты, а все же Вы немного к ним несправедливы, особенно к Владимиру. Нужно было полнее показать, *почему* они такие, получилось бы и объективней и интересней. А эта совсем непонятная incohérence [1], как, например, изгнание учителя с маленькими больными малярией детьми, казалось бы, такими не жестокими и не плохими людьми, как Шмидты. Трудно также понять, почему у Владимира уж слишком «пошлый» стиль, в то время как его братья вполне «хорошо воспитаны». Неужели потому, что он самый некрасивый в семье? Его цинизм скорей приказчичьего, нежели генеральского, *стиля* (именно стиля, так как *содержание* бывает у циников всякого воспитания одинаковое), — от него действительно «уши вянут».

Несправедливы Вы, кажется мне, и к Зое. Не верится мне, что она действительно только из «женской гордости» отдалась профессору; ведь «гордость» эта была бы ярче выражена, если бы Зоя не отдавалась, — ведь она сама это признала. Пусть это был бы «животный инстинкт», все же это нечто лучшее, нежели холодное кокетство. Она за этот инстинкт уже достаточно наказана реакцией холодного отвращения со стороны профессора, а для «гордости» нет ничего хуже! Все же она была деликатнее с Лаговским, чем он с нею, она хоть *стремилась* говорить с ним «будто искренне, будто волнуясь», а он говорил «тупо и индифферентно», совсем не заботясь о ее «женской гордости», которую она презрела ради него. Пусть у него это был эгоизм больного, но здоровые, чрезмерно здоровые люди также имеют свои права, каких мы, люди больные, иногда, как должно, не уважаем, и тогда здоровые становятся жертвами больных. Зоя оказалась жертвой, нужды нет, что Владимир, забыв о себе самом, осмеливается называть ее «такой-сякой», нужды нет, что веселой «трапезундской вдовушке» словно и не к лицу быть «жертвой», но так получилось. Все четыре барчука говорили ей наперебой комплименты, раздражая этим «животные инстинкты» в этой примитивной натуре

[1] Непоследовательность *(франц.)*.

(а это ведь сразу было видно, насколько она примитивна), попросту *играли с нею,* а когда у бедной гречанки заговорила кровь, то ее за это наказали безразличием и эпитетом «такой-сякой» (ведь это истинный крик муки: «Господи, когда этому будет конец?»). Профессор сравнивал ее с цветком, а когда этот цветок утратил для него свои чары, то он, освобождая свою душу исповедью, разболтал о своем приключении с ней Владимиру, хорошо зная его «стиль», забывая, что Владимир совсем чужой для Зои и что она, наверно, совсем не хотела исповедоваться перед циником Владимиром в своих интимных делах, хотя она и «легкомысленна». Это бросает тень на образ профессора (вообще очень симпатичный и человечный), и в этом собственно заключается его *грех* против Зои и против себя — он оскорбил в ней *человека,* иначе это был бы не грех, а просто ошибка. Не знаю, было ли Вашим сознательным намерением бросить эту тень на Вашего героя — Вы, кажется, несколько иначе понимаете его «греховность», но таково мое впечатление. То, что он называет своим «грехом», по-моему, вовсе не грех, а просто несчастье, так как полюбить только тело, не зная души, должно быть, очень горько и страшно. Он корит себя за то, что идеализировал Зою, ну что ж, если он смотрел через такую призму, конечно, следовало бы ему узнать сначала ее мировоззрение, мысли и чувства (а «прошлое» можно было бы во всяком случае оставить в покое, если бы Зоя не имела желания исповедоваться), но у профессора не было времени на это, так как этот порыв налетел на него, как вихрь, не дав и опомниться. Профессор точно так же «виноват», как «виноваты» бывают шестнадцатилетние девушки. В этой истории более похож на грех — факт декламации турецкой песни (тогда профессор еще будто был «в здравом уме и твердой памяти» и мог бы понимать, что так можно вскружить голову «вдовушке»); ничего не значит, что этот факт выглядит вполне эстетичным... А все остальное, неэстетичное, по-моему, не грех, так как делалось в состоянии аффекта. Грех только в том, что профессор и *потом* забыл поискать в Зое человека, чтобы судить ее по-

человечески, коли уж хотел судить; точно так же, как и Вы забыли человека в «объекте» — Амалии, чего я до сих пор не могу Вам простить.

Что профессор Лаговский до конца не совсем понимает своих Шмидтов — это естественно и не портит впечатления; но что автор их не понимает до конца, а поэтому и читателям не объясняет, это уже вредит роману. Разрешите мне дать свою интерпретацию. Мне кажется, что немецкое или русское происхождение имеет небольшое значение, разве только как колорит для темпераментов, но и темпераменты здесь не столь важны. Мне кажется, что все происходит от недостатка ясного смысла их жизни, они все более или менее «нигилисты», оторванные от живой почвы глубоких интересов. Их родители, вероятно, не были такими, но своего духовного содержания не сумели им передать, возможно потому, что их дети попали в другие условия, отличные от тех, в которых развивались отцы. Вот поэтому эти потомки — нынешние Шмидты — и стали дилетантами во всем. Неизвестно, для чего управляют «культурными участками» на Кавказе, хотя им этот Кавказ с его культурой или бескультурьем совершенно безразличен, от него им и «не холодно и не жарко»; неизвестно, почему старший сын — юрист, другой — медик, а третий — поэт, для них собственно безразличны все эти специальности, они первые готовы издеваться над всем (искреннее убежденный декадент был бы оскорблен «амеопой без музору» *, а младший Шмидт тешится ею, как игрушкой). Иногда им неприятен их собственный нигилизм, например Владимиру, но они не знают, почему неприятен, почему следовало бы жить им иначе, а так как их никто не научил углубляться в такие вопросы, то они пытаются попросту стряхнуть с себя подобные настроения, отыскивая себе новые развлечения. Они совсем не злые люди, только слишком привыкли считать самих себя субъектами, а всех прочих объектами, и если временами любят эти объекты (ведь Лаговского они несомненно любили), все-таки неспособны считать их *равными себе,* а подавно высшими, и отсюда вся их грубость. Это правда, что Лаговский во время болезни мог показаться ка-

ждому скучным, но Шмидты не дали бы ему это так ясно понять, если бы считали его совсем равным себе, а не только объектом своей дружбы. Они бы тогда уважали право каждого человека быть иногда больным, неинтересным, даже нудным в обществе близких и разных себе людей. Они бы меньше согрешили против своего друга, если бы просто сказали ему: ты извини, но мы люди молодые, ухаживать за больными не привыкли; когда ты выздоровеешь, мы будем опять с тобой, потому что мы тебя очень любим, но только неспособны тебя развлекать. И он, наверное, простил бы им, но не простил бы в то же время «тонких» цитат из Надсона и Пушкина, что действительно трудно было простить. Поэтому они не виноваты в том, что направление общим беседам давал он, а не они, и поэтому не из-за чего было ему в них «разочаровываться»; что же делать, если он был умнее и одареннее в беседе, чем его друзья, ведь он их не за беседы любил, а прежде всего за их любовь, только в этой любви можно было действительно «разочароваться» после «поэтических цитат». Но все же он не вполне прав по отношению к ним: он сам разбаловал еще больше этих и без того избалованных жизнью людей. Он только развлекал и нежно пестовал их, но ни разу не исполнил тяжелой обязанности друга — être parfois incommode[1]; защищая *сознательно* свою иллюзию, он не только не открывал им глаза на их бесчеловечные поступки и чувства, но и сам старался их не видеть. Поэтому исповеди Владимира принесли такую же пользу этому барчуку, какую приносят они дамам-католичкам в модных исповедальнях перед галантным abbé[2]. Лаговский ни разу не сказал Владимиру: оставьте в покое эту tristitia и эстетические самоугрызения из-за физической «грязи» вашего поведения, а вспомните хоть раз про обыкновенную человечность, быть может, хоть немного чище станете. Каждый имеет право на эгоизм, но

---

[1] Быть иногда докучливым *(франц.)*.
[2] Аббатом *(франц.)*.

пусть же и чужой эгоизм уважает. Нет, Лаговский еще и хвалил Владимира за циничное «распоясывание» своей «души» и не видел, что душа в этом никакой роли не играла, так как еще сильней закутывалась в неведение от этих исповедей. Лаговский не помог Владимиру в борьбе с нигилизмом — это была действительно серьезная болезнь, — отделывался шутками по поводу tristitia, в то время как совсем не в ней был корень (иначе большинство людей было бы такими нигилистами). И кто знает, может быть, Лаговский помог этим *загасить* ту искру божью, которая временами вспыхивала в душе Владимира, как, например, после чтения политических стихов Гейне и журнала «Право»; возможно, какой-нибудь Прометей и сумел бы из этой искры разжечь целый костер, но Лаговский не был таким Прометеем; и это уже не вина Владимира, может быть, и не вина Лаговского, но и не заслуга, за которую стоит любить. Лаговский мог бы просто сказать: «Вы на самом деле больны душой, но я лечить вас не умею, я только люблю вас и хотел бы помочь вам найти лучшего врача, нежели я». Может быть, только это положило бы начало выздоровлению Владимира и не привело бы их к взаимному «разочарованию». Но Лаговский сам немного заразился от своих друзей (потому что сам по себе он не такой по натуре) этим взглядом на людей как на «объекты», которые существуют для нашего развлечения или удовольствия; и в его тоске по ним мне слышится только тоска ребенка по сломанной игрушке; нет, ребенок часто бывает более альтруистичен, ибо не раз, разбив куклу, плачет по ней: «Бедная куколка!» А Лаговский плакал: «Бедный я!» И не жаль ему было ни Зои, с ее сломанной гордостью и загрязненной репутацией (ведь он сам добавил ей этой грязи), не жаль ему было и Шмидтов, которые бессознательно утратили самое большое в мире сокровище — дружбу. А может быть, и их самих мучила эта утрата? Мы этого не знаем, так как ни Лаговский, ни автор об этом не вспомнили. Правда, есть какой-то намек и на это, но поверхностный и неясный... А жаль, — роман вышел бы более глубоким, если бы все его действующие лица не оказались та-

кими крайними «субъективистами». Но и так это вышла не «амеопа без музору», а вдумчивое и чуткое произведение, с телом и кровью, с сердцем и душой. Прямоты бы только *(всяческой* прямоты) и больше, больше гармонии! Но на это есть надежда. Что Вы скажете, товарищ?

Вот Вам и целое исследование из моих «впечатлений» вышло. Только хватит ли у Вас терпения прочитать его?

А что касается практического совета, о котором Вы меня просили, то я Вам вот что скажу: не мешало бы вырезать несколько страниц из Вашего романа. Вы сами знаете, какие. Не все же «читатели» такие «стреляные птицы» в литературе всякой школы, как я, поэтому, может быть, у иного книга выпадает из рук, а это, по-моему, будет жалко. Да и идея Вашего произведения совсем не требует такого naturalisme à outrance [1], скорей даже затемняется им. Не мучьте так себя в следующий раз, искренне прошу Вас, дорогой товарищ, потому что я ясно *чувствую,* как трудно Вам дается этот натурализм (хотя бы в сцене с прокусыванием пальца)!.. А тем временем в Ваших лирических стихах (ведь они Вас меньше мучат?) значительно больше живой правды, чем в этих натуралистических «протоколах вивисекции». Может быть, поэтому я способна *любить* Ваши стихи так, как, наверно, никогда не смогу полюбить этот роман, хотя он достоин всякого уважения.

Наверно, Вы скажете (или только подумаете), что в моих «впечатлениях» есть много чисто женского. Не раз, когда писала это письмо, припоминала Вашу остроту о женщинах: «Вы правы, но мне *кажется* это иначе», только это не такая глупая фраза со стороны женщины, как это сразу может показаться. Видите ли, мужская «правота» во взгляде на некоторые вещи очень однобока, поэтому мы дополняем ее своей «правотой», может быть тоже однобокой, но *только* из них *обеих* может выйти нечто целое и правильное, мы только не привыкли смело говорить: «Я права», а

[1] Натурализма, доведенного до крайности *(франц.)*.

говорим робко: «Мне кажется», mais c'est une façon de parler [1]. Вот, например, во взгляде на Амалию и Зою Вы с Вашими героями una pars [2], а я и эти женщины altera pars [3]. Следовательно, не забывайте известного юридического правила...

Написала я недавно одну небольшую драматическую поэму * и хотела бы ее посвятить Вам, но только в том случае, если она Вам действительно по душе придется, а не только «ничего себе» покажется. Я слишком горела, когда писала, и ее идея слишком мне близка, чтобы я посвящала поэму тому, кто будет к ней «ни горяч, ни холоден». Будьте ей врагом или другом и скажите мне *искренно,* что и как Вы о ней думаете (вот так же, как я сказала о Вашем романе). Я Вам ее погодя пришлю, а Вы мне потом вернете (как это уже было однажды), только очень долго не держите, ибо она рвется в мир, хоть я и не знаю, суждено ли ей увидеть его скоро. Я удерживать ее не буду, пусть летит, — если попы не заедят, так как она затрагивает религиозно-социальную тему еще «сильней», чем «Одержимая». И Вы немного виновны в ее рождении, так как пробудили во мне мысли в этом направлении своим письмом, в котором Вы упомянули о евангелии и о споре о нем с Вашим старым учителем. Поэтому мне кажется, что моя поэма близка Вам, и я бы хотела связать как-нибудь Ваше имя с нею. Но это, только если Вы захотите и позволите.

Ваших «Сассанидов» я еще не читала, однако благодарю за них, как и за роман. Вы знаете, я люблю Ваши научные труды, хотя я и круглый профан в подобных материях. Я люблю их стиль и тон. Куда деваются Ваши нервы, когда Вы пишете это? Вы пишете такие вещи, словно Вы античный, уравновешенный

---

[1] Но это манера выражаться *(франц.)*.
[2] Одна сторона *(лат.)*.
[3] Другая сторона *(лат.)*.

телом и духом эллин. Такой колорит я только на Акрополе видела!

Впрочем, не пора ли мне умолкнуть, как Вы думаете? Ну, да уж, верно, нескоро я напишу второе такое письмо — вот как приму на себя «обязанности», то будет не до болтовни... А все-таки иногда неплохо запрячься, лишь бы по своей воле. Проживем как-нибудь, товарищ. Evviva la vita! [1]

Здесь много отталкивающего в отношениях между земляками, но я не хочу на это обращать внимания и думать об этом.

Пробовала в Петербурге выступить * против великодержавных централистов, да что-то петербургские газеты не дают ходу моему письму. Ну, и чтоб им, обойдусь и без них!

Знаю, что вот сейчас, когда лягу спать, будут сниться мне красные знамена, — преследует меня этот сон!..

Будьте здоровы, товарищ милый.

*Л. Косач.*

### 80. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*Киев, Марцнско-Благовещенская, 97.*
*5—18/XI 1905.*

Кто-то дорогой пусть простит кому-то беленькому его неучтивость. Ведь кто-то чье-то длинное письмо получил, а не ответил тотчас же, потому что хотел чье-то дело у Науменко наладить, в то время Науменко не было дома, а только он приехал, кто-то беленький должен был внезапно выехать в Петербург. Науменко говорит, что уже выслал гонорар в Черновцы. Получил ли кто-то?

А кто-то выехал в Петербург по телеграмме выручать Дору, которая отправилась туда на агрономические курсы да и заболела. Вот кто-то три недели и про-

---

[1] Да здравствует жизнь! *(итал.)*

сидел возле нее, пережидал там все железнодорожные забастовки, видел рождение российской «конституции» и многое другое, налюбовался на красные знамена, наслушался песен и громких речей, а потом вернулся в разбитый «черной сотней» Киев... Кто-то кому-то еще много напишет, а теперь хоть вкратце, чтобы поскорее. Чья-то «Ниоба» кому-то нравится. А мне бы только чтобы кто-то был здоровенький. Мы теперь все дома, кроме мамы (она в Гадяче) и Лили (в Праге). Дору я привезла домой на поправку (она уже выздоровела), а Оксана приехала сегодня из Бельгии. Тетя Саша тоже здесь. Все Вас приветствуют. Кто-то крепко целует кого-то, семье привет.

*Кто-то.*

### 81. А. Е. КРЫМСКОМУ

*27/I 1906.*
[*Киев.*]

Дорогой товарищ!

Мне хочется обязательно сразу ответить на Ваше письмо, хотя, по правде сказать, у меня сейчас нет времени для «личных дел» и я не пишу уже давно даже родным сестрам. Когда за Вами только что закрылись наши двери, я было написала Вам, но потом раздумала посылать это письмо и уничтожила его, а жаль — теперь бы я его послала. Впрочем, часть его Вы теперь написали сами; Вы в сущности точно повторили мою мысль (и даже некоторые слова) о нашей последней встрече, хотя и не читали моего письма.

Все-таки и на этот раз мы не совсем не разглядели друг друга, — по крайней мере я Вас немного видела и немного слышала и в ответ на услышанное написала целое письмо. Повторять все тогда написанное мне теперь лень. Скажу коротко: просила Вас взять назад Ваши подозрения, будто бы я как-то принадлежу к числу Ваших «критико-биографов»; ведь такое подозрение меня до боли *поражает* и не *оскорбляет* только потому, что я знаю серьезные причины Вашей подозрительности в этом направлении. Но все же, каковы бы ни были эти причины, *меня* Вы не должны подозревать,

ибо я в них не виновата и за последствия их не отвечаю. А чтобы Вы раз навсегда поняли мою «критику» (я не отказываюсь от нее и в дальнейшем, если позволите), вот что скажу Вам: я считаю всю Вашу беллетристику (и поэзию), за исключением двух-трех мелочей, насквозь *субъективной,* но нисколько не автобиографической; а было бы даже лучше, если бы она была автобиографической, ибо тогда субъективность была бы более естественной. Теперь же не раз выходит так: Вы берете чужую жизнь и чуждые Вам факты и типы, а подставляете под них свою психологию и некоторые незначительные внешние детали, характерные для Вас и больше ни для кого. Из этих деталей Ваши «критики» выводят целую «автобиографию», — простите им, ведь сказано: «Глупцам и бог не противится». Я из деталей не вывожу ничего и субъективность Вашу вижу не в них, а в тех points de vue [1], которые Вы переносите от себя на всякие чуждые Вам типы. Вы ставите своих героев в такие положения, в которых Вы сами не то чтобы не были (это еще не беда!), а никогда *и не могли бы быть* (это мое искреннее убеждение), и все-таки добиваетесь того, чтобы они (герои Ваши) думали и чувствовали по-Вашему, а не по-своему. Вот почему я, может быть и бессознательно, требовала от *Вас* в своей критике ответа за поведение того человека, который получил от Вас лучшую частицу души, а неизвестно от кого приобрел некультурные психические привычки и всякие «культурные пережитки», недостойные человека, который отразил в себе Вашу субъективную психологию. А Вы меня за это упрекнули подозрением, якобы я страдаю «автобиографоманией» (хорош неологизм?). Помилуйте, товарищ! Я не заслужила такого сурового наказания, — отмените его! Да нет, в самом деле, неужели Вы все мое колоссальное письмо поняли только как une grosse indiscrétion? [2] Нет, даже не верится, чтобы между нами могло быть такое недоразумение. Если же и так, то позвольте мне думать, что не мы в нем повинны.

---

[1] Точках зрения *(франц.).*
[2] Грубую нескромность *(франц.).*

Теперь еще кое-что о своих «Катакомбах». Я очень рада, что Вам они пришлись по вкусу (вот и получилась банальная фраза о совсем не банальном чувстве!). Нет, в самом деле, как бы это выразиться? Мне было бы очень грустно, если бы Вы их не полюбили. Теперь это произведение будет *Вашим,* и мне это радостно, так как я этого хотела. Что касается Вашей критики, то позвольте мне немного поспорить с Вами вполне объективно (хотя и субъективное чувство может от этого углубиться). Я не претендую на то, чтобы равняться с Вами научным цензом, но эту вещь я все-таки писала не «с маху», а с некоторым vorläufige Studien [1]. Точнее сказать, я штудировала не для этой поэмы (а для чего-то совершенно другого), но она явилась неожиданным, хотя и логическим следствием, — так как штудирование подтвердило мне только то, что я давно думала, но только не могла доказать фактами. Собственно говоря, я уже раньше думала, что нынешняя форма христианства является логическим и роковым следствием его *первичной* формы. Я готова сделать Вам разве только одну уступку, да и то в такой неуступчивой форме: если мой епископ не типичен для среднего христианина-мирянина (Laie) первых веков, зато он вполне типичен для тогдашнего епископата. Когда появились на свет епископат и начало церковной иерархии, епископы заговорили языком моего епископа, и эта традиция сохранилась вплоть до современного архиерейства. Я не принимаю теорию Толстого и многих других, будто современное христианство является аберрацией, болезнью этой религии. Нет! В древнейших памятниках, в «Деяниях апостолов», в посланиях апостола Павла, в аутентичных фрагментах первоначальной галилейской пропаганды я вижу зерно этого рабского духа, этого узкосердого политического квиетизма, который так разыгрался потом в христианстве. Как хотите, но не случайно в притчах и везде в евангелии так часто употребляются слово «раб» и антитеза «господина и раба» как единственно возможная форма отно-

[1] Предварительным изучением *(нем.).*

шений между человеком и его божеством. Прочитайте послания апостола Павла (в данном случае неважно, какие из них подлинные, а какие нет), и Вы увидите, что создано из этой антитезы и как быстро создано. Коммунизм первых христиан — это фикция, его никогда не было, или это был коммунизм нищего, у которого все равно не было никакого имущества, или «коммунизм» добродетельного богача, который бросает крохи со своего стола «коммуне» собак, сидящих под столом своего господина. Вот и все. «Анархизм» христианства также невысокой пробы, это просто непросвещенность и невоспитанность политически бесправной массы, которая может представить себе только утопию; деспот и народ и никого больше между ними; но подобный «анархизм» никогда не выбросит и не выбрасывал деспота из своей утопии; ведь недаром же и мессию своего он назвал *царем* иудейским; эпитет «пророк», видите ли, казался слишком низким этим «анархистам». «Сына человеческого» они просто забыли. И если же что и поддается настоящей идеализации у первых христиан, то не их quasi [1] анархические доктрины, а разве что грация чувства их «жен мироносиц», к которым принадлежит и моя Анциллодея, и это новое для античного аристократического мира чувство всепрощающей симпатии, которое так украшало отношения Христа к его склонным к измене и тупым ученикам (ни один классический философ не простил бы в таком положении своим друзьям). Ну, и еще два-три элемента в сфере *чувств, но не теории.* Только все же эти элементы идеализации я уже использовала до конца, и мне неинтересно было на них долго останавливаться; за это Вы, как вижу, на меня не в претензии. Кстати: вот и Вы представляете себе, что типичный христианин той поры мечтал бы о том, что когда-нибудь все станут *слугами* Христовыми, а разве это не то же самое, что *рабами?* Разве не против этого восстает мой раб-прометеист? Он совершенно правильно думает, что пока будут господа и рабы (на земле или на небе, все равно), будут и посредники между ними, надсмотрщики, экономы и т. д. Что же бо-

[1] Мнимо *(лат.)*.

лее идеальное мог нарисовать перед ним средний христианин даже первых времен, как не «единое стадо с единым пастырем», и как мог бы ответить на вопрос о подпасках? Я думаю, только так, как ответил епископ. Моя поэма относится к середине II века христианской эры (или ко второй половине его), а тогда уже определилась достаточно духовная тирания всяких «подпасков» божьих, — оставалось только продолжать постройку на прекрасно заложенном фундаменте духовной темницы. Мой епископ вскормлен павлианской традицией, как это и в самом деле было в римском епископате тех времен. Возьмите кого хотите из древнейших...

### 82. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*10/IX 1907.*
[*Балаклава.*]

Милая мамочка!

Я получила твое письмо в тот день, когда уже хотела посылать телеграмму с запросом о твоем здоровье, поэтому вдвойне обрадовалась этому письму. Но откуда такое несчастье — вот уж именно «на гладкой дороге»! Все-таки хорошо, что это не перелом, несмотря на то, что растяжение упорно, все же перелом хуже и опасней. Теперь нужно только потерпеть, чтобы ничем не повредить ноге, а я боюсь этого, зная, что ты не выдержишь до конца сколько-нибудь затяжного лечения, но надеюсь, что если Лиля еще не так скоро начнет выходить, то она присмотрит. Я не отвечала тебе эти дни, потому что была очень занята «улитами». Под влиянием просьб «осаждающих» меня редакторов всяких сборников (очевидно, мода на альманахи вернулась), я принялась заканчивать не только драму, начатую в этом году («Руфин и Присцилла»), но и давно начатую, но отложенную в долгий ящик драму о скульпторе среди пуритан и взялась за нее очень горячо; боюсь того, что если не окончу ее теперь, то так она и останется, а мне ее жаль — es liegt mir doch etwas daran [1].

[1] Я в известной мере заинтересована в этом *(нем.)*.

Только вот на несколько дней решила сделать перерыв, так как стала переутомляться, а там опять примусь за работу. Здесь время и обстановка способствуют такой работе, по хозяйству не хлопочу, имею обед и ужин от хозяйки, к тому же и Клёня не требует ухода, он настолько окреп, что все себе делает сам, да еще и мне порой кое в чем (например, в переписывании) помогает. За этот месяц ни крови, ни повышения температуры у него не было, да и кашель очень редко дает себя знать, бывают дни, когда и совсем не кашляет. Мы объясняем это необычайно чистым воздухом нашего теперешнего местопребывания, так как кашель очень заметно уменьшился, как только мы прибыли на эту дачу. Здесь хоть не так тепло, но зато нет пыли и той тесноты, которая делает «центр» Балаклавы таким загаженным и противным. Даже частые изменения погоды — ведь сейчас равноденствие — до сих пор не причинили видимого ущерба здоровью. Только усталость Клёня до сих пор переносит очень плохо: как только попишет или почитает немного больше, чем следует, сразу лишается аппетита, бледнеет и становится каким-то вялым. Но все же хочет понемногу что-нибудь делать. Вот просил узнать у тебя, не пригодились ли бы «Родному краю» * критические заметки о новых сборниках украинских народных песен, это должен быть ряд очерков (для нескольких номеров) под общим заглавием; должны быть разобраны галицийские сборники (Людкевича, Ив. Колессы, Фил. Колессы) и русские издания (Линовой, Конощенка и т. п.) — материал довольно большой, публике мало известный и довольно любопытный. Изложение должно быть популярным (как в той рецензии, которая так тебе понравилась). Напиши, подойдет ли (может быть *часто* печатать что-нибудь о музыке и этнографии «Родному краю» не по программе и так далее), а если подойдет, то быстро получишь тот или другой «материал». Я теперь в периоде заканчивания, поэтому, наверно, докончу и давно обещанную «Родному краю» поэму — до сего времени этого не сделала не по недостатку желания, а не было подходящего настроения. Среди более коротких стихов

я не нашла ничего «достойного»; если погодя напишу что-нибудь получше, то пришлю.

Не знаешь ли ты, мамочка, адреса Олеся (vulgo [1] Кандыбы). Мне бы хотелось ему написать, да не знаю куда.

Что касается постоянных сотрудников, то не попробовала бы ты списаться с Капельгородским (адрес есть на «Просвіту») — из него вырабатывается неплохой публицист, и, может быть, он даже мог бы приехать в Киев, если бы имел там постоянную работу — об этом он будто намекал в письмах к землякам.

Приходил ли к тебе Пахаревский по вопросу о «Голубой розе»? Он с обществом хочет ее ставить и писал мне, прося цензурованный экземпляр или исправленный текст. Я направила его к тебе, чтобы попросил корректурные листы, которые уже должны быть готовы у Кульженко. А propos, как там с дальнейшим печатанием? Я бы хотела, чтобы роли переписывались с печатного текста, а то, не разобрав как следует, понапишут какую-нибудь чепуху, да так и выучат. Очень хотелось бы знать, как обстоит дело и с этим.

Что у нас дома? Не поехал ли кто опять куда-нибудь — Лиля, Оксана? Когда назначена свадьба Микася?

Крепко целую тебя и всех наших, кто с тобой. Клёня кланяется и передает всем вам привет. Поправляйся же, дорогая мамочка, и ради бога не торопись выходить из дому!

*Твоя Леся.*

### 83. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*3/II 1908.*
*Ялта, Дарсановская, д. Терещенко.*

Милая мамочка!

Прости, что я тебе давно не писала. Всё те же медицинские темы как-то и утомляли и настроение портили, и нужно же было с ним как-то покончить. Послушав Лилю и Максима Ивановича, я пока еще оперироваться

[1] Попросту *(лат.)*.

не собираюсь, но и на проверку не иду — пусть уж совсем тепло станет, потому что я теперь холода боюсь больше всего, то есть не только теоретически «простуды» какой-нибудь или чего-либо в этом роде, а так просто самое ощущение холода для меня совершенно невыносимо, и я его инстинктивно избегаю. Еще заметила я, что хождение и поездки мне очень вредны. Может быть, скорее поправлюсь, если не буду суетиться. Только бы поскорее настоящая весна настала, чтоб солнца было побольше. А теперь всё так: то тепло, то снег или северный ветер. Хотя меня собственно ветер мало беспокоит, потому что наша веранда хорошо защищена с северной стороны, и как только появится солнце, на ней можно погреться как следует. Клёня стал теперь выносливее к холоду и всяческим переменам, чем я (порой это меня даже удивляет), и под влиянием этого уже, кажется, слишком полагается на свое здоровье: исполняет за меня всякие дела в городе и даже дома и к тому же еще и на службу опять поступил... уже и «приказ» есть, что он числится при симферопольском суде, но фактически будет не в Симферополе, а в Ялте помогать здешнему следователю. Сделал он это потому, что его очень угнетало сознание, что он живет не на собственный заработок, да и кроме того он не мог иначе подготовить себе почву для адвокатуры или нотариата, к которому он теперь усиленно готовится (даже изучает «Положение о нотариальной части») — он говорит, что без знакомств и связей в судебных кругах трудно достигнуть чего-либо в обоих этих специальностях. Этого я толком не знаю, но только, говоря по правде, я не рада, что он поступил на службу, и возражала против этого, как могла, но, к сожалению, меня врачи не поддержали, уверяя, что такая служба не повредит здоровью, а даже может хорошо повлиять на нервы, как работа систематическая, привычная и не очень утомительная; они-то и посоветовали начинать именно эту работу после долгого перерыва, а не по какой-нибудь новой, еще не испытанной специальности, которая потребовала бы большего напряжения памяти и нервов. Ну, пусть же. Утешаю себя тем, что эта переходная ступень ненадолго. Пока еще

Клёня на службу не ходит, потому что там еще не все формальности закончены, это и хорошо, может пока что весна установится.

Я тоже немного «подтянулась» и начала было писать, хотя, как обычно, не то, что нужно. Вместо вещей, которые давно пора закончить, написала рассказ *, которому и до сих пор названия не подберу, а теперь он лежит, так как нам обоим переписывать трудно. Хочется, если опять будет lucidum intervallum [1], написать маленькую повесть для твоей «Молодой Украины» *, почти историческую, из татарско-украинских времен (дружба маленького украинца, сына пленницы, и татарочки-крестьянки, несмотря на традиционный антагонизм старшего поколения, потом дальнейшая судьба этой пары, разлученной жизнью).

Но что же «Молодая Украина»? Выходит ли? Мы ее не получаем. Беллетристику «Родного края» читаю внимательно и с отрадой вижу, что земля наша «не оскудевает», — ей-богу, люди много пишут! — и притом неплохо! А почему ты мне не прислала вологодский сборник, как обещала? Мне так интересно его посмотреть. Или, может, он еще не дошел ко мне? — Ты хочешь, чтобы Клёня написал рецензию на галицкие *композиции,* но ни одной композиции здесь нет, а выписать их страшно хлопотно (мы уже пробовали это!), кроме того, он и не специалист по такого рода рецензиям, потому что давно ограничил себя *этнографической* музыкой (народными песнями). Главное же, это то, что такой литературный труд его больше всего утомляет: раз он принялся было писать статейку для «Родного края», но не закончил, потому что так обострилась неврастения, что я даже испугалась за него, да и потом пришлось ему повозиться с собой (я тебе тогда писала). Хоть он и начал заниматься и служить скоро начнет, но это, кстати, ему еще не по силам, однако он считает, что «должен», ну то хоть работа привычная, а писание да еще «популярное» дело и для любого трудное. Пусть уж он окрепнет, тогда и станет писать.

---

[1] Просвет *(лат.)*.

Давно хотела спросить, как дела с моей «Голубой розой»? Ее как будто собирались ставить, переписывались со мной... но, кажется, это только «заячий жир». Наверно, молодые артисты испугались конкуренции с Садовским и другими светилами. Все же этой «Розе» особенно не везет, вот и из печати она никак не «вылезет», а это жаль: может быть, ее кто-нибудь и поставил бы, если она была бы доступнее; ведь, пожалуй, она и не хуже многих «новинок»; если не в Киеве, так, может быть, в Баку (там какие-то «новаторы» есть), что ли, поставили бы, и так уже скоро десятилетний юбилей можно справлять, как она лежит под спудом. Это и «для славы» и даже с материальной стороны невыгодно, — ведь люди иногда кое-что зарабатывают и худшими пьесами, а моя даже денег, затраченных на ее переписку, до сих пор не вернула... Так или иначе, а я бы хотела знать, в каком она там «состоянии или положении» (скорее в положении...). Если будет время, будь любезна — напищи.

Лиле я теперь не пишу, хотя и получила ее открыточки, потому что не знаю, в Киеве ли она теперь, или уже, может быть, в Тагачине. Как бы Михалю не стало плохо в нашей полесской сторонке — боюсь я этого климата!

А что Оксана? Решила ли, куда ей поступать? Очень обидно, что такой в ней снова перелом... Как ее здоровье? Не пойму как-то, идет ли теперь, или нет ученье в политехникуме и как наши младшие относятся к этому.

Пора уже кончать, а то я все-таки царапаю плохо, потому что теперь и писать стараюсь лежа, пусть уж будет тот «покой», который опять рекомендуют мне врачи. Да вот отвыкла было за столько лет и утратила технику писания лежа. Ну, все-таки эта болезнь получше, чем то, что было с ногой, ведь болит редко и мало и спать никогда не мешает.

Целую крепко тебя и папу (он уже, вероятно, теперь в Киеве) и всех наших. Клёня просит поклониться тебе и всей семье. Еще раз целую.

*Твоя Леся.*

### 84. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*21/III 1908.*
*[Ялта]*

Милая мамочка!

Прости, что я тебе долго не отвечала, но я только недавно едва пришла в себя, а то голова как-то была до того затуманенная, что не могла собраться с мыслями. На этой неделе чувствую себя лучше и даже снова начала писать (может быть, мне все же посчастливится закончить неоконченное, пока начнутся мытарства по специалистам).

О состоянии моего здоровья я подробно писала Лиле и теперь еще пишу, так что она тебе расскажет. Очень я жалела, что папа не захотел приехать к нам, потому что февраль здесь был очень теплый и хороший, и это папе могло бы быть полезно. Но теперь, если и сожалею, то только по эгоистической причине, потому что мне было бы приятно с папой, а ему, может, и нехорошо — ужасно скверный март выдался! Никак не согреемся ни на улице, ни дома — дует «норд-ост», это наказание божие всего Черноморья. Пока это не кончится, не могу собираться ни в какую дорогу. Во-первых, прежде чем выеду я, Клёня должен съездить в Симферополь, чтобы выправить мне паспорт (у меня еще нет «отдельного вида» *), а если смогу выехать за границу, то и о заграничном паспорте позаботиться. Но теперь на море все штормы, куда же ехать! Даже удивляюсь, что мне именно теперь стало лучше. Может, оттого, что я никуда не хожу и ничегошеньки не делаю (даже для белья брала швейку, чего сроду со мной не бывало!). Мне очень повезло, у меня отличная прислуга, девушка из Малой Перещепины, которая приехала сюда «на поправку», но не имеет возможности прожить без службы. Она заинтересована жить у нас, потому что «маленькая семья» и не тяжелая работа, а мы рады ей, как девушке честной и очень аккуратной, даже порой сверх меры. Она уже свыклась с тем, что с нами можно говорить «по-простому» и уже не терзает мне ушей тем «новорусским» жаргоном, который

господствует в нашем дворе. Наши хозяева полтавцы и вся дворня с Украины, но язык у них таков, что больно слушать (хотя хозяйка подписчица «Родного края» и величает себя «малороссиянкой»), достаточно сказать, что кухарку Горпину зовут Грушей... Здесь живет один большой твой почитатель — Храпаль, брат «знаменитого», но сам не знаменитый. Просил тебе кланяться, хоть ты его и не знаешь. Да и он в лицо тебя не знает и долго думал, что я это ты, а потом никак не мог разобраться в комбинации Драгоманова-Косач-Квитка, кто как прозывается и почему и как сюда приходится «писатель Квитка». Совсем запутался господин хороший! А он и без того странноватый... Я скрываюсь от его бесконечных разговоров, а Клёню он часто «песочит», уговаривая бросить службу и заняться садовничеством. — Есть у нас квартиранты — два молодых русачка — «третий элемент» здешнего земства и управы, парни спокойные и нам не задают хлопот, потому что и не обедают у нас. Оба «северные», из Вологды. Порой рассказывают бытовые анекдоты о своей стороне, например, как там бабы кладут в молоко «холодяночек» *(лягушек)*, чтоб оно не прокисало, и это молоко пьют все. Наша перещеплянка чуть в обморок не упала, ужаснувшись такого «обычая». Пока я не могла ничего писать, я много перечитала русских новинок, которые мне понадавали знакомые. Читала «Шиповник» *, «Землю» *, «Жизнь» и «содержание оных» по большей части «не одобрила». Да, оскудение... Самые интересные Муйжель и Шолом Аш, остальные претенциозны и мало интересны. Как бы Андреев не кончил так же, как и Мопассан; я об этом серьезно подумала после его «Проклятия зверя». В русской литературе удручает не столько порнография, сколько сумбурность и беспомощность мысли и фантазии, беспомощность в решении даже элементарных психологических проблем. Именно это наиболее неприятно мне и в прославленных «Ступенях жизни», да и в драме Пахаревского. Так, как будто бы люди пишут с завязанными глазами...

Ах, до чего смешно мне было читать рецензии на мою «Кассандру» *! Люди, очевидно, приняли ее за бы-

товую пьесу «из троянской жизни»! А Перец, должно быть, никаких стихотворных драм не знает, кроме ложно-классических да интерлюдий XVII—XVIII веков. Вот не может мне «критика» даже похвалой угодить...

Клёня ходит помаленьку на службу, а кроме того, зубрит «нотариальное». Мечтаем мы как-нибудь устроиться если не в Крыму (что страшно трудно), то в Бессарабии или на южном Подолье, иначе придется снова тащиться на Кавказ, а этого так не хочется, что и сказать трудно. И все же должны мы держаться юга из-за этого туберкулеза.

Будь здорова, мамочка, крепко, крепко целую тебя и всех наших. Клёня кланяется.

*Твоя Леся.*

### 85. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*11/IV (28/III) 1910.*
*Egypte, Hélouan, villa «Continental»*

Милая мамочка!

Пора уже нам условиться, где мы встретимся, когда буду возвращаться «во-свояси». Был у меня план заехать погостить к Лиле, с тем чтобы дальше продолжать инъекции против туберкулеза, которые, вероятно, здесь кончить не удастся. Но из этого плана, повидимому, ничего не выйдет, во-первых, потому, что Лиля навряд ли будет в Екатеринославе, во-вторых, потому, что я все же боюсь большого détour [1] на Екатеринослав, так как я не совсем поправилась, а если и это по дороге растеряю, то привезу немногим больше, чем вывезла... По той же причине (второй) страшновато мне и в Киев ехать, хоть и очень хочется, — в Киеве, кроме усталости с дороги, будет суета, от которой могу избавиться разве в том случае, если раскисну так, как было при проезде из Берлина, от чего, конечно, избави бог. Предусмотрительней всего для меня остановиться в Одессе и просить тебя и Лилю приехать (Дора, наверно, будет занята экзаменами, а Михасю, кажется, не до разъ-

[1] Крюка *(франц.)*.

ездов). Но, если это для Вас обеих невозможно или возможно на очень короткое время, тогда я все-таки приеду в Киев, так как не в силах, побывав на украинском берегу, не увидеть своей семьи. Тут только одна маленькая «загвоздочка»: надеясь на гонорары от тебя и от «Вестника», я не обеспечила себе заблаговременно высылки добавочных денег с Кавказа (и вообще это очень трудно сделать из такой trou [1], как Телав), а, принимая во внимание, что простые письма идут иногда *целый месяц*, рассчитывать на то, чтобы получить денежное письмо (в Телаве же банков нет) до начала мая старого стиля, когда я думаю выехать, уже невозможно. Пока о моих гонорарах ничего не слышно, мои здешние заработки уменьшились, так как осталось только два ученика, а все остальные убежали от хамсина (alias [2] самума), так же как и те миллионеры, которые давали мне переводить торговые контракты, поэтому финансы мои теперь в таком состоянии, что их разве только в обрез хватит на возвращение домой. Вообще меня это «подсекает» — не могу даже купить хорошего летнего платья, ведь «лечебного» бюджета сократить никак нельзя, приходится выгадывать на чем-нибудь другом. Я, правда, и сама, пожалуй, виновата, что отказалась в свое время от «аванса», который мне предлагал «Вестник», но я не была уверена, «вылезет ли на свет» моя поэма *, а при таких условиях аванс походит на «подачку» — я же еще до такой нищеты не дошла. Можно бы теперь написать, чтобы сейчас прислали за ту часть, которая уже напечатана в III книге, но как-то неловко это делать. Однако если ты не можешь прислать мне сейчас за «Иоанну», то будь любезна передать редакции «Вестника» просьбу о быстрейшей высылке части гонорара. Не пишу пока непосредственно в «Вестник», так как мне легче писать о подобных вещах тебе, нежели чужим людям. Хотя вообще, должна признаться, неприятно об этом писать кому бы то ни было — таков уж отроду мой характер. Я бы и на этот раз ничего не сказала, если бы ты не

[1] Дыры *(франц.)*.
[2] Иначе *(лат.)*.

написала как-то, что дела «Родного края» улучшились и что тебе не очень трудно будет мне заплатить. Может быть, ты думала, что скоро увидимся и что сейчас не стоит присылать, но я тебе пишу, как действительно обстоят мои дела, и буду благодарна, если ты обратишь на это внимание.

Чтобы сразу покончить с денежным вопросом, напомню еще об одном деле, не с тем, чтобы просить сейчас его уладить, а только потому, что если не принять во внимание этого теперь, то потом будет трудней для всех. Речь идет о тех деньгах, которые папа не мог мне полностью выплатить, когда продавал землю. Точнее, это не 1000, а 900 рублей, хотя папа говорил в Ялте, что через некоторое время хочет мне прислать «для круглого счета» 1000. Я это «округление» не считаю обязательным, а что это было именно 900 рублей, помню вот почему: папа писал, присылая мне 800 после продажи, что он взял из моих денег 500 рублей, на залог за Мих. Вас. (как раз тогда был арест), 250, чтобы послать экстренно за границу Оксане, и полтораста пошло на домашние нужды в Киеве. То же самое папа повторил мне в Ялте, обещая вернуть «круглым счетом», когда будут деньги, а я тогда искренно говорила, что дело не к спеху, хотя, конечно, уже и в то время, по причине «лечебных бюджетов» мои фонды потерпели немалую аварию: почти два года жизни без заработков в Ялте, Евпаторийском санатории, Берлине... ну, а теперь присоединился еще и Египет...

Я и теперь не настаиваю, но если потом это будет для вашего общего бюджета труднее, чем в ближайшее время, то, может быть, мы уладим это сейчас, в мае, когда увидимся. Поэтому и пишу заблаговременно, чтобы вы могли решить, как будет для вас удобней и чтобы потом уж не нужно было ни писать, ни разговаривать на эту тему.

Теперь еще другая тема, отнюдь не более приятная: мое здоровье. Что-то с ним нет никакого сладу. Может быть, напрасно я решилась делать инъекции туберкулина (препарат «endotin»), вот уже два месяца прошло с тех пор, как я их делаю, и только 19 дней была нормальная температура, а то все «реакция», да к тому

же отозвалась было и моя *нога* (sic!). Вероятно, там осталась от Бергмана какая-нибудь недорезанная бацилла и так мне *целый месяц* упорно надоедала, что временами и до плача доходило, ja, das war etwas! [1] Сейчас она уже привыкла к туберкулину, или, может быть, ее одолели хамсин и серные ванны, но уже одумалась и не мешает ни спать, ни ходить, хотя временами дает себя знать. Скорей все-таки хамсин и эта сера помогли, так как с туберкулином мы сделали на некоторое время перерыв и занялись ногой. Пробовали было «солнечную ванну», но тут вышло что-то странное: t° подскочила до 38°, пульс до 115, и пока что мой врач как-то боится повторить этот опыт. Уж не рассердился ли на меня мой бог Ра за то, что я, кроме его небесной силы, обращаюсь к нечестивым земным лекарствам, всевозможным endotin'ам. Но ведь le vin est tiré, il faut le boire [2], окончу уж этот «курс», а если анализ не покажет серьезного улучшения почек, то будь он проклят, этот endotin, от ныне и до века. Хоть врач и говорит, что эти «курсы» нужно время от времени повторять в продолжение двух лет, но с меня довольно и одного курса — себе дороже стоит.

После этого едва ли нужно объяснять, почему не написала «Перуна»? Не до того было (только и могла писать контракты, даже письма не писались). За последние дни хоть воспрянула духом, и под влиянием хамсина могла писать только на египетские темы: «Хамсин», «Дыхание пустыни», «Афра» (так называются стихи). Ох, если бы ты видела этого рыжего демона хамсина, как он превращает мир в желтый кошмар! Действительно, злой дух — Тифон!.. А потом уже «тихий хамсин», без песка и летающих в воздухе камней, только с желтым колоритом и с t° 30° R «в тени», а потом еще было «дыхание пустыни» с той же t°, но уже без желтого колорита, а потом была «афра» — мертвая тишина с белым от жары небом (t° все та же), наконец северный ветер и дождь. Теперь у нас t° Гомерова Олимпа, и мы наслаждаемся. А то были такие

---

[1] Да, это было нечто! *(нем.)*
[2] Вино открыто, и нужно его пить *(франц.)*.

«египетские ночи», что чуть с ума не сошли. Гелуан наполовину опустел от массового панического бегства приезжих. Но я удовлетворена, так как хотела знать, что такое настоящая Африка. Теперь знаю. Ну, довольно. Будь здорова, мамочка, поцелуй наших, кто с тобой. Целую тебя крепко.

*Твоя Леся.*

Твое письмо, отправленное из Гадяча, я получила. Чтоб ей, этой машине! Вот еще несчастье!

### 86. Н. К. КИБАЛЬЧИЧ

*24/IV 1910.*
*Hélouan. Egypte.*

Дорогой товарищ! Ваши письма я получила, но, как видите, только теперь отвечаю. То хамсин, то работа, то переезд на другую квартиру (но писать мне можно и на старый адрес), то просто разные petites misères [1], которые владеют моей жизнью, все это заставляет меня быть виноватой перед своими корреспондентами, а их, я надеюсь, приучает к христианской добродетели — снисходительности.

«Эскизы» Ваши я читаю. Не знаю, почему только Вы их назвали эскизами, — это вещь assez suivie [2]. Вероятно, этим Вы хотели оправдать неотработанность формы, но это не так заметно, как Вам кажется. Я бы даже на Вашем месте кое-где выбросила эту выразительность описания (например, объяснение поведения Химчина), ибо оно не дает возможности читателю самому думать читая. Вообще Вы напрасно так пессимистически относитесь к своим произведениям — все они интересны, а это главное, что же касается отработки, то это «дело поправимое», если не теперь, то при отдельном издании. На мой взгляд, в Ваших деревенских рассказах, кажется, слишком много черной краски, но возможно, что Вы лучше меня знаете современную

[1] Мелочные заботы *(франц.)*.

[2] Достаточно последовательная *(франц.)*. Определенного мнения об «Эскизах» я еще не составила, потому что прочла только часть — жду конца, чтобы поговорить. *(Прим. Леси Украинки.)*

жизнь деревни, поэтому не буду защищать свой взгляд. Что же касается «Украинской хаты» *, то Вы меня подобными spécimens [1] не удивите: j'en ai vu de toutes les couleurs [2]. Вот, например, «Вестник» все еще «исправляет» форму моих стихотворных произведений, хотя я достаточно убедительно просила «оставить мои грехи на моей совести»; исправляет старательно, вплоть до полного разрушения стихотворного размера... Что поделаешь? Ведь нам *платят!* — нужда скачет, нужда пляшет! И подумать только: скоро тридцать лет исполнится, как я впервые взяла для стихов перо в руки (правда, я его немного рано взяла), а меня все еще «исправляют» (вот и мама в «Родном крае» кое-что «выправила») — вероятно, я так и умру «молодой писательницей», которая без редакторской ферулы не в состоянии шага ступить. Но, по правде сказать, мне это уже «невмоготу», — вот, возвращаясь домой, вероятно, буду в Киеве: там я выскажу свое мнение редакторам en forme definitive [3], может быть, все-таки, наконец, это их хоть немного убедит. Не знаю, почему, например, в русской литературе ни один редактор не решится исправлять какого-нибудь Андрея Белого etc., а меня все «исправляют». Неужели я хуже Андрея Белого? — Не думайте, что это во мне мания непогрешимости говорит, — нет, мои редакторы, наверно, умнее меня, только зачем они мне размер портят?

Я послала бы Вам свою драматическую поэму «В пуще», но «Вісник» никому оттиска не дает, да она еще и не отпечатана. Может быть, пришлю Вам с Украины, если достану там другой экземпляр. Уезжаю я отсюда 13 мая нов. стиля, значит, буду на Украине числа 20-го, пробуду там (только еще не знаю, в Киеве или только в Одессе) недели полторы и двинусь на Кавказ к мужу. Куда именно поеду на Кавказ, еще не знаю, потому что муж меняет место службы, но скоро ли это будет, еще неизвестно, — возможно, впрочем, что и до моего приезда. Когда все выяснится, Вас уведомлю.

[1] Образцами, номерами *(франц.)*.
[2] Я видела их всех цветов *(франц.)*.
[3] В окончательной форме *(франц.)*.

Уезжаю я отсюда с весьма сомнительными приобретениями во всем, что касается здоровья. Кажется, я ошиблась, затеяв инъекции туберкулина, потому что пока их не было, я чувствовала себя лучше. А теперь температура бывает редко ниже 37°, вес все меньше, чем был до инъекций, два месяца болела нога, которая уже десять лет после операции коксита не давала себя знать (да и теперь она еще немного побаливает), и общее самочувствие хуже, чем было в первые два месяца пребывания здесь. Это я пишу больше для сведения Вашего мужа, как человека медицинской профессии, — может, попадется ему когда-нибудь пациент с туберкулезом почек, пусть имеет в виду такой «прецедент» с инъекциями туберкулина при этой болезни.

Литературные мои приобретения тоже невелики: написала маленький цикл стихов «Египетская весна» (послала в «Рідний край») и вот заканчиваю (собственно выглаживаю) написанную в прошлом году драму из первых веков христианства «Руфин и Присцилла». Сначала выправляю я, а потом уж будут выправлять редакторы — «ни аминь, ни господи помилуй», как тот поп, что «розсвячивал» мирянину хату...

Есть у меня к Вам просьба: придерживайте там Аджемову, чтобы не слишком по экскурсиям и прогулкам металась, иначе она плохо кончит, как кончила ее покойная сестра, я за нее очень боюсь.

Целую Вас крепко. Вряд ли до приезда на Кавказ буду иметь возможность писать, кроме открыток. Поклон г. Козловскому.

*Ваша Л. Квитка.*

### 87. А. Е. КРЫМСКОМУ

*14/X 1911 г.,*
*г. Хони, Кутаисской губ.*
*Кутаисского уезда.*

Дорогой товарищ!

Только 9/X получила Вашу посылку и письмо. Я уже думала, не случилось ли какой-нибудь задержки с тем отрывком, но tout est bien qui finit bien[1]. А за

[1] Все хорошо, что хорошо кончается *(франц.)*.

книжку большое спасибо, я люблю такие вещи, несмотря, а может быть именно потому, что сама ничего подобного создать не могу. Только я подумала, не следовало ли Вам хоть немного оставить арабистику, чтобы сберечь глаза и взяться за какую-нибудь историю, которая не требовала бы чтения таких ослепляющих материалов, как арабские... Разве нельзя переменить кафедру? Если бы только Вы приняли это не за обыкновенный «добрый совет», а подумали бы об этом как следует и спокойно. Иначе — да погибнут все арабы вместе с их литературой, если Вы должны из-за них жить под таким страхом...

Что касается изломов и тому подобного, я надеюсь, что Вы не принимаете субъективности Иоанны и Оксаны * au pied de la lettre [1], так как лучше, чем кто бы то ни было другой, должны знать, какая это обида живым, существующим людям. В Иоанне нет ничего субъективного, разве только в ее отношении к учителю «et tout le reste est de la littérature»! [2] Можете быть уверены, что моя душа никогда не жила в «доме Хусы», иначе бы она давно умерла. Что касается Оксаны, то жизнь давала больше *намеков* на ее драму, но только намеков; и здесь больше чем где бы то ни было подходят слова Sainte-Beuve: «Le drame c'est une exagération à propos» [3]; субъективное в ней есть, но последние годы здесь мало в чем сказались (разве только в том, что ничего не изменили в этом направлении); и десять, и пятнадцать, и двадцать лет назад она могла бы появиться на свет, разве только немного в другой одежде (есть даже один подобный незаконченный план*, который относится, кажется, к 1895 году). Видите, какая причудливая штука эта субъективность... Ключ к ней вот какой: я принадлежу к тем людям, которые если видят маленькое облачко, то им кажется уже, солнце погасло; а если увидят луч, то думают, что солнце живет в их душе; только я почему-

---

[1] В буквальном смысле слова *(франц.)*.

[2] И все остальное — литература *(франц.)*.

[3] «Драма — это преувеличение, сделанное по поводу» *(франц.)*.

то могу работать главным образом в облачное время, а в солнечное становлюсь по большей части не способной к выражению своих чувств в слове (хотя и то не всегда). Кроме того, вспомните «Brightest in dungeons, Liberty, thou art» [1] *; давно когда-то я взяла такой эпиграф и с тем же правом могу повторять его и теперь. Если взвесить как следует, то перелома я никогда не испытала, хотя, конечно, эволюция была и у меня. Жизнь ломала вокруг меня только обстановку (ну, и кости мои, если случалось), а характер мой, сложившийся очень рано, никогда не менялся, да и вряд ли когда-нибудь изменится. Я человек эластически-упрямый (таких много среди женщин), со скептическим умом и фанатическим чувством, да и очень давно усвоенным «трагическим мировоззрением», а оно хорошо для закалки. Одна моя знакомая, еврейка-сионистка, женщина очень несчастная в жизни, так ответила друзьям, удивлявшимся, как она отважно принимает всякое несчастье: «А где это написано, что я должна быть счастливой?» Разве это не мудро сказано?..

Жизнь моя в конце концов не была бедной, и стыдно мне было бы плакаться на нее!

Боюсь, что если бы мы с Вами чаще и больше виделись, то я показалась бы Вам монотонной именно из-за этой «неломкости», которая Вас так восторгает, — может быть, это просто вошедшая в поговорку женская живучесть («женщина, как кошка — как ни брось, все на лапы станет», — знаете?)...

Ваши слова на тифлисском перроне я хорошо слышала и думала: «Зачем этот хороший человек так мучает себя добровольно?» Я и теперь не понимаю, что именно мешало нам тогда чаще и больше видеться? Неужели насмешки Ваших тогдашних друзей над нашей дружбой? (Вы что-то говорили мне об этом в Тифлисе.) Вот могу сказать, что до этого знаменитого господина Qu'en dira-t-on? [2] мне тогда (да и всегда)

---

[1] Английская цитата в письме искажена. Приблизительный смысл: «Самое светлое в подземной темнице — свобода, это ты».

[2] Что на это скажут? *(франц.)*

не было никакого дела, тем более что он никогда не награждает за приносимые ему жертвы. Ну, да это все tempi passati [1], а теперь Вы должны когда-нибудь приехать ко мне, именно приехать, а не мимоходом, как обычно, забежать. Я думаю, Вам не будет у меня плохо; правда, у меня нет «ни красивых оранжевых ковров, ни кубка из яшмы» *, чтобы Вас угощать, но зато рядом со мной нет «Хусы», а есть добрый и внимательный друг *, который умеет уважать и моих друзей и мою дружбу.

Зачем нам думать о катастрофах, дорогой товарищ? Они висят над всеми нами, но, к счастью, мы не знаем, когда они обрушатся. Вот я приглашаю Вас в гости, а суждено ли мне столько жить, чтобы я могла «дождаться этого праздника?» * Правда, берлинское «светило» отмеривало мне пятнадцать — двадцать лет жизни, но вот уж миновало с той поры пять лет, последние пять, может быть, будут такими, что и на жизнь будут мало похожи; значит, остается пять — десять лет более или менее нормальных, а если и дальше мы будем так же, как и до сих пор, встречаться раз в пять лет по три часа, сколько же это получится? Подсчитайте сами. Однако я могу прожить столько, сколько Победоносцев, назло всем светилам, — я ведь, говорю Вам, страшно упряма! Пока что я чувствую себя не хуже, чем тогда, когда Вы меня видели. Но это с тех пор, как настала сухая осень (здесь это лучшее время года). Летом было хуже, так как все шли дожди, и однажды со мной случился острый припадок, но недолгий. Зимою вряд ли будет хорошо, но в Египет я добровольно не поеду, разве что семья насильно отправит. Довольно с меня уже блуждать по миру, да и радикального это ничего не дает, только постоянное накладывание заплат... Нужно было в Египте родиться, тогда, может быть, и был бы толк; но самая худшая ошибка моей жизни — что я выросла в волынских лесах, остальное все только логические последствия. Но все же я не поминаю лихом волынские леса. Этим летом, вспомнив о них, я написала драму-фее-

[1] Прошедшие времена *(лат.)*.

рию * в их честь, и она дала мне много радости, хотя я отболела за нее (без этого уже нельзя!). Это собственно Märchendrama [1] по терминологии Гауптмана (так он называет свой «Потонувший колокол»), но я не знаю, как бы это на нашем языке назвать. Знаете ли Вы, что я очень люблю сказки и могу их выдумывать миллионы, а вот до сих пор не осмеливалась писать. Ну, довольно, нельзя же Вам все читать мои каракули. Если хотите, буду писать Вам на пишущей машинке (у меня есть, и я иногда пишу на ней), но, может быть, Вы этого не любите. Будьте здоровы.

*Ваш друг Л. К.*

### 88. О. П. КОСАЧ-КРИВИНЮК (СЕСТРЕ)

*27/X 1911.*
*[Хони.]*

Милая Лилинька!

Будь любезна, отнеси все эти рукописи в «Вестник». Я торопилась их приготовить теперь потому, что в «Вестнике» осенью определяется очередь на будущий год, и не хочется мне опять, так же как с «Руфином», дожидаться последней очереди, так как в этом, кроме морального, есть и материальное неудобство. Передай при этом мою просьбу теперешнему заведующему редакцией, что, когда будут печатать мелкие вещи * (их три, а одна большая), пусть не печатают больше, чем по одной в каждом номере. Забери при этой оказии «Руфина и Присциллу» * (рукопись) и присоедини к архиву, находящемуся в Каменке; когда-нибудь эта рукопись, может быть, понадобится, если представится случай издать эту пьесу с неиспорченным текстом, на что я не теряю надежды.

Мне очень досадно, что я не могу тебе послать теперь же и «Истории», но я все еще «учусь» для нее, так как немало нового вышло с той поры, да и старое уже я позабыла; а если уж исправлять, то нужно сознательно — не только стиль. Должна признаться, что

[1] Сказочная драма *(нем.)*.

и эта новая драма (которую теперь посылаю — «Лесная песня») немного мне помешала. Правда, писала я ее очень недолго, десять — двенадцать дней, и не писать никак не могла, таково уже было непреодолимое настроение; но после нее я была больна и довольно долго «приходила в себя». Потом переезд, устройство и т. п. После принялась ее переписывать, никак не думая, что это отнимет значительно больше времени, чем писание, — только вчера окончила эту возню, и теперь отчего-то у меня шея и плечи болят, словно я мешки таскала. И вот я теперь ни на что не годна!.. В то же время я «училась» *, и уже мне мало осталось доучиваться, — около недели. А затем — исправление рукописи дело недолгое. Наконец, вступительную часть я тебе теперь высылаю («в задаток»). Вероятно, это один печатный лист; может быть, теперь начнешь печатание, а дальше я буду высылать, если хочешь, по частям, по указанному адресу. Может быть, ты в Киеве найдешь кого-нибудь, кто занялся бы корректурой и т. п., а может быть, в Екатеринославе будешь печатать? Напиши мне об этом. Я теперь долго не задержу. К сожалению, к вступительному разделу у меня нет рисунков, так как книга Ménard'a * порвана (начало вырвано), и нет двух интересных древних «карт мира» — не знаю, где их искать; рисунки к «Каменному веку», может быть, ты найдешь в каких-нибудь изданиях по археологии. Где-то у нас была книжка «L'homme sauvage»[1] * (забыла автора), там были неплохие рисунки оружия, каменной посуды и т. д.

Здоровье мое ничего, только температура опять повысилась и по вечерам болят ноги.

У Клёни очень много работы, потому что сезон «молодого вина» дает себя знать всяческими убийствами, порой совсем бессмысленными. Вообще это несчастье, что Клёне пришлось в свое время избрать эту «юриспруденцию» — она ему совсем не по характеру...

Я получила книжку «Вестника» за сентябрь, а за октябрь еще нет. «Родной край» получила за июль.

---

[1] «Первобытный человек» *(франц.)*.

Целую крепко тебя с Михалем и маму. Г. Петруненко мой привет. Будь здорова.

*Твоя Леся.*

Хотела написать подлиннее, да вот опять «некогда». Клёня тебя целует. Феоктиста Семеновна кланяется.

### 89. О. П. КОСАЧ-КРИВИНЮК (СЕСТРЕ)

*16/XII 1911.*
[*Хони.*]

Милая Лилинька!

Последние наши два письма разминулись. И, значит, ты уже получила ответ, почему я не писала тебе в Киев, а я имею известие о своей посылке. Мне приятно, что ты видела Михаила Сергеевича, так, может быть, дело будет немного быстрей, чем обычно, а то у них «ящик» слишком «долгий». Любопытно, что, обсуждая «литературную продукцию» какого-нибудь автора за какой-нибудь год, критики никогда не принимают во внимание эти «ящики», а обвиняют исключительно самих авторов. Ну, да это еще наименьшее зло. Неожиданным был для меня успех фантастики среди аудитории старших членов семьи — людей, воспитанных на традициях реализма; но тем лучше, разумеется; я ничего не имею против того, что это чтение состоялось. Каждый «пророк» больше всего добивается «славы в отечестве своем и в семье своей», может быть, именно потому, что этого всего труднее добиться. С картинками для истории, я думаю, дальше будет не так трудно. Если их не будет для вступительных разделов, то это еще не беда — рисунки оружия каменного века и т. п. часто встречаются в книгах (например, в начале краткой истории Грушевского). Можно будет заказать какому-либо ученику художественной школы снять хотя бы литографским способом соответствующие рисунки по Менару и Масперо. Я думаю, это будет и нетрудно и недорого. Для лучшего понимания на два-три типичнейших рисунка можно сделать клише, но на этом не стоит настаивать, если это трудно и дорого. Историю

я пересматриваю, но вижу, что кое-что придется написать заново; кроме того, раздел, который теперь является вступительным (об арийцах), нужно будет поставить в конце, как у Менара, так как эта история и менее древняя, нежели египетская и вавилонская, и менее исследованная; к тому же история персов связана с историей Ассирии, а эта опять-таки более древняя. Это не вызывает большой ломки плана. Все-таки работа идет не очень быстро, часто прерывается другими делами или нездоровьем. Как-то у меня с наступлением зимы упала энергия. Хотя зимы, в настоящем ее виде, со снегом и морозами, еще не было (только по ночам было —1°, а снегу еще не видели), но погода часто меняется, бывают страшные ветры, и в таких домах, какие здесь, они очень донимают. Одно хорошо, что в этом году осень очень сухая (а может быть, это здесь и всегда так), дождей мало, и порой выпадают прямо райские дни, как, например, вчера (+14° по Реомюру в легкой тени и +22° на солнце!). Последние две недели вообще было очень тепло, только часто ветер, как вот и сегодня. В сентябре и до начала ноября я чувствовала себя хорошо, а там уж как-то вдруг переломилась погода, дома было холодно (потому что здесь в домах вообще невелика разница с уличной температурой), и я уже «утратила юмор», — начались частые головные боли, то бока болят, то спина, то «ноги вянут», то «отрезки» выделяются, то температура скачет, и так какая-то общая слабость нападает. Но ничего такого острого, как бывало в прошлом году в эту пору даже по сравнению с летним состоянием, и мне теперь лучше, потому что нет острых приступов. Если настоящая зима (в прошлом году она началась здесь с рождества) ничего хуже не покажет, можно будет сказать — слава богу.

Вот уже пришли под окно колядовать ребятишки (здесь *колядуют перед* рождеством, в последнюю неделю поста) — значит, наступило рождество. Но здесь колядуют хуже, чем у нас, и вообще хуже поют, а на мой слух совсем плохо.

Оксана и Дора мне писали. Дора сообщила, между прочим, что пришлет мне сорок рублей через тебя.

Я не совсем понимаю, почему именно так, но ты, наверное, понимаешь, а мне все равно. Только в этом случае у меня к тебе просьба: если ты пошлешь мне эти деньги, то удержи из них, сколько потребуется, чтобы оказать мне, если это возможно, одну услугу. Я почему-то думаю, что в Екатеринославе должно быть хорошее натуральное масло (там же немцев много кругом), если это и в самом деле так и если тебе нетрудно его купить (ты же, наверное, и себе покупаешь), запаковать и отправить сюда, я буду тебе очень благодарна за такую посылку, потому что мы здесь очень мучаемся с этим продуктом: крайне дорого (65—80 к. фунт), да еще и совершенно очевидная фальсификация. А мне приказано его есть, да и Клёня в нем нуждается. Если пошлешь почтой, адресуй прямо сюда, но тогда посылка должна весить не более семи фунтов, иначе очень дорого обойдется. Если же «товаром большой скорости» (как багаж), тогда можно и больше (хоть $^1/_2$ пуда), но сюда железная дорога не идет, нужно адресовать в Кутаис «на предъявителя», а сюда прислать только накладную. Как тебе будет удобнее и менее хлопотливо, так и пошли. Только, конечно, если у вас местного масла не продают, а только в магазинах (например, фирмы Чичкина и т. д.), моя просьба отпадает, потому что такое масло есть и здесь.

С нашим возвращением в Кутаис пока еще ничего не слышно (вероятно, и масло дойдет, пока это состоится), да и вообще до нового года вряд ли что-нибудь произойдет. Теперь как-то у Клёни работы стало поменьше, какой-то просвет появился, а то прямо отчаяние брало.

Это письмо, наверное, застанет тебя уже не одну, а с гостями — семьей, тогда все, что говорю теперь, пусть пригодится позже: даже одиночество на своей сторонке не может быть таким неприветливым, как жизнь хоть и с близкими людьми, да на чужбине; ведь там у тебя каждый твой шаг, каждое слово может кому-нибудь и чему-нибудь пойти на пользу, да и с тобой каждый чужой человек по-родному заговорит, а здесь... ни себе, ни людям.

Боюсь только, что Клёня не выдержит настоящей

зимы (он и здесь даже небольшой холод плохо переносит), а то бы уже настояла, чтоб вернуться «на тихие воды», — со мной пусть будет, что будет, уж очень надоело «скитаться»...

Будь здорова, золотая моя. Если Михалю нетрудно и немешкотно, то, может, он мне что-нибудь написал бы или нарисовал, а то я скучаю по нему. Целую крепко тебя, Михаля и всех из семьи, кто с тобой.

*Твоя Леся.*

Клёня и Феоктиста Семеновна приветствуют тебя.

### 90. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*20/XII 1911.*
[*Хони.*]

Милая мамочка!

Как раз сегодня я собиралась тебе писать, когда получила твое письмо, очень меня порадовавшее и само по себе и своими приложениями. Да, все-таки и приложениями — в них радует не столько хвалебный тон, сколько тот факт, что кто-то, кроме близкой родни и друзей, порой внимательно читает мои, как говаривала госпожа Русова, «кованые» вещи, так как иногда мне казалось, что мои драмы относятся к таким, которые «хвалят, но не читают». (Русова, например, *не читала* ничего, рецензируя *.) Но довольно доказывать, быть гласом вопиющего в пустыне все-таки никому не весело, хотя бы он, как и я, так же мало претендовал на популярность. Не думай, однако, что я мало ценю внимательное чтение со стороны своих близких; нет, я его ценю *больше всего,* это я говорю вполне искренно и успех «Лесной песни» у вас считаю своим большим триумфом, тем более что я на него почему-то не надеялась. Мне казалось, что ты не одобряешь такого стиля (ты советовала мне не писать фантастические драмы по другим причинам, но мне казалось, что и «по существу» ты имела что-то против этого, хотя теперь вижу, что ошибалась). А я «неравнодушна» к этой пьесе, она мне подарила больше дорогих минут вдохновения, чем

какая-либо другая. Относительно влияния Гоголя, то, насколько могу уловить сознанием, его не было. Мне кажется, я просто вспомнила наши леса и затосковала по ним. И, кроме того, я давно уже эту мавку «в уме держала», еще с той поры, как ты в Жаборице мне что-то о мавках рассказывала, когда мы шли каким-то лесом с маленькими, но очень частыми деревьями. Потом я в Колодяжном в лунную ночь убегала одна в лес (об этом никто из вас не знал) и там ждала появления мавки. И под Нечемным * она мне грезилась, когда мы там ночевали — помнишь? — у старого Льва Скулинского... Видно, нужно было мне о ней когда-нибудь написать, а теперь почему-то пришло «надлежащее время» — я и сама не знаю почему. Зачаровал меня этот образ на всю жизнь. Теперь это очарование передалось и Клёне — он относится к этой поэме, как к живому человеку, — мне даже странно... Вот только досадно, что никак нельзя перевести на наш язык термин Märchendrama — «драма-феерия» — то да не то! Как бы это сказать? «Драма-сказка» — как-то неуклюже, правда? И будет еще досадно, когда насадят туда типографских опечаток. Я писала им еще недавно об этом, не особенно надеясь. Quand on est bête, c'est pour toujours (это про корректора). Если бы мне не было стыдно навязывать тебе еще лишнюю работу, попросила бы тебя держать корректуру, так как я им никому не верю, там никто из них в тех размерах ничего не понимает. Уж на этот раз я очень прошу помочь мне, если для тебя необременительно, и взять это на себя. В случае надобности напишу им об этом, хотя думаю, что достаточно, если ты им это передашь (только пусть они тоже свое дело выполняют, так как это уж очень кропотливо).

Теперь я тебе скажу спокойно и от всего сердца. Если тебе нравится «Королевна», то возьми ее в «Родной край». Если я не сразу ее тебе предназначила, то это только потому, что думала — по аналогии с моими предыдущими средневековыми мотивами, — что она тебе не понравится; то же самое относится и к «Волне» — я совершенно согласна с твоим мнением о ней; доказательством этому то, что она три года ждала от-

правки в типографию (написана еще в Евпатории). Теперь послана больше как доказательство, что и «старые» поэты могут, если хотят, «трень-брень» писать, и писали их прежде, чем этот великий пример подали «молодые», но только не спешат с этим в люди выходить, так как считают это пустяком (поэтому и точная дата под стихотворением поставлена *). Другие две вещи слишком велики * для «Родного края». Когда готовила эту посылку, хотела тебе переписать одну маленькую вещь, но как-то в тот раз не хватило силы, а потом я подумала, что она словно какая-то фельетонная (зовется «Капризы музы», тема, что муза никогда не хочет делать того, что «должна», а только то, что вздумается). Она уж года три, как написана, да все вылеживается. Вообще ко всем этим вещам, которые я считала заслуживающими печати в последнее время, я переменила отношение, как ты и сама заметила. Кроме того, мне как-то неприятно и с тебя непременно брать гонорары, как с других (ведь я и так взяла у тебя деньги на «Египет» ни за что, ни про что), а не брать, к сожалению, не могу, ибо теперь это не роскошь, а необходимость. Вот и это меня как-то стесняло, да стесняет и сейчас...

«Лесную песню» я потом так выстрадала, что боялась возвращения зимней истории; другие вещи мне стоили меньше приступов, но ни одна не прошла даром. Пусть же никто не говорит, что я, «не сгорая, не болея», добываю себе «лавры», так как я буквально каждый раз горю и болею. Да еще, как нарочно, едва доберусь до какой-нибудь более спокойной работы, как «накатит» на меня непобедимая, деспотическая мечта, мучит по ночам, просто пьет кровь мою, ей-ей! Я порой даже боюсь этого, что это за мания такая? ..

Ну, однако, и письмище! Будет ли ему конец? Еще хочу написать Доре и Ласочке. Чтобы не повторяться, напишу Ласочке о том, что хочу просить тебя дать, а ее прислать. Привезла ли тебе Лиля те книжки, которые я у тебя брала? Я послала их еще в сентябре или августе вместе с большим транспортом других вещей (знаю, что она его получила в свое время) и просила отвезти тебе. Если не отвезла, то они у нее до сих пор.

Чуть-чуть не забыла: когда и как думает Наташа выпустить свой сборник? Клёня просил передать, что если ей нужны записанные мелодии этих песен и у нее их нет, то он может дать те, какие записал с моего голоса (есть на все обряды), если только это издание будет под одной *нашей* (в более широком значении), а не чужой фирмой. По-моему, следовало бы. Хотя, конечно, было бы лучше без затей записать мелодии у «народа», но пускай хоть так, чем никак. Может быть, при случае передашь Наташе и уведомишь, что из этого выйдет? А я очень рада, что Наташа и Юрчик такой неожиданный «реванш» устроили Михасю... только этого ты пока что не пересказывай Наташе, а то еще она «допечет». «Ничего, ничего, молчание».

У нас только одна новость — в Хони нам осталось пробыть всего месяц, так как 20 января Клёня должен уже быть «прикомандированным членом суда» в Кутаиси. Это значит делать то, что делают члены окружного суда, а деньги будет получать, как помощник, то есть столько же, сколько и теперь. Это лучше тем, что на службу ходить не каждый день и что будет немного меньше работы, зато работа серьезная и, наверно, предстоят трудные разъезды. Ну да если будем в Кутаиси, то хоть от канав и пансионов избавимся. Здесь работа очень неровная и нервная — выпадает два-три дня свободных, но иногда чуть не до полуночи сидит в этой камере. Все-таки, кажется, будет лучше, если он от нее избавится. Здоровье его, что касается легких, довольно хорошо, горло лучше, чем в прошлом году, а с нервами сейчас очень скверно, особенно по ночам, но это не удивительно на такой проклятой работе...

Мое здоровье лучше, чем было в прошлом году в это время, а совсем хорошим оно не может быть.

Ну, будь здорова, дорогая мамочка! Здесь у нас под окнами колядуют, тоже можно уже сказать «святой вечер, добрый вечер»! Всем, кто теперь с тобой, мой привет. Клёня и Феоктиста Семеновна тебе кланяются.

Празднуй на здоровье. Еще раз целую.

*Твоя Леся.*

## 91. А. Е. КРЫМСКОМУ

*24/V 1912 г.,*
*Кутаис, Джаяновский переулок,*
*дом Чхеидзе.*

Дорогой товарищ!

Стараюсь привыкнуть к длиннейшим паузам в нашей переписке и все-таки не могу — как-то беспокойно становится, не больны ли Вы, не рассердились ли за что-нибудь... Может быть, я порою и лишнее что-нибудь напишу, но Вы не обижайтесь: когда пишу, у меня и в мыслях нет Вас обидеть. Пишется все, что в голову приходит. Да разве и не так должно быть среди товарищей?

И еще особенность нашей переписки: я никогда не уверена, застану ли я Вас своим письмом там, куда пишу. Так и теперь. Может быть, Вы сейчас уже в Москве, и тогда моя просьба (я вечно с просьбами! Даже стыдно!) будет немного несвоевременна, но все-таки я ее напишу. Видите ли, гнетет меня моя «необразованность» в родной истории, то есть, разумеется, элементарные знания я имею и кое-что читала, но *первоисточников* (главным образом летописей) совсем почти не изучала и поэтому не знаю стиля, *«ароматов»* древних эпох, а на чужую интерпретацию не полагаюсь. Мне кажется, что если бы я *сама* прочитала «Волынскую летопись» * или «Самовидца» *, то я бы там нашла нечто такое, чего мне не хватает у современных историков, не исключая Грушевского, а потом, может быть, и сказала бы что-то такое, чего еще не говорили другие наши поэты. Вот моя «Боярыня» теперь уже мне кажется какой-то элементарной, schwarz und weiss [1], а, наверно, она получилась бы другой, если бы я была более «образованна». У меня в голове роится несколько тем борьбы христианства с «религией моих предков» *, из времен татарских набегов (балладный мотив о брате и сестре) и из цеховой волынской жизни, манит меня образ Константина Гордиенко * (не столько его самого, как сходного

[1] Черной и белой *(нем.)*.

с ним)... и многое другое (не из политической истории, а культурной), и ничего этого я не пишу «единственно от необразования». Но у меня нет никакой возможности получить хоть немного образования, если Вы мне не поможете. Скажите, ради бога, где мне раздобыть эти первоисточники? Можно ли их купить, или нужно где-то просить? Если можно купить, только не очень дорого, так как денег у меня мало, то скажите, что и где, а я уж куплю, если же нужно просить, то помогите выпросить, так как мне самой без Вашего поручительства, может быть, и не дадут; а если что-нибудь и сами пришлете, как тогда Aulard'a *, то я уж не знаю, как Вас и благодарить. Видите, какая я? Все прошу [1] и прошу, а сама, кажется, отроду никакой услуги Вам не оказала. Я не знаю, почему это так получается, только не из недостатка моего желания чем-нибудь Вам помочь.

Пока что я писала на другие темы. «Лесную песню» мою Вы, вероятно, уже читали. Я получила за нее много комплиментов, как ни за одну другую свою вещь. Значит ли это, что она в самом деле чего-нибудь стоит, или только что она «доступна», не знаю. Слышала, хотят ее ставить на сцене, но что из нее там получится! Наверное, лучше об этом не думать. Это и есть та Märchendrama, которую я не знала, как назвать. После нее я, отхворав, сколько полагалось, написала одноактную пьесу * опять с римско-христианским колоритом (третье столетие), потом уже захворала как следует — от рождества до пасхи — острым воспалением почек [2], так что даже люди перестали говорить, что у меня «прекрасный вид», но все-таки не покаялась и вот позавчера окончила начатую еще перед пасхой новую вещь, но какую! Боже, прости меня и помилуй! Я написала Дон Жуана! * Вот того самого, «всемир-

---

[1] Вот и еще одна маленькая просьба — передайте мою записку г. Кистяковскому, я не знаю его адреса, а Вы, вероятно, с ним встречаетесь, а может быть, перешлете почтой. *(Прим. Леси Украинки.)*

[2] Это мне наказание за то, что не ездила в этом году в Египет. *(Прим. Леси Украинки.)*

ного и мирового», не дав ему даже никакого псевдонима. Правда, драма (опять драма!) называется «Каменный хозяин», так как идея ее — победа каменного, консервативного начала, воплощенного в командоре, над раздвоенной душой гордой, эгоистической женщины — донны Анны, а через нее и над Дон Жуаном, «рыцарем свободы». Не знаю, конечно, что у меня получилось, хорошо или плохо, но скажу Вам, что в этой теме что-то дьявольское, таинственное, недаром она уже скоро триста лет мучит людей. Говорю — «мучит», ибо написано на нее много, а хорошего написано мало; может быть, на то ее и выдумал «враг рода человеческого», чтобы разбивались о нее подлинное вдохновение и самые глубокие мысли... Так или иначе, но вот уже и в нашей литературе есть Дон Жуан, собственный, не переведенный; оригинальный тем, что его написала женщина (это, кажется, впервые случилось с этой темой). Только об этом еще никто из моих знакомых не знает, кроме Вас, и я прошу Вас *никому* об этом не говорить, пока этот «Каменный хозяин» не выйдет из печати. Пусть это будет «сюрприз» читателям и критикам. Вы видите, я начала «гоняться за эффектами», — разве это не признак упадка? Ах, я и так начинаю бояться за себя, что-то уж очень я расписалась за последнее время и все как-то безумно, с бессонницей, с маниакальным состоянием души, с исчерпыванием мысли, с потерей физических сил.

Можно ли так долго выдержать, да еще в мои годы и с моим здоровьем? Хотя люди меня и хвалят, говорят о «зените», но «und scheint die Sonne noch so schön, am Ende muss sie untergehen»...[1] Хотя, признаюсь Вам по правде, ощущения упадка у меня еще нет. Но вот Вам трагикомическая черточка: берусь за мировые темы, а A,B,C не знаю: как нужно говорить по-испански: Долóрес или Долорéс (испанское женское имя)? Как звучит по-испански j—h (г)? или ch (х)? Называют ли «донна» (то есть «донья») девушек или только замужних? Вот вы, наверно, все это знаете,

[1] Как ни прекрасно светит солнце, в конце концов должно оно зайти *(Гейне)*.

а я «необразованная»! Наконец, это и не удивительно, я самоучка, а Вы профессор, и я уверяю себя, что мне не стыдно.

Ну, будьте здоровы, дорогой товарищ. Очень прошу — отзовитесь.

Ваш товарищ *Л. К.*

### 92. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*24/V 1912.*
*[Кутаис.]*

Милая мамочка!

Сегодня я получила ваше большое тройное письмо, и, разумеется, это была большая радость (хотя в Лилином письме есть и горькое сообщение о расстройстве ее плана приезда ко мне). И выдумала же «белая гусыня» — автомобили, рестораны... видно, какие-то тайные законы статистики или «экономии природы» требуют известного количества «благоглупостей» на каждую семью, но, известно «когда кто хочет»... и самой Доре я по этому поводу ничего писать не стану, как и она ничего не писала по поводу моего свадебного «поезда» в трамвае (хотя и это — чем не двадцатый век?) и исключительной несвадебности свадьбы. Chacun à son gré! [1] — Важно то, что молодая пара довольна и что семья Дориного мужа симпатична, — это последнее вовсе не так безразлично, хоть они, может быть и не будут жить вместе. A propos семьи мужа — сегодня Феоктиста Семеновна выехала на какое-то время в Киев (есть там у нее всякие дела), и я думаю, что она там пробудет с месяц. Я знаю, что если ты не хотела приехать к нам, то главным образом из-за нее, и поэтому я и не настаивала (хотя я уверена, что она тебе не причинила бы неприятностей да и вообще в твоем присутствии дурных сторон характера не проявляла), но теперь решаюсь повторить и свое и Клёнино приглашение (то есть Клёня не знает причин, по которым ты не приезжаешь, но он всегда рад видеть тебя у нас). Может быть, ты как-нибудь

[1] Каждый по-своему *(франц.)*.

оторвалась бы от своей «тачки» на июнь и выбралась к нам? В июне чудесно ехать морем, и, может быть, для твоей ноги это путешествие не оказалось бы вредным (железной дорогой ехать труднее из-за многочисленных пересадок). Отнесись серьезно к моему приглашению и напиши, ждать ли тебя в гости. Поглядеть на мою и Клёнину жизнь тебе, думаю, не будет неприятно, потому что, вероятно, не очень много супругов через пять лет после брака живут, как мы, — это уже говорю, «отбросив излишнюю скромность».

Здоровье мое по сравнению с зимой вроде улучшилось, хотя все-таки бывают всяческие «пассажи». Вот в письме к г. Кривинюку я расхвасталась и хотела назавтра еще больше похвастаться в письме к тебе, а тут температура взяла и прыгнула до 38° ни с того ни с сего, да и пошли всякие «симптомы». А в последнее время отчего-то бессонница прицепилась, хотя здесь, наверное, виноваты не столько «почки», сколько новый приступ «творческого безумия», который дал мне новую драматическую поэму, но и новое повышение температуры (сегодня у меня 37,5°) да очередную серию «симптомов». Прямо хоть налагай на себя какой-нибудь пост «запрещение вина и елея», то есть чернил и бумаги. Еще нужно признаться, не были полезными для моего здоровья и пертурбации с Серым. Теперь, слава богу, я уже могла обратиться вместо него к Люде и надеюсь, что будет какой-нибудь конец той возне, которая опротивела мне до последней степени. Так и хотелось мне написать этому деятелю: «Ой, если бы, козаченьку, была я богатенька» *... но, разумеется, тогда переписка наша превратилась бы в скандал, а я этого не люблю. Граница учтивости не перейдена, и он даже собирается издавать II том моих произведений (три драмы), хотя и об этом переговоры еще не окончены.

Что касается «Лесной песни», то я просила Люду (отвечая на ее письмо), чтобы Садовский в случае серьезного намерения ставить эту пьесу [1], не изменял

[1] В обществе драматических писателей * я «состою», и «отчеты» мне присылаются, но денег за многочисленные постановки «Голубой розы» я не получила, хотя я и просила об этом в свое время — не знаю, как тут быть. *(Прим. Леси Украинки.)*

ничего, не списавшись со мной; боюсь, чтобы там чего-нибудь не «поправили», намереваясь облегчить постановку. Я понимаю, что без изменений ее очень трудно поставить, но есть предел всяким изменениям, который сценические «ретушеры» часто переходят. Точно так же я могла бы дать советы и относительно костюмов, какими я себе их представляю (выписывать все это в ремарках было бы неудобно, так как в этой вещи и ремарки имеют свой «стиль», а не только «служебное назначение»). Какое-то у меня раздвоенное чувство к этой поэме — я бы и хотела ее видеть на сцене и боюсь — не «провала» боюсь, а превращения мечты в бутафорию... ну да это вечная трагедия авторов!

Как там Ласочка — написала ли Миролюбову и начала ли перевод? Меня это интересует.

Будь здорова, мамочка. Когда-то мы увидимся? Клёне дают отпуск всего на двадцать восемь дней, и, вероятно, он никуда не поедет, — нет средств, а ехать на родину к тому же так далеко, что на такое короткое время и не приходится. Крепко целую тебя и кланяюсь Михайлову и господину Петруненко. Клёня тебя приветствует.

*Твоя Леся.*

### 93. О. П. КОСАЧ-КРИВИНЮК (СЕСТРЕ)

*5/X 1912.*
*[Кутаис.]*

Милая Лиленька! Очень благодарю тебя за двести рублей, и мне стыдно, что я до сих пор не известила тебя даже об их получении, накопились кое-какие спешные письма, а сил для писания их было очень немного, потому что, как я уже писала маме, на прошлой неделе опять началось у меня обострение в этих глупых почках... С 1 октября мне почему-то стало лучше, хотя это очень парадоксально, потому что как раз 1-го испортилась погода и пошли холодные дожди, а весь предшествующий месяц погода стояла идеальная, не хуже, чем бывает осенью в Египте, и как раз весь тот месяц мне было плохо, и я ничегошеньки не могла делать. Что же это должно означать?

Почти одновременно с твоими 200 рублями я получила 50 рублей из тех, которые были обещаны мне только в январе, и это было для меня совсем неожиданно, иначе я бы не беспокоила тебя так спешно своей просьбой или во всяком случае уменьшила бы ее размеры. Пишет мне мама, что после 5 октября она должна мне послать «гонорар» (200 р.) за одну еще не напечатанную и даже не посланную мою вещь (я ее в прошлом году читала вам в Киеве), но, поскольку мне неизвестно, действительно ли эту вещь можно напечатать, не знаю, могу ли рассчитывать на гонорар, не говоря уж о том, что гонораров таких никогда ни за что ни от кого (в том числе и от мамы) не получала, разве только, может, это для стиля так называется, чтобы не назвать как-нибудь иначе. Дора мне тоже писала, что пришлет «свою часть» (хотя она мне ничего не должна, а просто делает подарок) через твои руки. Если еще в дополнение и Микось и Оксана дадут, что собирались, то «египетский фонд» будет образован, и я уже не считаю себя вправе воспользоваться чем-либо из тех арендных денег, которые должен внести тебе Микось, а смогу вернуть тебе все или часть этих 200 рублей, которые ты теперь прислала, если Оксана не захочет засчитать их как свою долю. Конечно, мне удобнее было бы отдать их в январе или когда выяснятся мои дела с Египтом, но теперь мне пока важно, что я расплачусь с основными долгами и хоть 3—4 месяца (независимо от Египта) могу не думать об этих вечных денежных заботах. Наши здешние дела не поправляются. Переезд в Донскую сторону «разошелся как заячий жир», потому, что то место в Таганроге, на которое рассчитывал Клёня, уже отдано другому, а о самом Клёне постановлено только «иметь в виду» — это почти то же самое, что «сделаю все, что от меня зависит». Эх! Если бы не эти наши проклятые туберкулезы, которые съедают наши деньги и наши силы, я бы давно уже освободила Клёню из этой неволи, а так должна только пассивно смотреть, как он теряет силу и калечит душу, кто знает, на чью пользу... Ну, да об этом бессмысленно толковать.

Журналов от тебя я не получила, да наверное, тебе

некогда было их выслать. «История» Ефремова у меня уже есть — с надписью от Михайлы, я благодарила Михайлу через маму за книжку и надпись, да не знаю, передала ли ему мама, ведь, может, его и не было уже тогда в Киеве. Теперь у меня просьба к тебе и к нему: если были какие-нибудь рецензии на «Лесную песню» или, может быть, будут на «Каменного хозяина», будьте добры, соберите их для меня. О «Каменном хозяине» я спрашивала мнения у мамы и Люды, посылая его, но они обе никак не ответили на вопрос. Может быть, эта вещь вышла неудачной, и они промолчали, не желая «огорчать» меня, но лучше услышать осуждение рукописи и воздержаться от напечатания, чем напечатать неудачную вещь, да еще на такую ответственную тему! Ведь это позор не столько для меня, но для нашей литературы вообще, скажут: «Ну уж, разогнались хохлы с Дон Жуаном, за триста лет впервые, да и то неудачно». У меня никогда нет определенного мнения о своих вещах: пока пишу, мне кажется, что стоит писать (иначе бросаю), а когда окончу, то никогда не знаю, стоит ли это печатать. Я и про «Лесную песню» думала, что все будут только смеяться над этой «старомодной романтикой», а ее, кажется, признали моим chef-d'oeuvre'ом. Мне казалось, что я не смею умереть, не закончив «Руфина и Присциллу», а эта «книжная драма», говорил Евшан *, кажется, прошла довольно незаметно... «Каменный хозяин» мне показался первой вышедшей из-под моего пера настоящей *драмой,* объективной, сконцентрированной, не затопленной лирикой, совершенно отличной от моей обычной манеры; в то же время Клёня говорит, что эта драма «ниже своего автора», хотя все же заботился о ее напечатании, а мама и Люда молчат... Неужели так и все будут молчать? Но ведь не каждый день у нас пишут на мировые темы, может быть, стоит хоть выругать, я ведь не просила комплиментов.

Будь здорова, моя розовая, лилейная, поцелуй Михалей, Оксан и маму. Как-то там живут эти Оксаны? Целую тебя крепко, крепко.

*Твоя Леся.*

*P. S.* Как всегда, чуть не забыла о самом важном. Мама думает, что через Дарданеллы теперь страшно ехать. Страшновато это не тем, что нарвешься на мину — это даже веселее, чем быть съеденной, наконец, бациллами, — а тем, что можно, как Высокович, застрять в какой-нибудь азиатской дыре и таким образом ускорить победу тех же бацилл. Ну, да с Дарданеллами должно скоро выясниться, так или сяк, а пока что, кажется, пароходы еще ходят (из Египта ответа пока нет, но еще и рановато). В объезд на Триест или на Бриндизи ехать дороже и больше вагонной тряски, быть может и невыносимой теперь для меня, а главное, трудно мне теперь пришлось бы в австрийских вагонах, совсем не приспособленных для больных циститом; с этой точки зрения меня тревожит и переезд от Каира до Гелуана, при устройстве которого люди совсем забыли, что туда должны ездить главным образом почечные больные. Этот переезд еще и в позапрошлом году дал себя знать, а теперь я ломаю голову, как мне быть...

Еще раз будь здорова.

*Л.*

### 94. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*21—6/XI 1912 г.*
*Egypte, Hélouan, villa «Tewfik».*

Милая мамочка!

Это письмо я пишу тебе, но ты позволь его прочитать Лиле и другим, кто с тобой и кто мной интересуется, так как трудно повторять то же самое дважды. Лиля знает мое путешествие в Одессу, пребывание там и момент выезда из Одессы. Как я уже писала из Константинополя (если только мои письма отсюда и из Пирея получены), в моей каюте было три пассажира помимо меня, всех их укачало (меня нет), кроме того один из них кашлял целыми ночами и зажигал свет, было очень скверно, так как спать приходилось мало. После Константинополя стало еще хуже, так как в каюте нас было семь (хотя постелей шесть) и везде была страшная теснота и шум — греки, турецкие подданные, убегали из Константинополя, опасаясь, что если начнется осада, то турки со злости станут их

резать. Набились люди всякого положения, среди них много женщин и детей, со всем своим скарбом, так что не только каюты, но и столовая, и закоулки для пароходной прислуги — все было занято. А когда началась качка, то... тут уж и старый Данте, ужаснувшись, положил бы перо. Прибавьте к этому напрасные стоянки: в Константинополе лишний день, в Дарданеллах лишняя ночь, в Смирне целые сутки пропали, в Пирее полдня; а все это военные формальности, прохождение между минами (мы видели в Смирнском заливе мачты наскочившего на мину парохода, который пытался самостоятельно выбраться из залива), санитарные осмотры, вызванные тем, что в Константинополе появилась холера, поливание карболкой парохода, разговоры о том, что нас посадят в карантин на каком-то острове и что никому не известно, когда мы будем в Александрии, — все это вызывало тоску и напрягало нервы. Разумеется, хорошо чувствовать себя я не могла, лежа в каюте со спертым воздухом (сидеть на палубе не было сил, туда вела крутая лестница, да и вообще я долго сидеть не могу, морской болезни у меня не было, но качка плохо отзывалась на почках); как раз была «боковая качка», и трудно было устроиться так, чтобы не бросало с боку на бок, это вызывало спазмы, и я спасалась только грелкой и белладонной. На берег я нигде не выходила — трудно было, да и не было охоты, — как-то уныло выглядели турецкие города, без привычной веселой суеты, заполненные серо-зеленой формой солдат, толпами раненых, целыми караванами беженцев (их и на пристани было множество). А те, кто выходил в Константинополе, говорили, что там жутко ходить под взглядами турок...

*10. XI.* Так и вышло, что я не закончила письмо за один день и то по своей собственной глупости; пошла сама на почту (совсем не было в том крайней нужды, а так, я хотела «попытать силы»), и хоть это совсем недалеко, на этой же улице, которая и называется rue de Poste[1], но на меня это подействовало, тотчас же температура поднялась до 37,5, все заболело, бросало то

[1] Почтовая улица *(франц.)*.

в жар, то в холод, а вчера весь день очень болела голова и было трудно сидеть. Сегодня уже ничего, и жару нет, и голова болит совсем немножко, не так, чтобы стоило обращать на это внимание, вот я и взялась за письмо.

Ехали мы, значит, до Пирея очень плохо. От Пирея стало немного легче, так как греки вышли и в каюте со мной осталась одна дама с двумя детьми.

Дети надоели, стучали над головой на верхней полке, не давали гасить свет ночью, но все же хоть дышать было можно, потому что под окном никто не спал и его можно было держать открытым (от Смирны уже стало тепло). В Александрию мы приехали в субботу (вместо четверга) в 3 часа дня, и там нас санитары продержали еще часа три-четыре на пароходе, а потом на пристани мы стояли тоже немалое время перед какой-то будкой, где проверяли certificats [1], а оттуда отправились на таможню и там болтались без всякого толку целый час, пока досматривали наши вещи. Из-за всех этих глупостей мы пропустили все хорошие поезда на Каир и попали в поезд, который тащился целую ночь...

Может, умнее было бы заночевать в Александрии, но уже так опротивело пребывание в дороге, что не хотелось еще хотя бы один день выносить эти неудобства, да и какой там отдых — раскладывание да упаковка, сборы на поезд, рассовывание чаевых слугам... Так или иначе, мы уже в 8 часов утра в воскресенье 4.XI были в Гелуане... Говорю «мы», потому что со мной подружились еще три дамы, которые ехали из России в Гелуан и как раз в тот же пансион, где и я должна была найти себе пристанище. Это было очень хорошо для меня, потому что они мне кое-чем помогли в дороге: когда после санитарно-таможенной стоянки у меня начались спазмы на александрийском вокзале, я сидела и пила белладонну, а они покупали билеты себе и мне, искали носильщиков и т. п. Приехав в Гелуан, я даже телеграммы не могла отправить (ей-богу, рука не писала!), а выпив, уже не помню, что именно, легла куда пришлось, не ожидая, пока приведут в порядок пред-

[1] Удостоверения *(франц.)*.

назначенную мне комнату, заснула бесчувственно, а проснувшись уже часов в 11 утра, послала телеграммы тебе и Клёне. С телеграммой к тебе вышло что-то странное: однажды мне сообщили с телеграфа, что она не вручена, потому что адресат «неизвестен», а потом, через день, сообщили, что уже вручена. Я, получив первое известие, хотела телеграфировать с более полным адресом, но все это стоило бы 4—5 рублей. И к тому же я подумала, что за это время Клёня перешлет в Киев мою телеграмму. Если он этого не сделал и если вы беспокоились обо мне, то я в этом, как видите, не виновата.

На этом уже окончились все мои путевые неприятности. У меня хорошая комната, юго-восточная, солнечная и теплая, в ней широкая (на французский лад) кровать под тюлевым балдахином, кушетка, шкаф-трюмо, мраморный умывальник, стол, стулья, электрическая лампа, пол покрыт линолеумом (это очень важно, иначе здесь бывает зимними вечерами холодно ногам), дают мне утром кофе с молоком, в 11 часов еще молока, в 1 час завтрак, как обед, только без супа, в 4 часа снова молоко и чай, в 7 часов вечера обед с супом (к завтраку и обеду дают фрукты: мандарины, финики, гранаты, бананы и еще какие-то сладкие лимоны неизвестного мне названия, нечто очень душистое). За все это берут даже не 90, а 80 рублей (поэтому я сразу заявила, что намереваюсь пробыть долго, не менее пяти месяцев, и что хозяйка, зная об этом, может быть уверена в моем постоянстве). Это, разумеется, очень мне приятно, потому что теперь я вполне уверена, что мне хватит тех денег, которые вы мне уже дали и которые я получу из «Литературно-научного вестника», и больше не придется добавлять.

Нас теперь в пансионе восемь человек (кроме хозяйки и ее ребенка), а сегодня должны приехать еще двое. Это немало для небольшого пансиона и для начала сезона, я никак не ожидала, что будет так много «отважных», — а кроме меня, еще, значит, пять отважились поехать из России (остальные — копты и один еврей из Франции). Погода здесь всю эту неделю очень хорошая: тепло, ветра нет, ясность необыкновенная,

даже не верится, что я так недавно выехала из дождя и туманов, и даже мороза... Но, как слышу я, и в наших краях теперь потеплело и будто бы началось позднее «бабье лето». Вчера пришел пароход из России и, говорят, без каких бы то ни было задержек и карантинных неприятностей, — вот такова правда на свете. Зато на нас насели, «как на того цьолта», как говорит маленький Лицик. Пусть знает Лилия, что она спасла мне жизнь этим прибором, купленным по ее совету, — без него, ей-богу, не доехала бы я живой от Александрии до Гелуана, принимая во внимание скверные условия этого переезда. Я совсем не знаю, что делают подобные мне люди без таких приборов caeteris paribus [1]; наверное, они умирают, если не в дороге, то сразу по приезде. Я это говорю не в шутку. Теперь же я поплатилась за дорогу только большой усталостью, которая, конечно, начинает уже проходить (но еще не совсем прошла). Как всегда, по приезде в Египет, так и теперь я как-то непомерно много сплю здесь — ложусь не позднее десяти, а встаю уже после восьми, и не раз меня еще среди дня клонит ко сну. В дороге, когда была возможность измерять температуру, она всегда была 37,7, а здесь (кроме позавчерашнего дня) не более 37,2, а то и совсем нормальная (ниже 37). Неужто этот воздух мог так быстро повлиять? Ну, да все же должно это хоть немного помочь, иначе за что же было переносить все эти беспокойства и столько средств истратить?

Вот написала длинно, а потом стану писать коротко: если уж «режим» — так «режим». Будь здорова, милая мамочка, крепко целую тебя и Geschwister и родных. Знакомым привет.

*Твоя Леся.*

### 95. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*10/I (28/XII). 1913 г.*
*[Hélouan]*

С Новым годом, милая мамочка!

Все-таки дождалась я от тебя письма, а то уж и не знала, что подумать, не решалась и писать. Как

[1] Других таких умов *(лат.)*.

всегда в таких случаях, самое простое не пришло в голову, а именно, что твое письмо пропало. Больше всего меня беспокоило это полное молчания всей семьи и то, что «Родной край» не приходил (я его так и до сих пор не получаю, с того времени как я здесь, да и из дому сообщают, что и там нету). Только когда я прочитала в газетах о твоем докладе в Обществе и получила письмо от Лили и Доры, перестала волноваться и стала понемножку «обижаться», но теперь, разумеется, и это прошло, и новый год, хоть он и тринадцатый, «завещает себя задуманному».

Чтобы не было и с твоей стороны никаких griefs [1], объясняю дело с инициалами *, которое кажется тебе «преступлением». По моему мнению, преступления здесь нет, так как всем литераторам, в том числе и тебе, случается по разным причинам подписываться инициалами и криптонимами, и никто этого преступлением не считает. (Разве не так поступали Шевченко, Кулиш, и другие не менее знаменитые писатели?) Кроме того, данные инициалы очень прозрачное прикрытие для того, кто знает имя и стиль, и чисто формальное, так как никто и не требует полной тайны (ведь человек десять ее знают). «Инспираций» не ищи, ибо если для меня эта необходимая полутайна только немного неприятна (я это признаю), то для Борейко * она нож в сердце, ибо он в тысячу раз более высокого мнения о таланте автора, нежели сам автор. Кто там о чем должен был думать в свое время, об этом не будем лучше говорить. Это только может расстроить нервы, а пользы никакой не будет; если нет возврата, то и нечего каяться, таков мой принцип.

Если бы дело шло только между автором и Борейко, то, разумеется, они оба сумели бы встать выше всяких «инспираций» самообороны, но где есть вероятность, что пострадает благополучие третьего лица, там и ты должна опасаться, потому что это третье лицо в случае чего может довести до сумасшествия обоих (я это говорю совсем серьезно и не в переносном значении), а это пострашнее всяких репрессий. Ты

[1] Претензий *(франц.)*.

знаешь этого человека, и вовсе не с наилучшей стороны, однако в прошлом году, после одного разговора в Золотоворотском садике, ты все же считала нужным заступаться за нее, такую роль жертвы она сумела сыграть, — вот видишь, как она умеет управлять чужими нервами. А тогда вся сила была не в слабости ее мужа, а в том, что сын совершил маленькую попытку чуть-чуть высвободить свой чуб из ее рук, уж очень больно стало: попытка эта, разумеется, провалилась, и чуб схватили еще крепче (между прочим, и твое заступничество немного помогло, потому что разжалобило и без того мягкое сердце)... Но все это до поры до времени.

Придет время для отдельного издания, и инициалы будут дополнены. Придет и время освобождения, может быть даже скорей, чем кто-то надеется — so hilf mir Gott! [1] А пока пусть все будет так, как было решено раньше. Никого этим не спрячем, не похороним. Здесь надо прибавить, что если бы не Борейко, то, может быть, эта рукопись и вовсе исчезла бы, так как автор был в таком настроении, что хотел ее уничтожить (произошло это после одной дружеской рецензии * в письме на «Иоанну», где рецензент чрезмерно откровенно доискивался «автобиографической основы») и, наверно, уничтожил бы, если бы «инспиратор» не уговорил переждать аффект...

Что касается аналогии с папой и тобой, то здесь аналогия неполная. Ведь 1) что можно действительному статскому советнику, того нельзя титулярному да еще и «помощнику»; 2) из твоих произведений только одно «Орлиное гнездо» по сюжету схоже с этим произведением, но оно же до сих пор не напечатано, и неизвестно, какой бы оно произвело эффект в свое время; 3) тогда не было литературных судебных процессов, не было, значит, огласки, а известно, что и здесь частенько «свет не карает преступлений, но тайны требует для них» *; 4) «бывали хуже времена, но не было подлей». Как раз перед моим выездом одного молодого чиновника лишили возможности служить только

[1] Так помоги мне бог! *(нем.)*

за то, что он обручился с сознательной полькой («польская интрига», очевидно, и в Азии кому-то страшна!), так-таки прямо и во всеуслышание говорилось об этом. Может, если бы то была «мазепинка», начальству понравилась бы больше. Кто знает?

Еще одно. Неизвестно, что тяжелее, подписывать ли инициалами, или своим полным именем вещь сознательно искалеченную *, как случилось с «Руфином и Присциллой». Там автор сам калечил (и с какой болью!), сам и подписываться должен был, а здесь поручил другой руке эту трудную работу, поэтому достаточно будет инициалов, ибо нет надежды, чтобы дело обошлось без необходимости калечить; этого даже никто не имеет права требовать, хотя, по правде говоря, это большее «преступление», чем попытка спрятаться за прозрачным укрытием. Это преступление также «инспирировано» жестоким духом нашего времени, но никто не будет укорять тебя за это, а меньше всех я.

Разумеется, порой не спасают никакие ни злодеяния, ни добродетели, может конечно «грехов» одного Борейко вполне достаточно, чтобы вечно держать его вместе с семьей на пороге нищеты, но, несмотря на его каторжный труд, по крайней мере никто другой в этом не повинен, а это все-таки кое-что значит.

Ну, и хватит этих грустных тем. Я, правду говоря, только-только прихожу в себя после продолжавшейся весь год борьбы со своим внутренним врагом — туберкулезом. Лишь последних недели две у меня, наконец, установилась нормальная температура, да и то порой слишком низкая, 36,1, как это бывает после тяжелой болезни. Вес было немножко возрос, а теперь опять отчего-то пошел вниз, несмотря на alimentation forte [1], может быть, потому что стало холоднее, особенно вечерами. Не следует думать, что уж очень холодно; на солнце бывает совсем жарко, да и вечером в доме без каких бы то ни было печей пар от дыхания не носится по комнате, как это бывает зимой в Крыму и на Кавказе, но я, точно та звягельская исправница, забываю, что я «не в Италии родилась» и от малейшего

[1] Усиленное питание *(франц.)*.

дыхания ветра с севера уже ежусь. Вероятно, мой организм слишком точно понял закон физики, по которому от тепла тела расширяются, а от холода, сжимаются. Так ли, или сяк, но я самая легкая из всех живущих здесь дам, и меня дразнят «невесомой», «эфирной» и spirituelle dans tous les sens [1]. Я сама не чувствую от этого никакого ущерба, но врач скандализован, что человек моего возраста и роста весит всего 47 kilogr. Пытался он давать мне рыбий жир, но это не вышло, велел оставить какую бы то ни было диету и есть все, сколько влезет, но беда в том, что много не влезает, наверное потому, что мне запрещено (да я и сама не могу) ходить. А при постельном режиме я никогда не могу много есть (помнишь, как, бывало, в Берлине?). Тем не менее мне все-таки лучше, потому что нет болей и лихорадок и цистит принял более сносную форму (хоть не болит и то благо), только почему-то сердце стало таким чутким, что не выносит никакого усилия, тотчас же сильно бьется, так что я задыхаюсь (например, если поднимусь на пять ступенек крыльца, пройдусь немного в осеннем пальто, если подниму кувшин с водой и так далее). Но меня это не тревожит, потому что это, кажется, вполне обычное явление у анемичных, и ни на какой сердечный порок не указывает, просто не нужно быть такой femme d'esprit [2].

Изленилась я здесь крайне, ни над чем не работаю, так себе понемножку кое-что переписываю да и то идет очень медленно. С утра до 4 часов я на воздухе, там люди мешают что-нибудь делать, а вечером редко хватает энергии, к тому же и спать здесь все ложатся рано и я переняла этот обычай. Пока что не очень браню себя за леность, потому что, может, и хватит уже моих драм, нужно дать обязательным читателям (родным и редакторам) отдохнуть, а необязательные, может быть, и не приметят моего молчания. Вот воспоминания о Николае Витальевиче хотелось бы мне написать (как члену бывшей «плеяды», которая так

---

[1] Одухотворенной во всех смыслах этого слова *(франц.)*.
[2] Умной женщиной *(франц.)*.

многим ему обязана), но теперь еще не могу, просто-напросто нет сил. Странное дело, когда температура была под 38°, писалось лучше, а теперь при нормальной живу, как деревянная. А что было бы, если б я когда-нибудь совсем выздоровела? Может, всякий esprit потеряла, набрав веса?.. Нужно бы все-таки попробовать выздороветь. Правда?

Будь здорова, мамочка. Крепко-крепко целую тебя и прошу не оставлять меня долго без писем, потому что все это мне даже вредит. Привет Михаилу Васильевичу и Ласочке и родным да друзьям.

*Твоя Леся.*

### 96. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*27/II 1913 г.*
*Egypte, Hélouan, villa «Tewfik».*

Милая мамочка! Я очень рада и твоему письму и тому, что ты удовлетворена моими разъяснениями. Что касается публикации моей вещи в «Дзвоні» *, то ты права, но вся эта история с моим сотрудничеством там, это целый комплекс того, что этой редакции нравится называть «хитростями», — это трудно и «пером описать», лучше уж когда-нибудь потом расскажу. К сожалению, я неосторожно пообещала им еще одну вещь, а ты знаешь, как я религиозно отношусь к обещаниям, кому бы они ни были даны, но я думаю, что на этом и покончатся мои отношения с этой хитроумной редакцией — «j'en ai assez une fois pour toutes»! [1] А тем временем я прошу тебя, скажи от меня Серому (мне не хочется писать ему, потому что он не всегда отвечает на письма), чтобы он снял мое имя из списка постоянных сотрудников «Дзвона». Было условлено, и *принято* редакцией, что мое имя в списке появится, только когда я это специально разрешу, а я этого еще не разрешила, наоборот, весьма отчетливо и недвусмысленно писала, что хочу прежде всего увидеть, придусь ли я «ко двору» в новом издании (а для этого, разумеется, мне сначала нужно познакомиться с тем, что и как там будет печататься). Между тем мое имя было *указано* еще

[1] Мне этого хватит раз и навсегда *(франц.)*.

в проспекте, *не считаясь* с тем, что я этого вовсе не хотела и что редакции мое желание было хорошо известно (это первая из «хитростей», а были еще и другие...). Правда, мне не в новинку такое обращение земляков (а порой и не земляков) с моим именем и моими желаниями, но даже любое удовольствие может, наконец, опостылеть, если повторяется слишком часто, и вот теперь наступил момент, когда мне это окончательно опротивело, и я больше этого не согласна терпеть ни для кого и ни за что на свете. Я уже более чем достаточно вытерпела всяческих хитростей ad majorem Die gloriam [1], а теперь у меня терпение кончилось и я говорю: «Хватит». Никаких контраверз и переговоров вести в письмах больше не буду (тем более что эти «переговоры» сводятся нередко к каким-то монологам лишь с моей стороны — без реплик со стороны корреспондентов), и прошу пока что снять мое имя, а разрешу ли я когда-нибудь его поставить (если это и впрямь кому-нибудь интересно), — это покажет будущее, то есть это зависит от поступков, а не от слов (зависит, правда, и от иных, тебе известных причин, но писать о них мне теперь трудно, и думаю, незачем).

Что касается «Вестника», то мне заплатили за «Каменного хозяина» 92 рубля, из них 50 рублей будто бы в виде «аванса» (хотя рукопись тогда уже находилась в редакции, а может быть, и в типографии), причем было указано, что деньги для меня были собраны с превеликим трудом (возможно, что это было сказано без всякого умысла, но это произвело на меня впечатление, что мне хотят поставить что-то «на вид»), а 42 рубля я получила уже здесь, в Египте. Недавно я получила еще 28 рублей, но это уже, наверно, за «Изольду» (получила без объяснения). Насколько вспоминаю, «Каменный хозяин» занял три печатных листа без двух страниц, как обычно, самой убористой печати, итак, мне уплатили *как и всегда* по 32 рубля за печатный лист. А для чего они рассказывают тебе, а может быть и еще кому-нибудь, якобы мне платят больше, чем другим, этого я абсолютно не понимаю.

[1] Для пущей славы божьей *(лат.)*.

Я никогда с ними не торговалась и не требовала больше, кажется можно было «отплатить мне хотя бы вежливостью» и не распускать никаких ложных слухов о повышенном гонораре, ведь в этом нет ни для кого ни чести, ни пользы (во всяком случае для меня). Я считаю такое поведение по отношению ко мне нелойяльным и постараюсь найти способ, чтобы как-нибудь это прекратить. Вообще если суждено мне увидеться с членами редакции, я покажу, наконец, свое «ближайшее участие» (между прочим, никто не спрашивал моего согласия, ставя мое имя в число «ближайших участников»). Я попрошу твердого и ясного ответа на вопрос о том, что такое авторский гонорар — плата за труд или выклянченный подарок. Если это плата, то не для чего требовать «свидетельство о бедности» и высчитывать у авторов, кто из них и сколько имеет посторонних доходов, и ставить им на вид, с каким трудом добывает редакция деньги, предназначенные для гонорара (я, например, никогда этого не делаю, когда выплачиваю своей кухарке ее деньги). Если это нищенская подачка, то не для чего раздавать хвалебные эпитеты и комплименты нищим — авторам, а, наоборот, надо хорошенько зарубить им на носу, что, мол, и сами того не стоят, что им дарят. Тогда уже всякому будет понятно, что его гонорары зависят не от работы или заслуги, а просто от милости и настроения того, кто сует подачку. Я понимаю, что фондов наших [печатных] органов не хватит на колоссальные гонорары, установленные, например, в русской прессе, понимаю, что бывают моменты, когда даже поденный рабочий жертвует свой заработок на какое-нибудь общественное дело, но должны быть и у нас какой-то порядок и какая-то ясная этика в этом деле, а не так, как было в Пошехонье Щедрина, где не было никакой справедливости, а только «любимчики и постылые» капризной «мамаши». Возможно, что при справедливом разделении между сотрудниками предназначенной на гонорар суммы мне, например, не достанется и по 32 рубля, но я не стану роптать, не буду петь Лазаря и не буду грозить перейти в другую литературу — как-нибудь сама справлюсь со своей нищетой, но пусть это будет *справедливость и правда для всех.*

Я готова согласиться, только пусть мне искренно и ясно скажут, что новые поэты наши интереснее для публики, чем я, «почитаемая, но не читаемая», и поэтому им стоит платить дороже (другой критерий ценности все равно нельзя перевести на деньги)...

Вот и расписалась я опять без меры на эту «больную тему», так кипит мое сердце, когда я вспоминаю про всю эту «голую ложь», которая угрожает «весь мир сожрать», если не выставить против нее какие-нибудь преграды... Спрячь, мамочка, будь любезна, это письмо, потому что, если я не смогу заехать в Киев (я еще надеюсь, что смогу), я попрошу тебя процитировать тем, «кому это ведать надлежит», часть письма, и пусть в «Литературно-научном вестнике» подумают над этим и решат, как им относиться к этому, а я тогда тоже решу, как мне быть с моим ближайшим или дальнейшим участием в этом журнале. Il faut se mettre en clair [1]. Если я и сама приеду, то и тогда мне будет кстати это письмо, потому что я в нем выразила то, что думаю, и, может быть, мне это пригодится, чтобы «не утерять нити» в спорах, которые могут стать весьма хаотичными (может, придется кого-нибудь «преследовать по следу», так оно «по-писанному» все же легче). Тем временем можно об этом ни с кем не говорить, а я только прошу передать то, что относится к Серому, ему лично. Если тебе неприятно сказать ему в той форме, в которой я пишу, то я на форме не настаиваю, скажи, как хочешь, только бы было то же содержание: чтобы снял мое имя и в другой раз без разрешения нигде не ставил. Что касается *издательства* (не журнала) «Дзвін», я знаю только представителя этой фирмы Лаврова, а кого он собой «представляет», это уже не мое дело, потому что я за всеми этими «пайщиками» не угоняюсь и гоняться не намереваюсь. Если же Лавров не может отвечать за эту фирму, пусть так и скажет, и тогда «оставим этот вопрос» об издании II тома раз и навсегда, не я его поставила, кстати сказать. А по поводу I тома, условия составлял Лавров (и то, помнишь, после какой игры

[1] Это нужно выяснить *(франц.)*.

в жмурки!), а как подошло к расплате — вынырнули откуда-то «пайщики», которые не внесли паев, когда следовало, и началась «волокита» на целый год, мои «монологи», короткие и неясные «реплики» мне, и все это имело вид какого-то выпрашивания или вымогательства с моей стороны, а со стороны издательства не то жертвы, не то любезности. Теперь уж не думают ли они начать все это da capo? [1] Так я на это несогласна, не во гнев им будь сказано.

28.II. Вчера получила «Родной край» (памяти Лысенка и № 15), и это было вдвойне хорошо: во-первых, я его прочитала с интересом (твои воспоминания прекрасны!), а во-вторых, прервалось сочинение письма, а то у меня уже стала безумно болеть голова, а остановиться «своей силой» я не могла. Голова болела до полночи вчера и сегодня до вечера, а вот теперь отлегло малость, потому и окончу... Вид мой, очевидно, мало изменился (может, чуточку худее, чем обычно) и «угнетенности» в выражении лица нет, да ты же знаешь, что меня даже хирургия не смогла угнетать долго, и болтаю по своей привычке много, но где-то внутри что-то ослабело: не могу долго писать, утомляет даже интенсивное размышление, и частенько так непреодолимо лодырничаю, что прямо страх за себя берет. Мне кажется, что лодырничество вовсе не лежит в основе моей натуры, а уж если оно появляется, это всегда признак какого-то заболевания. А может, я просто старею, ведь я вступила в этот, как теперь говорят, «опасный возраст»... Но ведь есть много людей постарше меня, куда более сильных и подвижных. Нет, это все же прошлый год меня подкосил *, может частично и те драмы, которые я понаписала, я их исступленно писала, — для них это, вероятно, было лучше, а вот для меня вряд ли. Ну, если все это из-за них, то ничего, все-таки «произведения», — ведь часто женщины теряют здоровье из-за детей и не сожалеют об этом, а это те же «дети», других-то у меня нет.

Господин Петруненко очень постоянная натура, если ему понравятся «все те самые» (сказал бы Евшан)

[1] Сначала *(итал.)*.

писатели, это даже требует гражданского мужества, ведь теперь это не в моде. А что его сборник, вышел? Его «Дзвін» — très gracieux [1]. Я бы хотела знать (мне это *нужно*), хочет ли он еще учиться по-итальянски. — Ну и конец. Крепко, крепко целую тебя, мамочка с крыльями. Привет Михаилу Васильевичу и Петруненко.

*Твоя Леся.*

**97. Ф. М. КОЛЕССЕ**

*5/III 1913.*
*Egypte, Hélouan, villa «Tewfik».*

Милостивый государь!

Очень, очень благодарна Вам за ответ да еще с такой хорошей вестью, даже свет мне милее стал! Нечего и говорить, что три валика с ненаписанной музыкой мне посылать не стоило. Собственно, посылая эти чисто музыкальные (без слов) записи, мы и сами не надеялись, что их можно будет перевести на ноты, ведь музыку бандуры наш фонограф вообще воспроизводил неотчетливо, мы думали только, что это может представить для Вас интерес лишь как образец (хотя и плохо удавшийся) виртуозной игры Гончаренко, которой, кажется, он превосходит всех других нынешних кобзарей. Мы послали их, чтобы Вы послушали да и сохранили в музее. Может быть, какой-нибудь фонограф посильнее (наш был дешевенький и плохенький) мог бы запечатлеть эти самые мелодии отчетливее, может это и удастся сделать, потому что Гончаренко играет еще и теперь, но все это требует длительной переписки и времени, так пусть это когда-нибудь, если доживем, выйдет хотя бы и отдельной работой, а сейчас не стоит задерживать издание, которое предпринято главным образом для *дум,* а все остальное в нем это же, собственно говоря, излишние приложения. Полного идеала никогда не достигнешь, а ведь то, что Вы уже списали, представляет собой такое великое дело, что большего от Вас никто не смеет требовать. Я думаю, что Вам не следует морочить себе голову

[1] Очень изящный *(франц.)*.

биографиями кобзарей, это мог бы сделать и кто-нибудь другой, например Сластен, да они и не связаны органически с Вашей работой, потому что мало служат музыкальному пониманию материала. О Гончаренко мы, кажется, в свое время сделали кое-какие заметки (теперь уже отчетливо и не припомню), но я их с собой не брала. Я написала мужу, чтобы он, если эти заметки существуют, послал их Вам, но мое письмо будет идти отсюда до Кутаиса недели две, а оттуда к Вам тоже что-нибудь вроде этого, значит, может и опоздать. У меня воспоминания о Гончаренко сохранились очень ясно, но, так сказать, «беллетристично», то есть больше впечатления от его природно-интеллигентной личности, от его тонко артистической натуры, чем какие-либо воспоминания о фактах. Я задумала когда-нибудь записать эти впечатления так, как они отразились в моей душе, но сейчас из-за болезни не могу сделать это как следует, да и вряд ли такой портрет подошел бы к Вашему изданию, потому что стиль того, что я могла бы написать, кажется мне, не соответствовал бы Вашему строго научному изложению. Из фактов я помню только то, что Гончаренко происходит из крепостной семьи, что он ослеп двенадцати лет от роду после длительной болезни глаз, что уже тогда, когда он был безнадежно болен, помещик, собственник его отца (фамилию помещика и название хутора где-то под Харьковом, где родился и вырос Гончаренко, я забыла), случайно увидел его и приказал отвезти в Харьков к знаменитому окулисту, но окулист заявил, что лечить уже поздно, а если бы привезли пораньше, можно было бы вылечить. Когда я — в 1908 году — видела Гончаренко, он говорил, что ему семьдесят два года, а теперь, в связи с его выступлением на концерте, напечатано в «Раде», что ему более восьмидесяти. Ошибается ли «Рада», или сам Гончаренко, как это бывает с простыми людьми, я не знаю. Научился он играть на бандуре уже слепым от старого кобзаря с Харьковщины, но имени его учителя я не помню. Прежде, по его словам, он немало зарабатывал на ярмарках, но потом полиция запретила, и он под старость, овдовев, пошел жить к своему сыну, же-

лезнодорожнику в Севастополе, откуда приезжал и к нам в Ялту. Мы посылали за ним нашу прислугу, потому что он не смог бы доехать сам, без поводыря (в Севастополе, хорошо зная местность, он ходит один, только без бандуры, иначе пристает полиция), на пристани в Ялте полиция все-таки набросилась на него, как на нищего с запрещенным способом сбора милостыни (с бандурой), и только заверения прислуги, что Гончаренко не нищий, что он идет в гости к известным людям, по известному адресу, спасло бедного артиста от неприятностей. В нем, правда, ничего нищенского нет, начиная от одежды, вполне пристойной чумарки, которую носят пригородные крестьяне на Харьковщине, и смушковой шапки и кончая поведением, полном достоинства, без заискивания, но и без заносчивости (которая порой замечается у знаменитостей «из народа»), все в нем исполнено благородной простоты, особенно бросается в глаза его рука с тонкими артистическими пальцами и величавая поза высокой стройной, совсем не сгорбившейся фигуры. Не только денег, но даже и мельчайшей услуги он не считает возможным принимать даром; так, например, если ему на пароходе приходилось просить матросов проводить его, то потом он играл им за это на бандуре и не принимал никакой платы. Он, очевидно, любит свое дарование не только за то, что оно дает ему заработок, очень часто в свободное время он «сам себе» играет свои музыкальные пьесы, без песен. Как-то раз получилось, что фонограф почему-то окарикатурил (с паршивым, каким-то козлиным тембром) его псалм о «Правде», он, предположив, что это какая-то преднамеренная шутка с нашей стороны, так обиделся, что мы едва могли его убедить в нашей невиновности, — так может обижаться только артист, который *уважает* свое дарование. Он знает и любит только старинный репертуар, а на новые и «модные» теперь напевы (как, например, песни о Морозенко с новейшими добавлениями) смотрит скептично и холодно. К этнографам относится с уважением и без предубеждения, как к людям, которые делают какое-то нужное и серьезное дело. Меня поражало, как он, терпеливо и приспосабливаясь к несносным порой

капризам нашего фонографа, готов был часами петь, по нескольку раз повторять слова, стараясь при этом выразительным медленным речитативом облегчить мне труд записи. Вот и все, что я могу сообщить фактического о Гончаренко. Когда он был в Киеве, то передавал мне через мою мать привет, я запросила мать об его адресе, но еще не получила ответа и не знаю, живет ли он и сейчас в Севастополе, или где-нибудь в другом месте.

Слов к «Попадье» и «Правде» мы не записывали, ведь они, казалось нам, не отличались от известных, не раз напечатанных вариантов, а для изучения особенностей ритмики тоже малоинтересны. Начальные строфы я помню на память и вот привожу:

Правда

Нет на свете правды, правды не сыскать,
Только в мире правды, что родная мать.
Уж теперь-то правда сидит во темнице,
А горькая кривда с панами в светлице.
Уж теперь-то правда навсегда пропала,
А горькая кривда весь свет пожрала.

Дальше не помню (полный вариант, записанный Лысенко от Вересая, есть в «Записках Императорского Географического общества»).

Попадья

Зажурилась попадья своею бедою:
Горько мне на свете жить, что поп с бородою.
*(Рефрен.)* Ох, мне тяжко! Ох, мне нудно!
Что поп с бородою, жить на свете трудно.
Зовут меня на крестины, просят меня сесть,
Как взгляну на бороду, не хочу и есть.
Ох, мне тяжко...
Зовут меня на свадьбу, просят меня пить,
Посмотрю на бороду, не могу я жить.
Ох, мне тяжко...

Дальше дословно не помню, только содержание такое, что попадья, прихватив индюшку, идет просить владыку, чтоб позволил попу обрить бороду, но владыка не разрешает, бранит попадью и велит уважать

попа и его бороду. Песня, как поясняют комментаторы, сложена в связи с возвращением униатских священников в православие, а может, и по случаю введения русских обычаев в украинской церкви (последнее, кажется, правдоподобнее).

Удивляет меня, что Вы не получили статьи Борейко, хотя я просила, чтобы Вам ее послали, я сейчас пошлю подтверждение моей просьбы, а если и это не поможет, то сама Вам ее пришлю, вернувшись домой. В ней нет ничего особенного, но при том Totschweigen [1], как Вы говорите, она может представить для Вас интерес, как голос толкового и благожелательного человека. А этот Totschweigen кладет несмываемое пятно на наших критиков и показывает в наилучшем случае, что они не доросли еще до понимания таких работ, как Ваша. Мне почему-то представляется, милостивый государь, что мое предшествующее письмо произвело на Вас не совсем приятное впечатление, что Вам показалось, будто я не понимаю, сколько труда, утомления и жертв стоила Вам эта пятилетняя работа. Если это так, Вы ошибаетесь. Скажу Вам прямо: если бы Вас так все земляки ценили, как я и мой муж, во всей Украине не было бы более прославленного, чем Вы, этнографа-музыканта, и мы огорчаемся только тем, что не можем Вам, видит бог, материально оплатить Вашу работу, как она этого заслуживает, а моральную награду, разумеется, два человека не в состоянии дать тому, кто заслуживает признательности миллионов своих земляков. Будем надеяться, что придет когда-нибудь время и для такого признания.

Я именно потому и боюсь конкуренции Маслова, что он только плохой ремесленник, но влиятельный и требовательный, а таким «gehört die Welt» [2]; если бы он был гением, я бы не опасалась его, а приветствовала, несмотря на то, что он чужой. Желаю Вам силы, здоровья и всего хорошего.

*Леся Украинка.*

---

[1] Замалчивание *(нем.)*.
[2] Принадлежит мир *(нем.)*.

## 98. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*21/III 1913 г.,*
*Egypte, Hélouan, villa «Tewfik»*

Миленький кто-то! Беленький начал было письмо в ответ на чью-то милую открытку, да стал что-то нездоров и сердился на Египет (ведь и в Египте бывает холодный ветер, а кто-то уже избаловался и хочет, чтобы всегда было тепло), а кто-то черненький хочет, чтобы кто-то «красиво» писал об Египте, кто-то так не сумел и письмо свое разорвал. Кто-то на этот раз живет не столько в Египте, сколько в комнате и в дворике, потому что никуда не ходит, разве только изредка на почту (это ближе, чем от Нового Света до Рынка), а в Каире, который в получасе поездом от Гелуана, был только раз, и то по неотложному делу. А то все должен сидеть или лежать в schaise-longue, и то не только потому, что врач так велел, а еще и потому, что кто-то и не может иначе. При этом кто-то страшно изменился (прошло то время, когда кто-то писал по 8 писем в день, и вечером еще мог писать!) и удивлял кого-то черненького, что он может столько трудиться и хлопотать, хоть и слабенький. Кто-то беленький перед отъездом в Египет уже неспособен был даже за целый день переписать одну страничку и уже ничем не мог помогать никому в доме, прямо был «ни к чему». Так он ослаб: ежедневно горячка, и есть ничего не хотел, и так ему худо стало, что даже вещи свои сам не упаковывал, упаковали его и посадили и повезли, и пустили по морю, да и поехал куда глаза глядят. Остановился на денек в Одессе, приехали сестры (Лиля и Дорочка), помогли кому-то двинуться дальше, и снова он в море. Плыл мимо молчаливого, темного, придавленного военными бедствиями Царьграда, мимо веселой, энтузиазмом охваченной Греции, среди мин, поставленных в Смирнском заливе, плыл долго, дольше, чем нужно, потому что война и карантины создали множество препятствий, плыл две недели. В Египет приехал на этот раз темной ночью (и Египет был не золотой, а чернобархатный).

К рассвету добрался до закутанного мглою Каира, и только ранним утром, выйдя в Гелуане, увидел, наконец, что есть еще золотой песок в пустыне и что небо египетское еще не вылиняло, полюбовался, порадовался, пришел домой (в свою старую знакомую vill Tewfik), бухнулся на постель в первой попавшейся комнате и — заснул, заснул так, словно сроду не спал! И две недели понадобились, чтобы кто-то до конца выспался, а то все, как встанет пораньше, так через час и опять спать хочет, — даже люди смеялись над кем-то. Потом стал поправляться: лихорадка исчезла, перестало болеть, немножко окреп. На рождество похолодало, и кто-то опять расклеился: перестал есть, исхудал, отощал и не мог больше на ногах держаться. Пришлось обратиться к врачу, кое-что ему врач посоветовал и кто-то уже снова немножко окреп, но все еще не так, как нужно. Но все ж таки поднялся и что-то там возится, словно что-то делает...

Какая уж там работа: учится испанскому языку (самостоятельно по книге), разохотился после того, как написал «Каменного хозяина», уделяет один час занятиям французским языком с одним молодым человеком, а по литературе написал только в сборник кое-что в честь Франко и все заканчивает и никак не может окончить одну вещь *, начатую еще летом дома. Хотя и закончит (должен, так как уже обещал), но понимает хорошо, что она не будет равной «Лесной песне» или «Каменному хозяину» (кто-то радовался бы, если кто-то черненький прочитал бы эти две вещи, — люди говорят, что это самое лучшее из всего кем-то написанного), так как кто-то не «горит» теперь, как горел над теми двумя драмами. Разумеется, совсем спокойно и теперь кто-то не пишет, но так гореть, как горел в прошлом году, не в состоянии, так как, вероятно, сгорел бы, но, видно, мой организм еще не хочет разрушаться до конца, говоря мне «довольно» при всякой попытке настоящей и упорной работы, и я должна покоряться. Не верю, чтобы так было до конца, надеюсь, что для меня еще вернутся дни труда и ночи мечтаний. Но теперь, как видно, мой Лотос мне правду сказал, что кто-то «имеет право» год-два полениться. Это «право»—

неизбежность, и приходится ей покориться. Закончу то, что должна кончить, и обращусь к более легкой работе над прозой (если вообще смогу работать), хотя мои критики и не хвалят моей прозы. Все же это, может быть, будет «полезнее», а я так мало написала полезного в своей жизни... Кому-то хочется написать одну новеллку, написать и детский рассказик на египетские темы *, но не на древние, а современные. Заинтересовала меня жизнь, вернее психология, здешних мусульманских гаремных женщин (в этом году я имела возможность узнать ее ближе) и здешних «детей улицы», которые вырастают прямо «под открытым небом» и на диво находчивы и никогда не падают духом. Но и об этом сейчас не буду писать, пусть уже дома (поеду домой, может быть, на пасхальной неделе), а здесь, если будут силы, займусь чьим-то «В воскресенье рано» (я его взяла с собой, но еще пока не написала [отзыва], была разбита, боялась испортить). Кто-то черненький, наверно, потерял много здоровья из-за повести «Через мостки»? Это должно было кому-то много стоить: всколыхнуть столько воспоминаний... Я узнаю там, как живых, и святую Анну и брата Вашего Владимира... Настолько узнаю, что не могу отнестись к этой повести объективно, не могу ее «критиковать», для меня она словно часть еще не пережитой жизни, а этого не критикуют. Все незнакомое в этой повести (может быть, потому, что не знаю), элементы чисто литературного развития фабулы, все это мне как-то неприятно; я понимаю, что это необходимо, допускаю, что «чужим людям» должно представляться красивым, но мне это досадно. Все равно как если бы я вдруг на теле моей сестры увидела голову классической статуи вместо простого, но любимого родного лица. Мне неприятно «счастливое» окончание этой «белой мечты», так как я этого *не знаю,* мне неприятна глупость этой матери («дочери владыки»), и мне не хочется верить, будто *из-за этого* возникали трагедии между двумя искренними людьми, хотя я хорошо понимаю, что эта мать нарисована художественно прекрасно. Холодной оставляет меня противопоставление аристократизма и мужичества (тем более что я ничего специ-

фически мужицкого в Олесе не вижу), мне все представляется, что не в этом сила, сын ли он мужика, или «внук владыки» (следовательно, аристократ в своем роде?), а в чем-то другом, повестью не выясненном. И наоборот, вся история Нестора, хотя она не совсем художественна в повести, меня увлекла всей душой, когда я эту повесть читала, так как мне показалось, что я это знаю и что это все так, как было. Dichtung und Warheit [1] не слились в одну гармонию (это не значит, что этой гармонии «нет для других»), однако я плакала над ней и переживала так ясно «белую мечту»... Нет, я не могу ее критиковать! Для меня она Ienseits von der Kritik [2].

А кто-то пусть хорошо критикует моего «Каменного хозяина», меня чья-то критика очень интересует. Когда я эту вещь писала, ich hielt grosse Stücke darauf [3], а что из этих Stücke вышло, сама как-то не понимаю...

И пусть мой кто-то черненький и ясный будет здоров и не позволяет себе слишком много хлопотать, потому что это не прибавляет здоровья. Прошу поздравить Вашу сестру и братьев от меня. Кто-то кого-то любит, и еще любит, и еще любит...

*Кто-то.*

### 99. О. П. КОСАЧ (МАТЕРИ)

*12.IV (31.III) 1913*
*Гелуан.*

Милая мамочка! «Плен» печатался впервые в «Раде» (т. II, который ты составляла вместе со Старицким). «Вісник культуры і життя» был средним информационным журнальчиком, хотя и не стоившим тех жертв, которые ради него принесены. К сожалению, наихудшим в нем мне показалась «Любовь к женщине». Редко бывает так, чтоб очевидно искренне написанная вещь так раздражала! Прямо и смех и досада берет от «рева» над «маленькими черевичками», хотя и чувствуешь, что он, вероятно, искренен. Это

[1] Поэзия и правда *(нем.)*.
[2] За пределами критики *(нем.)*.
[3] Я возлагала на нее большие надежды *(нем.)*.

какая-то крайняя распущенность, не в моральном, а в эстетическом значении слова. Это какое-то ухудшенное издание Пшибышевского, а ведь и он в свою очередь ухудшенное издание д'Аннунцио... Этого, разумеется, нельзя сказать автору, ведь он меня съест, если увидит. Его Коненков обладает кое-каким талантом, но до «гения», кажется, здесь еще далеко, а вот что его боги чисто кацапские, если не финские, то это истинная правда, и я в них совсем не узнаю «религии отцов моих», которая отразилась такими прекрасными линиями и красками в веснянках, колядках, обрядах и легендах. Почему славянские боги обязательно должны быть косолапыми и кривоносыми чудищами, если в наших сказках даже вражья сила — «змей» — появляется часто в образе обаятельного красавца. А «перелесник» *? а русалки? а «золотокудрые сыны» той богиницаревны, у которой на лбу звезда, а под косою месяц? Все это, кажется, близкая родня того Дажбога, который вышел таким «идолищем поганым» у Коненкова?.. Наконец, если кто-нибудь представляет себе, например, лесного бога «без спины, с одной ноздрей», то почему же его таким и не изобразить, только незачем распространять свой «идеал» на всех славян, а нужно точно обозначить, кому именно он принадлежит. Ну, да чтоб им, этим чужим богам! какое мне до них дело?

Получила письмо от Серого и от Люды (а от Мухи нет). «Теперь уже пудильда»... Ну, да я такая: если ко мне хороши, то и я хороша. А того, чтоб я с ними по-человечески, а они со мной по-собачьи, ей-богу не буду терпеть больше никогда, вижу, что это бесполезно. Люда пишет, что за «Изольду» выплачено уже по новому расчету, как установлено с января (я об этом решении ничего не знала), чтобы получалось по 100 р. за лист. Это, конечно, нечто иное, чем 32 р. за полтора листа стихов, но я побаиваюсь, не объявят ли обо мне, как о Коцюбинском, что я живу на «общественную помощь»; этого я не хочу. Конечно, это, как и кое-что другое, выясню, когда окажусь в Киеве. А вероятно, все-таки приеду, хотя в последние дни что-то мне нездоровится — температура вот уже который день под-

нимается до 37,7 (это, наверное, результат писем!), чего со дня приезда сюда еще не было. И пустяковое повышение, а все же почему-то изнуряет, порой и на ногах стоять не могу. Досадно, под самый конец и такой скандал! Ну, может, как-нибудь обойдется. Крепко целую тебя, мамочка! Привет родным и друзьям.

*Твоя Леся.*

Больше не пиши сюда мне, а то письма разминутся.

### 100. О. Ю. КОБЫЛЯНСКОЙ

*3/V 1913 г.*
*Мраморное море.*

Прошу кого-то писать кому-то по адресу моей мамы: Киев, М. Благовещенская, 101, О. П. Косач (для Л. У.), потому что мы, должно быть, вскоре переселимся с Кавказа на Украину, и я еще не знаю, какой будет у меня адрес. А кто-то забыл мне дать адрес.

Миленький кто-то! Кто-то кому-то пишет, плывя по Мраморному морю к Царьграду, чтобы оттуда направиться «на тихие воды, в мир крещеный». Хотел было кто-то написать из Египта, как кто-то черненький просил, но не было никакой возможности, потому что кто-то сам собирался в дорогу, упаковывался, кое-что шил и настолько заморочил голову всяческими мелочами, что не способен был к сочинению писем. Выехал очень усталый и не совсем здоровый (не очень-то здоров он и теперь, но все же заметно лучше, чем в прошлом году), а еще к тому же в той самой каюте, в которой кто-то едет, одна дама внезапно заболела и довольно опасно, а так как она чужеземка и здесь, на русском пароходе, никто у нее ни словечка не понимал, то кто-то из человечности должен был ей хоть немного помочь, и это также мешало приняться за письмо. И даже вот сейчас, когда все эти Stzapazzen [1] прошли, кто-то уселся за большой зеленый стол в кают-компании и уже царапает. Видит кто-то миленький, что

[1] Хлопоты *(нем.)*.

кто-то, от души бы рад писать, но если выполнение покажется не идеальным, то кто-то дорогой извинит, ведь на море писать не то, что на твердой почве — шаткая стихия должна все же как-то влиять и на мысль и на выражение, хотя стоит хорошая погода и почти не качает. Если бы кто-то дорогой мне мог видеть этот золотой Египет тогда, когда кто-то уезжал оттуда! Какой он был золотой, подлинно золотой! На горизонте бесконечные золотые пески, а возле железной дороги, над водой, золотая пшеница колышется, колышется, как золотое море, и словно течет в пустыню. Это в Египте начинается *страда,* а у нас вот через два дня люди выйдут на святого Юрия в поле катать пасхальные яйца по молодым хлебным всходам... Покидая Египет, кто-то все думает: «Увижу ли я его еще раз?» Кто-то хотел бы еще, но не так, как в этом году. В эту зиму кто-то пролежал да просидел в пансионе, как хорошо воспитанная арабская дама в гареме, не нанес даже визита великому сфинксу и пирамидам (только видел всякий раз эти пирамиды со своей веранды), не был и в музее, где такие прекрасные чернобровые дамы с золотыми лицами находятся в обществе загадочно-радостных розовых сфинксов. Как было бы прекрасно, если бы кто-то и еще кто-то могли бы когда-нибудь вместе, наняв дагабию (большую парусную барку), подняться по Нилу до великих разрушенных святынь Луксора, Карнака, Эсне *, Элефантины...* Но это только мечта, так как кто-то теперь может только лежать (если сидит, это уже счастье) на море, или на суше, в Египте, или где в ином месте — все равно!.. Ну, что ж, ведь и лежачим светит солнце и на них смотрят звезды, и драгоценный пурпур египетского заката им виден, и золотая пустыня навевает свои жаркие полуденные грезы, и они проходят перед их глазами. Это все еще не отнято у меня, так зачем же мне очень на molle [1] настраиваться? Es lebe das Leben! [2] — какая кому суждена!

Все то, что кто-то мне пишет о «Каменном хозяине»,

---

[1] Печальный лад *(итал.).*
[2] Да здравствует жизнь! *(нем.)*

принимаю скорей за похвалу, нежели за укор, — видел ли кто такую самоуверенность? Если читатель *жалеет,* почему произведение не длиннее, чем оно есть, это собственно большой комплимент автору, так как вещи скучные или неудачные всегда кажутся чрезмерно длинными, хотя бы занимали мало страниц. Все же кто-то должен защищаться от очень деликатного, однако выразительного, упрека кого-то, будто кто-то беленький попросту поленился надлежащим образом обработать этот сюжет. Это не так, ибо кто-то действительно mit Todesverachtung [1] работал дни и ночи, работал с жаром в крови, а закончив, болел, наверно, больше, чем болеют женщины после родов, и, едва-едва восстановив свое здоровье, работал снова уже над оконченной драмой — знает ли кто-то зачем? — чтобы сделать ее короткой (она была чуть не вдвое длиннее, чем теперь), сконцентрировать ее стиль, точно какую-то крепкую эссенцию, сделать его лаконичным, как надписи на базальте, освободить его от лирической вялости и растянутости (кому-то все кажется, что он этим очень страдает!), уложить сюжет в короткие энергичные формы, придать ему нечто «каменное». Я не люблю много украшений и узоров на статуях, а эта драма должна была напоминать скульптурную группу — таков был мой замысел, а об исполнении судить не могу. Что касается характеров, то я не ставила перед собой цели прибавлять нечто новое к сформировавшемуся в литературе образу Дон Жуана, разве только подчеркнуть анархизм в его характере. Он именно должен был быть таким, каким его привыкли более или менее себе представлять, а если так, то незачем было его обрисовывать детально. Донна Анна, казалось мне, уж и так заняла чрезмерно много места в драме, значительно больше, нежели ей первоначально предназначалось, но командор, это я понимаю, вышел слишком схематичным — это больше символ, чем живой человек, а это бесспорно недостаток; только если сравнить с тем, как обращались с этой почтенной особой другие авторы, то все же, может быть, я была к нему внима-

[1] С презрением к смерти *(нем.).*

тельней и по меньшей мере придала какую-то логику его поведению и настоящий raison d'être[1] в драме. Жаль мне также, что я не сумела поставить Долорес так, чтобы она не казалась бледною рядом с донной Анной, — это не входило в мои намерения, и я даже некоторое время колебалась, кто должен быть подлинной героиней драмы — она или донна Анна, и отдала предпочтение Анне не из симпатии (Долорес ближе моей душе), а из чувства правды, ибо так бывает в жизни, что женщины, подобные Долорес, должны отступать в тень перед Аннами и становиться жертвами собственно не Дон Жуанов, а своей нечеловеческой экзальтации. Это образ прирожденной мученицы, которая заранее обречена погибнуть на кресте, пускай даже ей самой пришлось бы себя к этому кресту пригвоздить, когда бы не нашлось палача. Если бы не было Дон Жуана, то нашлось бы что-нибудь другое, ради чего она бы «распяла душу и пронзила сердце», так как там, где Анна могла быть счастлива, Долорес еще не нашла бы своего святого Грааля *, и это потому, что над нею ничто «каменное» не имеет власти, все эти установившиеся формы жизни, которым в конце концов *покорилась* гордая Анна — именно тогда, когда ей казалось, что она *овладела* своей судьбой. Эти формы не покорили бы нежно-упорного характера Долорес, ведь она и в монастырь пошла не так, как все, не для спасения собственной души, а чтобы пожертвовать ею! Она и обручилась без надежды на замужество, опять не так, как все. Итак, установленные формы для нее не только какие-то мистические формулы, которые должны выражать не выразимые ни в каких формах чувства. Но все, что в этих формах есть «каменного», угнетающего, лишающего свободы, не может иметь власти над ее свободной душой. Так я представляю себе Долорес, но, к сожалению, не сумела передать этой мысли читателям. Вижу из рецензий, что люди слишком поверили самовлюбленным словам неглубокого психолога Дон Жуана о Долорес: «Это только тень моя». Жаль, но этого поправить нельзя, так

[1] Смысл (*франц.*).

как я вышла из того настроения, в каком писала эту драму, и она мне теперь больше не подвластна. Это уже «отдельный организм», и нельзя вернуть его в материнское лоно. Ведь кто-то понимает это! Ну и хватит уже «автокомментариев». Кто-то понимает, что следовало бы дольше поработать, но знает ли кто-то дорогой мне, что если бы кто-то не дал себе, наконец, отдыха, то это была бы его *последняя* драма, и кому-то было бы «капут», говорю не шутя, и кто-то поверил бы, если бы видел тогда кого-то беленького, который был тогда таким белым, что даже уши светились, словно они из алебастра.

А кто-то ведь добренький и, наверное, не захочет, чтоб кому-то беленькому капут пришел, хотя бы и ценой порядочной драмы? Правда же? Кто-то кого-то любит и кто-то когда-то...

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## [ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ УКРАИНСКОМУ ИЗДАНИЮ «МАНИФЕСТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА]

«Коммунистический манифест», вышедший из печати за несколько недель перед революционным взрывом сорок восьмого года, — это первое замечательное произведение современного социализма. В этом произведении впервые излагаются основные, руководящие идеи революционного пролетарского социализма.

Социализм первой половины XIX столетия, социализм великих французских и английских критиков — это лишь обвинительный акт против отталкивающих и бесчеловечных отношений современного капиталистического строя. Глубокая, меткая критика этих отношений и глубокие, меткие и блестящие картины разумного общественного строя, разумных общественных отношений, основанных на совместной, дружными силами ведущейся работе на пользу обществу, в котором каждый человек сможет свободно и всесторонне развиваться, — вот что составляет самую сущность и главное значение этого социализма, который вслед за Энгельсом называют утопическим.

А рабочее революционное движение первой половины XIX столетия было лишь стихийным взрывом ненависти против гнета и эксплуатации, не ставившим перед собой далекую цель, или тайным заговором, имевшим своей целью единым ударом сокрушить

тюрьму эксплуатации и рабства, полагаясь на одни лишь неясные чувства угнетенного люда; только лишь на развалинах этой тюрьмы в соответствии с тщательно обдуманным предварительным планом должно быть воздвигнуто новое здание.

Маркс и Энгельс положили начало новой эпохе и социализма и рабочего революционного движения.

Принимая всю критику капитализма, они, однако, указывают на то, что новый мир воздвигается не по плану, выдуманному какими-то чародеями под спокойным напором пропаганды науки. В самом обществе вырастают силы, ведущие к коренным изменениям, к новой, лучшей жизни человечества. Капитализм, уничтожая мелкую собственность, объединяя средства производства в большие предприятия и фабрики, создает экономические материальные предпосылки нового строя. А вместе с тем растет и пролетариат, вырастает современная армия наемных рабочих, которая в конечном счете должна встать на защиту своих классовых интересов, организоваться, объединиться, приобрести опыт, чтобы совершить переворот, образовать новый общественный строй, уничтожить господство одного класса над другим, уничтожить эксплуатацию, невежество и рабство.

В силу этого изменится и самое революционное движение пролетариата. Вместо слепого уничтожения машин, вместо того, чтобы бросаться в полном отчаянии на видимые проявления невидимого капитализма, пролетариат должен путем политической и экономической борьбы завоевать себе права и льготы, завоевывая тем самым силу и единство и самосознание для своей конечной цели — социальной революции.

Вот каким образом социализм и рабочее движение претворяются в современный пролетарский социализм. А «Коммунистический манифест» представляет собой первое, законченное, полное, ясное изложение основ этого социализма.

И социализм и рабочее движение вытекают из самой жизни, развивающихся современных отношений, с ростом и развитием капиталистического общества, как его неизбежный вывод и результат. Таким образом

«Коммунистический манифест» становится не только основой политического движения современного социализма, но и программой научно-исторического мировоззрения. Он указывает нам, на чем зиждется вся прежняя история человечества. Этот набросок мастерски выявляет основные и важнейшие причины исторического развития человеческого общества.

«Коммунистический манифест» заключает в себе не только политический призыв; он является и мастерским научным исследованием. Он ставит современный социализм на прочный фундамент науки. С «Коммунистическим манифестом» социализм переходит от мечты и благочестивых пожеланий на почву подлинной обыденной жизни; переходит от утопии к науке.

«Коммунистический манифест» мастерски и блестяще излагает основные, путеводные идеи современного социализма. Вот почему его появление и приветствовали так радостно передовые люди революционного лагеря. После подавления революции сорок восьмого года среди общей тишины забыли несколько и о «Коммунистическом манифесте». В шестидесятых годах после основания Международного товарищества рабочих «Манифест» снова выступает на первый план, а впоследствии с восьмидесятых годов вместе с огромным ростом социалистического рабочего движения становится достоянием пролетариата всех цивилизованных стран, от Калифорнии до Сибири. Повсюду, в каждой стране, где поднимается рабочий люд, прежде всего переводится этот мастерской набросок наших великих учителей Маркса и Энгельса.

Теперь приходит черед и Украине. Мы впервые издаем на украинском языке это произведение, этот очерк и изложение мировоззрения и программы современного пролетариата, который борется за лучшую будущность.

[*1901*]

## ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДРАМА В КОНЦЕ XIX СТОЛЕТИЯ

*(Критический обзор)*

Новейшая драма — вот что может вызвать у литературного обозревателя больше всего оптимистических мыслей. Именно в этой области литература «конца века» действительно сказала новое слово, проложила новую тропинку «в мистическом лесу» литературных форм. В конце XIX столетия роман уже заканчивал свой утомительный путь, так бодро начатый в начале столетия; поэзия выбивалась из сил, стараясь заменить старые и давние темы «новыми, новейшими, самыми новейшими»; новелла утрачивала свежесть красок, и именно в эту минуту драма разбила, наконец, оковы мертвой рутины, от которых так долго и отважно стремился ее освободить единственный в своем роде, но неровный и негармоничный талант «северного богатыря» Ибсена. Хоть Ибсен и оставался всегда новатором в области идей и притом любил исключительно драматическую форму, но все же не мог до конца освободиться от романа, философского трактата или моралистической проповеди. В его драмах читатель большей частью не замечает того, что *происходит* на сцене, сосредотачивая внимание на том, что там *говорится*. Этим я не хочу сказать, будто в драмах Ибсена нет действия, но только действие в них часто не зависит от диалога, как в старых операх либретто было независимо от музыки.

Вслед за Ибсеном бросились в широкое море к новым мирам Бьернстьерн, Гарборг, Стриндберг и

целая плеяда северных писателей, которых так часто сравнивали с викингами; сравнение это довольно верно, но лишено полноты, так как эти викинги, в одеждах протестантских пасторов, почувствовали себя «новообращенными» христианами, со странным сочетанием прозелитизма и авантюризма, — это сочетание напрасно старались перенять другие люди, неудавшиеся викинги и не обращенные в протестантство.

Есть предание, будто викинги первые, еще задолго до Колумба, открыли Америку, но Колумб все же вторично открыл ее, словно неведомый край, потому что все открытия и славные подвиги викингов роковым образом оставались бесплодными для прочих людей. Так и теперь, независимо от блистательных открытий новых викингов, Гауптман и Метерлинк отправились искать «кратчайший путь в Индию», один через необозримый океан психологии и социальных проблем, а другой через туманное море мистики и легенды. Гауптман открыл в своих «Ткачах» драму толпы, а Метерлинк в «Слепых» — драму настроений. Хотя оба эти драматурга не сумели до конца использовать свои открытия (и в этом они схожи с Колумбом), хотя их наследники большей частью не талантливей и не оригинальней, чем незаслуженно прославленный Америго Веспуччи, но все же новая земля открыта и вместе с нею — новое широкое поле для деятельности.

Характеристика обоих этих новых направлений в драме была бы слишком обширной темой для обзора, который должен быть сжатым, поэтому ограничиваюсь очерком одного только, самого продуктивного, направления, а именно социальной драмы, в новом значении этого слова, то есть драмы масс, драмы борьбы разных общественных групп между собой.

Несомненно элементы такой драмы можно проследить в литературе древнейших времен, особенно в комедии. Намеки на общественную борьбу мы видим у Аристофана, затем в средневековых мистериях, вернее в их светской части — интермедиях и интерлюдиях, из которых возник так называемый «народный театр» марионеток; в этом народном театре отразились,

хоть и в отрывочной и уродливой форме, исторический, политический, национальный и общественный антагонизм. В комедиях Мольера и Бомарше большая драма борьбы аристократии с буржуазией вылилась в такую веселую, анекдотическую форму, что, как известно, сами исполнители (являвшиеся прообразами героев) долго не понимали того, что они собственно играли трагедию. Масса, хотя бы как стереотипный «народ» драмы XIX века, почти не показывалась в театре с того времени, как исчез со сцены классический хор. Правда, мы ее видим в драмах Шекспира («Кориолан», «Юлий Цезарь», Хроники), но она выступает там эпизодически, играет подчиненную роль, являясь фоном для главных героев, хоть и это шаг вперед по сравнению с греческим хором, потому что народ выступает уже не обезличенной толпой, которая произносит в унисон монологи, а собранием определенных индивидуальностей, хотя ей и отведено еще очень незначительное и несамостоятельное место, особенно если принять во внимание, что такие темы, как «Кориолан» или «Король Джон», дают большой простор для создания массовой драмы. Но роль, отведенная толпе в драме XVII и XVIII веков, вполне отвечает тогдашним взглядам на народ, как на более или менее пассивный материал для разных политических комбинаций «сильных мира сего». Демократическая идея ощупью искала дороги и брала себе в поводыри другие, зачастую случайные, такие, как идеи национальной независимости, автономии провинций, свободы веры и др.

Вполне серьезную трактовку массы как значительного драматического фактора мы впервые встречаем у Шиллера. Если в «Лагере Валленштейна», в этой живой жанровой картине тяжеловесного фламандского стиля, мы видим толпу только как пролог, как основу для дальнейших действий героев, то в драме «Вильгельм Телль» она занимает настолько большое место, что образ героя мельчает и никнет перед ней. Но это исключительная, необыкновенная толпа, вся из героев, которые выражают высоким стилем высокие чувства. И все-таки она несамостоятельна. Как народная фантазия не могла допустить, что швейцарский народ сам мог освобо-

диться от ярма, и поэтому придала ему героя-спасителя, так и Шиллер принудил свою героическую толпу пассивно ждать, пока перстом судьбы отмеченный герой не подаст ей сигнал к действию. Телль в действительности не пастырь, не организатор (он даже не принимал участия в создании союза трех кантонов), только меткий стрелок, а главное, отмеченный перстом драматурга избранник.

Как бы там ни было, это не пустой случай, что именно в такой драме, где демократическая идея выражена ясней всего, толпа впервые была выдвинута на первый план и даже идеализирована; не случайно и то, что роль этой толпы, хоть и очень значительная, все же невыразимо запутана, и это зависело не от особенностей таланта драматурга, а от того, что для него была недостаточно ясна сама идея.

Сравнительно с «Вильгельмом Теллем» ни «Разбойники» и «Заговор Фиеско» Шиллера, ни «Гец фон Берлихинген» и «Эгмонт» Гете не вносят ничего нового в развитие социальной драмы, хотя, сравнивая с другими драмами того времени, их скорей всего можно отнести к этой категории. Виктор Гюго был единственным романтиком, который сделал в своем «Кромвеле» солидную попытку создать социальную драму, но чрезмерное и притом сознательное подражание Шекспиру, не столько в сильном, сколько в наиболее слабом из всего, что он создал, сделало форму этой драмы надуманной и неживой, а чрезмерное влияние идей Карлейля придало ей тенденцию, очень невыгодную именно для массовых драм, так как эта тенденция опять низводила массу на роль более или менее пассивного фона для знаменитых и исключительно добродетельных поступков героев. Другие драмы на социальные темы Виктора Гюго и его школы хоть и удачны по форме, но по содержанию и тенденции отступают еще дальше, нежели «Кромвель», от идеала социальной драмы.

Вообще романтическая драма довольно часто затрагивала тему борьбы личности с окружающим обществом, разнообразно освещая только самого героя, тогда как его окружение, если оно состояло из толпы, она представляла какой-то однообразной, порой

причудливой стихией с непонятными, беспорядочными и неведомыми приливами, отливами и течениями, которые по большей части оставляют после себя грязную пену на месте разрушенных дикой силою гордых скал. Иногда на поверхности поднимались кое-где прозрачные волны словно иной воды, из какой-то неведомой глубины, и снова исчезали, — это были силуэты людей из народа, но не из толпы. Термины «народ» и «толпа» порой употреблялись как синонимы, порой как различные оттенки, иногда даже как противоположности — это понятно и без дальнейшего пояснения. Никто не давал себе труда исследовать источник темных и светлых течений, законов прилива и отлива, потому что литература лишь очень недавно признала их существование и передавала их только как непосредственное впечатление.

Бытовая драма и комедия (drame du milieu) также не превратились в социальную драму, так как изображали больше формы общественной жизни, нежели ее содержание, ограничиваясь преимущественно одной какой-нибудь группой, и, наконец, выродились в так называемую народную пьесу (pièce populaire). Эта народная пьеса процветает теперь на всех третьеразрядных сценах Западной Европы. Такая смесь этнографии и маскарада, мелодрамы и фарса, по большей части вовсе лишенная художественности, рассчитана только на дешевый эффект. Эта «народная» пьеса в лучшем случае лишена всякой тенденции, до идеи же она никогда не поднимается.

Был, правда, драматург, который сделал довольно удачную попытку вывести «народную пьесу» из состояния упадка; это недавно умерший австрийский писатель Анценгрубер. В основу каждого его произведения всегда положена та или другая серьезная идея, порой боевая тенденция, какая-нибудь злободневная тема. Его персонажи не куклы, которые танцуют, поют и кривляются, а тонко схваченные силуэты народных типов; правда, только силуэты, а не полноценные реальные фигуры. Он старательно избегал шаржа и двусмысленной шутки, хотя был далеко не свободен от мелодрамы и даже водевиля. Так, в одной

его пьесе, «Das vierte Gebot» [1] (когда-то очень известной и теперь еще идущей на сцене), где показан антагонизм между средней буржуазией и ремесленниками, видна мелодрама даже во внешних приемах — в патетический момент, например в тюрьме перед казнью героя, играет музыка. Этот мелодраматизм мешает развитию главного мотива пьесы — классового антагонизма, превращая драму в изображение борьбы влюбленной пары (ремесленницы и молодого буржуа) с деспотизмом родителей. Таким образом драма сводится в конце концов к такому тезису: родителей следует слушаться не во всем и не до конца. Ради этого тезиса и вся драма названа «Четвертая заповедь». В другой, не менее популярной, пьесе Анценгрубера «Gewissenswurm» [2] мы видим чисто водевильный прием в ситуациях и злоупотребление тирольскими песнями. Здесь самые мрачные характеры внезапно, словно по волшебству, перерождаются в самые светлые под влиянием веселой крестьянки Лизы Герлах (Herlacherlies), которая больше всего привлекает к себе тирольскими песнями. Между тем мотив пьесы опять-таки серьезный — отношение зажиточных крестьян к бедным и к батракам, то есть антагонизм между общественными классами, составляющими основу недавно появившейся социальной драмы. Анценгрубер был всецело народным писателем не только потому, что знал быт народной массы, но и потому, что знал народный вкус и умел ему угождать. Только иногда, к сожалению, это вредило искусству и правде.

Другой писатель, который тоже стоит выше группы поставщиков «пьес для народа», австрийский драматург Бар (Bahr), еще менее значительный художник, нежели Анценгрубер.

Бар собственно публицист, только он придает своим передовицам драматическую форму. Его пьесы порой стяжают себе громкую, но всегда минутную славу и не держатся долго на сцене по той самой причине, по какой и передовицы быстро исчезают со стола даже благожелательных читателей [3]...

---

[1] «Четвертая заповедь» *(нем.)*.

[2] «Червь сомнения» *(нем.)*.

[3] На этом рукопись обрывается.

## НОВЕЙШАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДРАМА

*(Доклад Л. Косач)*

Общественная драма в новейшем смысле этого термина — то есть драма массы, драма борьбы разных общественных групп между собою, — есть создание последних десятилетий XIX века.

Конечно, элементы такой драмы можно проследить и в литературе прежних времен, особенно в комедии. Некоторые намеки на общественную борьбу мы видим в древнегреческих трагедиях и комедиях, но общественная борьба выступает там под покровом личной драмы или под маской аллегории. В средневековых интермедиях и интерлюдиях, от которых произошел позже так называемый народный театр, отразились, хотя в очень отрывочном и карикатурном виде, исторические антагонизмы, политические, национальные и общественные. В комедии Мольера и Бомарше великая драма борьбы аристократии и буржуазии выразилась опять-таки в форме личной борьбы и в такой веселой, анекдотической форме, что, как известно, сами исполнители (они же и модели для типов) долго не понимали того, что они, в сущности, играют трагедию. Толпа, хотя бы в виде стереотипного «народа» драмы первой половины XIX века, почти не проявлялась в театре с тех пор, как исчез со сцены классический хор; правда, мы видим ее в драмах Шекспира («Кориолан», хроники), но она выступает там эпизодически, играет служебную роль фона для фигур главных героев, хотя все

же прогрессирует против греческого хора в том смысле, что не представляет уже однообразной массы, произносящей монологи, а является собранием ясно намеченных индивидуальностей, но все же ей отводится слишком скромное место. Особенно если принять во внимание, что такие сюжеты, как, например, Кориолан или Король Джон, могли бы дать именно вполне законный повод для создания драмы толпы. Но роль, отводимая толпе в драме XVII и XVIII веков, соответствует вполне тогдашним понятиям о народе, как о материале для всяких политических комбинаций сильных мира сего. Демократическая идея искала ощупью дороги и должна была брать себе в провожатые другие стремления, более или менее случайно и притом не всегда совпадавшие с ней, например, стремление к национальной независимости, к автономии провинций, к свободе вероисповеданий и т. д.

В первый раз серьезное отношение к толпе, как к выдающемуся элементу в драме, мы встречаем у Шиллера. Если в «Лагере Валленштейна», этой живой жанровой картине в тяжеловатом фламандском стиле, мы видим толпу только в виде пролога, то есть опять-таки в виде фона для последующих действий героев, то в драме «Вильгельм Телль» она занимает такое большое место, что фигура героя мельчает и теряется перед ней. Но это исключительная, необыкновенная толпа, состоящая почти сплошь из героев, выражающих самые возвышенные чувства самым возвышенным стилем. И все же она несамостоятельна. Подобно тому, как народная фантазия не могла себе представить, чтобы швейцарский народ мог освободиться сам от ига, и потому создала ему легендарного героя-освободителя, так и Шиллер заставил свою героическую толпу бездействовать, пока ей не подаст сигнала к освобождению случайно выделившийся, не обладающий даже организаторским талантом герой. Телль не предводитель, не организатор (он даже не принимал участия в заключении союза трех кантонов), только меткий стрелок, а главное, отмеченный перстом драматурга избранник.

Как бы то ни было, это не случайность, что именно

в драме, где наиболее проявилась демократическая идея, толпа впервые была выдвинута на первый план и даже идеализирована, как не случайность и то, что роль ее, при всей обширности, не выяснена и запутана, — конечно, это зависит не от свойств таланта драматурга, а от неясности самой идеи в его сознании. Идея просвещенного деспотизма и мессианической роли гениев среди толпы слишком доминировала тогда над идеей о свободном, самоуправляющемся народе.

Сравнительно с «Вильгельмом Теллем» ни «Разбойники» и «Заговор Фиеско» самого Шиллера, ни «Гетц фон Берлихинген» и «Эгмонт» Гете не составляют шага вперед в направлении общественной драмы, хотя по сравнению с другими драмами того времени они наиболее подходят к этой категории в том смысле, что в них, если не само общество в виде толпы, то во всяком случае общественные дилеммы занимают видное место и обусловливают действия главных героев.

Романтическая драма в начале XIX века, разрабатывая тему борьбы личности против среды, освещала всесторонне только личность, а среду, если она представлялась в виде толпы, изображала какой-то темной, однообразной, хотя подчас капризной стихией, подчиненной непонятным, неправильным и бессмысленным приливам и отливам, после которых чаще всего остается грязная пена на месте разрушенных дикой стихией гордых скал. Иногда на поверхности всплескивали изредка светлые волны, как будто другой воды, неизвестно из какой глубины идущие, и вновь исчезали, — это были силуэты людей «из народа», но не из «толпы». Термины «народ» и «толпа» иногда употреблялись как синонимы, иногда как разные оттенки, иногда даже как антитеза, по произволу авторов и без точного определения значения этих слов. Никто не давал себе труда проследить источники темных и светлых волн, законы приливов и отливов, потому что самое существование их недавно было признано литературой и изображалось как слишком непосредственное впечатление.

Бытовая драма и комедия (французская) drame

du milieu тоже не вырабатывалась в общественную драму, так как изображала главным образом формы общественной жизни (притом одной какой-нибудь группы), а не ее содержание, и в свою очередь выродилась в так называемую «народную пьесу», которая процветает на всех третьестепенных сценах Западной Европы. Такая «народная пьеса» представляет смесь этнографии и маскарада, мелодрамы и фарса, обыкновенно лишенную всякой художественности, бьющую только на дешевый эффект; она в лучшем случае лишена всякой тенденции, а до идеи не возвышается никогда.

Впрочем, был драматург, небезуспешно стремившийся поднять из ничтожества «народную пьесу», это недавно умерший австрийский писатель Анценгрубер. В основании каждой его пьесы всегда положена какая-нибудь серьезная идея, иногда боевая, злободневная тенденция. Его действующие лица не марионетки, пляшущие, поющие и кривляющиеся, а тонко схваченные силуэты народных типов, хотя только силуэты, а не полные рельефные изображения. Шаржа и двусмысленной шутки он тщательно избегал, хотя далеко не свободен был от мелодрамы и все-таки водевильности. Так, в самой знаменитой в свое время (да и теперь еще крепко держащейся на сцене) его пьесе «Das vierte Gebot» [1], где изображен антагонизм средней буржуазии с ремесленниками, мелодрама видна даже во внешних приемах, — в патетических местах, например, в тюрьме, перед казнью героя, играет музыка; эта мелодраматичность мешает даже развитию главного мотива пьесы, классового антагонизма, направляет драму в сторону столкновения страсти влюбленной четы (девушки-ремесленницы и молодого буржуа) с деспотизмом родителей и сводит ее в конце концов к такому тезису: родителей следует слушаться, но не всегда и не до крайности: ради этого тезиса и драма названа «Четвертой заповедью» [2].

---

[1] «Четвертая заповедь» *(нем.)*.

[2] По лютеранской версии заповедь о почитании родителей — четвертая, а не пятая. *(Прим. Леси Украинки.)*

Другая, не менее популярная пьеса Анценгрубера «Gewissenswurm» («Червь совести») страдает чисто водевильной произвольностью положений, злоупотреблением тирольскими песнями и волшебно-внезапным перерождением самых черных характеров в самые светлые. Под влиянием веселой крестьянской девушки «Герляховой Лизы» (Herlacherlies), которой почти все обаяние заключается именно в тирольских песнях. А мотив пьесы опять-таки взят серьезный: отношение зажиточных крестьян к обедневшим и к батракам, то есть опять-таки тот принцип антагонизма между общественными слоями или группами, на котором основывается новейшая общественная драма. Анценгрубер был вполне «народным» писателем в том смысле, что не только знал жизнь народной среды, но знал и ее вкусы и умел угождать им, иногда, к сожалению, в ущерб художественности и правде. В драмах его чувствуется недостаток широты и глубины, суженность горизонта, отсутствие определенных общественных идеалов, что и является главной причиной недоразвития его народных пьес в общественные.

Другой, тоже стоящий выше обычного уровня составителей «пьес для народа», австрийский драматург Бар (Bahr) еще менее художник, чем Анценгрубер, это публицист, придающий своим передовым статьям драматическую форму. Его пьесы иногда имеют шумный успех, но редко держатся долго на сцене по той же причине, по какой передовые статьи редко перечитываются во второй раз даже теми, кому они нравились в первом чтении.

К такому типу пьес-передовиц значительно подходит и драма Октава Мирбо «Дурные пастыри», о которой речь впереди, так как ее нельзя причислить вполне к «народным пьесам».

Подготовительной стадией к чисто общественной драме можно считать так называемую обличительную комедию и драму, ведущую свое начало от древней сатиры. Обличительная пьеса царила, под влиянием Дюма, в середине XIX столетия на всех сценах Европы, и царство ее еще далеко не прошло, хотя она уже отошла значительно в тень перед истинной обществен-

ной драмой, являющейся в некотором смысле синтезом материалов, доставленных аналитической обличительной пьесой. Обличительная пьеса тем отличается от общественной, в новом смысле слова, что имеет в виду узко практическую (хотя и несбыточную) цель: исправление нравов данной среды (класса, группы, учреждения) в рамках существующего строя, при помощи только морализующей проповеди или легкого изменения деталей общественной машины, — она обвиняет личности и охраняет или по крайней мере щадит учреждения. Тогда как новая общественная драма имеет в виду именно критику самих учреждений, она стремится понять и выяснить причины общественных антагонизмов во всей ширине и глубине.

Переходной стадией от старой обличительной драмы к новейшей общественной представляется нам скандинавская драма в лице Ибсена, Бьернстьерна и их последователей. Все драмы Ибсена проникнуты обличениями, каждая из них написана на какой-нибудь нравственно-философский тезис, и только громадный художественный талант «северного богатыря» не допустил его превратить свои драмы просто в диалогические проповеди. Ибсен не столько излагает, исследует причины или решает дилеммы, сколько обличает, и драмы его часто напоминают суд, в котором процедура ведется только для формы, так как всем заранее известен приговор. Несмотря на новаторство во внешних приемах и в идеях, драмы Ибсена все-таки принадлежат к старому типу: личная драма преобладает над общественной, и герои слишком доминируют над толпой, которая служит им как бы пьедесталом (даже в таких драмах, как «Бранд» и «Враг народа»).

Бьернстьерн уже гораздо ближе Ибсена подошел к новейшей общественной драме; если его «Столпы общества» можно еще отнести к категории обличительных пьес, то вторая часть его «Выше сил» всецело относится к разряду новейших общественных драм, но так как эта драма написана не так давно, гораздо позже «Ткачей» Гауптмана, то мы будем рассматривать ее в ряду новых произведений этого рода, считая Бьернстьерна, как автора драмы «Выше сил», не

основателем, а продолжателем направления, указанного впервые Гауптманом.

В то время как роман и повесть семидесятых и восьмидесятых годов шли рука об руку с научной психологией и социологией, заявляя претензии на чисто научную точность в данных и логичность в выводах, драма оставалась при старых рутинных приемах условности и всепокоряющей себе интриги, продолжая быть, по выражению Сент-Бева, «преувеличением кстати» (une éxagération à propos).

Когда выработанная в науке теория эволюции проникла в изящную литературу, то роман и повесть, в которых царили тогда натуралисты, превратились как бы в ряд документов, иллюстрирующих теорию борьбы за существование в ее биологическом и особенно социологическом смысле.

Манера, выработанная этой «экспериментальной» беллетристикой, совсем не годилась для драмы, так как она требовала непременно большого нагромождения материала и кропотливой выработки деталей, особенно таких, которые совершенно непередаваемы на сцене. Поэтому большинство драматургов осталось в стороне от нового течения при старых традициях романтической техники.

Драматическая же литература натуралистов почти сплошь была не оригинальна, а состояла из переделок романов, которые не имели особенного успеха, — если не считать «успеха скандала» некоторых из них, — и теперь уже почти забыты. Такие вещи, как «Жерминаль», «Западня» и пр., производящие большое впечатление в романе, на сцене его не производили.

Из всех «человеческих документов» натуральной школы оказалось также невозможным создать драму, как невозможно было бы путем вырезки и наклейки составить из фотографических снимков картину. Истинный драматург может пользоваться этими документами только так, как истинный художник фотографиями, — он может справляться с ними, чтобы помочь своей памяти, но не подчиняться им.

Первым таким независимым художником в общественной драме явился Гауптман. Свободный от бур-

жуазных тенденций, которые все-таки лежали в основе всех обличений натуралистических, Гауптман вступил на путь общественной драмы с новыми идеями, стремлениями и приемами.

В его «Ткачах» мы видим тщательную отделку деталей, взятых, впрочем, не из коллекций натуралистов, а из собственных, личных и семейных воспоминаний автора, — техника этой отделки не уступает технике натуралистов, но его человеческие фигуры не сливаются с этими деталями и не представляют из себя однообразной массы: каждая из них вполне индивидуальна, и, несмотря на их многочисленность, их невозможно смешать между собой. В то время, как в «Жерминале», романе совершенно сходном по теме с «Ткачами», все женщины под конец превращаются в фурий, а все мужчины действуют как стадо, ткачи и ткачихи Гауптмана сохраняют до конца особенности своих характеров и ни разу не удивляют нас каким-нибудь неожиданным поступком. Уже в самой первой сцене расчета ткачей толпа, вначале кажущаяся однообразной, выдвигает из себя яркую и оригинальную личность, «рыжего Беккера», которому только недостаток культурного развития мешает сделаться организатором, и личность эта не является светлой волной, неизвестно откуда идущей; понятно, почему этот человек так бравирует перед своим патроном, в то время как все товарищи принуждены покорно склонять свои головы, — «рыжий Беккер» одинок, не связан семьей, искусный ткач, уверенный в том, что им как мастером будет дорожить всякий хозяин, кроме того, он силен и крепок, вырос в горах, в лучших условиях, чем его товарищи, живущие в грязных деревнях долины, он может быть более уверенным, чем они все, в своей выносливости на случай безработицы или стачки. И действительно, он наиболее стойко держится до конца стачки вместе с Йегером, который уж совсем независим от окружающих условий, так как он солдат, вошедший во вкус городской жизни, не думающий снова приниматься за неблагодарное ремесло ткача и принимающий участие в стачке отчасти ради бравады, «из любви к искусству», отчасти от чувства

справедливости и жалости к той среде, из которой сам недавно вышел. Организатором Йегер, хотя он и несколько культурнее Беккера, тоже не может быть, именно потому, что он посторонний для своих недавних собратий, практически солидарным он уже не может быть вполне, а для идеолога он слишком неучен. Он, как и Беккер, может быть только зачинщиком, а не организатором.

Эти два зачинщика, Беккер и Йегер, занимают в драме подобающее им место, — они бросаются в глаза, но они не герои. Герои там все те, в лице которых толпа переживает все перипетии страдания и борьбы. В лице детей, молоденьких девушек и древних старух толпа испытывает разные оттенки пассивного страдания; в лице молодых матерей она переживает порывы отчаяния, готового на самоубийство или на преступление; в лице взрослых мужчин и не совсем одряхлевших отцов семейств она действует и гибнет в неравном бою, увлекая на гибель и тех, кто не хочет бороться ни с ней, ни против нее. Ни один из ее членов не герой ни по характеру, ни по положению, но вся она вместе героична, потому что ее страдание превышает среднюю меру человеческого страдания и судьба ее слишком трагична для обыденной жизни.

В драме «Ткачи» сказывается веяние новоромантизма с его стремлением к освобождению личности. Старый романтизм стремился освободить личность — но только исключительно героическую — от толпы, натурализм считал ее безнадежно подчиненной толпе, которая управляется законом необходимости и теми, кто лучше всего умеет извлекать себе пользу из этого закона, то есть опять-таки толпой в виде класса буржуазии; новоромантизм стремится освободить личность в самой толпе, расширить ее права, дать ей возможность находить себе подобных или, если она исключительна и притом активна, дать ей случай возвышать к своему уровню других, а не понижаться до их уровня, не быть в альтернативе вечного нравственного одиночества или нравственной казармы. В драме «Ткачи» это веяние сказывается в том, что личность в толпе освобождается отвлеченным образом, то есть признают-

ся ее права в литературе; личность, какова бы она ни была и какую бы скромную роль ни играла, не стоит уже в новейшей общественной драме на степени аксессуара, бутафорской принадлежности или декоративного эффекта; как бы ни была она связана окружающими условиями и зависима от других личностей, она все же наделена своим личным характером и имеет интерес сама по себе; ей не надо ни ходуль, ни магниева света, чтобы быть заметной; таким образом уничтожается *толпа* как стихия, и на место ее становится *общество,* то есть союз самостоятельных личностей. С этого момента начинается *общественная* драма в полном смысле этого слова.

Драма «Ткачи» послужила не только эрой, но и до значительной степени прямым образцом для большинства новейших общественных драм. Намеченных в ней тем хватило на несколько отдельных сочинений разных авторов.

Так, в драме Октава Мирбо «Дурные пастыри» взята та же тема, что и в «Ткачах», — борьба рабочих с предпринимателями, только в несколько измененных условиях. Дело происходит на фабрике очень организованной и централизованной. Вместо зачинщиков Беккера и Йегера, у рабочих есть организатор, агитатор по специальности, Жан Руль, и вдохновительница Мадлена, возлюбленная Руля и его эхо, повторяющая его же фразы, только более кротким тоном. Кроме этих двух личностей, рабочие Мирбо не представляют существенно новых типов по сравнению с ткачами драмы Гауптмана, не говоря о том, что обрисованы они несравненно бледнее, да и вся драма не может даже идти в сравнение с «Ткачами». Где у Гауптмана трагизм, там у Мирбо мелодрама или публицистика.

Единственный вполне художественный во всей пьесе эпизод — это сцена рисования молоденькой дочерью хозяина этюда «продавщицы апельсин» в итальянском живописном костюме с голодной, исстрадавшейся старухи работницы, которая, вместо требуемого от нее «печального лица», делает злое и устремляет неподвижный, полный ненависти взор на глупенькую дилетантку-художницу.

К сожалению, и этот художественный момент испорчен резонерским вмешательством брата художницы, молодого идеолога, тщетно стремящегося к примирению борющихся классов.

Роль этого молодого идеолога вообще незавидна, как и роль его прототипа в «Ткачах», домашнего учителя в семье фабриканта, — правда, учитель едва осмеливается произнесть два-три слова в защиту ткачей, а идеолог Мирбо, Роберт Гарган, ведет длинные и тщетные диалоги со своим отцом, хозяином фабрики, но обоих их в конце концов выгоняют из дома, потом Роберт Гарган гибнет на баррикаде во время усмирения стачки, стараясь под градом пуль примирить усмиряемых с усмирителем, гибнет без всякой пользы для той или другой из борющихся сторон. Их участь подобна участи тех героев Шпильгагена, которые брали на себя миссию примирить враждующие классы и послужить связующим звеном между ними. Гауптман не показал нам, что делал домашний учитель после своего изгнания из хозяйского дома, и вообще эта личность у него едва намечена; Мирбо посылает своего идеолога к рабочим, которые устроили стачку против его отца, но молодой идеолог попадает к ним в момент очень трудный для кроткой деятельности примирителя, как раз во время горячей перестрелки на баррикадах. Ни рабочие, ни усмиряющие их войска не слушают криков Роберта Гаргана: «Остановитесь! остановитесь!», и он погибает незаметно, бесславно и напрасно от чьей-то шальной пули. Смерть его вызывает раскаяние отца, но примирения не достигает, так как рабочие не склонны забыть вражду.

Капиталисты Мирбо, которых он попытался выставить как толпу буржуа против толпы рабочих, не толпа и не общество — это вырезки из газетных статей на экономические темы, они говорят о себе то, что могли бы сказать о них их противники и чего не стал бы говорить о себе ни один даже самый бестактный человек; они все похожи друг на друга, как по характерам, так и по убеждениям, и реплики их легко смешать в чтении. Если разговоры капиталистов напоминают вырезки из газет, то, с другой стороны, речи

Жана Руля — совсем цитаты из агитационных брошюр или из минимальной программы.

Заглавие драмы, «Дурные пастыри», повергло в недоумение многих зрителей и критиков, которые спрашивали себя: кто же собственно дурные пастыри? Идеолог ли Роберт, не умеющий даже приступиться к «пастве»? Организатор ли Жан Руль, не имеющий ничего в перспективе, кроме самой минимальной программы улучшения рабочего быта, играющий роль какого-то пришельца и кое-как поддерживающий свое влияние на толпу благодаря заразительному, но в сущности вовсе неубедительному экстазу Мадлены? Капиталисты ли, считающие себя призванными «пасти стадо сие»? Или, наконец, депутаты демократического направления в парламенте, которые на сцене не появляются, но которых зато Жан Руль прямо называет дурными пастырями, решительно отрицая их деятельность, как, впрочем, и вообще всякую политику? — Возможно, что все эти люди являются, по мнению Мирбо, дурными пастырями, во всяком случае едва ли он имел в виду исключительно парламентских деятелей, о которых только вскользь упоминает Жан Руль, сам все время действующий, то есть говорящий, «как депутат», по едкому, но справедливому замечанию одного из недовольных им рабочих.

Гораздо определеннее проведена антиполитическая тенденция в комедии Доннея и Декава «La clairière» («Просека»), где выставлена группа рабочих и интеллигентов, основавших ремесленно-земледельческую колонию на чисто коллективных началах. Говорят, эта комедия списана с действительного факта и некоторые из живых прототипов пьесы присутствовали даже на ее первом представлении.

В «Clairière» мы видим изображение попытки осуществить утопию в жизни. Люди основывают «колонию» не где-нибудь на необитаемом острове, а намеренно в стране, которой весь строй бесконечно далек от идеала, намеченного колонистами, именно во Франции. Организатор колонии, фанатично убежденный «ново-коммунист», в первом же своем выходе пространно излагает теорию и практику, на которых осно-

вывается жизнь колонизаторов. Он прежде всего отрицает политику и всякие программы улучшения быта рабочих и земледельцев, требующие увеличения платы, уменьшения налогов и т. д., считая, что все это деморализующая благотворительность, освящающая в принципе те несправедливые учреждения, которые она стремится улучшить.

Колонисты постоянно впадают в противоречия со своей теорией: произносят длиннейшие речи, протестуя против всякой пропаганды словом, набирают себе членов при помощи воззваний в печати, в силу которой не верят; покупают для колонии землю на средства, завещанные одним благотворителем, хотя не признают ни благотворительности, ни купли, ни продажи, и, стремясь к упразднению податной системы, продают значительную часть своих продуктов для уплаты податей или работают на стороне за деньги для той же цели, несмотря на свое отвращение к деньгам. Отрицая всякую власть и главенство, они фактически находятся под властью организатора, который *выбрал* первых членов, а потом остался среди них чем-то вроде судии во Израиле.

Колония, наконец, распадается, частью благодаря таким существенным противоречиям собственным принципам, частью благодаря противодействию окружающей среды, частью же благодаря несогласиям и раздорам среди членов, из которых далеко не все оказались на высоте своего призвания.

В колонию намеренно набирались люди разных профессий, чтобы всесторонне провести принцип обмена труда без денег, но это и было главной причиной раздора, так как менее интеллигентные завидовали более интеллигентным (доктору с женой и учительнице), а интеллигенты, в свою очередь, не умели сойтись с остальными. Каждый принес в колонию запас предрассудков и привычек той общественной группы, из которой он вышел, и старые антагонизмы повторились в новой обстановке.

В этой пьесе слишком заметно, что ее писали два автора, которых мысли не слились в одно стройное целое. Один из авторов, видимо, на стороне фантасти-

ческого организатора колонии, другой на стороне скептика, бывшего анархиста и дезертира по принципу, который говорит: «Нечего вбивать гвоздь в гнилую доску: надо прежде доску переменить», и сравнивает отношения колонии к обществу с отношениями разведенного мужа к жене, которую он продолжает содержать на свой счет, не пользуясь супружескими правами. В конце, правда, скептик раскаивается в своих речах, даже обвиняет себя в том, что он со своим скептицизмом был главной причиной охлаждения колонистов к общему делу, но раскаяние скептика не восстанавливает нравственного равновесия в пьесе, так как за то фанатик теряет в конце свою уверенность и начинает резко критиковать свои промахи и органические недостатки колонии, которых до тех пор он упорно не хотел сознавать.

Таким образом идея пьесы от начала до конца колеблется и оставляет впечатление сильной качки, при которой линия горизонта и точка зрения никак не могут прийти в согласие.

В комедии «Clairière» видны иностранные влияния как в содержании, так и в форме, в которой проявляется почти полное пренебрежение французской традицией «крепкой» драматической интриги. Диалоги по-ибсеновски длинны, отвлеченны и программны, действие по-гауптмански просто и лишено театральных эффектов. Сами авторы подчеркивают русское влияние на идеи своих колонистов. Так, в колонии в зале общих собраний написано мелом на черной доске изречение Толстого: «Богатство — главная причина нищеты», и главные члены колонии постоянно цитируют Толстого, не указывая только источника, хотя не могут усвоить себе вполне главных толстовских принципов: опрощения и непротивления. Они все желают сохранить для колонии достижимые при наличных в ней силах блага цивилизации (для доктора даже строят лабораторию), не думают отказываться от своих профессий в пользу земледелия, хотя оно находится у них на несколько привилегированном положении, как наиболее «натуральная» форма труда; принцип же непротивления грубо нарушают именно самые интеллигентные члены,

доктор и организатор: один колотит мальчишку, поющего насмешливые песни под его окнами, другой «трясет» и силой ставит на колени свою жену за донос на товарищей.

Русскую идею «хождения в народ» открыто и определенно признают доктор и его жена в разговоре с отцом доктора, не сочувствующим переселению сына в колонию. Доктор выражает мнение, что роль благосклонного зрителя, к которой привыкла интеллигенция по отношению к народу, слишком удобна и постыдна, на что отец возражает, что так рассуждала двадцать пять лет тому назад в России молодежь, ходившая в народ и растратившая напрасно свою силу. В ответ на это жена доктора заявляет, что она готова сопровождать своего мужа в колонию так, как русские девушки следовали за своими братьями в деревню и на фабрику. Затем молодое супружество рассчитывает свою прислугу (в колонии прислуга упразднена), забирает с собой свою мебель и фортепиано и отправляется «в народ».

Такой вид приняла в французской обстановке русская идея ремесленно-земледельческой колонии интеллигентов, которая лет 10—15 назад была довольно популярна в русской литературе и жизни.

При чтении «Clairière» невольно вспоминается один из давних рассказов Каронина «Борская колония», написанный на подобную тему, хотя в развитии темы французская версия представляет значительные различия от русской. Основателями «Борской колонии» являются не рабочие, а интеллигенты, стремящиеся прежде всего к опрощению и признающие исключительно за земледельческим трудом обновляющие и спасительные качества; они меньше думают о воздействии на окружающую среду, чем об удовлетворении своей нравственной потребности, и хотели бы смыть с себя малейший след своих прежних профессий (впрочем, у некоторых из них вовсе не было никакой определенной профессии раньше); общее у них с инициаторами «Clairière» и приставшими к ней интеллигентами то, что все они одинаково усталые, изверившиеся во всякой «политике», выбитые из колеи люди, ищущие в колонии прежде всего убежища от угнетающей лжи и

зла обычных общественных отношений; но французские колонисты сохраняют еще фонд непочатой энергии, они новаторы, утописты, у них даже скептицизм принимает беспокойную, стремящуюся к совершенству форму, тогда как русские в сущности консерваторы, желающие возвратиться вспять к хозяйственному строю и нравственному укладу русского крестьянства; скептицизм их совершенно обессиливает, потому что приводит в глухой тупик, из которого уже выхода нет никуда.

Среда оказывает разрушающее действие на колонию «Clairière», тогда как борские колонисты сами в конце концов наносят непоправимый ущерб радушно относящейся к ним крестьянской среде. Против выродившихся интеллигентов Борской колонии ее члены из крестьян являются идеальными типами, что очень характерно для русской народнической литературы, тогда как в «Clairière» именно крестьянин является самым несимпатичным (даже в ремарке автора о нем сказано: «бритое и хитрое крестьянское лицо»), что очень типично для французской демократической литературы. Наконец, история «Clairière» все-таки производит впечатление хотя неудавшегося, но серьезного опыта устройства жизни на новых началах (по крайней мере там был хотя недолгий, но значительный материальный успех); в то время как Борская колония является чем-то вроде покушения с негодными средствами и даже материально представляет из себя пародию на человеческое хозяйство, в ней все, и вещи и характеры людей, носят отпечаток заброшенности, безнадежной унылости.

Наконец, в «Clairière» уже чувствуется присутствие новоромантической освободительной идеи: ее члены, так же как и авторы, пуще всего боятся, как бы колония не походила на фаланстер или на казарму и предоставляют каждому свободу устраивать свою личную жизнь по своему усмотрению (т. е. так поступают члены, стоящие на высоте призвания), тогда как в «Борской колонии», да и во всей современной ей русской литературе на подобные темы, царит затхлая атмосфера насильственной нравственной нивелировки,

постоянных обысков чужой души и несносного педантизма так называемых «учителей жизни».

«Просека» представляет больше художественного интереса, чем «Дурные пастыри», хотя в ней постройка фабулы слабее, длиннот масса и действие настолько лишено центра, что в нем сразу довольно трудно ориентироваться, но зато в ней больше живых типов и живых сцен, в ней больше видна оригинальная мысль, это не драматизированный памфлет, во всяком случае. Живее всего в ней вышли второстепенные типы, двое молодых жизнерадостных рабочих, жены колонистов (кумушки-сплетницы), и «благодетель города» Вердье, антагонист колонии, выскочка-делец, любящий повторять, что он вышел «из народа», и гордится этим, издающий республиканско-демократическую газету, считающий время по республиканскому календарю, вместе с тем очень нечистый на руку в политике и в частной жизни, настоящий тип политикана-интригана, каким так богата политическая практика Франции. Это французский вариант типа, истинная родина которого Америка и который известен в Европе под американской кличкой self-made'man (самодельный человек, сам себя выведший в люди).

Тип этот и литературно разработан лучше всего именно в Америке. Там вышел недавно роман рано умершего писателя Весткотта, названный по имени главного героя, такого «самодельного человека», «David Harum»; роман этот, теперь переделанный в драму, в смысле фабулы и руководящей идеи, довольно нескладный, но он очень интересен благодаря центральной фигуре, которая изображена с почти диккенсовским юмором и добродушием. Автор относится к своему герою с нескрываемой симпатией, и тем оригинальнее получается впечатление от этого жилистого, цепкого и крепкого потомка полунищих фермеров, сколотившего себе миллионное состояние всякими правдами и неправдами. David Harum, как и Вердье в «Clairière», не только не стыдится своего плебейского происхождения, но даже щеголяет им, преувеличивая свой простонародный говор и неджентльменские манеры, которые представляют яркий контраст его безукоризнен-

ному костюму и вполне комфортабельной обстановке. Интересна та спортсменски-деловая настойчивость, с которой он «тренирует» себе секретаря и помощника в лице захудалого потомка шотландских лэрдов Джона Ленокса, держа его намеренно впроголодь в отвратительно грязном постоялом дворе, и только убедившись, что «малец маленько пообтерся» уже, приближает его к своей особе и переселяет к себе в дом.

Своим самодурством David Harum напоминает самодуров комедий Островского, только американский самодур всегда имеет в виду какую-нибудь определенную цель. Без нужды он никому не вредит, разве так иногда, немножко, для спорта, для упражнения смошенничает иной раз, он даже не лишен порывов великодушия, так, например, он выкупает от всех кредиторов вдову человека, который когда-то в детстве сводил забитого фермерского мальчишку Дэви Harum'а в цирк и подарил ему 10 центов, доставив ему таким образом первые наслаждения и первые деньги. «Старый Дэв» как фамильярно называют его во всем околотке, самоуверен, самонадеян и самодоволен, он self-made'man в полном смысле слова.

Роман «David Harum» имел колоссальный успех в Америке, где имя героя его сделалось нарицательным для людей его типа.

Таким же громадным успехом пользуется драматическая переделка его на американских и английских сценах.

Тип «самодельного человека», так любовно обрисованный американским романистом, обыкновенно не пользуется симпатиями европейских писателей. Кроме «Набоба» Додэ, кажется, нельзя указать ни на одно выдающееся сочинение, где бы этот тип был идеализирован. Как «самодельные» бароны, так и самодельные «граждане-республиканцы» не сумели привлечь к себе симпатии лучшей части европейских писателей.

Прототипом «самодельного человека» новейшей общественной драмы является конторщик Пфейфер из «Ткачей» Гауптмана, этот пронырливый, беззастенчивый пройдоха, правая рука эксплуататора Дрейсигера,

безжалостный притеснитель нищих ткачей, из которых он сам так недавно вышел. Это тип человека, признающего принцип sauve qui peut [1], который готов сбросить сотни людей в огонь, лишь бы самому вырваться через узкую дверь из пожара, тип, в сущности, очень понятный в виду воспитавших его условий жизни.

Впрочем, тип «самодельного человека» нашел себе в последнее время идеализатора в итальянской литературе, в лице молодого писателя Энрико Коррадини, которого первый роман «Santa-maura» сразу привлек к нему внимание литературного мира. В романе этом изображена была судьба мечтателя, всю жизнь занимавшегося филантропией и насаждением новаторских общественных принципов среди своих сограждан и под конец жизни увидевшего, что он все время «метал бисер перед свиньями», которые попрали дар ногами и, обратившись вспять, не прочь были растерзать благодетеля, принужденного бежать куда глаза глядят из охваченного пожаром и народным бунтом своего родного города Santa-maura.

Теперь Энрико Коррадини написал драму, как бы в pendant [2] к роману «Santa-maura», в которой победоносным героем является человек совершенно противоположного типа, чем мечтатель-филантроп из Сантамавры. Джакомо Веттори, по имени которого названа пьеса, есть итальянский self-made'man ломбардского типа. Это фабрикант, вышедший «из народа», создавший своею энергией образцовую фабрику, которую он блюдет пуще глаза и собирается передать со временем своему сыну, когда сам устанет от дел. Но сын этот возымел желание сам себе проложить дорогу в жизни, потерпел фиаско во всех своих планах самостоятельности, а когда вернулся в качестве блудного сына к отцу, то отец запер свою дверь перед ним.

Возвращение сына совпало с началом стачки на фабрике отца (как ни была она образцова, но и в ней не всегда царила тишь да гладь), и вот рабочие, так же как в драме Мирбо, берут сторону сына против отца.

---

[1] Спасайся, кто может *(франц.)*.
[2] В дополнение *(франц.)*.

Но старик не сдается, сжимает всю фабрику в ежовых рукавицах, побеждает стачку, приводит сына к повиновению и тогда уже, убедившись в его совершенной покорности, передает ему ведение фабрики, а сам удаляется на покой. Джакомо Веттори поступает так, как поступил бы, наверное, David Harum на его месте, у них обоих характер сильный, смелый и совесть не страдает большой чувствительностью, они не плачут в критические минуты, как старик Гарган в «Дурных пастырях», не дрожат и не бледнеют, как Дрейсигер в «Ткачах», не стушевываются трусливо, как Вердье в «Просеке», они — серьезная сила, к которой принуждены серьезно относиться читатель и зритель, к какому бы направлению он ни принадлежал.

Наоборот, молодой Веттори, подобно всем интеллигентам-«примирителям» новейших драм, оставляет какое-то жалкое впечатление своей пассивностью и растерянным метаньем между двух враждующих сторон — быть может, этот тип еще не выработался в жизни, быть может, ему только в литературе не нашлось еще достаточного выразителя, но он не производит даже впечатления утописта-мечтателя, бесплодного, но по-своему сильного типа, а просто представляется какой-то нравственной амфибией, расплывчатой и дряблой. Скорее всего этому типу суждено навсегда остаться таким в литературе, ибо таким он является в жизни, то есть жалким идеализатором, сидящим между двух стульев, фатально обреченным на неудачливость.

К типу «самодельных» примыкает в литературе один тип, тоже намеченный Гауптманом в «Ткачах», — тип женщины «из народа», случайно, путем замужества, попавшей в класс привилегированных. В большинстве случаев она быстро приобретает привычки и проникается инстинктами своей новой среды благодаря свойственной женщинам эластичности. Такова жена фабриканта Дрейсигера в «Ткачах», в которой бывшую ткачиху можно узнать только по силезскому говору, впрочем и то уже значительно «облагороженному», да по легкой вульгарности платья и манер.

Но есть и другой тип, соответствующий уже скорее «примирителям». Такова героиня новой драмы под

заглавием «Schlagende Wetter» [1] молодой немецкой поэтессы Делле-Грацие. Эта героиня дочь и внучка углекопов, отец которой погиб в шахте благодаря преступной небрежности старого хозяина копей, «самодельного человека» Либмана; за сына и наследника этого Либмана выходит по любви замуж молодая работница. Вначале либеральничающий муж подает ей надежду на возможность примирения ее нового положения хозяйки с ее врожденной любовью к своим бывшим собратьям и к оставшимся в прежнем положении родным. Но при первом же столкновении между ее мужем и рабочими все ее надежды рушатся. Рабочие посредством стачки хотят добиться оздоровления шахт, хозяин же, одержимый врожденной жаждой барышей, старается убедить не только рабочих, но и себя, что их требования несправедливы, для доказательства этого спускается в шахту сам вместе с первой партией побежденных стачечников и — вместе с ними — погибает от взрыва подземных газов. (Эти подземные газы имеют в драме и некоторое символическое значение, поэтому их названием озаглавлена драма «Schlagende Wetter».)

Героиня, под конец драмы отступающая на второй план, оказывается в печальном положении страдающей зрительницы, вызывающей только подозрения и даже ревность мужа своими попытками заступничества за бывших товарищей, в то время как она не в силах даже помочь своей больной сестре и деду, который, будучи главарем стачки, не может ничего принять из дома своего противника, боясь связать себя благодарностью или навлечь подозрения в подкупности.

Делле-Грацие вообще пессимистка, поэтому в ее драме много искренней, горячей симпатии к угнетенным, переходящей в страстную жалость, так как она не видит никакого выхода всем этим страданиям, кроме катастрофы, после которой уже ничего не видно за удушливым дымом.

«Schlagende Wetter» ее первая драма, — до сих пор она отдавалась исключительно поэзии, — но, несмотря

[1] «Гремучий газ».

на все промахи и недочеты, свойственные вообще первым драматическим начинаниям, драма эта сразу обратила на себя внимание критики всех лагерей искренностью и мрачной отвагой молодого таланта.

Настроение драмы Делле-Грацие напоминает скорее скандинавские образцы, чем немецкие. Хотя здесь не может быть речи о прямом заимствовании, но есть что-то родственное между драмой немецкой поэтессы и последним драматическим произведением Бьернстьерна «Выше сил». То же мрачное настроение, те же реально-символические диалоги, то же отчаянное решение вопроса всеразрушающей катастрофой, только драма Бьернстьерна глубже, разностороннее и еще мрачнее драмы Делле-Грацие.

Первая часть драмы «Выше сил» относится собственно к типу личной, психологической драмы, — это история пастора, творящего чудеса силою своей веры и гибнущего от чрезмерного нравственного усилия совершить чудо исцеления над своей неверующей женой, в присутствии скептически настроенных дочери и сына. Вторая часть драмы, или, лучше сказать, вторая самостоятельная драма под тем же заглавием, есть история последующего поколения. Скептические дети страстно веровавшего пастора, разочаровавшись в христиански религиозной деятельности отца, сохранили его идеализм и жажду служения человечеству. Дочь ушла в чистую филантропию, выстроила госпиталь и предалась медицине и благотворительности. Сын сделался издателем демократической газеты крайнего направления и отдал все свои силы на служение рабочим массам.

Драма начинается стачкой рабочих, которые надеются отстоять свои права при помощи широкой и крепкой организации. Журналист жертвует все свое громадное состояние (какое-то американское наследство) на поддержку стачечников и напрягает все силы для поддержания духа стойкости и веры в победу. Но предприниматели задумали всемирный синдикат предпринимателей против рабочих. Рабочие понимают, что против такого синдиката, ворочающего миллиардами

капитала, им не устоять, и молодой журналист видит, что он напрасно напрягал все свои силы для мирной борьбы с неукротимым и безжалостным врагом. Остается или сложить совсем оружие, или бороться *выше сил.* Потеряв союзников среди честных рабочих, отчаявшихся в победе, молодой идеалист наперекор своему сердцу соединяется с самыми темными личностями из пролетариата и подготовляет катастрофу. Заговорщики минируют замок местного предпринимателя, в котором собрался совет капиталистов, устраивающих синдикат против рабочих. Подготовив катастрофу, все заговорщики спасаются, остается только журналист, переодетый слугой, да его неотступный товарищ-сумасшедший, которые и производят самый взрыв. Замок рушится и хоронит под развалинами гордый синдикат вместе с пылким идеалистом. Так кончилась борьба выше сил...

Эта небольшая драма в трех действиях захватывает так много типов, вопросов, загадок, трагедий, что если бы вдаться в ее подробный анализ, то пришлось бы посвятить ей одной целый доклад. За неимением времени приходится уделить ей гораздо меньше внимания, чем она заслуживает, и только указать на то новое, что она дает. Новое прежде всего то, что она показывает борьбу рабочих с предпринимателями в полной обстановке, показывает отношение к этим двум классам остальных общественных групп, главным же образом отношение церкви.

Ново прежде всего то, что драма затрагивает вопрос об анархизме как религии отчаяния.

Почти в каждой из разобранных нами драм стачка является наиболее резкой формой борьбы классов, вслед за тем оставался открытым вопрос, что станут делать стачечники на другой день после подавления стачки? Они будут бороться *выше сил!* — отвечает Бьернстьерн своей драмой, и в этом его новое слово. Правда, и другие драмы показывали нам неизбежные кровавые катастрофы и взрывы «убивающих газов», но то были финалы чисто оборонительной борьбы стачечников, финалы, совершенно не зависящие от их

воли. Бьернстьерн показывает нам начало *наступательной* борьбы людей, отчаявшихся в мирных средствах.

Новы у него и типы предпринимателей, борющихся массой против массы, организацией против организации, а не вразброд и без системы, как то мы видели в других драмах. Особенно нов тип местного предпринимателя, своего рода идеалиста, мечтающего о всемирной международной капиталистической монархии, независимой от всех местных государственных органов власти. Этот идеалист также задумывает борьбу выше сил, также теряет приверженцев среди более честных капиталистов и находит их среди наиболее низких, которые в критическую минуту не прочь бы оставить его в огне взрыва одного, если бы их только не заперли заговорщики в замке.

Ново также намеченное в драме отношение церкви официальной и неофициальной к великой борьбе двух классов. Официальная церковь *сознательно* занимает выжидательное положение, готовая стать на сторону того, кто окажется сильнее, неофициальная же, в лице сельских проповедников, разбивается на два лагеря — примирителей и подстрекателей, агитируя священными текстами вместо прокламаций.

Новы и намеченные, но, к сожалению, не выведенные на сцену силуэты двух женщин: один силуэт серьезной филантропки (не барыни-благотворительницы), занявшей в общественной войне нейтральное, но ответственное и опасное положение, подобно сестре милосердия на перевязочном пункте; другой силуэт сознательной, крайне фанатической мученицы из рабочей среды, которая уморила себя и детей, чтобы избавить комитет стачечников от лишних забот и чтобы смертью своей подать товарищам сигнал к более деятельной борьбе.

Нова, наконец, и сама форма драмы «Выше сил», то есть, пожалуй, она не нова, так как ее наметил Ибсен, а довершил Метерлинк — это форма драмы настроения, символически-реальная, — ново применение ее именно к социальной драме; применение удачное и

нашедшее себе талантливых приверженцев не только в драме, но даже в опере. Средний тип работницы, в своем роде «независимой», не желающей ни примирить враждующие классы, ни самой мириться с ними, нашел себе выражение не в драме, а, как это ни странно, в опере, или, как ее назвал сам автор, «музыкальном романе».

Талантливый французский композитор и вместе драматург Шарпантье сделал серьезную и удачную попытку привить новейшую общественную драму на оперной сцене. Либретто его оперы «Louise», написанное самим композитором, вовсе не похоже на обыкновенные оперные либретто, которые без музыки не представляют никакого интереса: напротив, оно имеет вполне самостоятельное литературное значение.

Опера Шарпантье «Louise» в смысле содержания имеет то же значение для оперы, что «Ткачи» для драмы. В обоих этих произведениях совершенно несходная фабула, но очень родственный дух. Действие «Louise» происходит в очень непривычной для оперы обстановке: в мансарде рабочей семьи, в мастерской дамских нарядов, на рынке среди торговок, нищих и ночных гуляк, в маленьком дворике на Монмартре среди аристократической богемы и уличных зевак.

Герои оперы: поэт из предместья, за ним вся масса ему подобной аристократической богемы с анархическим настроением, презирающей филистерство, где бы оно ни проявлялось, в буржуазной ли, в рабочей ли среде, и украшающей поэзией все неприглядные стороны своей жизни; героиня оперы — швейка Луиза, а за ней все ее товарки, вечно сжигаемые жаждой к удовольствиям и блеску парижской жизни, рвущиеся на свободу из-под ферулы семьи, из тисков фабрики и мастерской. Луиза борется между привязанностью к строгим в правилах поведения отцу и матери и любовью к поэту, который в ее глазах является освободителем, Prince Charmant [1], выводящим красавицу из

[1] Прекрасный принц *(франц.)*.

сонного царства на свободу, в этот блестящий, заманчивый Париж.

Париж имеет в опере Шарпантье мистическое значение, подобно тому как святой Грааль в рыцарском цикле опер Вагнера. Веселый Париж остается победителем в борьбе разных групп пролетариата с буржуазией и между собою, он увлекает молоденьких работниц в гризетки и выбрасывает их потом на улицу старыми тряпичницами, он окружает ореолом головы артистов предместьев, а потом предоставляет им умирать, как нищим, подобно Верлэну, Рембо и многим другим. Финалы эти знает всякий, но кто не надеется быть исключением из правил? И, наконец, жизнь мечте не указ.

В легкой форме шутки, иронии, даже дивертисмента автор «Луизы» выражает серьезные мысли. Вот образчик одного уличного разговора: уличный философ говорит:

«Идеал рабочих — быть буржуа, желание буржуа — быть вельможами, мечта вельмож — быть артистами, мечта артистов — быть богами». — «Будьте прежде людьми», — возражает старый рабочий, отец Луизы, но его подымают на смех собравшиеся артисты: «Да здравствует рабочий! Слава честному труженику!» — и взрывы смеха покрывают этот иронический возглас. «Вы никогда не будете для нас людьми», — заключает рабочий.

В опере «Луиза» резко отмечен антагонизм богемы и рабочего пролетариата, тогда как до сих пор обращалось внимание только на антагонизм богемы с буржуазией, между тем этот класс или группа недаром назван «богемой» (цыганами), так как он занимает в больших городах именно то положение, которое занимают цыгане в деревне, — это настоящие déclassés[1] выбитые из колеи и не желающие, а часто и неспособные вернуться в нее.

Новейшая драма затронула и этот тип настоящего цыгана в деревенской среде. Таков герой драмы Карла Гауптмана (брата Гергарда), которая названа

[1] Деклассированные *(франц.)*.

«Ephroims Breite» [1] (то есть «Brigitte»), по имени героини-крестьянки, вышедшей по любви замуж за цыгана. При всей взаимной любви супруги принуждены разойтись, так как жена и ее семья едва мирятся с цыганскими наклонностями мужа, а ему претит хозяйственность и филистерство жены и ее презрительное снисхождение, да, кроме того, он не выносит жизни без свободы, не терпит тисков обычая и деревенских приличий. [2]

[*1901*]

[1] «Размах Эфраима».
[2] Конец рукописи не сохранился.

## РАССКАЗЫ, СТАТЬИ И ПИСЬМА ЛЕСИ УКРАИНКИ

В творческом наследии Леси Украинки значительное место занимают рассказы, публицистические, литературно-критические статьи и письма. Они свидетельствуют о разностороннем даровании украинской поэтессы, о сильном влиянии на ее мировоззрение идей научного социализма, в значительной мере определившем идейное содержание ее лучших произведений.

Над прозой Леся Украинка работала на протяжении всей своей творческой жизни. Ранние ее произведения относятся к 80-м годам прошлого столетия. В них широко используется стилизация под народную речь. Но уже в ранних рассказах проявляется отличительная черта творчества Леси Украинки — философская направленность.

Сказкой назвала Леся Украинка небольшой аллегорический рассказ «Мотылек» (1889). Этот рассказ прославляет стремление к свету, к борьбе против тьмы, символизирующей самодержавие. Мотылек ничего не сделал, чтобы развеять мрак, но его протест против мещанского индивидуализма Летучей мыши достоин уважения. Лучше смерть в порыве к свету, чем прозябание в темном погребе, — такова идея «Мотылька». Она созвучна с темой горьковской «Песни о Соколе», написанной значительно позже.

Большое место в ранних рассказах уделено реалистическому изображению бесправной и полуголодной жизни тружеников. Молодая крестьянка, отданная матерью за пьяницу («Такова ее доля»); девушка-швея, в праздничный вечер склонившаяся над бальным платьем для богатой барышни («Сочельник»),

крестьяне, озабоченные недородом и предстоящей кабалой у помещицы («Весенние песни»); учительница, обучающая крестьянских детей в сырой, нетопленной хате, без книг («Школа»); девушка-работница, с утра до глубокой ночи изготовляющая бумажные цветы («Лилия»), — таковы герои этих первых рассказов Леси Украинки. Горячая любовь писательницы к трудящимся, страстное желание помочь им объединяют эти произведения.

В 90-х годах, когда Леся Украинка познакомилась с марксизмом и примкнула к киевским социал-демократическим кружкам, ее положительный герой-трудящийся приобретает новые черты, в нем пробуждается классовое самосознание, уверенность в грядущей победе над эксплуататорами. Особенно примечателен в этом плане рассказ «Над морем». Здесь в эпизоде столкновения барышни с рабочим-маляром возникает образ грядущей революции, «красного зарева», призванного очистить землю от таких отвратительных явлений, как Алла Михайловна.

Среди произведений, написанных в годы первой русской революции, выделяются рассказы «Дружба» и «Ошибка».

Героини рассказа «Дружба», крестьянская девочка Дарка и помещичья девочка Юзя, как бы воплощают два антагонистические начала: трудовое и паразитическое. Леся Украинка показала себя великолепным знатоком крестьянского быта, психологии трудового народа, которому она противопоставляет никчемную, паразитическую жизнь помещичьей семьи.

Изображая помещиков, Леся Украинка прибегает к иронии, переходящей в сарказм.

Внутренний монолог политического заключенного («Ошибка») заключает в себе ряд проблем, являющихся особенно актуальными среди революционной интеллигенции; искусство высокое, идейное, прогрессивное или черновая работа для дела революции — такова одна из этих проблем; другая — возможно ли совместить личную жизнь с общественной для профессиональных революционеров. Образ революционерки Гали — это образ революционера-профессионала эпохи первой русской революции, как бы продолжающий Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?».

Рассказы Леси Украинки отражают развитие украинской прозы на протяжении более тридцати лет. В ранних ее рассказах заметно влияние традиций старшего поколения украинских писателей, однако творчество Леси Украинки и в области прозы,

так же как в лирике и драматургии, является новым этапом в развитии украинской литературы. Она выдвигает новые темы, новых героев, находит новые способы их изображения. И. Франко писал, что молодое поколение писателей увидело «одну из своих главных задач в психологическом анализе социальных явлений, то есть в том, как факты общественной жизни отражаются в душе и сознании личности и, наоборот, как в душе этой личности зарождаются и произрастают новые события социальной категории».

Первые статьи Леси Украинки предназначались для журнала «Народ» — органа украинской радикальной партии в Галиции, созданной Иваном Франко, Михаилом Павлыком и Остапом Терлецким. Особый интерес представляет статья «Беспардонный патриотизм», раскрывающая антинародную, проавстрийскую сущность украинских буржуазных националистов в Галиции.

То, что Леся Украинка внимательно изучала произведения творцов научного социализма и опыт революционной борьбы на Западе и в особенности в России, имело непосредственное отражение в ее публицистике.

Примкнув к первым социал-демократическим кружкам в Киеве, Леся Украинка начала работать над популярными брошюрами: «Государственный строй» и «Джон Мильтон». Пользуясь «эзоповским языком», она в этих работах излагает основные требования демократических свобод, критикует государственные порядки в царской России, косвенно приводит читателя к мысли о необходимости замены негодного строя другим, способным обеспечить народу демократические свободы. Талант Леси Украинки-публициста особенно ярко сказался в брошюре «Джон Мильтон», где писательница сумела на материале из жизни английского поэта, отдаленного от нас столетиями, создать яркий антицаристский памфлет. К сожалению, обе работы не были закончены, очевидно ввиду невозможности их опубликования.

Изобличение царизма и призыв расправиться с царем, как в свое время расправился с Людовиком XVI восставший французский народ, звучат в замечательной статье «Голос русской узницы».

Эта статья свидетельствует о высоком понимании долга поэта-борца, о чувстве ответственности за судьбы демократического искусства, присущем Лесе Украинке. Важнейшим вопросом

революционного движения в середине 90-х годов была борьба против народничества. В «Не так враги, как добрые люди» Леся Украинка раскрывает неспособность народников обеспечить успех революционной борьбы, доказывает, что даже деятельность таких людей, как Желябов, не привела к желанному успеху. Осуждая ориентацию народников на крестьянство, критикуя ограниченное понимание народа только как крестьянства, Леся Украинка «более удобной почвой для своей пропаганды» считает рабочих. Очень важным положением статьи является утверждение о том, что украинцы должны бороться против царизма совместно с русским народом, что цель у русского и украинского народов одна. Критикуя ошибочную мысль И. Франко о том, что украинцам следует учиться революционной борьбе главным образом у латышей, поляков, Леся Украинка призывает украинцев брать пример прежде всего с русского народа, совместно с ним бороться за демократические свободы, за свержение царизма. Леся Украинка правильно утверждает, что национальное освобождение будет возможно только в результате социального освобождения русского и украинского народов. Именно совместная борьба русских и украинцев против царизма готовила почву для освобождения украинского народа. Правильное понимание Лесей Украинкой ряда важнейших вопросов революционной борьбы — итог влияния на ее мировоззрение идей научного социализма, работ В. И. Ленина против народничества. Статья «Не так враги, как добрые люди» явилась полемическим выступлением против ошибочной статьи Ивана Франко «Под конец года». Как известно, эта статья И. Франко вызвала справедливое осуждение В. И. Ленина («Замечания о книге Щеголева», Ленинский сборник XXX), который с большим интересом относился к И. Франко и хотел с ним познакомиться лично.

Наиболее полно политические взгляды Леси Украинки, ее связь с революционной борьбой рабочего класса отражены в публицистических работах 1901—1902 годов. В это время Леся Украинка переводила произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, популярные работы Лабриолы и Дикштейна, распространенные в кругах русских марксистов.

Важнейшим документом, свидетельствующим о преданности Леси Украинки рабочему революционному движению, является «Послесловие от составителя к книге Дикштейна «Кто чем живет». В нем Леся Украинка популяризирует положения научного

социализма, излагает вопрос о необходимости организации рабочей партии, призывает рабочих к интернациональному единению.

В «Заметках по поводу статьи «Политика и этика» писательница критикует тактику террора, политике и этике буржуазной революции противопоставляет политику и этику Парижской коммуны. Эта статья Леси Украинки, как и послесловие к брошюре Дикштейна, при жизни поэтессы не печатались.

Семилетняя публицистическая деятельность Леси Украинки (после 1902 года она публицистических статей не писала) непосредственно связана с борьбой украинского народа против социального и национального порабощения, с борьбой рабочего класса.

Литературно-критическая деятельность Леси Украинки теснейшим образом связана с русским журналом «Жизнь». В «Жизни» были напечатаны следующие статьи Леси Украинки: «Малорусские писатели на Буковине», «Новые перспективы и старые тени», «Заметки о новейшей польской литературе» и «Два направления в новейшей итальянской литературе». Статья «Европейская социальная драма конца XIX столетия», также предназначенная для этого журнала, была запрещена цензурой и увидела свет уже в наше время. Статьи о народническом направлении в немецкой литературе, о Генрихе Гейне, о «Михаэле Крамере» Г. Гауптмана, о польской поэтессе М. Конопницкой, о творчестве австрийской писательницы Делле-Грацие, а также ответ на статью Ефремова, отосланные, в связи с закрытием «Жизни», в журналы «Мир божий» и «Вестник Европы», не были напечатаны и считаются утерянными. В 1906 году Леся Украинка закончила и напечатала на украинском языке статью «Утопия в беллетристике», в своем первоначальном виде («Утопия» в беллетристическом смысле», 1905) написанной на русском языке.

Несмотря на обзорный характер, эти статьи также показывают глубокое и благотворное влияние идей марксизма-ленинизма на мировоззрение Леси Украинки. Принципиальное и вдумчивое разоблачение антинародной буржуазной сущности декадентства, понимание борьбы двух классово противоположных культур в каждой национальной культуре, анализ литературных достоинств произведения в связи с заключенной в нем идеей говорят о зрелости литературно-эстетических взглядов поэтессы. Важным достоинством литературно-критических образов Леси

Украинки является их публицистичность, боевая направленность против идейных противников марксизма, против народничества, социал-соглашательства, «экономизма».

Леся Украинка вскрывает несостоятельность народнической литературы о крестьянстве. Она отмечает как положительное явление, что Стефаник «изображает крестьян, стоящих на пороге к полной пролетаризации или уже переступивших этот порог» («Малорусские писатели на Буковине»). О необходимости преодоления писателями народнических взглядов говорится в статьях о польской литературе и европейской социальной драме конца XIX столетия.

Статья «Малорусские писатели на Буковине» сыграла значительную роль в развитии прогрессивного направления в украинском литературоведении. Характеристики творчества Федьковича, Стефаника, Кобылянской, данные в этой статье, являются классическими.

В статье «Два направления в новейшей итальянской литературе» впервые в украинском литературоведении со всей ясностью поставлен вопрос о классово непримиримых направлениях в литературе. На примере итальянской литературы конца XIX столетия Леся Украинка вскрыла классовые корни буржуазной литературы периода империализма, ее антинародность, воинственную враждебность к трудящимся.

Упадочническому направлению, представленному творчеством д'Аннунцио, Леся Украинка противопоставила демократическое направление в литературе, воспевающее труд и творческую энергию трудящихся, в первую очередь рабочего класса, их борьбу и уверенность в светлом будущем. Это направление Леся Украинка рассматривает на примере творчества Ады Негри, выступившей в 90-х годах с рядом сборников стихотворений из жизни рабочих. Впоследствии Ада Негри отошла от рабочего движения, в дальнейшем ее творчество, почти прекратившееся в XX веке, не имеет ничего общего с жизнью и классовой борьбой итальянского пролетариата. Эту, уже тогда наметившуюся, эволюцию творчества Ады Негри очень тонко подметила Леся Украинка. Леся Украинка высказывает в статье и свои несравнимо более прогрессивные, чем у разбираемых авторов, мысли и убеждения, подымает принципиально важный вопрос о типичности. «Типичность, — пишет она, — заключается главным образом в их тенденциозности». Тенденциозность Леся Украинка понимает как открытое и сознательное отражение в творчестве взглядов и

стремлений своего класса. Тенденциозность Ады Негри — в ее идейном родстве с рабочим классом; д'Аннунцио же возводит в принцип свою беспринципность, которая, по выражению Леси Украинки, «нисколько не исключает тенденциозности».

Важной также является трактовка Лесей Украинкой понятия «народ». Народ для нее не только крестьянство, а все трудящиеся. Леся Украинка вскрывает основное противоречие творчества Ады Негри: народное содержание ее стихов, которое не соответствует их классической форме.

В этих литературных обзорах Леся Украинка в условиях легальной печати развивала политические идеи, заключавшиеся в анализируемых произведениях только в виде неясных, туманных намеков или предположений.

Леся Украинка последовательно подводит читателя к мысли, что только трудящиеся, рабочие фабрик и заводов, эта «непобедимая сила трудовой армии» возродит Италию к новой жизни. Залогом победы трудящихся является их сплочение «под знаменем ясной идеи, объединенной сознанием», то есть вооружение рабочего класса идеями научного социализма, рост классового самосознания пролетариата. Используя эзоповскую форму изложения, Леся Украинка последовательно проводит четкую мысль о том, что будущее Италии принадлежит рабочему классу.

Обзорная статья «Новые перспективы и старые тени» рассматривает образы «новых женщин» западноевропейской беллетристики. Леся Украинка сравнила отношение к женщине в русской литературе и в западноевропейских, в частности — французской, не в пользу последней. Отмечая эволюцию в постановке и разрешении проблем женского равноправия в литературах разных стран, Леся Украинка подчеркивает, что «дальше всех пошла в этом направлении Россия, где женский вопрос считается теоретически решенным, да и практически женщина там пользуется гораздо большей материальной и нравственной независимостью, чем в Западной Европе».

Анализируя женские образы в прогрессивной западноевропейской литературе, Леся Украинка подчеркивает, что портрет «новой женщины» не может быть полным, если не будет сказано «о типе рабочей женщины во французской беллетристике, но он пока едва-едва намечен».

Вопрос о классовой борьбе пролетариата, о росте классового самосознания трудящихся, об организованности их борьбы, занимающий в «новейшей общественной драме» («Европейская

социальная драма конца XIX столетия») главное место, теснейшим образом связан с эстетикой новой общественной драмы.

Отмечая прогрессивное значение драмы Г. Гауптмана «Ткачи» как первого драматического произведения об организованной борьбе рабочих с капиталистами, Леся Украинка заостряет внимание на критике «экономизма», ставит вопрос об очищении рабочего движения от соглашателей, «примирителей», предающих интересы рабочего класса.

Леся Украинка так формулирует разницу между обличительной и новой общественной драмой:

«Обличительная пьеса тем отличается от общественной, в новом смысле слова, что имеет в виду узко практическую (хотя и несбыточную) цель: исправление нравов данной среды (класса, группы, учреждения) в рамках существующего строя, при помощи только морализующей проповеди или легкого изменения деталей общественной машины, — она обвиняет личности и охраняет или по крайней мере щадит учреждения. Тогда как новая общественная драма имеет в виду именно критику самих учреждений».

В обзоре новейшей польской литературы Леся Украинка подвергла глубокому анализу и обстоятельной критике различные декадентские течения польской литературы. Вскрыв глубокую реакционность декадентства, польской «модерны» и неразрывно связанного с ними польского буржуазного национализма, Леся Украинка отметила, что лучшие польские писатели обращают свои взоры к русской литературе и на ее примере учатся быть полезными для своего народа и родины.

Последняя литературно-критическая работа Леси Украинки — обширная статья «Утопия в беллетристике» — утверждает возможность и необходимость создания живых образов человека социалистического будущего. Вскрыв несостоятельность и буржуазную тенденциозность многих писателей-утопистов, Леся Украинка резко отмежевывает от них Н. Г. Чернышевского, создавшего в 60-х годах образ нового человека — Рахметова. Леся Украинка подвергает уничтожающей критике буржуазные утопии о социализме, как об эпохе бесконфликтности, полного отсутствия борьбы, представление о социализме, ограничивающееся удовлетворением потребительских запросов. Пылкий призыв к писателям воссоздать будущий день человечества, день

социализма, в близкий приход которого верила Леся Украинка, достойно венчает ее литературно-критическую деятельность.

Эпистолярное наследие Леси Украинки, насчитывающее около тысячи писем, представляет огромнейший интерес не только для исследователя жизни и творчества поэтессы. В условиях жесточайшей царской цензуры, запрета украинского печатного слова, Леся Украинка только в письмах могла открыто высказывать свои политические взгляды и суждения о событиях.

Круг адресатов Леси Украинки довольно значителен, но не все письма сохранились. Так, например, нет писем к близкому другу поэтессы — марксисту С. К. Мержинскому, очень важных для уяснения политической деятельности Леси Украинки в 1897—1901 годы и других фактов из ее политической биографии.

Из писем начала 90-х годов наиболее интересными и ценными являются письма к брату Михаилу, дяде М. П. Драгоманову и к писателю О. Маковею.

М. П. Косач, выступавший в литературе под псевдонимом Михайло Обачный, был двумя годами старше Леси. Их связывала крепкая дружба, опиравшаяся на полное взаимопонимание и общность политических взглядов, нетерпимое отношение к самодержавию и украинскому буржуазному национализму. Из писем Леси Украинки к М. П. Косачу мы узнаем о работе группы украинской молодежи над художественными переводами для издания «Всемирной библиотеки». Инициатором и организатором переводов была Леся Украинка. Из списка книг, предложенных ею для перевода, явствует ее основательное знакомство с сокровищами мировой литературы и самостоятельность в их оценке. Примечательно, что русской литературе Леся Украинка отводит первостепенную роль, предлагая ряд писателей перевести полностью. Отсутствие необходимых средств для издания переводов помешало Лесе Украинке осуществить весь план.

Резко враждебное отношение Леси Украинки к украинскому буржуазному национализму раскрывается в ее письмах к М. П. Драгоманову — родному дяде Леси, находившемуся в эмиграции в Софии. Не соглашаясь с рядом положений Драгоманова, Леся Украинка разделяла его отрицательное отношение к религии, к происках буржуазно-националистических галицких партий.

Эти же вопросы подымаются и в письмах к М. Павлыку. Письма к М. Павлыку охватывают значительный период (1891—

1907). Леся Украинка высказывает свои суждения об ошибках радикальной партии, о националистической сущности галицийской партии социал-демократов и т. д. Значительный интерес представляет также вдумчивый анализ первого варианта повести Кобылянской «Царевна» («Лорелея»).

В письмах к О. Маковею содержится ряд материалов о раннем творчестве поэтессы, ее взгляды на природу украинского литературного языка.

В конце 90-х и в 900-х годах значительное место в эпистолярном наследии Леси Украинки занимают письма к И. Франко, О. Кобылянской и А. Крымскому. В этих письмах раскрываются многие страницы жизни и творческой биографии поэтессы, в частности ее работа над переводами и изданием социалистической литературы. В письмах имеются яркие и точные оценки произведений И. Франко, Кобылянской и Крымского, а также и замыслов, идей ее собственных творений. Письма к Крымскому и Кобылянской содержат авторские комментарии к драмам «Лесная песня», «В катакомбах», «Каменный хозяин» и др.

Леся Украинка неоднократно высказывалась против публикации писем поэтов, писателей и других выдающихся лиц. Исключение она делала только для писем, имеющих сугубо общественный характер. В нашем издании печатаются только те письма, которые представляют значительный интерес как материал для общественной и творческой биографии Леси Украинки. Эти письма помогут советскому читателю еще полнее воссоздать образ украинской поэтессы, раскрывают ее исключительный ум, большую человечность и преданность идее социализма.

*О. Бабышкина*

# КОММЕНТАРИИ

## РАССКАЗЫ

*Такова ее доля*

Автограф не сохранился. Впервые напечатан в журнале «Зоря», № 2, 1889.

*Мотылек*

Автограф не сохранился. Впервые напечатан в журнале «Дзвінок», № 14, 1890, стр. 106, с датой: «Волынь, 1889 г.».

*Беда научит*

Автограф не сохранился. Впервые опубликован в журнале «Дзвінок», № 23, 1891, стр. 186—187, с датой: «Волынь, 1890 г.».

*Школа*

Автограф не сохранился. Впервые опубликован в журнале «Народ», № 3-4, 1895, стр. 34—37. Из писем Леси Украинки и самой формы заголовка устанавливается, что редакция предполагала печатать целую серию таких зарисовок, однако этот замысел не был осуществлен.

*Над морем*

Сохранилось четырнадцать страниц автографа и авторизованная машинописная копия. Впервые опубликован в журнале «Літературно-науковий вісник», №№ 1 и 2 за 1901 г.

*Дружба*

Чистовой автограф не сохранился. Впервые опубликован в журнале «Киевская старина», т. XCI, 1905, стр. 11—72. Работа над рассказом продолжалась около года. Леся Украинка готовила его на конкурс, объявленный редакцией «Киевской старины».

Датируется по черновому автографу: «Июнь 1905 г. Тифлис».

*Видение*

Впервые опубликован в журнале «Червоний шлях», № 2, 1923, стр. 1—3. Написан под впечатлениями от русско-японской войны. Датируется по автографу: «30.VI.1905 г.».

*Ошибка*

Впервые опубликован в X томе «Творів» Леси Украинки, Киев, 1929, «Книгоспілка», стр. 242—264.

Датируется ориентировочно.

## СТАТЬИ

В этот раздел включены общественно-политические и литературно-критические статьи, написанные на украинском и русском языках.

Редакция не нашла возможным оспаривать отдельные критические высказывания Леси Украинки, носящие субъективный характер. Это касается главным образом ее оценок писателей, творчество которых она знала на определенном этапе развития. Так, например, польский писатель В. Серошевский, заслуживший положительный отзыв Леси Украинки за реалистические произведения (в статье «Заметки о новейшей польской литературе»), впоследствии скатился в лагерь реакции и отошел от реализма.

*Голос русской узницы*

Французский оригинал неизвестен. Впервые опубликована в сб. «Леся Українка. Неопубліковані твори», Львов, 1947, стр. 121—123.

В 1896 г. Николай II посетил Париж, подчеркнув этим значение «русско-французского союза». Леся Украинка была возмущена, что французские литераторы, художники и артисты, называвшие себя республиканцами и демократами, славословили царя. Писательница переслала статью, написанную по-французски, за границу своим родным с просьбой содействовать ее опубликованию во французской социалистической прессе.

### *Не так враги, как добрые люди*

Автограф не сохранился. Впервые опубликована в журнале «Життя і слово», Львов, 1897, т. VI, стр. 244—250.

Полемическое выступление Леси Украинки направлено против ошибочной статьи Ивана Франко, озаглавленной «Под конец года» и появившейся в журнале «Життя і слово» за 1896 г., № 6. Статья Леси Украинки интересна как свидетельство зрелости ее политической мысли. Писательница, ознакомившаяся с учением Маркса, высказывает ряд верных мыслей о путях борьбы за освобождение народа, об общности интересов русского и украинского народов. Статья Леси Украинки была подписана инициалами «Н. С. Ж.».

### *Послесловие к украинскому переводу брошюры «Кто чем живет»*

Впервые опубликована в журнале «Радянське літературознавство», №№ 7, 8, Киев, 1917.

Брошюру польского социалиста Ш. Дикштейна «Кто чем живет» Леся Украинка перевела с польского на украинский в 1901 г. по совету своего друга, русского марксиста С. Мержинского. Издание должно было сопровождаться послесловием переводчика, дающим популярное изложение учения Маркса.

Брошюра Дикштейна «Кто чем живет» переведена на многие языки, она была очень популярна в революционных кругах России. В 1903 г. Ленин упоминает эту работу в статье «Несколько мыслей по поводу письма 7Ц 6Ф» (Сочинения, т. 6, стр. 280).

*Малорусские писатели на Буковине*

Автограф не сохранился. Впервые напечатана в журнале «Жизнь», № 9, 1900, стр. 122—132. Написана по-русски.

«Просвіта» — буржуазно-либеральное просветительное общество, издававшее популярные брошюрки. Леся Украинка резко критикует львовскую либеральную интеллигенцию, которая входила в «Просвіту», а также издания «Просвіты».

*Заметки о новейшей польской литературе*

Автограф не сохранился.

Впервые опубликовано в журнале «Жизнь», № I-II, 1901. Статья написана на русском языке.

Характеризуя состояние польской литературы того времени, Леся Украинка осуждает некоторых польских писателей-модернистов за их отход от реализма и реакционное мировоззрение.

## ПИСЬМА

В литературном наследии Леси Украинки сохранилось около тысячи писем к родным, друзьям и собратьям по перу. В переписке писательница затрагивала насущные вопросы общественной и литературной жизни. Письма Леси Украинки дают богатый дополнительный материал не только для изучения ее жизни и творчества, но и истории литературы конца XIX и начала XX в.

Отбирая письма, редакция руководствовалась значительностью тем, затрагиваемых Лесей Украинкой, и отказалась от публикации писем, носящих узко бытовой или интимный характер.

В отдельных случаях сделаны небольшие купюры текстов, не представляющих общественного или научного интереса, обозначенные многоточием в квадратных скобках: [...].

Тексты сверены с последней публикацией: «Твори в п'яти томах», Держлітвидав, Киев, 1956, т. 5.

### *1. М. П. Драгоманову*

Автограф не сохранился. Впервые опубликовано по рукописной копии в томе 5 «Твори в п'яти томах», Держлітвидав, К. 1956 [1].

Стр. 217. Лидочка — Драгоманова Л. М.

---

1 В дальнейшем этот том будет обозначен сокращенно: «т. 5, К.».

Стр. 219. ...наикацапейшим языком. — Этим выражением Леся Украинка подчеркивает народность языка драмы «Власть тьмы».

### *2. М. П. Косачу*

Впервые опубликовано в журнале «Радянське літературознавство», 1938, № 2-3.

Стр. 219. Колодяжное — имение отца Леси Украинки на Волыни, с которым связаны многие годы жизни писательницы.

Стр. 220. «Гении». — Леся Украинка имеет в виду свое стихотворение «Посещения», написанное в 1888 г.

«Описывать нашу поездку...» — Леся Украинка в 1888 г. (июль — август) лечилась в Одессе, откуда поехала на экскурсию в Аккерман (прежнее название Белгорода-Днестровского). В результате этой поездки написала цикл лирических стихов «Путешествие к морю». Седьмое стихотворение этого цикла связано с Аккерманской крепостью, о которой Леся Украинка и пишет брату.

Стр. 221. Галя — Ковалевская Г. И.

«Самсон» — поэма Леси Украинки, написанная в Колодяжном. Впервые напечатана в «Зоре», 1892, № 10.

...пишу «Одиссею». — Речь идет о переводе «Одиссеи» Гомера. В рукописях писательницы хранится автограф: третья песня, переведенная целиком, и начало четвертой.

Шура — Косач-Судовщикова А. Е.

### *3. М. П. Косачу*

Впервые опубликовано в журнале «Радянське літературознавство», 1938, № 2-3.

Стр. 221. Печальная новость... — Речь идет о неприятностях, связанных с изданием литературного сборника, составленного Лесей Украинкой и ее братом.

Стр. 222 Маргарита — М. М. Комарова-Сидоренко, подруга Леси Украинки.

Мане — М. М. Быковской, подруге Леси Украинки.

«Четыре сказки зеленого шума». — Сохранился только конспект этой сказки в записной книжке Леси Украинки.

...для черниговцев. — В Чернигове предполагалось издание украинского литературного сборника.

Господин Максим — М. Славинский.

«Bergidylle» — стихотворение Г. Гейне из «Путешествия по Гарцу».

Стр. 223. Тетя Саша — Косач А. А.

«Ночью» — рассказ В. Короленко, переведенный М. Косачом. В тексте рассказа встречается фраза: «На стене стучал маятник». Очевидно, М. Косач спрашивал у сестры, как перевести на украинский язык это слово.

### *4. М. П. Косачу*

Впервые опубликовано в журнале «Радянське літературознавство», 1938, № 2-3.

Год установлен по содержанию и на основании писем П. А. Косача сыну Михаилу.

Стр. 224. «Les pauvres gens» — стихотворение В. Гюго, переведенное Лесей Украинкой.

«Зоря» — литературный журнал, орган народовцев (см. прим. к письму 7), издавался во Львове (1880—1897). В 1883—1886 гг. в этом журнале участвовал И. Франко, который привлекал туда прогрессивных писателей. Леся Украинка одно время печатала в «Зоре» свои произведения — поэму «Самсон», оригинальные стихи и переводы из Гейне.

«Жизнь и философские мысли Пингвина» госпожи Сталь... — Леся Украинка ошиблась: книга написана французским детским писателем конца XIX столетия П. Ж. Гетцелем, известным под псевдонимом Г. Сталь. Отрывок перевода Леси Украинки хранится в архиве.

...вышло новое полное издание... — русский перевод П. Кончаловского «Приключения Гулливера», 1889—1890.

...как только выправлю свою улиту. — Имеется в виду рассказ «Горе». «Улиты» — шуточное название задуманных и медленно осуществляемых литературных произведений. Происхождение этого слова связано с пословицей: «Улита едет, когда-то будет». От слова «улита» Леся Украинка произвела глагол «улитить».

Стр. 225. Семь песен «Atta Troll's». — Эта поэма Г. Гейне представляет собой сатиру на немецкую мелкобуржуазную поэзию 40-х годов.

Самойленко — украинский поэт и переводчик.

«Красный цветок» — популярный в те годы рассказ Гаршина, в котором красный цветок является символом свободы.

Стр. 226. «Нива» — широко распространенный русский иллюстрированный журнал. Выходил с 1870 до 1918 г. в Петербурге.

...кна-кны — в шутку называла Леся Украинка молодых знакомых, большей частью студентов, в том числе и своего брата Михаила.

Стр. 227. ...есть в «Пантеоне» — «Пантеон литературы», журнал (1885—1889, Петербург), в котором в 1888 г. (т. III) были напечатаны «Диалоги» Джакомо Леопарди, в переводе на русский язык.

Пашкевич — студент, приятель М. П. Косача.

Стр. 228. Лонгфелло поэму — «Песнь о Гайавате».

### *5. М. П. Драгоманову*

Автограф не сохранился. Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 16.

Год установлен по содержанию.

Стр. 230. Лидик — внук М. П. Драгоманова.

Стр. 231. Нужно обязательно перевести... одну элегию Musset и Гулливера. — Переводы Альфреда де Мюссе и «Путешествия Гулливера», сделанные Лесей Украинкой, неизвестны.

...надо переписать одну свою повесть. — Речь идет о повести «Горе».

Стр. 232. Дифференциалы Serret'a — известного французского математика.

### *6. М. П. Драгоманову*

Автограф не сохранился. Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 20.

Стр. 234. ...переводы гимнов веды... — «Веда гимнов», или «Ригведа» — сборник старинных индийских религиозных гимнов. (Перевод Леси Украинки см. IV том укр. изд.).

Стр. 235. «Народ» — журнал, орган галицийской радикальной партии, выходил в 1890—1895 гг. под редакцией М. Павлыка и И. Франко в Коломые и Львове.

Стр. 236. Мой Гейне завтра уже пойдет в печать... — переводы стихов, которые были помещены в сборнике «Книга песен» Генриха Гейне, Львов, 1892.

### *7. М. П. Косачу*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в русском переводе: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 157—163.

Датируется по содержанию.

Стр. 238. ...выборы... — выборы в австрийский парламент.

...дело с «соглашением»... — «Соглашение» (так называемая «Новая эра») было составлено в 1890 г. лидерами народовцев, верхушкой польской шляхты и буржуазии, с австрийским правительством для поддержки внешней и внутренней политики австрийского правительства. Разработанное по указаниям императорских чиновников, «соглашение» это было направлено на то, чтобы отвести внимание общественности Галиции от социальной борьбы.

«...народовцы» — украинская реакционная националистическая партия с уклоном в клерикализм и ориентацией на австрийское императорское правительство.

«...москвофилы» — консервативная партия, состоявшая из галицийского духовенства и чиновников, ориентировалась на сближение с русским царизмом. В. И. Ленин писал, что москвофилов поддерживала в России самая реакционная партия, Пуришкевичи и К° (В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 239—240).

Стр. 239. Радикальная партия — крестьянская партия в Галиции, созданная в 90-е годы по инициативе И. Франко и М. Павлыка. Вначале эта партия была прогрессивна, но со временем превратилась в обычную буржуазно-реформистскую партию. И. Франко в 1898 г. вышел из этой партии.

...вся «Сечь» принадлежит радикалам... — Леся Украинка идеализировала членов студенческого товарищества «Сечь», в котором только часть примыкала к радикалам и выступала против реакционеров и буржуазных националистов. «Сечевики» — члены буржуазно-националистического товарище-

ства украинских студентов в Вене. Часть более радикально настроенной молодежи поддерживала связь с прогрессивным «Обществом студентов из России».

Стр. 240. ...словно пан Твардовский. — Герой старинной польской легенды пан Твардовский продал душу черту, когда черт нес его в ад, перекрестился, черт выпустил его из рук, и Твардовский повис между небом и землей.

Usque tandem, Catilina... — Леся Украинка тут перефразировала начало речи Цицерона в сенате против Катилины: «Quousque tandem, Catilina, abutere patientiam nostram» — «Доколе будешь, Катилина, испытывать наше терпение?»

Стр. 242. «Русалка» — ранняя поэма Леси Украинки, напечатана в женском альманахе «Перший вінок», Львов, 1887.

...вокальные произведения Лысенко. — Н. В. Лысенко был автором многих вокальных произведений, в том числе на слова Т. Шевченко, Г. Гейне и других великих поэтов.

Стр. 243. Drang und Sturm — перефразирование «Sturm und Drang» («Буря и натиск»). — Так называлось прогрессивное течение в немецкой литературе второй половины XVIII столетия.

Стр. 244. Revenons à nos moutons — «вернемся к нашим баранам» — изречение судьи из комедии «Адвокат Патлен». Эти слова применяются как поговорка и означают: «Вернемся к предмету нашего разговора».

Стр. 246. Giovanni le Terrible — известная трагедия А. Толстого, не понятая Лесей Украинкой из-за неверной интерпретации ее в итальянской постановке.

...были на «Жидовке» и на «Пророке» — на операх «Жидовка» Ф. Галеви и «Пророк» Д. Мейербера.

...признать, как и моя баронесса... — персонаж из рассказа «Горе».

«Das vierte Gebot» — драма австрийского драматурга Людвига Анценгрубера. В статье «Европейская социальная драма конца IX века» (см. в наст. томе) Леся Украинка оценила его как народного писателя.

### *8. М. И. Павлыку*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 24.
Год установлен по содержанию.

Стр. 247. «Лорелей» — рассказ М. Павлыка.

Стр. 249. ...посылая переводы в печать — «Книга песен» Г. Гейне, вышедшая в 1892 г. во Львове.

### *9. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в русском переводе: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 163—165.
Год установлен по содержанию.

Стр. 250. «Тигры» — шуточное прозвище, данное Лесей Украинкой маленьким ребятам.

Стр. 251. ...лисьих народных песен... — Лисицами Леся Украинка шутя называла галичан.

### *10. М. И. Павлыку*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 29.
Год установлен по содержанию.

### *11. М. И. Павлыку*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 37.

Стр. 253. «Правда» — львовский националистический журнал (выходил несистематически с 1867 г.). Леся Украинка всегда подчеркивала свое отрицательное к нему отношение.

...против вас куренду — распоряжение по церковной епархии; здесь — намек на враждебное отношение к М. Павлыку буржуазных националистов и клерикалов.

### *12. М. И. Павлыку*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 40.
Год установлен по содержанию.

Стр. 255. ...женское движение в Галиции мне представляется тесно связанным с движением вашей партии... — Леся Украинка считала, что разрешение «женского вопроса» входит в задачи революционного движения вообще. Радикальная партия, к которой принадлежали И. Франко

и М. И. Павлык, поддерживала женское движение именно в таком направлении.

...может, что новое услышите о дяде... — про больного М. П. Драгоманова.

### *13. М. И. Павлыку*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 41.

Датируется по почтовому штемпелю на конверте.

Стр. 256. ...со страничкой истории переселения в Сибирь... — полностью напечатано в журнале «Народ», 1892, № 1.

Стр. 257. ...читала я рецензию дяди. — М. Драгоманов, Над Черным морем. Повесть Ивана Левицкого. Издана во Львове (журнал «Народ», 1891, № 22).

### *14. М. П. Драгоманову*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 44.

Автограф не сохранился.

Стр. 259. «Дзвінок» — иллюстрированный журнал для детей, выходил во Львове в 1890 г.

...одна моя повесть... — «Горе».

А две мои поэмки — «Самсон» и «Лунная легенда».

Стр. 260. ...неужто наша поэзия «отцвела, не успевши расцвесть» — перефразирование слов: «Отцветешь, не успевши расцвесть» (Н. Некрасов, Тройка).

«Не налагай оков на вдохновенье!» — стихотворение С. Надсона.

### *15. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 165—166.

Стр. 262. ...за их изданием. — И. Франко принял на себя наблюдение за изданием первой книги стихов Леси Украинки «На крыльях песен», вышедшей в 1893 г. во Львове.

«На новый путь» — сборник стихов Ульяны Кравченко (Шнайдер), Львов, 1891.

Стр. 263. Вашего издания Гейне. — Речь идет об издании И. Франко «Избранные стихи Генриха Гейне», Львов, 1892.

### *16. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в русском переводе: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 166—167.

Стр. 264. ...музыкальная гамма — цикл «Семь струн».

### *17. О. С. Маковею*

Впервые опубликовано в книге В. Симовича «Переписка Леси Украинки с О. Маковеем», Львов, 1938, стр. 20—22.

Стр. 264. Большое Вам спасибо за присланные рецензии... — Рецензии на сборник Леси Украинки «На крыльях песен» были помещены в журнале «Дело», 1893, №№ 88, 89, за подписью «Подоляк» (псевдоним Ив. Верхратского).

Стр. 265. Вашей рецензии в «Зорі» я еще не читала... — О. Маковей, Журнал «Зоря», 1893, № 12.

...метод критики ad hominem. — Леся Украинка не хотела, чтобы ей делали скидку на болезнь.

### *18. О. С. Маковею*

Впервые опубликовано в книге. В. Симович, Переписка Леси Украинки с О. Маковеем, Львов, 1938, стр. 27—29.

Стр. 267. Думала я над Вашей заметкой в «Зорі»... — Заметка О. Маковея о подписке на галицкие газеты («Нет денег!», «Зоря», 1892, № 23).

Что касается съезда литераторов... — О. Маковей предлагал писателям съехаться во Львове во время краевой выставки в 1894 г.

Стр. 268. ...ибо после этого можно было бы очутиться не у себя дома... — то есть быть арестованным царским правительством.

...и между Галитчиной и Украиной в последнее время чаще летают такие камни... — В годы 1891—1893 на страницах галицийских журналов, особенно «Зорі», шла полемика (при участии И. Франко, А. Крымского и др.) об украинском литературном языке. В полемическом пылу некоторые допускали чересчур острые выражения. Леся Украинка, как И. Франко и В. Стефаник, отстаивали единство литературного языка.

Стр. 269. ...влепил в свою писанину какую-то «ганджу»... о Гандже Андибере, рыцаре запорожском. — Слово «ганджа» значит — изъян, порок; Ганджа Андибер — герой народных дум.

...«Народна часопись» — газета, выходила приложением к правительственной газете «Gazeta Lwowska».

О фольклористическом издании г. Франка.— Речь идет о журнале «Життя і слово», который организовал тогда И. Франко.

### *19. М. П. Косачу*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 167—170.

Стр. 270. ...была дважды литература — литературные чтения.

Стр. 271. Я закончила «Старую сказку». — Поэма имеет дату окончания: «12 февраля 1893 г.». В письме, очевидно, речь идет о первой черновой редакции.

Липский — возможно, Владимир Ипполитович Липский.

Стр. 272. Дело Циклопа с Орфеем. — Здесь Циклоп — А. Я. Конисский, Орфей — М. В. Лысенко.

Стр. 273. Тучапский — был арестован в 1890 г. и выслан в Вологодскую губернию.

Дух рождества — персонаж из рассказа Диккенса «Рождественская песня в прозе».

«Жизнь и слово» («Життя і слово») — журнал, издававшийся И. Франко в 1894—1897 гг.

...купальские песни. — Статья Леси Украинки «Купала на Волыни» была напечатана в этом журнале в 1894 г., № 1.

Стр. 274. «Тарас Бульба». — Работа над написанием клавира оперы «Тарас Бульба» длилась почти десять лет (1880—1889). Н. В. Лысенко не успел закончить оркестровку этой оперы.

### *20. М. М. Коцюбинскому*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 68.

### *21. М. П. Старицкому*

Автограф не сохранился. Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 86.

Письмо приурочено к тридцатилетнему юбилею литературной деятельности М. П. Старицкого.

### *22. Л. М. Драгомановой*

Впервые напечатано в сб. «Леся Українка. Неопубліковані твори». Львов, 1947, стр. 139.

Стр. 277. «Да, были хуже времена, но не было подлей» — точнее: «бывали хуже времена, но не было подлей» — цитата из первой строфы поэмы Н. А. Некрасова «Современники».

...мне хочется, чтоб из России дошел хоть один протест... — См. примечание к статье «Голос русской узницы».

...русские студенты, которые послали протест... — В 1896 г. французские студенты послали по случаю коронации царя Николая II приветственную телеграмму студентам Петербургского Лесного института. Прогрессивная часть студентов института возмутилась этим приветствием и в ответ послала протест в редакцию венской социал-демократической газеты «Arbeiter Zeitung» [1], возможно, что и в «La Reforme». Этот протест в переводе на украинский язык напечатан И. Франко в журнале «Життя і слово» (Львов, 1896, кн. 1, стр. 57) в статье «Вести из России», за подписью Spectator [2].

---

1 «Рабочая газета» *(нем.)*.

2 «Обозреватель» *(лат.)*.

## *23. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 135.

Стр. 279. ...передай это тому, кому об этом интересно — очевидно, С. К. Мержинскому.

По воспоминаниям его современников Мержинский был революционер-романтик, целиком преданный идее научного социализма, преисполненный любви к трудящимся людям и к красоте жизни (И. Н. Мошинский, На путях к I съезду РСДРП. 90-е годы в киевском подполье, Москва, 1928; П. Л. Тучапский, Из пережитого, Одесса, 1923). Мержинский посоветовал Лесе Украинке изучать «Капитал» Карла Маркса, переводить популярную социал-демократическую литературу, заниматься публицистикой. Он интересовался постановкой ее драмы «Голубая роза», советовал перевести ее на русский язык и поставить в русском театре. Содействовал налаживанию связей Леси Украинки с петербургским журналом «Жизнь», для которого она написала ряд литературно-критических статей, где выступила пропагандистом передовых социальных идей и острым критиком писателей-декадентов (см. наст. том). Мержинский был вдохновителем ее интимной лирики (1897—1901), которую она при жизни не публиковала, и поэмы «Одержимая» (см. т. I наст. изд.).

«Статків-маєтків не збуває» (пусть свои достатки не сбывает) — слова из «Думы о Марусе Богуславке».

...я не вижу той «строгой системы», о которой говорят фанатики этой книги. — Речь идет о «Капитале» Карла Маркса. Леся Украинка приводит слова на русском языке, на котором говорил С. К. Мержинский, «фанатик» этой книги. Леся Украинка искренно признавалась сестре, что вначале ей было трудно штудировать «Капитал», тем более говорить о нем, прочитавши лишь половину книги.

...автор «Alliance» — М. А. Бакунин.

Стр. 280. «Бай-Ганю» — произведение болгарского прогрессивного писателя-сатирика Алеко Константинова. «Бай-Ганю» (вышел в 1894 г.) обличает болгарскую буржуазию.

«Rapsodie» — фортепьянное произведение на болгарские народные темы.

### *24. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 172—174.

Стр. 281. ...возвращать же ей первоначальную редакцию. — В первой редакции героиня драмы «Голубая роза» Люба принадлежала к революционному кружку. Леся Украинка переделала эту сцену, учитывая театральную цензуру.

Стр. 282. ...приехать Кропивницкий — выдающийся украинский актер и режиссер.

Стр. 283. Я сегодня читала в «Русской мысли» рецензию на «Ваву» и «Пашеньку». — «Русская мысль» — журнал, выходивший (1880—1917) в Петербурге, орган либеральной русской буржуазии. Рецензия помещена в кн. X в разделе «Современное искусство. Малый театр». «Вава» — комедия Кетлер, переработка повести Мопассана «Иветта», и «Пашенька» — драма Н. Л. Персиянской; рецензент резко раскритиковал эти пьесы, особенно «Ваву».

Гарин — Гарин-Михайловский Н. Г., русский писатель.

Станюкович — Станюкович К. М., русский писатель.

### *25. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 177—178.

Стр. 284. «Литературный вестник» («Літературно-науковий вісник») — журнал, издававшийся с 1888 г. во Львове. Сначала руководящую роль в этом журнале играл И. Франко, впоследствии М. Грушевский.

Стр. 285. ...мне все-таки жаль «Жизни и слова»... — «Когда «Життя і слово» редактировал И. Франко, он группировал вокруг него прогрессивные силы, помещал много данных о революционном движении в России, печатал фольклорные материалы и пр. Все это было очень близко Лесе Украинке, она понимала, что новая редакция (куда вошли, кроме И. Франко и О. Маковея, А. Борковский и М. Грушевский) такого направления не обеспечит.

...исчезло поле для моей деятельности. — Леся Украинка чувствовала, что на страницах ЛНВ она не смо-

жет так свободно выступать с революционными произведениями, принимая во внимание расхождение в политических взглядах с новыми редакторами.

### *26. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 145.

Стр. 286. Мой сосед Руденко — известный комический актер.

Где теперь Зарницкая? — украинская драматическая актриса.

...послать Мирославскому — псевдоним Винникова, актера.

...«nie mam komu» — цитата из Мицкевича «Конрад Валленрод».

Стр. 287. ...послала моего «Певца» в юбилейный сборник. — В сборнике под названием «Привіт др. Івану Франку», Львов, 1898, напечатано впервые два стихотворения Леси Украинки: «Поэт в дни осады» (это, очевидно, и есть «Певец») и «Другу на память».

Стр. 289. Мне кажется, ты несправедлива к Тучапскому. — Мать и кое-кто из близких Леси Украинки относились с предубеждением к Тучапскому и другим революционерам, с которыми общалась Леся Украинка.

...так немного он от меня получил. — П. Л. Тучапский в то время участвовал в редактировании киевских подпольных газет («Рабочей газеты» и «Вперед»).

### *27. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в издании: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 178—181.

Стр. 291. Афродита — слепок с античной статуи Афродиты на веранде дачи, где жила Леся Украинка.

Стр. 293. Господин Дерижанов — врач, в пансионе которого жила Леся Украинка в Ялте.

Стр. 294. «Ифигению». — «Ифигения в Тавриде» была задумана, как драматическая поэма; отрывок из нее Леся Украинка включила в цикл «Крымские воспоминания».

### *28. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 181—184.

Стр. 295. ...приятно узнать, что Заньковецкая... — В первом спектакле «Голубой розы» роль Любы исполняла не Заньковецкая, а актриса Ратмирова.

Стр. 296. ...как у Леопарди — итальянский поэт.

Что думает Вороной? — Речь идет о посланной ему пьесе «Голубая роза».

«Вий» — драматическая переработка повести Гоголя, сделанная М. Кропивницким.

«Пропавшая грамота» — драматическая переработка повести Гоголя, автор М. Кропивницкий.

«Сватанье в Гончаровке» — комедия Г. Квитки-Основьяненко (1778—1843).

«Наталка-Полтавка» — пьеса И. П. Котляревского (1769—1838).

«Никандр несчастный» — пьеса Н. К. Садовского (переработка «Горькой судьбины» А. Ф. Писемского).

### *29. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в русском переводе: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 184—187.

Стр. 298. ...уверена, что Старицкий своим «Мазепой» — речь идет об историческом романе М. Старицкого.

### *30. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 187—188.

Стр. 300. Николай Васильевич — Ковалевский.

### *31. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в сб. «Леся Украинка», Киев, 1954, стр. 46.

Стр. 300. «Наши люди на селе» — «Наши люди на селі». Написал Грицко Григоренко. Юрьев, 1898. Франко рецензии не написал.

Стр. 301. «Благодарю Вас за слишком даже благосклонный отзыв о моих стихах». — Речь идет о статье И. Франко «Леся Украинка» — «Літературно-науковий вісник», 1898, № VII, стр. 6—27 (вторая нумерация).

...сравнение моих и маминых стихов... — И. Франко, сравнивая ее поэму «Самсон» с поэмой Олены Пчилки «Дебора», приходит к выводу о крупном «перевесе таланта дочери над талантом матери».

...поздравить Вас с юбилеем — двадцатипятилетие литературной деятельности И. Франко, состоялось 30 октября 1898 г. во Львове.

### *32. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 189—192.

Стр. 301. ...до Берлина. — В Берлин Леся Украинка поехала в сопровождении матери и брата Михаила для операции ноги.

### *33. О. Е. Косач (Судовщиковой)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 193—194.

Стр. 305. «Сказка» лучше «Сна» — стихотворения Леси Украинки «Старая сказка» (1893) и «Мне снилось, что фантазии прекрасной...» (см. т. 1 наст. изд.).

### *34. О. Ю. Кобылянской*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в «Хрестоматии критических материалов», вып. II, Киев, 1949, стр. 101.

Стр. 308. «Матерь божья» — очерк Кобылянской, напечатанный в журнале «Зоря», 1895, № 23.

Вы пришли в нашу литературу через немецкую школу... — Ольга Кобылянская жила на Буковине, ко

торая в тот период принадлежала Австрии и находилась под влиянием австрийской (немецкой) культуры. Кобылянская в совершенстве владела немецким языком, читала произведения мировой литературы, в том числе и русскую, в немецких переводах. Под галицийско-польской школой Леся Украинка подразумевает писания польских и украинских буржуазных националистов с их ограниченной тематикой и клерикализмом. Чтобы расширить мировоззрение О. Кобылянской, Леся Украинка хотела познакомить ее с русской классической литературой в оригинале.

Стр. 309. ...не разделяю Вашего ницшеанства.— О. Кобылянская увлекалась философией Ф. Ницше.

Стр. 310. ...берусь переписывать свои песни— для сборника «Мечты и думы», который вышел во Львове в 1899 г.

Если Вашему знакомому литератору...— Людвигу Якубовскому. Некоторые его рассказы в переводе на украинский язык печатались в «Буковине», «Литературно-научном вестнике». Леся Украинка перевела два его рассказа на русский язык для журнала «Жизнь» под заглавием «Духи» и «Как я раз боженьку забыл», написав к ним короткую заметку о Л. Якубовском. Якубовский издавал также «Дешевую библиотеку для народа», где печатал в переводах на немецкий язык произведения прогрессивных представителей мировой литературы. Один такой сборничек украинских новелл подготовила для него Ольга Кобылянская. Предисловие должен был написать И. Франко или О. Маковей. Сборник не вышел из-за смерти редактора. Переведенные на немецкий язык новеллы украинских писателей были напечатаны в журнале «Ruthenische Revue», 1903. Некролог Людвига Якубовского помещен в ЛНВ, 1901, стр. 48.

### *35 О. Ю. Кобылянской*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в «Хрестоматии критических материалов», вып. II, Киев, 1949, стр. 101—103.

Стр. 312. «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Klinik gehen» — перефразированная строка из стихотворения Гете: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen» [1].

---

1 «Кто хочет понять поэта, тот должен идти в страну поэта» *(нем.)*.

### *36. П. А. и О. П. Косач*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 199.

### *37. О. Ю. Кобылянской*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 200—201.

Стр. 317. ...вчера же и закончила свой перевод — перевод на немецкий язык рассказа «Звонкие струны», который Леся Украинка готовила к сборнику украинских новелл, подготавливаемых Якубовским. Автограф не найден. В журнале «Ruthenische Revue» (1903, №№ 9, 10) перевод этого рассказа напечатан за подписью Ольги Кобылянской.

Стр. 318. ...есть одна такая повесть... — Речь идет о повести «Одинак», написанной в 1893 г. (см. т. III укр. изд.).

Остатки стихов для моего сборника — «Мечты и думы», вышедшие в «Издательском союзе» во Львове в 1899 г.

Стр. 319. ...что-нибудь новое здесь напишете. — 27 июля 1900 г. О. Кобылянская написала очерк «Там звезды пробивались», напечатанный в «Буковинском православном календаре» в 1901 г.

### *38. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 203—208.

Стр. 321. Универсалы — гетманские грамоты, послания.

Стр. 323. ...Erzähle Dinge dass man wissen will — слова из драматической сказки Г. Гауптмана «Потонувший колокол» (последняя сцена I действия).

Стр. 324. ...Творки — местность, где помещался дом для умалишенных.

Стр. 326. «Жизнь» — литературный, научный и политический журнал (1897—1901). В нем сотрудничали В. И. Ленин, А. М. Горький, А. П. Чехов. Здесь печаталась и Леся Украинка.

### *39. О. Ю. Кобылянской*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в «Хрестоматии критических материалов», вып. II, Киев, 1949, стр. 104—105.

Стр. 327. ...ожидая так долго мой доклад — реферат «Малорусские писатели на Буковине».

...собралась переписывать лекцию о буковинском «трилистнике». — Речь идет о докладе «Малорусские писатели на Буковине», который Леся Украинка переписывала для «Буковины» и «Вестника Европы». Доклад был напечатан в переводе на украинский язык и в сокращенном виде в «Буковине», 1900, №№ 44—46. «Трилистник» — украинские писатели: Осип Федькович, Ольга Кобылянская, Василь Стефаник.

Стр. 328. ...женский университет — высшие женские курсы в Петербурге.

«Некультурная» — рассказ Ольги Кобылянской, впервые напечатанный в журнале «Буковина», 1897, №№ 198—297.

Стр. 329. ...послала... в «Вестник Европы». — «Вестник Европы» — журнал либерального направления, выходил в Москве с 1802 по 1830 г., а с 1866 по 1918 г. — в Петербурге. Статья Леси Украинки не была напечатана.

Стр. 330. «Синяя книжка» — сборник новелл В. Стефаника (Черновцы, 1899). Огромный интерес к теме пролетаризации крестьян был вызван выходом в свет (март 1899 г.) труда В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».

### *40. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 211—213.

### *41. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 213—215.

Стр. 333. Дерпт (теперь Тарту). — Леся Украинка отправилась в Дерпт, чтобы навестить брата Михаила.

...сам редактор. — Редактором журнала «Жизнь» был В. А. Поссе.

Стр. 334. ...пусть подождет реферата о Гейне — доклада о Г. Гейне, который позднее читала Леся Украинка в «Литературно-артистическом обществе». Напечатан он не был, и автограф не сохранился.

Пусть ограничится стихами и «Струнами». — Какие стихотворения давала Леся Украинка в «Сборник», неизвестно. Ни стихов, ни рассказа под заголовком «Звонкие струны» в «Сборнике» нет.

Стр. 335. ...думаю о вечере — в честь Генриха Гейне в Киеве, на котором Леся Украинка должна была читать доклад.

Домбер — гора в Дерпте (в Тарту). На вершине горы парк и развалины старинного собора.

### *42. О. П. Косач (сестре)*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 215—216.

Стр. 336. ...двенадцать томов Гейне — для подготовки доклада о Гейне по случаю столетия со дня его рождения.

Спасибо за пересылку корректуры — корректура перевода поэмы Гейне «Atta Troll», печатавшейся в ЛНВ.

Стр. 337. Неожиданно попала я тут на годовщину Шевченко. — В феврале 1900 г. студенческая молодежь Дерпта отметила годовщину Шевченко. Леся Украинка выступила с декламацией стихов «В дни, когда был Израиль врагами пленен» и «Иеремия, зловещий провидец».

...о бурах и англичанах — англо-бурская война 1899—1902 гг.

### *43. О. П. Косач (сестре)*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 216—218.

Стр. 339. ...«феральный день» — роковой.

Стр. 340. ...пишет теперь мой портрет. — Художник И. М. Труш писал портрет Леси Украинки по заказу Научного общества им. Т. Г. Шевченко; впрочем, общество его не приобрело. Портрет был выставлен в Львове на выставке, Труш продал его графу Пининскому, чего не могла простить ему Леся Украинка. Позднее для Научного общества сделана была авторская копия, значительно хуже оригинала. Оригинал и копия хранятся теперь в Львовском Государственном музее украинского искусства.

«Борьба за жизнь» — драма А. Додэ.

«Ратклиф» — трагедия Гейне. Постановка в Киеве не состоялась.

### *44. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 218—219.

Стр. 341. ...кроме философии Куперьяна, ничего не выдумаешь. — Куперьян — герой шутливой народной песни «Якось воно буде» с рефреном: «А Куперьян каже, якось воно буде» («авось, обойдется»). Франко использовал эту песню в сатире «Цехмистер Куперьян».

### *45. О. П. Косач (сестре)*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 220.

Стр. 345. А на писание статьи у меня всего три недели — статья «Новые перспективы и старые тени», напечатанная в журнале «Жизнь», 1900, № 12.

### *46. О. Ю. Кобылянской*

Впервые опубликовано в сб. «Леся Украинка», Киев, 1954, стр. 94—97.

Стр. 346. ...свое путешествие на север... — Это письмо не сохранилось.

Стр. 347. Рассердил меня «Вестник»... — В ЛНВ в 1900 г., кн. XI, стр. 127, в разделе «Из газет и журналов» помещены были только короткие отрывки из доклада Леси Украинки «Малорусские писатели на Буковине» и совсем выброшена характеристика Кобылянской.

«Под открытым небом» — рассказ Ольги Кобылянской, напечатанный в ЛНВ, Львов, 1900, кн. XI, стр. 225—267.

Стр. 348. ...оттиски моих «Буковинцев» — оттиски статьи из журнала «Жизнь» «Малорусские писатели на Буковине»; один из таких оттисков с дарственной надписью Гамбарашвили хранится в архиве Леси Украинки.

### *47. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 224.

### *48. П. А. и О. П. Косач*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 225—228.

Стр. 349. ...мое несчастье — болезнь С. К. Мержинского.

Стр. 351. ...торопилась заканчивать свою статью — статью для журнала «Жизнь» «Современная общественная драма», запрещенную царской цензурой.

«Gesellschaft» — немецкий журнал, организатором и редактором которого был Людвиг Якубовский.

### *49. О. Ю. Кобылянской*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 228—229.

Стр. 354. ...статью о новейшей социальной драме — см. Приложение к наст. тому.

### *50. А. Ю. Крымскому*

Впервые опубликовано в русском переводе: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 229—231.

### *51. О. Ю. Кобылянской*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 213—232.

### *52. В. Г. Крыжановской-Тучапской*

Автограф полностью не сохранился. Письмо написано по-русски.

Впервые опубликовано: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 232—234.

### *53. В. А. Поссе*

Написано по-русски.

Впервые напечатано в «Вестнике АН УССР», № 6.

Стр. 361. ...я решительно не в состоянии выслать во-время работу — статью про народническое направление в немецкой литературе.

Материалов я набрала с собою сюда... — Леся Украинка писала статьи о драме Гауптмана «Михаель Крамер» и «Народническое направление в немецкой литературе».

### *54. В. Г. Крыжановской-Тучапской*

Автограф не сохранился. Написано по-русски.

Впервые опубликовано: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 234—237.

### *55. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 237.

### *56. О. Ю. Кобылянской*

Впервые опубликовано с сокращением в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 238.

Стр. 365. Сегодня как раз девятый день— С. К. Мержинский умер 16/3 марта 1901 г.

### *57. Е. Н. Чирикову*

Написано по-русски.

Впервые опубликовано: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 238—239.

Стр. 367. ...передать Вам снимок с нашей группы. — Кто такой Константин Васильевич — неизвестно, может быть отец С. К. Мержинского.

Я писала Поссе. — Письмо к В. А. Поссе не сохранилось.

Рукопись забракованной статьи. — Статью Леси Украинки Поссе вернул.

Я бы хотела все-таки напечатать эту работу по-малорусски. — Леся Украинка начала переводить статью по просьбе И. Франко для ЛНВ, но не закончила.

...известной Вам «темы». — Е. М. Чириков редактировал отдел «Провинциальная жизнь» и использовал факты, данные М. В. Кривинюком.

### *58. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 240—243.

Стр. 372. ...позавчера целый день с утра до вечера писала стихи. — 7 июня 1901 г. написаны такие стихотворения: «Ты не хотел меня взять», «Цветов, цветов как можно больше», которые ошибочно датированы вместо 7 июня 6 июля (см. т. 1 наст. изд.).

### *59. В. Г. Крыжановской-Тучапской*

Написано по-русски.

Впервые опубликовано в издании: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 243—246.

Стр. 373. ...иеремиада. — Библейский пророк и поэт Иеремия составлял плачи-причитания.

Стр. 374. У меня будет большой портрет. — Портрет С. К. Мержинского Труш не написал.

### *60. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в сборнике «Леся Украинка», Киев, 1954, стр. 52—53.

Стр. 376. «Кто чем живет» — см. в наст. томе.

«Воля» — галицийский журнал социал-демократического направления, выходил во Львове в 1900—1907 гг. Леся Украинка напечатала в нем перевод брошюры Дикштейна «Кто чем живет».

Лабриолы. — Речь идет, очевидно, о брошюре «Очерки материалистического понимания истории».

...переводы... Энгельса. — Какое именно произведение Энгельса было переведено, не установлено; очевидно, «Развитие социализма от утопии к науке».

Симовичу. — Симович — студент, знакомый Леси Украинки.

### *61. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 252—254.

Стр. 377. П. Н. Ге — сотрудник журнала «Жизнь».

Стр. 381. «La Mascotte» — героиня оперетты Одрана «Маскотта», которая приносит счастье всем, с кем встречается.

...пойду к Яновскому — известному киевскому профессору-терапевту.

### *62. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 256—257.

Стр. 382. ...о Конопницкой... — Статья Леси Украинки о М. Конопницкой утеряна. Сохранились только переводы нескольких стихотворений польской поэтессы на русский язык, принадлежащие Лесе Украинке.

«Из дневника» — два стихотворения И. Франко. Поэт говорит о своих неосуществленных замыслах, представляющихся ему детьми, погибшими в житейской трясине («Опівнич. Глухо. Зимно. Вітер виє» и «Як голова болить!»). Напечатаны в ЛНВ, 1902, кн. XI, стр. 95—98. Стихи эти вошли в сб. «Semper tiro», Львов, 1906.

### *63. О. П. Косач (сестре)*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 257—259.

Стр. 383. Пришлось перевести много стихов... — В архиве сохранилось лишь четыре выполненных Лесей Украинкой перевода на русский язык стихотворений М. Конопницкой.

Стр. 384. ...для фирмы Малых — фирма в Берлине, издававшая легальную социал-демократическую литературу и прогрессивных русских писателей.

Стр. 385. Запрудье — село близ Ковеля.

### *64. И. Я. Франко*

Впервые напечатано в журнале «Радянське літературознавство», Киев, 1948, № 9, стр. 128—134.

Стр. 388. ...статью Вашу в «Zeit» о Конопницкой — статья «Maria Konopnicka», 1903, № 421, 25 октября, стр. 40—42.

Стр. 389. Моя статья... — Статья о Марии Конопницкой для журнала «Мир божий».

Автор апокалипсиса. — Апокалипсис — одна из книг Нового завета, наполненная мистическими пророчествами о конце света. Церковь связывает авторство «Апокалипсиса» с именем Иоанна Богослова. В действительности автор этого произведения не установлен.

Стр. 390. ...еще в Колодяжном... — И. Франко был там у Косачей в мае 1891 г.

«Каменная душа» — стихотворная драма И. Франко в одном действии, закончена 12 февраля 1895 г.

Когда я была во Львове... — в марте 1897 г. по дороге в Вену.

...в «Kurjer'e» — польская газета либерального направления, в которой с 1887 по 1897 г. сотрудничал И. Франко. Выходила в 1884—1914 гг. во Львове.

Стр. 391. Тогда же шла полемика... — Речь идет о травле, поднятой националистами против И. Франко из-за статьи «Ein Dichter des Verrates» [1], напечатанной в венской газете «Die Zeit», 1897, т. XI, № 36, стр. 86—89.

...свою драму о скульпторе среди пуритан — драму «В пуще», имевшую в первых редакциях название «Скульптор».

...прочитала крик и жалобы Ваших «детей» — то есть стихи И. Франко «Из дневника», где в образе утопленных детей выступают ненаписанные произведения.

...спорила с Трушем — известным украинским художником.

Стр. 392. ...нечто среднее между иеремиадою и филиппикой — между жалобой и обвинением.

Стр. 395. ...я писала в такую ночь... — Драма «Одержимая» написана 15 февраля 1901 г. за одну ночь подле смертельно больного С. К. Мержинского.

Стр. 396. Что сказать Вам о Вашей поэме — поэма И. Франко «Лесная идиллия», опубликованная в ЛНВ в 1903 г., кн. I, стр. 8—17.

...к Вороному... — В посвящении к поэме «Лесная идиллия» Франко полемизировал с поэтом-модернистом Вороным, отстаивая гражданскую роль поэта.

...«верлибристом» — т. е. пишущим стихи свободным размером.

---

[1] «Поэт измены».

Стр. 397. «Новая жизнь» — поэма И. Франко. Отрывки из поэмы печатались в сб. «З вершин і низин», Львов, 1893.

«Господские шутки», «Пути и перепутья» — стихотворения И. Франко.

Свою «поэму» — драматическую поэму «Вавилонский полон».

### *65. О. Ю. Кобылянской*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 270.

Стр. 398. ...отпор Ефремову... — «В поисках новой красоты», статья С. Ефремова, направленная против некоторых прогрессивных явлений украинской литературы. Ответ Леси Украинки до нас не дошел.

Ritter von dem Heiligen Geist... — образ из поэмы «Горная идиллия» Г. Гейне.

### *66. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в журнале «Радянське літературознавство», Киев, 1948, № 9, стр. 134—139.

Стр. 399. ...с Людиной статьей... — Статья Л. М. Старицкой-Черняховской «Новинки украинской литературы» напечатана в журнале «Русская мысль», 1909, № 10.

...и моими книжечками... — 1) сборник «Відгуки», Черновцы, 1902; 2) «Детские игры, песни и сказки Ковельского, Луцкого и Новоград-Волынского уездов Волынской губернии», Киев, 1903 — фольклорный сборник, составленный Лесей Украинкой и К. В. Квиткой.

Стр. 400. «Воскресенье» и «Мыши» — песни из сборника «Детские игры, песни и сказки...» Леси Украинки и К. В. Квитки.

...огрызнулась на Ефремова... — Это единственное письмо, дающее представление о том, что Леся Украинка ответила Ефремову на его статью «В поисках новой красоты».

...даже не упомянул Толстого. — Имеется в виду статья Л. Н. Толстого «Что такое искусство» (напечатанная в журнале «Вопросы философии и психологии», 1897, № 5, и 1898, № 1) и дополнения к ней Л. Толстого, где дается уничтожающая характеристика французского символизма.

Стр. 401. «Символизм» или «декадентство»... — Леся Украинка справедливо возражает против отожествления символизма с декадентством, которое составляет одну из основных мыслей статьи С. Ефремова.

Ибсен и Бьернстьерн, например, символисты. — Это утверждение Леси Украинки можно принять с некоторой оговоркой относительно Ибсена последнего периода, но оно неверно для Бьернстьерна.

Мопассан и Чехов... декаденты... — Это утверждение Леси Украинки не отвечает действительности, показывает, что она не понимала реалистической сути творчества Чехова и Мопассана.

Стр. 402. ...«вавилонской магии». — Французский писатель Сар Пеладан называл себя вавилонским магом.

«Les vierges de Syracuses» — роман французского писателя Жана Бертеруа.

Декадентство возникло не от «кабачка» и «гидропатов». — В некоторых парижских кабачках собиралась артистическая богема, именовавшая себя странными прозвищами «гидропаты» и другими.

...времен Панамы... — Речь идет об афере французских концессионеров при сооружении канала через Панамский перешеек (1884—1903).

Viliers de l'Isle-Adam «La décadence des races latines». — Среди произведений Вилье де Лиль Адана книги под таким названием нет, речь идет, вероятно, о цикле романов Сар Пеладана «La décadence latine».

Taïs Pierre Louys'a. — Леся Украинка ошибается: «Таис» — роман Анатоля Франса.

Стр. 403. ...поэзия были протеевскими. — Протей, по греческой мифологии, морской бог, которому свойственно было перевоплощение.

Стр. 404. ...буковинку — Ольгу Кобылянскую.

Стр. 405. ...что там с моим сборником в цензуре — сборник стихов Леси Украинки «На крыльях песен», 2-е изд., Киев, 1904.

### *67. О. П. Косач (матери)*

Впервые напечатаны в журнале «Червоний шлях», 1923, VI—VII, стр. 190—191.

Стр. 407. ...в моей заметке... — Речь идет о «Письме в редакцию» — полемической статье Леси Украинки, ответ Ефремову на статью «В поисках новой красоты».

«Век» («Вік») — трехтомная антология украинской литературы, охватывающая период с 1798 по 1898 г., Киев, 1902.

Стр. 408. Славинский в «Мире божьем»... — рецензия М. Славинского на издание антологии «Вік», «Мир божий», 1902, кн. 9.

### *68. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 280—281.

Стр. 409. ...будет ли публиковать посланную ей... статью — о Марии Конопницкой.

Стр. 411. ...в моей статье в «Жизни» — статья «Малорусские писатели на Буковине», журнал «Жизнь», 1900, № 9.

Стр. 412. Очень прошу прислать колядки — статью О. Пчилки «Украинские колядки», напечатанную в «Киевской старине», Киев, 1903, кн. 1, 4—6.

### *69. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 281—283.

Стр. 413. «Русское богатство» — ежемесячный журнал, выходил в Петербурге с 1876 по 1918 г. С 90-х годов становится органом либеральных народников.

«Русская мысль» — ежемесячный журнал либеральной буржуазии, издавался в Москве с 1880 по 1918 г. В. М. Лавровым. После революции 1905 года — орган правого крыла кадетской партии.

### *70. О. Ю. Кобылянской*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в «Хрестоматии критических материалов», изд. II, Киев, 1949, стр. 105.

Стр. 414. Кто-то начал писать драматический этюд — «Три мгновения», законченный в 1905 г.

...один уже написан — «Вавилонский плен».

Стр. 415. ...кто-то дал стихи для сборника Ефремову — для сборника «На вечную память Котляревскому»; его готовило к печати издательство «Вік» в Киеве. Леся Украинка дала туда стихи: «На Земмеринге», «Пленник» и «Дым». Стихотворение «Дым», посвященное теме интернационализма рабочих, цензура запретила.

(Другой сборник, не Ефремова) — альманах «Нова рада», редактируемый М. П. Старицким и О. Пчилкой. Вышел он в 1908 г., изд. «Киевского литературно-артистического общества». Леся Украинка напечатала в нем поэму «Вавилонский плен» и стихи «Ниобея».

Кто-то хочет написать еще на одну библейскую тему... — поэму «На руинах».

### *71. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 286—288.

Стр. 417. ...сборник, который ты и Люда издаете — альманах «Нова рада».

С предисловием и примечаниями к последнему разделу сборника «На крыльях песен». — Предисловие и примечания напечатаны не были и не сохранились.

### *72. М. И. Павлыку*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 317.

Стр. 421. ...что мне следовало бы «отказаться от всякой политики». — Леся Украинка в поисках более

свободных условий для выражения революционных идей в своем творчестве спрашивала М. Павлыка, могла бы она жить и работать во Львове, на что М. Павлык в письме от 5 апреля 1903 г. ответил: «Разумеется, что в Галиции Вам пришлось бы освободиться от всякой политики, чтобы к Вам не могли придраться. В таком случае Вы будете в безопасности и все, что будет возле Вас».

Стр. 423. ...у него в семье не было декабристов... — Брат деда Леси Украинки Яков Якимович Драгоманов был декабристом и погиб в ссылке в Сибири.

...социалистов-эмигрантов — дядя, Михаил Петрович Драгоманов.

...радикалов-ссыльных... — тетка, Олена Петровна Косач-Приходько.

### *73. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 288—290.

Стр. 424. ...перевести Ваши рассказы на русский язык. — Несколько рассказов И. Франко в переводе Леси Украинки (без указания ее имени) вышли отдельными выпусками в изд. «Донская речь».

Стр. 426. ...Ваши свояки теперь живут у нас на хуторе — сестра жены И. Франко с мужем и детьми.

### *74. И. Я. Франко*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 288—290.

Стр. 427. ...издатель из фирмы «Донская речь» — Парамонов Н. Е. Франко согласился затушевать некоторые места, о которых ему писала Леся Украинка.

...последние события в Кишиневе. — 6—7 апреля 1903 г. в Кишиневе черносотенцы устроили погром еврейского населения.

Стр. 428. ...о моем казусе с Трушем... — М. Грушевский преследовал М. Павлыка за его передовые прогрессивные идеи. Труш также примыкал к сторонникам Грушевского.

Леся Украинка горячо выступала в защиту Павлыка против Грушевского и его сторонников из «Наукового т-ва им. Шевченко».

Стр. 430. ...издать маленький сборник. — Петербургские студенты-украинцы собирались издать сборник произведений украинских писателей. Большое участие в организации этого сборника принимала сестра Леси Украинки Ольга Петровна, которая училась тогда в Петербургском женском медицинском институте. Сборник не вышел.

### *75. А. Ю. Крымскому*

Впервые опубликовано с сокращением в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 295—298.

Стр. 431. ...получила Вашу книжку о семитизме — «Семитские языки и народы (по плану Теодора Нельдеке), очерки и обработки А. Крымского», «Труды по востоковедению», изд. Лазаревским институтом восточных языков, вып. V, №№ 1—3, ч. I, М. 1903; или «Лекции по истории семитских языков». Вып. I. «Семитские языки вообще и арабский язык доклассический», М. 1902.

...моя подруга детских лет — М. М. Быковская.

Стр. 432. ...посылаю свои новые стихи — «Что даст нам силу» (см. т. 1 наст. изд.).

...есть ли на якутском языке слово «свобода». — Интерес к якутскому языку у Леси Украинки был вызван работой над поэмой «Одно слово», законченной в конце 1903 г.

### *76. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 300—302.

Стр. 434. Кленя — Климент Васильевич Квитка.

Стр. 435. ...на мою книжку нет отзывов — то есть на 2-е изд. сб. «На крыльях песен», Киев, 1904.

...один в «Одесских новостях». — В № 6467 от «ноября 1904 г. была помещена коротенькая рецензия за подписью Гр. С—ный (псевдоним Григория Коваленко).

Стр. 436. Автора «La chèvre de m-r Séguin» — Альфонса Додэ.

«...der meine genannt...» — слова из 13-го стихотворения цикла «Die Heimkehr» Г. Гейне.

...пришли мне «Тысячу и одну ночь». — Речь идет о книге Эльгстурпа, посвященной сказкам Шехерезады, которая вышла в переводе на русский язык под редакцией и со вступительной статьей А. Ю. Крымского.

## *77. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 302—304.

Стр. 438. Думаю заняться также реформою своего нового драматического этюда — «Осенней сказки», которая имеет дату в автографе: 25.I.1905.

Рассказ... все еще не окончен. — Рассказ «Дружба» Леся Украинка начала писать на литературный конкурс, объявленный журналом «Киевская старина» в 1904 г., но закончила его лишь 1 мая 1905 г. и в конкурсе не участвовала.

...под влиянием ежедневных перемен «весны» и «зимы». — Речь идет о революционных событиях 1905 г.

...один такой «весенний» день. — Леся Украинка имеет в виду попытки тифлисской полиции спровоцировать резню, чтобы отвлечь внимание масс от революционной борьбы.

«Полтавщина» — политическая, общественная, литературная и экономическая газета либерального направления, выходившая в Полтаве в 1905—1906 гг.

«Южные записки». — В № 4 этого журнала за 1904 г. напечатан по-русски рассказ Леси Украинки «Мгновение».

...новые книги Крымского... — 1) «Филология и погодинская гипотеза (судьбы киевского малорусского наречия XI—XVI вв.)», Киев, 1904; 2) «Мусульманство и его будущность», Л. 1904.

Стр. 440. Примусь я опять за свой этюд — «Осеннюю сказку».

### *78. П. А. и О. П. Косач*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 304—305.

Стр. 441. «Мусульманство и его будущность» — научный труд А. Ю. Крымского. Новое, переработанное издание, Львов, 1904.

Стр. 442. В Гурии — часть Западной Грузии.

### *79. А. Ю. Крымскому*

Впервые опубликовано в журнале «Радянське літературознавство». Киев, 1948, № 9, стр. 139—150. Конец письма не сохранился.

Стр. 446. Ваш роман... я прочитала — повесть А. Ю. Крымского «Андрей Лаговский», Львов, 1905. Патология и натурализм этой повести вызвали отрицательное отношение Леси Украинки.

Стр. 456. ...«амеопа без музору» — «поэма без разума» — переставленные буквы.

Стр. 460. Написала я недавно одну небольшую драматическую поэму — «В катакомбах», 25 марта 1905 г.

Стр. 461. Пробовала в Петербурге выступить. — Леся Украинка имела в виду либералов-монархистов, которые были против автономий и стояли за единую неделимую Россию. Выступление Леси Украинки (в форме письма в газету) до нас не дошло.

### *80. О. Ю. Кобылянской*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в «Хрестоматии критических материалов», изд. II, Киев, 1939, стр. 105—106.

### *81. А. Ю. Крымскому*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 325—329.

Конец письма не сохранился.

*82. О. П. Косач (матери)*

Впервые с сокращением опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 330—332.

Стр. 467. ...не пригодились бы «Родному краю». — Эти критические заметки К. В. Квитки были напечатаны под псевдонимом Тымиш Борейко в «Родном краю» лишь в 1912 г., №№ 12—19, под названием «Новая украинская музыкальная этнография».

*83. О. П. Косач (матери)*

Впервые с сокращением опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 333.

Стр. 470. ...написала рассказ — «Разговор».

«Молодая Украина» — детский журнал, выходил с 1908 по 1919 г., приложение к журналу «Родной край».

*84. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 370.

Стр. 472. ...«отдельный вид» — временный паспорт, выдававшийся замужним женщинам, которые постоянного паспорта не имели.

Стр. 473. «Шиповник» — издательство, основанное в 1906 г.

«Земля» — литературно-художественные сборники «Московского книгоиздательства», выходили с 1908 по 1917 г.

...рецензии... на «Кассандру». — Очевидно, рецензии В. Перетца на драматическую поэму «Кассандра».

*85. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 335—338.

Стр. 475. ...«вылезет ли на свет» моя поэма. — Речь идет о драматической поэме «В пуще».

*86. Н. К. Кибальчич*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 402.

Стр. 479. «Украинская хата» — литературно-научный ежемесячный журнал буржуазно-националистического направления, выходил в Киеве в 1909—1914 гг.

*87. А. Ю. Крымскому*

Впервые опубликовано в сокращении, в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 338—342.

Стр. 481. ...я надеюсь, что Вы не принимаете субъективности Иоанны и Оксаны. — Иоанна — героиня драмы Леси Украинки «Иоанна, жена Хусы», Оксана — героиня драмы «Боярыня». Крымский в письмах к Лесе Украинке преувеличил значение биографической основы этих драм.

...есть даже один подобный, незаконченный план — план неизвестен.

Стр. 482. «Liberty thou art» — цитата из «Шильонского сонета» Байрона. Одну строфу этого сонета по-английски (с собственным переводом) Леся Украинка поместила эпиграфом к циклу «Невольничьи песни» (см. т. 1, наст. изд.).

Стр. 483. ...нет ни «красивых оранжевых ковров, ни кубка из яшмы» — как у богача Хусы в драме «Иоанна, жена Хусы».

...а есть добрый и внимательный друг — К. В. Квитка.

...«дождаться этого праздника» — цитата из стихотворения С. Руданского «Наука».

Стр. 483—484. ...драму-феерию — «Лесную песню».

*88. О. П. Косач-Кривинюк (сестре)*

Впервые напечатано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 342—343.

Стр. 484. ...когда будут печатать мелкие вещи — то есть стихотворения: «Волна», «Вила-посестра», «Ко-

ролевна». Поэму «Королевна» Леся Украинка из редакции ЛНВ забрала и опубликовала в журнале «Родной край». Большая — «Лесная песня».

«Руфина и Присциллу». — Драма «Руфин и Присцилла» издана по этому неиспорченному автографу только в советское время. Сохранился еще черновой автограф этой драмы, в котором много вырезанных и перечеркнутых вариантов.

Стр. 485. В то же время я «училась». — Леся Украинка, не найдя специалиста, сама, изучая новые материалы, переделывала и переписывала свой учебник «Древняя история восточных народов», посылая по частям сестре для печати. Но новая редакция до нас не дошла. Из нее напечатана отдельной книжкой вступительная небольшая часть под заглавием «Первобытные люди».

Книга Ménard'a. — Книга хранилась в библиотеке Леси Украинки.

...книга «L'homme sauvage». — Речь идет о книге «Hommes fossiles et hommes sauvages». Études d'anthropologie[1] par A. de Quatrefager, Paris, 1884, стр. 644.

### *89. О. П. Косач-Кривинюк (сестре)*

Впервые напечатано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 343—344.

### *90. О. П. Косач (матери)*

Автограф не сохранился.

Впервые напечатано в журнале «Червоний шлях», Харьков, 1923, кн. VIII, стр. 241.

Стр. 489. Русова... не читала ничего, рецензируя. — Рецензия на I том сочинений Леси Украинки, напечатанная в газете «Киевские вести», ч. 280, от 10 октября 1911 г.

Стр. 490. Нечемное — урочище около села Скулина.

Стр. 491. ...дата под стихотворением поставлена. — Под стихотворением «Волна», напечатанным в ЛНВ в 1908 г., даты нет.

---

[1] «Допотопные люди и дикари». Этюды из антропологии.

...две вещи слишком велики — «Вила-посестра» и «Лесная песня» (законченная в декабре 1909 г.).

### *91. А. Ю. Крымскому*

Впервые опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 348—351.

Стр. 493. «Волынская летопись» — «Галицийско-волынская летопись» (1205—1290).

...«Самовидца» — «О начале и причинах войны Хмельницкого».

...борьбы христианства с «религией моих предков». — Леся Украинка начала писать поэму «Перун».

...образ Константина Гордиенко — кошевого Запорожской Сечи.

Стр. 494. Aulard'a. — А. Крымский прислал Лесе Украинке книги Олара, когда она писала диалог «Три мгновения».

...написала одноактную пьесу — в это время написана драматическая поэма «Адвокат Мартиан» (24 ноября 1911 г.). Речь, очевидно, идет о первоначальной редакции этой драмы под заголовком «Мученики».

...я написала Дон Жуана — драму «Каменный хозяин», датирована 29 апреля 1912 г.

### *92. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращенном виде в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 351—352.

Стр. 497. «Ой, если б, козаченьку, была я богатенька» («Наплювала б я на тебе і твого батенька») — слова народной песни «Лугом іду, коня веду».

В «Обществе драматических писателей». — Леся Украинка состояла в этом обществе с 1900 г.

### *93. О. П. Косач (сестре)*

Впервые опубликовано в сокращении, в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 352—353.

Стр. 500. ...«книжная драма», говорил Евшан... — В статье «Достижения украинской литературы за 1911 год» в журнале «Літературно-науковий вісник», 1912, кн. I, Евшан критикует драматическую поэму «Руфин и Присцилла» с позиций «чистого искусства».

*94. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращении в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 353—354.

*95. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращении в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 355—356.

Стр. 506. ...объясняю дело с инициалами... — Речь идет о том, чтоб подписать какое-то произведение Леси Украинки (очевидно, драму «Боярыня») псевдонимом или криптонимом, против чего возражала Олена Пчилка.

Борейко — псевдоним К. Квитки.

Стр. 507. ...после одной дружеской рецензии... — А. Ю. Крымского.

...«Свет не карает преступлений, но тайны требует для них» — перефразировка А. С. Пушкина: «Он не карает заблуждений, но тайны требует для них» («Когда твои младые лета»).

Стр. 508. ...вещь сознательно искалеченную... — «Руфин и Присцилла». В рукописи этой драмы Леся Украинка, по требованию редактора М. Грушевского, сделала разные изменения для цензуры, но первоначальный текст сохранила, заклеив бумагой.

*96. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано в сокращении в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 356—357.

Стр. 514. ...это все же прошлый год меня подкосил... — На протяжении 1911, 1912 и начала 1913 гг. были

написаны драмы «Лесная песня», «Адвокат Мартиан», «Каменный хозяин».

### *97. Ф. М. Колессе*

Впервые опубликовано в сб. «Леся Украинка», изд. Львовского государственного университета, 1946.

### *98. О. Ю. Кобылянской*

Впервые опубликовано в сб. «Леся Украинка», Киев, 1954, стр. 185—188.

Стр. 521. ...никак не может окончить одну вещь — поэму «Оргия», которая была закончена 28 марта 1913 г.

Стр. 522. ...рассказик на египетские темы... — Произведение из арабской жизни «Экбаль Ганем» Леся Украинка не успела закончить; о детском рассказе сведений нет.

### *99. О. П. Косач (матери)*

Впервые опубликовано: «т. 5, К.», № 455.

Стр. 524. «Перелесник» — персонаж украинской мифологии (см. «Лесную песню», т. 3 наст. изд.).

Письмо от Серого — Юрий Тищенко, Лавров, администратор ЛНВ.

### *100. О. Ю. Кобылянской*

Впервые в сокращенном виде опубликовано в переводе на русский язык: Леся Украинка, Собр. соч., М. 1950, т. III, стр. 360—363.

Стр. 526. Луксор, Карнак, Эсне — местности в Верхнем Египте с руинами древних храмов. Луксор — небольшой город вокруг руин огромного храма Рамзеса II, он соединен аллеей сфинксов с селом Карнак, где также развалины храма; Эсне — город на левом берегу Нила, в 45 километрах на север от руин древнего города Фив.

Элефантин — древний египетский храм.

Стр. 528. ...своего святого Грааля... — В «Бретонских повестях» XII столетия фигурирует чудодейственная мистическая «чаша святого Грааля», к которой может приблизиться только человек высоких моральных качеств и исполниться новыми целительными силами.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### *Предисловие к «Коммунистическому манифесту»*

Впервые опубликовано в львовском издании «Коммунистического манифеста» — «К. Маркс і Ф. Энгельс. Маніфест комуністичної партії», Львов, 1902, стр. 56. Принадлежность этой статьи Лесе Украинке не установлена, однако в письме к И. Франко от 20 сентября 1901 г. среди марксистских работ, переводимых ею на украинский язык, Леся Украинка называет и «Манифест». Установлена общность идей этого предисловия с «Послесловием» к работе Дикштейна, написанном Лесей Украинкой; характерно в обеих работах написание лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

### *Европейская социальная драма в конце XIX столетия*

Для журнала «Жизнь» Леся Украинка написала по-русски обзор европейской драматургии, где он не был напечатан. Оригинал не найден. Сохранилась часть перевода этого обзора на украинский язык, сделанная Лесей Украинкой, которую мы публикуем.

### *Новейшая общественная драма*

Этот материал представляет собою попытку восстановить текст утраченной статьи по имеющимся неполным автографам (см. «Твори в п'яти томах», Держлітвидав. К. 1954, т. 4).

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН,[1] встречающихся в статьях и письмах, помещенных в 4 томе


Андреев Леонид Николаевич (1871—1919), русский писатель — 473

д'Аннунцио Габриэль (1863—1928), итальянский поэт, романист и драматург — 198, 327, 333, 524

Анценгрубер Людвиг (1839—1889), австрийский новеллист и драматург — 540, 541, 546

Аристофан (прибл. 447—385 до н. э.), древнегреческий комедиограф — 537

Аснык Адам (1838—1897), польский поэт, эпигон романтизма — 196

Ауэрбах Бертольд (1812—1882), немецкий писатель — 226, 227

Aulard Франсуа (1849—1928), французский историк, автор работ о французской революции XVIII в. — 494

Аш Шолом (р. 1880), известный еврейский писатель — 473

Багров Михаил Федорович (р. 1864), актер киевского театра Соловцова — 324

Байрон Джордж Гордон (1788—1824) — 197, 226, 228, 271

Бальзак Оноре (1799—1850) — 226, 229

Бар Герман (р. 1863), австрийский драматург и критик — 541

Беклин Арнольд (1827—1901), немецкий художник-модернист — 316

Белый Андрей (псевдоним Бугаева А. Н.) (1880—1934), русский поэт-символист — 479

Беранже Пьер-Жан (1780—1857) — 228

Бергман, известный берлинский врач — 301, 302, 316, 477

Беренштам — 409

Бердяев — 339, 351

Бернс Роберт (1759—1796) — 228

Богданович Ангел Иванович (1860—1907), русский публицист и критик, редак-


[1] Имена даются в том виде, в каком они встречаются в тексте.

тор журнала «Мир божий» — 412
Бодлер Шарль (1821—1867), французский поэт-декадент — 197, 402, 403, 411
Бомарше Пьер (1732—1799) — 226, 229, 538, 542
Борейко — см. Квитка К. В.
Брет-Гарт Френсис (1839—1902), американский писатель — 181, 228
Брокгауз, владелец крупнейшей немецкой книгоиздательской фирмы — 351
Бурже (Bourget) Поль (р. 1852), французский писатель — 226, 228, 306
Быковская Мария Михайловна, подруга Леси Украинки — 222, 227, 346
Бьернсон Бьернстьерн (1832—1910), норвежский писатель — 401, 536, 547, 564, 565

Вагнер Рихард (1813—1901) — 242, 567
Вахнянин Анатолий (1841—1908), композитор, публицист, реакционный политический деятель Галиции — 242
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941), русская писательница, критик, переводчик — 400
Вера Григорьевна — см. Крыжановская-Тучапская.
Верди Джузеппе (1813—1901) — 250, 567
Верзилов — 273
Верлен (Verlaine) Поль (1844—1896), французский поэт-символист — 198, 402, 403, 411, 567
Verhaeren Эмиль (1855—1916), бельгийский поэт — 402
Верхратский Иван (1846—1919), украинский педагог и естествоиспытатель — 266
Веспуччи Америго (1451—1512), итальянский мореплаватель, по имени которого названа Америка — 537
Viliers de l'Isle-Adam (1838—1889), французский писатель реакционного направления — 402, 406
Вольтер Мари-Франсуа (1694—1778) — 226, 230
Вестготт, американский писатель — 558
Водовозов — 308
Вороной Николай Кондратьевич (р. 1871), украинский актер, теоретик театра, поэт-модернист — 287, 296
Высоцкий Владимир (1846—1894), польский поэт-сатирик — 188

Галимский, художник, знакомый Косачей — 224
Галя — см. Ковалевская Г. Н.
Гамбаров (Гамбарошвили), студент Киевского университета, знакомый Леси Украинки — 280
Ганкевич — 376, 392, 393
Гарин - Михайловский Николай Георгиевич (1852—1906), русский писатель — 283
Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — 225, 228
Гауптман Гергарт (1862—1946), немецкий драматург — 182, 302, 484, 537, 547, 548, 549—550, 552, 560, 561
Гауптман Карл (1858—1902), немецкий писатель — 567, 568
Гладилович (1846—1892), галицкий общественный деятель, буржуазный либерал — 249
Ге П. Н., критик и публицист — 377, 378
Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — 226, 228, 539

Гейне Генрих (1797—1856) — 225, 227, 228, 231, 236, 262, 263, 264, 269, 274, 299, 336, 338, 339, 340
Гейерстам Густав (1858—1909), шведский писатель — 210
Гиляров Алексей Никитович (1856—1933), профессор философии Киевского университета — 400
Глинский, польский поэт — 201
Гнатюк Владимир (1871—1926), украинский этнограф и публицист — 336, 342
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 187, 218, 219, 228, 274, 286, 490
Гольдони Карло (1707—1793) — 227, 228
Гольштейны, знакомые Драгомановых — 287
Гончаренко Гнат, известный кобзарь — 515, 516, 517, 518
Гордиенко Константин (ум. 1733), кошевой атаман Запорожской Сечи — 493
Gautier Teophil (1811—1872), французский писатель-романтик — 229
Гольденвейзер А. С., член киевского Литературно-артистического общества — 339
Гриневецкий Иван, племянник известного западноукраинского режиссера и актера И. Гриневецкого, музыкант-любитель — 233, 242, 259
Гринченко Борис Дмитриевич (1863—1910), украинский писатель буржуазно-националистического направления — 436, 443, 444
Грушевский Михаил Сергеевич (1866—1934), украинский буржуазный историк и публицист — 425, 428, 486, 493
Гюго Виктор (V. Hugo) (1802—1885) — 228, 263, 273, 404, 446, 539
Гюйо Жан (1854—1888), французский поэт и философ — 233
Huysmans Жорж-Шарль (1848—1907), французский романист-декадент — 406

Дарвин Чарльз (1809—1882), знаменитый естествоиспытатель — 186
Деле-Грацие Мария-Евгения, немецкая прогрессивная писательница — 383, 389, 407, 562, 563
Денковская Вера Трофимовна — 418
Дерижанов, ялтинский врач, в пансионе которого жила Леся Украинка — 293, 297, 332
Дерижанова, жена врача — 297, 333
Декав Люсьен (1861—?), французский писатель и драматург — 553
Дидицкий Богдан (1827—1908), реакционный галицкий писатель — 170
Диккенс Чарльз (1812—1870) — 227, 228, 273
Дикштейн Семен Рафаилович (псевдоним — Ян Млот) (1858—1884), польский социалист, популяризатор марксизма — 376, 377
Додэ Альфонс (1840—1897) — 228, 559
Донней Морис (р. 1859), французский драматург — 553
Дора — см. Косач Изидора Петровна
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 210, 228
Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895), украинский ученый, историк, публицист, дядя Леси Украинки.

Преследуемый царским правительством, эмигрировал в Швейцарию, затем в Болгарию — 174, 217—219, 230—233, 233—237, 255, 257, 258—262, 287, 422
Драгоманов Иван Петрович, брат М. П. Драгоманова — 280
Драгоманов Светозар Михайлович (р. 1884), сын М. П. Драгоманова — 236, 237, 261, 287, 288
Драгоманова Ариадна Михайловна (1887—1908), младшая дочь М. П. Драгоманова — 236, 261, 278, 321, 324, 338, 380, 387, 406
Драгоманова Глафира Помпеевна, жена И. П. Драгоманова — 280
Драгоманова Лидия Ивановна, дочь И. П. Драгоманова — 280
Драгоманова Лидия Михайловна, старшая дочь М. П. Драгоманова — 217, 230, 236, 277, 278, 280
Драгоманова Людмила Михайловна, жена М. П. Драгоманова — 277—278, 287
Дроздик — см. Косач И. П.
Дюма Александр (1803—1870) — 546

Евшан Микола Осипович (1889—1919), украинский критик — 514

Еж Томаш Теодор (псевдоним Зигмунда Милковского) (1824—1915), польский писатель и публицист, писал об украинской жизни, участник венгерской революции 1848 года — 188, 228
Еленская, польская писательница — 193
Есипова Анна Николаевна (1851—1914), известная русская пианистка — 325
Ефремов Сергей Алексеевич (р. 1876), украинский публицист и критик — 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 413, 415

Желябов Андрей (1851—1881), выдающийся русский революционер, народоволец — 157
Жеромский Стефан (1864—1925), польский писатель — 210, 211
Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1876), французская писательница — 218, 227, 228, 247, 372
Жулавский Юрий (1874—1915), польский писатель и публицист — 201

Завадский Михаил (1828—1887), этнограф и композитор — 433
Залесский Богдан (1802—1886), польский поэт-романтик — 228
Заньковецкая Мария Константиновна (1860—1934), знаменитая украинская драматическая актриса — 295, 296, 298
Зарницкая Ефрозина Филипповна (Азгуриди) (1871—1936), украинская драматическая актриса — 286
Захарьясевич Ян (1825—1906), польский писатель — 189
Золя Эмиль (1840—1902) — 228, 241, 403, 404
Зоря — см. Драгоманов Светозар Михайлович

Ибсен Генрик (1828—1906) — 300, 331, 401, 536, 547, 565

Кандыба — см. Олесь
Капельгородский Филипп (р. 1882), малоизвестный украинский поэт — 462

Карлейль Томас (1795—1881), английский писатель, историк, публицист — 539
Кармелюк Устин (1787—1835), предводитель крестьянских восстаний на Украине в первой половине XIX в.
Каронин (псевдоним Петропавловского Николая Елпидифоровича) (1857—1892), русский писатель — 556, 557
Карташевские, знакомые семьи Косачей — 334
Catilina Муций Сергий (108—62 до н. э.), римский политический деятель — 240
Катон (Старший) (234—149 до н. э.), римский консул и цензор — 274
Каспрович Ян (1860—1925), польский поэт — 198, 211
Квитка Климент Васильевич (1880—1953), муж Леси Украинки, юрист по образованию, этнограф, музыковед, впоследствии профессор Московской консерватории — 377, 386, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 440, 441, 442, 443, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 485, 486, 488, 489, 490, 492, 497, 498, 499, 504, 506, 507, 508, 519
Кибальчич Надежда Константиновна (1870—1914), второстепенная украинская писательница, по мужу Козловская — 478—480
Киселевский, польский драматург — 206
Кленя — см. Квитка К. В.
Кобринская Наталья (1851—1920), украинская писательница и общественная деятельница — 176, 269, 404
Кобылянская Ольга Юлиановна (1863—1942), украинская писательница — 174—179, 248, 252, 257, 306—311, 311—315, 317—320, 326, 327—331, 336, 342, 346—348, 352—354, 356—357, 365—366, 367, 398—399, 404, 405, 406, 411, 414—417, 419, 430, 461—462, 520—523, 525—529
Кобылянский Юлиан Юлианович, брат О. Я. Кобылянской — 416
Ковалевская Ганна Николаевна (по мужу Деген) (1870—1897), дочь М. В. Ковалевского и М. Т. Воронцовой (см. прим. к стихотв. «Мать-невольница», т. 1 наст. изд.) — 275, 300
Ковалевский Николай Васильевич (1841—1897), украинский прогрессивный общественный деятель — 300
Колесса Иван Михайлович (1864—1898), украинский этнограф — 467
Колесса Филарет Михайлович (1871—1948), украинский этнограф — 467, 515—519
Колумб Христофор (1451—1506) — 537
Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), русский поэт — 286
Комаров Михаил Федорович (1844—1913), украинский ученый и библиограф — 435
Коненков Сергей Тимофеевич (р. 1874), скульптор — 524
Конопницкая Мария (1842—1910), выдающаяся польская поэтесса — 193, 195, 198, 226, 230, 383, 388, 389, 397, 405
Конощенко Андрей, украинский этнограф — 467
Конт Огюст (1798—1857), французский буржуазный философ и социолог — 186
Коппе Франсуа (1842—1908), французский поэт — 229
Корженевский Юзеф (1797—1863), польский поэт и драматург — 188
Короленко Владимир Га-

лактионович (1853—1921) — 225, 227, 228
Корradини Энрико (1871—1911), итальянский писатель — 560
Косач Александра Антоновна, сестра отца Леси Украинки — 223, 270, 325, 328
Косач Изидора Петровна (р. 1888), самая младшая сестра Леси Украинки — 274, 294, 321, 323, 327, 335, 348, 387, 418, 439, 443, 474, 487, 491, 496, 499, 506, 520
Косач Микола Петрович, младший брат Леси Украинки — 236, 280, 323, 324, 418, 439, 443, 468, 499
Косач Михаил Петрович 1869—1903), старший брат Леси Украинки, математик, выступал и как литератор (псевдоним — Михаил Обачный) — 218, 219—221, 221—224, 224—230, 231, 232, 233, 234, 237—247, 261, 281, 270—275, 301, 335, 338, 404
Косач Оксана Петровна (Лиля), сестра Леси Украинки — 280, 294, 323, 324, 327, 348, 371, 384, 385, 406, 409, 410, 414, 418, 437, 468, 471, 476, 487, 499
Косач Ольга Петровна (1849—1930), мать Леси Украинки, общественная деятельница и писательница (псевдоним — Олена Пчилка— 217, 218, 220, 225, 227, 230, 255, 258, 270, 271, 273, 280, 281—284, 285—291, 291—294, 294—297, 297—299, 300, 301, 302, 316—317, 320, 323, 332—333, 333—335, 344, 348, 349—352, 364—365, 385, 399—407, 407—408, 409—412, 414, 417—420, 434—437, 437—440, 440—443, 466—468, 468—471, 472—474, 474—478, 486, 489—492, 496—498, 500, 501, 501—505, 505—510, 510—515, 523—525
Косач Ольга Петровна (р. 1877), сестра Леси Украинки, врач — 219, 221, 235, 249—251, 274, 278—281, 295, 298, 300, 301—305, 320, 320—327, 328, 329, 333, 334, 336—338, 338—340, 340—342, 342—346, 348—349, 350, 351, 352, 368—372, 377—382, 382—388, 406, 412—414, 419, 437, 466, 468, 471, 474, 484—486, 486—489, 491, 496, 498—501, 501, 505, 506, 520
Косач Петр Антонович (1841—1909), отец Леси Украинки, прогрессивный общественный деятель — 251, 316—317, 323, 344, 349—352, 440—443, 471, 507
Косач-Судовщикова Александра Евгеньевна (1867—1923), подруга Леси Украинки, позднее жена ее старшего брата, украинская писательница демократического направления, известна под псевдонимом Грицко Григоренко — 221, 224, 232, 274, 281, 305, 336, 337, 338
Котляревский Иван Петрович (1769—1839), выдающийся украинский поэт — 299, 405
Коцюбинский Михаил Михайлович (1864—1913), выдающийся украинский писатель — 275—276, 524
Красицкий Игнатий (1735—1801), польский поэт-сатирик — 228
Крафт-Эббинг Р. (1840—1902), известный немецкий психиатр — 451
Крашевский Иосиф-Игнатий (1812—1887), польский писатель — 185, 228
Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), русский писатель — 228
Кривинюк Михаил Васильевич (1871—1910), муж сестры

Леси Украинки Ольги Петровны — 339, 342, 343, 344, 345, 346, 371, 379, 380, 381, 471, 474, 486, 489, 497
Кропивницкий Марк Лукич (1840—1910), украинский драматург, актер и режиссер — 282, 286, 298
Крушельницкий Антон, украинский писатель — 411
Крымский Агафангел Ефимович (1871—1943), украинский писатель, ученый, известный ориенталист, позднее действительный член Академии наук УССР — 260, 354—356, 430—433, 438, 441, 443—461, 462—466, 480—484, 493—496
Крыжановская-Тучапская Вера Григорьевна, жена П. Л. Тучапского, революционерка, социал-демократка — 358—360, 362—364, 372—375
Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897), украинский реакционный писатель — 422, 506
Кульженко С. В., владелец типографии — 468

Лабриола Антонико (1845—1904), итальянский социалист, публицист — 376, 377
Лавров Юрий (псевдоним — Серый), администратор «Литературно-научного вестника» — 513, 524
Ламартин Альфонс (1791—1869), французский поэт, историк, политический деятель — 446
Ланге Антоний (1863 — ?), польский писатель, один из зачинателей польского модернизма — 202, 209
Левицкий Модест Филиппович (р. 1886), украинский писатель, по профессии врач — 325
Леопарди Джакомо (1798—1837), итальянский поэт — 226, 227, 228, 236, 296
Лермонтов Михаил Юрьевич — 229
Лесаж Ален Рене (1668—1747), французский писатель — 228
Лидик, он же Маусик, внук М. П. Драгоманова — 236
Лидочка — см. Драгоманова Л. М.
Линова Евгения (р. 1853), этнограф, организатор народного музыкального воспитания — 467
Лист Ференц (1811—1886), великий венгерский пианист и композитор — 331
Лонгфелло Генри (1807—1882), американский поэт — 228
Loys Pierre (1870—1925), французский писатель — 402, 406
Лысенко Николай Витальевич (1842—1912), выдающийся украинский композитор и педагог — 242, 274, 331, 514, 518
Люда — см. Старицкая Л. М.
Людкевич Станислав (р. 1871), украинский этнограф и композитор — 467

Мазепа Иван Степанович (1644—1709), гетман Украины — 233
Маковей Осип Семенович (1867—1925), украинский писатель — 264—267, 267—270
Максим — см. Славинский М. А.
Маня — см. Быковская М. М.
Марко Вовчок (псевдоним Вилинской-Маркович М. А.) (1834—1907), русско-украинская писательница — 173, 280
Маркс Карл (1818—1883) — 163, 164, 279, 533, 534, 535

Масперо Гастон (1846—1916), французский историк—486
Матушевский Федор Павлович (1871—1919), украинский журналист буржуазно-националистического направления — 434
Мачтет Григорий Александрович (1852—1901), русский писатель — 229
Мельгунов Юрий Николаевич (1846—1893), русский музыковед-фольклорист —234
Ménard Луи (1822—1901), французский историк — 234, 485, 486, 487
Мержинский Сергей Константинович (1870—1901), друг Леси Украинки, социал-демократ, один из первых пропагандистов марксизма в Киеве и Минске — 282, 298, 300, 331, 337, 341, 343, 344, 345, 348, 350, 352, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 374
Метерлинк Морис (1862—1949) (Maeterlinck), бельгийский писатель-символист—202, 402, 406, 411, 537
Мечников Илья Ильич (1845—1916), великий русский биолог — 451
Микось — см. Косач Микола Петрович
Мирбо Октав (1850—1917), французский писатель — 173, 546, 551, 552, 553
Miriam — см. Пшесмыцкий
Мирославский К. П. (Винников), актер — 286
Мицкевич Адам (1798—1855) — 171, 184, 187, 190, 198, 206, 229
Михайловский Николай Константинович (1842—1904), русский публицист, литературный критик, идеолог либерального народничества — 400
Мольер (псевдоним Поклена Жана-Батиста) (1622 — 1673) — 225, 229, 538, 542
Мопассан Ги (1850—1893) — 226, 401, 411, 473
Мордовцев Даниил Лукич (1830—1908), русский писатель, автор исторических романов — 226
Моцарт Вольфганг-Амедей (1756—1791) — 331
Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924), русский писатель — 473
Мунэ-Сюлли Жан (1841—1916), известный французский актер — 324, 325
Мур Томас (1779—1852), английский поэт-романтик— 229
Мюссе Альфред (1810—1857), французский поэт-романтик — 229, 231

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), русский поэт — 226, 230, 284
Негри Ада (р. 1870), итальянская поэтесса — 180, 286, 327, 333
Неера (псевдоним Анны Цуккари) (1846—1916), итальянская писательница — 176
Нейбауэр, немецкий профессор-филолог — 170
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) — 226, 230
Нелидова Екатерина Николаевна — 412
Немцевич Юлиан (1758—1841), польский поэт — 229
Немоевский Андрей (1864—1921), польский реакционный писатель — 207, 209, 210, 211
Нечуй (псевдоним Левицкого Ивана Семеновича) 1838—1918), известный украинский писатель — 342, 404
Нижанковский Остап (1862—1919), галицийский композитор — 242

Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий реакционный философ — 177, 198
Нордау Макс (1849—1923), немецкий буржуазный публицист и критик — 400, 402

Огоновский Омелян (1833—1894), историк украинской литературы, буржуазный националист, председатель общества «Просвіта» — 262
Ожешко Элиза (1842—1910), известная польская писательница — 190, 193, 229
Олесь (псевдоним Кандыбы Александра Ивановича) (р. 1878), украинский поэт-декадент — 468
Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 559

Павлык Михаил Иванович (1853—1915), украинский писатель и публицист — 247—249, 251—252, 252—254, 254—255, 255—258, 313, 314, 329, 420—424, 428, 429
Палиев Захарий Петрович (Палиашвили) (1871—1933), выдающийся композитор, основоположник грузинской оперной музыки — 433
Пахаревский Леонид Андреевич, малоизвестный украинский писатель и переводчик — 468, 473
Пакшевич Феофан Александрович (1870—1941), врач — 227
Петрарка Франческо (1304—1374) — 226, 227, 229
Петруненко Федор Петрович (1879), малоизвестный поэт — 486, 514, 515
Поссе Владимир Александрович (1864—1940), журналист, общественный деятель, организатор и редактор легальных марксистских журналов «Новое слово» и «Жизнь» — 342, 360—361, 367
Прус Болеслав (псевдоним А. Главацкого) (1847—1912), польский писатель — 190, 191, 193, 195
Пугачев Емельян Иванович (1742—1775) — 156
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 229, 314, 397
Пшесмыцкий Марьян, польский поэт, переводчик Метерлинка — 202
Пшибышевский Станислав (1868—1927), польский писатель, декадент — 198, 202, 203—206, 207, 411, 524
Пыпин Александр Николаевич (1833—1903), академик, историк русской литературы — 334, 412
Пуц — см. Косач Ольга Петровна (сестра)

Рада — см. Драгоманова А. М.
Разин Степан Тимофеевич (ум. 1671) — 156
Райзенауер, известный пианист, ученик Ф. Листа — 331
Рашевская — 273
Рашель Ричи — см. Косач-Судовщикова А. Е.
Рейтер Габриэла, немецкая писательница — 176
Рембо (Rimbaud) Артур (1854—1891), французский поэт-декадент — 198, 402, 403, 567
Régnier Henri (1864— ?), французский поэт и романист — 402
Rod Ed (1857—1910), швейцарский писатель, натуралист, критик, профессор истории литературы — 407
Родзевич — польская писательница — 196

Романчук Юлиан (1842—1932), один из вожаков партии «народовцев», депутат галицкого сейма, член венского парламента — 238, 239, 240
Rosny — 407
Rossi Эрнесто (1827—1896), знаменитый итальянский трагический актер — 246
Россовский, польский поэт — 202
Руденко (р. 1878), украинский актер-комик, выступал под псевдонимом «Найда» — 286
Рудченко Иван Яковлевич, брат и соавтор известного украинского писателя Панаса Мирного, собиратель украинского фольклора — 439
Русова Софья, педагог и общественная деятельница — 489
Руссо Жак-Жак (1712—1778) — 226, 230

Самойленко Владимир Иванович (1864—1925), украинский поэт — 225
Saint-Beuve Шарль-Огюстен (1804—1869), французский литературовед и поэт — 481, 548
Сар Пеладан Жозефин (1859—1919), французский писатель-мистик — 198, 407
Свифт Джонатан (1667—1748) — 229, 231
Север, польский писатель — 194, 195
Сенкевич Генрих (1846—1916), польский писатель — 190, 191, 192, 195, 229
Сервантес Мигэль (1547—1616) — 225, 226, 229
Серошевский Вацлав (1860—1943), польский писатель и публицист — 211, 212, 213
Серый — см. Лавров Ю.
Serret Жозеф-Альфред (1819—1885), французский математик — 232
Симович Василий Семенович (1880—1943), студент, позднее профессор-филолог — 376
Скот Вальтер (1771—1832) — 226, 230
Славинский Максим Антонович (р. 1868), поэт, переводчик, после революции белоэмигрант — 22, 225, 272, 326, 327, 334, 336, 339, 342, 347, 408, 435
Сластён Опанас Григорьевич (1855—1933), украинский художник и фольклорист — 334
Сливинский Юзеф (1865—?), видный польский пианист — 325
Софокл (497—406 до н. э.), великий драматург древней Греции — 288
Спенсер Герберт (1820—1903), английский буржуазный философ и социолог — 186
Станюкович Константин Михайлович (1843—1903), русский писатель — 283
Старицкая-Черняховская Людмила Михайловна (1868—1942), дочь украинского писателя М. П. Старицкого, приятельница Леси Украинки — 271, 272, 273, 330, 355, 417, 443, 497, 500, 524
Старицкая Оксана, дочь М. П. Старицкого, актриса — 324, 340
Старицкая, Оксана, дочь М. П. Старицкого — 280
Старицкий Михаил Петрович (1840—1904), известный украинский поэт, драматург и театральный деятель — 276—277, 294, 298, 323, 325, 339, 340

Сталь Анна-Луиза (1766—1817), французская писательница — 224, 226, 230
Стефаник Василь Семенович (1871—1936), известный западноукраинский писатель — 179—182, 330, 342, 347, 357, 430
Стриндберг Август (1849—1912) — шведский писатель — 536
Струве Петр Бернардович (1870—1941), социал-демократ, позднее легальный марксист, после 1917 г. перешел в лагерь контрреволюции — 334
Судовщикова — см. Косач-Судовщикова А. Е.
Сырокомля Владислав (псевдоним Людвига Кондратовича) (1822—1862), польский поэт — 226, 230

Taillade Лоран (1854—1919), французский поэт и критик, выступавший против символистов — 402, 403
Теннисон Альфред (1809—1892), английский поэт — 229
Тетмайер Казимир (1865—1940), польский писатель-модернист — 199, 200, 202, 211
Толстой Алексей Константинович (1817—1875), русский поэт и драматург — 246, 250
Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 155, 218, 219, 229, 300, 400, 555
Труш Иван (р. 1869), украинский художник — 348, 366, 391, 392, 393, 425, 428
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 219, 221, 227, 229
Тучапский Павел Лукич (1869—1922), социал-демократ, делегат Первого съезда РСДРП от Киевского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, впоследствии отошел от революционного движения — 273, 289, 360, 364, 375

Украинка Леся (творчество) — 251, 259, 264, 270, 281, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 305, 326, 334, 438, 460, 464, 466, 470, 471, 473, 475, 477, 481, 484, 489, 491, 494, 521, 522, 527

Федькович Осип-Юрий (1834—1888), известный западноукраинский писатель — 169—174, 175, 180, 245, 315, 342
Флобер Гюстав (1821—1880) — 229, 402
Франко Иван Яковлевич (1856—1916), великий украинский писатель — 154—162, 249, 262—263, 263—264, 269, 273, 284—285, 287, 300—301, 376—377, 382, 388—398, 404, 424—426, 427—430, 447, 521
Франко Ольга Федоровна, жена И. Я. Франко — 249, 285
Френкель, друг семьи Косачей — 280, 334

Хмелевский Петр (1848—1904), польский буржуазный историк литературы — 184
Хмельницкий Богдан (1595—1657) — 272

Цветковский Юрий (1843—1913), украинский педагог — 331

Черкунов Николай Трофимович, учитель географии в Киеве — 418
Чернявский Микола (р. 1868), украинский писатель — 415
Чехов (1860—1904) Антон Павлович — 301, 401

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), русский писатель, сочувствовал марксизму, сотрудничал в журнале «Жизнь», впоследствии стал реакционером, в 1920 г. эмигрировал за границу — 332, 360, 366—367
Читадзе Шио Алексеевич (1873—1906), знакомый Леси Украинки, учившийся в Киевском университете — 437
Читадзе Юстина Кирилловна (Щербань), жена Ш. А. Читадзе — 437, 441
Чубинский Павел (1839—1884), известный украинский этнограф — 439

Шарпантье Гюстав (р. 1860), французский композитор — 566, 567
Шевченко Тарас Григорьевич — 154, 159, 171, 187, 245, 337, 419, 436, 506
Шекспир Вильям — 229, 538, 539, 542
Шенье Андре (1762—1794), французский поэт и публицист — 226, 229
Шиллер Фридрих (1759—1805) — 226, 229, 241, 538, 539, 543, 544
Шопен Фридерик (1810—1849) — 206, 319, 331
Шпильгаген Фридрих (1829—1911), немецкий писатель — 552
Шуман Роберт (1810—1856) — 319
Шура — см. Косач-Судовщикова А. Е.

Щепанский — польский поэт — 202

Юношa Клеменс (псевдоним Шанявского) (1849—1898), польский писатель — 180, 191

Элиасберг, врач — 341
Энгельс Фридрих — 163, 164, 376, 377, 533, 534, 535
Эредиа Хозе-Мария (1803—1839), выдающийся кубинский поэт-романтик, участник национально -освободительного движения — 197

Якобсен Иенс-Петер (1847—1885), известный датский писатель, предшественник импрессионизма — 411
Якубовский Людвиг (1868—1900), немецкий демократический писатель, редактор и издатель берлинского журнала — Gesellschaft — 318, 320
Яновский Феофил Гаврилович (1860—1928), киевский профессор-терапевт — 381

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПОМЕЩЕННЫХ во 2, 3 и 4 ТОМАХ [1]


| | Том | Стр. |
|---|---|---|
| Адвокат Мартиан | 3 | 311 |
| Айша и Мухаммед | 2 | 259 |
| Беда научит | 4 | 13 |
| В катакомбах | 2 | 132 |
| В дому труда, в краю неволи | 2 | 156 |
| В пуще | 3 | 7 |
| Вавилонский плен | 2 | 30 |
| Видение | 4 | 123 |
| Волынские картинки. Школа | 4 | 18 |
| Голос русской узницы | 4 | 151 |
| Дружба | 4 | 61 |
| Европейская социальная драма в конце XIX столетия (отрывок) | 4 | 536 |
| Заметки о новейшей польской литературе | 4 | 184 |
| Иоанна, жена Хусы | 3 | 164 |
| Каменный хозяин | 3 | 376 |
| Кассандра | 2 | 163 |
| Лесная песня | 3 | 209 |
| Малорусские писатели на Буковине | 4 | 168 |
| Мотылек | 4 | 11 |
| На поле крови | 3 | 140 |
| На руинах | 2 | 50 |


[1] Алфавитный указатель к стихотворениям и поэмам см. в томе 1 наст. изд.

| | Том | Стр. |
|---|---|---|
| Над морем | 4 | 26 |
| «Не так враги, как добрые люди» | 4 | 154 |
| Новейшая общественная драма | 4 | ... |
| Одержимая | 2 | 7 |
| Оргия | 3 | 474 |
| Осенняя сказка | 2 | 93 |
| Ошибка | 4 | 126 |
| Письма | 4 | 217 |
| Предисловие к первому украинскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса | 4 | ... |
| Послесловие к украинскому переводу брошюры «Кто чем живет» | 4 | 163 |
| Руфин и Присцилла | 2 | 266 |
| Такова ее доля (Картинка из жизни) | 4 | 7 |
| Три мгновения | 2 | 68 |
| Школа (Волынские картинки) | 4 | 18 |

# СОДЕРЖАНИЕ

## РАССКАЗЫ

Такова ее доля *(Картинка из жизни)* . . . . . 7
Мотылек . . . . . 11
Беда научит . . . . . 13
Школа *(Волынские картинки)* . . . . . 18
Над морем . . . . . 26
Дружба *(Рассказ из жизни Волынского Полесья)* 61
Видение . . . . . 123
Ошибка *(Мысли заключенного)* . . . . . 126

## СТАТЬИ

Голос русской узницы . . . . . 151
Не так враги, как добрые люди . . . . . 154
Послесловие к украинскому переводу брошюры «Кто чем живет» . . . . . 163
Малорусские писатели на Буковине * . . . . . 168
Заметки о новейшей польской литературе * . . . . 184

## ПИСЬМА

1. Драгоманову М. П., Июнь 1888 г. . . . . 217
2. Косачу М. П., Сентябрь 1888 г. . . . . 219
3. » Октябрь 1889 г. . . . . 221
4. » 26—28 ноября 1889 г. . . . . 224
5. Драгоманову М. П., 24/XII 1889 г. . . . . 230
6. » 6/XII 1890 г. . . . . 233

---

* Написано по-русски.

7. Косачу М. П., Март 1891 г. . . . . 237
8. Павлыку М. И., 16/III 1891 г. . . . . 247
9. Косач О. П. (сестре), 19/III 1891 г. . . . . 249
10. Павлыку М. И., 10/VI 1891 г. . . . . 251
11. » 12/24.VIII 1891 г. . . . . 252
12. » 21/X 1891 г. . . . . 254
13. » 5/XII 1891 г. . . . . 254
14. Драгоманову М. П., 3/III 1892 г. . . . . 258
15. Франко И. Я., 20/IV 1892 г. . . . . 262
16. » 14/V 1892 г. . . . . 263
17. Маковею О. С., 28/V 1893 г. . . . . 264
18. » 31/X 1893 г. . . . . 267
19. Косачу М. П. 30/XI 1893 г. . . . . 270
20. Коцюбинскому М. М., 13/XII 1893 г. . . . . 275
21. Старицкому М. П., 22/IV 1894 г. . . . . 276
22. Драгомановой Л. М., 6/IX 1896 г. . . . . 277
23. Косач О. П. (сестре), 30/VIII 1897 г. . . . . 278
24. Косач О. П. (матери), 26/X 1897 г. . . . . 281
25. Франко И. Я. 7/XII 1897 г. . . . . 284
26. Косач О. П. (матери), 13/XII 1897 г. . . . . 285
27. » 21/I 1898 г. . . . . 291
28. » 2/II 1898 г. . . . . 294
29. » 28/II 1898 г. . . . . 297
30. Косач О. П. (сестре), 8/VIII 1898 г. . . . . 300
31. Франко И. Я., 9/21.X 1898 г. . . . . 300
32. Косач О. П. (сестре), 17—29/I 1899 г. . . . . 301
33. Косач А. Е. (Судовщиковой), 21 (9) III 1899 г. . 305
34. Кобылянской О. Ю., 20/V 1899 г. . . . . 306
35. » 29/V 1899 г. . . . . 311
36. Косач П. А. и О. П. (отцу и матери), 14—26/VI 1899 г. . . . . 316
37. Кобылянской О. Ю., 9—21/VII 1899 . . . . . 317
38. Косач О. П. (сестре), 16/XI 1899 г. . . . . 320
39. Кобылянской О. Ю., 18—30/I 1900 г. . . . . 327
40. Косач О. П. (матери), 11/II 1900 г. . . . . 332
41. » 21/II 1900 г. . . . . 333
42. Косач О. П. (сестре), 1/III 1900 г. . . . . 336
43. » 29/III 1900 г. . . . . 338
44. » 18/IX 1900 г. . . . . 340
45. » 5/X 1900 г. . . . . 342
46. Кобылянской О. Ю., 14/XI 1900 г. . . . . 346

47. Косач О. П. (сестре), 5/XII 1900 г. . . . . 348
48. Косач П. А. и О. П. (отцу и матери), 15/I 1901 г. . . . . 349
49. Кобылянской О. Ю., 16/I 1901 г. . . . . 352
50. Крымскому А. Е., 26/I 1901 г. . . . . 354
51. Кобылянской О. Ю., 29/I 1901 г. . . . . 356
52. Крыжановской-Тучапской В. Г., 29/I 1901 г.* . 358
53. Поссе В. А., 14/II 1901 г.* . . . . . 360
54. Крыжановской-Тучапской В. Г., 19/II 1901 г.* . 362
55. Косач О. П. (матери), 22/II 1901 г. . . . . 364
56. Кобылянской О. Ю., 12—25/III 1901 г. . . . . 365
57. Чирикову Е. Н., 30/III 1901 г.* . . . . . 366
58. Косач О. П. (сестре), 27/V—9/VI 1901 г. . . . 368
59. Крыжановской-Тучапской В. Г., 10/VI (28/V) 1901 г.* . . . . . 372
60. Франко И. Я., 20/IX 1901 г. . . . . 376
61. Косач О. П. (сестре), 15/X 1901 г. . . . . 377
62. Франко И. Я., 23/XII 1902 г. . . . . 382
63. Косач О. П. (сестре), 29/XII 1902 г. . . . . 382
64. Франко И. Я., 13/I 1903 г. . . . . 388
65. Кобылянской О. Ю., 24/I 1903 г. . . . . 398
66. Косач О. П. (матери), 27/I 1903 г. . . . . 399
67. » 29/I 1903 г. . . . . 407
68. » 7/II 1903 г. . . . . 409
69. Косач О. П. (сестре), 10/II 1903 г. . . . . 412
70. Кобылянской О. Ю., 27/III 1903 г. . . . . 414
71. Косач О. П. (матери), 29/III 1903 г. . . . . 417
72. Павлыку М. И. 10/IV 1903 г. . . . . 420
73. Франко И. Я., 19/VI 1903 г. . . . . 424
74. » 1—14/VIII 1903 г. . . . . 427
75. Крымскому А. Е., 2/XII 1903 г. . . . . 430
76. Косач О. П. (матери), 25/XI 1904 г. . . . . 434
77. » 6/II 1905 г. . . . . 437
78. Косач П. А. и О. П. (отцу и матери), 22/III 1905 г. . . . . 440
79. Крымскому А. Е., 3/XI 1905 г. . . . . 443
80. Кобылянской О. Ю., 5—18/XI 1905 г. . . . . 461
81. Крымскому А. Е., 27/I 1906 г. . . . . 462
82. Косач О. П. (матери), 10/IX 1907 г. . . . . 466
83. Косач О. П. (матери), 3/II 1908 г. . . . . 468
84. » 21/III 1908 г. . . . . 472

85. Косач О. П. (матери), 11/IV (28/III) 1910 г. . 474
86. Кибальчич Н. К., 24/IV 1910 г. . . . . 478
87. Крымскому А. Е., 14/X 1911 г. . . . . 480
88. Косач-Кривинюк О. П. (сестре), 27/X 1911 г. . 484
89. » 16/XII 1911 г. . 486
90. Косач О. П. (матери), 20/XII 1911 г. . . . . 489
91. Крымскому А. Е., 24/V 1912 г. . . . . 493
92. Косач О. П. (матери), 24/V 1912 г. . . . . 496
93. Косач-Кривинюк О. П. (сестре), 5/X 1912 г. . . 498
94. Косач О. П. (матери), 21—8/XI 1912 г. . . . 501
95. » 10/I—28/XII 1912 г. . . 505
96. » 27/II 1913 г. . . . . 510
97. Колессе Ф. М., 5/III 1913 г. . . . . 515
98. Кобылянской О. Ю., 21/III 1913 г. . . . . 520
99. Косач О. П. (матери), 12/IV (31/III) 1913 г. . 523
100. Кобылянской О. Ю., 3/V 1913 г. . . . . 525

Приложение

(Предисловие к первому украинскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса) . . . . . 533
Европейская социальная драма в конце XIX столетия . . . . . 536
Новейшая общественная драма (Доклад Л. Косач) * . . . . . 542

Рассказы, статьи и письма Леси Украинки — О. Бабышкин . . . . . 569

Комментарии . . . . . 581

Алфавитный указатель имен . . . . . 626
Алфавитный указатель произведений, помещенных во 2, 3 и 4 томах . . . . . 638

ОПЕЧАТКИ

| Том | Страница | Строка | Следует читать |
|---|---|---|---|
| 1 | 495 | 4 сн. | Перев. В. Державин |
| 2 | 503 | 13 св. | находится в Альпах на границе между Германией, Швейцарией и Австрией |

ЛЕСЯ УКРАИНКА

Собр. соч., т. 4

Редактор *Е. Цинговатова*
Оформление художника *Н. Кравченко*
Художественный редактор *Г. Кудрявцев*
Технический редактор *Ж. Примак*
Корректор *Л. Петрова*

Сдано в набор 28/VIII 1956 г. Подписано в печать 14/III 1957 г. Бум. 84×108 1/32 20,13 печ. л. = 33 усл. печ. л. 30,86 уч.-изд. л. Тираж 50 000. Цена 10 р. Заказ № 1038

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., 1/3.